Захар Оскотский

ЗИМНИЙ СКОРЫЙ

Хроника советской эпохи

Захар Оскотский

ЗИМНИЙ СКОРЫЙ

Хроника советской эпохи

Санкт-Петербург
«БХВ-Петербург»
2014

УДК 82-3
ББК 84
О-74

Оскотский З. Г.

О-74 Зимний скорый. Хроника советской эпохи. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 560 с.

ISBN 978-5-9775-3296-9

Эта книга — своего рода реквием поколению, родившемуся после войны, последнему многочисленному и самому образованному советскому поколению. Его талант и энергия могли преобразовать страну, обогатить ее, поднять на уровень самой передовой державы мира. Но бюрократическая система не позволила этому поколению реализовать свои возможности. В романе «Зимний скорый. Хроника советской эпохи» читатель найдет ту правду о недавнем времени, которая поможет лучше понять настоящее и осознанно действовать ради будущего.

Для широкого круга читателей

УДК 82-3
ББК 84

Группа подготовки издания:

Главный редактор	*Екатерина Кондукова*
Зав. редакцией	*Екатерина Капалыгина*
Компьютерная верстка	*Людмилы Чесноковой*
Корректор	*Зинаида Дмитриева*
Дизайн обложки	*Екатерины Каримовой*
Оформление обложки	*Марины Дамбиевой*

Подписано в печать 29.11.13.
Формат 60×90 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 35.
Тираж 1000 экз. Заказ №
«БХВ-Петербург», 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., 20.

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12/28

ISBN 978-5-9775-3296-9

© Оскотский З. Г., 2014
© Оформление, издательство «БХВ-Петербург», 2014

К читателям

Захара Оскотского современные читатели знают главным образом как историка, публициста, футуролога и автора остросюжетных романов-антиутопий. Но ведь прежде всего он писатель-прозаик, реалист. В 1980-е — начале 1990-х его рассказы публиковались в сборниках ленинградских писателей и в одном из лучших литературных журналов того времени — «Неве» главного редактора Бориса Никольского.

Именно в 1980-х Захар Оскотский начал работу и над этой книгой — романом «Зимний скорый». Но писал он его более 20 лет. Так случилось потому, что безвременье, в которое ныне провалилась Россия, утрата нашим обществом перспективы не могли оставить писателя равнодушным. И он периодически откладывал, порой на годы, незаконченный роман, чтобы написать произведения, в которых откликался на текущие проблемы.

Так появилась его «Гуманная пуля» — книга о влиянии научно-технического прогресса на ход истории, о цели науки, о ее роли в главных событиях XX века и в грядущих событиях XXI века. Некоторые мысли, высказанные в «Гуманной пуле», — о демографическом переходе, как основной причине мировой нестабильности, о бессмертии, как цели научно-технического прогресса, и другие — лишь теперь начинают входить в общественное сознание.

Ближние прогнозы «Гуманной пули» о развитии мировых и российских событий стали сбываться вскоре после выхода в свет ее первого издания (оно появилось в начале 2001 года). А десятилетие спустя мы видим, как растет вероятность того, что сбудутся и ее дальние прогнозы: о путях разрешения конфликта между Западом и Югом; о том, что успехи науки по продлению человеческой жизни ведут к главному кризису цивилизации, угрожающему самому ее существованию.

Чтобы донести некоторые мысли из «Гуманной пули» до более широкого круга читателей, Захар Оскотский в 2000—2004 годах написал остросюжетную антиутопию — роман «Последняя башня Трои», действие которого происходит в конце XXI века. Критик Ольга Костюкова из журнала «Профиль» писала, что «Последняя башня Трои» может встать в один ряд с антиутопиями Оруэлла и Войновича, а критик Сергей Некрасов из журнала научной фантастики «Если» отвел этому роману место рядом с произведениями Уэллса, Лема и Стругацких.

Недавно вышел еще один роман-антиутопия Захара Оскотского «Утренний, розовый век. Россия-2024». В отличие от «Последней башни Трои», он написан с минимальным использованием элементов фантастики, тяготеет к психологическому реализму. Даже тогда, когда дело доходит до немыслимой фантасмагории, в нее героя вместе со всей страной заносит потоком вполне возможных для нас событий. Роман убедительно показывает, какое будущее ждет Россию без интеллигенции, без собственной науки и промышленности.

В последние годы выходили также исторические очерки, эссе и публицистические статьи Захара Оскотского, которые предлагают нестандартный, идущий вразрез со многими традиционными мифами, взгляд на ключевые моменты истории и современной политики.

И вот сейчас выходит — сразу в двух вариантах, типографском и электронном, — роман «Зимний скорый. Хрони-

ка советской эпохи». Эта книга — своего рода реквием поколению, родившемуся после войны, последнему многочисленному и самому образованному советскому поколению. Его талант и энергия могли преобразовать страну, обогатить ее, поднять на уровень самой передовой державы мира. Но бюрократическая система не позволила этому поколению реализовать свои возможности, и следствием стало то, что случилось с нашей страной теперь.

Некоторым читателям, особенно молодым, которые привыкли не искать в жизни смысла иного, чем добывание материальных благ, характеры и поведение героев книги могут порой показаться наивными. Но ведь то была мудрая наивность! Если не бояться высоких слов, можно сказать, что так проявлялся инстинкт самосохранения нашего народа.

«Зимний скорый», казалось бы, можно отнести к историческому жанру, поскольку его персонажи действуют среди точно воспроизведенных реалий 1950-х — 1980-х, а главный герой еще и пишет новеллу о событиях XVII века, на примере которых пытается исследовать непреходящие проблемы человеческой жизни. Но в действительности этот роман обращен не столько в минувшее, сколько в современность и будущее.

Многие наши сегодняшние проблемы коренятся в недавнем прошлом, происходят от того, что мы не помним уроков недавних времен.

Интерес к советской жизни сейчас очень велик, появляется множество книг, претендующих на то, чтобы их считали историческими исследованиями, выходят романы, фильмы, телесериалы. К сожалению, многие, слишком многие из них относятся к жанру «развесистой клюквы», а зачастую — являются прямым искажением правды, которое, возможно, не случайно. Вспоминается Оруэлл: «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. А кто управляет прошлым, управляет будущим».

В романе «Зимний скорый» читатель найдет ту правду о недавнем времени, которая поможет лучше понять на-

стоящее и осознанно действовать ради будущего. Как писал Леонид Андреев: «Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда нужно вам идти».

Не стану здесь подробно обсуждать литературное мастерство Захара Оскотского. Скажу только, что «Зимний скорый», при всей легкости и увлекательности чтения, — это напряженная, глубокая психологическая проза, которая так редко сейчас появляется. И читатель, который любит настоящую литературу, сам убедится в этом.

Ирина Борисова, литератор

Зимний скорый. Хроника советской эпохи

РОМАН

— ...Я не разбираюсь в религиях и, может быть, ничего нового не придумал. Ты случайно не знаешь, существовала когда-нибудь вера в бога слабого, бога-неудачника?

— Подобной религии я не знаю. Такая никогда не была нужна. Если я правильно тебя понял, ты думаешь о каком-то эволюционирующем боге, который развивается во времени, возносясь на всё более высокий уровень могущества, дорастая до сознания собственного бессилия? Но ведь отчаявшийся бог — это же человек, дорогой мой! Ты имеешь в виду человека...

Станислав Лем

— 1 —

Аэропорт днем, Пулковский аэропорт, нарочито современный, тянущийся к небу прозрачными космическими башенками, сверкающий внутри мрамором, стеклом, никелем, заполненный шумной текучей толпой, вязнущей сгустками у касс и киосков, этот дневной аэропорт не нравился Григорьеву. Было в нем нечто от ресторана. Может быть, сходство усиливали ряды ящиков с цветочными горшками. Но к вечеру, к ночи, когда темнело за высокими стеклянными стенами, аэропорт становился другим. В искусственном бело-голубом свете мраморные полы обретали блеск и глубину, словно отражали ночное небо. Ярче разгорались на табло красноватые огоньки надписей с номерами и названиями рейсов. Толпа становилась медлительней, тише, и как будто от этого слышней доносился гром двигателей — то недвижный на летном поле, то накатывающийся с неба.

В командировках Григорьев избегал ездить, почти всегда летал. Приверженность его авиации доходила, быть может, до чудачеств: от областных центров, куда приносили его рейсовые «Ту», к цели своей, к маленьким городам с большими заводами, не желал он добираться как все люди — за три-четыре часа в мягком автобусе. А добирался тоже по воздуху — валким, грохочущим, продутым бензиновыми сквозняками, выматывающим за час полета душу и печенки бипланчиком «Ан-2». Когда же осенью и весной пассажирские аэродромы в маленьких городах — поля с подстриженной травкой — закрывались, размокшие от дождей, он томился с книгой, вдавленный в кресло «Икаруса-экспресса». И не времени было жаль ему, а иного, того, что мог дать только полет. Пусть даже «аннушкин», птичий, проваливающийся.

Он скрывал бы свою чудную страсть, но за командировки приходилось отчитываться в бухгалтерии, его выдавали билеты, над ним посмеивались. «Печоринство! — сказала однажды Аля со злости. — Ты просто подсознательно надеешься когда-нибудь разбиться!» Григорьев разбиваться не собирался, но фразу взял себе, да так и отвечал с тех пор на глупые вопросы и шуточки. От него отставали.

Вот и сегодня, снова, был Пулковский аэропорт вечером, сухим и теплым октябрьским вечером 1984 года. Григорьев уже прошел регистрацию, получил посадочный талон. И домой позвонил. Трубку отец взял сам. Сказал, что лежит, читает. Болей нет. Может быть, завтра выйдут с матерью на улицу. Значит, можно лететь...

До объявления посадки оставалось минут сорок. Григорьев прохаживался взад-вперед, пробегая взглядом по лицам: сейчас должна была появиться Аля. Каждый раз, улетая, просил ее, чтобы не провожала, но она появлялась всегда, даже тогда, когда обещала, что не появится.

Несколько шагов туда, вдоль стеклянной стены, потом — обратно. На улице уже стемнело. Разворачиваясь, увидел свое отражение в стекле. Вот он — Евгений Григорьев, собственной персоной. Выглядит, пожалуй, старше своих тридцати семи: не столько высок, сколько кажется высоким от

худощавости; большая, не по узким плечам голова; глаза — большие, но слишком широко расставлены, и вид от этого не то настороженный, не то удивленный. А волосы уже редеют, над выпуклым лбом — залысины буквой «М». Впрочем, он выглядел так уже давно, лет десять не менялся. Наступило «состояние стабильности», как он это называл. Аля была моложе его на тринадцать лет. Плохая, никудышная цифра... Состояние стабильности продлится, должно быть, еще лет пять-семь, возможно, десять, а потом он начнет стареть — сразу, быстро. Григорьев отвернулся от стекла. Думать о старости он избегал, а внешность его мало заботила.

В состоянии стабильности жизнь не приносит неожиданностей. Она делится на куски, блоки, и в начале каждого блока видишь его до конца, а там уже просвечивает следующий. Сейчас будет обычное перед расставаньем объяснение с Алей. (Плохо, что опять не выспался. Голова тяжелая, болят виски, не сумеет с нужной легкостью парировать ее уколы.) Потом будет ночной полет: голубоватый полусвет в салоне, сквозняки от вентиляции. Словно в затылке будут постанывать и клокотать хвостовые турбины, перемалывая разреженный воздух стратосферы. Будет казаться, что лайнер не летит, а медленно плывет по темному, вязкому морю, слегка содрогаясь от ударов брюхом о гребешки волн.

Он летел в свой привычный мир — маленьких городов и больших заводов. Через несколько часов лайнер начнет мягко проваливаться, отдавая высоту, и сойдет Григорьев с трапа уже далеко отсюда — в Сибири. Бетонные пластыри аэродромов сдавили землю, пространство стянулось, прошитое иглами самолетов. Словно из двери в дверь, переходил он через тысячи километров из одного цеха или кабинета в другой, как будто соседний цех или кабинет, и ничто не изменялось: те же стены в бледно-зеленой эмалевой окраске, тот же обнаженный, тусклый металл станков. Крыльчатки вентиляторов, беззвучные в цеховом гуле, так же перемалывали сладковатый запах машинной осалки с резью растворителей и свежим канифольным дымком пайки. Да и люди, населявшие мир дальних заводов, — мастера, технологи, он сам вместе с ними, — какими бы разными ни были, оказы-

вались схожими в одинаковых рабочих халатах, при свете цеховых ламп, который и в самой яркости кажется бледным, от которого лица видятся темными — не загорелыми, а словно накрытыми синеватой тенью.

Еще несколько шагов вдоль стеклянной стены: туда, затем — обратно. Хотелось курить, но для этого надо было выйти на внешнюю галерею, а он боялся пропустить Алю. Она бы такого не простила.

У окошечек регистрации скапливались двойные очереди — людей и вещей: чемоданы, узлы, рюкзаки, картонные короба, перехваченные веревками и ремнями, окаймляли барьерами людские цепочки и в бело-голубом свете, в недальних раскатах двигателей тоже казались живыми, нервнонапряженными в ожидании взлета.

Григорьев перебросил из руки в руку свой нетяжелый портфель. Слава богу, у него никогда не было забот с багажом: зубная щетка, бритва, смена белья, да в папке со служебными документами — несколько листов начатой рукописи. Когда теперь он ею займется? Блоки следующих дней просвечивают насквозь, до темной усталости в конце каждого. С утра — проталкивать по кабинетам заводоуправления бумаги на опытную партию приборов: решение, техпроцесс, программу испытаний. В вечерние смены, когда свободнее в цехах, — подбирать и налаживать оснастку. Это потом, если пойдет, раскрутится работа, сможет он вечерами разложить свои листы. Да если еще в заводской гостинице удачно поселят: в отдельный номер или хоть с хорошими соседями. Такими, что лишний раз не пристанут с разговорами и не будут, любопытствуя, заглядывать через плечо.

Туда и обратно вдоль стеклянной стены. Али — не было. Вспомнил, как позавчера вытащил из почтового ящика конверт со штампом редакции — вернули «Белёсый свет». Казалось, уж к чему, а к отказам он привык, ничем его не задеть, неуязвим. А тут вдруг ударило — больно и унизительно, словно изловчились его лягнуть ниже пояса.

Конечно, ни одно стихотворение, ни один рассказ не писал он так долго, как эту сотню нерифмованных строчек.

Лет десять, с семьдесят четвертого. А в сущности, все двадцать с лишним лет после дней «белёсого света». То откладывал на время, то вновь начинал шлифовать, подбирать строку к строке — где вспомнится вдруг и схватит дыхание: в гуле и болтанке самолетов, в ночных номерах гостиниц под храп соседей.

Двадцать с лишним лет... У него была хорошая память. Не бог весть, какой дар природы. Но есть иллюзия могущества над временем, когда прошлое видится, как в перевернутом бинокле, — отдаленно, но резко, в красках, обостренных оптикой завершенности.

Стоял октябрь, безветренный, сухой.
Угли опавших листьев, как огонь,
Сквозь землю проступавший, раскаляли
Газоны скверов, камни в переулках...

Так начинался «Белёсый свет». А стоял тогда октябрь 1962 года. Наполз, надвинулся и встал над миром. Конец октября. Карибский кризис. Радио задыхалось. Морская блокада Кубы. В повышенную боеготовность приведены американские и советские стратегические силы. Прерывая передачи, дикторы незнакомыми голосами читали послания Хрущева к Кеннеди. Россия звала к примирению. Потом объявили о высшей боеготовности.

В школе всё было почти как всегда. Только лица учителей стали напряженнее и голоса тише. Только сами они, подростки с едва пробившимися усиками, успевшие чуть-чуть набрать старшеклассной солидности и снисходительности ко всему, что моложе и старше их неполных шестнадцати лет, собираясь вместе, впадали в какое-то неестественное возбуждение. Они с трудом высиживали урок, а на переменах, говоря о войне, вышучивали над ней, смеялись, шумели и выкрикивались, точно второклассники, до изнеможения. И не останавливали их педагоги, лишь наблюдали издали...

А после занятий Григорьев выходил в странный город. Это был как будто его Ленинград в осеннюю пору красок, когда петербургские дома, налитые светло-серым и розова-

тым каменным теплом и подсвеченные красно-желтыми листьями, резче проступают сквозь черные деревья скверов. Буднично катились потоки машин. Громыхали, покачиваясь, красно-белые угловатые старички-трамваи со сдвижными, вечно не закрывающимися деревянными дверями, пережившие войну и блокаду, родные для мальчишки-ленинградца. Но Григорьев ощущал движения и шум города странно замедленными, словно всё двигалось затрудненно в невидимом силовом поле напряжения и тревоги. Ветра не было. Разреженным казался воздух, неспособный сгуститься, защитить от атомных метеоритов, и в нем трудно было дышать.

Он почти не испытывал страха — в шестнадцать лет смерти не боятся. Мучило неясное, то, что он начал осознавать много спустя: если для ребенка мир всегда устроен разумно, а взросление — познание неразумности мира, то не было в его жизни других дней столь быстрого и болезненного повзросления.

Дети первых послевоенных лет рождения, дети чудом уцелевших отцов и прошедших блокаду и эвакуацию матерей, они ощущали себя особенным поколением. Когда это впиталось в их души? Должно быть, с малолетства, из кухонного чада переполненных коммунальных квартир, где в каждой комнате улыбались с нерезко увеличенных фотографий молодые лица — убитых на фронте, умерших с голода в блокаду. Пяти-шестилетние, они уже чувствовали за собой черный провал времени и сознавали, что растут на краю обрыва первыми росточками.

Кинофильмы и песни, безногие инвалиды, яростно прокатывавшиеся по улицам на гремучих тележках с подшипниками-колесиками, фронтовые вещи отца (брезентовая плащ-палатка, солдатский ремень, сапоги), портреты усыпанных орденами маршалов в альманахах «Круглый год» — всё дышало медленно остывающим жаром войны. И они, малыши, торопливо переживали войну в своих играх. Накрытые толем поленницы в темноватых дворах-колодцах с неизбывным запахом помойки были их окопами и дотами. Ленинград жил еще на печном отоплении, поленниц хватало. Они обороняли

их и штурмовали, отчаянные бойцы — в синяках, занозах, древесной трухе. Война представлялась им такой, какую они видели в «Падении Берлина»: веселые солдаты бегут в атаку, выставив автоматы с круглыми дисками.

Тогда, в начале пятидесятых, в центре города стояло почему-то много войск, и мимо их домов — по проспекту Майорова, через Исаакиевскую площадь — часто проходили колонны солдат. Странно, должно быть, они выглядели — вооруженные, в защитных гимнастерках и пилотках, на выметенном дворниками асфальте среди витрин «Гастрономов» с пирамидами разноцветных консервных банок и витрин «Ленодежды», где, растопырив руки, стыли манекены в длиннополых пиджаках и длинных платьях. Но для детей всё было естественным. Они с тротуаров жадно разглядывали оружие. Автоматы с прикладами и дисками считались у них «нашими», а складные, с узкими рожками магазинов — «немецкими». Им казалось, что солдаты эти идут из войны, и на груди у них в самом деле захваченные у фашистов автоматы.

С утра до вечера в их комнатах говорило, играло, пело радио. Дикторы и артисты, сменяя друг друга, рассказывали о великих стройках коммунизма — Волго-Доне и Каракумском канале. Плескались волны в радиопостановках — волны вокруг нового мыса Тахиаташ в пустынных песках. Каждый день торжественно сообщали, как в разных странах множит ряды могучее Движение сторонников мира. Гремели хоры: «Мы сильны, берегись, поджигатель войны!» и «Песню дружбы запевает молодежь!» И были любимые, неделями ожидаемые передачи с позывными-песенками. Галочка, Дедушка и Боря пели: «Угадайка, Угадайка, интересная игра!.. Кто загадки любит, тот нас и услышит! Кто их отгадает, тот нам и напишет!» И герои «Клуба знаменитых капитанов» пели: «В шорохе мышином, в скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц...»

В детском саду они учили стихи о «светлой сталинской эре» и стихи, проклинавшие Трумэна. С уличных плакатов скалил на них волчьи клыки звероподобный Дядя Сэм: с окровавленным кинжалом в одной руке и голубым флажком с надписью «ООН» в другой, он набрасывался на ма-

ленькую Корею. За поясом у него торчала черная бомба с белой буквой «А».

Впрочем, их еще не слишком задевали мировые тревоги. Они читали добрые книжки — «Лесную газету», «Что я видел». Их группы водили гулять в Александровский сад к Адмиралтейству. Летящий Медный всадник, Нева, поднебесная громада Исаакиевского собора с золотым куполом были для них домашними. Весь город тех лет — с малолюдством площадей, редким автомобильным движением, с вывесками магазинчиков и мастерских в первых этажах и над полуподвалами царственных зданий — «Овощи», «Хозтовары», «Фото», «Ремонт обуви» — был уютным, своим.

А каким счастьем были семейные праздники! Гости приносили свои пластинки к хозяйскому патефону. Из никелированной головки с толстой стальной иголкой, покачивавшейся на черном диске, звучали то приторно-нежный голосок Бунчикова, то смешливый — Шульженко. На стол подавали в разномастных тарелках довоенных сервизов винегрет и картошку с селедкой. А главное, для них, для малышей, — ставили бутылки лимонада. Ах, этот лимонад, «Крем-сода» и «Лимонный», острошипучий, обжигающе-сладкий! До старости не забыть его вкус. Куда он исчез потом?..

В «Детском мире» на Садовой, где на лестничных площадках висели громадные фотографии Сталина и Горького в окружении детей, и в «Магазине новинок» на Невском выставляли удивительные игрушки: автомобильчики «ЗИМ», управляемые гибким тросиком, электрическую железную дорогу с бегущими вагончиками и горящими светофорами. Не продавали, — кто же их купит за двести, за триста рублей! — а именно выставляли, чтобы они могли посмотреть. И они — смотрели.

Потом в их детство вплыл трагический голос Левитана: «Великое горе для всего советского народа!..» Рев гудков над крышами колеблющихся зданий, смятенные лица, слезы. Казалось, время останавливается.

Но — не остановилось. Переплеснуло черные жирные рамки в газетах и полилось живым потоком дальше. Из репродукторов зазвенели новые песни: «Вьется дорога длин-

ная! Здравствуй, земля целинная!» Они пошли в первый класс в пятьдесят четвертом, когда мужские школы объединили с женскими. И с учебой началось главное:

Всё то, что мы впервые узнавали,
Впервые с нами вместе узнавая,
Страна переживала. Мы как будто
Взрослели вровень с ней...

А переживалось — необыкновенное! Первоклашками в чистенькой форме, постукивая вставочками в чернильницы, они переписали с доски в свою первую тетрадку главные слова: «Родина», «Владимир Ильич Ленин», «Иосиф Виссарионович Сталин». А второклассниками они видели, как школьный завхоз Иван Николаевич, хмурясь, подхватывая рамы искалеченной рукой в черной перчатке, сносил из классов по лестнице портреты Сталина и составлял у подвальной кладовки лицом к стене. На изнанке одного портрета кто-то из них успел уже мелом написать «дурак». Иван Николаевич здоровой рукой яростно стер надпись, размазав по бурому холсту пятно меловой пыли, и побежал за следующим портретом.

Впрочем, они еще смутно понимали смысл событий. Их захватывало другое — технические чудеса. Первым знаком времени стали для них реактивные истребители. Когда на уроках рисования задавали изобразить самолет, они пытались вычертить волновавший их воображение контур: короткая, обрубленная спереди сигара фюзеляжа, колпак кабины, узкие, откинутые назад крылья и высокий, скошенный хвост. В самих засекреченных названиях — «МИГ-15», «МИГ-17», — которые они, конечно, знали, им слышались отзвуки новых, необыкновенных скоростей и высот.

Реактивные «МИГи» были символом мощи страны на газетных фотографиях и плакатах. Они видели их в кино — раз за разом взлетающими с аэродрома в заставках киножурналов. Видели кувыркающимися в высшем пилотаже в фильме «Звезды на крыльях» с ослепительным молодым летчиком — артистом Тихоновым (сколько раз крутили тот

фильм в затемненных дощатых столовках пионерских лагерей!). Они видели их наяву над теми же лагерями. Много «МИГов» летало тогда вокруг Ленинграда — над Финским заливом, над рощами Карельского перешейка. В одиночку, парами и четверками, то высоко, то совсем низко над детскими головами, так что можно было разглядеть прозрачную капельку кабины впереди и перышки рулей на хвосте, неслись серебряные стрелы, выпущенные в облака. Небо дрожало, воздух за ними обрушивался пластами свистящего грохота, и земля уходила из-под ног.

В городе открылось метро. В первое же воскресенье чуть не все три миллиона ленинградцев и, конечно, они вместе с родителями — ринулись под землю. Вываливались из битком набитых вагонов на очередной станции, бродили по ней в толпе, жадно осматривали, восхищались и снова втискивались в поезд — доехать до следующей. Детей и взрослых объединило ощущение драгоценного подарка, чуда. Цепочка подземных дворцов казалась ожерельем из разноцветных сверкающих бусин, нанизанных на пульсирующую огнями жилку тоннеля. И всё теперь принадлежало им — полированный гранит, белый и голубоватый дымчатый мрамор, хрусталь и рубиновое стекло, бронза и зеркальный никель украшений. А ведь открылась только первая линия! Сколько же еще дворцов засияет под всем городом, пока они вырастут!

В их жизни стали появляться телевизоры: экранчики с открытку и перед ними — стеклянные подушки-линзы, налитые водой, а лучше, говорили, глицерином. Передачи шли с семи до десяти вечера, шесть раз в неделю. В комнату к соседу, первым купившему телевизор, собирались все, кто не был с ним в кухонной ссоре. Показывали кинохронику, научно-популярные передачи, кинофильмы. Художественных было немного, часто повторяли одни и те же. Почему-то особенно любили телевизионщики жуткую кинокартину «Серебристая пыль» о поджигателях бактериологической войны. Ее крутили чуть не каждый месяц.

Улыбались с экранчика два самых знаменитых в Ленинграде человека, ведущие телестудии: Николай Зименко, стройный, элегантный, с седыми висками, и полненькая, смешли-

вая Зинаида Зубова. Программу они объявляли, как конферансье, стоя на фоне нарисованного театрального занавеса. К ним относились, как к всеобщим приятелям. Однажды вечером Зименко объявил: «А сейчас вы увидите кинокартину "Золотистая пыль"!» Взрослые и дети перед телевизором хором завопили: «Серебристая, дядя Коля!» Зименко, точно услыхав их на экранчике, поморщился, засмеялся, махнул рукой: «Серебристая... пыль»! И все добродушно, даже с благодарностью посмеивались над ошибкой своего любимца. А симпатичные ямочки на щеках Зубовой умиляли всех, особенно почему-то женщин.

Восьми-девятилетние мальчишки, они больше всего любили научно-популярные передачи и кинохронику. Зеленоватый экранчик, сам чудо, светился окошечком в ожидающий их мир. Они видели строительство гигантских электростанций в тайге, круглые палатки ученых на станции «Северный полюс», китобойные флотилии в штормовом океане, толпы пингвинов, расступавшихся перед тракторами антарктической экспедиции.

Время напоминало о себе: вдруг жутко взглядывало с экранчика дуло атомной пушки. Восьмимоторные бомбардировщики с белыми звездами плыли в разреженной высоте вдоль наших границ, их громадные крылья прогибались от тяжести фюзеляжей, нагруженных водородными бомбами. Над тихоокеанскими пальмами с громом поднимался в небо клубящийся огненный гриб. Пожилой человек в старомодном котелке смеялся, открывая большие зубы. Голос диктора сурово спрашивал: «Вы довольны, мистер Даллес?..» И вновь под спокойную музыку научно-популярного фильма бегали по рисунку мультипликационные стрелочки, объясняя устройство советской, мирной атомной электростанции.

Им попадались еще в библиотеках угрюмые книжки недавних лет с названиями вроде «Рассказы о русском первенстве», с паровозиком Черепановых, воздушным шаром Крякутного и самолетом Можайского на обложке. С непонятной им, детям, но даже для них ощутимой злобой, страницы твердили, что все, все, все великие изобретения сделаны в России, а если забыты, так потому, что тупое царское пра-

вительство не оценило, а коварные иностранцы выкрали и выдали за свое. Но вот на экранчике появлялся действительно первый в мире советский атомный ледокол «Ленин» на стапеле. Взлетал в небо действительно необыкновенный самолет — «Ту-104». И в живых голосах дикторов, рассказывавших, как мы обогнали всех капиталистов, звучала не злоба, а веселая уверенность.

Смеялись на экранчике обнявшиеся советские и иностранные спортсмены, победители олимпиад в Кортина д'Ампеццо и Мельбурне. Двигались поющие колонны Московского молодежного фестиваля. Стремительно расширялся мир.

Часто показывали запуски ракет — маленьких настоящих и громадных в фантастических фильмах. Они впервые услышали о Циолковском и межпланетных полетах.

Они много читали (полны, богаты были библиотеки). Больше всего, с жадностью — фантастику. Жюль Верн, Беляев, Ефремов, Уэллс разжигали мальчишеское воображение. А были еще приключения — Майн Рид, Конан Дойль, Хаггард, Буссенар. Почти все книги, особенно иностранных писателей, изданы были только что: в пятьдесят шестом, пятьдесят седьмом. (Через много лет вспомнится и запоздало изумит: как их успевали печатать?)

Каждая новая фантастическая книжка протекала сквозь всю мальчишескую массу мгновенно, как вода сквозь песок. «Двести двадцать дней на звездолете» — там наши пилоты раньше американцев высаживались на Марсе. «Тайна астероида 117-03» — там советские ученые вступали в космосе в схватку с «луианами», пришельцами с другой звезды, во всем похожими на людей, но с руками без суставов, точно толстые гибкие щупальца.

А в киосках «Союзпечати» продавали восхитительные копеечные брошюрки, в ярких обложках, с понятными чертежами и рисунками: «Как устроен реактивный самолет», «Что такое Вселенная», «Энергия атома». Чуть не каждую неделю появлялись новые. Их раскупали мигом. Словно вся страна, жившая в тесноте и бедности, тяжко отрабатывавшая шестидневные сорокавосьмичасовые недели, тянулась к тем брошюркам-букварям — познакомиться с новым веком, что вот-вот наступит и, глядишь, принесет новую жизнь.

Они-то, мальчишки, не сознавали бедности и тесноты. Для них реальность еще смешивалась с цветной иллюзией любимых кинокомедий, вроде «Карнавальной ночи» или «Девушки без адреса». Хотя деньги на брошюрки он стеснялся просить у родителей, копил по гривеннику от школьных завтраков. Отец, узнавая, гремел: «Опять постился, дурень! Дам я тебе рубль на эту дребедень, только голодным не ходи! Как будто понимаешь в них что-то!» И пролистывал, хмурясь и усмехаясь, странички с чертежиками.

Отец казался ему пожилым. Теперь только видно сквозь время, как был молод, — еще сорока не стукнуло, ровесник ему нынешнему. С работы отец приходил до того усталый, что даже отвечал с трудом. Но, поужинав, отдышавшись, понемногу становился привычным — громкоголосым, иногда впоказную сердитым, веселым, любимым. Должность его — «старший мастер» — звучала почетным званием.

Запуска первых спутников они, десятилетние, ожидали, и тем сильнее был взрыв ликования. Перелившись из книг и фильмов в голос Левитана, в газетные фотографии, всё оказалось еще чудесней! Всё шло еще стремительней, чем они мечтали! Первый спутник весил восемьдесят килограммов, второй, через месяц, — уже пятьсот, третий, через полгода, — почти полторы тонны. Еще через год советская ракета облетела Луну, и они вырезали из газет — сохранить, навсегда! — карту впервые заснятой обратной стороны.

Первенство наше в космосе было для них естественным. Их смешили карикатуры, где тощий американец в мятой фуражке забрасывал вслед советским тяжеловесам свой жалкий спутник величиной с апельсин.

В тех же газетах печатали карикатуры и на своих стиляг с начесанными громадными коками волос, в брюках-дудочках, узких словно макаронины. В жизни им такие не встречались, но всё равно было смешно. И от старшеклассников спускались к ним нелепые, дразнящие песенки:

Раз стилягу хоронили,
Семь чувих за гробом шли.
На могиле саксы выли,
Рок ломали до зари...

Как раз в том возрасте, в двенадцать-тринадцать лет, они начали осознавать свой Ленинград. В каменной стройности города впервые уловили напряженное движение. Ощутили стремительность главных улиц, выносящих к Неве, туда, где, виденный много раз, их наконец поразил простор воды и неба в обрамлении набережных. Где с течением волн и полетом облаков стройно плыли по берегам дома и дворцы, колонны, шпили, купола, плыли острова и мосты. Столица России молодой, продвинутая на самый край державы, чтоб увлечь ее за собою, двигалась сквозь время, не старея.

Они полюбили бродить по городу, изучать, словно путешественники, его районы. А каждый район был страной, непохожей на соседние. Башенки и скверики Петроградской стороны теснились уютно и приветливо. В резковатых контурах василеостровских линий сквозило их родство с корабельными конструкциями. Московский проспект, удаляясь от центра, всё выше тянулся в небо угловатыми громадами «сталинских» домов-дворцов.

Для них настала пора музеев. Вначале, конечно, был Военно-морской. Сколько раз приезжали они на ветреную Стрелку Васильевского острова, форштевнем рассекающую течение Невы, проходили мимо Ростральных колонн, похожих на облепленные надстройками и мостиками мачты линкора, и, волнуясь, вступали в глубины дворца, странно называемого «Биржей»!

Им открывался громадный зал Русского флота с ботиком Петра и великанскими, с яхту величиной, моделями стопушечных линейных кораблей в многоярусных парусах из белого блестящего шелка. Черно-лаковые цусимские броненосцы и серо-голубые крейсера в стеклянных ящиках поражали точностью мелких деталей, золотым блеском латунных гребных винтов.

А потом они полюбили каменную прохладу длинных залов Артиллерийского музея: бесконечные ряды орудий, витрины с оружием вдоль стен, волнующая тусклая гладкость боевой стали.

В этих музеях история ощущалась нарастающей мелодией: вначале — славная, хоть и несколько неуклюжая, допет-

ровская старина, а дальше, от основания Петербурга, — через яркий восемнадцатый век, через паровой и железный девятнадцатый — к революционной буре. И тут время в залах начинало растягиваться: героическая эпоха Гражданской войны, радостное двадцатилетие мирного строительства с двадцать первого по сороковой, черная гроза войны, алая, в знаменах, Победа. И, наконец, светлые — буквально самые светлые, точно для них подобрали помещения с окнами побольше, — «послевоенные» залы. Модельки серебристых «МИГов» под потолком, таинственные, без поясняющих табличек, длинные тела ракет, фотографии обломков сбитого самолета-шпиона «У-2» и его летчика Пауэрса. И, конечно, большие фотографии спутников.

В дни майских и ноябрьских праздников в Неву входили боевые корабли. Вытянутый, легкий, с изящно скошенными трубами крейсер «Киров», легендарный защитник блокадного Ленинграда, словно явившийся из «военных» залов музея. И высокобортный, тяжелый, в какой-то особенно светлой голубой окраске, крейсер «Свердлов» — из «послевоенного» зала. И оттуда же — овальные рыбьи тела новых подводных лодок. Они стояли вдоль невских набережных, украшенные гирляндами разноцветных флажков, торжественные, гордые, трогательно свои.

А эпоха, казалось, становится старше вместе с ними и мощно распахивает новое, как только они способны его воспринять. Им было по четырнадцать-пятнадцать в шестьдесят первом. Весь тот год ликующе звучал по радио Первый концерт Чайковского. Взлет человека в космос и Двадцать второй съезд слились с его аккордами.

Мальчишеские души были потрясены рассказом Хрущева о культе личности. Они, подростки, кое-что знали о Двадцатом съезде, но он казался им далеким прошлым, а с тех пор имени Сталина они почти не слыхали. И вдруг, с трибуны нового съезда, не в секретном докладе, а открыто, уже на весь мир — что-то непредставимое, прожигающее. Как убивали невиновных, слепо веривших. Как Якир на расстреле крикнул: «Да здравствует Сталин!..» На мосту времени точно

ветром сметало позади пестрые гирлянды бумажных цветов и флажков, балки и фермы обнажались — в бородавках заклепок, облупившейся краске, ржавчине, засохшей крови, — и, дотягиваясь до новых дней, железом крепли под ногами.

А за окнами — громадные полотнища плакатов и транспарантов, закрывшие фасады, чуть колыхались на туго натянутых тросах. На многих повторялась диаграмма: цифры внизу «1913 — 1940 — 1960 — 1980» и взбегающая всё выше яркая полоса — производство стали, нефти, электроэнергии. Над последней датой она взмывала ввысь, как ракета. Белыми и золотыми буквами на красной материи: «Первая программа партии — выполнена. Вторая — выполнена. Третья — будет выполнена!», «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Должно быть, только теперь они по-настоящему осознали себя избранным поколением. Сама история сберегла их от войны, от неправды и первыми предназначила для будущего. Они жили в тех же коммунальных квартирах, а то и в полуподвалах, их школьная форма из дешевой фланельки, утвержденная в былые еще времена, походила на солдатские гимнастерки, и лишь немногим из них в девятом классе родители могли купить часы. Но им дышалось легко, время было их временем.

Возвращались прекрасные имена уничтоженных. Выходили непредставимые еще год назад стихи, повести, фильмы — и пронзительное «Чистое небо», и «Человек-амфибия» с голубыми красками подводных съемок и песенками про «морского дьявола». Гагарин и Титов улыбались с фотографий за ветровыми стеклами автомашин. Невероятное вливалось в жизнь, быстро становилось привычным. Всё это было для них, и торжеству, казалось, не будет конца.

На уроках им задавали сочинения: «Какой я представляю цель жизни после построения коммунизма». Они задумывались: в самом деле, когда наступит коммунизм, они будут еще молоды. За какие высокие цели бороться тогда, ведь успокоение невозможно? И они находили ответ: при коммунизме всеобщей целью и смыслом жизни станет наука, познание безграничной, бесконечной Вселенной.

В фантастических книгах, которые они теперь читали, путешествовали уже не к Марсу и астероидам, а к звездам на фотонных ракетах, проносились в считанные годы сквозь световые столетия. Они верили, что доживут до этих полетов. Еще не вступив в жизнь, они чувствовали себя всемогущими.

И вдруг — этот октябрь шестьдесят второго. Разреженный воздух. Бескровное чувство бессмысленности... Он выходил на Неву. Приваливался к шершавому, холодящему руки граниту набережной, — подросток в стареньком, длинном пальто и кепке, показавшийся бы пугалом девятиклассникам нынешних восьмидесятых с их джинсами, курточками, вязаными шапочками.

Что же теперь будет?.. Сколько раз потом, когда сдвигались глыбы обстоятельств, — изредка с грохотом обвала, чаще беззвучно и давяще, — наблюдал он у других (и у себя) этот мгновенный переход к придавленному ожиданию: ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ?! Много раз потом. В те дни — впервые...

Он думал о посланиях Хрущева, так не похожих на обычный хрущевский уверенный и насмешливый тон. В них чудилось что-то заискивающее, вызывавшее даже досаду (зачем же так перед врагом?), и была какая-то высшая мудрость: что угодно, только не война!

Хрущев был для Григорьева великим человеком. Всё обновление страны, казалось, движется энергией его одного — крутоголового, с ехидным мужицким лицом. Григорьеву нравилось читать в газетах его огромные речи, густо пересыпанные пометками «веселое оживление» и «смех в зале». И даже в том, что многие Хрущева не любили, рассказывали о нем ядовитые анекдоты, даже в этом был новый воздух — освобожденности, небоязни.

А беспрестанные полеты Хрущева по свету! В каких он только странах не бывал и не выступал, с кем не фотографировался! Всё — для взаимопонимания, для мира. Как же мог Хрущев, великий борец за мир, допустить то, что случилось? Откуда у него, грозившего на любой удар ответить уничтожающим ударом, эта растерянность?

Всего две недели назад утверждали, что на Кубе нет наших ракет. В «Правде» напечатали фотографию: музыканты, прилетевшие из Москвы в Гавану, с контрабасами в руках хохочут над американской газетой. Та объявила их оркестр военным соединением. Теперь оказывается, ракеты были привезены... Зачем же это скрывали? От кого? Выходит, только от своих? Почему Хрущев, такой откровенный с народом, не сказал прямо: «Нас окружили базами, и мы в ответ поставили ракеты у их берегов. Так нужно!»?

(Имени Хрущева, конечно, не было в стихотворных строчках, не собирался он сейчас, в восемьдесят четвертом, дразнить редакторов. Но была в них невероятность того далекого дня — будничного осеннего дня и «высшей боеготовности», точно рубильником включенной в нервы.)

Осматриваясь, он шел вдоль Невы. Дома и дворцы по берегам словно уменьшились в размерах. Тысячетонные арки мостов с ползущими муравьишками-автомобилями стали невесомы. Шпили, блеклые без солнца, были легки и непрочны, свернутые из позолоченной бумаги. Его родной город казался игрушечным, выстроенным на наковальне.

...И над утратившим реальность миром
Повисло небо нереальное — накидкой
Полупрозрачной тонкой пелены.
Свет, словно бы искусственный, белёсый,
Рассеянно и ровно сквозь нее
На город лился, не давая тени...

Не было сил уйти домой. Душа мальчишки жаждала толчка, опровержения. Ноги сами тащили его по центральным улицам, он вглядывался в лица прохожих. Замедлившееся время растягивалось.

И вдруг — на набережной Фонтанки — мимо него промчался открытый военный грузовик с пушкой на прицепе. Пушка была темно-зеленого защитного цвета, приземистая, длинноствольная. Затвор и дульный тормоз на конце ствола — в брезентовых чехлах. Солдаты в кузове прятали головы в поднятые воротники шинелек. Это была обычная полевая пушка образца еще военных лет, и, глядя на нее,

Григорьев подумал нелепо, что до Америки ей своим снарядиком не достать. На сколько, в самом деле, могла она выстрелить? Ну, пусть на пятнадцать, на двадцать километров. Вряд ли везли ее в какой-то связи с мировым конфликтом. Но эта пушка мчалась сквозь притихший, замедленный город под белёсым небом, — через Невский, мимо Аничкова моста, к Летнему саду, — мчалась по-военному стремительно, слегка подпрыгивая на совершенно гладком асфальте, поводя стволом, отражаясь ломкой зеленой молнией в темных стеклах двухсотлетних дворцов. Редкие в рабочий час прохожие на набережной Фонтанки провожали ее взглядами.

И вместе с ними глядя ей вслед, задетый расходящимся вихрем ее движения, под прокашливанье уличных репродукторов, которые готовили к воздушной тревоге, почувствовал он горячими толчками сердца: всё может обойтись... может обойтись... обойдется...

И ощутил другое, смятенно-неуловимое для мальчишеского разума: его спасшийся мир уже не будет прежним! На горизонте жизни, там, где высились межзвездные корабли — серебряные башни остриями под облака на опрокинутых чашах фотонных отражателей, рапиры человеческой мысли, нацеленные в бесконечность, — изламывались сверкающие очертания, размывались, затягивались ватной дымкой.

Нева, октябрь шестьдесят второго,
И этот призрачный белёсый свет...

Але не понравилось. «Зачем ты написал это? Хочешь показать, что твое поколение тоже что-то пережило?»

Литконсультант из отдела поэзии разъяснял ему, что белый стих его лишен внутренней динамики, что произведение губит неопределенность авторской концепции, и что для публицистической поэзии лучше выбирать факты сегодняшнего дня.

Может, не слишком задело бы это Григорьева, но отчего-то ему вдруг показалось, что литконсультант, поучавший его, — молод. Так же молод, как Аля. И это внезапно привело его в ярость.

— 2 —

Туда и обратно вдоль стеклянной стены. Аля всё не появлялась... Значит, в этом году не получилось у него ни одной публикации. В следующем, 1985-м, тоже, наверное, не будет. Новый повод любопытствующим для расспросов.

После нескольких рассказов, напечатанных в неприметных сборничках «молодых авторов», слушок о них, к досаде Григорьева, просочился среди знакомых. Особенно донимали на работе. Выискивали его героям прототипов среди своих сотрудников. Допытывались: с чего это вообще, нормальный с виду человек потянулся в сочинительство?

Григорьев, как с полетами, не нашел сразу нужной защиты. Ворчал, отмахивался, пока так же, как с полетами, не выручила Аля. Она сказала: «Отвечай им просто, что это — твое хобби». Стали отставать, удовлетворенные. А если кто бросал пренебрежительно, что — мало ли теперь жизнью недовольных инженеров царапают прозу да стихи и бегают по редакциям, — Григорьев соглашался: конечно, немало. Вот и он тоже.

По редакциям он, правда, не ходил. Рукописи посылал почтой. Тщательно отпечатанные, каждая — в прозрачной полиэтиленовой папке, и все вместе — в плотном конверте для служебных бумаг. (Аля смеялась над ним. Он покорно вздыхал: да, бюрократ, воспитали.) Возвращались рукописи через разное время — через несколько месяцев, через полгода, иные и через год. Возвращались помятые, разлохмаченные, сохранившие прикосновения чужих рук. Прозрачные голубые папочки исчезали всегда — в редакциях, видно, был на них голод. Григорьев как-то подумывал накупить сразу на трешку десятка два копеечных этих папок и послать в очередном конверте. Но когда Аля сказала: «Всё равно не сделаешь!», — подумал еще и, действительно, не сделал.

Рукописи возвращались не просто так, а с рецензиями. Когда-то первые рецензии Григорьев читал с трудом: фальшиво-благожелательные строчки били по глазам, холод стыда

и беспомощности останавливал сердце. Но достаточно быстро пришло к нему удушливое спокойствие привычки, и, пробегая глазами объяснение очередного отказа, он просто отмечал для себя, что вот эту рукопись не читали совсем, потому и отделались общими фразами, эту — хоть просмотрели. А если приходила рецензия подробная, в которой рассказ его хвалили за новизну темы, но ругали за бедность языка, он доставал из разбухшей «отказной» папки рецензию прежней редакции, где тот же рассказ хвалили за язык и стиль, но отвергали за избитость темы, скалывал оба листка одной скрепкой и в ту же папку убирал.

Поначалу казалось унизительным и то, что новые рукописи приходится отправлять всё в те же журналы. Но тут уж выбора не было, — журналов издавалось немного. Да и отвечали из одной редакции всякий раз иные люди. А рукописи — надо же было куда-то посылать.

Просто удивительно, что несколько раз его всё же напечатали — в тех самых малотиражных сборничках «начинающих». Но странное он всякий раз испытывал чувство, глядя на свое оттиснутое типографским шрифтом детище, словно отчужденное теперь от него и даже просто — чужое, до того трудно узнавался текст, искореженный редакторской правкой. Строчки и периоды прозы, такие ломкие, которые он бережно подгонял друг к другу, пытаясь добиться мелодии, кривлялись хаосом раздробленных осколков. Он заставлял себя прочитывать всё до конца, точно выполнял неприятную, но обязательную работу. Потом убирал в тот же ящик письменного стола, где лежала папка с отказами...

Он повернулся, зашагал назад вдоль стеклянной стены и неожиданно, — как всегда при встречах с ней, неожиданно, — увидел Алю. Она пробиралась сквозь толпу, тоненькая, похожая на мальчика в джинсах и курточке, с коротко остриженной темноволосой головкой. Оглядывалась, отыскивая его, и когда нашла, в темных блестящих ее глазах, на всем детском личике мгновенно отразилась не радость, а почти враждебность.

Так было всегда перед расставанием. Так иногда бывало и в самые нежные минуты их любви, когда Аля, запрокинутая, стонущая, задыхающаяся от его ласк, вдруг открывала глаза, всматривалась ему в зрачки и с неожиданной ненавистью начинала отталкивать его, бить, бить — по лицу, по плечам: «Будь ты проклят!» Он сжимал ее плечи, ловил губами рот, чтобы заставить замолчать, а она металась на подушке с полными слез глазами и кричала: «Будь проклят! Не можешь забыться, так хоть притворись, притворись!..»

Аля остановилась перед ним. Смотрела молча, не здороваясь.

— Здравствуй... — виновато сказал Григорьев.

Каждый раз в первые минуты встречи она казалась ему неправдоподобно юной.

— Пойдем отсюда! — приказала она.

Григорьев покорно вышел за ней к внешней балюстраде. Внизу подкатывали ярко освещенные автобусы, всасывая вытекавшую из залов прибытия толпу. Вспышками разноцветных огоньков в темном небе, точно гроздь, сорвавшаяся с елочной гирлянды, медленно падал лайнер, давя гулом турбин.

Закурили. Григорьев не любил, когда она курила, — по-взрослому, затягиваясь и выпуская струйки дыма. Здесь, в полутемноте, да еще в профиль, она была не так красива: вздернутый носик и срезанный подбородочек делали ее лицо похожим на лисью мордочку. Всегда, когда Григорьев хотел вызвать в себе раздражение против нее, он заставлял себя видеть в ее чертах это недоброе, лисье.

— Надолго летишь?

— Дней на десять.

— Отдохнешь от меня...

Сквозь бензиновый перегар и табачный дым он уловил аромат ее духов — сладковатый, чистый. Рука сама потянулась к ее коротко остриженной головке, пальцы скользнули по мягким, теплым завиткам волос, легли на тонкую горячую шейку. Аля притихла. Когда поднимался в его душе этот прилив нежности и горечи, он становился беззащитен перед ней...

Они познакомились почти два года назад, на встрече нового 1983-го, в незнакомой Григорьеву компании, куда его случайно затащил приятель. Было много молодежи, шума. Танцевали под стереозаписи каких-то знаменитых ансамблей, — Григорьев скучал, пил. В полутемной боковой комнатке, где было хоть немного тише, под распахнутой морозной форточкой дымили сигаретами несколько девушек. Его занесло туда, он тоже сидел и курил. Потом наткнулся на какую-то гитару, от нечего делать стал проверять настрой, и кто-то уже просил его сыграть. Он почти не умел играть, но был пьян — полусонным, добродушным опьянением от вина, насыщения, усталости, и согласился, и начал, осторожно трогая струны, выговаривать давнее, саяновское:

Новый год я встречал
В небольшом городке за Окою.
Там по снегу пройдешь
И покажется ночью такой:
Чуть на цыпочки встанешь
И звезды заденешь рукою.
Только встретиться здесь
Не придется сегодня с тобой.
Говорят, что Ока
Это чье-то старинное имя,
Что кочевники дали
Ей имя седого вождя...

Сбивая его с мелодии, мягко и мощно толкались в стены аккорды стереофонических колонок из соседней комнаты. И вдруг — от ночного морозного окна в полутьме, сквозь слои табачного дыма — будто поплыло к нему бледное детское лицо с устремленными на него блестящими темными глазами, с темными пятнышками ноздрей вздернутого носика, темным пятном губ. Прохладная, очищающая волна нежности поднялась в нем, вымывая опьянение. Твердеющие пальцы уже без ошибок находили лады. Устремленный навстречу ей, он выговаривал — без жалобы, просто, открываясь:

Ну, а как же мне быть
В эту ночь с городами твоими?
Как назвать их теперь,
Сквозь ночную метель проходя?..

Начало их любви тоже походило на опьянение. Аля точно открыла в нем необыкновенный мир, изучала его и восхищалась своими открытиями. В чем-то сам был виноват — распустил павлиний хвост. И работа у него суровая, и командировки по всей стране с самолета на самолет. Ничего, вроде, не преувеличивал, а всё равно... Давал ей свои стихи. Она читала вслух. Медленно, изумленно.

Почти каждый вечер ждала его возле дома, даже тогда, когда не договаривались встретиться. Приезжала и выстаивала на улице часами. По выходным не давала ему выспаться: ни свет ни заря будила звонком в дверь его однокомнатной квартирки. Врывалась к полуодетому, сонному — сияющая, с обещанием накормить каким-то необыкновенным кушаньем, для которого всё привезла. И вдруг, забыв о сумке, пакетах, стихала, горячо задышав, тянулась к его губам, — и неприготовленным оставалось чудесное блюдо, нетронутой — дожидавшаяся выходных рукопись.

Да, это было именно опьянение, и потому он очень скоро почувствовал тревогу. Пытался даже осторожно внушать ей: «Не обманывайся, я обыкновеннее, чем ты думаешь». Куда там!.. Она его скованность объясняла по-своему: «Это оттого, что я не сберегла себя для тебя? Ну, скажи — да?» И плакала, просила ее простить.

В те первые месяцы они ни разу не заговорили о женитьбе. Он-то, хоть и с опаской, раздумывал над этим, но Аля не опускалась до земных мыслей. Алю волновало лишь одно: любит он ее или нет. Он много раз повторял слово «люблю», а она всё не верила, мучалась и мучала его. Казалось, чтобы ее успокоить, надо только произнести это слово как-то по-особенному, с силой заклинания, и сразу — весь мир утвердится. Но у него заклинания что-то не получалось...

Он первым заметил, как понемногу им становится трудно быть вместе. Особенно в будние вечера, когда они соединя-

лись, вынырнув каждый из своего мира. Он — тяжко обмякший и уже сонливый после рабочего дня. Она — легкая, танцующая. Ей не терпелось поделиться возбуждавшими ее новостями о каких-то своих знакомых. Нежные звуки ее голоса, мимика, смех точно осыпали его звенящим дождем. Он любовался ей, с усилием улавливая нить. Она вдруг пугалась: «Тебе неинтересно? Или ты плохо себя чувствуешь?» — «Да просто устал. Устал же, Алечка». — «Что такое, что?!»

Он пытался рассказывать о своих делах — шутливо, посмеиваясь над собой. Опытная партия приборов, — полгода выбивал для нее детали, — взяла и поплыла по сопротивлению на вибростенде. Ведь над душой стоял у паяльщиц, чтоб не схалтурили, да за всем не уследишь, он не Змей Горыныч, у него одна голова. И черт знает, что теперь делать: дважды уже переносил срок по договору, второй раз еле умолил, больше не дадут... И со старыми, серийными приборами — заморочки. Поставщики сняли с производства герметик на импортном сырье, выпускают заменитель, дрянь. Свои заводы брать его отказываются. С поставщиков что возьмешь — чужое министерство. А он «ведет» приборы, в которых проклятый герметик используется, его и долбят снизу заводы, да сверху главк. И еще третье, пятое, одиннадцатое, — всё разом и непрерывно, как молотящие острозубые шестерни, только успевай метаться среди них.

Не надо было рассказывать ей об этом. Не сочувствия же у нее искал. Пусть бы его работа осталась для нее таинственно-возвышенной. Ведущий инженер в научно-производственном объединении с красивым названием — звучит, и ладно!.. Хотя, она бы, наверное, сочувствовала. Она бы, наверное, и на помощь кинулась, если бы с ним ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ. Но ведь ничего не случалось. Это для него вращение и удары шестерён — поток событий. А ей было непонятно, отчего он так озабочен этими неинтересными и, главное, нескончаемыми делами, как можно так уставать от них.

Ей уже становилось обидно, что он часто улетает в командировки. «А ты не можешь не лететь?» — «Ну, что ты! Межведомственная комиссия!» — «Мне скучно будет без

тебя». Она еще не понимала, что начинает скучать с ним. А он уже понимал. И каплями желчи копилась в груди досада: не мальчишка же он, в самом деле, — тянуться выше головы, что-то из себя изображать, чтоб только удержать ее. В его возрасте и ценишь-то женщину за то, что можешь с нею быть самим собой.

Значит, оставалась единственная самозащита — сдавливать себя, не размякнуть, душой к этой девочке не прирасти, чтобы потом, когда всё разрушится и она вернется в свой мир, не было слишком больно.

Она стала звать его в компанию своих ровесников. Он напрягся: вот и всё, лучше порвать сейчас! А она удивлялась, отчего он хмурится. Настаивала, капризничала. И ему не хватило решимости. Убедил сам себя: она уже не может без них, но еще не может без него. Пусть пока будет так, пусть продлится...

Как видно, из-за него Аля на время от компании отбилась и теперь вернулась. Но встретили ее, а с ней вместе Григорьева, радушно и со светским нелюбопытством. Ни шуточек, ни насмешливых взглядов, — он следил. Вежливые юноши с аккуратными стрижками. Миленькие, почти без косметики, девушки. Все одеты скромно, чтоб не сказать бедновато, для нынешней молодежи восьмидесятых: в выцветших и латаных джинсах, дешевеньких рубашечках и свитерках. В основном, студенты-филологи, как сама Аля. С дневного факультета, а еще больше — с вечернего, приезжие, сумевшие кой-как зацепиться в Ленинграде охранниками, сторожами, кочегарами.

Собирались почти всегда не в отдельных квартирах, а в комнатах коммуналок в домах-крепостях старого Петербурга, с полутемными коридорами и громадными кухнями, с застойным запахом холодной сырости, пыли, пригорелых сковородок и луковых очисток, с бесконечным шумом воды в уборной и ванной, с неясными фигурами соседей, бесшумно и раздраженно проскальзывающими из двери в дверь, чтобы не сталкиваться ни с кем из пришедших.

Комнатки были служебным жильем вечерников, предоставленным от службы охраны, от жилконторы. В какой-ни-

будь из этих нищенских комнаток, почти без мебели, но с завалами книг на подоконниках и прямо на полу, разместившись на продавленном диване и табуретках вокруг накрытого клеенкой стола, они подолгу сидели вечерами. Неимоверно курили, прихлебывая крепкий чай, а иногда — черный кофе. Ели мало и спиртное пили с похвальной умеренностью. Как подозревал Григорьев, то и другое — от безденежья. Когда однажды, чтоб не явиться с пустыми руками, он принес бутылку коньяка, ее рюмками, честно поровну, разлили в тот же кофе.

Григорьев с любопытством приглядывался к компании. Симпатичные лица, правда, немного бледные, как у нездоровых детей, редко бывающих на свежем воздухе. Удивляло то, что они с Алей были здесь единственной парой. Все остальные юноши и девушки вели себя друг с другом только по-приятельски. Сексуальных тем, конечно, касались, — отвлеченно, когда говорили о сюжете книги или фильма. В самой же компании царила абсолютная пристойность. Ни малейших следов флирта, никаких рискованных шуточек. Были они бесполыми или собирались сюда, как в клуб со своими правилами, только для духовного общения? Во всяком случае, настороженность Григорьева — с кем тут Аля была до него? — ослабла понемногу.

А следить за «общением» поначалу оказалось интересно. Он знал, что многие в компании пишут — прозу, стихи, переводят. Но никто своего не читал, и говорить об этом избегали. Беседа кружилась какой-то стремительной игрой в знание мировой литературы, мирового кино, мировой живописи и музыки. Сыпались имена великих европейских, латиноамериканских, африканских писателей, о которых Григорьев часто и не слыхал. Прочитанное перелетало над столом пригоршнями хрустальных осколков: колючее сверкание мыслей, переливы парадоксов.

В других литературных компаниях, где бывал Григорьев, собирались, чтобы спорить. Седовласые дяди выкрикивались там, как юнцы. Эти же алины юнцы не спорили никогда. Один рассказывал, остальные внимательно слушали. Потом вступал другой. Искрящиеся осколки, раз промелькнув, ис-

чезали навсегда, мгновенно оцененные и спрятанные. К ним не возвращались. За стол нужно было нести новое, только новое.

Григорьев вначале удивлялся: неужели у нас теперь издают столько переводной литературы? А почему ребята рассуждают о фильмах, которых не могли видеть, откуда попадают к ним подробности из жизни западных писателей и режиссеров?.. Впрочем, эти ребята знали языки и кое-что, наверное, читали в подлинниках, как-то доставая зарубежные книги. Он видел у них и западные журналы в ярких глянцевых обложках. Не какой-нибудь «Плэйбой», а вполне серьезные издания по искусству.

Из рук в руки переходили машинописные листки со стихами эмигрировавших поэтов. Их прочитывали молча, о них не говорили. Эмиграция была связана с политикой, а политика ребят не интересовала. Больше того, считалась, похоже, запретной темой. Когда кто-то из компании стал высказываться о смене властей, — Черненко в те дни пришел после Андропова, — Григорьев впервые за этим столом услыхал, как говорившего с насмешкой оборвали: нашел о чем!

Григорьев замечал, что в пестрой нахватанности ребят много наивного. Они плохо знали русскую классику и ко всему неиностранному, несамодеятельному, что профессионально издавалось и исполнялось в родном отечестве, относились без разбора пренебрежительно, как к серой казенной штамповке. Возможно, ощетинивал их защитный рефлекс: ведь знали они, знали прекрасно, как для них недоступны хоть те же редакции. Молоденькие, напыжившиеся от гордости лисенята у бетонной стены виноградника.

Сквозь их безукоризненную приветливость Григорьев чувствовал все-таки, что вызывает у них недоумение — своим возрастом, своей работой, постоянным молчанием в тени Али. Однажды раззадорился их поддеть. Вдруг влез в разговор и бухнул, что литературу русскую и даже советскую, не всю, конечно, а ту ее толику, что достойна этого имени, считает выше нынешней иностранной! Там, на Западе сейчас, конечно, играют формой, сыплют из сюжетов и слов узоры — куда нашим. Да только сплошь и рядом для

того, чтоб очевидную мысль хитрее завинтить. Боли, боли такой глубокой, человеческой, как у нас, у них нету!

За столом вежливо молчали. Он быстро спохватился, что говорит в пустоту. Имена Трифонова, Шукшина, Воробьева, Меттера звучали здесь экзотичней, чем Кортасар или Дрис Шрайби. Едва умолк, они продолжили свой разговор. Ни возражений, ни иронии...

Их как будто не слишком волновало и собственное будущее. Во всяком случае, никто не делился своими планами (или в этом тоже проявлялся здешний «хороший тон»?). Однажды, узнав что сосед за столом, темноглазый предупредительный мальчик, изучает португальский язык, Григорьев из чувства симпатии заговорил о больших его профессиональных перспективах. С Португалией после «революции гвоздик» у нас отношения хорошие, а главное — на португальском говорит Бразилия. Сто пятьдесят миллионов человек, научно-промышленный подъем, одна из сверхдержав будущего. Контакты будут расти и расти, а много ли у нас владеющих этим языком? Так что, прекрасно... Мальчик, не ответив, посмотрел на Григорьева едва ли не с сожалением.

Он начинал уже томиться за их столом. Аля же восхищалась своими друзьями. Тот у нее был талантлив, другой — исключительно талантлив. И в ее возбужденном восхищении многими размывалось понемногу восхищение им, Григорьевым.

Она уже и раздражаться на него начала — когда он заговаривал с ней о работе. Она как раз закончила свой филологический и ходила без места: предлагали — учительницей, а ей хотелось переводить художественную литературу. Но кому нужны переводчики в таком переполненном специалистами и бедном издательствами городе?

Григорьев предлагал устроить ее к себе в НПО, в отдел информации. Со знанием английского и немецкого, да с его помощью, ее бы взяли, хоть и там штат был полон. «Будешь переводить патенты и статьи. Разобраться в нашей технике — помогу». Она твердила в ответ, что никогда не пойдет в инженеры: «Для тебя неестественен человек без работы, а для меня неестественно бежать утром к звонку и высиживать до вечернего звонка!»

Она приносила свои стихи, требовала оценки. Это были стихи, какие пишут многие начитанные девушки из благополучных семей: желание любви, первые, трагически воспринятые разочарования, горестное чувство собственной исключительности, страх перед неизведанным еще бытом. Ломаный, под Цветаеву, ритм и размер. Боясь обидеть, он хвалил, но, как с заклинанием любви, что-то у него в словах, видно, звучало не так.

Трещинки между ними множились. И как раз в это время Аля настояла, чтобы он пришел к ней домой. Он отчаянно боялся встречи с ее родителями, и то, что при встрече произошло, привело его в еще большее смятение. Родители были из тех, что называются «молодыми». Старше Григорьева на каких-то лет семь-восемь, непохожие на Алю — высокие, крупные, основательные. Так же, как он, инженерного, плебейского сословия. Неплохие, видно, люди, и в ином случае он сошелся бы запросто с этими почти ровесниками. Но случай был не иной, а такой, как есть: пришлось сидеть за чайным столом, украшенным, похоже, лучшим домашним сервизом, выдавливать из себя какую-то чушь, чуть ли не о погоде, и видеть, леденея от стыда, их беспомощную, предупредительную покорность. Они едва не заискивали перед ним. Конечно, не ради его прекрасных глаз и красноречия, а из-за сумрачно молчавшей рядом Али.

После этого Григорьев стал требовать:

— Давай, либо поженимся, либо расстанемся!

Аля воспринимала лишь первую часть дилеммы:

— Зачем ты хочешь на мне жениться? Ты ведь меня не любишь! Ты вообще никого не любишь! Даже себя — в тебе нет нормального, привлекательного для женщин мужского эгоизма. Работу свою ты тоже не любишь, не притворяйся! Ты ее тянешь по обязанности!

— Ты меня на работе не видишь!

— Ну конечно, там ты не сидишь сычом, там ты раскован! А почему только там, почему не со мной? Потому что все твои силы уходят на работу и рукописи, на жизнь уже не остается! Кстати, зачем ты вообще пишешь? Что ты можешь написать? Писателю нужна жизнь разнообразная, свободная, а ты — в туннеле и не хочешь из него выбраться!

— Но ведь это — моя жизнь. Правильно я живу или неправильно, это — МОЯ ЖИЗНЬ! А туннели... так должен кто-то писать и о туннелях.

— Да для кого же, господи?! Для тех, кто живет так же, как ты? Думаешь, им это будет интересно?.. Вот, скажи: ты хоть когда-нибудь чувствовал себя счастливым? Хоть раз в жизни? Я не могу себе такого представить!

Чувствовал ли он себя когда-нибудь счастливым? Аля, Аля, как еще наивна ты в свои двадцать четыре! И та давняя песня тоже была наивна. Только теперь понимаешь и наивность ее, и мудрость. Артур Эйзен ее пел на новогоднем «Огоньке», картинно хмурясь и прижимая руку к груди. Кажется, как раз под новый 1963-й: «Годы, вы как чуткие струны: только тронешь, запоет струна!» Они, в самом деле, как струны. Все здесь, близкие и дальние, одинаково под рукой. Притронешься — прозвучит слышное только тебе и угаснет во времени...

В июне 1963-го, закончив девятый класс, они втроем — Димка Перевозчиков, Марик Чернин и он, Григорьев, — забрали документы из дневной школы и отнесли в вечернюю. В дневной ввели одиннадцатый класс, вечерняя осталась десятилеткой. Они рассуждали о том, что даже теперь, смотрика, совершаются ошибки. Не страшные, конечно, как при культе, но — ошибки. Ведь все говорят, даже педагоги, что одиннадцатилетка — нелепость.

А впрочем, без ошибок, наверное, не бывает. И хорошо, что они уже такие взрослые, сообразительные и решительные. Взяли — и обошли препятствие. Выиграют целый год, раньше сверстников поступят в институты. А если не пройдут, — пожалуйста, готовься снова, до армии еще год в запасе. Чтобы учиться в вечерней, надо было устроиться на работу, но это — в августе. А пока что у них были лето и полная свобода.

Обычно с утра они втроем уезжали электричкой на Финский залив — в Сестрорецкий курорт, в Зеленогорск или в Солнечное. В сеточке-авоське — пакеты с бутербродами и, если случались деньги, несколько бутылок пива (Димка

подбивал покупать). Мелькали домики пригородных поселков. За Лахтой электричка вылетала в простор низкого песчаного берега. Становился виден отдаляющийся муравейник города. В белом скоплении домов, накрытом слоем сизой дымки, различались заводские трубы и стрелы огромных кранов на верфях, золотой блесткой сверкал купол Исаакия. А навстречу плыла гладкая, дымчатая голубизна залива. Синим островком на горизонте проглядывал Кронштадт.

Марик брал с собой транзисторный приемничек, такие были еще в новинку. Покачивалась электричка, гуляли в полупустом солнечном вагоне сквозняки от приоткрытых окошек, выбивалась из приемничка музыка.

Какая была самая популярная мелодия в том году? Ну да, эта песенка из аргентинского фильма. Сам фильм прошел по экранам — ее не заметили. Открыл ее, конечно, любимый субботний «Голубой огонек», и разлетелась она по стране уже с русскими словами. Почти все знаменитости ее исполняли — Кристалинская, Трошин, Анофриев. Появлялись новые и новые переводы текста. Но близким остался тот, из телевизионного «Огонька», для женского голоса:

Тянется дорога, дорога, дорога,
Катятся колеса в далекую даль.
Что ж это на сердце такая тревога?
Что ж это на сердце такая печаль?..

Димка усмехался, глядя в окно. Он был самым заметным из них — крупный, светловолосый, с едкими зелеными глазами и великолепной улыбкой. Среди белых зубов у него выделялись длинноватые и острые верхние клыки, отчего, улыбаясь, он становился похож на красивого молодого волка.

Димка говорил, что уже знал женщин. Такие подробности выдавал, что дышать трудно становилось. И скорей всего, не врал. Он же не хвастался перед ними — просто рассказывал. Они сами подмечали, как на Димку смотрят девушки, даже те, что старше. Как теряются от одного его взгляда, от небрежной шуточки. Им с Мариком какую-нибудь такую шуточку и не выговорить бы, не решиться. А Димке — всё легко.

Учился Димка так себе. Зато на скучном уроке вытащит лист чертежной бумаги, немного подумает, улыбаясь своим мыслям, потом замелькает в его пальцах карандаш, — и, как у фокусника, начнут появляться островками в разных местах руки, ноги, головы непонятных человечков, странные черточки, пятна. Островки, разрастаясь, сливаются, и к концу урока весь лист покрыт рисунком. На перемене, отталкивая друг друга, они его с хохотом рассматривают: два пиратских корабля, «Норд-Ост» и «Зюйд-Вест», свалились на абордаж. Пираты, одноглазые с черными повязками, одноногие на деревяшках, рубятся саблями, палят из пистолетов, мечут, как гранаты, бутылки с ромом. Уморительны их зверские рожи с вывороченными губами и вытаращенными здоровыми глазами. Уморителен проснувшийся с похмелья капитан «Зюйд-Веста» — выглядывает из каюты, и на заросшей морде изумление: что тут происходит?!

В то время они зачитывались «Двенадцатью стульями» и «Золотым теленком». Щеголяли шуточками вроде: «Берегите пенсне, Киса!» Димка разразился целой серией импровизаций. Один из тех рисунков, пожелтевший, сохранился у Григорьева. Улица городка двадцатых годов, покосившиеся домики, лужи, грязь. Торгуют плутоватые бабы с лукошками, дерутся тощие коты, бродит козел-скептик. Подвыпивший поп с крестом о чем-то спорит с красноармейцем в буденовке. Беспризорник прикуривает у нэпмана, а его приятель что-то вытаскивает у того сзади из кармана полосатых брюк. Сквозь всё это безобразие стремительно шагает Остап, брезгливо вскинув физиономию с булыжным подбородком. За ним спешит пугливый Киса, придерживая пенсне.

Какой смех тогда вызывали димкины иллюстрации! Безудержный, но с капелькой неясной печали, словно остающейся на дне после того, как выбежит из стакана веселая пена. Или только теперь так кажется?.. Димка собирался поступать в институт живописи.

...У тебя глаза золотистого цвета,
Возишь ты беду на фургоне своем.
Хочешь, мы поделим одну сигарету
И по белу свету покатим вдвоем?

Нам издалека доносит ветер
Шорохи листвы и звон цикад.
У кого надежда есть на свете,
Тот уже и счастлив, и богат...

Звенела песенка обещанием неведомого счастья и неведомой грусти. Марик Чернин подкручивал настройку, ловил уходящую волну. Невысокий, остроносенький, он оправдывал фамилию — весь был черный. Черноглазый, с каракулевыми кучеряшками, за что прозвали его в школе «синтетическим барашком», с темными щеками (у него густо росла борода, он уже брился каждый день).

Кроме «синтетического барашка» имел Марик другое прозвище — «математический сундук», сократившееся в «Тёму». Своим способностям в математике он как будто сам удивлялся вместе с ними. Он не только решал мгновенно тригонометрические задачки, муку всеобщую, не только держал в голове синусы-косинусы всех углов и уйму логарифмов (на спор с другим классом проверяли его по таблицам Брадиса), он еще и книжки какие-то нечеловеческие по математике собственной охотой читал. А если дразнили, стеснялся: «Интересно же!»

Когда они втроем забирали документы из дневной школы, им встретилась математичка Тамара Абрамовна, смешливая толстуха лет сорока. Подхватила Марика, отвела в сторонку — посекретничать. Но говорила всё равно громко, так что и Григорьев, и Димка услыхали непонятный разговор. «В университет не ходи!» — сказала она каким-то не своим голосом, строго и резко. Марик ответил что-то невнятное. Кажется: «У меня же нормально, как у мамы. У меня только отец...» И еще что-то, про время. Мол, теперь оно тоже нормальное. Тамара Абрамовна сердито повторила: «В университет не ходи!» — и быстро ушла, топая толстыми ногами. Марик подошел к ним покрасневший и хмурый. Как ни приставали, ничего не стал объяснять.

...И опять — дорога, дорога, дорога.
Едем мы с тобою не день и не год.
Кажется, до цели осталось немного,
Но — за поворотом опять поворот...

Электричка летела уже курортной зоной. Сквозь сосны мелькали слева белые дюны, за ними — темно-желтая полоса пляжей с фигурками отдыхающих, и дальше, до горизонта — искрящийся под солнцем залив, ленинградское море.

Григорьев смотрел на Марика и Димку и думал о том, как повезло ему с друзьями. Были просто одноклассники. А вот, решились, именно они трое, на свой смелый маневр, соединились — и хорошо им вместе. Среди них даже соперничества нет, каждый — первый по-своему. Вот он, Григорьев. Далеко ему до Марика в математике, зато книг прочитал больше всех в классе и так умеет рассказывать, что тянутся его слушать, даже девочки.

Марик с Димкой точно знают, чего хотят, а он еще не выбрал институт. Но впереди целый год. Пока сама неопределенность — словно власть над жизнью. Как будто ты над всем и всё тебе принадлежит: электроника, химия, ракетная техника.

Они столько раз видели свое будущее! Дальнее — в кинофильмах: «Девять дней одного года», «Улица Ньютона, дом один». Даже в комедии «Три плюс два», — живот надорвешь от хохота, — и то герой — физик. На экране рассуждали, дразня их воображение, о гильбертовом пространстве, о мюмезонах. Такое время. Ничего, скоро и они всё поймут, хоть и гильбертово пространство.

Их ближнее будущее было в телевизионных передачах «КВН», где в фейерверках остроумия бились студенческие команды. Они поступят в институты — и сами попадут в тот праздничный мир...

Залив был неглубок, его почти пресная вода — холодновата даже в жаркую погоду. А песок на пляже накалялся как следует. Искупавшись, они валялись на берегу, играли в карты.

Димка, мускулистый, загорелый, с искорками песчинок на гладкой смуглой коже, садился по-турецки и, небрежно и ловко держа сигарету щепотью, курил, выдувая дым сквозь сложенные трубочкой губы. Угощал их. Марик отказывался, а Григорьев курил вместе с Димкой. Первые в жизни сига-

реты — болгарские «Шипка», «Солнце», ароматные, в плоских картонных коробочках с откидной крышечкой.

Щупленький бледнотелый Марик (к нему плохо приставал загар, выделялись черные волоски на груди и на руках) лежал, подперев щеку. На темном личике — довольство.

О чем они болтали тогда? Ведь наговориться не могли. Чуть ослабленное временем, доносится их щебетанье: «Ботвинник, балда, продул чемпионство Петросяну! Он на матчах-реваншах привык отыгрываться, а их отменили. — А Терешкова-то, Терешкова! Наши — молодцы! Не просто первые, а всегда что-нибудь такое выдадут — каждый раз сенсация! В прошлом году сразу два "Востока" запустили, а в этом — уже не просто два, на одном женщина. Что-то дальше будет! — А помнишь, как этот в "Трех мушкетерах": эть-ть! — А как во второй серии Портос этого к колоколу подвесил! — А мадам Бонасье у них так себе, могли получше выбрать. Вот миледи — да! (Димка в знак согласия причмокивал и щурился.) — Миледи — да-а! Блондинка с черными глазами. Какая, говоришь, артистка? Милен Демонжо? — А читали в "Знание-Сила": изобрели приборы, дают прожигающий луч, как "гиперболоид инженера Гарина". — Об этом и в "Технике молодежи" было. Квантовые генераторы называются. Американцы этими лучами хотят ракеты сбивать. — А "Юность" вчера вечером слушали? Робертино Лоретти, "Джа-ма-ай-ка!", больше не поет. Ему шестнадцать лет, у него голос меняется. — Мне тоже шестнадцать было, а у меня голос ни черта не менялся. — Так меняется не тот голос, которым разговариваешь, а тот, которым поешь. — А какая разница?..»

Григорьев всегда покупал на вокзале свежие газеты. Димка и Марик читать их ленились, требовали, чтоб он пересказывал. А газеты тем летом интересны были необыкновенно. Особенно «Известия». (Говорили, потому, что редактор — зять Хрущева и ему больше всех позволено.) Почти в каждом номере — или биография уничтоженного при Сталине полководца, революционера, государственного деятеля, или статья, или рассказ о временах культа.

А в «Правде» шла полемика с китайцами. Те присылали очередное письмо, и наши его печатали. Огромные были

письма. Начиналось всегда словами: «Дорогие товарищи!» И дальше, на целую газетную страницу — попреки, обвинения и ядовито-цветистая ругань. За то, что не хотим воевать с империалистами, капитулируем, сами обуржуазиваемся. Кончалось обязательно: «С братским приветом!» Вся другая страница — ответ нашего ЦК. Тоже «дорогие товарищи» в начале и «братский привет» в конце. Отповедь, полная достоинства, но с иронией. Было обидно, больно даже. Всегда дружили, всегда так хорошо говорили о Китае: наши братья, могучий шестисотмиллионный народ. В школу на праздники приходили китайские студенты. Тихие, улыбались смущенно. И вдруг — ненавидят. Ведь ненавидят же! За газетными строчками словно ревела бесконечная, брызжущая яростью людская масса. За что?!.. И гордость была: смотрите, всё печатаем. Ничего не боимся, наша правда!

А империалисты как будто взялись за ум. Подписали с нами договор о прекращении ядерных взрывов в воздухе, в океане и в космосе. Газеты и радио ликовали. Если бы испытания продолжались еще лет десять, война бы не понадобилась, вымерли бы все от радиации. Нет, что ни говори, а люди еще разума не лишились, даже американцы. Хоть у последней черты, но остановятся вовремя. Всё будет хорошо.

Они пили теплое горьковатое пиво из бумажных стаканчиков. Горячо и легко кружилась голова — от солнца, от пива, от простора...

Ты еще наивна, Аля. И не расскажешь тебе про лето шестьдесят третьего. Как с годами оно сперва отдалилось немного, но скоро, очень скоро — остановилось. Поток времени его обтекает, новые годы только сменяются, как цифры в окошечках счетчика, не увеличивая до него расстояния. И всё так же близко пылает над Финским заливом необычно жаркое солнце и смеются его друзья.

Оно и тогда тянулось с блаженной медлительностью, последнее лето их детства. Тянулось — и промелькнуло мгновенно. В конце августа они поступили на работу. Марик — фотолаборантом в проектный институт. Димка —

в дом культуры художником-оформителем. Слегка гордился, черт, — как же, художник, пусть пока по лозунгам и стендам!

А за Григорьева решил отец. Еще весной, когда Григорьев дома объявил, что пойдет работать, а доучиваться будет в вечерней школе, отец посмотрел на него, посмотрел, но сказал только: «Тогда — ко мне в цех!»

Кадровичка, оформляя документы, ворковала: «Значит, сын? Смена подрастающая?..» Был привкус игры. Верхнее возбуждение: он поступает на завод, будет, как мужчина, зарабатывать деньги. А глубже — веселое спокойствие: всё любопытно, но для него — ненадолго.

Ждал, что его возьмут учеником токаря или фрезеровщика. На уроках труда в восьмом классе раз в неделю работали на станках, ему нравилось. Но отец отмахнулся: «Чертежником пиши его! У нас как раз Светка в декрет ушла!» И повел за собой из отдела кадров вглубь завода, по темноватым лестницам и переходам, навстречу неясно нарастающему шуму.

Цех, залитый неживым светом синевато-белых ламп, показался подводным царством. Среди тускло-масляных станков, исходивших железным гудом, колыхались серые, мягкие фигуры людей, и звуки отдавались здесь гулко, точно в плотной воде. Били бесконечной пулеметной дробью автоматические штампы, выплевывая, как отстрелянные, издырявленные стальные ленты. Слегка жёг ноздри и глаза кисловатый запах дымков от раскаленной стружки, испарений эмульсии, стекавшей на резцы, машинной смазки.

«Кабинет мой!» — объявил отец, входя в клетушку, открытую, как аквариум, стеклянной перегородкой цеху и всему цеховому шуму. Здесь едва помещались стол, заваленный чертежными «синьками», да шкафчик без дверок с инструментами на полочках. Рядом была клетушка ЦБД — цехового бюро документации, место самого Григорьева: стол с чертежной доской и два шкафа, набитых теми же «синьками» в растрепанных пачках.

Работа оказалась несложной. Из ОГК, отдела главного конструктора, приходили в ЦБД форматки-извещения — изменить размер детали, ввести дополнительное отверстие или

паз. Григорьев поначалу удивлялся: всего-то поменять какую-нибудь резьбу М5 на М6, а столько слетелось подписей: разработал, проверил, утвердил, технолог, нормоконтроль, согласовано. Получив извещение, отыскивал в пачках нужную «синьку». По справочнику Федоренко и Шошина он в несколько дней научился читать чертежи. Ему нравилось из красно-фиолетовых линий на желтоватой бумаге вызывать перед собой деталь со всеми сложными формами, тяжестью и блеском металла. Он пытался угадывать причину изменений. Здесь — понятно, винты для надежности хотят покрупней поставить. Здесь — снизили класс чистоты на внутренней поверхности, к ней трудно подобраться. Тушью, аккуратненько, всё врисовывал на «синьку». В клеточки углового штампа вносил номер извещения, число изменений и не без удовольствия расписывался. Без его подписи — документ не документ! У него настоящая расчетная книжка: ученик-чертежник, оклад пятьдесят рублей.

Но привкус игры не мог заглушить появившуюся тревогу. Отец на работе с ним разговаривал коротко, только о делах — старший мастер с чертежником. Отцу было некогда, или не хотел показывать в цехе, что слишком опекает сынка. Словно нарочно кинул несмышленого в волны: ну-ка, сам плыви!.. Дощатая коробочка ЦБД покачивалась от гула и железных ударов. Тянуло вентиляцией. Сквозь веяние кисловатого металлического воздуха протекали то аммиачная вонь уборной, то табачный дым из курилки.

Вдруг распахивалась легкая дверь — кто-то из рабочих являлся за чертежами: «Светка! Корпус МТ6.542.008!.. Светка-а! Триста второй переходник! Пошустрей, в лоб твою мать!» Сквозняк часто доносил от них тошный запах перегоревшего во внутренностях вина. Григорьев уже видел, как по углам в раздевалках, почти не скрываемые, валяются пустые бутылки. Обычно восьмисотграммовые «Фауст-патроны», «Фаусты» (как называли их за отдаленное сходство с немецкой противотанковой гранатой) из-под самого дешевого — «рупь шестьдесят семь» — «Плодо-ягодного» или «Волжского».

Почему так неожиданны оказались обитатели этого мира? В плакатных-то рабочих, хозяев страны, с мужественными

усами и сияющими взорами, в фартуках поверх белых рубашек, Григорьев, положим, и без того не слишком верил. Но ведь у него у самого отец — тот же рабочий. И у многих его приятелей. То ли раньше он встречал одних людей, а здесь были другие. То ли они становились другими людьми, когда по утрам собирались в раздевалках у своих фанерных шкафчиков, — невыспавшиеся, еще вялые, — натягивали вместо домашней одежды серые грязноватые спецовки, перебрасывались первыми хрипучими матюгами и точно темным электричеством заряжались друг от друга раздражением.

Когда они разъединялись по своим станкам, их работой можно было любоваться: по-охотничьи пригнувшаяся фигура, напряженный взгляд на деталь, руки медлительно поглаживают, подправляют маховики подачи. Вдруг — резкое выпрямление тела, боксерские движения стремительно высвобождают деталь из зажима, взлетает в пальцах кинжальный блеск поверочного калибра или штангенциркуля. Бросок новой заготовки — и опять охотничья, выжидающая поза, только руки, мягкие, как щупальца, словно сами по себе отыскивают маховики и рычаги.

Но вот они сходились в курилке — и вновь сливалось и высоковольтно подскакивало темное напряжение. Григорьев слышал, как в их разговорах на все лады повторяется «мы» и «они». «Мы» — рабочие, а «они» — все остальные, кто только и думает, как рабочего «наебать». «Они» — это всё начальство, и мастера, и начальник цеха, и директор. У всех одна подлая забота — повысить нормы, снизить расценки и разряды. О Хрущеве в курилке рассказывали такие грубые и глупые анекдоты, каких Григорьев еще никогда не слыхал. Здесь ничего не боялись.

Но и их «мы» — немногого стоило. Между людьми в курилке словно не бывало ни дружбы, ни простой симпатии. Друг над другом они подшучивали так грубо и гадко, что Григорьеву казалось: вот-вот кто-то не выдержит оскорблений, вскинется — и начнется драка. Но все спокойно бросали окурки в жестяную ржавую урну, лениво поднимались и расходились к станкам.

«Светка сраная! Ты что ж мне комплект неполный дал! Где муфта восемнадцатая?!» Григорьев, дрожа от обиды, перерывал пачку «синек». С пожилыми рабочими было еще терпимо. Они, хоть и звали его «Светкой», и материли, но не издевались попусту. Им было на него наплевать. Устроил «старшой» сынка перебиться год до института — хрен с ним.

Зато цеховые подростки вцепились в него, точно дворовые щенки в домашнего котенка. Их ненависть была беспричинной, бессмысленной и потому ошеломляла. Их прыгающие лица сливались вокруг в одно размазанное, бледное лицо с водянистыми злыми глазами и ощеренным ртом. Это они придумали «Светку» и всячески, гадко выворачивали то, что предшественница Григорьева ушла в декретный отпуск. В тесном коридоре могли больно толкнуть, дать подножку. Григорьев яростно отругивался (научиться мату оказалось нетрудно), но силой отвечать не решался. Не только из-за того, что боялся всей своры. Из-за отца. Страшно не хотелось, чтобы отец узнал, как ему трудно. Он уже видел, как тяжело самому отцу.

Сквозь шум вдруг доносились громкие голоса из отцовской клетушки. Григорьев заглядывал туда — и холодом обжигал испуг: отец стоял в своей брезентовой куртке, похожей на военный китель (головка штангенциркуля в накладном кармане блестела, вздрагивая, на груди), стоял и КРИЧАЛ на какого-то рабочего, а тот кричал на отца (НА ОТЦА!), в чем-то его обвиняя. Что-то об инструменте, нарядах. Оба матерились. Отец в перебранке был словно меньше ростом, чем дома, с незнакомым измятым лицом... А немного спустя Григорьев видел: отец возле станков, как ни в чем не бывало, беседует с тем же рабочим, они что-то спокойно обсуждают, улыбаются. Неужели отец заискивает перед ними?

И всего тоскливей, ударом в сердце, отзывалось отцовское лицо, когда, заглядывая к нему, Григорьев заставал его одного над бумагами: напряженное и горько-отрешенное лицо, словно отец — один во всем свете.

Почему люди в цехе такие? Почему?!.. Григорьев пытался примерить их жизнь к себе. Он здесь временно, у него уче-

ба, он скоро уйдет в институт. А эти люди — останутся. Если б ему самому знать, что впереди только работа за станком, шесть раз в неделю, с утра до вечера, всю жизнь... Что-то пугало. Не только грязь, шум и дурные запахи. Что же, что? Неужели сам труд этих людей?

Резьбу увеличить на миллиметр — думают шесть человек, специально выученных, у них справочники, расчеты. Этим же, собравшимся в цехе, остается только машинно исполнять. Они — придатки к рычагам своих станков, их мастерство — отлаженность механизма. Но ведь они — живые люди, с горячим мозгом, с человеческими нервами. Противоестественность получается, и сознают они ее или нет, — она их раздражает, она!

Почему же у нас всегда внушали и внушают, что рабочий класс — самый передовой, что он — творец истории? Какое творчество — быть механизмом?

Нет, так нельзя, и это, наверное, скоро кончится. Мы строим коммунизм, в Программе партии записано: стереть грань между физическим и умственным трудом. Конечно, земного рая с бесплатным изобилием мы не создадим, — это понятно. Только дурачки так коммунизм представляют. Но за двадцать лет, — теперь уже меньше осталось, семнадцать, — заводы обновятся, будут кибернетические станки, свет и чистота. Люди станут другими, отец не будет так уставать... Но еще до этого он сам уйдет отсюда. А отец — останется.

И вдруг — морозом в груди — обжигал испуг: чтоб вырваться отсюда, ему надо поступить в институт. А вдруг он провалится на экзаменах, не наберет нужные баллы?! Он закрывал плотнее легкую дверку ЦБД, раскладывал на чертежной доске свои учебники, зажимал уши от шума.

На вечернюю школу надеяться не приходилось. Они с Мариком и Димкой поняли это с первых занятий. Им еще повезло: их десятый класс состоял из ровесников, таких же парней и девушек, устремившихся сюда, чтобы сберечь год. Но вся вечерняя школа ошеломляла пестротой лиц и возрастов, особенно бросавшейся в глаза на переменах, когда все

шумно вываливались из классов в коридоры и на лестничные площадки — курить.

Здесь стояли и вместе дымили рабочие-подростки, такие же, как у него на заводе, только без той, цеховой озлобленности (тут побеждало в них детское, озорное, школьное, до конца еще не истребленное в душах), и взрослые парни, отслужившие армию, иные и женатые, презрительные к допризывной мелюзге. А рядом солидно покуривали взрослые мужчины, тридцати и сорокалетние мастера, прорабы, начальники производственных участков, ремонтных служб, складов, гаражей, недоучившиеся в жизни и теперь спешно добирающие пропущенную науку — не ради знаний, ради аттестата о среднем образовании, необходимого им по должности. Все они прошли блокаду либо эвакуацию, некоторые сами успели повоевать. Доносились обрывки их разговоров: «Да ну, ППД — не автомат! Его, как ни чистишь, он, сволочь, всё равно заест!..», «Сравнил тоже Говорова с Жуковым! Говоров — умница, солдат берег! Он, знаешь какую артподготовку делал: воронка на воронке, всё у немцев перемешает, и только потом — нас поднимать!..»

Учительницы в этой школе, отчаянные женщины, молодые, ироничные, за отпущенные им шестнадцать учебных часов в неделю умудрялись втискивать в головы своих учеников тот же объем материала, который в дневной школе проходят за тридцать шесть. Но учиться мешала усталость. Он впервые узнал ватную слабость и отупение после рабочего дня. Ощутил тревогу: может быть, зря ушли из дневной? И решимость: теперь, когда мосты сожжены, — только вперед! Рассчитывать — только на себя!

А лето шестьдесят третьего словно еще продолжалось. Уже не во внутреннем их состоянии, а как бы само по себе, принимая грозные черты. Никогда не было в Ленинграде такого знойного сентября. Город плавал в горячей духоте. И в эти дни, как ручейки пота, потекли слухи о небывалой засухе и хлебном неурожае. Смятение прокатилось по городу.

Возле булочных еще до открытия стали выстраиваться очереди. Он видел их утром, когда шел на работу. И днем,

когда шел с работы. Он спешил на учебу, ему не приходилось стоять в этих очередях самому, выстаивала мать. И приносила невиданные батоны по десять копеек (вместо привычных тринадцатикопеечных) — с добавкой гороховой муки, зеленоватые на изломе, тут же каменно черствеющие. Жаловалась: два часа простояла. Отец говорил: «Ну что ты хочешь? Мы, ленинградцы, пуганые...»

Было что-то противоестественное во всем этом, нелепое, невозможное в атомный и космический век. Лица в очередях были пугающе непривычны. И в то же время странно знакомы, напоминали кого-то. Он вспомнил: такое же лицо было у отца на работе, когда тот оставался один. Люди в очередях тоже были словно отделены друг от друга, каждый — сам по себе, как последний, единственный человек, оставшийся на свете.

А вокруг шумели солнечные ленинградские улицы сентября 1963-го. Катились блестевшие цветным лаком изящные «Волги», проносились похожие на космические корабли красавцы-автобусы львовского завода — округлые, с зеленовато-голубым прозрачным верхом. Рабочие меняли баллоны в уличных автоматах газированной воды (три копейки стакан с сиропом, копейка — без сиропа). За стеклом киоска «Союзпечати» улыбались с цветной обложки «Огонька» Хрущев, Терешкова и Быковский. На домах ярко алели транспаранты с цитатами из речей Хрущева: «Коммунизм и труд — неразделимы!», «Цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!» Из приоткрытого окна пробивался на улицу с магнитофонной пленки голос Окуджавы: «Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами...»

И здесь же — эти молчаливые очереди, точно выползшие на асфальт из какого-то другого мира, который оказался так неожиданно близок.

— 3 —

Аля уже докурила сигарету почти до фильтра, но всё еще молчала. Смотрела вниз, на толпу, на автобусы. Из подкатившей к дверям аэропорта вишневой «Лады» выбралась

женщина в светлом плаще. Подняла голову, точно почувствовав, что они смотрят на нее сверху, и вдруг — в белом и оранжевом сиянии светильников — показалась очень похожей на Алю: такая же тонкая фигура, темные волосы, темные глаза и темное пятно губ на бледном лице. Только вместо алиного раздражения — величавое спокойствие. Она скользнула взглядом по Григорьеву и Але, потом отвернулась к своему спутнику — мужчине в кожаной куртке. Тот уже вытаскивал из багажника чемодан.

Когда эта пара прошла в стеклянные двери, Аля щелчком метнула вниз потухший окурок, норовя попасть в крышу «Лады», и бросила искоса мгновенный, презрительный взгляд на Григорьева. Он только поморщился. Лоб и виски наливались тяжестью, побаливали. Хорошо, если удастся заснуть хоть ненадолго в самолете. Иначе — плохо. Перелет длится четыре часа, да время там, куда он летит, на четыре часа вперед, — он окажется в сибирском аэропорту под утро. С первым автобусом — в город, на завод, и весь день мотаться на ногах. Только к вечеру доберется до заводской гостиницы. Вот уж тогда поспит...

Аля всё отмалчивалась. Как быть? Говорить с ней о чем попало, лишь бы поддержать разговор, в оставшиеся считанные минуты было рискованно. Придерется к чему-нибудь, рассердится. Хуже нет — улетать поссорившись.

— Может быть, позвонить тебе оттуда? Буду родителям звонить, и тебе заодно...

Чуть язык не прикусил от этого «заодно». Вырвалось же, черт побери! Но тут же подумал со злостью: а ничего, это тебе тест. Аля обернулась. Сейчас в ее лице не было раздражения. Блестящие темные глаза смотрели спокойно, точно из глубины.

— И что ты мне оттуда сообщишь? Сколько подписей на решении собрал?

У Григорьева неприятный холодок протек в груди. Значит, она пришла расставаться.

Они уже расходились один раз. Нынешней весной. Он отказался посещать ее компанию. Она с этим как будто сми-

рилась. И на работу устроилась — в библиотеку геологического института. («Вот я и на службе! Ты доволен?») Зато при встречах стала вести себя странно. То — нежная, как прежде, покорная и вдохновенно страстная. То — холодно раздраженная: колкости, ледяной взгляд, мрачное молчание. Каждый раз по-иному, без всякой логики.

Он потребовал объяснений. Аля гордо заявила, что, в отличие от некоторых людей, она не одномерная. Она — человек со сложным духовным миром. У нее бывают разные состояния. Не настроения, а именно СОСТОЯНИЯ. И если она окажется в неподходящем для него состоянии, то что же делать? Истязать себя, чтоб только ему угодить? Это же будет фальшь!..

А после майских праздников его отправили в командировку по чужому старому прибору, серийному с девятьсот лохматого года. Замдиректора сам позвонил ему и, как он ни брыкался, — выпихнул: «Слетай, слетай на недельку, разберись!» На уральском заводе с этим прибором всё встало намертво, с начала года ни одной партии не сдали. А у них, в ленинградском НПО, проклятое изделие вроде никто и не вел. В лаборатории, за которой оно числилось, и людей сведущих не осталось: кто на пенсию вышел, кто уволился.

Тогда, к маю, у них с Алей только-только всё стало опять налаживаться. Она провела у него ночь, а потом полдня возилась на кухне, гремя кастрюлями. Суп сварила и приготовила какое-то особенное тушеное мясо с картошкой (правда, немного сожгла). И тут — пришлось в спешке улетать. Не дозвонился ей ни на работу, ни домой. Только и успел черкнуть и бросить в почтовый ящик открытку, что вернется через неделю.

А просидел в командировке — три недели! Всё оказалось запущено до маразма, не поймешь, как до сих пор этот чертов прибор вообще выпускали. Технические условия, техпроцесс и программа испытаний друг другу противоречат. Сборочным чертежом допущены конденсаторы трех типов, и два из них не подходят. И всё такое прочее.

Двадцать дней на заводе прошли, как в пелене. В семь утра, к началу первой смены, прибегал в цех, оттуда — в за-

водоуправление, к технологам, конструкторам, военпредам, в ОТК. Уговаривал, доказывал, спорил. И — снова в цех, уже до десяти вечера, до конца второй смены. Сам паял, сам измерял сопротивления, сам замешивал компаунд с отвердителем и заливал разъемы.

Да на беду, еще и городок вокруг завода был из «голодных». В продуктовых магазинах кроме хлеба — только пакостные консервы «Завтрак туриста», рыбный фарш с крупой. Три недели на завтрак и на ужин давился этим фаршем, намазывая его на хлеб. Обеды в заводской столовой были не лучше: на первое — водянистый суп, на второе — что-нибудь вроде куриных костей с макаронами. Впрочем, выматывался так, что есть почти не хотелось.

Его соседями по номеру в заводской гостинице были два снабженца-толкача, ожидавшие, когда изготовят и отгрузят какие-то комплектующие детали. Но детали для них всё не делались, толкачи слонялись без толку, много пили и время от времени звонили на свои заводы: чтобы им продлили командировки и выслали еще денег.

Сам Григорьев почти каждый день звонил в Ленинград родителям. Обычно от главного технолога или из приемной главного инженера, там аппараты имели выход на междугородную связь. Быстро спрашивал у отца или у матери, как дела. (Подразумевалось только одно: как у отца с сердцем? Если в ответ говорили о чем угодно, а про это не вспоминали, — значит, уже нормально.) Коротко сообщал, что у него тоже всё в порядке, и вешал трубку.

Личные звонки со служебных телефонов, конечно, были запрещены. Да и вообще, все междугородние разговоры записывались на магнитофон, а потом прослушивались в группе режима. Противно становилось от мысли, с какой физиономией будет изнывающий от скуки режимник слушать его ежедневные однообразные вопросы и такие же ответы родителей. А в общем — плевать. Режимников беспокоило только разглашение секретных сведений. Что они могли ему сделать? Ну, в крайнем случае, заставили бы все звонки оплатить из своего кармана.

Он и Але пытался дозвониться. Но по будним дням ни самой Али, ни ее родителей дома не было, а к ней на работу, в библиотеку — никак не мог попасть. Видно, неисправность там была на АТС или с аппаратом. Вечерами же позвонить ей домой никак не получалось: заводоуправление было уже закрыто, а сам он сидел в цехе, где телефон только местный. А в выходные — не только в заводоуправление не пускали, но и единственное почтовое отделение городка с переговорным пунктом было заперто. Впрочем, все выходные дни он тоже проводил в цехе.

Соседи-толкачи сильно уважали Григорьева. Утром он уходил на завод, когда они еще спали, а вечером возвращался, когда они уже опять храпели, пьяные. Но для него они почти всегда оставляли на столе стакан вина или полстакана водки — знак восхищения тружеником. Делать было нечего: выглатывал, закусывал куском булки, намазанным «завтраком туриста», и заваливался спать.

И расшевелил-таки, столкнул дело. При нем испытали и сдали, наконец, первую партию приборов. Только никакой радости он не почувствовал. За эти три недели своя собственная работа, в Ленинграде и на других заводах, была запущена так, что не скоро расхлебаешь. Да с собой увозил протоколы: НПО в такие-то сроки должно откорректировать документацию по прибору, сделать то, сделать сё. А какое, к черту, НПО? Это ему, Григорьеву, теперь тянуть, вдобавок ко всей прежней своей хворобе! А уж о том, что за три недели ни строчки не написал, и подумать-то об этом было некогда, — что и говорить...

Добрался до дома и кинулся звонить Але. В трубке — холодный голосок: «Прилетел? Так скоро?» Умолил: приезжай! Унижался перед ней, только бы не оставаться сейчас одному. Появилась в его квартире — тоненькая, в джинсах и клетчатой ковбоечке. Он кинулся к ней, схватил — целовать. Расстегнул легкую ковбоечку, под которой только белая маечка — и всё, нежное, томящее тепло и запах ее тела. Она выскользнула, как змейка: «Не смей! Не трогай меня!»

Отшатнулся от нее, сел. Она стала расхаживать перед ним, не застегивая распахнутую на груди ковбоечку, слегка

поворачиваясь туда-сюда, словно для того, чтобы он мог лучше оценить, как сидят на ее фигурке тугие джинсики. Стала опять говорить о том, что, вот, он улетел, почти месяц ни слуху, ни духу. Вдруг — свалился, как снег на голову, набрасывается и требует немедленной женской реакции. У нее за это время были периоды, когда она тосковала по нему и, кажется, всё бы отдала, только бы его увидеть. Но сейчас у нее как раз такое состояние... Нет, не крайнее, когда она в противофазе ему, но — промежуточное, переход...

Он следил за тем, как она ходит, поворачивая туда-сюда джинсовым задиком, слушал, слушал, и всё разъярение, что скопилось в нем, тяжело поднималось вскипевшей массой. Этому нельзя было дать прорваться, но — прорвалось. Он вскочил, замахал руками, затопал и заорал, не помня себя, на нее, сразу съежившуюся: «Дура! Это всё от безделья твоего проклятого! Дура! Циклотимичка!» Орал до тех пор, пока не хлопнула за ней дверь квартиры.

Его трясло. Думал, что долго не сможет успокоиться. А успокоился — почти сразу. Может быть, оттого, что прокричался, разрядился. Все беды, в том числе потеря Али, в один миг ощутились необратимыми и как-то подровнялись. Даже сильным себя почувствовал: живем дальше, с нового старта!..

Улетел в новую командировку, вытаскивать свои запущенные дела. Об Але вспоминал толчками, всплесками. Первый — самый болезненный, тоска... Потом — послабее. И еще, еще, по затухающей. Ничего. Прав Хемингуэй: врут и те, кто говорит, что не могут без женщины обойтись, и те, кто говорит, что женщина им вообще не нужна. Есть хорошая женщина, — конечно, не можешь без нее обойтись. А нет, так нет. Обходишься. До следующей.

А в один прекрасный день, в конце июня, возвращаясь с работы, он увидел у своего дома мрачно караулившую Алю. Молча подошла, хмурая, и ткнулась ему в плечо головой, точно боднула.

Потом она опять хозяйничала в его однокомнатной квартирке, где у него всё было вычищено, выметено, разложено по местам. (Он любил порядок. Если не был в отъезде, каж-

дую неделю устраивал приборку, это и нервы успокаивало.) И, как всегда с ее вторжением, всё слетало со своих мест, всё перепутывалось. Она требовала, чтобы он сбегал в магазин за уксусом (опять затеяла какое-то необыкновенное жаркое), и упускала шипящий кофе на плиту, и долго плескалась под душем в ванной.

А потом, в постели, прильнув к нему нежным прохладным телом, смеясь, рассказывала, как он тогда испугал ее своим криком, и как доконала ее «циклотимичка». Она не знала, что это такое. На филфаке не проходили.

Он слушал ее и даже тосковал. Так хорошо расстались, лучше не придумаешь. И вот — начинай сначала... А что делать? Раз впустил ее, уже не выгонишь. Да нарочно такие штуки и не получаются.

А она всё говорила, винилась, кляла себя. Болтала, болтала — и доболталась-таки до того, что стала уже его обвинять: как он тогда посмел!.. Он и это проглотил молча. Не затевать же сразу всё по-новой.

Когда утром уходил на работу, она еще спала, завернувшись в простыню, личиком в подушку (было жарко, лежали без одеяла). Только выглядывала всклокоченная темноволосая головка, да маленькие детские пяточки трогательно торчали из-под простыни. И в ритме ее спокойного дыхания словно дышала вся его перевернутая вверх дном квартирка, слегка втягивая и выдыхая через колышущуюся занавеску нагретый асфальтом воздух.

А тогда, в 1963-м, осенью, жара наконец спала, опустилось над простором набережных пасмурное небо, город остудили привычные дожди. Потемнел асфальт, потускнели золотые шпили. Ярче стали, увлажнившись, парадная желтизна знаменитых фасадов и белизна колонн, — и всё встало на место.

В дождевой мороси растаяли, как не было их, очереди к булочным. Там исчезли с полок зеленоватые гороховые батоны, вернулось привычное хлебное обилие. Гулял очередной злющий анекдот: «Хрущеву присудили Нобелевскую премию по сельскому хозяйству за небывалый эксперимент:

посеял пшеницу на целине, а собрал — в Канаде». Хрущев в очередной речи огрызнулся: «А чего ж хотели? Чтоб мы, как Сталин и Молотов в сорок шестом — сорок седьмом, за границу хлеб продавали, когда в стране голод был?» Вот как. Оказывается, в годы их рождения голод был...

И с учебой всё постепенно наладилось. Началось с того, что вдумчивый Марик-Тёма объявил: «По закону Ильфа-Петрова, спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» И рассчитал, сундук математический, по часам всю их неделю. Согласно трудовому кодексу, они, подростки, не достигшие восемнадцати лет, работали по шесть часов. Занятия в вечерней школе проходили четыре раза: в понедельник, во вторник, в четверг и в пятницу. Как учащимся без отрыва от производства, им полагался на работе дополнительный выходной. Все трое оформили его на среду. Итого, получалось для домашних занятий два полных дня — среда и воскресенье. Да еще полдня после работы в субботу.

Марик установил: в среду в первую половину дня и в субботу вечером каждый готовит уроки и занимается самостоятельно. А вечером в среду и утром в воскресенье они занимаются вместе, подтягивают друг друга, кто в чем горазд. Для отдыха — вечер воскресенья.

Марик должен был отвечать за подготовку по всей математике — алгебре, геометрии, тригонометрии. Григорьев — за физику, химию, историю, литературу и русский язык. Димка, вроде, ни за что не мог отвечать, учился на тройки. К точным наукам он вообще относился пренебрежительно: знал, что выпускные экзамены в вечерней школе как-нибудь проскочит. Но в институте живописи ему предстояло сдавать сочинение, да еще историю.

Собирались у Димки. По тогдашним коммунальным временам он жил просторней всех: в большой — тридцать пять квадратных метров — комнате, вместе с матерью и старшей сестрой. Комната была разгорожена на две части огромным старинным шкафом и приставленной к нему раскладной ширмой. За шкафом спали мать и сестра. В димкиной, передней половине комнаты стояли его железная кровать, круг-

лый обеденный стол, за которым они занимались, и в углу — тумбочка с телевизором.

Всю жизнь будут помниться эти занятия. Лампа под розовым матерчатым абажуром с бахромой, учебники и тетради на вытертой клеенке в поблекших цветочках. И постоянная усталость. И чувство тревоги (деваться некуда, надежда только на себя!), обострявшее утомленный мозг.

Начинали всегда с самого трудного — с математики. Марик проверял уроки, объяснял непонятное. Потом то же самое делал Григорьев по физике и химии. Под конец они с Мариком решали дополнительные задачи, а Димка занимался историей и литературой, зубрил правила синтаксиса.

Димке трудно было усидеть на месте. Его крепкое тело не выносило неподвижности. Он ворочался, гримасничал, дразнился (недовольный Марик хмурился). Но понемногу и Димка втянулся в занятия. Особенно после того, как Григорьев устроил ему несколько диктовок и в каждой безжалостно красным карандашом отметил все пропущенные и неверно поставленные запятые и дефисы.

Мать Димки, Александру Петровну, они видели всего несколько раз, мельком. Она работала на заводе в разные смены, да еще где-то подрабатывала уборщицей, почти не бывала дома. А когда и была, проходила мимо них молчаливо, боком, неприветливая, неразговорчивая. Может быть, просто очень усталая.

Григорьев тогда почти не запомнил ее лица. Теперь только и вспоминаются темная сухонькая фигурка да странный, легкий керосиновый запах, который она приносила с собой. Потом он узнал, что это запах растворителя — уайт-спирита. Александра Петровна промывала в нем детали перед гальванической обработкой.

Димка мать любил. Его ернический тон менялся при ее появлении, зеленые глаза серьезнели и улыбка, приоткрывавшая веселые волчьи клыки, исчезала. Разговаривал с ней негромко. Если она что-то поручала, коротко соглашался: «Сделаю, ага!»

Сколько же ей тогда было? Всего-то сорок шесть, возраст «бабьего лета». Но она казалась им старушкой. Она вся была

словно высохшая пустая кожица, полностью отдавшая жизненные соки своим ярким, налитым детям: Димке и его сестре — Стелле.

Когда они в первый раз явились к Димке заниматься и Григорьев впервые увидел Стеллу, она показалась ему некрасивой. Невысокая. Бледное личико с тонким носиком. Глаза — выпуклые, зеленые, темнее, чем у Димки, иногда кажущиеся почти черными. Губы по-лягушачьи крупноваты для этого лица, нижняя губа — чуть раздвоена. Темные волосы зачесаны назад и собраны по моде короткой толстой косой. Непропорциональная фигурка — тонкая, стройная вверху и с избытком тяжеловесная ниже талии.

Она встретила их насмешливо: «Ма-альчики пришли! Учиться!» И глаза ее остро скользнули по лицам Григорьева и Марика.

— Давай, давай, топай к себе! — прикрикнул на сестру Димка.

— Мне же интересно, какие у тебя друзья!

— Будешь мешать, я вот ему усы подрисую! — Димка указал на приколотую к обоям фотографию красавца-певца Муслима Магомаева, вырезанную из «Огонька».

— Только попробуй, тронь! — презрительно бросила Стелла и ушла на свою половину комнаты за шкафом.

Григорьев знал, что Стелла на шесть лет старше Димки, что ее настоящее имя — Сталина, что работает она продавщицей в галантерейном магазине и что ее отец, первый муж матери, погиб на фронте. (О своем отце Димка вообще ничего не рассказывал. Однажды только прорвалось: «Сбежал, сволочь! Наверное, до сих пор где-то от алиментов прячется. Мать нас одна вытащила...»)

Казалось, Стелла почти не обращает на них внимания. Когда они начинали заниматься, она обычно уходила к себе за шкаф. Иногда сидела там тихо. А иногда вдруг включала проигрыватель, и в комнате раздавалась мелодия какой-нибудь модной песенки.

— Выключи! — прикрикивал Димка. — Мешаешь!

Но Стелла только убавляла громкость, и всё равно им приходилось слушать то Кристалинскую, то Магомаева, то

Анофриева. Чаще же всего ставила она свою любимую пластинку — «Чучарелла». Ритмичная, звонкая мелодия. Женский голос пел вначале по-итальянски, затем по-русски, а Стелла тихонько (но все-таки слышно) подпевала:

Шагай, шагай, шагай, мой Чучарелла,
Мой ослик белый, иди вперед!
Звени, звени, звени, бубенчик, смело,
Никто не слышит, никто не ждет!
Ушел от нас любимый, синео-окий,
Ушел и не вернется никогда...

Димка, злясь на сестру, вставлял вполголоса в рифму грубое слово. Марик с безучастным лицом сидел над учебником. А Григорьев напряженно прислушивался к тому, что происходит за шкафом: к легким шагам Стеллы и звукам ее голоса.

Он сам не помнил, как пришло это смятение, но оно пришло, не сравнимое ни с чем, испытанным до той поры. Не сравнимое с приятным волнением, которое вызывали ровесницы, одноклассницы, похорошевшие и оформившиеся к своим шестнадцати-семнадцати годам.

Это новое было темным, горячим, грозным. Оно оживало где-то внутри, низко, и поднималось густым, жарким током, стесняя сердце и дурманя голову. Он шел на занятия к Димке взбудораженный: увидит сегодня Стеллу или нет. Испытывал тоскливое облегчение, если ее не было. И почти физическое удушье, когда она, подбоченясь, встречала их в комнате, оглядывала темными блестящими глазами и выпевала свое насмешливое: «Ма-альчики!»

Он старался не смотреть на нее. Он с ней почти не разговаривал. Но впервые пробудившимся шестым чувством, тем, которое впоследствии стал для себя называть «сверхчутьем», очень скоро ощутил с отчаяньем, что Стелла улавливает его напряжение. Он словно выдал себя.

Ах, как ему было стыдно! Ведь это не любовь, это просто физиология, животная похоть, а она — СЕСТРА ЕГО ДРУГА. Как можно испытывать к ней такое!

Было стыдно вдвойне еще и потому, что перед ней он чувствовал себя мальчишкой. Его не могло возвысить в собственных глазах даже то, что вскоре он ощутил: всё, что Стелла делает теперь в его присутствии, — ходит по комнате, говорит, включает музыку, — немного рассчитано и на его внимание. Он понимал: это не потому, что он ей нравится. Просто ей необходимо всё делать не только для себя, но и для кого-то еще, а здесь «кто-то» — только он. Марик для нее совсем не в счет.

А по-настоящему — и он был не в счет. Она жила в своем, взрослом мире, куда он не мог проникнуть. Мог только безнадежно следить за ней, словно подглядывая, и оттого испытывая еще больший стыд.

С махровым полотенцем через плечо Стелла проходила к двери мимо них, сидевших над учебниками. И, презирая себя, он тайком вслушивался, как за стеной, в ванной, гудит газ в колонке и плещется вода. Стелла возвращалась в легком халатике, облепившем еще влажное тело. Шлепая тапочками на босых белых ножках, скрывалась за шкафом. Возилась там, напевая. И вдруг — появлялась...

Он мгновенно схватывал взглядом ее всю: волосы были гладко зачесаны, большие губы сочно накрашены, подведенные глаза влажно блестели, темные брови были сведены словно с угрозой, и всё промытое, напудренное личико светилось какой-то решимостью. На ней была газовая блузка, чуть приподнятая маленькой грудью. Сквозь полупрозрачную ткань просвечивали голые плечи, складки подмышек и что-то розоватое или голубое — какие-то бретельки, тесемки, кружева. Осиная талия была схвачена широким пояском. Тугую юбочку нестерпимо откровенно распирали слишком тяжелые для ее фигурки бедра. Поблескивающие капроновые чулки переливались на стройных ножках, и вся она была стремительно приподнята каблучками-шпильками черных лакированных туфелек.

Стелла проходила мимо их стола, овевая тревожно-сладкой волной духов. Бросала пренебрежительно: «Пока, мальчики!» Димка только морщился. Марик, привставая, вежливо кивал. А он — выдавливал тихое «до свиданья», успевал еще

мучительно заметить, как слегка колышется, словно не поспевая за походкой Стеллы, ее налитой, обтянутый короткой юбкой зад, и дверь комнаты за ней захлопывалась. Еще несколько секунд было слышно, как она возится в коридоре, надевая пальто. Затем хлопала дверь квартиры.

«К хахалю пошла!» — равнодушно комментировал Димка. Григорьев ниже склонялся над тетрадями, прятал глаза, словно съеживался от чувства собственной ничтожности. В сотый раз клялся себе, что больше вообще не посмотрит на Стеллу («Дурак, мальчишка, знай свое место! Вот, пиши свои окислительно-восстановительные реакции!»). Но воображение не повиновалось, жгло язычком огня: он представлял, как Стелла идет рядом с красивым парнем, взрослым, из ее мира. Тот шутит с ней, смеется. А вот, — при этих мыслях сердце сжималось, — охватывает ее за талию, притягивает к себе — и целует, сильно, властно. Конечно, только целует. Ничего другого не может быть, не может быть!

А потом настал тот воскресный вечер. Они сидели, занимались. Стелла нарядилась и ушла. Но вернулась неожиданно быстро, какая-то сумрачная. Они как раз закончили занятия и включили телевизор. Для них пришло время отдыха, несколько считанных часов за всю неделю, когда можно расслабиться, отдышаться. А по телевизору в тот вечер показывали самый знаменитый фильм 1963 года — кинокомедию «Деловые люди» по рассказам О'Генри. Они уже смотрели ее в кинотеатре, летом, когда она только появилась.

Вытащили стулья из-за стола, уселись в ряд. Марик оказался у стены, Димка — в центре, а он, Григорьев, — с краю. Погасили верхний свет, горела только настольная лампа. В комнате было полутемно.

— Сядь, посмотри! — сказал Димка сестре. — Обхихикаешься!

Стелла ничего не ответила. Медленно прошла к себе за шкаф, и Григорьев слышал, как она там ходит, словно в раздумье. Несколько легких шагов в одну сторону, потом — в другую... Вышла из-за шкафа, постояла за их спинами. (Шел первый, мрачноватый сюжет: Акула-Додсон, наставив револьвер на своего приятеля, объяснял ему, что «Боливар

не вынесет двоих».) И опять понуро побрела на свою половину комнаты. С ней творилось что-то непонятное.

Потом она появилась снова. Нерешительными, какими-то заплетающимися шажками стала приближаться. Остановилась позади Григорьева, чуть сбоку. Взялась рукой за спинку его стула. Он обернулся, но она неподвижно смотрела мимо него, в телевизор. Глаза ее блестели в полутьме, она тяжело дышала приоткрытым ртом.

Он отвернулся к телевизору. (Там, на экране, шел второй сюжет: страдающий от ревматизма гангстер, Никулин, пришел грабить богача-ревматика — Плятта. Димка и Марик посмеивались.) Он сделал вид, что тоже поглощен фильмом, хотя сам уже почти не следил за действием. Он встревоженно ощущал непонятную близость Стеллы у себя за спиной, по-воровски вдыхал теплый аромат ее духов и пудры.

Вдруг она странно потянулась вперед, как будто для того, чтоб лучше видеть телевизор. Склонилась сзади над его плечом (щеку овеяло ее дыхание с запахом помады). Тут же, словно спохватившись, отстранилась. Переступила с ноги на ногу. Как-то медленно, словно нехотя, стала склоняться снова. И вдруг — слегка прижалась грудью к его плечу...

Его залило жаром, у него загорелось лицо (какое счастье, что было полутемно, а ребята не отрывались от экрана!). Всё поплыло вокруг, всё стало нереальным, кроме одного — ее прикосновения. Всем существом он сосредоточился в одной точке — там, где к его плечу притрагивалась ее грудь, левая грудь. Сквозь свою рубашку, сквозь невесомую ткань ее блузки и плотный лифчик он чувствовал этот поразительный холмик плоти — горячий, крепкий и нежный. Чувствовал, как часто-часто бьется ее сердце (а его собственное бухало в ответ так, что отдавало вверх к горлу, стесняя дыхание).

Стелла прижалась грудью чуть сильней. Ослабла. Снова чуть прижалась... Со стороны ее движения вряд ли были вообще заметны (просто склонилась, просто смотрит фильм), но он чувствовал, что эти прикосновения, как электрические разряды, пронизывают всё ее напрягшееся тело. Он окаменел, взвихренным рассудком соображая только одно: он должен делать вид, что ничего не замечает. Для нее, для нее!

А Стелла уже не пыталась сопротивляться тому, что ее подталкивало. Ее движения, умоляющие и требовательные, обрели нарастающий ритм. При каждом прикосновении она слегка вздрагивала, ее дыхание всё учащалось. Она словно взлетала над ним, отчаянно, с трудом, но всё выше, выше...

И вдруг — она задрожала всем телом, шумно и прерывисто задышала. Он даже расслышал сдавленный стон, вырвавшийся у нее сквозь стиснутые зубы... Обмякла. Постояла, привалившись к нему, еще немного. Оторвалась — и медленно, невесомо ступая, отошла.

На экране Вождь Краснокожих, мальчишка-дьяволенок, издевался над Вициным и Смирновым, двумя незадачливыми жуликами, которые его похитили. Димка и Марик хохотали. Стелла неподвижно стояла где-то в стороне. А он сидел смятый и оглушенный. Он не всё понял из того, что произошло, но и понятое — потрясало.

Неужели Стелла может его... ну, пусть не любить, но желать так же остро, как он желает ее? А почему бы и нет? Он уже не мальчишка, ему скоро семнадцать, через год с небольшим он получит право жениться. Неужели, неужели ЭТО возможно для него СО СТЕЛЛОЙ? Он будет обнимать ее, целовать, лежать рядом с ней, обнаженной. Лежать на ней... Кровь била в висках, голова кружилась. Он со страхом ждал момента, когда фильм кончится и он снова увидит Стеллу при свете.

Вицин и Смирнов улепетывали от проклятого мальчишки в сторону канадской границы. Истекали последние секунды. Димка и Марик от хохота раскачивались на стульях.

Вдруг — ударом по глазам — вспыхнул верхний свет. Его зажгла Стелла. Она стояла в темном домашнем халате (успела переодеться за шкафом), спокойная и строгая.

— Мальчики, чай будете пить? — спросила она дружелюбно и вместе с тем равнодушно, как бы выполняя необходимую обязанность хозяйки. — Тогда я чайник поставлю.

«Ничего не произошло, — понял Григорьев. — Ничего не было». С мгновенной тоской он вновь ощутил свою ничтожность перед ней. Ничтожность мальчишки.

— Спасибо, — сказал Марик, — поздно уже, мы пойдем. — И сделал ему знак: — Собирайся!

Он поднялся, отводя глаза. Тоже пробормотал что-то про позднее время. Но не выдержал, взглянул прямо в лицо Стеллы и встретил ее ответный взгляд — не насмешливый, чего больше всего боялся, а какой-то странный, сочувственный.

— Спасибо, — это вырвалось у него невольно, хотя прозвучало к месту, словно вслед за Мариком он благодарил за предложенный чай.

Уже одевшись, прощаясь, он снова повторил ей: «Спасибо!» И поклонился, в самом деле переполненный чувством благодарности. И стыда. И непонятной вины перед ней...

А была с ними Стелла в тот вечер, когда они справляли поминки по Джону Кеннеди? Кажется, нет. Они сидели втроем. Это Димка порушил занятия: «Какая учеба, когда такое творится! А ну, гоните монету!»

Они выскребли из карманов всю мелочь, Димка сбегал в магазин и принес «фауст» «Волжского» вина.

Их в самом деле потрясло невероятное двойное убийство: сначала президента Кеннеди, а через день — его предполагаемого убийцы Освальда. Их потрясло то, что Освальда застрелили на глазах миллионов американских телезрителей, а у них, в Советском Союзе, все снимки событий появлялись в газетах уже на следующее утро (каким маленьким стал мир!).

Они пили вино из чайных чашек и обсуждали случившееся, разгоряченные, взбудораженные. Всё слилось: напряжение работы и учебы, тревожное приближение экзаменов, ошеломление трагедией, разыгравшейся на другом конце света и в то же время так близко. И чувство нашего превосходства над Америкой: «Они там совсем с ума посходили!» А для него, Григорьева, — еще и любовь к Стелле. (Конечно, это была любовь. Потом он поймет, что только такой — стыдной, вожделеющей — и могла быть первая любовь подростка к взрослой девушке.)

Всё расплавлялось в восторженном возбуждении, в ощущении собственной силы, в предчувствии счастья. Они вступали в мир свидетелями и участниками великих событий.

А нынешнее лето 1984-го выдалось в Ленинграде обычным. В меру солнца, в меру дождливых дней. В июле Григорьев взял отпуск. Уезжать никуда не собирался, наездился в командировках. А главное — не хотелось лишний раз отлучаться из-за отца. Выручил приятель, живший в Мельничном Ручье. Он отправлялся отдыхать на юг и предложил поселиться на это время у него. «Скотину мою покормишь, вот и будем в расчете!»

Так Григорьев очутился в его домике в лесу. В окошко выглянешь, — кажется, попал в глухую чащобу. А на самом-то деле, всего минут пятнадцать ходьбы до станции, от которой до центра города — полчаса на электричке. Самое главное, в домике был телефон. С пятизначным всеволожским номером, но с автоматическим выходом в Ленинград. И Григорьев звонил своим старикам дважды в день, утром и вечером. Отец неохотно говорил о самочувствии. На обычный вопрос: «Ну, как дела?» — ворчливо отвечал: «Ничего, спасибо. А у тебя как?» (Впрочем, это было хорошим признаком.) Григорьев подробно докладывал о погоде в Мельничном Ручье, как будто их с отцом разделяли не два десятка километров, а целый климатический пояс Земли.

Потом он сидел возле домика, разложив на дощатом неровном столе свои рукописи. Сквозь лес доносился стук электрички. У ног его отдыхала накормленная «скотина» — большой, лохматый, дворняжьей породы пес Бобслей и тоже крупный рыжий, короткошерстный кот Кузя. Два приятеля. Они грелись рядом на солнышке. Что-то урчали друг другу — беседовали.

Вместе они и шкодничали. (Верховодил, конечно, хитрый Кузя, простодушный Бобслей его слушался.) Притягивал их небольшой холодильничек «Ладога» на веранде. Холодильник стоял на табуретке — специально для того, чтоб звери не достали. Но они ухитрялись залезать в него, и Григорьев подглядел сквозь стекла веранды, как они это проделывают.

Бобслей вставал у табуретки, Кузя запрыгивал ему на спину, лапой открывал дверцу холодильника и выкидывал оттуда на пол всё, что находил достойным внимания. После каждого такого визита Григорьев подбирал то погрызенный кусок колбасы, то растерзанный пакет масла. Даже не съедали толком, ведь сытые же были, твари бессовестные!

Григорьев обвязал холодильник веревкой, но лекарство получилось хуже болезни. Однажды, когда он сидел во дворе, на веранде раздался страшный грохот, а за ним — отчаянный визг Кузи, испуганный лай Бобслея. Оба кубарем скатились с крыльца и стрельнули в разные кусты. Григорьев вбежал на веранду: холодильник валялся на полу.

Он взгромоздил его обратно на табурет. Включил в розетку, послушал. Холодильник работал. Недаром на нем был выштампован советский «знак качества».

Григорьев отыскал в хозяйстве приятеля огромный гвоздь. Вбил в стену, загнул. И, обмотав холодильник веревкой, крепко привязал к этому крюку...

А потом к нему на несколько дней приехала Аля. Он сам ее позвал, и ждал с нетерпением, и явилась она, вроде бы, в хорошем настроении. Но он быстро понял, что совершил ошибку. Не следовало ей появляться здесь.

Им никогда еще не приходилось быть вместе так подолгу, целыми днями только вдвоем. И очень скоро оказалось, что им как будто не о чем разговаривать. Она снова стала раздражаться, опять упрекала его за то, что он неинтересно живет и скучно пишет. И опять он беспомощно оправдывался: «Но это — МОЯ ЖИЗНЬ!..»

По ночам, в отместку за дневные унижения, он порой ласкал ее грубо, почти со злостью, чтобы измучить, обессилить. А когда она засыпала рядом с ним, долго всматривался в ее лицо: тени утомления под глазами, словно от опущенных длинных ресниц, распухшие от поцелуев детские губы. Трогательная, беззащитная порочность девочки-женщины.

Он оберегал ее сон, недолгое чудо. О будущем лучше было не задумываться. С недавних пор, как проникавшую в кровь кислоту, — признак близящейся старости, что ли, — стал он ощущать в себе непрошенную, едкую способность

предвидения. Узнав человека моложе себя, он представлял уже его судьбу вперед — до своих лет, во всяком случае. В судьбе Али вперед было много печального. И невозможно было сказать ей об этом так, чтобы она поняла. А может быть, она и сама всё предчувствовала, и не надо было ей предупреждений. И, всё понимая, она всё готова была принять, потому что это — ЕЕ ЖИЗНЬ...

— 4 —

Когда Аля упрекала его в том, что он не способен «любить по-настоящему», Григорьев отмалчивался. Да и что он мог ответить? По-настоящему любил он в жизни, наверное, только жену.

Впрочем, что вообще означает глупое «по-настоящему»? Стереотип истинной любви, внушенный искусством, подразумевает безрассудство и страдания. С женой у него было достаточно и безрассудств, и страданий. С того самого часа, когда он впервые увидел ее в сентябре 1964-го, в первый день занятий в своей институтской группе. Высокая, с округлой воздушной короной тонких русых волос, с большими, яркими голубыми глазами и бледным красивым ртом, — она показалась ему ослепительной. Она была куда эффектнее Али. Даже и теперь, через двадцать лет, несмотря на возраст, она бы выиграла в сравнении с Алей. Во всяком случае, Аля в свои тридцать девять не будет так величаво хороша и заметна, как его бывшая жена.

Это сейчас он мог спокойно думать о ней и с кем-то сравнивать, а тогда его просто восхищало в ней всё — чудесные, плавные и в то же время строгие линии фигуры, медлительные движения, лучистая рассеянность взгляда, и само имя ее — Нина, мелодичное, как струнный аккорд.

Нина сознавала свою красоту. Во всяком случае, он заметил: она смущается того, что, как ей кажется, к ней не идет. Она была близорука, но очки надевала редко и всегда торопилась их снять и спрятать. А ему она казалась в очках по-

особенному, трогательно красивой. На лекциях он искоса подсматривал за ней, склонившейся над конспектом, и обмирал от нежности.

Нина его еще и не разглядела, наверное, среди остальных первокурсников, а он был уже так переполнен своим тайным восторгом, что, когда в том сентябре 1964-го пришел к Димке, то увидел Стеллу почти без былой муки.

Впрочем, встреча у Димки вышла невеселой. Собирались отмечать поступление, да вот они-то с Мариком поступили — Марик в Радиотехнический на вычислительную технику, Григорьев в Физико-химический. А Димка в институт живописи — провалился...

Кажется, впервые они, не смущаясь, как взрослые, открыто купили «фауст» вина. Стелла сварила им картошки. Они сидели за столом, и Димка, хмуро усмехаясь, рассказывал:

— Конкурс был — на двадцать мест пятьсот человек. Со всего Союза же! На первом собеседовании надо свои работы показывать. Собралась нас — толпа. У других, вижу, пейзажи, портретики. Мне всё кажется: как здорово! Что мои карикатурки против них!.. Пошли. Сидят экзаменаторы. Кислые, словно по куску лимона сосут. Как начали нам головы отшибать! Как цыплятам! «Не можем допустить, нет элементарной техники. Еще поготовьтесь, позанимайтесь в изостудии!» Ребята один за другим отползают. Парни — красные, у девчонок слезы. И я замандражил. Первый раз понял, что это такое — пот холодный по спине течет и коленки ды-ды-ды! Сунул им свой альбом «Двенадцать стульев...» — Димка усмехнулся, чуть оскалив белые волчьи зубы. — Ржали, гады, только ногами не дрыгали. И друг дружке совали, и утаскивали кому-то показать. Я — отогрелся. Так вас, думаю! Знай наших!..

Осталось нас после собеседования уже человек двести. Стали домашние задания раздавать — акварель на ленинградскую тему. Парню передо мной «Атланты» достались. А на меня экзаменатор смотрит — пожилой такой, седой, но веселый. Морда и глаза красные. Видно, поддает хорошо.

Улыбается, гад, мои рисунки вспоминает. «Скажите, Перевозчиков, вам какое место в нашем прекрасном Ленинграде больше всего не нравится, как художнику?» — Я возьми да и ляпни: «Исаакиевский собор!» — «Почему?!» — «А он, — говорю, — на старую чернильницу похож. С медной крышечкой». — «Вот и отлично, — говорит, — вот вы эту чернильницу и нарисуйте тридцать на сорок. Нарисуйте так, чтоб мы поняли, ПОЧЕМУ она вам не нравится. Два дня сроку...»

Стелла принесла из кухни тарелку с салатом, поставила на стол, тихо села рядом с Димкой, налила себе рюмку вина. Она уже слышала этот рассказ.

— ...Тут же к Исаакию поехал. Страшно опять — еще больше. Ах, дурак, дурак, думаю, — напросился! В садике перед собором сел, набросал его карандашом — светотени, штриховочка — и чуть не плачу. Ну как я изображу, что мне в этой горе не нравится?! Как ни рисуй, всё равно что фотография выходит. Смотрю, смотрю... Ну хорошо, понимаю: барабан с верхней колоннадой и купол слишком для здания высоки, оно для них низкое. Получается — как голова большая на низком туловище, вот и давит. Ну и что?.. На чистой картонке еще раз контур набросал, без штриховки, без теней. Смотрю — на собор, на рисунок. Что-то не то, разница! Собор тяжелый, а у меня контур легкий. Почему?! Опять штриховочку нанес: здание — серым, колонны — еще темнее. И всё пропало, тяжесть! Бред какой-то!.. Ночь ворочался, даже Стелка подходила: «Ты пьяный или заболел?..»

Димка тяжело перевел дыхание. Стелла вдруг потянулась и погладила его узкой ладошкой по голове. Он отмахнулся и продолжал:

— Утром опять к собору со всех ног. Башка трещит. Мучался, мучался — карандашом, красками, так и сяк. Не жравши целый день, только курил. И вышло у меня... уже как-то само собой вышло: белое здание. Белое! А колонны — розовые, светлые. Смотрю — и купол стал не велик, и весь собор у меня такой легкий получился — в небо всплывает. Меня шатает уже, а я, дурак, радуюсь... Следующий день еле вытерпел. Всё на акварель свою любовался. Окружающие

дома подрисовал, облачка над куполом. — Димка поморщился: — Это уж, наверное, зря, но так мне усилить хотелось, как он в небо летит...

Поехал работу сдавать. Опять толпа. Все трясутся, а я отдал рисунок — и хожу довольный какой-то, или отупевший. Представляю, как буду перед своим красноносым отчитываться.

Часа два нас у дверей мурыжили, разбирались взаперти, что мы там по заданиям напахали. Наконец, начинают вызывать. Вхожу в зал — экзаменаторов человек пять за столами, а красноносого нету. Моя работа у молодого. Стильный такой — без пиджака сидит, в нейлоновой рубашке с галстуком, и рукава засучены. «Перевозчиков? — и кидает мне картонку. — Двойка!..»

Меня как кувалдой между глаз ухнуло! — «За что же двойка?!» — Он ухмыляется, гаденыш... Эх, жалко, так я обалдел, что лица его не запомнил. И фамилию не узнал... — Димка сжал губы.

— Перестань! — сказала Стелла.

— Гладкая такая ряшка, — с ненавистью процедил Димка. — «А что ж вы, говорит, тут намалевали? Белый Исаакий!» — Хочу объяснить, не дает: «Понятно, понятно, вы его таким видите. Рано вам еще вывертами заниматься, выучитесь сначала! А то несут — синие деревья, зеленое солнце и воображают о себе!» — А я, дурак, еще булькаю: «Да вы посмотрите, поймите, он же МРАМОРНЫЙ! Он ТАКИМ должен быть, это он от времени потемнел!»

Тут еще какой-то хрен подваливает. Начальник. «В чем дело?» — «Да вот, абитурьент оспаривает оценку. Видите изыск: белый Исаакий и колонны цвета дамских панталон». — Начальник сердится: «Ну так отправляйте его! Что вы на одного столько времени тратите!»

Димка засопел:

— С-сволочи, паразиты!..

Григорьеву даже стало не по себе от этой прорвавшейся злобы. Как обидно, что Димке не повезло! Конечно, им с Мариком было легче. На экзамене по математике или по физике, если уж решил задачу, никуда от тебя не денутся.

А искусство — штука неопределенная. Попался бы другой экзаменатор, может, и отнесся бы по-другому. Белый Исаакий или темный, — видно же, что Димка талантлив. Именно так: ему не повезло. Получилось, как с болезнью, — он заболел, они с Мариком остались здоровыми. И плохо, что это словно разъединило их, отдалило от них Димку. Плохо, что он так ожесточился. Обидно за него. И неловко от его ожесточения.

— Да, — сказал Марик, — не повезло...

Димка метнул свирепый взгляд, но тут же пригасил его и опять усмехнулся. Снисходительно, как человек, отделенный от них не своей бедой, а своим взрослым знанием:

— Не повезло...

— Что теперь делать-то собираешься? — осторожно спросил Григорьев.

Димка пожал плечами:

— А что делать? Дальше жить. В какую-нибудь изостудию пойду, чтоб форму не терять. А на будущий год — посмотрим. В театральном институте художественный факультет есть, оформление спектаклей. На худой конец, — вон, в педагогическом, «худграф», учителей рисования выпускает.

— Ой, ну какой с тебя учитель! — воскликнула Стелла.

И все улыбнулись, хоть все понимали, что Димка — старший из них троих, весной будущего 1965-го ему стукнет девятнадцать, и значит, до августа, до новых экзаменов, он вряд ли дотянет. Скорей всего, загремит в весенний набор в армию на три года. И даже на четыре, если во флот.

— Ладно, мальчики! — громко сказала Стелла, поднимая рюмку. — Всё будет хорошо! Это я — старенькая, а у вас всё впереди! Давайте — за Димочку, за вас!..

А после застолья Григорьев с Мариком долго бродили по улицам. Немного хмельные, возбужденные — и судьбой Димки, и собственной удачей. Уже здесь пересказывали друг другу первые институтские впечатления. Снова вспоминали про Димку. И говорили о том, что, как бы ни было, — их всё равно трое. Свою дружбу они никогда не растеряют. Они сохранят ее навсегда. На всю предстоящую, долгую, почти бесконечную жизнь!

Отец нарадоваться не мог тому, что сын поступил в институт. Купил бутылку коньяка, выпил с ним, как со взрослым. Мать ворчала: «Ну зачем ты его приучаешь?» Отец отмахивался (правда, наливал ему вполовину того, что себе). И всё гладил его, хлопал по плечу: «Молодец ты у меня! Какой молодец!»

А у молодца — слезы наворачивались. От радости, от гордости и оттого, что жалко было отца. Отец-то остался в своей цеховой клетушке, среди грохота, вони, матерщины.

«За это, — шумел отец, — проси чего хочешь!» Григорьев попросил купить радиолу. Отец ударил ладонью по столу: «Отлично! Как раз в новой квартире будет смотреться!»

Это была вторая великая радость в семье. Выстояв девять лет в очереди, они получили, наконец, отдельную квартиру: двухкомнатную, смежную, в хрущевке-пятиэтажке у Новой Деревни (по тем временам — дальние новостройки, чуть не край ленинградского света).

Поехали с отцом по магазинам. Григорьев хотел «Сакту» рижского завода, такую, какую видел у Марика. Нашли и купили за сто рублей роскошную «Сакту» в корпусе из темного полированного дерева с большими, белыми как у рояля клавишами переключения диапазонов.

Привезли радиолу домой. Поставили, включили. Загорелась прозрачная шкала с названиями советских и иностранных городов, зажегся ярко-зеленый глазок, в котором темный сектор то расходился, то сжимался, то вовсе захлопывался, когда приемник точно настраивали на волну какой-нибудь мощной радиостанции. Отец радовался: «Техника!»

На коротких волнах поймали русскую речь, но какую-то странную. Прислушались. Диктор объявил: «В эфире "Голос Америки". — И назвал себя: — Константин Григорович-Барский».

— Смотри-ка, — фыркнул отец, — наши у них работают, сволочи!

Слышно было очень хорошо, лишь слегка потрескивали легкие помехи.

— Их в этом году перестали глушить, — пояснил отец. — Говорят, Никита решил показать, что не боимся ихней пропаганды.

Диктор что-то говорил о развале советской экономики.

— Опять! — поморщился отец.

Весной еще прокатилось в газетах: ЦРУ опубликовало доклад о том, что в Союзе — экономический кризис. Наши газеты отвечали с гневом и смехом: «Кризис! Каждый день сообщения — новая домна задута, новая ГЭС вступила в строй, новый спутник запустили!» Замелькали статьи наших экономистов, едкие фельетоны, карикатуры. Пошумело — и схлынуло. Больше об этом не вспоминали. Всё заслонили провокации американской военщины во Вьетнаме, да беспокойство, кто у них там победит в ноябре на президентских выборах: «ястреб» Голдуотер, бешеный сенатор, готовый хоть сейчас начать войну, или спокойный Джонсон, бывший вице-президент у погибшего Кеннеди, принявший власть на остаток его срока.

А тут этот диктор с русской фамилией опять называл какие-то скучные цифры, говорил о снижении, падении, застое.

Отец махнул рукой:

— Выключи его к лешему!

А институт, в котором Григорьев учился, был чем-то похож на замкнутый средневековый городок с внутренними кварталами, двориками, садиками, отгороженный старыми стенами от окружающего ленинградского мира. И еще — похож на метро своими бесчисленными лестницами, по которым, как по эскалаторам, текли потоки студентов. Мраморные ступени главной, парадной лестницы за сотню лет протерли до вмятин миллионы шагов. Лестницы маленьких корпусов, набитых тесными аудиториями, были крутыми и темными. Ко входам в амфитеатры лекционных залов снаружи вели широченные лестницы, а в самих этих залах — узкие лесенки встречно взбегали от площадки с лекционной доской по уклону между полукружьями рядов. И везде мелькали студенты, студенты, движущиеся вверх и вниз.

Система обучения тоже походила на эскалатор: в движении по восходящей, от поступления к диплому, им торопливо вталкивали знания. Надо было успевать схватывать цифры,

правила, схемы, чертежи, какое-то время удерживать, чтобы довезти и сбросить их на коллоквиуме, зачете, экзамене, и, двигаясь дальше, поспешно принимать новые.

Это мало походило на его представления о мире науки. Он был слегка разочарован. И только на лекции по истории партии услышал он те слова, которых ждал. Старший преподаватель Антонина Степановна, — средних лет, подтянутая, в строгом костюме, — поздравила их с поступлением и приподнятым голосом стала говорить о том, какие они счастливые. Им предстоит участвовать в выполнении исторических решений декабрьского — тысяча девятьсот шестьдесят третьего года — пленума ЦК КПСС о химизации. Как замечательно точно сказал Никита Сергеевич Хрущев, ленинский лозунг «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны» теперь должен быть дополнен: «...и плюс химизация»! Им, нынешним первокурсникам Физико-химического, предстоит создавать новые материалы, полупроводники, полимеры, совершенствовать электрохимию и органический синтез...

И — странное дело: всё это Григорьев знал и сам, про декабрьский прошлогодний пленум и в сентябре шестьдесят четвертого каждый день твердили по радио, а плакаты со словами «...плюс химизация» на фоне реторт и газгольдеров висели на всех улицах, но вот — нужно было услышать звенящий, торжественный голос Анастасии Степановны, раздававшийся в зале над сотней голов, чтобы почувствовать успокоение и уверенность. Да, всё в порядке...

Снова настал октябрь, сухой и солнечный. Стали красно-золотыми ленинградские скверы. Чистый ветер порывами рябил на воде каналов цветные отражения домов.

Двенадцатого октября объявили о запуске корабля «Восход» с тремя космонавтами. Удивительно, но это не вызвало того возбужденного интереса, той радости, что всего год назад взлет Быковского и Терешковой. Он мог судить хоть по другим, хоть по себе. Конечно, здорово: первый в мире корабль не с одним пилотом, а с целой экспедицией! Конечно, молодцы! Ну и молодцы, ну и ладно...

В газетах напечатали текст разговора Хрущева и Микояна с космонавтами (оба шутили, вырывали друг у друга трубку) и фотографию: они стоят у столика с телефонным аппаратом, только они двое, вокруг — никого, непривычно пусто.

А утром шестнадцатого они с отцом завтракали на крохотной кухне своей новой квартиры. Как обычно, тихо бормотал репродуктор над столом. Пропикал сигнал точного времени — семь часов. (Григорьев помнил, когда ввели эти отрывистые сигналы: вскоре после запуска первого спутника, в подражание его «бип-бип-бип».) Отец встал, прибавил громкость — послушать перед работой утренние «Последние известия», — да так и остался стоять под звуки металлического голоса, который зачитывал сообщение о Пленуме ЦК:

«...Удовлетворил просьбу товарища Хрущева... в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья... Пленум ЦК КПСС избрал первым секретарем ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида Ильича».

Отец присвистнул:

— Во дают! Никиту сковырнули!!

— Ой, — сказала мать, — лишь бы войны теперь не было! Только жить начали по-человечески, квартиру эту получили!

Отец махнул на нее рукой:

— Тихо ты! Дай послушать!

Диктор уже зачитывал сообщение Президиума Верховного Совета:

«...Удовлетворил просьбу товарища Хрущева об освобождении от обязанностей Председателя Совета Министров СССР... Председателем Совета Министров Президиум Верховного Совета назначил товарища Косыгина Алексея Николаевича...»

Отец постоял еще немного — ухом к самому репродуктору, — но дальше шли уже обычные последние известия: о трудовых успехах на заводах и на полях, о событиях в мире, об Олимпийских играх в Токио. Тогда отец тяжело опустился на стул, рассеянно придвинул к себе тарелку.

— Ну всё, — сказал он, — теперь моих архаровцев целый день работать не заставишь. Будут в курилке балабонить. Они ж у меня все политики, мать их за ноги...

А Григорьев сидел ошеломленный. Как же так: совсем недавно, в апреле, отмечали семидесятилетие Хрущева. Он улыбался, шутил. Сияющий Брежнев приколол ему звезду Героя Советского Союза вдобавок к трем звездам Героя Социалистического Труда. И вот — как гром среди ясного неба.

Он отправился в институт. На всех улицах не было ни одного портрета Хрущева, ни одного плаката или транспаранта с цитатой из его речей. За последние годы они так примелькались, что их почти не замечали. А исчезли — зазияла пугающая пустота. Словно вымело их за ночь.

Ему хотелось с кем-нибудь обсудить случившееся. Отставка Хрущева занимала его в тот день даже больше, чем Нина. Но занятия шли буднично, а однокурсники, с которыми он заговаривал, отмахивались: «Скинули лысого — и черт с ним!»

По дороге домой он остановился у газетного стенда с «Ленинградской правдой». Там печатались отрывки из нового романа Веры Пановой о временах культа личности. Снова — об арестах, пытках, лагерях. Читать об этом странно не надоедало. Не из-за сладострастного копания в болезненном, а как раз потому, что такие книги и статьи поддерживали успокоительное ощущение: да, это печатается и, значит, продолжаются новые, честные времена, всё в порядке. Вот и Хрущева сняли, а очередная глава была напечатана, и внизу стояло «продолжение следует». Почему-то странно было это видеть.

Отец вечером потребовал:

— Поймай-ка... этих!

Поймали «Голос Америки». Диктор с очень правильным, даже преувеличенно чистым русским выговором сообщал подробности отставки Хрущева. Как того неожиданно вызвали с отдыха на пленум и предъявили обвинения. Отец слушал, хмурился.

«Это свидетельствует, — чуть насмешливо продолжал диктор, — о том, что эпоха кровопролития и массовых убийств, действительно, прошла, и советское общество переходит к некоему примитивному демократизму...»

— Всё учат нас, — проворчал отец. — Учат. Как туземцев голозадых.

Григорьев скрутил ручку настройки. Поймал нудный мужской голос с непонятным акцентом, который вещал нечто невообразимое:

«Хрущев опорочил память продолжателя дела Ленина, великого коммуниста Сталина...»

— Китайцы! — догадался он.

— Похоже, — согласился отец. — Бывшие братья наши.

«...Советский народ, прогнав Хрущева, совершил хорошее дело...»

— И эти тоже... учат! — фыркнул отец. И вдруг разъярился: — Выключай, к едрене бабушке!

Дня через два в институте была очередная лекция по истории партии, они проходили тогда первую русскую революцию 1905 года. Григорьев собирался после лекции расспросить Антонину Степановну о случившемся. Из газет понять ничего было невозможно. Писали только, что все советские люди горячо поддерживают решения октябрьского пленума, а о самих решениях — ни слова. Даже фамилию Хрущева нигде не упоминали. Самый знаменитый человек на планете, оглушавший и сотрясавший весь мир, вдруг исчез. Да не просто исчез, а растворился в воздухе, беззвучно и бесследно, словно и не было его никогда.

Но Антонина Степановна опередила. Едва они расселись и затихли, она сама заговорила о пленуме.

Григорьев только успел бросить первый взгляд на Нину. Он уже научился выбирать место в аудитории: на один ряд позади и чуть сбоку от нее, так чтобы, записывая лекцию, можно было наглядеться, тоскливо и сладко замирая, на ее профиль. Но не слишком близко к ней, чтобы оставаться полускрытым другими студентами. Иначе — это уже бывало — она, повернувшись, встречалась с ним взглядом, и в ее больших, прекрасных голубых глазах мелькало подобие испуга. Его это неприятно потрясало, словно электрический удар. Он резко опускал голову, а она отворачивалась и к счастью не видела, как он заливается краской.

Но в тот день, едва Антонина Степановна заговорила с кафедры, он на время позабыл про Нину. Тон у Антонины Степановны был тот же приподнято-радостный, что и месяц назад, когда она поздравляла их с поступлением и цитировала Хрущева. Сейчас она говорила о том, что партия, которая справилась с культом мертвого, сумела справиться и с культом живого. Называла цифры — миллиардные убытки от кукурузы, от ошибочных единоличных решений в промышленности. А какая утрата скромности! Уже и величайшие победы в войне — Сталинград и Курск — ему приписывались. Он, конечно, в тех битвах участвовал, был членом военного совета фронтов. Но ведь командовал не он, а наши славные маршалы.

Григорьев слушал с недовольством. Ничего нового Антонина Степановна так и не сказала. Про кукурузу и потерю скромности без нее давно было известно. А главное, в поведении ее не чувствовалось ни растерянности, ни смущения. Та же самая торжественность.

После лекции он хотел подойти и расспросить ее хотя бы о Китае, где испытали атомную бомбу. У нас в газетах прошли об этом только коротенькие, в несколько строк, заметочки. А по «Би-би-си» (он слушал вчера тайком от отца) долго рассуждали, как изменится теперь положение Китая и какие трудности возникнут для СССР. Посмеиваясь, рассказали про огорчение японцев: они, бедные, так готовились к Олимпиаде, хотели показать всему свету, чего достигла Япония, а тут на тебе, — Советский Союз отставкой Хрущева и Китай атомным взрывом всё внимание отвлекли на себя. Потом передали обзор английской печати.

— Вот, послушайте, — вдруг сказала Антонина Степановна, доставая листок бумаги, — что пишет газета «Таймс»! «Хрущев раздражал русских своей суетливостью и болтовней. Русские любят, чтобы их государственные деятели были величественными».

Это были слова из вчерашнего обзора «Би-би-си». Григорьеву расхотелось подходить к Антонине Степановне. А когда после лекции сосед, вставая, хохотнул: «Понял теперь? Никите величия не хватило!», — он ответил соседу

зло и громко, так чтоб услышала и Нина: «Да ну! Всё учат нас, как туземцев!..» И краем глаза уловил, как Нина быстро и с любопытством взглянула в его сторону.

Потом вспоминается вечеринка у Димки. Кажется, в декабре, перед новым 1965-м. Да, в конце декабря, потому что по телевизору в тот вечер как раз выступал Косыгин, новый глава правительства, до того мало известный. Его выступления начались вскоре после исчезновения Хрущева, и появлялся он на экране именно в один из последних дней месяца, словно отчитываясь на многомиллионном собрании.

Было нечто неожиданное в этом сдержанном человеке с темным сухим лицом. В том, что он не поднимается на трибуну, а просто сидит за столом и в упор смотрит им всем в глаза. Перед ним были разложены бумаги, но он в них не нуждался. Не сводя взгляд с камеры и, кажется, даже не мигая, на память перечисляя множество цифр, невыразительным механическим голосом он говорил о том, что делается в хозяйстве страны, об успехах и трудностях, о поиске новых путей. Проговорив минут пятнадцать, благодарил за внимание, и прежде, чем успевали переключить камеру, словно сам отключался от зрителей, угрюмо замыкаясь в своих мыслях.

После хрущевского чтения по бумажке, перемежавшегося с сумбурными отступлениями, это впечатляло! Возможно, на то и был расчет. А может, и не был.

Григорьев шел на встречу с друзьями совсем не в новогоднем настроении. Как раз в том декабре он впервые робко попытался приблизиться к Нине, заговорить с ней. Но ничего не вышло. Она отвечала односложно, со своей неизменной рассеянной улыбкой, словно не видя его, словно отстраняя его от себя — мягко, но величественно и непреклонно.

Как мучался он тогда! Сколько раз, бессильный, задыхающийся, бродил после занятий по улицам, тяжело, как сквозь толщу воды. Казалось, что угодно — гнев ее, да просто раздражение, — всё было бы лучше, чем это безразличие.

Он не видел соперников среди своих ребят, студентов, и почему-то был уверен, что у него вообще нет соперников,

настолько невозможно было представить кого-нибудь рядом с Ниной. Но это означало, что причина отказа — в нем самом, он недостоин ее.

Нина была на полтора года старше, что тоже возвышало ее над ним. Она и проходила в гомоне и кипении первокурсников как старшая: чуть улыбаясь, доброжелательно и невидяще, словно обращенная в какой-то свой мир, если не настоящий, то приближающийся к ней из будущего. И Григорьев понимал, что ее мир — необыкновенен, ей дает на это право хотя бы необычная красота.

А он? Что же он сам? В студенческой толпе пришло к нему опустошающее открытие: он — заурядность! Не наделенный ни яркой внешностью, ни избытком мускульной силы, никогда не занимавшийся спортом, плохо одетый, — чем мог бы он привлечь ее внимание?

Насыщенный массой книг, еще недавно гордившийся своими познаниями, теперь, с презрением к себе, он обнаружил их бесполезность и свою тупость. Конечно, Нина прислушивалась с любопытством, когда он рассказывал что-то интересное. Но нужен был не пересказ. Нужны были собственные мысли, яркие, притягивающие. Бедный мальчишка, в свои неполные восемнадцать лет он хотел бы предстать перед нею Печориным или лордом Генри. Слава богу, у него хватило ума, чтобы понять: любая мудрость, которой он мог бы сверкнуть перед ней, даже не родилась от прочитанного, а просто — прочитана. Понять и промолчать.

Зато в эту первую свою студенческую зиму он пристрастился к поэзии. Раньше обходил в библиотеке полки со стихами, а тут потянуло к ним — словно магнитом.

Он был записан в библиотеку не простую, особенную — Дома офицеров на Литейном. Записались вместе с отцом еще в пятьдесят седьмом году, отец во взрослое отделение, он — в детское. Отец, конечно, никакой был не офицер, старший сержант запаса. Но в те времена и сержантов записывали, тем более фронтовиков.

Впрочем, отец туда всё равно ходить не стал, отцу было некогда. А вот он, десятилетний, сразу привязался тогда к этой библиотеке, к молодой библиотекарше Валентине

Ивановне, коротко стриженой, с мальчишеской чёлкой, которая с ним подружилась и приберегала для него самое лучшее — новые фантастические повести, сборники «Мир приключений».

Валентина Ивановна любила поэзию.

— Послушай, — говорила она, — как Михаил Светлов написал к сорокалетию нашей армии:

Давай с тобой обнимемся, солдат!
На нас десятилетия глядят!
Нам не жалела Родина пайка:
Сто молний, сто чудес и пачку табака!

Он слушал. Когда Валентина Ивановна декламировала, ему тоже нравилось. Но самому читать стихи не хотелось.

Построенный в начале века, Дом офицеров своими чешуйчатыми стенами, башенками, узкими окнами-бойницами напоминал старинный терем или угловое укрепление древнерусской крепости. А внутри огромного дома было в пятидесятых годах малолюдно. Десятилетний мальчишка с любопытством и опаской (вот поймают и попадет!) бродил по его пустынным, казенного обличья коридорам — со стенами в деревянных панелях и сводчатыми потолками.

Однажды, свернув в такой слабо освещенный коридор, он вздрогнул от неожиданности: перед ним возвышался огромный темный человек. Не сразу он догадался, что видит статую, и решился приблизиться к ней.

На низком постаменте стоял двухметровый, тускло поблескивающий бронзой, совсем молодой Климент Ефремович Ворошилов в гимнастерке довоенного образца — без погон, с большими маршальскими звездами в углах воротника. Только по белеющим кое-где мелким сколам можно было догадаться, что он — гипсовый и лишь раскрашен бронзовой краской.

Скульптор постарался изваять маршала в движении: ноги чуть расставлены, одна рука, сжатая в кулак, согнута на уровне пояса, другая — отведена назад, как при строевом шаге, голова решительно вскинута и чуть повернута вбок.

Казалось, нарком тридцатых годов идет по коридору, строго всматриваясь в развешанные на стенах рисунки и фотографии, где изображено оружие противника конца пятидесятых: баллистические ракеты «Тор» и «Атлас», сверхзвуковой бомбардировщик B-58 «Хаслер» с треугольным крылом, авианосцы и вертолеты.

Почему-то запало в мальчишескую душу и вспоминалось иногда во взрослые годы это пустяковое, в общем-то, впечатление. Курьезное и странное смещение и смешение времен...

А к той зиме, когда он мучался от любви к Нине, первой студенческой зиме 1964—1965-го, гипсово-бронзовый маршал из Дома офицеров давно исчез, в коридорах висели фотографии и таблицы характеристик атомных подводных лодок с ракетами «Поларис», а в библиотеку записывали только настоящих офицеров. Но он к тому времени был уже читателем со стажем, и никто его, конечно, не выгонял.

Он перевелся из детского отделения во взрослое. Там работала теперь и посерьезневшая Валентина Ивановна (кажется, она так и не вышла замуж). Она по-прежнему оставляла для него интересные новинки, а главное, разрешала проходить в основной фонд и выбирать книги самому, что и вовсе дозволялось лишь избранным.

Почти каждую неделю он приезжал в библиотеку, вступал сквозь завешенный портьерами вход в залы фонда и надолго оставался в первом зале, у стеллажей, где рядами стояли сборники стихов.

Здесь испытывал он странное чувство: не возбуждения, а словно взлета над многоцветным миром. Дух захватывало от разреженной высоты, от грозового напряжения мыслей и чувств. Он снимал с полки то одну книгу, то другую. Пробегал глазами строчки. И выбирал какого-то одного поэта. Каждый раз, до следующего визита в библиотеку — только одного: прочитать, впитать в себя.

Он был изумлен: давно ушедшие люди, отлюбившие и отжившие много лет назад, писавшие о своей жизни, о своей любви, столь непохожих на его жизнь и его любовь,

с такой точностью высказали всё, что испытывал он сам. И его чувства к Нине, и его смятение.

Иные строки он вбирал сразу, с первого, беглого прочтения возле стеллажей, и бормотал про себя уже по пути домой:

Сколько раз я пытался тебя утолить, угасить,
Расставанье! О, горькие руки
Полуночного ветра, без воли, без ритма, без сил,
И чужое волнение, данное мне на поруки!
Подожди хоть немного, помедли, болтай, как и я,
Безответственно смейся, иди на любые ошибки.
Но тяжелое небо лежит, поднимая края,
Чтобы волны и весла его не расшибли...

Разве это Владимир Луговской из далеких, неясных двадцатых? Нет! Это переживал он сам, это мучало его сегодня, сейчас, в уличной толпе, на вполне реальном городском асфальте:

Прощай, прощай, прощай! Фонарь глотает темь.
Костлявый грек, как рок, качнулся на моторе.
И оркеструет вновь одну из старых тем
Огромное, неприбранное море...

У Луговского он всего лишь отыскал нужные ему слова.

И это он сам, шагая под липкими хлопьями влажного ленинградского снега, он сам, только словами Николая Заболоцкого, выговаривал пугающее и гордое пророчество судьбы — как будто не своей, но и своей тоже:

За великими реками
Встанет солнце и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет.
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.

И над рощей березовой,
Над березовой рощей моей,
Где лавиною розовой
Льются листья с высоких ветвей,
Где под каплей божественной
Холодеет кусочек цветка,
Встанет утро победы торжественной
На века.

Это было невероятно: на пыльных библиотечных полках тесными рядами стояли сокровища! Стояли открыто, доступно, с чуть желтеющими, нетронутыми, гладкими страницами, словно никому не нужные! Стояли спрессованные в переплетах сгустки энергии и мудрости, такие, как горькая мудрость Маршака:

Всё умирает на земле и в море,
Но человек суровей осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.
Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет — наперекор всему, —
Как будто жить рассчитывает вечность
И этот мир принадлежит ему.

И непонятно было, как могут существовать на свете глупость, злоба, недоброжелательство между людьми, когда УЖЕ ЕСТЬ ПОЭЗИЯ.

Но и об этом ОНИ тоже думали и сокрушались задолго до него. И он повторял светловское:

Неужели ты, воображенье,
Как оборванное движенье?
Неужели ты между живых,
Как в музее фигур восковых?..

В тот декабрьский вечер 1964-го они купили с Мариком бутылку сладкого портвейна. Решили, что хватит им троим.

Шли к димкиному дому, перепрыгивали через сугробы, болтали. Григорьев радовался: он встретился с Мариком, сейчас увидит Димку и, наверное, Стеллу. Это было подобно освобождению от Нины хоть на короткий срок. Снова они соберутся вместе, ничто не прервалось, им будет хорошо.

Но с самого начала всё покатилось плохо. Стеллы не было дома, а Димка сидел уже подвыпивший и какой-то взвинченный.

Григорьев не хотел при Димке говорить об учебе. Но Марик, едва отхлебнув из своего стакана, заговорил, как назло, именно об этом. Стал расспрашивать Григорьева, сколько у них часов высшей математики, по какому учебнику занимаются. И снисходительно отметил, что у них часов вдвое больше, и учебник — не Берманта (это для домохозяек), а Фихтенгольца или Смирнова — самые сильные курсы, на уровне университетского матмеха.

Григорьев видел, как томится захмелевший Димка, и пытался увести разговор на общее, соединить всех троих.

Но Димка вдруг сам перебил Марика:

— Да брось ты, Тёма, про свою науку! Хочешь анекдот? Из серии «Когда в кинотеатре погас свет»!

Потом, оставив Марика, они вдвоем с Димкой вышли на лестницу покурить. Григорьев стал спрашивать, поступил ли Димка в изостудию. Тот курил, поплевывая, и говорил рассеянно, будто сквозь разговор думал о своем. Расслышал про изостудию, отмахнулся:

— Пошел было, да бросил.

— А как же будешь к экзаменам готовиться? — спросил Григорьев. — В институт?

Димка поморщился:

— Да ну... В живописный уж точно больше не сунусь. Мне про их конкурс всё объяснили. В этом году на двадцать мест одиннадцать человек поступало блатных, — ну, художников дети, начальников, всё такое. Да еще пятерых из союзных республик принимали, по направлениям. Тоже блатных, конечно. Только четверых брали, как они у себя называют, «с улицы». Это мы всей толпой на четыре места ломились! Что, не веришь?

Верить, конечно, не хотелось. Но что-то подсказывало: Димка, а вернее тот, кто всё это Димке рассказал, — не врет. Может быть, преувеличивает немного с досады, но не врет.

— Да и видел я работы ихних выпускников, — сказал Димка, — ходил на выставку. «Строители Братской ГЭС», «Строители ЛЭП-500», «Строители нового города». Фотографии раскрашенные!.. Ладно, по весне — один хрен — всё равно в армию заметут, — и Димка, дурачась, пьяновато пропел: — Говоря-ат, не повезет, если черный кот дорогу перейдет!..

Это была самая популярная песенка минувшей осени. По радио она звучала каждый день. В музыкальных магазинах замученные продавщицы вывешивали объявления: «Пластинки "Черный кот" нет!»

— А пока наоборот — только черному коту и не везет, — уже мрачно закончил Димка. — Ладно, отслужу — посмотрим! — и вдруг снова ухмыльнулся, хлопнул Григорьева по плечу: — Ты что, из-за меня такой кислый?

Они вернулись в комнату. Как раз тогда и появился в телевизоре Косыгин. Григорьев стал было к нему прислушиваться, но тут Марик, кивнув на экран, заговорил о том, что в наше время надо заниматься только точными науками.

— Тут ничего от политики не зависит, — рассуждал Марик, — делай свое дело, и тебе неважно, кто во главе — Хрущев или Косыгин. Сумма углов треугольника от этого не изменится, и кремниевый диод не перестанет ток выпрямлять. А сейчас самое перспективное дело — ЭВМ. Вот за чем будущее! Лет через десять на каждом производстве будет вместо директора управлять ЭВМ, на любом, самом паршивом заводике — сколько куда металла подвезти, сколько какому цеху деталей сделать. А через двадцать лет — по всей стране все ЭВМ объединятся в одну систему, которая всё будет знать: где, что, вплоть до последнего зернышка и гайки. Ни в Америке и нигде такое невозможно, а у нас возможно. Потому что — социализм. Вот когда его преимущества по-настоящему проявятся! Порядок наступит! Все практические дела будут решать ученые с ЭВМ, значит,

и страной будут управлять. Политические деятели станут чем-то вроде священников — мораль проповедовать. Всё будет автоматизировано, рабочий день сократится, всего будет в изобилии. Вот так и настанет коммунизм — благодаря НАУКЕ! К тому времени научатся ЭВМ прямо к человеческому мозгу подключать — через биотоки. Такой простор откроется для творчества! И жить наше поколение будет необычайно долго!..

Димка во время этих мариковых рассуждений куда-то исчез, пообещав, что скоро вернется.

Григорьев с Мариком просидели почти час, и вдруг Димка вернулся — не один, а с девушкой, низенькой, грудастой, круглолицей толстушкой. Грохнул на стол еще один «фауст» и провозгласил:

— А это — Любочка! Если ее переставить... — он дернулся и закрылся от нее ладонью, словно в испуге, — ой, не Любочку, буквы переставить, получится Бу-улочка!

Люба хохотала, поглядывая на Марика и на Григорьева. Димка, блестя глазами и оскаливая волчьи зубы, говорил:

— Я сам человек неуравновешенный, и Любочку люблю за то, что неуравновешенная!

Та вскинулась:

— Чем это я неуравновешенная?

— А я никак не могу понять, что в тебе перевешивает — грудь или зад!

Люба замахнулась на него как будто в ярости, они с минуту боролись, Димка хохотал. Потом они успокоились, Димка разлил еще вина по стаканам.

Марик почти не пил, а у Григорьева уже горячо кружилась голова. Комната, лица, звуки голосов разноцветно и гулко колыхались вокруг. Он думал о том, что Димка много пьет, и сам он тоже — поддается ему. И еще думал о том, что всего полгода прошло после школы, а они трое уже отделены друг от друга. Марик — своей наукой, он сам — любовью к Нине, Димка — своей неудачей, вином (зачем он столько пьет!), этой девицей...

Димка уже не хохотал. Он гладил Любочку по толстой спине, гладил всё ниже, и что-то говорил, говорил, точно

воркуя, склоняясь к ней. А она, хоть кривилась в едкой улыбочке, притихала под его рукой, словно кошка.

Да, они разъединены, их быстро разносит в стороны течением. Неужели ничего уже не сделать?..

— 5 —

Вдали, в темноте, медленно двигались по Пулковскому шоссе — от Ленинграда и к Ленинграду — светлячки автомобильных фар. Кто-то минует поворот к аэропорту. Кому-то не нужно улетать.

Невидимым громовым шаром покатился по бетону разбегающийся лайнер. Дикторша прокричала объявление очередной посадки. Он невольно прислушался. Нет, конечно, это еще не его рейс.

Аля заметила, как он машинально вскинул голову и на миг застыл в напряжении. Губы ее искривила усмешка.

— Чего ты хочешь? — ощетинился Григорьев. — У меня через двадцать минут посадка! Я усталый, злой, мне ночь не спать — с самолета на завод! Зачем приехала? Если надумала уйти, могла бы подождать с таким радостным известием, пока вернусь! Или так не терпится почувствовать себя свободной?

Он ждал, что Аля в ответ заведет свое обычное: «А тебе обязательно — либо черное, либо белое! Если не кидаешься тебе на шею, значит, уходи прочь! Ты думаешь только о себе, ты устал, конечно! Мое состояние тебя не интересует...» Даже на это он был бы сейчас согласен.

Но она сказала, не то спрашивая, не то утвердительно:

— А тебе обязательно хочется, чтобы я была виновата. Тебе так будет легче.

Лето 1965-го было такое холодное и дождливое, какие даже в Ленинграде выпадают редко.

В начале июня провожали Димку в армию. Григорьев привез в подарок блок «Трезора», самых лучших тогдашних сигарет — болгарских, длинных, с фильтром.

— Ты что! — засмеялся Димка. — Лучше бы «Памира» купил по десять копеек! «Трезор» среди солдатиков не покуришь: только достанешь — пачку вмиг расхватают!

В комнате, где они когда-то занимались, у накрытого стола сели на прощанье вчетвером: Димка, Стелла, Александра Петровна и Григорьев. Марик не приехал, у него уже началась сессия, назавтра — первый экзамен. Марик только позвонил. Телефон висел в коридоре, Димка выбежал туда, и слышно было, как он кричит в трубку: «Спасибо, Тёма! Спасибо, старичок! Обязательно!..»

Коротко постриженный Димка, несмотря на возбуждение, был каким-то непривычно сосредоточенным. Почти не пил.

Григорьев смотрел на него, и даже не верилось, что он действительно провожает Димку в армию. Во взрослую, тревожную и суровую жизнь. В чем-то испытывал неловкость перед другом, в чем-то завидовал ему.

Александра Петровна молчала. Всё время казалось, что она вот-вот заплачет. А Стелла тянулась поговорить с Григорьевым. Расспрашивала, как он учится, и при этом смотрела прямо в глаза, внимательно и странно. Он смущался. По его мнению, Стелла не проявляла тех чувств, которые должна проявлять сестра, провожающая любимого брата на трехлетнюю службу.

Димка запретил идти с ним на сборный пункт, и, когда подошло время, решительно поднялся из-за стола: «Всё, прощаемся!» Обнял и поцеловал мать. (Та, наконец, заплакала, еле слышно, всхлипывая. Покатились слезы по щекам.) Обнял и поцеловал Стеллу. И вдруг, отстранившись, непонятно для Григорьева яростно погрозил ей пальцем: «Смотрри у меня!» И взял чемодан.

Григорьев и Димка вышли на улицу вдвоем.

— Жалко, что Тёма не приехал, — сказал Димка.

— У него завтра самый трудный экзамен, — попытался заступиться Григорьев.

— Да я не обижаюсь, — сказал Димка. — Тёма есть Тёма. Он свою науку ест, с наукой спит. Молодец...

— С Любой-то попрощался? — спросил Григорьев, чтобы увести разговор от Марика.

Димка сперва и не понял, о ком это. Потом сообразил, снисходительно усмехнулся:

— Ты что! Этих посикушек, знаешь, сколько! Только покажи... — Продолжая улыбаться, вдруг посерьезнел: — Со всеми, со всеми я уже простился, и с ханыгами, и с блядями. И черт с ними! Сегодня хотел только с тобой и Тёмой. Тот позвонил, ты приехал, — ну и хорошо!.. Всё, дальше не ходи!

— Я тебя до конца провожу.

Димка мотнул головой: «Нет!» И в лице его, в зеленых шальных глазах было что-то незнакомое, стремительное. Он обнял Григорьева, поцеловал в щеку и быстро пошел, взмахивая свободной рукой (другую оттягивал тяжелый чемодан). Что-то разрушалось, последние ниточки натягивались — вот-вот оборвутся.

Шагов через тридцать, прежде чем свернуть за угол, Димка обернулся и прощально помахал ему, оскалившись белозубой улыбкой.

После сессии, в июле шестьдесят пятого, студентов, закончивших первый курс, послали работать на стройке нового институтского общежития. Нины с ними не было. Григорьев слышал, как Нина говорила, что собирается на юг. Он даже не удивился, что ей удалось получить в деканате освобождение. Разве Нине хоть кто-то, хоть в чем-то может отказать?

А он три недели вместе с ребятами из группы яростно таскал по лестницам носилки: вверх по этажам кирпичи, вниз, во двор — строительный мусор, который собирали девушки. Ныли мускулы, известковая и кирпичная пыль покрывала лицо, забиралась под рубашку и, смешиваясь с потом, жгла тело. Но он был даже доволен. Ему хотелось именно такого непрерывного напряжения, отупляющей усталости, чтобы не думать о Нине.

Трудней всего было вечерами после работы и по воскресеньям. Марик тоже уехал из города, Григорьев чувствовал себя одиноким. Он играл в карты с ребятами в общежитии, ходил с ними в кино, сидел в пивном баре.

Эти бары, только что открывшиеся, были последней ленинградской новинкой. В них первое время ходили не просто для того, чтоб выпить пива, а из любопытства. Что-то западное, европейское чудилось в их пластиковой чистоте, красивых глиняных кружках, вежливости официантов. Забавляли чехословацкие пианолы: бросишь в прорезь пятнадцатикопеечную монетку, нажмешь одну из сотни кнопок (возле каждой — бумажная полоска с названием песни), — и сквозь прозрачную крышку видно, как из длинного ряда стоящих на ребре пластинок поднимется выбранная тобою, отъедет в сторону, к звукоснимателю, и вот уже гремят какие-нибудь «Очи черные» или «Оранжевое небо» малолетней вундеркиндки Ирмы Сохадзе.

Ребята много говорили о девушках. Послушать их, все они давно были мужчинами и с девушками сходились и расходились так легко, как будто проще этого ничего нет на свете. И черт их знает, врали или нет, потому что называли знакомых девчонок, однокурсниц. «Эта — страстная. Под новый год в общаге завалил ее по пьяне, так все плечи мне искусала. А утром проспались, делает печальный вид: что же теперь будет? А ничего, говорю, не будет. Досыпай, я пошел». — «А эта весной аборт делала. У нее парень с механического, она с ним ночью в душевой закрывалась. Их однажды выследили и снаружи заперли. Ржачка!»

И всё это говорилось о девушках, с которыми сидели рядом на лекциях и в лабораториях, обсуждали книги и кинофильмы, у которых списывали задания, клянчили конспекты перед экзаменами. Вокруг текла бурная, горячая, скрытая жизнь, а ему, Григорьеву, в ней не было места.

Он оказался самым младшим из ребят: сорок седьмого года рождения, восемнадцатилетний. Все остальные однокурсники были старше: кто на год, на два — после одиннадцатилетки, а кто и на три-четыре — после армии.

Он слушал их разговоры со скучающим лицом, иногда снисходительно хмыкая, если надо было как-то среагировать. Он ни за что не признался бы в своей невинности, хотя порой приходил в отчаяние оттого, что недоступна ему такая же легкость в обращении с девушками. Он и разговаривать-то с ними не умел.

Снова и снова он думал о Стелле. Ей исполнилось двадцать пять, и он уже понимал, что она не девушка. Причем, в его глазах это не унижало, а скорее возвышало ее. Он помнил димкины слова про «хахаля», но больше не испытывал ревности, вообще не задумывался о том таинственном парне, к которому Стелла убегала на свидания, и кому, возможно, дала когда-то власть над собой. Того — безликого, безымянного — словно не существовало. Всё заключалось только в самой Стелле, и ее взрослое состояние означало ее собственную власть, в том числе над его, Григорьева, судьбой. Он понимал, что, несмотря на разницу в возрасте, нравится ей. Вот, если бы она согласилась... если бы снизошла к нему... если бы стала у него первой... От таких мыслей голова кружилась. Потерять с ней проклятую мальчишескую невинность, стать мужчиной, — да от этого весь мир преобразится, и он в нем вырастет!

Однако, стоило ему приблизиться к телефону для того, чтобы позвонить Стелле, как вся его решимость тут же уходила, словно вода в песок, и он останавливался, беспомощный.

То есть, однажды он позвонил ей, когда получил первое димкино письмо из армии. Но тогда его так не мучили стыдные мысли, он разговаривал с ней просто и легко. А теперь...

Он придумывал, как и о чем будет говорить со Стеллой. Сперва, конечно, опять о Димке, по-другому и не начать. Потом надо спросить: «А как дела у тебя?» Если Стелла откликнется и начнет с охотой о себе рассказывать, он попробует намекнуть, что давно ее не видел. И если она и это воспримет благосклонно, тогда можно будет решиться и попросить о встрече...

Он просыпался ночами и долго ворочался без сна. Во взбудораженном мозгу всё выстраивался будущий разговор.

Он подбирал фразы, — как ему казалось, легкие, остроумные, шаг за шагом приближающие его к цели. Пытался угадать варианты ее ответов и снова напряженно придумывал и запоминал собственные реплики на каждый случай. А утром плелся на стройку невыспавшийся, разбитый.

Закончилось унизительно: когда, наконец, он решился и позвонил, то, едва услышав ее тонкий голосок — «алло!», — задохнулся и бросил трубку...

О, этот жгучий восемнадцатилетний стыд, невидимый для окружающих! Он стыдился своей беспомощности, из-за которой не может стать мужчиной, и стыдился своих желаний: они загоняли его внутрь самого себя, в физиологию, в низменное, недостойное. Ведь его чувство к Нине, — он понимал, — все-таки было иным. И если он позволяет себе такие грязные мысли о той же Стелле и других девушках, пытается представить их наготу и себя с ними, — не то ласкающим, не то насилующим, — он теряет право о чистой и прекрасной Нине даже думать!

А разве не стыдно было мучиться от похоти, когда его друзья жили настоящей, возвышенной жизнью? Марик уже работал в студенческом научном обществе, Димка — служил в армии.

Он писал Димке длинные письма. Тот отвечал бодро: «Природы здесь нет — один лес. Людей нет — одни военные. Выпивки нет — один одеколон. Спи спокойно, к оружию меня еще не допустили!»

И наконец, стыдно было жить своими низкими страстями, когда в мире происходили великие, грозовые события. Тем летом американцы уже всерьез, беспощадно стали бомбить Северный Вьетнам. Вначале это вызвало шок. К партизанским боям на юге Вьетнама за много лет привыкли. Но тут — начали бомбить независимое государство. Бомбить, как в настоящей войне. Казалось, такого не было со времен Второй мировой. (Корейские события их поколение почти не помнило, да и те, кто постарше, успели позабыть, — целая эпоха прошла.) Что же будет? Газеты, радио, телевидение тревожно кричали: «Вьетнам! Вьетнам!..»

А дома, в стране, ощутимо шло движение, здоровое, деловое. В марте прошел пленум ЦК по сельскому хозяйству. Спокойный и рабочий, не то что пленумы при Хрущеве — с толпами приглашенных и колокольным звоном об исторических решениях. В сентябре ожидали пленум по реформе промышленности. В газетах потоком шли статьи с критикой недостатков нашей экономики. Как же так: год назад те же самые газеты издевались над американскими «измышлениями», «утками», «фальшивками» о нашем кризисе, а теперь, по сути, всё подтверждали? Значит, это была правда, всему миру известная, и скрывали ее только от собственного народа, как в шестьдесят втором ракеты на Кубе? Ну, Никита Сергеевич!..

Вот только в мае, в праздник Победы (небывалое торжество — двадцатилетие!), кольнуло немного, когда выступавший с докладом Брежнев помянул руководство Сталина и зал дружно захлопал. Но Брежнев тут же назвал и маршала Жукова, и зал опять отозвался аплодисментами. Ну что ж, в хрущевские годы Жукова как только ни честили: душил-де всё передовое в армии, не давал развиваться ракетной технике, а в войну прославился только грубостью и жестокостью. Конечно, так нельзя. Конечно, нужна объективность, и с Жуковым, и со Сталиным (в Отечественную, что ни говори, он был главнокомандующим). И ничего плохого в такой объективности, наверное, нет. Не культ же собрались восстанавливать.

Правда, еще кольнуло и то, что выступления Косыгина по телевидению, к которым начали было привыкать, весной как-то незаметно прекратились. Но, наверное, у председателя совета министров есть более важные дела, чем отчеты перед телезрителями.

Сидеть всё лето в городе было невозможно, и когда работа на стройке закончилась, Григорьев, как студент и член профсоюза, купил в профкоме института путевку в дом отдыха в Зеленогорске. Отец, узнав об этом, только головой покачал: «Ну, ты совсем взрослым сделался! — и неопределенно усмехнулся: — Ты там смотри, шибко не разбегайся!»

С маленьким чемоданом в руке Григорьев сошел с электрички и зашагал по знакомой дороге — от станции к заливу. Только не сразу на пляж, как ходил когда-то с друзьями, а вначале туда, где над Приморским шоссе поднялись на холме пятиэтажные корпуса из белого кирпича — недавно построенный дом отдыха с громким названием «Морской прибой», его пристанище на двенадцать августовских дней, отмеренных путевкой.

Он приехал в солнечную погоду, какой давно не было этим летом. Он осматривался по сторонам и вспоминал, как в шестьдесят третьем приезжал сюда с Мариком и Димкой. Прошло только два года, а как всё переменилось! Вроде бы и мечта сбылась, он студент, а на душе — смятение и одиночество.

Дом отдыха был совсем новый. На лестницах по стенам — декоративные полочки, на них — деревянные вазочки с причудливыми сухими ветками, последняя мода. Номера — только двухместные и одноместные. Григорьеву достался одноместный! Крохотный, но удивительно уютный! В этом номере была даже раковина с холодной и горячей водой в кранах. А туалет в конце коридора был выложен чистенькой цветной кафельной плиткой и оттуда не пахло на весь этаж хлоркой. Настоящая роскошь!

Григорьев переоделся, положил в сетку-авоську подстилку и книгу. Спустился, вышел на игровую площадку перед корпусом. Здесь на раскрашенных щитах были нарисованы головоломки: мужик с волком, козой и капустой у лодки на берегу реки, магические квадраты с пропущенными числами, лабиринт. Отдыхающие, развлекаясь, со стуком бросали кольца на стержни, торчавшие из наклонной доски с цифрами.

Он пошел на пляж, побрел по песку среди распростертых, загорающих людей. Помимо воли, жадно, разглядывал молодых женщин в купальниках. Томила тайная надежда: а вдруг ЭТО случится с ним здесь. Где же еще и случаться такому? Быть может, одна из тех, на кого он искоса смотрит, проходя, окажется его соседкой за обеденным столиком. Хо-

тя бы вот эта, что лежит, загорая, на спине, с зажмуренными глазами — крупная, длинноногая, с высокой грудью.

Он задавливал в себе горячий, колющийся кипящими пузырьками ток, склонял голову и всё дальше уходил вдоль кромки воды. Мелкие волны выплескивались на гладкий сырой песок. Залив искрился под солнцем.

Он шел и твердил про себя строчки Брюсова (в то лето он жил Брюсовым):

И встал я у скалы прибрежной,
И видел волн безвольный бег,
И было небо безнадежно,
И в небе реял — человек.
Над ним не трепетали крылья...

Ложился, пытался загорать и читать. У него была с собой прекрасная книга — «Молодые львы» Ирвина Шоу. В библиотеках очереди на нее записывались. Это Валентина Ивановна тайком выдала ему какой-то «контрольный экземпляр». Но сейчас никак не удавалось сосредоточиться. Досадуя на себя, он пролистывал книгу вперед, искал и находил постельные сцены. Женщины в книге были жадны к любви, сами искали близости. Неужели это действительно так? Почему в его жизни всё по-другому? Он сам виноват, глупый, неуклюжий?..

Его соседями по обеденному столику оказалась семья — муж, жена и мальчишка лет двенадцати. Мальчишка кашлял. Муж с женой, не обращая внимания на Григорьева, переругивались: кто из них не уследил и дал мальчишке, потному, напиться холодной воды из фонтанчика.

Григорьев снова ушел на залив, искупался. Потом купил газеты в киоске у почты (сюда их привозили из Ленинграда только в середине дня). Взял и тут же развернул «Правду», отыскивая главное — сообщения из Вьетнама. Оказывается, доблестные вьетнамские зенитчики за вчерашний день сбили девять американских истребителей-бомбардировщиков. Ну что ж, неплохо.

Он опять ушел на залив, читал, купался, следил за девушками. В номер возвратился уже в сумерках. Долго не мог заснуть...

Назавтра снова был жаркий, одинокий день. Григорьев несколько раз искупался, так что в конце концов закоченел. И долго потом шел по сырому, твердому песку вдоль кромки залива, согреваясь и стараясь утомить напряженное тело. Мимо разбросанных по бесконечному пляжу пестрых подстилок, на которых блаженно распростерлись загорающие отпускники. Мимо стаек парней и девушек, весело отбивавших волейбольные мячи. (Подойти бы сейчас к такому кружку, подбить отлетевший мяч и так же прыгать в солнечном воздухе, выкрикивать девушкам шутки.)

Он опять думал о Стелле, пытался представить ее в купальнике — такой, какой никогда не видел. Представлял ее обнаженные ноги, белые, очень полные вверху, стремительно сужающиеся к маленьким коленям, — и ноющий жар растекался по телу, замедлял движения. Сердясь на себя, он старался шагать быстрее.

В газетах сообщали об очередном разбойничьем налете американцев на Вьетнам и шести сбитых самолетах. На игровой площадке нескончаемо стучали по доске дурацкие кольца. Слышно было, как Трошин по радио мужественно поет песню, посвященную космонавту Леонову: «Шаги, шаги — по трапу, по траве, по белым облакам, по синеве! Шаги, шаги — по небу пять шагов. За каждым шагом — отзвуки миров!..» Где-то за прилавком в магазине стояла Стелла в синеньком гладком халатике.

Долетел обрывок разговора:

— Хочешь в Ленинград позвонить? На почте есть автомат, по пятнадцать копеек...

И опять после неглубокого, не дающего отдыха сна пришел томительный день. Огромный мир — со сверкающим заливом, обнаженными телами, ударами мячей, плеском воды, смехом, — точно гулкий, пестрый купол покачивался вокруг, слегка вращался, кружа голову. А он, в центре, придавленный к горячему песку, задыхался от непонятной, уже не телесной тоски. Снова украдкой смотрел на девушек, томил-

ся. И злился на себя за то, что потакает свинскому томлению вместо того, чтоб его преодолеть. Но разве можно пересилить проклятый инстинкт продолжения рода? Ведь именно в нем всё дело! И когда он мучает тебя, заставляет искать удовлетворения, что толку в попытке спастись хвататься за свои человеческие интересы и знания, науку, поэзию, историю? Всё равно, что тонущему среди стихии волн хвататься за щепки.

А если бы в процессе эволюции органы размножения не совместились с органами выделения? (Что для этого требовалось? Немного иная температура на древней Земле сотни миллионов лет назад? Немного иной состав атмосферы?) Если бы акт любви, наслаждения, зачатия не был связан с грязным и постыдным телесным низом, совершался бы чистым, подобно поцелую? Тогда, наверное, вся психология и мораль, вся культура и философия, вся история рода человеческого сложились бы совершенно иначе! Сложились — непредставимо! Быть может, с невероятной свободой для человеческого разума...

Стараясь отвлечься от наготы и шума пляжного мира, он опять пытался читать. На этот раз вторую книгу, взятую с собой, — «Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Но чтение опять не отвлекало. От рубленых, жестких фраз, изъеденных горечью, становилось еще тревожней: «Неужели книги — это только черновики, которые нам приходится набело переписывать в жизни?» Сама неясность этих слов не обещала иной разгадки, кроме печали.

Он с трудом дождался часа, когда в киоск привозят газеты, купил их, отправился с ними обратно на пляж. На аллее, ведущей к заливу, его обогнали две девушки в коротких платьях. У одной покачивался в руке тяжелый транзистор «Спидола». Девушка оглянулась на Григорьева, перехватила его взгляд вниз, на ее длинные загорелые ноги, сразу отвернулась и так же быстро, но чуть напряженнее пошла дальше рядом с подругой. Удалялся с транзистором голос Майи Кристалинской: «И спать пора-а, и никак не уснуть! И тот же двор, и тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть!..»

Он резко свернул в сторону, чтоб не идти вслед за этой девушкой, побрел без цели среди сосен. Шел и думал о том, как смеется над ним судьба, словно дразнит: он — хозяин отдельного номера, а что толку? Вспомнил надежды, с которыми собирался в дом отдыха, и обругал себя. Глупый мальчишка, неуклюжий щенок! Не в состоянии даже познакомиться, заговорить с понравившейся женщиной. Так поделом тебе, мучайся!

И вдруг, всё как-то замкнулось в его голове: отдельный номер, случайно пойманный обрывок разговора о том, что на почте есть телефон-автомат прямой связи с Ленинградом, — отдельный номер — телефон-автомат — Стелла...

Он взглянул на часы: шесть вечера. Через час закроется ее магазин, еще через полчаса она вернется домой. Сердце гулко заколотилось. А что такого, в конце концов, если он ей позвонит?..

Почта помещалась в деревянном домике. К телефону-автомату выстроилась очередь. Все хмуро слушали, как мужчина в кабинке громко бранит дочь, судя по всему провалившуюся на экзаменах в медицинский институт: «Я тебе говорил, в технический надо идти!»

Григорьев сразу решил, что в такой обстановке разговаривать не станет, сейчас же уйдет. Но не ушел, остался обреченно стоять. Старался не слышать, о чем говорят сменявшиеся в кабинке люди, словно надеялся, что тогда и другие не будут подслушивать его самого.

Когда настала его очередь, он шагнул в тесную кабинку, бросил в автомат пятнадцатикопеечную монету и быстро, боясь, что струсит, накрутил номер. Ответили сразу, после первого гудка. Чужой, недовольный женский голос произнес: «Алло!» Он испугался было, что не туда попал, но тут же догадался: это соседка. Деревянно выдавил из пересохшего горла:

— Стеллу, пожалуйста!

Там, в Ленинграде, хлопнула трубка о столик. Сердце билось так сильно, что удары отдавались в животе, в ногах. Он слушал потрескивание и шорох разрядов в сорокакилометровой линии. И вдруг, электрическим уколом — в ухо,

в мозг, в похолодевшее сердце — вонзился тоненький, встревоженный голосок Стеллы:

— Я слушаю!

Он с трудом назвал себя и услышал, как она облегченно засмеялась:

— А, это ты! Что так долго не звонил?

Он оттаял немного от ее дружелюбного смеха и торопливо заговорил, что вот, он не в городе, а в доме отдыха, в Зеленогорске. Словно находился здесь не третий день, а уже бог знает сколько времени, и именно это было объяснением, почему он давно не объявлялся. Говорил негромко, чтобы очередь за дверью кабинки не услышала. Казалось, от этого его голос приобретает скрытую силу и доверительность.

— Везе-ет же тебе! — с шутливой завистью протянула Стелла. — Как будто специально для тебя и погода установилась!

— Конечно. По моему заказу, — негромко посмеивался он, сам себе удивляясь: как легко он с ней разговаривает, свободно, иронично. Так, как всегда хотел и не мог говорить с девушками.

— У вас там хорошо-о, наверное, на заливе?

— Конечно! Купаемся, в волейбол играем!

— А у нас в городе ду-ушно так. Я ведь тоже в отпуске, а еще и не загорала толком.

— В отпуске?.. — у него спазмой сдавило горло, и следующие, главные слова, которые готовился произнести легко и небрежно, он выговорил прерывающимся голосом: — Ну так приехала бы ко мне...

— В Зеленогорск? — спросила она. — Далеко очень. Целый день уйдет.

— Вот на целый день и приезжай!

Он молил сразу и о том, чтобы она не поняла его игру, и о том, чтобы поняла и откликнулась. За дверью кабинки слушала нетерпеливая очередь, но ему было уже всё равно.

Стелла молчала несколько секунд, а когда наконец ответила, голос ее звучал уже по-другому, растерянно:

— Когда?

— Приезжай завтра утром!

— Ну что ты... Сейчас вечер уже. Как это вдруг я все дела брошу...

— Приезжай! — требовал он, почувствовав какую-то, еще непонятную самому, власть над ней. — Приезжай... а то погода испортится!

Она пыталась что-то возразить.

— Я буду тебя встречать на зеленогорском вокзале с десяти часов! — объявил он. — Все электрички буду встречать подряд, слышишь?!

— Да, — отозвалась Стелла. — Я слышу. Да, хорошо...

С горящим лицом, весь в поту, он выскочил из душной кабинки и пролетел мимо растянувшейся до самого выхода очереди, словно прорвался сквозь натянутую проволочную сеть раздраженных и любопытствующих взглядов.

Возбужденный, он спал в эту ночь совсем беспокойно. Поднялся рано. Как мог, вымылся над раковиной. Тщательно побрился. Неужели ЭТО случится с ним сегодня?.. Рассматривал себя в зеркале над умывальником и огорчался слишком юному виду: мальчишка мальчишкой! Хмурился, взглядывал исподлобья, стараясь найти более взрослое выражение лица.

На площадке под окном раздражающе стучали о щит кольца. Возле нарисованного мужика с волком, козой и капустой, как всегда, громко спорили отдыхающие.

Вдруг он ужаснулся: а если Димка обо всем узнает?! Но то, что владело им, то, что подгоняло его сейчас, было сильнее дружбы с Димкой...

Электрички из Ленинграда приходили на зеленогорский вокзал через каждые пятнадцать-двадцать минут. Пассажиры высыпали на платформу, текли мимо него потоком, редели, исчезали. Стеллы всё не было. И времени как будто не было: он не замечал его, электрички подъезжали словно одна за другой. Почему-то он был уверен, что Стелла опоздает, но в конце концов появится обязательно. А кроме этой уверенности не осталось никаких отчетливых мыслей, и даже волнения не осталось — только звенящее напряжение.

И когда, наконец, он увидел Стеллу в очередном потоке приехавших, — скорее угадав, чем разглядев ее маленькую фигурку в мелькании чужих людей, — асфальт платформы неожиданно вздыбился под ногами, а солнечный мир на мгновение потемнел и накренился. Должно быть, кроме возбуждения, сказалась почти бессонная ночь.

Он не испугался. Он только переждал секунду, пока головокружение пройдет, и двинулся навстречу, никого, кроме Стеллы, перед собой не замечая и странным образом ни с кем не сталкиваясь.

Она улыбнулась ему — снисходительно, как всегда, — но сверхчутьем он уловил в ее выпуклых темно-зеленых глазах тревожные искорки, подобие испуга. В самой улыбке, от которой растягивались ее слишком большие для маленького личика губы и сильней выступала нижняя, раздвоенная, было сейчас нечто беззащитное. И вся она, невысокая, в свободном легком платьице, скрадывавшем фигурку, с открытыми, незагорелыми, молочно-белыми нежными плечами, казалась трогательно некрасивой и остро, как никогда, желанной.

Вместо приветствия она сняла с плеча и протянула ему свою модную «аэрофлотовскую» сумку на длинном ремешке:

— На, понеси!

Он молча взял.

— Вот, — сказала она, — все-таки приехала. Бросила всё — и на вокзал. — Она засмеялась и вдруг произнесла странную фразу, на которую он почему-то не обратил тогда внимания: — Думаю, надо повидаться, а то и не увидимся потом...

Они пошли рядом. Пошли молча. В том состоянии, в каком он находился, он не смог бы поддерживать не только остроумный, но вообще какой бы то ни было разговор. Да это оказалось и ненужным: сейчас молчание не разъединяло, а соединяло их. При ходьбе он то и дело нечаянно прикасался своим горячим локтем к ее руке, ощущая удивительную, нежную прохладу ее кожи.

Когда остановились возле его корпуса и он сказал: «Пойдем ко мне!», она немного удивилась:

— Мы разве не на пляж?

— Пойдем, — говорил он, — посмотришь мой номер.

Не отвечая, она смотрела куда-то в сторону. А он повторял, повторял, уже ничего не соображая:

— Пойдем, пойдем, посмотришь, как я живу.

В конце концов, словно от толчка, он повернулся и сам направился к дверям корпуса. И тогда — всем слухом и осязанием — уловил за спиной ее замедленные, шаркающие, как будто обреченные шажки...

Она не сказала ни слова, пока поднималась вслед за ним по лестнице. И только в номере, когда, пропустив ее, он поспешно закрыл за собою дверь и стал возиться с ключом, запирая непослушный замок, раздался ее странно изменившийся голос:

— Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? — монотонно говорила она.

Потом он пытался ее поцеловать, упрашивая «Стелла, Стелла, пожалуйста!», а она уклонялась, уклонялась. Это походило на странную, изнурительную борьбу, в которой оба противника боятся по-настоящему задеть друг друга: попытки сближения, легкие отстранения, вялое отталкивание. И одновременное сонное бормотанье: «Стелла, Стелла, пожалуйста!» — «Ну зачем ты это делаешь?»

Он умоляюще вцепился в край ее платья, стал тащить вверх. — «Что ты делаешь?..» — но голос ее уже дрожал. И вдруг, она протяжно вздохнула и вскинула руки. Он даже замер на миг, не сразу догадавшись, что она помогает ему. Под платьем на ней оказался пестрый тугой купальник. Она сказала, словно извиняясь:

— Я думала, мы прямо на пляж пойдем...

Он не помнил, как они оба разделись, как он расстелил кровать. Всё совершилось само собой, стремительно, как удар молнии: его ослепила белизна ее тела (резко, страшно выделялись темные волосы внизу), а в следующее мгновение они уже легли. Стелла привлекла его к себе, он ощутил ее быстрые щекочущие пальцы и вдруг с изумлением («Неужели правда?!») почувствовал себя в ней. А она больно впилась ему в губы и, сковав своими неожиданно сильными ногами,

стала двигаться, двигаться сама, в каком-то отчаянном нетерпении, ему оставалось только подчиняться. Она вдавливала, вталкивала его в себя, в темное, горячее, влажное, тайное, при каждом броске тела слегка обжигая наслаждением. Но только — слегка, он не терял рассудка, всё сознавал. Он даже слышал, как раздражающе скрипит металлическая сетка кровати, как неприятно сильно колотится собственное сердце. Неужели это и есть то самое? Это — и всё?! Только это?!

Его изумляло поведение Стеллы: ее лицо, искаженное словно в муках, зажмуренные глаза, то, как она отрывала от его занемевших губ свой яростный рот, чтобы застонать. Значит, она чувствует всё неизмеримо сильнее? Чувствует нечто необыкновенное, чего он не может с ней разделить?..

Его пронзила жаркая, долгая, освобождающая судорога. Расслабленный, он уткнулся лицом во влажную подмышку Стеллы, остро пахнувшую потом. Благодарность и нежность оказались сильней испытанного разочарования, принесли умиротворение, даже ощущение счастья. Но тут же он испугался: что, если будет ребенок?!

А она тоже опамятовалась и оттолкнула его:

— Пусти-ка! Пусти!

Слезла с кровати, прошлепала босыми пяточками к умывальнику, открыла воду. Вдруг испуганно прикрикнула:

— Не смотри!

Он и не пытался смотреть. Он лежал лицом к стене, слушая, как льется вода из крана, звонко плещет то в раковину, то на пол.

— Весь пол залила, — раздосадованно сообщила Стелла. — Ну ничего, линолеум, высохнет.

Пробежала назад. Сказала:

— Подвинься!

И снова привалилась к нему в тесноте скрипучей кровати. Он ощутил ее грудь, мокрый живот, мокрые волосы внизу, всё еще пугающие своим прикосновением, и мокрые до самых пальчиков, до царапающих ноготков, такие маленькие и такие сильные ноги.

Поцеловал ее. Заговорил было о том, что влюбился в нее сразу, как только увидел впервые осенью шестьдесят третьего. Но быстро сбился и замолчал под ее взглядом. Сдвинув уголком маленькие бровки, остроносенькая, похожая на сердитую птичку, она странно всматривалась ему в лицо своими выпуклыми, темно-блестящими глазами.

— Женя, — сказала она. — Женя. Надо же, имя тебе дали девчоночье!.. — Неожиданно ткнула его пальцем куда-то под ключицу: — Вон какой след тебе оставила, сама не заметила. На пляж теперь не выйдешь. Хотя, вы, мальчишки, такими пятнами любите хвастаться.

И вдруг, закинув лицо к потолку, громко сказала с восторженным ужасом:

— Какая же я дрянь! Господи, какая дрянь!

— Почему?!

— Да разве можно было мне с тобой? Совсем я с ума сошла!

— Давай поженимся.

— Ой, не смеши меня! Дурачок. Да я на семь лет тебя старше!

— На шесть с половиной!

— Мало, что ли?

— Шекспир тоже женился в восемнадцать лет, и жена была на шесть лет старше.

Стелла расхохоталась:

— Ты что — Шекспир?

— И у Наполеона жена была на шесть лет старше.

— Ой, не могу! Ты что — Наполеон?

Она заливалась смехом.

— А если будет ребенок? — спросил он.

Должно быть, слишком явно в голосе его прозвучал испуг. Стелла перестала смеяться. Сказала раздраженно:

— Успокойся ты, не будет никакого ребенка! Что же я — дурочка, не знаю, когда мне надо беречься, когда нет?

И вдруг посерьезнела:

— Вот что, мы с тобой больше не увидимся. Ты за мной не ходи и не звони мне, слышишь!

— Почему?!

— Потому! Игра есть такая детская: «Первый раз прощается, второй раз — запрещается!» Играл в нее маленький?

— Я тебя люблю.

— Перестань! — строго сказала она и зажала ему рот ладошкой. — Молчи, ничего не говори сейчас!

Несколько секунд они в упор смотрели друг другу в глаза. Неожиданно Стелла взяла его за плечи и сдавила так, что ногти больно вонзились ему в тело.

— Ты что?! — вскрикнул он.

А у нее странно искривился рот, затуманился взгляд, опустились веки. Она опять трудно застонала, медлительно и сильно охватывая его и вбирая в себя...

Вечером, когда он провожал ее на вокзал, Стелла вновь повторяла:

— Не ходи за мной больше! Не ходи и не звони, понял?!

Он ничего не понимал, но боялся возражать ей, чтобы не рассердить. Он еще не мог свыкнуться с мыслью, что всё уже произошло и завершается так нелепо обыденно. А Стелла вдруг начала расспрашивать его о какой-то ерунде, вроде того, хорошо ли кормят в доме отдыха. И в голосе ее звучали прежние, взрослые, покровительственные нотки. Он что-то отвечал. Его опустошенное тело было неприятно невесомым, ватным. Болела голова. Стыдно было признаться самому себе, но больше всего хотелось, чтобы Стелла поскорей уехала.

Электричка на Ленинград отходила почти пустая. Стелла уселась в вагоне у окна и, когда поезд тронулся, помахала рукой и улыбнулась ему сквозь стекло своей обычной, снисходительной улыбкой.

Он наконец-то остался один на безлюдной платформе. Но облегчение не наступило. Его даже подташнивало слегка от усталости, разочарования и стыда.

Думал, что в эту ночь опять не сможет заснуть, а заснул, как убитый. Проснулся утром, один в номере, со странным чувством: свершилось, я — мужчина. Кажется, с этого дня солнце должно было по-другому светить.

Лежал на пляже, читал, с достоинством покуривал, ни на кого не глядя. Словно играл сам перед собой. Пока не начал

понимать: ничего не изменилось! Смятение не исчезло с его обращением в мужчину. Значит, то, что ему казалось телесным томлением, было на самом деле чем-то иным?

Он вспоминал слова Стеллы о том, что не увидит ее больше. И теперь хотелось увидеть ее немедленно. Не затем, чтобы повторилось вчерашнее, а словно потому, что с ее помощью он мог добиться какой-то ясности в себе самом.

Ритуальный поход за газетами не принес облегчения. Даже новости из Вьетнама сейчас не волновали. С охапкой нераскрытых газет пошел было на пляж. На полдороге остановился. Потом решительно направился назад, на почту.

Снова выстоял очередь к телефонной кабинке. Бросил монету, с колотящимся сердцем набрал номер. Когда ответили, спросил Стеллу. Подошла, как видно, Александра Петровна:

— А кто ее спрашивает?

Он с трудом назвался.

— А зачем она тебе?

Григорьев промямлил что-то насчет посылки для Димки, посоветоваться.

— Уехала она. К подружке, на дачу.

— А когда вернется?

— Кто ее знает! — вдруг зло сказала мать. — Через три дня, через неделю.

Вышел из домика почты, заметался, не зная, чем себя занять. Хотелось курить. Вспомнил, что оставил сигареты в номере на тумбочке... Стелла приедет через неделю, и ему в этом доме отдыха маяться еще целую неделю. Как прожить эти дни, когда он не знает, что с собой делать? Состояние такое, словно хочется вырваться — из этого залитого солнцем и заплывшего самодовольством мира отдыхающих, из самого себя... Вырваться? Куда?

— 6 —

Опять сквозь шум аэропорта донесся голос дикторши. Какой-то рейс откладывается на два часа. Другой рейс. Слава богу — другой! Даже представить было тяжело, что может случиться, если его рейс сейчас отложат и прощанье с Алей затянется — до утомления, до повторения одних и тех же слов. Аля в конце концов уехала бы из «Пулково», а он остался бы, привязанный, слоняться из угла в угол и уже нестерпимо, как освобождения, ждать вылета. Господи, только бы не сорвалось! Только бы всё кончилось по-человечески: чтобы ОН сейчас улетел, а ОНА — осталась.

Аля ждала его ответа. Хочет уйти. И для этого ей понадобилось приехать проводить его. Затеять на прощанье разговор, сыграть мучительную нервную мелодию и разойтись с последним аккордом, с медленно затихающим басовым гулом душевной боли. И ведь не из любви к мучительству или самоистязанию это ей необходимо, а чтобы ощутить завершенность. Пусть будет так, как ей хочется.

Ты еще наивна, Аля! Ты думаешь, мне больно? Конечно, больно. Ну и что? Я в другом возрасте. Это не преимущество, я просто в другом времени. Так у Брэдбери встречаются и беседуют марсиане из разных эпох, бесплотные друг для друга.

Конечно, опыт не приходит с возрастом, а тот, что приходит, ничего не стоит. Ум — подавно не приходит. Но что-то накапливается, подобное иммунитету. Или просто мертвеет. Ты думаешь, что наносишь мне рану? Теперь мои раны заживают всё скорей. Раскрылся кровоточащий разрез — и тут же стянулся, покрылся бугристой коричневой коркой. Вот и она растрескалась и слетела, а под ней — не розовонежная обновленная плоть, но всё та же темная, грубая, старая кожа...

Он пожал плечами. Сказал:

— Почему? Я не думаю, что ты виновата.

Внизу подкатил очередной ярко-желтый «Икарус-городской». Хорошая машина, только двигатель уж слишком

приемистый. С места берет таким рывком, что стоящие пассажиры валятся. «Всё, перешедшее за меру, превращается в собственную противоположность!» Так отец любил повторять, раньше, когда бывал весел, выпивал и шутил. Уверял, что это — самый главный закон диалектики. Где он его услышал, на каких политзанятиях?

Хотелось еще закурить, но нужно было перетерпеть. Нельзя курить следующую сигарету раньше, чем через два часа: забивает бронхи. Вздохнешь — и сразу неприятно чувствуешь в груди, вверху эту шершавую копоть.

Аля осеклась, смотрела на него сбоку. Не могла понять, больно ему или нет. Да больно, больно же! Оттого, что ты уходишь. И оттого, что еще двадцать минут надо провести с тобой, говорить о чем-то. И голова болит, никак не удается выспаться. И впереди бессонная ночь, а за ней, с ходу — первый, суматошный завтрашний день на заводе. И послезавтра...

Впрочем, послезавтра тебя уже не будет со мной, Аля. Хоть одна боль уйдет.

В том августе 1965-го, вернувшись из дома отдыха, он еще дважды звонил Стелле. Первый раз подошла она сама. Сразу узнала его голос, испугалась, и даже не заговорила, а забормотала — быстро-быстро и тихо, видно, боясь, чтобы там, рядом с ней, не услышали:

— Я не могу сейчас говорить, ты не звони, больше не звони, я тебе сама потом позвоню, честное слово! — и бросила трубку.

Но она не могла ему позвонить, в новой квартире у него не было телефона. (Отец носил на телефонную станцию ходатайство с завода: мол, старшему мастеру по работе необходима постоянная связь, просим ускорить подключение. На станции над его бумагой только посмеялись, очередь там была лет на пять.)

Григорьев мучался с неделю и в конце концов уверил себя: Стелла чем-то была взволнована, позабыла, что теперь у него телефона нет, а когда успокоится и вспомнит, сама же

расстроится. Значит, ничего страшного не случится, если он позвонит ей еще раз. Это даже необходимо!

Позвонил вечером из уличного телефона-автомата. Сердце колотилось под самым горлом, еще сильней, чем на почте в Зеленогорске.

Трубку взяла Александра Петровна, и, едва он выдавил «Стеллу позовите, пожалуйста...», вдруг закричала, — конечно, не узнав его, — закричала с неожиданной яростью, непонятно к кому обращенной, но значит, и к нему тоже, словно охлестывая его по лицу:

— Всё звоните?! Успокоиться не можете?! Нету Стеллы! Уехала! Через три года звоните!! — и бухнула трубку.

Он долго стоял в телефонной будке с горящим лицом...

Через месяц отозвалось в димкином письме: «А ты, наверно, и не знаешь, Стелка дуреха завербовалась к своему хахалю на север. Не было меня, я бы ей мозги куриные прочистил».

Но это была уже лишняя, даже ненужная ясность. Главное он понял тогда, в конце августа, когда темным вечером ходил по своей пустынной улице новостроек: Стеллы больше не будет. Стелла не поможет ему.

И всё же, оказалось, в чем-то она ему помогла, сделав его мужчиной. Она защитила его от других девушек. Их тайна, тягучая, темная, раскрылась и предстала такой же простой, как их тела. Она защитила его от всех. Кроме Нины.

Он понял свою обреченность в первый же день занятий после каникул, едва только снова увидел Нину, еще издалека. Увидел, как она осторожно проносит себя сквозь студенческую толпу, чуть изменившаяся от летнего загара и оттого нестерпимо красивая (неужели остальные этого не видят?!). Ее точно приближало к нему болезненной оптикой. Он видел, что ее глаза на посмуглевшем лице стали еще больше и светлей. Как раз тогда у девушек было модным по-восточному удлинять очи, проводить черные, синие, даже зеленые стрелочки от уголков глаз к вискам. А Нина только подкрашивала ресницы черной тушью, так что они — длинные, гордые, каждая ресничка отдельно от остальных, — трогательно подчеркивали влажную голубизну взгляда.

И накатившую эпоху мини-юбок она тоже не замечала. На ней всегда были длинные, строгие платья, простые, но казавшиеся ему царственными. Взрослая богиня шла среди суетливых девчонок с голыми коленками.

Однажды в самом начале сентября, в летнюю еще духоту, в маленькой нагретой солнцем аудитории, он как всегда примостился позади и чуть сбоку от Нины. Она была в легком платье без рукавов и сидела за столом, раздвинув локти, как обычно сидят девушки, когда им жарко. Он быстрыми, воровскими взглядами ласкал ее профиль, ее гладкое смуглое плечо. И вдруг, — он даже вздрогнул от увиденного и опустил глаза, — он заметил волосы, выбивающиеся у нее из-под мышки...

То было потрясение. Конечно, он сознавал, что, при всей своей божественности, Нина — обыкновенная земная девушка. Но эти тайные темно-русые завитки, чуть блестевшие от пота, делали ее уж слишком земной, уравнивали с той же Стеллой... От таких мыслей голова шла кругом.

Пугаясь, он пытался представить Нину на месте Стеллы в «Морском прибое» — обнаженную, раскрытую, в судорожных движениях, с безумным лицом. Но ничего не получалось, его воображение оказывалось бессильно. Он понимал: это оттого, что Нина — в чем-то главном — совсем иная, не такая как Стелла. И чувство, которое он испытывает к Нине, — другое. Но ведь он тоже — земной. Стало быть, конечная цель его чувств, пусть он даже боится думать об этом, всё равно та же: он хочет, чтобы Нина физически принадлежала ему. Или с Ниной этого будет мало?

Так что же это было, похожее на удушье? Наверное, действительно любовь. Та самая, «настоящая», по измерениям Али. И значит, если бы Стелла не уехала, он предал бы ее тогда? Значит, и от предательства она его оберегла?

Ах, этот возраст, восемнадцать-девятнадцать лет, когда, кажется, ты мал и беззащитно открыт, а внешний мир фокусируется и течет сквозь тебя мощнейшими пульсирующими токами! Бежали, перекрещиваясь, институтские «эскалаторы» — второй курс, теормех, сопромат, веселая толкучка студенческих потоков в дверях амфитеатров-аудиторий, рез-

кий запах аммиака и уксусной кислоты в химических лабораториях, строевая подготовка в асфальтовых внутренних двориках на глазах смеющихся девушек.

И — Нина, Нина... С расстояния почти в двадцать лет так жаль того мальчика, что брел после занятий по улицам, оглушенный и раздавленный любовью. Быть может, любовь вообще неестественное состояние для человека? Естественно то, что дает свободу. А любовь не просто стесняет, она — обезличивает. Как одно и то же заболевание вызывает у самых разных людей одинаковое повышение температуры, одинаковый кашель, одинаковую ломоту в суставах, так и любовь вызывает одни и те же болезненные симптомы, одни и те же бессмысленные действия.

Он тоже исполнил тогда весь набор глупостей очумевшего от любви мальчишки. Началось, конечно, с писем, горячечных и рабских (адрес ее он подсмотрел в журнале группы). Он писал письма по ночам. Бросал в почтовый ящик утром, по дороге в институт, невыспавшийся и разбитый. Через несколько дней — по смятению Нины при его появлении в аудитории, по тому, как испуганно прятала она глаза, — догадывался с ужасом, что она получила письмо, что это, конечно, ничего не изменит, лишь оттолкнет ее окончательно, что теперь уже всё погибло! А через несколько дней писал следующее...

Болезнь, которой он сдался, неумолимо управляла им по своим законам. И на смену отчаянию от унижения следующей стадией явилась решимость отчаяния. Готовность унижаться взахлеб, не стыдясь. Если раньше в аудиториях он старался сесть неподалеку от Нины как бы случайно, то теперь занимал место рядом с ней, почти не скрываясь, а во время занятий почти в открытую на нее смотрел.

Однокурсники сперва посмеивались над ним, потом притихли. Сверхчутьем, особенно обострившимся в эту пору, он улавливал даже сочувствие парней и еще нечто странное, что-то вроде их недоумения: как можно любить именно Нину? Такое сочувствие не вызывало благодарности, скорей бесило: неужели они не видят, какая она?!

Всё, что он проделывал месяц за месяцем, было абсолютно лишено расчета. Не надеялся же он, что она полюбит его

за все эти выходки! Но оказалось, в бессмысленной, бредовой ненормальности, распаляемой жаром любви-болезни, была своя логика, которую он и не сознавал. Нескончаемым безрассудством он расшатывал ее величественное спокойствие. Она должна была бы резко отогнать его прочь, но, коль скоро у нее, деликатной, нежной, не хватило на это решимости, ей не оставалось ничего другого, как терпеть его.

Вначале — только терпеть, беспокойно и пугливо. А затем — всё более к нему привыкая. Он становился для нее ПРИВЫЧНЫМ и, значит, мог понемногу приближаться к ней.

О, какое то было счастье! Неповторимое девятнадцатилетнее счастье, когда грудь раздувается от восторга, как воздушный шар, — вот-вот взлетишь, — и движения невесомы! Она не любила его, она лишь относилась к нему снисходительно, как к чему-то неизбежному, — пусть! Он переживал время потрясающих открытий.

Какое это было чудо — сидеть на лекциях уже не в стороне, а рядом с ней, за одним столом, в такой головокружительной близости, что можно было наслаждаться, тайком втягивая в себя с дыханием овевавший ее теплый, чуть горьковатый аромат, а скосив глаза, замечать на носу и на щеках ее трогательные до восторга золотисто-белые пылинки пудры!

Каким чудом было провожать ее каждый день после занятий, а после того, как она дружески и чуть насмешливо прощалась с ним у своего дома, плыть дальше по улицам, взлетая и опускаясь на волнах счастья.

У них само собой (вслух об этом не было произнесено ни слова) установилось нечто вроде негласных правил, которые он обязан был соблюдать. Его писем к ней, тех, ночных, как бы не существовало никогда, и больше писать ей он не имел права. Тем более, он не мог сказать ей в лицо о своей любви и не смел дотронуться даже до ее руки. Ему позволялось идти рядом, говорить о чем-то, что не касалось их двоих, — и только.

Он был на всё согласен и за всё благодарен. Шагая рядом с ним, она почти всегда молчала. Пусть! Он говорил сам, говорил, кажется, обо всем на свете, боясь замолкнуть, боясь,

что ей станет скучно с ним. Наверное, то было самое лучшее время его любви...

Годы имеют свой цвет и контур. Тот период — конец 1965-го, начало 1966 года — остался в памяти чистым, серо-стальным, прямолинейным, словно из новеньких металлических конструкций. Во главе страны — три скромнейших и как бы равноправных между собой руководителя: Косыгин, Брежнев и Подгорный. Общий настрой — спокойствие и деловитость. На долгожданном сентябрьском пленуме раздались призывные слова: «Реформа», «Хозяйственная реформа», «Экономическая реформа»! Они зазвучали по радио и с телевизионных экранов, замелькали в газетах, расплескались во множестве книг и брошюр, стремительно докатились до институтских аудиторий. Аккордами в мелодии выделялись: «Хозрасчет», «Инициатива», «Фонды предприятий». Положения реформы, понятные, убедительные, они заучивали к экзамену, как математические правила.

Одно смущало: если всё так очевидно, если реформа, как говорят, переход к нормальной хозяйственной жизни, то какого дьявола почти пятьдесят лет жили ненормально и мучались?!.. Хотя, это было лишнее свидетельство того, как повезло им самим. Время по-прежнему работало на их поколение, первое поколение будущего. Реформа должна была завершиться к концу шестидесятых — началу семидесятых. Как раз тогда, когда они закончат учебу и придут на обновленные заводы, в перестроившиеся НИИ, чтобы с самого начала работать без нелепых стеснений, в полную силу.

Еще выходили, появлялись на прилавках и в библиотеках новые книги о культе личности, о поражениях начала войны, репрессиях, лагерях, но всё реже, реже, словно иссякая. Нигде не сказанное вслух, как бы носилось в воздухе и негромко звучало: «Хватит откровений об ужасах сталинизма! Прошлое не сплошь черно, да и думать сейчас нужно — о будущем. Не копаться в старых, засохших ранах, а трудиться, трудиться!» Звучало — и не вызывало внутреннего протеста.

Кольнул какой-то нелепый, крикливый судебный процесс над двумя никому не известными писателями — Даниэлем

и Синявским. Конечно, натворили дел: придумывали черт знает какие гадости, вроде того, что в Советском Союзе объявляются дни разрешенных убийств, издевались над нашей жизнью, тайком переправляли всё это на Запад и там печатали. Ну глупо, ну подло. Но всё же — зачем поднимать такой шум? Зачем сажать их, как уголовников? Выгнали бы на этот самый Запад, раз они туда так тянутся, и забыли про них!

Читать статьи о процессе было тяжело. Причины газетной злобы, ее глубинный смысл, до конца были непонятны. Вспоминалось из детства: нечто подобное они ощущали, когда читали книжки о «русском первенстве», о том как братья Райт украли идею самолета у Можайского.

Но вот же, в те самые дни, когда судили и проклинали хулиганов-писателей, советская автоматическая станция впервые в истории совершила мягкую посадку на Луну. Значит, в остальном, в главном, всё идет нормально, раз мы по-прежнему впереди?

И тут же — горе: умер Королев. Только теперь узнали его фамилию, а прежде, сколько ни писали про него, называли по должности: «Главный Конструктор космической техники». Ни имени, ни одной черточки внешности, безымянный человек-невидимка. И вот его фотографии — на первых полосах, в черной рамке.

А настоящие тревоги приходили извне. Там, за крепкими рубежами страны, буйствовал безумный мир. Газеты и радио захлебывались от событий. Бои в джунглях Южного Вьетнама и непрерывные налеты на Северный. Ежедневный, всё растущий итог общего числа сбитых самолетов: пятьсот, семьсот, девятьсот... Хоть понемногу это становилось привычным, не так бурно воспринималось, как в первые месяцы, всё же в воздухе, которым дышали, непрерывно ощущался жар и слышались громовые раскаты недальней этой войны.

Ошеломили события, грянувшие в Индонезии. Кажется, только вчера одной из самых популярных мелодий была песенка о ней: «Тебя лучи ласкают жаркие, тебя цветы одели яркие, и пальмы стройные раскинулись по берегам твоим!

Ты красот полна. В сердце — ты одна...» Под эту песенку в недавние годы плыли на экранчике телевизора и пальмы, и прибой у цветущих берегов, и смеющиеся, счастливые темные лица наших друзей индонезийцев. И вдруг — чудовищный взрыв! Писали о резне коммунистов, о СОТНЯХ ТЫСЯЧ изрубленных трупов, плывущих по тропическим рекам, покрасневшим от крови. Как же так?!..

Всё это происходило в дальнем мире, а в ближнем, но тоже внешнем, неподвластном ему, — царила Нина. И оттого трудно было писать письма Димке, трудно встречаться с Мариком, — ведь говорить о самом главном, о Нине, было нельзя. И они виделись с Мариком всё реже, всё короче. Оба чувствовали, что между ними осталось мало объединяющего и они говорят не о том, что в самом деле важно для обоих. Но — странно: взаимное непонимание не разводило их до конца. Словно они сознавали, что будут еще нужны друг другу, а сейчас — просто полоса, которую надо пройти.

Когда он провожал Нину после занятий, она выслушивала его нескончаемые монологи о книгах, кинофильмах, политике, науке, хоть и благосклонно, однако довольно безразлично. Сверхчутье ему не помогало: оно улавливало только настроение Нины (почти всегда спокойное), но не позволяло проникнуть глубже, понять, о чем же она думает.

Нина оживлялась и заговаривала сама только тогда, когда речь заходила об институте. Ее по-настоящему волновал и возбуждал институтский мир — лекции, лаборатории, преподаватели. Она даже шутила и смеялась, говоря об этом. Улыбка делала ее особенно красивой, у нее были чудесные, ровные белые зубы. Он откровенно любовался ей, а она, обычно недовольная его слишком пристальными взглядами, в такие минуты их не замечала. Но стоило разговору отклониться от институтских дел, она вновь умолкала с доброжелательно-безразличным видом. Опять говорил он один, обращаясь к ней словно сквозь толстое стекло.

А переломилось всё — неожиданно. Был конец марта 1966-го, слепящий весенний день, прозрачный солнечный воздух. Занятия окончились раньше обычного, Нина не спе-

шила домой, они вместе пошли по городу. Забрели к Неве, поднялись на середину Кировского моста, которая всегда казалась ему вершинной точкой Ленинграда. И, стоя над сверкающим черно-белым крошевом льда, он сказал ей:

— Смотри, мы как будто в центре ожерелья! Понимаешь? Как настоящие драгоценные камни отзываются на любое освещение, так и всё это, — он указал на Стрелку Васильевского острова, на Петропавловскую крепость, на Дворцовую набережную, — точно ювелиром-великаном впаяно в пространство неба и реки, и на любую перемену погоды, хоть солнечной, хоть пасмурной, отвечает бесконечной игрой цветов и граней...

Он сбился оттого, что Нина смотрела на него как-то необычно. Вдруг осознал эту необычность: она смотрела ему прямо в глаза, ее взгляд сливался с его взглядом (значит, раньше она всегда смотрела мимо!). И сверхчутье улавливало — впервые! — заинтересованность ее и даже благодарное удивление.

Она улыбнулась:

— А разве ты настоящие драгоценные камни когда-нибудь видел?

— Нет, — честно признался он, — не видел.

Они рассмеялись, и этот смех, и взгляд глаза в глаза были их первым сближением. У него перехватило дыхание, закружилась голова. Он взял ее руку, стащил перчатку, стал торопливо целовать нежные, тонкие, теплые пальцы, бормоча что-то бессвязное:

— Ты не понимаешь!.. Прости!.. Ты пойми, пожалуйста!..

Она осторожно, но решительно отняла руку. Сказала, словно жалея его, невероятные слова:

— Да всё я понимаю.

Он, плохо соображая, снова потянулся за ее рукой. Тогда она уже засмеялась, выхватила у него перчатку, убрала руки назад и, глядя ему в глаза, сказала:

— Ну перестань! Не надо сейчас.

Ее слова потонули в грохоте прокатившегося по мосту трамвая, но он понял: не надо — «сейчас». Сейчас и здесь,

потому что мимо проезжают трамваи, идут редкие прохожие. «Не надо» только поэтому. В тот день он больше ни на что не осмелился. Но на следующий, когда проводил ее, как обычно, и они уже остановились возле ее дома, он набрал побольше воздуха в грудь и быстро выговорил:

— Можно к тебе зайти?

Нина опустила глаза. Он ждал с колотящимся сердцем. Не сказав ни слова, она только чуть кивнула.

Это было следующим его завоеванием: право приходить к ней домой. Нина жила вместе с родителями в одной полутемной комнатке окнами в петербургский двор-колодец. Здесь величавость ее как-то исчезала. В сумрачной тесноте, среди неуклюжей старой мебели она выглядела поникшей. Ему-то самому любое ее жилище показалось бы прекрасным, но, наблюдая за Ниной, с состраданием любви он соглашался про себя: да, конечно, не для нее эти давящие стены, длинный коридор коммуналки, шумная, дымная общая кухня. Ее светлая красота несовместима с бытом, и он будет оберегать ее! Если она выйдет за него замуж, в их жизнь не проникнет ничто будничное, житейское, унизительное!

Он понравился ее родителям, чем-то похожим на его собственных, — таким же простым, добродушным людям, прошедшим и войну, и черную работу, гордым оттого, что единственная дочь получает высшее образование. Он и радовался, ощутив в них союзников, и стыдился, не хотел их участия. Решить всё должна была только Нина.

Впервые они остались вдвоем у нее в комнате, когда по телевидению передавали праздничный первомайский концерт. Знаменитый квартет «Ярославские ребята», налегая на «О», пел злободневные куплеты:

Караван подводных лодок
С нашей красною звездой
Проложил свою орбиту
(Ой — да)
Вокруг света под водой!

Это была одна из сенсаций той весны 1966 года: группа советских атомных лодок (сколько именно — не сообщали, тайна) совершила подводное кругосветное плавание.

Янки бомбу потеряли,
В море не могли найти.
Попросили бы Горшкова,
(Ой — да)
Подобрал бы по пути!..

В зрительном зале вспыхивали смех, аплодисменты.

Нина внимательно смотрела на экран телевизора и тоже улыбалась. Он понимал: не так уж она восхищается мастерством и глубиной мысли «Ярославских ребят». Это от смущения, ведь они впервые вдвоем. Это для того, чтоб избежать разговора с ним.

Он встал и убавил громкость.

— Зачем? — спросила Нина, не глядя на него. — Я хочу послушать.

— Ну, они же глупости поют! Что смешного в том, что американский бомбардировщик развалился и водородные бомбы из него выпали? Хорошо, что ни одна не взорвалась, ни на суше, ни та, которая в воду упала, а то бы половину Испании смело. А если бы не над Испанией это случилось, а возле наших границ?

Ему понравилось, как умно и решительно он это сказал. И независимо, даже смело: концерт шел в присутствии правительства и «глупостям» аплодировали первые лица государства.

Нина пожала плечами. А его током пробило отчаяние: да что же он за болван такой! Впервые в жизни с ней наедине — и городит какую-то чепуху о водородных бомбах! Ведь они вдвоем, одни в комнате, нереальность, чудо... И без всякого перехода он сказал горячо, на одном дыхании, так, словно душу выдохнул из себя и осталась только легкая, пустая оболочка тела:

— Нина, я тебя люблю, выходи за меня замуж!

Она посерьезнела. Ответила почти так же, как месяц назад на мосту:

— Не надо об этом... сейчас.

— А когда же можно будет? — глупо спросил он. Сразу понял, что глупо, и опять обругал себя.

Она улыбнулась, снова чуть пожала плечами. Но в нем — наконец-то — вскипело самолюбие. Мужчина же он, в конце концов! Мужчина, а не мальчишка (вспомнил)! Встать, шагнуть к ней, схватить за высокие плечи, притянуть к себе, впиться губами в ее бледные, прекрасно очерченные губы, в ее дыхание...

Он не сдвинулся с места. Только угрюмо сказал, решимостью голоса, как щитом, прикрывая отчаянное биение сердца и дрожь в коленях, — сказал, словно приказывая ей:

— Тогда — осенью. На третьем курсе.

Бог знает, с чего мелькнул в его распаленном мозгу и слетел с языка именно этот срок. Будто не только ей, но и себе самому назначал отсрочку, в глубине души еще пугаясь перехода во взрослую жизнь.

А решилось всё окончательно через несколько дней, когда они, тоже впервые, пошли вместе в театр.

Нине хотелось в Большой Драматический, посмотреть «Луну для пасынков судьбы» или «Цену», товстоноговские новые спектакли. Но туда рвался весь город. Григорьев бегал по театральным кассам без всякого успеха. Кассирши — особая женская порода, выхоленные красавицы от тридцати до сорока (благоухание неведомой заморской косметики доносилось даже сквозь окошечко), — не поднимая глаз, небрежно бросали: «Нет!» Лишь одна посмотрела на его расстроенную физиономию и немного сжалилась:

— В БДТ лучше не спрашивайте! Хотите — в Пушкинский, «Перед заходом солнца», с Симоновым?

Нина, узнав, куда они пойдут, лишь пренебрежительно усмехнулась:

— Да он же всегда играет одинаково, что в «Петре Первом», что в «Человеке-амфибии»! Одни и те же придыхания, вскидывание головы, пафос ненатуральный. Ну, раз уже взял, — пойдем.

Его почему-то поразили слова Нины. Даже не то, что ей не нравилась игра Симонова, а то, как она рассуждала об этом. Едва ли не впервые он услышал ее собственное мнение, пусть такое, с которым не был согласен, однако говорившее о наблюдательности ее и способности мыслить. И тут же он осознал, что удивляться должен, скорее, самому своему удивлению: значит, его поразило то, что Нина оказалась способна думать! Что же получается, преклоняясь перед ней, он ее дурочкой считал, свою любимую?..

В огромном зале Пушкинского театра медленно погас свет. Шурша и поскрипывая, разъехался красный бархатный занавес. И сцена раскрылась окном в странный мир. Вроде бы перед ними была Германия, но не поймешь какой эпохи. Ни отзвука, ни предчувствия мировых войн, бомбежек, концлагерей. То ли девятнадцатый век, то ли раннее начало двадцатого. А скорей всего, просто некая страна вне времени и земного пространства, такая же условная и нереальная, как условен и нереален показался на первый взгляд сюжет — любовь семидесятилетнего старика и молодой женщины. И уже сверхъестественно, магически нереален был тот, кто царил в этом мироздании: тяжело передвигавшийся по сцене, высокий, сутуловатый, седой, с яростными глазами и хриплым, порой дребезжащим на высоких нотах голосом.

Когда он в первый раз вскинул голову, чтобы ответить на реплику партнера, Григорьеву вспомнилась ирония Нины. А уже в следующую секунду для него и для всей тысячи людей в многоярусном зале не существовало больше ни собственной их жизни с заботами и радостями 1966 года, ни даже памяти о том, что находятся они всего-навсего в театре, куда попали, заплатив по рублю за билет, и что перед ними — с детства знакомый по фильмам и другим спектаклям актер, о котором не только Нина, многие с насмешкой говорили, что он давно уже спился, выдохся, отыграл свое. Они не то, чтобы подчинились этому человеку, — они просто оказались в мощном, физически ощутимом поле его абсолютной власти.

— О чем эта книга? — спрашивал он на сцене.

— О жизни и смерти, — отвечали ему.

— ЛЮБАЯ КНИГА — О ЖИЗНИ И СМЕРТИ! — назидательно говорил он, и от этих простых слов (не бог весть какая мудрость), но сказанных ЕГО голосом, захватывало дух, точно от раскрывшейся внезапно высоты.

Встревоженные сумасбродством старика, испугавшиеся за наследство взрослые дети пытались разлучить его с любимой. Он слушал их, собравшихся за столом, тяжко поводя большой седой головой, медленно вскипая яростью. И вдруг — эта ярость прорвалась! Он вскочил, неистово затопал ногами. Зал — до самых отдаленных уголков в вышине — завибрировал от его громового крика:

— Я никому не позволю погасить свет моей жизни!!

В бешенстве он схватил со стола попавшуюся под руку рюмку, с размаху швырнул ее об пол — и поник, обессиленный, обмякший, тяжело переводя дыхание.

Во внеземной, вакуумной тишине после взрыва (ни скрипа кресел, ни шороха, ни кашля) единственным отчетливо слышимым звуком во всем громадном затемненном зале осталось тихое позвякиванье катившейся по сцене рюмки. Казалось, вся тысяча людей напряженно прислушивается к нему.

Григорьеву и Нине, сидевшим в боковом ярусе, было видно сверху, как рюмка подкатилась к самому краю сцены. Дальше была оркестровая яма, накрытая покатой решеткой из деревянных брусьев. Рюмка, продолжая тихо позвякивать, поблескивая в прожекторной подсветке, с шальной точностью прокатилась над всей ямой по одному из брусьев, со стуком упала к ногам зрителей первого ряда, — и никто из них, окаменевших, не шелохнулся, даже не вздрогнул...

В тот вечер, провожая Нину домой, Григорьев сказал ей:

— Об этом только детям и внукам рассказывать, как о чуде. Мы своими глазами видели великого артиста в его лучшей роли.

Нина промолчала.

Он повторил уже настойчиво, требовательно:

— Мы будем об этом НАШИМ детям и внукам рассказывать, правда?

Нина молчала. Они шли вдвоем по пустынной вечерней улице, приближаясь к ее дому.

Он остановился — и вдруг схватил ее за плечи и решительно повернул к себе. Она подчинилась, опустив глаза, избегая его взгляда.

— Будем?! — в отчаянии добивался он и, кажется, даже встряхнул ее: — Будем?!

Она поморщилась, чуть повела плечами. Он испугался, что сделал ей больно, поспешно отпустил ее.

Нина улыбнулась. Тихо ответила:

— Это ТЫ будешь рассказывать. Мне его игра всё равно не понравилась.

Наверное, с минуту, пока он осознавал смысл ее слов, они так и стояли друг против друга. Потом он снова, уже бережно, взял ее за плечи, привлек к себе. С помутившимся разумом впервые ощутил своей грудью легкое прикосновение ее груди и, зажмурившись, потянулся к ее рту.

Губы Нины не шевельнулись в ответ на его поцелуй. Но она и не отстранилась.

Потом было лето. Студенческая стройка в Киришах, где возводили нефтекомбинат. Растянувшийся по берегу Волхова палаточный городок — сотни палаток, выцветших, дырявых, расписанных дурашливыми надписями и рисунками. В этом громадном лагере сошлись стройотряды трех институтов. Здесь были свои улицы и переулочки, вытоптанные в траве до земли между рядами палаток. Были свои административные центры — вагончики с репродукторами, где помещались штабы отрядов, а возле них — кое-как сколоченные бараки-кухни, источавшие из всех щелей дым и жар топившихся дровами плит, да крытые толем навесы над дощатыми обеденными столами и скамейками.

Сама работа была незатейливой: лопаты в руки — и всем, даже девушкам, рыть канавы. Для водостоков, для укладки труб.

Им выдали «форму» — старые, списанные с флота тельняшки и бушлаты. Но днем, когда работали на солнцепеке, они сбрасывали с себя почти всё. Ребята оставались в одних

плавках, девушки — в купальниках. Голые тела блестели от пота. Едва рабочий день заканчивался, первым делом бежали к Волхову, скатывались с крутого глинистого берега в мутную воду — смыть с себя пот и грязь.

Он уже открыто «состоял» при Нине. Вместе со своими вещами носил и ее вещи: одежду, связанную в узелок, резиновые сапоги, лопату. И работал на канаве рядом с ней. А когда присаживались отдохнуть, у ее ног валился на землю, готовый по одному ее слову подняться и пойти — то с флягой к колонке за водой, то через поле в поселок, купить в местном магазинчике или на почте то, что ей срочно понадобилось: кулек конфет, пачку печенья, конверт.

Всё происходило на глазах у всех, но уже не вызывало большого интереса. Все знали, что он любит Нину, а она позволяет ему себя любить, и что шутки здесь неуместны, дело серьезное.

Да и Нина не злоупотребляла своей властью над ним. Она никогда ничего ему не приказывала, только просила. А потом всякий раз благодарила. Пожалуй, даже слишком громко благодарила. Может быть, так проявлялась ее застенчивость? Она словно показывала всем, что никакой особенной близости между ними нет.

Он понимал ее несложную игру и сам подыгрывал, не выходя из отведенной ему роли: да — влюбленный мальчишка, да — расстояние между ними пока сохраняется. Но в нем уже пробуждались иные чувства. Украдкой, но цепко и жадно оглядывал он и оценивал Нину в купальнике. У нее были длинные, стройные ноги, красивая грудь. Только нижняя часть тела казалась недостаточно развитой, узковатой и плоской. Для него Нина была прекрасна и так, но он вспоминал услышанное от других, прочитанное в книгах о том, как раздаются и оформляются девичьи бедра после замужества, после первых родов. И не столько вожделение, сколько горделивое чувство будущего властелина вызывало у него тайную насмешку над ее стеснительностью, предвкушение торжества и счастья...

На белой кирпичной стене заводского корпуса, мимо которого они вели свою канаву, красными кирпичами — на

десятилетия вперед — был выведен лозунг: «Решения декабрьского пленума ЦК КПСС — в жизнь!» Сразу и вспомнить не могли, что это за пленум такой. Потом догадались: тот самый, хрущевский, шестьдесят третьего года, о химизации. Надо же, всего два с половиной года прошло, а кажется — так много перемен. Или, может быть, просто дело в том, что они сами стали старше на эти два с половиной года, в их возрасте — срок громадный?

Один из студентов, «старик», парень бывалый, успевший отслужить в армии, оглядывая канаву и почесывая щетину на подбородке (все ребята на стройке не брились, девушки немало потешались над их заросшими физиономиями), задумчиво сказал Григорьеву: «То, что мы всей оравой за месяц выкопаем, один экскаватор с двумя экскаваторщиками за неделю прошел бы. А траншеекопатель армейский — за день!»

Григорьев и сам понимал нелепость их работы. Но какое значение могли иметь скучные деловые рассуждения по сравнению с тем, что он испытывал. По сравнению с великолепным мускульным напряжением, солнцем, щедро обливающим тело, сырым, свежим запахом разрытой земли и дерна. По сравнению с блаженными минутами отдыха, когда, лежа на траве, парни покуривали, а девушки шептались о чем-то и посмеивались, на них поглядывая. По сравнению с чудесной, застенчивой и благодарной улыбкой Нины, когда она протягивала руку за принесенной им флягой и внимательно смотрела ему прямо в глаза (наверное, для того, чтобы он не мог опустить свой взгляд на ее почти обнаженное тело).

Но САМОЕ ГЛАВНОЕ начиналось тогда, когда они возвращались с работы в лагерь. И этим самым главным были — ПЕСНИ.

На него они обрушились внезапно. Как сумел он дожить до лета 1966-го, почти ничего о них не зная, объяснить трудно. Слишком, наверное, был поглощен учебой, книгами, любовью к Нине. Что-то слышал, конечно, о «самодеятельных авторах», о клубе «Восток». Ребята в институте обменивались катушками пленок, обсуждали: «А эта у тебя на какой скоро-

сти записана?», «А ты на каком маге переписывать будешь?» Он и сам не раз собирался послушать, но как-то всё не выходило. А в палаточном городке над Волховом...

Песни встречали их уже на подходе к лагерю, когда они, усталые, грязные, тянулись туда после рабочего дня. Из репродуктора, вознесенного на столбе над штабом-вагончиком Физхима, гремел голос Городницкого:

У Геркулесовых Столбов
Лежит моя дорога.
У Геркулесовых Столбов,
Где плавал Одиссей.
Меня оплакать не спеши,
Ты подожди немного...

А со стороны штаба Целлюлозно-бумажного института отвечал ему голос Юрия Кукина:

Поезд — длинный, смешной чудак,
Знак рисует, твердит вопрос:
«Что же, что же не так, не так?
Что же не удалось?..»

В штабных вагончиках меняли и меняли катушки на магнитофонах. Они купались в Волхове, ужинали, стирали одежду, а над их головами насмешничал Ким:

Генерал-аншеф Раевский зовет командиров:
«Чтой-то я не вижу моих славных бонбондиров!»
А командиры отвечают, сами все дрожат:
«Бонбондиры у трактира пьяные лежат!..»

Горевал и бахвалился анчаровский Начальник автоколонны:

Верь мне, крошка, я всюду первый,
Как на горке, так под горой!
Только нервы устали, стервы,
Да аорта бузит порой...

Яростно выговаривал Галич:

Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нар-вой,
Под На-рвой!..

Пели Клячкин и Дулов, Якушева и Вихорев.

Для него, жившего поэзией, это было открытием: рядом с миром печатных стихотворных сборников и тех песен, что исполнялись по радио, на телевидении, записывались на грампластинках и продавались в музыкальных магазинах, существовал независимый и как бы незаконный, а вернее, живущий по собственным законам шумный и яркий поэтический мир.

В этом мире ощущалась никем не установленная, сама собою сложившаяся иерархия авторов. Особняком, как бы в стороне от других, стояли двое: Окуджава, казавшийся уже тогда пожилым классиком, и молодой Высоцкий, еще альпинистский («Парня в горы тяни, рискни!..»), а больше — блатной («Сгорели мы по недоразумению: он за растрату сел, а я — за Ксению...»). Над всеми же остальными царил Юрий Визбор:

Спокойно, товарищ, спокойно,
У нас еще всё впереди!
Пусть шпилем ночной колокольни
Беда ковыряет в груди...

Доброта и доверительность его голоса были обращены сразу ко всем и всех соединяли, жалея, утешая, ободряя.

И Визбору, и большинству других поющих поэтов едва исполнилось тридцать. Как же они были молоды, студенческие кумиры 1966-го! Но поэтический талант наделил их даром, если не пророчества, то предчувствия. Теперь понимаешь с непоправимым запозданием: то, что казалось в те дни лишь данью романтике — требование мужества, — было в действительности предупреждением, первыми позывными из будущего:

Спокойно, дружище, спокойно,
И пить нам, и весело петь!
Еще в предстоящие войны
Тебе предстоит — уцелеть.
Уже и рассветы проснулись,
Что к жизни тебя возвратят.
Уже изготовлены пули,
Что мимо тебя просвистят...

В сумерках между рядами палаток, всегда на одних и тех же местах, загорались костры. К каждому подсаживался свой постоянный гитарист, иногда двое, а вокруг собирались десятка два-три студентов. И здесь продолжались, продолжались песни. Пели то, что днем слышали в записях, и пели новое, то, что не успело еще добраться до штабных магнитофонов, перелетело откуда-то по слуху и сразу было подхвачено студенческими голосами и аккордами дешевеньких гитар.

Вокруг вились гудящие тучи комаров. Ребята и девушки пели, отмахиваясь, подергиваясь, почесываясь. В штабном вагончике предлагали для защиты диметилфталат (из института привезли его целую бочку). Загорелые лица, намазанные маслянистым диметилфталатом, блестели в отсветах костров, как глазурованные глиняные маски.

Нина никогда не пела сама. А он не удерживался, пел. Хоть и чувствовал, что надо бы помолчать вместе с ней, так будет взрослее, солиднее.

Но всё же песни задевали и Нину: слушала она внимательно. А когда порой он поднимался с земли, брал ее за руку и говорил: «Пойдем вон к тому костру, там послушаем!», — она покорно шла за ним и руку отнимала не сразу.

С ними рядом у костра обычно оказывалась Таня Генделева, студентка их группы, маленькая, некрасивая, выглядевшая старше своих двадцати лет. Ее коротко, по-мальчишески остриженные волосёнки были такого неопределенно-рыжеватого цвета, что, отблескивая, казались седыми. А темное от веснушек личико, выпуклые голубые глаза, смотревшие с доверчивым испугом, и сухонькая, сутулова-

тая фигурка окончательно придавали ей облик молодой старушечки.

Таня пела, глядя не на гитариста, а на Григорьева. Она и днем следила за тем, как он прислуживает Нине. Следила издалека, украдкой, но он всё равно это замечал и понимал с тоской нечаянной вины: Таня его любит. Не нужно было и сверхчутья, чтоб догадаться: всё явно было написано у нее на добродушном, некрасивом личике. Она ни на что не претендовала, даже сочувствовала его любви к Нине. Только и позволяла себе — петь вместе с ним вечерами, словно это сближало их...

Расходились от костров по своим палаткам часа в два ночи, проваливались в мгновенный черный сон. А в шесть утра из динамика во всю мощь раздавался сигнал побудки: нечеловеческий, душераздирающий визг певицы — «Халли-Га-алли-и!» — и оглушительная музыка. Вылезали из палаток, сонные. Брели к дощатым уборным, к умывальникам. А над лагерем, над утренним, подернутым белёсой дымкой Волховом уже звучал голос Визбора:

Ищи меня сегодня среди больших дорог,
За океаном, за большой водою,
За синим перекрестком двенадцати ветров,
За самой ненаглядною зарею...

Всё лето они не говорили с Ниной о свадьбе. Молчаливо подразумевалось, что главное уже решено, а точный срок определится как бы сам собою. Но в сентябре, едва начались занятия на третьем курсе, он потребовал ответа: «Когда?!»

Нина посмотрела испуганно, без улыбки. Он всё понимал: Нина его не любит. Но ведь она не любит и никого другого. А он для нее — неизбежность, и это тоже завоевание. Полюби он другую девушку, он, может быть, завоевал бы ее иначе. А с Ниной вышло вот так.

Он настаивал:

— Когда?!

Она тихо сказала:

— Надо же хоть третий курс закончить...

— Значит, будущей весной? Или летом?

Она чуть улыбнулась, чуть пожала плечами. Во взгляде ее светилась непривычная покорность. Он понял: ее согласие не означает, что она ему хоть в чем-то поможет. Она выйдет за него, но осуществить всё, что для этого требуется, должен он сам.

В ближайшую субботу он привел ее домой, познакомить с родителями. Получилось — неудачней не придумаешь: мать, как назло, ушла куда-то, а отец сидел выпивший и, — чего Григорьев никак не ожидал, — почти не обратил на Нину внимания. Пришел сын с какой-то девушкой — ну и ладно. Отцу хотелось поговорить о заводских делах:

— Помнишь такого-то? — спрашивал он. — В инструментальный цех взяли, замначальником. А такого-то — помнишь? В отдел главного механика ушел, давно туда царапался, с бумажками-то легче!

Отец был доволен тем, что ввели пятидневку:

— Как хорошо отдыхать два дня! — (То-то ты клюкнул! — думал Григорьев, стыдясь перед Ниной и страдая.) — Вот реформа и началась. Пятидневка — первая ласточка. Может, еще и доживу, успею до пенсии поработать по-человечески!..

Григорьев проводил Нину. А когда вернулся, отец смотрел по телевизору какой-то фильм. Надо было с ним поговорить. Именно с ним. Главное — отец. Мать согласится на всё.

— Папа!

— Чего? — неохотно отозвался отец, не отрываясь от экрана.

Момент явно был неподходящим, но Григорьев чувствовал, что больше не выдержит:

— Папа, мы с Ниной решили пожениться!

Отец медленно повернулся и с изумлением посмотрел на него. Потом опять отвернулся к телевизору.

И тут стало страшно. До головокружения, до холода в груди и в руках. Даже объясняться с Ниной не было так страшно. Он знал, что запрет отца его не остановит, всё равно он поступит по-своему. Но неужели отец его не поймет?.. Сейчас только почувствовал, как дорога ему близость

с отцом, как невыносимо станет жить, если она разрушится. Пусть даже это будет жизнь с Ниной.

Отец не спеша потянулся и выключил телевизор. Насупился. Посмотрел на него спокойно и недобро. Спросил:

— Тебе сколько лет?

— Мы поженимся в будущем году, когда сдадим зимнюю сессию. Мне тогда исполнится двадцать.

— А ей сколько?

— Ей уже двадцать один, — он хотел подчеркнуть возраст Нины, пусть отец не считает их такими уж детьми. Но тут же спохватился: отцу может не понравиться, что Нина старше. И добавил: — Ей только что исполнилось, в августе.

— В августе, — спокойно сказал отец. — Значит, на полтора года старше. Ну что ж, это хорошо. Может, хоть немного будет поумней тебя, балбеса.

— Я не балбес!

Отец был уже совсем трезв. Смотрел непонятно: лицо, вроде, было сердитое, но в глазах проскакивали веселые искорки. Может быть, впервые Григорьев заметил, как похожи они с отцом. Только у отца уже морщины, залысины, и кожа на лице покрасневшая, словно чуть воспаленная.

— Что ж ты не предупредил, что это — невеста? Я бы хоть посмотрел на нее внимательней... Хотя и так видно, что красивая. На кого-то похожа. На киноартистку какую-то, что ли?

Он ничего не ответил отцу. Нина не похожа ни на каких артисток!

— Красивая, красивая, — сказал отец. — Как всё равно... кукла подарочная.

Отец задумался о чем-то. Не глядя больше на Григорьева, покачал головой, отзываясь своим мыслям. И вдруг — повернулся и опять включил телевизор.

— Папа!

Отец оглянулся с недоумением:

— Что, сынок?

— Ты сам понимаешь — что!

— Не-ет, не понимаю.

— Хоть что-то ты можешь мне сказать?!

— А что тут говорить? — отец пожал плечами. — Не я же собрался жениться, ты. Ну и женись!

Он догадался: отец ведет себя так же, как Нина, — не будет против, но и не поможет. Значит, он один должен всего добиться.

Чего — «всего»? Едва он задумался над этим смутным «всем», как сразу начались неприятные открытия. Во-первых, совершенно неясно, где они с Ниной будут жить. Привести ее в свою квартиру, где две смежные комнатки разделены даже не стеной, а тонкой перегородкой с застекленной дверью, — немыслимо. Поселиться в одной комнате с ее родителями — тем более немыслимо. Значит, надо где-то доставать деньги и что-то снимать.

До сих пор он не нуждался в деньгах. Учился хорошо, всегда получал стипендию, а стипендия на их факультете — за будущую вредность и секретность работы — была на десятку выше обычной, целых сорок пять рублей. Из них рублей двадцать — двадцать пять он отдавал матери «на хозяйство» (так говорил отец, когда приносил свою получку), а остального ему вполне хватало на кино, сигареты и прочие мелочи. Конечно, жил он главным образом за счет родителей, его и кормили, и одевали. Но, когда они с Ниной поженятся, он должен будет зарабатывать на их собственное хозяйство самостоятельно. Иначе нельзя!

Кстати, об одежде. Никогда он не был ни «стильным», как говорили раньше, ни «модерновым», как стали говорить теперь, в середине шестидесятых. Всегда носил что подешевле да попроще. Вот и сейчас на нем клетчатая шестирублевая рубашка, брюки за пятнадцать рублей, пиджак за двадцать пять и девятирублевые туфли. Ему самому другого и не надо. Но, когда он станет мужем Нины, ходить рядом с ней попростецки будет невозможно. Значит, опять нужны деньги. Причем, если стоимость мужской одежды он себе как-то представлял, цена всяких женских вещей, которые придется же покупать для Нины, виделась чем-то расплывчатым и астрономически далеким, как Туманность Андромеды... Но прежде всего, важнее всего — жилье!

Он не сердился на отца, он понимал, что отец прав. Вот — испытание для его любви. В старых наивных фильмах любовь рождала поток творчества у композиторов, прилив отваги у борцов за свободу. А ему, чтобы соединиться с Ниной, придется зарабатывать деньги. Тут уж ни наивности, ни красоты. И труд, который ему предстоит, вряд ли будет творческим. Пусть так! Он собирался в тугой комок нервов и мышц. Он докажет Нине, докажет отцу, что у него хватит сил!

В ту пору его почти не смущало, что, уже проводя рядом с Ниной все дни и вечера, уже готовясь стать ее мужем, он всё не мог пробиться в тайну ее мыслей, увидеть то, что видела она обращенным в себя взглядом лучистых голубых глаз, приветливо-безразличных ко всему окружающему. Лишь иногда студил сердце тревожный холодок от мысли, что он не приносит ей того будущего, которого она достойна, что, даже выходя за него замуж, она ждет этого будущего как бы не с ним вместе, а сквозь него.

Он мечтал о том, как всё изменится со свадьбой. Когда Нина станет принадлежать ему, тогда, действительно, солнце засветит по-другому!..

Но оказалось, что и свадьба ничего не изменила... Если б накануне ему предсказали это, он бы не поверил. Ведь самые лучшие дни были — накануне.

В феврале 1967-го, чтобы подать заявление во Дворец бракосочетаний, он выстоял в очереди на морозе несколько часов. Другие кандидаты в супруги стояли парами, женихи и невесты отпускали друг друга погреться. А он — только тогда, когда вплотную приблизился к заветной двери на улице Петра Лаврова, замерзший, скрюченный, проковылял в телефонную будку и позвонил Нине: «Скоро войдем, приезжай!»

И завертелось: подготовка, покупки, суета, беготня. Даже Нина была захвачена вихрем приготовлений, возбуждена и весела. Шутила, охотно целовалась с ним. А когда его руки становились уж слишком дерзкими, останавливала со смехом: «Не торопись!» И в голосе ее, казалось, звучало обещание.

Он чувствовал себя настоящим мужчиной. Он решил — сам, без всякой помощи! — две главные проблемы. Во-первых, нашел работу. Поспрашивал, побегал и выискал такое — лучше не придумаешь: по ночам грузить на хлебозаводе хлеб в фургоны. Девяносто рублей в месяц! Инженеры в проектных институтах получают столько за ежедневный труд от звонка до звонка, а здесь — всего-то по три-четыре часа таскать чистые и не такие уж тяжелые ящики, даже не каждые сутки.

И завод — маленький, славный заводик, овеянный вкусным, теплым запахом, — оказался совсем недалеко от уютной однокомнатной квартиры, которую он, тоже сам, отыскал и снял на целых два года вперед. Ее хозяева завербовались куда-то на север. (Кольнула память об уехавшей туда же Стелле, о темно-зеленых ее, выпуклых диковатых глазах, о смешной раздвоенной нижней губе. Кольнула — и тут же выветрилась. Что было, то прошло, он перед ней не виноват!) Платить — всего сорок рублей хозяевам, да квартплату и за свет, — ну, полсотни с небольшим, совсем немного за отдельное жилье. Сейчас комнату в коммуналке снять — от тридцати до сорока, он во всем начал разбираться. Вот так-то! Даже у отца изменился тон: «Молодец, молодец, сынок! Учебу только не запусти...»

Накануне свадьбы познакомил Нину с Мариком. Ждал, что тот будет смотреть на Нину, и хотел, чтобы Марик смотрел, чтобы увидел, какая она красивая. Марик же, хоть на Нину и взглядывал, больше смотрел на него самого. С каким-то радостным изумлением. И Григорьев понял: да, только вчера были шестьдесят третий год, пляжи на заливе, дурашливая болтовня, детство. И вот — он женится, первым уходит во взрослый мир.

От Димки пришло письмо: громадные буквы «ПОЗДРАВЛЯЮ» и целый лес восклицательных знаков.

День свадьбы, высший миг его торжества, остался в памяти бело-голубым ожогом фотографической вспышки: мраморные лестницы дворца и парадный зал, Нина в снежно-искрящемся платье с фатой, цветы, мелькание лиц — родных, знакомых, полузнакомых; подвыпивший отец с поднятой

рюмкой, смеющиеся губы Нины, приближающиеся под крики «Горько!». И вслед за щелчком фотоаппарата — мгновенный провал в темноту...

Нине было больно. Опять солгали книги, солгали все поэтичные описания первой ночи и восторгов мужчины, благодарного своей возлюбленной за ее «чистоту». Солгали рассказы приятелей («Сперва охала, а потом выпускать меня не хотела!»). Он и представить не мог, что его самые осторожные движения будут причинять ей такую страшную, разрывающую боль. Она лежала распятая. Нагота ее, белеющая в темноте, лепная нагота богини, о которой он столько мечтал, казалась жалкой, а запрокинутое лицо с черным провалом рта приводило в отчаяние.

Перепуганный, он бормотал «Прости, прости!..», осыпал виноватыми поцелуями ее плечи и грудь. Она покорно шептала: «Ничего, я потерплю!» Но стоило ему, боязливо и бережно, сделать усилие, чтобы проникнуть в нее, как всё повторялось: вскрик страдания, его умоляющее «Прости, прости!» и ее обреченное, безнадежное «Ничего, ничего, я потерплю...»

Потом, лежа рядом с ней и всматриваясь в ночной блеск ее заплаканных глаз, он говорил ей о своей любви и благодарности. Нежные слова, которые он выдыхал шепотом, смешивались с ее дыханием. Он словно заговаривал не только ее затихающую боль, но и собственный страх. Чего он боялся? Должно быть, ее ненависти или отвращения, того, что казалось самым худшим.

И в следующие несколько дней он радовался тому, как быстро прошла ее подавленность, возвратилось к ней привычное спокойствие, начали звучать в словах, обращенных к нему, знакомые, чуть снисходительные нотки. Радовался, пока не осознал, что это как раз и есть самое худшее: всё вернулось на круги своя...

На хлебозаводе им выдавали белые нитяные перчатки, а деревянные лотки для буханок были отполированы трением, как лакированные. И всё равно, после каждой смены

перчатки становились темно-серыми, а в ладонях и в пальцах покалывали занозы.

Сама ночная погрузка была похожа на сцену из детективного фильма: темный дворик, машина-фургон с распахнутыми боковыми дверцами, ярко освещенный проем в черной стене, откуда по лязгающим роликам выезжают низкие ящики. Темные колеблющиеся фигуры подхватывают их, переносят, с треском и стуком вдвигают в недра фургона. Слышится хриплое дыхание, быстрые злые матюги. Чуть поодаль невозмутимо разгорается и пригасает огонек шоферской папироски. Нетерпеливо сигналит за железными воротами следующая машина. Быстрей, быстрей! Уже не хватает дыхания и пот заливает глаза...

Грузчиков не пускали в цех (запрещала какая-то санитарная комиссия). И, когда наступал перерыв в потоке машин, они рассаживались тут же, во дворике. Разламывали буханки горячего, мягкого хлеба. Сонно жевали. Покуривали. Всё — молча, каждый сам по себе. Люди в их маленькой бригаде менялись так часто, что Григорьев не успевал запомнить ни лица, ни имена.

Сюда приходили за ночным заработком студенты. Появлялись какие-то бледно-желтые существа, похожие на высохшие стебли, — испитое городское отребье. С ними нужно было не зевать: по слабости они могли выронить тебе под ноги свой лоток или сослепу столкнуться с тобой в темноте.

Мелькали сразу узнаваемые, вечно раздраженные физиономии недавно освободившихся «зэков». Этих тоже надо было сторониться. Они тоже могли налететь на тебя и даже сшибить с ног, но не случайно, а расчетливо, злобно и сильно: если не будешь достаточно почтителен и проворен, чтобы мгновенно уступить дорогу.

А потом он брел домой по пустынным ночным улицам. Болели мышцы и спина. В мозгу от бессонницы пересыпался накаленный, сухой песок, мельтешил перед глазами, покалывал в висках.

Нина не просыпалась при его возвращении или делала вид, что не просыпается. Он умывался. Садился под лампой

на кухне, вооружившись иголкой, увеличительным стеклом и пузырьком йода. Выковыривал занозы. Потом тихонько ложился рядом с Ниной. А часа через два-три взрывался будильник, и надо было вставать.

Днем на лекциях он то и дело проваливался в дремоту. Нина искоса следила за ним. Едва у него смыкались веки и начинала клониться голова, она бесшумно, но сильно ударяла его под столом по коленке.

Ощущение замкнувшегося круга... Снова, как во времена вечерней школы, изнурительная гонка — работа и учеба, — ватная усталость, головная боль. Задавленное, но постоянно саднящее чувство бессильного унижения (тогда были разъяренные и крикливые цеховые подростки, теперь — молчаливые, остервенелые «зэки»).

И Нина жила с ним так же снисходительно, как раньше встречалась. Что-то даже изменилось к худшему: им как-то труднее стало разговаривать друг с другом. То общее, что было у них, быстро исчерпалось в совместной жизни, а новое — не приходило. Может быть, в тогдашней тесноте и неустроенности им просто некогда было прислушаться друг к другу?

Квартирка, за которую он отдавал больше половины своего тяжкого заработка, казалась грязноватой, сколько ее ни убирали, ни чистили. Нина всё время что-то потихоньку готовила, зашивала, стирала, гладила. Он пугался: вместе с ним она еще глубже увязала в быте. Что делать?!

Впрочем, Нина не жаловалась. Она существовала в своем мире, куда ему по-прежнему не было доступа. Даже в минуты близости, раскрытая, в ритме его объятий, она оставалась словно отстраненной. Она лишь царственно дарила ему себя, не больше. Ее дыхание сохранялось ровным. И только тогда, когда он, смятый, задохнувшийся, замирал наконец в блаженном бессилии, ее тело вздрагивало от тревожного толчка и он слышал обеспокоенный шепот: «Ничего не будет?» Она очень боялась беременности...

По кругу, по кругу, будто на карусели. Всё внешнее — смазывается, плывет в глазах. Не присмотреться, не заду-

маться. Только и запомнилось из той весны 1967 года, как поразила гибель Комарова. В привычном мироздании его ровесников ничего подобного не должно было случиться! Даже смерть главного конструктора в прошлом году их сознание приняло: что сделаешь, возраст, болезнь. Но чтобы советская космическая техника — самая совершенная, абсолютно надежная — могла так нелепо сломаться, чтобы космонавты — сверхлюди, осиянные свечением телевизионных экранов и глянцем журнальных фотографий, — вдруг оказались уязвимыми, беспомощными, смертными... Рухнул один из опорных столбов. Конечно, не самый главный, но, быть может, самый заметный.

А потом всё заглушила подготовка к предстоящему великому празднику — пятидесятилетию Революции. В нарастающем колокольном звоне радиопередач и газетных статей потонули и траурные марши космической трагедии, и перекличка экономической реформы. Такого экстаза не было, кажется, и в хрущевские годы. «Навстречу юбилею», «навстречу юбилею»! Юбилей представлялся не календарной датой, до которой можно просто дожить, а некоей вершинной точкой. Достигнуть ее можно было только ценой напряженной работы, путем трудовых свершений и побед. А уж с ее высоты должны были открыться новые дали. (Хотя, получалось, и так всё почти прекрасно: статьи о трудностях реформы в газетах как-то незаметно иссякли.)

Ну ладно: полвека — цифра, что ни говори, исключительная. По такому случаю грех себе праздник не позволить. Отпразднуем — и снова возьмемся за дело. Может быть, от хорошего настроения и поднявшегося энтузиазма реформа как раз легче пойдет? Может, на то и умысел?

А где-то с краю в медный гром юбилейного оркестра вмешались какофонией крики об «израильской агрессии». В этой странной войне, прогремевшей в июне где-то в чужих песках, было много неясного. Удивляло всё: ее причины, ее шестидневная мгновенность, ее ошеломляющий результат, и, может быть, больше всего — неожиданный взрыв ярости своего родного государства. Отец сидел, прильнув ухом к «Сакте», и подкручивал ручку настройки. Теперь он сам

пристрастился слушать западные «голоса» и охотно пересказывал услышанное со своими комментариями:

— Побили друга нашего, Насера! — Отец произносил фамилию египетского вождя с ударением на втором слоге. — Войско его, технику — всё вдрызг. Это сколько ж наших денежек ухнулось! Вот тебе и «Герой Советского Союза». Позорище! До чего ж надо было Никите сдуреть, чтоб такому упырю звезду золотую повесить! У нас на фронте летчикам «Героя» давали за двадцать сбитых. Одним меньше — уже хрен получишь. А нам, артиллеристам, как ни воюй, вообще не давали никогда. Разве только в противотанковой, дак те — смертники... А этот «герой» за Гитлера воевал и своих коммунистов египетских по тюрьмам запытал и переказнил. А мы, что с Никитой, что без Никиты, его всё облизываем, как котеночка: ухти, наш прогрессивный! Во друзей себе выбираем, ети их в корень...

И вдруг, забыв о мировой политике, отец остро взглядывал на него и говорил:

— Редко бываешь у нас, сынок.

— Так работаю же. И учеба. Третий курс у нас тяжелый, летняя сессия — пять экзаменов.

— Да я понимаю, — кивал отец, — понимаю... А Нину твою совсем редко видим. Чего она с тобой не приезжает? Стесняется, что ли?

— Ну что ты! Просто дел очень много. В институте и по хозяйству.

— Это хорошо, — говорил отец, — когда у женщины по хозяйству много заботы. Но хотелось бы и видеться! А то до сих пор не познакомились по-настоящему. Я с ней так и эдак пытался поговорить, — молчит, улыбается. «Да» и «нет» — вот и вся беседа.

— Значит, умная, раз не болтливая! — вставляла мать.

— Вот, разве что умная, — соглашался отец. — Да, сынок?

Он не ответил отцу. В своем вращении по кругу, в усталости, в пелене он попросту не задумывался над тем, умна ли Нина. Так же, как над тем, счастлив ли он теперь, когда всё сбылось и она принадлежит ему.

Да и что толку задумываться, вспоминать прежние мечтания? Что толку сравнивать Нину хотя бы с той же Стеллой? Всё равно, он любил Нину, и если уж она не могла измениться, пусть бы оставалась какая есть — с холодностью своей, с непонятностью, лишь бы только была с ним!..

Она начала меняться еще в институте.

Первые три курса, шумные, пестрые, с калейдоскопической сменой предметов и преподавателей, чем-то всё же походили на школу. А осенью 1967-го, на четвертом курсе они вступили в тишину кафедры, которая должна была дать им специальность.

Кафедра занимала два длинных коридора, скрестившихся буквой «Т», в институтском корпусе, куда их прежде не пускали. Они впервые прошли этими коридорами, где громоздились темные шкафы, набитые приборами и лабораторной посудой, где за тяжелыми дверями слышались гул и жужжание работающей аппаратуры. Они читали мерцающие стеклянные таблички на дверях: «Профессор», «Доцент», «Лаборатория термохимических испытаний», «Не входить, высокое напряжение!»

А в конце одного из коридоров им открылась маленькая, всего на одну группу, только для посвященных, лекционная аудитория. Здесь впервые узнали они о материалах и приборах, которые будут создавать, услышали о заводах и НИИ, куда придут работать. Всё поначалу обрисовывалось смутно и волнующе.

Ах, этот странный мирок институтской кафедры второй половины шестидесятых! Еще не стало обыденным всё, что так бурно влила в жизнь наука за два каких-то десятилетия после разрушений войны — ракеты, спутники, космические полеты, атомная энергия, телевидение, электроника, кибернетика, реактивные лайнеры, полимеры и полупроводники. Еще чудесный ореол переливался над каждым из этих слов, сияние его отражалось в стеклах бесчисленных приборов в кафедральных кельях, ложилось отсветами на лица всех, кто считался причастным к магии. И казалось, не только отметки в зачетной книжке и стипендия на следующий се-

местр, а сама судьба зависела от тех преподавателей и сотрудников, что встретили их здесь.

У Григорьева-то никаких отношений с ними попросту не сложилось: учился он средне, в студенческом научном обществе не занимался — не хватало ни сил, ни времени. Попрежнему подрабатывал на хлебозаводе и задремывал на лекциях (в маленькой аудитории это было слишком заметно, и Нина следила за ним еще бдительнее). А по выходным — отправлялся разгружать вагоны на овощной базе.

Сетки с картошкой, которые там приходилось таскать, были и тяжелее, и грязнее ящиков с хлебом, а гонка — куда беспощаднее. Даже в холодную погоду распаришься и обольешься потом. Зато после такой разгрузки, изломанный и отплевывающийся черной земляной пылью, он брел домой с красненькой десяткой в кармане: расплачивались на овощебазе сразу и не скупясь.

А денег требовалось всё больше. Хоть Нина и не позволяла себе лишнего, что-то самое необходимое для молодой женщины ей все-таки надо было покупать. Одни высокие кожаные сапоги, как раз в то время вошедшие в обязательную моду, стоили рублей восемьдесят. И эти деньги он хотел заработать полностью, чтобы не пришлось ничего просить у родителей. Для него покупка сапог стала символом его мужской дееспособности. Как же он был горд, когда они в конце концов купили Нине сапоги! Именно такие, какие она хотела, — темно-коричневого цвета, из глянцевитой кожи, красиво облегающие ее стройные ноги!

В ту осень, через полгода после свадьбы, он научился наконец вызывать у нее, а верней у ее тела, чувственный отклик своей страсти. Он искал разгадку, ведомый не столько инстинктом, не столько полуслепыми машинописными страничками косноязычных переводов трудов каких-то западных сексологов, которые добывал и читал тайком от Нины, сколько надеждой, что вместе с наслаждением передастся ей хоть капля переполнявшей его нежности.

Но то, что он нашел, потребовало таких действий, которые вначале вызвали у нее протест. Испуганно, молча она

отстраняла его. Прикрывалась ладонью, чтоб защититься. Но постепенно, постепенно — покорилась.

Даже и не покорилась: всё вернулось к прежнему состоянию, только на новом витке. Нина позволяла ему уже предельно ласкать ее — так же, как позволяла когда-то за собой ухаживать, а потом позволяла с собой спать. И в короткие мгновения, которых ему удавалось добиться, когда под его умоляющими, рабскими ласками ее тело напрягалось наконец и сотрясалось горячей дрожью, она всё равно оставалась в чем-то недосягаемой. Она даже ни разу не застонала. Только бурное, прерывистое дыхание вырывалось у нее и мгновенно успокаивалось вместе с расслабленным телом.

Никогда она не сказала ему ни слова об этих ночных минутах, и ему не давала говорить. Этих минут словно не существовало. И порой, когда он смотрел на нее днем, ему самому не верилось, что они бывают.

Преподаватели на кафедре жаловали Нину: училась она усердно, а после занятий почти каждый день оставалась в лаборатории — ей дали самостоятельную работу в студенческом научном обществе. Григорьев только радовался бы за нее, если бы лик кафедры болезненно не обернулся для него лицами нескольких молодых и моложавых сотрудников и аспирантов.

Были они все чем-то похожи друг на друга: крупные, уверенные в себе, смешливые. Из стайки новых студенток взгляды их цепко выхватили Нину. И вскоре он уже придавленно следил, как подолгу она разговаривает с ними, стоя вплотную к ним в тесных коридорах. Разговаривает совсем не так, как со сверстниками, — живо, охотно. Как громко смеется их шуткам — закидывая голову и открывая прекрасные зубы. Как в глазах ее, в чудесной влажной голубизне, разгорается тот огонек женственности и возбуждения, которого он не мог добиться своей страстью.

К нему, молоденькому мужу красивой женщины, эти хозяева кафедры относились с добродушной насмешкой, а то и просто его не замечали. Когда они болтали с Ниной в коридорах, когда зазывали ее посидеть в своих лабораториях,

он мог находиться рядом, а мог и уйти, — Нина только бросала через плечо быструю, извиняющуюся полуулыбку: мол, что поделать, задерживают!

Оскорбленный, он был бы готов накинуться на любого из них, а то и на всех сразу, и столько подавлял в себе ярости, что, прорвись она, случись такое невероятное дело, — разметал бы, кажется, их всех. Но явного повода не было: разговоры их, шуточки с Ниной были как будто вполне благопристойны. И он угрюмо молчал, боясь самого страшного — оказаться смешным.

Когда же дома, не выдержав, он порой набрасывался на Нину с упреками, она только улыбалась, рассеянно глядя сквозь него. Как когда-то, на первом курсе.

Магия, магия науки! Не просто научная романтика, как несколько лет назад в начале шестидесятых, а нечто в одно и то же время и возвышенное, и сулящее вполне земные блага, обеспеченность, престиж (где еще у нас в стране платят такие деньги, как на вузовских кафедрах!). Вьющиеся вокруг Нины молодые «полубоги», несомненно, казались ей причастными к магии, а полутемные кафедральные закоулки — тем самым, вознесшимся над убожеством обыденной жизни, сверкающим, изобильным царством Большой Науки, которое — по счастью — оказалось открытым и доступным.

Ведь она была уже почти принята в общество небожителей. Их рассказы об институтских делах, о научных проблемах, о подготовке диссертаций, о характерах влиятельных ученых стариков, — обо всех этих тонкостях, понятных только причастному и равному, — звучали для нее упоительной музыкой.

Григорьев догадывался о том, что привлекает Нину на кафедре, и понимал, что сам ведет себя — глупее некуда. Ему бы хоть для Нины держаться с «полубогами» шумно и куражисто, ведь он не признавал их превосходства. А он — отмалчивался, боком протискивался мимо.

Он ли не мечтал когда-то о мире Науки? Но вот, оказалось, вход туда заслонен широкими плечами «полубогов»... Они не нравились ему настолько, что, даже если бы ему не

приходилось таскать по ночам ящики с хлебом и у него оставались бы силы для научной работы, протискиваться в их компанию, искать их дружбы он всё равно не стал бы. Ну, а вечно уставшему, с больной головой и ноющей болью в мышцах, среди этих гладколицых, прекрасно выспавшихся, и вовсе нечего было делать.

— Ну как же ты на кафедре не работаешь? — удивлялся Марик. — Только учиться — это ничего не стоит. Это всё равно, что музыканту читать ноты, а самому не играть.

Он сидел перед Григорьевым и говорил быстро, взахлеб. Черные кучеряшки всклокочены, глаза-угольки возбужденно поблескивают. Весь — расхристанный, одет плохонько: пиджачок и брюки разномастные, детская рубашка в клеточку, стоптанные туфли. И сразу понятно, что неряшливость эта не от бедности, не от лени, а просто — не до того. Григорьеву всё понятно, он сам недавно был таким же. А вот Марик не поймет, почему Григорьев даже у себя дома теперь сидит в новом отглаженном спортивном костюме (да попросту этого не заметит). И не поймет, что значит быть женатым и любить свою жену. Чего стоят отдельная квартирка для Нины, дурманящий, родной запах ее шампуней и кремов на полочке в ванной, тепло ее тела и ночное дыхание рядом. Нет, не поймет, иначе не приставал бы со своим студенческим научным обществом.

А Марик восхищенно рассказывал о доценте, у которого работает:

— У нас его Клавдя зовут, или Кока, или Ко-Ко-Ко: Колесников Константин Клавдиевич. Представляешь, ему за шестьдесят, на старого разбойника похож, лысый, морщинистый, седые волосы из ноздрей торчат, а идей, а энергии — как у молодого аспиранта! Он знаешь, чем занимается? Самая глобальная проблема: распознавание образов! Не понимаешь? Да оно в основе всей жизни на свете! Не только человек, любое животное сразу отличает — что ему в пищу годится, что не годится, какая ситуация опасна, какая безопасна. Как мозг это делает? Можно машину этому научить или нет?

Григорьев с любопытством слушал.

— Вот смотри, — говорил Марик, — будем обучать ЭВМ распознавать геометрические фигуры. Скажем, треугольник от четырехугольника отличить просто — тут три угла, там четыре. Это в машину заложить легко. А теперь давай усложнять: пятиугольник, восьмиугольник, круг, овал, эллипс. Просто невозможно машину заранее на все варианты запрограммировать. Надо ее научить, ну, как бы видеть и понимать.

— Ишь ты.

— А это еще самое простое, — горячился Марик, — геометрия! Дальше — классификация объектов. Вот тебе четыре предмета: нож, кирпич, галоша и зеркало. Какой предмет лишний? Галоша, она мягкая. И это еще пустяки, здесь признак легко выделяется. А если классифицировать надо по признакам, заранее неизвестным?.. Но самое головоломное начинается потом, на переходе от распознавания к узнаванию. Понимаешь разницу? Ну, человек способен узнавать объект даже тогда, когда не может сформулировать признаки классификации. Как мозг это производит? Как машину этому научить?

— Сумеете?

Марик махнул рукой:

— Тут еще и в теории далеко не всё ясно, копать и копать! Зато перспективы — сказочные. Будешь ЭВМ управлять голосом, свободно с ней разговаривать. Машинный перевод будет — с любого языка на любой. Да что там, это цветочки! Дальше — настоящие роботы появятся, как в рассказах Азимова. Это же революция в промышленности, во всей жизни! Это людям — высвобождение для творчества. А дальше — то самое: прямое подключение машины к мозгу, через биотоки. Понимаешь, что это значит?

— Расширение возможностей, — ответил Григорьев.

— Да это же БЕССМЕРТИЕ, — сказал Марик. — Почти бессмертие. Человеческое тело состарится, распадется, а разум человека можно сохранить, перенести в более совершенную оболочку. Представляешь? Вот и решение проблемы космоса! Даже если сверхсветовые скорости невозможны, таким

людям будут доступны самые дальние уголки Вселенной. Ограничение проклятое — по времени жизни — отпадет!

Григорьев засмеялся:

— Ишь куда залетел со своим студенческим научным обществом!

— Конечно, конечно, — закивал Марик, — это дальняя перспектива, это за горизонтом. Но работать-то надо уже сейчас! А пока что нас у Колесникова двое студентов на теме. Я — как теоретик. Колесников говорит, что у меня мышление теоретика. И еще — Сашка с пятого курса. Ну, он практик. Нам же надо все идеи в работающие блоки превращать. Сашке только объясни, какой сигнал пойдет на вход, какие должны быть преобразования. А что на выходе окажется, мы часто и сами не знаем, для того и эксперимент. Сашка задание получит — и давай схему рисовать. Комбинирует что-то, чиркает. Посмотришь на его ватман, в глазах от клинописи темнеет. Потом — свои иероглифы лаком на фольгу перерисует, платы протравит. Возьмет паяльник, из стола ящики с детальками выдвинет, — а стол у него, как сундук у Плюшкина, где увидит сопротивленьице, диод или хоть проводочек, всё к себе тащит, — и понесся паять! Клюет паяльником, как курица зернышки: тюк-тюк-тюк. Колесников говорит, какой-нибудь такой блок без Сашки — полгода проектировать, полгода делать, полгода настраивать. А у него — в два месяца всё готово!

Григорьев слушал и завидовал. «Полубогам» не завидовал никогда, а Марику — завидовал. Его увлеченности. Возможности быть неряшливым, не замечая этого. Даже холостому его состоянию и безразличию к девушкам. Сытые физиономии «полубогов», точно жиром, сочились самодовольством. А Марик, сухонький, возбужденный, весь кипел естественным довольством человека, который попал туда, куда хотел, живет так, как ему хочется, и страшно этому рад.

Газеты обещали в честь пятидесятилетия революции необыкновенный салют с фейерверком, и вечером седьмого ноября Григорьев и Нина отправились к Неве.

Никогда прежде, никогда потом не приходилось ему видеть такого скопления народа. Ярко освещенные набережные и мосты были заполнены сплошной людской массой, чуть колыхавшейся и непрерывно перетекавшей внутренними волнами и ручейками. Ему вспомнилось описание Ходынки из «Жизни Клима Самгина», он забеспокоился, — не за себя, за Нину. И ей, как видно, стало боязно, она крепче взяла его под руку и прижалась к его плечу. Но давки не было, хоть двигаться, пробираясь сквозь толпу, удавалось очень медленно.

Посреди Невы, подсвеченные прожекторами такой яркости, что казались не серо-голубыми, а белыми, стояли невиданные корабли. Сабельные изгибы палуб высоко возносили над водой их острые носы. Не было ни труб, ни мачт. Вместо них на каждом корабле, сливаясь в единое холмообразное нагромождение, лепились сферические и угловатые надстройки, увенчанные чашами и параболоидами решетчатых локаторных антенн. В разных направлениях косо вздымались установки спаренных и счетверенных огромных цилиндров с выпуклыми крышками, как видно, контейнеров, скрывавших в себе ракеты.

Григорьев вспомнил боевые корабли, приходившие по праздникам в Неву всего несколько лет назад. Те крейсера и эсминцы — с их дымовыми трубами, мачтами, броневыми башнями, стволами орудий — были понятны и казались одушевленными. За ними ощущалась человеческая традиция, шедшая от закованных в латы витязей. А в очертаниях новых ракетоносцев виделась только мертвенная и слепая мощь истребительных машин.

Давки не было, и всё же толпа вначале оттеснила их с набережной, а потом своим медленным внутренним течением вынесла с Дворцовой площади под арку Главного Штаба. Под этой аркой, если верить кинофильмам, ровно полвека назад с Невского на Дворцовую бежали штурмовать Зимний революционные матросы. А сейчас — в обратном направлении, не в силах сдержать свою избыточность, как тесто из квашни, выпирала гудящая праздничная толпа.

Им с Ниной удалось остановиться на Невском только возле Строгановского дворца, где напор немного ослабел. Здесь и застал их салют, действительно необыкновенный. В темное небо над шпилем Адмиралтейства взлетали и с громом взрывались фейерверки, выстреливая во все стороны разноцветными молниями. Рассыпались мириады ярких звездочек и медленно опускались, непрерывно изменяя цвет своих огоньков. Фантастическое пестрое сияние освещало проспект, залитый до самого Московского вокзала шевелящейся человеческой кашей. Каждому залпу отвечало разноголосое «ура!» А после особо эффектных, многокрасочных разрывов над толпой прокатывался настоящий рев восторга, слышались дурашливые визги и свист.

И вдруг — салют оборвался. Артиллеристы и пиротехники отстреляли всё, что им было положено. Людская масса ждала с поднятыми головами, но залпов больше не было. В небо лишь тихо взлетели, скатились и погасли несколько обыкновенных, одноцветных ракет. И толпа разочарованно загудела. Конец праздника наступил сразу после наивысшего возбуждения, резко, без перехода. И поэтому родилось ощущение открывшейся пустоты, как будто праздник обманул.

Надо было собираться домой. У станции метро «Невский проспект» сбилась громадная масса. Здесь уже начиналась и давка, раздавались встревоженные возгласы. Крепко держась друг за друга, они с Ниной протиснулись вдоль Гостиного Двора на Садовую и направились к площади Мира. Но уже на подходе стало ясно, что уехать не удастся и отсюда: заполняя всю площадь, колыхалась волнами сплошная многотысячная толпа. Раскрытые двери в стеклянном светящемся вестибюле метро всасывали ее безнадежно тоненькими ручейками. Вдоль Садовой стояли несколько пустых, намертво завязших в толпе и брошенных пассажирами трамваев.

— Придется пешком, — сказал Григорьев.

— Ты что, — испугалась Нина, — через весь город!

Они тогда снимали квартиру в Купчино.

— Ну пойдем к моим старикам в Новую Деревню. Переночуем у них. Это ближе, через полгорода. Пошли, погода хорошая.

Вечер и вправду был сухой и теплый, необычный для ноября.

И они отправились пешком. Кировский мост перешли вместе с густым людским потоком. На Петроградской стороне вначале тоже было людно. Однако, чем дальше уходили они по Кировскому проспекту, тем меньше становилось вокруг прохожих. А на Каменном острове было уже совсем темно и пустынно. Шумели черные деревья парка, ветер свистел над мостами через Невки.

Шли молча. Время от времени он спрашивал: «Не устала?» Нина отвечала, что нет. Обменивались несколькими фразами о салюте, о том, сколько еще осталось идти, и вновь наступало молчание. Слышались только его шаги в ночной тишине и ее легкие шаги рядом. Кажется, никогда еще до этого двухчасового путешествия по спящему городу не ощущал он так тягостно и безнадежно, что им с Ниной не о чем говорить.

Он знал, что может слукавить, спросить ее о кафедре. Она охотно начнет рассказывать, какими новостями с ней поделился доцент Икс или аспирант Игрек, а самое главное: как в нынешнем году прошло распределение. Сколько человек оставили на кафедре, сколько в аспирантуре. Сколько было направлений в научно-исследовательские институты, сколько — на заводы. Распределение всего сильней волновало Нину.

А что волновало его самого? Чем он хотел бы с ней поделиться? Быть может, в тогдашней своей усталости он, действительно, до того отупел, что попросту не воспринимал уже ничего внешнего, мелькающего за карусельным кругом ежедневных забот, и смирился с этим?

Вот только томило неясное ощущение потери. Что-то важное, дорогое — исчезло. Что-то оборвалось в душе, как оборвалось праздничное настроение с последним разрывом фейерверка. Что? Быть может, чувство молодости?

А ведь что-то менялось вокруг, менялось, менялось! Незаметно и неощутимо, но решительно. В своей замороченности он пропустил главное — точку поворота. Так зачуханный

матрос-кочегар в шумном и жарком машинном отделении не замечает, что на корабле переложили руль. Даже выбравшись отдышаться на палубу, он не сразу почувствует перемену курса: вокруг как будто всё тот же океан, над головой — то же небо с бегущими облаками. Откуда ему знать, к какой земле направлен теперь нос корабля! Потом он догадается, конечно, увидев, что солнце опускается за горизонт не справа, а слева по борту. Догадается, отметив, как развернулся ночной рисунок созвездий. Но это — потом.

Когда оглядываешься из нынешнего 1984 года, всё немного смешивается позади. Даже «полубоги» представляются порождениями поворота, только вылезшими на свет и принявшимися по-хозяйски осваиваться в жизни еще до того, как свершился сам поворот. Словно предчувствовали, что наступает их время, и готовились к нему.

А что для него самого тогда, в конце 1967-го — начале 1968-го, явилось знаком перемен? То, что из газет исчезли упоминания о реформе? Нет, это было еще неотчетливо, да он тогда и не слишком внимательно читал газеты.

Запомнилось иное. Отец выписывал многотомную «Историю КПСС», ее начали издавать вскоре после отставки Хрущева. Отец вначале радовался: «Ну теперь-то, без Никиты, всю правду прочитаем — как что было!» И несколько лет подряд в магазине для подписчиков на Литейном Григорьев выкупал выходившие один за другим тома.

Тот очередной том он выкупил и отвез отцу, даже не пролистав. А какое-то время спустя заехал к родителям, увидел том на столе, взял и стал просматривать.

Речь шла о середине тридцатых, том завершался первыми выборами в Верховный Совет в декабре тридцать седьмого. Григорьев пробегал страницы, вначале рассеянно, но чем дальше, тем всё более внимательно и встревоженно. Отыскивал хоть малейшее упоминание о репрессиях — и не находил ни слова, ни намека. Зато навязчиво лезли в глаза диаграммы — эффектные, цветные, на глянцевой мелованной бумаге: рост количества тракторов, автомобилей, киловатт-часов, театров, вузов, библиотек в городах, изб-читален в колхозах. Везде линии уверенно поднимались вверх год

от года и на тридцать седьмом, заключительном, взлетали выше всего.

Вдруг он заметил, что отец с усмешкой наблюдает за ним.

— Листаешь? — спросил отец. — Я тоже... листал. Не ищи, нету ничего. Как это медики говорят? СТЕРИЛЬНО!

Отец помолчал, скривив рот. Потом спросил:

— Сколько стоит такой томина? Полтора рубля? Ну и не выкупай больше, не хрен такие деньги выкидывать! Лучше «маленькую» на них взять, всё будет полезнее!..

— 7 —

— Эй! Э-эй! — кто-то кого-то окликал сквозь шум аэропорта. Голос доносился снизу, Григорьев не сразу сообразил, что окликают — его. На автобусной остановке у выхода из «зала прибытия» мужчина в светлом плаще смотрел вверх и махал ему рукой.

— Виталий Сергеич! — Григорьев узнал его, помахал в ответ, и только успел подумать, что Виталий Сергеевич не утерпит, сейчас явится сюда, как тот, действительно, подхватил с асфальта чемоданчик и в обход побежал к лестнице, ведущей на галерею.

Через минуту, запыхавшийся, он оказался перед ними: добрейший Виталий Сергеевич Байков из одного с Григорьевым отдела, тоже ведущий инженер, пятидесятилетний болтун, шумный ценитель женского пола. В группу к Байкову, как на грех, подобрались одни женщины, шестеро, все молодые, хорошенькие, и они, конечно, вертели им, как хотели. Виталий Сергеевич с готовностью отдувался в работе за всех. Он и по стране мотался чаще, чем ему следовало, потому что никак не смог бы отправить хоть одну из своих красавиц в дальнюю, трудную командировку.

Грузный, с отечным и темным добродушным лицом, с узкими смешливыми глазками, в старомодном берете с хвостиком на макушке, был Виталий Сергеевич похож на постаревшего, но по-прежнему жизнерадостного Чиполлино.

Сейчас под его длинным плащом-балахоном, не успокоившиеся после бега, мощными буграми, как в мешке, перекатывались плечи, грудь, живот.

— Привет! — выдохнул он. — Улетаете, провожаете, встречаете? (Быстрый, любопытный и одобрительный взгляд на Алю.)

— Улетаю, — ответил Григорьев. — На Сибирский завод, по двадцать второму изделию. А это, — кивок в сторону Али, — пришли проводить меня.

Кажется, Аля выдавила из себя улыбку.

— Очень приятно! — Виталий Сергеевич коротким падающим движением поклонился (похоже было, что ему трудно сгибать массивную шею). — А я из Свердловска прилетел. — (Опять быстрый, одобрительный взгляд на Алю.) — Сутки в «Кольцово» просидел, трясця их бабушке! Всё говорили: по метеоусловиям, по метеоусловиям. А в Ленинграде вон какая погодка! Наверняка, керосина не было, ждали, пока подвезут, черт бы их драл! — Долгий одобрительный взгляд на Алю, и к Григорьеву: — Как там на любимой работе?

— Всё по-старому! — заверил Григорьев.

— Девицы мои пока не разбежались? — хохотнул Байков.

— Трудятся, как пчелки, и вас ждут не дождутся!

Прошлой зимой они вместе с Байковым были в командировке на одном из заводов их отрасли. Полмесяца вместе варились в цеховой неразберихе, пытаясь пропихнуть в производство каждый свои новшества. А потом — вместе возвращались в Ленинград.

На маленьких станциях, рассеявшихся вдоль бесконечных российских железных дорог, редко устраивают настоящие платформы для пассажиров. И на станции, где они ожидали тогда ленинградский поезд, платформы тоже не было: шла вровень с рельсами асфальтовая полоса, покрытая бугристым льдом, рыжим от вмерзшего песка. Они и топтались на этом льду возле ящика с прибором, который их попросили захватить для другого отдела. Что за прибор, оба понятия не имели, но ящик был страшно тяжел и больно оттянул им руки. А поезд опаздывал, они порядочно замерзли. Мимо

в двух шагах проносились товарные составы, почему-то всё больше цистерны: черные, нефтяные в мазутных потеках, серебристые со сжиженным газом, заиндевевшие, присыпанные снегом. Проносились, гулкой молотьбой сотрясая рельсы, окатывая ветром с морозной пылью. Пассажирский скорый появился бесшумно и потому неожиданно.

Они старались угадать, где остановится их вагон, но угадали неточно. Пришлось, оскальзываясь, бежать вдоль состава с проклятым тяжеленным ящиком (они держали его с двух сторон за ручки, а в другой руке каждый тащил свой чемоданчик). Пассажирский останавливался здесь всего на две минуты. Они едва успели взобраться с ящиком в тамбур, и уже после того, как поезд тронулся, долго стояли, переводя срывающееся дыхание и улыбаясь друг другу.

Пожилой проводник с брюзгливым лицом в невыбритой серебряной щетине, словно тоже в инее, хмуро взял билеты и даже не сказал, на какие места проходить, — вагон был полупустой, наконец-то им повезло. Они протащились с ящиком по вагонному коридору, согнав с дороги двоих малышей и заставив осоловелого парня, обмякшего у окна с незажженной папиросой, тяжко распластаться по стенке с матерным бормотаньем. Ввалились в свободное купе, сбросили пальто и некоторое время блаженно отогревались в потоках тепла от невидимых электрических печек. Вагон был новенький, стерильно сверкающий внутри белым пластиком и никелем. Конечно, им повезло!

Когда мимо открытой двери купе прошел хмурый проводник, Виталий Сергеевич вытащил десятку и жалобно закричал:

— Товарищ начальник! Замерзли, не дождемся чаю! Нам бы что-нибудь ЭКСТРЕННОЕ!

Проводник молча забрал десятку. Через минуту он, не таясь, принес и, всё так же не говоря ни слова, как будто с отвращением отшвыривая, бросил на столик одной рукой бутылку водки, другой — два сравнительно чистых чайных стакана в подстаканниках.

— Ну, конечно, — сказал Виталий Сергеевич, задвигая за ним дверь, — «Экстры» больше нет. Знаете анекдот: можно

ли выпить всю водку? Вот и «Экстру» уже всю выпили... — Он вгляделся в наклейку: — «Пшеничная», челябинского разлива. Бр-р, пучеглазка!

Он шумно вертелся и заполнял своим массивным телом сразу половину купе. Без отнекиваний, на лету схапнул толстыми пальцами григорьевскую пятерку и начал выкладывать на столик хлеб, консервные банки со ставридой в томате и морской капустой — всё, чем удалось запастись на дорогу в местном магазине.

А поезд летел, — уже разогнавшийся, — раскачиваясь, содрогаясь крупной, гулкой дрожью скорости. Мелькали придорожные деревца, черные ветви их колыхались от ударов морозного воздуха. Но дальше — до горизонта — тянулось снежное поле, ровное под белым слоистым небом, и оно не давало ни увлечь, ни отбросить себя скоростью, лишь чуть-чуть, лениво поворачивалось вокруг поезда, застывая у окаймлявшей горизонт темной полоски леса. Только кое-где прорезала его блестящей ниткой, брошенной на матовый снег, не то тропинка, не то лыжня. Да редкие островки чернели на нем — верхушки ушедших под снег кустов. Да еще там, где снежная гладь по ходу поезда начинала снижаться пологой ложбиной, а потом вздымалась снова, можно было угадать проледеневшую, засыпанную снегом речку или поверхность озера.

— Вот так, — говорил Виталий Сергеевич. — Этот товарищ начальник перед отъездом купит ящик водочки и в дороге худо-бедно распродаст по червонцу вместо шести двадцати, да еще пустые соберет и сдаст. По четыре целковых с бутылки — восемьдесят рублей за двухдневный рейс! Ей-богу, в следующей жизни буду проводником! Я, как Высоцкий, за индусскую религию, за переселение душ!

За это и выглотали по первой холодную маслянистую водку, отдававшую сивухой. Пухлое лицо Байкова сдавилось в отчаянную гримасу с глубокими складками.

— Ф-фу, солярка! — выдохнул он.

Поезд летел над облачным полем, отбивая ритм скорости. Снежный свет лился в герметичную, наполненную искусственным теплом коробочку купе.

— Вы посмотрите, а! — сказал отдышавшийся Виталий Сергеевич, глядя в окно. — Это даже не простор, это черт знает что! И ведь не Сибирь, не Дальний Восток — Средняя полоса, как говорится. Вот страна!.. Вы, я знаю, в командировках самолеты предпочитаете, а символ-то России все-таки — поезд. Скорый поезд, идущий сквозь такое... Сквозь такую вот бесконечность.

Скрещиваясь, громовыми взмахами пролетели за окном, пропали и стихли фермы моста.

— Вы пишете, — сказал Виталий Сергеевич. — Вот возьмите и напишите рассказ «Зимний скорый». А? Какое я вам название придумал! Половину гонорара за такое название!

— О чем будет рассказ? — спросил Григорьев.

— Как — о чем? Да просто возьмите и напишите всё как есть. Это, наверное, самое трудное, а? Напишите, как двое командированных ждали, ждали поезда на маленькой станции. Замерзли. Дождались наконец. Сели и едут, в окошко смотрят. Достали водки, выпили. Разговаривают.

— А разговаривают о чем?

— Ну как о чем, как о чем?.. О политике, конечно!

И они в самом деле заговорили о том, о чем той зимою нескончаемо долбили в глаза, в уши, в мозг телевидение, радио, газеты, что стало ядовитой свинцовостью самого воздуха, которым дышали. О крылатых ракетах и «першингах», о том, что наши подводные ракетоносцы подплыли в ответ к берегам Америки. О том, что никогда еще с шестьдесят второго года не нависало ЭТО над жизнью так близко, так ощутимо страшно. И о том, что, как всегда, в громе трагедии повизгивают шутовские подголоски. «Правда» на полном серьезе ляпнула сообщение: некий финский полковник, начальник вооруженных сил какой-то губернии (ни больше, ни меньше!) заявил всему свету, что, поскольку крылатые ракеты на Ленинград собираются запускать через Финляндию, не потерпят этого финны, создадут могучую ПВО и будут их сбивать, как воробьев. Приятный человек губернский полковник. Хотя, всё логично. Если уж финны одевают нас и кормят, так пусть и защищают, черт их дери!

— А иногда всё же надеешься, — говорил Виталий Сергеевич, глядя в окно, — может, еще раз выручат наши про-

сторы? В мирные времена — обманывают они, расслабляют. От них медлительность наша и «авось» этот проклятый. А в беду — спасают. Так может, еще раз, последний — спасут?.. Хотя, не только гибель страшна. Даже если не нажмут «кнопку», десятилетия жизни под таким топором не могут бесследно пройти. Конечно, человек не в состоянии всё время тревогу ощущать. От нескончаемости притупляется она и не мешает. Вот, кажется, как славно защитились — привычкою! А вечные принципы какие-то раздавливаются, и невиданная мораль вылезает. Высшая мудрость — жить одним днем, а высшая доблесть — уцелеть самому. Сохранить свою персону, как частицу рода человеческого...

Выпили еще. Григорьев с удивлением наблюдал за Байковым. Болтун, обычно расходившийся в застолье до балагурства, сейчас наливался мрачностью. Вдруг он навалился на столик и, глядя в глаза Григорьеву, мощно выдыхая горячей кислотой сивухи и морской капусты, сказал:

— А уж как я этой осенью перетрясся!.. Сын на втором курсе в Техноложке. Ба-бах, новости: военная кафедра — не в счет, будут в армию забирать. А?

Его глаза, всегда тонувшие веселыми щелочками в припухлостях большого лица, расширились, смотрели тоскливо.

— И все только и говорят, — медленно продолжал он, — что таких ребят, ну, серьезных, с каким-то уже образованием, прямым ходом налаживают в Афганистан! На войне плохих не надо...

Поезд раскачивало. Чуть позванивая, вздрагивали в подстаканниках противно пахнущие водкой стаканы. Байков с глухим ударом откинулся толстой спиной к стенке купе, разлил остатки. Бутылка в его ручище казалась совсем небольшой.

— Перетряслись мы с женой, перетряслись. Я — сон потерял... Помню, в эвакуации с матерью, в Уфе, пацаном... Как бабы писем с фронта ждали, как принимали похоронки... Лиц не осталось, стерлись от времени. А только вой этот слышится — не то, что не женский, нечеловеческий... Но ведь Отечественная была, одно слово. А тут — мой Андрюшка, в шестьдесят пятом родился! Я ему вчера «Тарака-

нище» читал: «Ехали медведи на велосипеде». В Евпаторию его возили, простужался... Как же так — его на войну?! Тварь какая-то в него ЦЕЛИТЬСЯ будет, а?!

Григорьев отвел глаза. Вспомнил, что в сентябре — да, кажется, в сентябре — Виталий Сергеевич и вправду был на работе какой-то перевозбужденный. Не находил себе места, приставал ко всем, шутил, гоготал. Конечно, чувствовался надрыв. Неловко было за него. И думалось: неужели он сразу после отпуска так переутомлен, что нервы скачут?

Виталий Сергеевич вытащил стакан из подстаканника. Запрокинувшись, выглотал остаток водки. Отдулся и заговорил:

— Когда лежишь вот так ночами, вертишься без сна... Мозги сухие горят, все печенки в тебе под током, а ты — бессилен... Полыхаешь белым пламенем, а бессилен же, как тряпка... От этого огня такие мысли начинают выплясывать. Над реальностью уже... Все пророчества, все революции, все идеи самые великие и самые мерзейшие — от такого, наверно, состояния...

— Так что же с сыном получилось? — спросил Григорьев.

— Обошлось, — сказал Байков. — Обошлось... А тогда лежал — чувствую, такое во мне поднимается... Кажется, сумел бы достать автомат, так и пошел бы их всех крошить!

— Кого?! — не понял Григорьев.

Невероятно было и представить добродушнейшего Виталия Сергеевича с оружием, разъяренного. Но вдруг Григорьев ясно увидел, как бы выглядел в его ручище боевой автомат — таким же уменьшенным, как бутылка, и каменно зажатым.

— Да всех их, всех, — досадливо дернул тяжелым плечом Виталий Сергеевич. — Тех басмачей в чалмах, наших дряхлецов полоумных... Мы Андрюшку постригли первый раз в полтора годочка, жена волосики в конверт собрала, на память. Сейчас-то он потемнел, а там — колечки золотистые, мягонькие. За одно это — всех бы их в куски!

Колеса, сбиваясь с ритма, яростно заколотились под полом. Григорьев с трудом допил наконец свою водку. Вагон дернулся, его сносило в сторону на повороте. Белое про-

странство за окном уже сумеречно гасло, и темнота, точно сквозь линзу собираясь сквозь стекло, сгущалась в коробочке купе. Байков казался неподвижным при рывках и кружении, словно каменный идол. Уже и черты его скрадывала тьма, только поблескивала жирная кожа лица, да другим, резким блеском выделялись глаза.

— Но ведь обошлось же, Виталий Сергеевич?

— Обошлось... — отозвался Байков. — А мысли те, мысли остаются, ох!.. «Что люди, что звери — всё едино» — какой мудрец сказал?

— «Участь сынов человеческих и участь животных одна»?.. Это Екклезиаст, Библия. Но имеется в виду жизнь и смерть.

— В том-то и дело, что жизнь и смерть! — кивнул Байков. — Нет, человек дурней скотины. Животных инстинкт спасает! Говорят, даже коровы, если волк на стадо нападет, мигом по кругу разворачиваются: хвосты — в центр, все рога — наружу. А человек, мать его в лоб, добился — инстинкт на разум поменял, тут ему и гибель! Разум-то срабатывает медленней! Соседу уж горло рвут, а ты еще в полном благополучии, и разум твой опыта не имеет, из своей реальности тяжко ему вырваться, как из сна. Поверил наконец, понял, проснулся, а уже — поздно, уже и от тебя клочья с кровью летят.

— Да вы философ, — сказал Григорьев.

— Какой я философ! — отозвался из сумерек Виталий Сергеевич. — Что люди не звери, людьми легко управлять — это разве философия? Тот же самый вой. Бесполезный.

— Но с сыном ведь обошлось?

— Обошлось... Сказали, студентов будут забирать с восемьдесят третьего года поступления. А наш поступил — в восемьдесят втором.

— Ну и слава богу!

— Слава богу... — ответил Байков. — А только во мне теперь инстинкта капелька зашевелилась. Виталию Сергеичу сына оставили, а какой-нибудь Петр Петрович, который лишь тем промахнулся, что своего пацана годом позже зачал, провожай его под огонь и сам ночами гори? У меня теперь

чутье!.. Какими глазами он на меня, на моего Андрюшку смотреть будет, а? Вот так и разделяют они нас...

— Ну, уж это у них непроизвольно вышло.

— Это — непроизвольно, — согласился Виталий Сергеевич. — А всё равно в ту же цель бьет, обратно не отскочит.

— Но Андропов, во всяком случае, производит впечатление честного человека, — сказал Григорьев.

— Да какая разница — честный он, нечестный! Не в нем же дело — во мне.

— Почему?!

— Потому! Во мне, в Петре Петровиче, и в вас, и в вас тоже!.. Я — простой мужик, обыватель советский. Никому не завидую и зла не желаю, только свое хочу спокойно прожить. А ведь едва клюнуло меня, — ну, правда, хорошенькое «едва», — так что я в себе почувствовал? Да я бы того же Петра Петровича возненавидел, если б у меня сына забрали, а ему оставили!

Виталий Сергеевич помолчал и снова заговорил:

— Ехал я когда-то вот так же в поезде с геологом-москвичом. Тот из Средней Азии возвращался. Ну, врубили с ним, конечно, водочки. Только уж не одну бутылку. Серьезно, глубоко врубили. Он, когда уже были на хорошей кочерге, историю рассказал... Он не изыскатель, а спец по каким-то особым ископаемым, радиоактивным или редкоземельным, тут он темнил. Но, в общем, такая у него работа: два-три месяца в пустыне, где из-под песков его минералы выковыривают, потом — месяц в Москве. И вот, в Москве однажды, в троллейбусе, у него из бокового кармана плаща бумажничек вытащили. Сунул туда впопыхах, когда из дома выскакивал, опаздывал в свой институт, хотел потом во внутренний карман переложить, да забыл. Главное, говорит, чувствовал, как сперва в бок подталкивали, потом словно кто-то легонько пальцами защекотал сквозь плащ. Но — не среагировал, мало ли что в толкучке бывает. А уж когда на улице схватился — взвыл! И не денег жалко, хоть вытянули рублей полтораста, но — паспорт пропал, удостоверение служебное, допуск, билет на самолет!

Конечно, побежал в милицию, заявление настрочил. Едва взяли, облаяли. Он чуть не плачет: может, воры документы

вернут, подкинут? Над ним хохочут: прошли святые времена! Словом, вытурили. А человеку и так тошно: на работе начальство дурное затрахало, жена померла, сын-подросток совсем одичал. Он с бабенкой молодой сошелся, хотел жениться, да поймал на том, что в его отъезды она другим мужикам задницей вертит. И тут для полного счастья — еще бумажничек! Еще мешок камней на голову вытряхнули! Ну, в петлю человеку, и только...

Может, говорит, и удавился бы с отчаяния, да знаете что спасло? Представлю, говорит, вора, как он денежки мои в ресторане просадит, а документы, за которые мне столько мук принимать, морду в кровь расшибать по кабинетам, — документы мои в сортире утопит, — так меня и заледенит всего.

И от ненависти, от бессилия такой ему план пришел — отомстить, — что он сам себе сначала не поверил. Нет, подумал, сумасшествие, не сделаю. А мысль-то уже загорелась, жжет огонек. И отогрелся им человек! И силы появились, чтоб всё вынести...

У него в пустыне, где они в песках ковыряются, есть в поселочке знакомый старик-туркмен, местный знахарь и алхимик. Ловит какую-то разновидность фаланг, что ли. Одним словом, скорпионов — жутко ядовитых и злобнющих. К ним без сноровки и приближаться нельзя: наскочит, кусит, — хорошо, если помрет человек, а нет, так на всю жизнь полупаралитик. И сами, гады, после укуса сдыхают. Старик их хватает в толстых кожаных перчатках особой ухваткой. В банках стеклянных держит, затянутых сетками. Подкармливает какой-то дрянью. Как наберет, сколько надо по его рецептуре, давай их не то варить, не то спиртовые вытяжки делать. Словом, лекарства химичить. За сумасшедшие деньги продает. Они, говорят, самых скрюченных радикулитчиков оживляют и еще от тьмы болезней.

Вот геолог наш и приладился: каждый заезд в пустыню — спирт старику тащит для его вытяжек, сетки капроновые от фильтров — самые удобные, и еще — коньячок. Тот с виду темнота темнотой, а клиенты его к коньячку приучили, ценит. Старик ему за это — несколько скорпионов в банках.

— Живых? — не понял Григорьев.

— Самых живехоньких! Геолог мне нарассказывал, как с ними маялся, чтобы в Москву довезти. Целое мог бы исследование написать. Например, установил, что эту породу в самолет брать нельзя — в разреженном воздухе дохнут. И застудить их не дай бог. Вообще, нежные твари оказались... Ну, а в московской квартире у него эти банки на особом столике стояли, под кварцевой лампой. Кормил их и даже песок в банках менял. Песок тоже из пустыни привезенный. Брал их в перчатках той ухваткой, что старик научил. И подходил для этого к столику только в резиновых сапогах — чтоб скорпион в ногу не смог кусить, если на пол вылетит. Рядом обязательно держал молоток деревянный и детские лопатки пластмассовые: чтоб сразу его в таком случае пристукнуть или в щели придавить, пока не спрятался. Возня неимоверная. Но всё — на вдохновении, да еще риск жгучий. Словом, говорит, такая страсть, что и в любви, с женщинами, до подобного градуса не доходил.

— Господи, да зачем?!

— А вы до сих пор не поняли?

— Кажется, догадываюсь, — сказал Григорьев. — Но ведь это уже просто — черт знает что. Неужели...

— Да, да! — ответил Виталий Сергеевич, и в темноте, в дрожи вагона Григорьев скорее почувствовал, чем разглядел, как он утвердительно кивнул тяжелой головой. — Для этого самого. У него специальный кошелек был приготовлен, большой, старый, из толстой кожи, с медной рамкой. Он крючки у кошелька так клещами подогнул, что еле откроешь. С одного боку бумажки в кошельке набиты, словно пачка денег, и рядом — как раз свободное место для скорпиона получается. И вот, берет он тот кошелек, заряжает в него скорпиона, сует в карман плаща или пиджака — и отправляется колесить по Москве. На троллейбусах, на автобусах, на трамваях...

— Послушайте, — сказал Григорьев, — а он, в самом деле, не сумасшедший?

— Не похоже. Поддатый был, когда рассказывал, конечно. Ну так и я поддатый был, а вот запомнил же почти всё... Он

говорил, что и колесить было мучение. С одной стороны, в толкучку надо лезть, а с другой — в самую давку не сунешься, за скорпиона боязно. И уж, коль отправился, надо ездить, ездить до полного изнеможения, потому что одного скорпиона только на один заход можно использовать.

— Подыхает в кошельке?

— Не подыхает, а просто уже не вынуть. Я же сказал, что он над кошельком хитрил. Он так застежки устроил, что одной рукой туда скорпиона кинуть, другой защелкнуть — можно. А вот уж чтоб открыть, обязательно надо двумя руками взяться, и тут скорпиона никак не уловить! Будешь без перчаток — мгновенно кусит, а перчатки наденешь, — ну, в лучшем случае, если повыше них не кусит, так проскочит по ним и удерет. Лови его потом по квартире, как бы он тебя не поймал.

И вот, представьте, как притаскивался наш геолог домой, еле жив от усталости, и, чуть не плача, прямо сквозь кошелек, скорпиона молотком пришибал...

— О, господи!

— Да вы поймите, — сказал Байков, — человек всё время рисковал собственной жизнью. Он подвиг мужества и терпения совершал! Вот притащил он с великими трудами свои банки в Москву, вот проездил всех скорпионов, а никто на его кошелек не клюнул. Что он должен чувствовать, какую силу иметь, чтоб не отчаиваться, продолжать? И в другой раз так, и в третий. А каждый цикл — несколько месяцев, потом они в годы складываются. Это уже самой жизнью для человека стало! Понимаете?

— Понимаю. Безумие.

— А как посмотреть! Если б не было этого безумия, человек задохнулся бы и погиб. А с ним — дышит, полноту чувств испытывает. ЖИВЕТ!

— Попался кто-нибудь на его скорпиона?

— Попался. Через три года. В автобусе. Он говорит, всё так же повторилось: сперва в бок подталкивали, потом будто легонькая щекотка. А я стою, говорит, возбуждение, конечно, нечеловеческое. Расслабился, как мог, чтоб не дрожать, только сердце так бухает, что даже боюсь, как бы вор не почувствовал.

— Посмотрел, кто тащит?

— Да вы что?! Еще писатель называется! Самого главного не поняли? Как же можно смотреть?! В том-то вся и суть, чтоб не посмотреть! Эх вы...

— Ну, хорошо, хорошо. А дальше?

— Что — дальше? Он специально до конечной остановки доехал, когда в автобусе, кроме него, никого не осталось. Вышел на самой окраине Москвы — и пошел по полю. Иду, говорит, пустой карман щупаю, а у самого состояние... Не то что облегчение, а запредельное уже что-то! И торжество, и невесомость, и сила всесильная. Так себя, наверное, ангелы в полете чувствуют.

— Да он хоть понимал, что сделал?!

— Конечно. Конечно, по закону за каждую вину свое наказанье отмерено, и не положено, чтобы карманного вора казнили или калечили на всю жизнь. Ну, а по душе? Ведь воришка, что тогда бумажник утащил, почти и убил человека! Уж искалечил — точно...

Виталий Сергеевич помолчал в темноте, потом заговорил снова:

— А главное, чем эта история закончилась. Пробеседовали мы с геологом до поздней ночи и завалились спать. Поезд в Москву днем прибывал, так почти до самого Казанского вокзала и дрыхли. Вытаскиваемся на платформу, головы болят. Я слышу: у него в чемодане что-то глухо постукивает. Спрашиваю в шутку, не скорпионов ли новых привез. — Он смотрит на меня серьезно: «А как же! С чего бы я стал не самолетом, а поездом из такой дали добираться? Банки там у меня. Тряпками завернуты, чтоб не побились, и для тепла. Скорее домой надо, под кварцевую лампу их поставить». Тут, честно говоря, и меня жуть взяла. Значит, я с этими тварями в одном купе целые сутки трясся! Что же, спрашиваю, теперь всю жизнь так и будете? «Всю, — говорит, — не получится, а уж сколько смогу — буду. Пытаются меня из пустыни на другую площадку перевести. Пока отбиваюсь, хоть и теряю в зарплате. Не в деньгах счастье. Главное, был бы мой старик-алхимик здоров. Если занеможет, конец делу. Сам не сумею в песках наловить...» Тут и простились мы

с ним. Он — в метро, под землю провалился, а я на Ленинградский вокзал пошел. Вот такой вам примерец...

Поезд чуть сбавил ход. В окно редкими вспышками били фонари какого-то длинного разъезда.

— А вы не допускаете, — спросил Григорьев, — что он всё это мог придумать?

— Конечно, мог, — согласился Виталий Сергеевич. — И хорошо, если на самом деле не угробил никого. Только ведь в чем-то еще страшней, если придумал. До какой же кондиции должен дойти человек, чтобы всё-всё, до последних тонкостей ПРИДУМАТЬ и в себе с такой остротой прочувствовать! В чем-то еще страшней, ей-богу...

Оба некоторое время молчали.

Виталий Сергеевич зашарил в темноте лапищей по пластиковой стенке, щелкнул выключателем — и мертвенный сине-белый свет резко залил купе. Темная глыбистая фигура Байкова от светового удара мгновенно уменьшилась. Он улыбнулся, стал похож на себя обычного.

— А что — Андропов? — сказал он. — Честный, конечно, честный. Ну и что? Да будь он хоть самый благороднейший, гениальный, добрей Дед-Мороза и пытайся изо всех сил к лучшему нас повернуть, думаете, у него хоть что-то иное может получиться, если уж мы ТАКИЕ? Да только то же самое! Только и будет нас дальше разделять, разделять. Крошить народ, как тело живое, на кусочки. И уж ни от какой премудрости, ни от живой воды, ни от мертвой кусочки те не срастутся... Может быть, вправду только на инстинкт самосохранения нам и надеяться, на утробный, всеобщий инстинкт живого? Может, хоть он взбунтуется и не позволит нас до последнего друг от друга рассечь? Если уж разум наш так слаб. А?..

Он помолчал. И вдруг вскинул голову, щелкнул по пустой бутылке:

— Ну что, разбудим товарища начальника, попросим вторую?

— Не стоит, Виталий Сергеевич, хватит.

— Ну, хватит так хватит!

Яркие пятна света от вагонных окон неровной очередью летели по снежной земле рядом с поездом. Подскакивали на

буграх, мгновенно пригасали на сплетениях ветвей, тянущихся к насыпи.

Виталий Сергеевич двузубой откидной вилочкой перочинного ножа подчищал в консервной банке остатки ставриды. Облизывал томатные капли, усмехался. Но у Григорьева от его рассказа было всё еще тоскливо на душе.

Хотя что-то хорошее, мелькнувшее в разговоре и сразу же заслоненное, прорастало в памяти. Что-то спокойное, обнадеживающее. «Зимний скорый», — вспомнил Григорьев. Ай да Виталий Сергеевич! И как удивителен наш язык. Сталкиваются два обыкновеннейших слова — и рождается звучание неожиданное и такое естественное, словно глубинный расходящийся аккорд в потоке. Слышится в нем и обреченность человеческих капелек, и стремительность и вечность общего их течения. Того, что пронесется невозмутимо даже сквозь эпоху пусковых кнопок, атомных ракет, угарной ненависти, всего людского безумия. «Зимний скорый»...

— Значит, как пчелки трудятся и любимого начальника ждут? — переспросил Виталий Сергеевич.

— Так точно! — ответил Григорьев.

— Ну, так пусть для большего трудового возбуждения еще денек подождут! — решил Байков. — Могли же керосин на несколько часов позже подвезти? Мог же я завтра утром прилететь, а?

— Конечно, Виталий Сергеевич!

— Нет, в самом деле, измочалился за сутки. В аэропорту этом, в «Кольцово» — битком. Дремал на ногах, как петух на жердочке. Должен же я помыться-отоспаться?

— Совершенно верно!

— Так что, послезавтра на работу и выйду, со свежей силой, — он крутнул тяжелой головой от Григорьева к Але и обратно к Григорьеву, сделал таинственное лицо, сказал громким шепотом: — А вы меня не видели!

Григорьев отшатнулся от него и заслонился ладонью.

— Вот именно! — подытожил Виталий Сергеевич. Он сделал короткое бодающее движение к Григорьеву: — Счастливого пути! — Падающий поклон в сторону Али: — Надеюсь

продолжить знакомство! В легальной, как говорится, обстановке!

Тяжко топая, скатился по лестнице, и уже снизу, издалека, зрительно приплюснутый, похожий теперь не на Чипполино, а на пузатый белый грибок с маленькой темной шляпкой, перед самой посадкой в автобус вскинулся к ним и еще раз помахал рукой...

В апреле 1968-го, вечером, он был дома один. Нина, как всегда, осталась после занятий на кафедре. Ему в ту ночь не надо было идти на хлебозавод, они могли бы провести вечер вместе, но он уже и не просил об этом. Знал: если попросит, она виновато улыбнется и объяснит, что получает сейчас очень важное вещество, процесс многодневный, надо сидеть возле установки и следить за температурой, давлением, перемешиванием. Она не может просто так позволить себе вечер отдыха, всё пропадет, придется начинать сначала. И он знал, что она не обманывает: ей поручают уже серьезную работу из тематики кафедры. Конечно, ему не по себе оттого, что она поздно возвращается домой. Но что тут сделаешь? Остается только по-прежнему сдерживать себя, чтобы не оказаться смешным.

Звонки в дверь раздались неожиданно: «Дзынь — дзынь — дзыннь!..» Кто-то, дурачась, нажимал и нажимал кнопку, словно сигналил морзянкой.

Григорьев в ярости распахнул дверь, ожидая увидеть хулиганящих мальчишек, да так и обмер: с лестничной площадки к нему шагнул... Димка! Похудевший, смуглый, — не то успел загореть по весеннему времени, не то просто выдублен на воздухе, — сияющий, оскаливший в улыбке свои белые клыки. За ним тихонько, как тень, — Марик. Тоже улыбающийся, но почему-то с грустными глазами.

И — точно вихрь ворвался вместе с Димкой, маленькая квартирка завертелась колесом. Димка размахивал руками, тряс за плечи то Григорьева, то Марика, говорил сумбурно обо всем сразу и непрерывно повторял: «Тридцать четыре месяца! Тридцать четыре месяца!»

Он грохнул на стол — с такой силой, что, показалось, разобьются, — сразу две бутылки «старки».

— Куда столько? — засмеялся Григорьев.

— Тридцать четыре месяца! — кричал Димка. — Давай закуску, давай! «Старочку» за мое возвращение, «старочку»! Я раньше ее не ценил, а там полюбил, в Белоруссии. В городок вырвешься в увольнение, а в магазинах — одна «старка». Вот я ее и понял. Куда там водка, куда коньяк-клопомор! Она и пьется как сказка, и не дуреешь от нее, а кайф чистый, горячий. И стоит-то всего на пятак дороже «столичной»... Тридцать четыре месяца! Я специально не писал, чтобы нагрянуть сюрпризом! — Он двигался туда-сюда, заполняя собой всю квартирку: — А жена где? В институте работает? А ты чего сачкуешь?

Григорьев сделал бутерброды с сыром, открыл баночку рыбных консервов. Димка торопил:

— Давай, давай попроще! Что мы сюда — обжираться пришли? — И снова: — Тридцать четыре месяца!.. Ну, встретились, глобусы!

Григорьева рассмешило это новое словцо нового Димки. Они чокнулись. Димка жадно выпил. И Григорьев выглотал сладковато-обжигающую «старку». И сумрачный Марик, — вот это было уже удивительно, — тоже опрокинул свою стопку до дна.

— Тридцать четыре месяца!.. — Димка возбужденно и беспорядочно рассказывал про свою службу, про какого-то капитана Марьева, который запрещал спички в казарму проносить (а курить как же?): — Сколько спичек найдет, столько нарядов вне очереди. А вот, после дежурства на связи как погонят уголь для котельной разгружать! Эх, глобусы, вы тут горя не видели...

Он говорил и говорил:

— А я вчера, как приехал, первым делом в пивной бар возле дома заскочил. До армии не успел в эти бары, они же только появились. А когда служил, ленинградцы, кто на год позже призывался, рассказывали, какая там красота. Ну, сунулся, — ма-ать честная! Ужас, грязь, наплевано, наблевано, мочой воняет, в дыму официанты пьяные бродят, и музыкальный ящик разбит. Чем его только раздолбали? Головами, наверное. Ну что ты будешь делать! У нас хорошее долго не держится, всё испохабят... А вот, лодочки? — Димка

встревожился: — Я на лодочке с вами хотел покататься, как в старое время. А их, говорят, запретили. Неужели правда?

Григорьев задумался, припоминая. Лодочные станции несколько лет назад были у Петропавловской крепости, на Фонтанке у Аничкова моста, еще где-то. Прогулочную лодку давали напрокат под любой документ за пятьдесят копеек в час. В выходные дни вся Нева была покрыта этими лодками. И они с Мариком и Димкой в шестьдесят третьем году не раз катались. Плавали на просторе по Неве, плавали в тесноте между гранитных берегов — по каналам, канавкам, Мойке. Забавно было плыть там, где всегда ходил пешком, смотреть снизу, с воды, на родные дворцы и набережные. А один раз по Малой Невке они добрались до самого залива, до стадиона Кирова на оконечности Крестовского острова, и потом долго и трудно возвращались, выгребая против течения.

Кажется, прав был Димка. Вот уже год или два, как лодок не стало видно.

— Их, наверное, потому запретили, что судоходство теперь большое, — предположил Григорьев. — По Неве «Ракеты», «Метеоры» на подводных крыльях проносятся, а тут лодочки путаются. Опасно.

— Нет, не поэтому, — тихо сказал Марик. — Просто на реки и каналы заводы всякие выходят, в том числе военные. По суше они стенами огорожены, а с воды можно подплыть и что-то увидеть. Вот лодочки и запретили.

— Откуда ты это знаешь? — удивился Григорьев.

Марик пожал плечами. Какой-то странный он был сегодня. Григорьев вспомнил, что они с Мариком давно не виделись, даже по телефону не разговаривали.

Они допили первую бутылку. Закурили. Даже Марик, — что было совсем необычно, — тоже закурил. Неумело, не затягиваясь, просто попыхивая дымом.

Димка сказал:

— Мы всё боялись, что из-за польских событий дембель задержат. У нас сразу увольнения отменили, мы ж недалеко от границы с ними. Потом — повышенная готовность. Ну, думаю, поляки херовы! Были друзья и братья, и вдруг —

точно в жопу их укусили: толпа с камнями на правительство. Слава богу, что так быстро утихомирились.

— А что в Чехословакии делается, понимаете? — спросил Григорьев. — Я газеты читаю — и не пойму, сообщения странные какие-то.

— Да ну их всех в задницу, — поморщился Димка, отдирая крышечку со второй бутылки, — что чехов, что поляков. Пусть сами в своих делах разбираются. А я теперь, знаете, что куплю? Магнитофон! Обязательно! У нас в части на радиоузле мой дружок был, с одной сержантской школы. Он записи достава-ал, Высоцкого! Начну их собирать, — Димка разлил «старку»: — «И й-если ты останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше!» И Окуджаву перепишу, и Визбора. «Не верьте погоде, когда проливные дожди она льет! Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет!..»

Димка шумел, но лицо его стало уже серьезным. И Марик был серьезен. То ли от действительно необыкновенных свойств «старки», то ли просто под настроение, они почти не пьянели. Верней, опьянение не притупляло, а только усиливало восприятие. И разговор, как в калейдоскопе, рывками, поворотами пересыпался в новые узоры, загоравшиеся резкими красками.

Вспомнили о недавней гибели Гагарина.

— Жалко Юру, — вздохнул Димка. — Я похороны смотрел, у нас замполит хороший, собрал нас в ленинской комнате у телевизора. Даже плакали ребята. У меня у самого слезы были на глазах.

— Что за полоса такая черная! — сказал Григорьев. — Два года назад Королев умер, год назад Комаров погиб, теперь — Гагарин.

Марик вдруг ответил хмуро:

— А может, не полоса. Так бывает, когда время меняется. В новом времени что-то не представить мне ни Главного Конструктора, ни Юру с его улыбкой.

Григорьев не понял его. Но за странными словами Марика что-то же стояло.

— Что — меняется?

Марик снова неопределенно пожал плечами:

— Наверное, многое... Кстати, знаешь, что американцы в этом году летят на Луну?

— Что-о?! А ты откуда знаешь, «голоса» слушаешь?

— Их сейчас опять забивают, — с небрежной солидностью вставил Димка. — Я же в войсках связи, на рации служил. Мы про «глушилки» всё знаем.

— Ничего я не слушаю, — ответил Марик, — у меня на это и времени нет. А кафедра наша получает американские научные журналы по специальности. Там сейчас — подряд статьи о компьютерном обеспечении программы «Аполлон».

— Каком обеспечении? — не понял Григорьев.

— Так у них ЭВМ называются — ком-пью-те-ры. А кораблище, пишут, втрое больше нашего «Союза».

— Ну да!

— В этом году — облет Луны, — сказал Марик. — Три человека в космическом корабле облетят Луну!

Григорьев всё еще не верил до конца. Невозможно было представить, чтоб американцы первыми пролетели над лунными кратерами, над обратной стороной.

— Потом у них по плану еще два полета без посадки, — продолжал Марик. — Всё проверят, место выберут. И в будущем году — полет с посадкой. Будут по Луне в скафандрах ходить, а Земля — над головами в черном небе светиться. Как у Беляева в «Звезде КЭЦ». — Марик вытянул губы трубочкой в подобии невеселой усмешки, это тоже было нечто новое. — Всё, кончилась фантастика.

— А может, наши все-таки раньше успеют? — спросил Григорьев. — Ты же не знаешь, что наши готовят.

— И так ясно. Если б наши успевали, не молчали бы про американские дела. Вспомни, как раньше было.

Григорьев всё помнил. И то, как в пятьдесят седьмом, до нашего первого запуска, говорили об американском будущем спутнике, крохотном, величиной с апельсин, фотографию его по телевизору показывали. И то, что было потом, — стишки в «Пионерской правде»: «Проходит в космосе советский Гулливер среди американских лилипутов». И перепечатки из якобы американского юмора (Учитель: «Что мы увидим на Луне?» — Ученик: «Русских, сэр!»). И даже кари-

катуру начала шестидесятых: красавец Аполлон Бельведерский и сдохлячий, на кривых, тонких ножках Аполлон американский. Этот самый, выходит, «Аполлон».

— Обидно, — сказал Григорьев. — Был бы жив Королев, он бы такого не допустил.

А Димка молчал. Он курил и с чуть хмельной серьезностью следил за Мариком.

— Королев был главный конструктор, — сказал Марик.

— Ну и что?

— У них все чертежи ракеты и корабля в научно-популярных журналах напечатаны.

— Так они всё и раскроют!

— А что скрывать-то? Конструкция — еще от Циолковского. И топливо самое простое: жидкий водород с жидким кислородом. Сейчас другое решает — электроника, материалы, компьютеры. А главное...

— Ну вас на хер с этим «Аполлоном»! — вдруг вмешался Димка. — Два теоретика космонавтики. Хватит! А ты, Тёма, кончай про Луну, говори: что У ТЕБЯ случилось? Баба изменила или двойку на экзамене схватил?

Григорьев засмеялся было, но увидел, что Марик серьезен, а Димка — даже не улыбается.

— У МЕНЯ, — ответил Марик, — ничего не случилось. Так всё, вообще. Ну, и в частности...

— Говори! — требовал Димка.

— В частности, — сказал Марик, не глядя на них, — в частности, у нас на кафедре распределение было. У пятикурсников... Я вот, ему рассказывал, — он кивнул в сторону Григорьева, — мы у доцента нашего, Колесникова, вдвоем с одним пятикурсником работаем, Сашкой. Я теорией занимаюсь, а Сашка экспериментальную часть ведет.

— Понятно, — сказал Димка. — Ну и что?

— Колесников сначала хотел Сашку в аспирантуре оставить. Потом говорит: «Ходил насчет тебя, не дают аспирантской вакансии по нашей теме. Да бог с ним, оставайся у меня просто инженером, работай. А материал накопится — защитишься, куда денешься».

Григорьеву стало неинтересно. И вообще, он был недоволен Мариком: с чего тот взялся рассказывать о своих кафед-

ральных делах? Димка же вернулся! Сегодня — его день, об этом надо говорить! Но он видел, что сам Димка слушает Марика внимательно, как будто ожидая услыхать что-то важное.

— Потом снова приходит Колесников, — продолжал Марик, — весь уже кипит: «Совсем они, Сашка, сдурели! Даже ставки инженера мне для тебя не дают. Ну ладно, не вешаться же! Будет распределение, поговорю с комиссией, и подберем для тебя такое место, чтоб ты всё равно со мной был связан»...

Марик запнулся.

— Ну! — подстегнул Димка. — Давай, рожай.

— Ну, вот и грянуло... распределение. Является Колесников, красный весь, как из парилки. Посмотрел, посмотрел на Сашку и говорит: «Дурак я, старый дурак!» — «Вы что, Константин Клавдиевич?» — «А то, что не будет тебе вообще никакого места!»

— Почему? — не понял Григорьев.

— Потому что Сашка... — Марик запнулся. — Потому что — ЕВРЕЙ!

Григорьев растерялся и взглянул на Димку. Тот поморщился.

— Если бы сам не видел, не поверил бы, — сказал Марик: — Собрались в комиссию нормальные с виду люди, я почти всех знаю, — и вдруг какой-то бред начался, безумие. — Он помотал головой. — Если кто по паспорту и анкете еврей, или хоть русский, но с еврейской фамилией по отцу, — тем вообще распределений не дают. А у кого наоборот — мать еврейка, а отец русский, и фамилия, как они говорят, «нормальная», — тех ВЫЯСНЯЮТ, но позволяют направления на работу получать. Вот так: учились, учились вместе, думать не думали, у кого какие родители...

— А у тебя кто, — перебил Димка, — отец?

Он спросил об этом не с сочувствием, а просто и деловито, как будто прикидывал шансы.

— Отец, — ответил Марик.

Григорьев опустил глаза. Слушать Марика было противно почти до тошноты. И верить не хотелось. Но он понимал, что

выслушать необходимо до конца. Да не просто выслушать, а как-то так, — еще неясно как именно, — чтоб не обрушилось всё, что столько лет их соединяло.

— Ну? — спокойно и хмуро сказал Димка. — Так что же Сашка твой?

— А с Сашкой — беда. Колесников-то очень на него рассчитывал. У Колесникова идей — миллион. Мы как раз сейчас одно направление стали раскручивать, там всё в топологию уходит...

— Куда уходит? — Димка, не поняв мудреного названия, вопросительно поглядел на Григорьева.

— Не знаем мы никакой топологии! — буркнул Григорьев.

Он знал, конечно: топология — область математики, нечто вроде высшей геометрии. Зачем же он так ответил? Наверное, потому, что незнание словно объединяло его с Димкой и защитно отделяло их обоих от Марика с его тоской. И, разозлившись на себя, он сказал:

— Про науку, Тёма, потом расскажешь. Это мы поймем. Я другого не понимаю: как можно — не распределять? У нас нельзя человека просто так выкинуть на улицу. И чем-то должны же они объяснять.

— Объясняют, не волнуйся, — ответил Марик. — В тот НИИ Сашку не направили? Так там программирование, а у Саши — способности разработчика, ему там неинтересно будет. В другое место не взяли? Так Саше туда далеко будет ездить. Забота сплошная!

Он взглянул на Григорьева, на Димку:

— Не верите? Я сам раньше не верил. Слышал про такое — и не верил. Отец рассказывал, как его в пятьдесят первом с работы выгнали, никуда не мог устроиться. Так это же при Сталине! Умер Сталин, — его сразу обратно взяли...

Димка сидел и слушал Марика с таким лицом, словно ему скучно было до отвращения или зубы ныли. Но Григорьев чувствовал, что в отличие от него Димка воспринимает слова Марика естественней, верит сразу, без внутреннего сопротивления.

Как странно! Димка и Марик в чем-то оказались старше. Ему-то представлялось, будто он, женившись, переступил

черту и ушел от них во взрослый мир. А получилось, это они впереди, они повзрослели, он же остался мальчишкой.

— Меня больше всего люди у нас на кафедре поражают, — сказал Марик. — Большинству — плевать. Другие — злорадствуют. И не потому, что антисемиты какие-нибудь, а просто смешно же, когда человеку бьют по морде ни с того, ни с сего. Ты чего-то хотел, старался, а тебе — по морде! Потеха... А уж главные на кафедре, от кого что-то зависело, — те ходят приветливые, сладенько улыбаются. Какая мразь, оказывается! Всё так хорошо выглядело, так люди мне нравились. Казалось, одной наукой все живут. И вдруг — столько дерьма из них выдавилось!

Наверное, впервые в жизни Григорьев услыхал от Марика грубое слово. И почему-то именно это последней гирькой продавило сопротивление, убедило, что всё — правда. Он смотрел на мрачное, потемневшее еще больше лицо Марика и вспоминал, как всего полгода назад Марик, возбужденный и довольный, рассказывая о своей теме, уносился в межзвездные полеты. Неужели можно вот так, одним ударом сломать человека? Наверное, можно. Смотря, куда бить.

Марик опять закурил. Махнул рукой:

— В общем, Сашка ходит черный, ни на кого не глядит. Здороваться перестал с теми, кто улыбается. Как будто не замечает их. Так они пришли к Колесникову жаловаться, что Сашка ведет себя невежливо. Тот наорал на него: «Здоровайся, дурень, кланяйся! Диплом же не получишь!»

— Стал здороваться? — спросил Димка.

— Стал. А Колесников вечерами всех знакомых обзванивает. Сашка с нами больше в лаборатории не остается, а я работаю, слышу, как старик в трубку кричит: «Есть у меня парень, стоит один целого КБ и бригады наладчиков. На работу возьмешь его к себе? Только учти, фамилия у него дурацкая!» Как про это скажет — всё, разговору конец.

— А не преувеличиваешь? — осторожно спросил Григорьев.

— Что преувеличивать! Колесников и таким своим приятелям звонил, у кого фамилия не лучше сашкиной. Так эти еще больше пугаются. Нет уж, тут не в одном нашем институте дело.

— Но почему?!

— Не знаю... Вот, агрессия Израиля была. Наверное, Сашка к ней причастен. Или хотят нашу солидарность с арабами показать. Сашка под рукой, на нем удобнее.

— А логика? — всё недоумевал Григорьев.

— Высоцкого слушать надо! — вдруг вмешался Димка. — Вот куплю магнитофон, поставлю вам — поймете. Евреи во всем виноваты: украли они у народа весь хлеб урожая минувшего года! И еще — замучили, гады, слона в зоопарке! — Самое удивительное, Димка сказал всё это не шутливым, а строгим и резким тоном.

Григорьев невольно улыбнулся. И Марик улыбнулся — грустно. Только Димка остался серьезным:

— Всё, Тёма! — строго сказал он. — Хватит на одном месте буксовать, перескочи. В другой раз еще обсудим, а теперь — перескочи. А то рехнешься. Ну, Тёма, ну, старик, ну я же вернулся!

Марик пытался еще досказать что-то:

— Вот потому и в космонавтике мы начали отставать, понимаешь? Дело же не в том, кого по какому пункту из науки гонят, дело — в атмосфере научной. Она важней конструкции, важней топлива. И если такой смрад поднимается...

— Вот, вот, Тёма, золотые твои слова! — подхватил Димка, разливая «старку». — Правильно говоришь: не знаю, по какому пункту, но бить будут. На то и жизнь. Это я уже без всяких еврейских родственников, на своей русской шкуре расчухал. — Он поднял стопку: — Ничего, Тёмка! Нас ебут, а мы крепчаем!

Григорьев с благодарностью чокнулся с ним, и Марик чокнулся. От грубоватых димкиных слов они почувствовали себя не то чтобы спокойнее, но легче и свободней друг с другом. Почти как прежде. А значит, будет и совсем как прежде. Внезапное препятствие не разъединило их.

— Ничего, глобусы, прорвемся! Прорвемся и свое возьмем! — Димка стремительно откатывал разговор в сторону: — А вам — от Стелки привет.

Сладковатый огонь «старки» наконец задурманил голову. Или при имени Стеллы налетело это головокружение? Гри-

горьев подумал о Нине. Она всё еще не вернулась. А если бы и пришла? Как легко представить Стеллу вместе с ними, и как невозможно представить Нину рядом с его друзьями за столом.

— От Стелки привет, говорю! Пишет, что любит вас, не забывает и вспоминает. Особенно тебя вспоминает, — Димка указал на Григорьева. — Жену твою велела посмотреть и написать ей: какая жена, да как ты с ней живешь.

— Где она? — спросил Григорьев.

— На Кольском полуострове. С этим, своим...

— Замуж вышла?

— Гражданский брак называется. По научному. — Димка зло засопел.

— Что за парень-то?

— Бывший флотский моряк. В школе с ней учился. С девятого класса в любовь играли. Мелкий такой, но смазливенький, зараза. Я еще пацаном сколько раз их засекал, как он на нашей лестнице Стелку тискал. Ну а перед тем, как во флот ему уходить, насадил ее, конечно. Она и стала сама не своя. Но четыре года, пока он служил, терпела честно. Даже в кино ни с кем. Наверно, и сдвинулась на этом... А как пришел красавец домой с Черного моря, тут и завертелось. Она, дуреха, думала, он сразу на ней женится, а он — только что ноги об нее не вытирал! — Лицо Димки напряглось такой чугунной злобой, какой они с Мариком никогда не видели.

У Григорьева щеки запылали, сердце заколотилось. Он опустил глаза. Ему стало по-настоящему страшно: вдруг Димка догадается о том, что было между ним и Стеллой? Хотя, это невозможно, нет! Стелла его никогда не выдаст.

— Ух, хотел я ему хлебальник раскрошить, — медленно, скрипучим голосом выговорил Димка. — Моряк, жопа в ракушках! Стелка визжала, чтоб я его не трогал... В общем, я — в армию, а он на Север завербовался, деньгу колотить. Она — за ним. В августе у нее три года истекают. Пишет, что еще на три продлить хочет...

Димка снова наполнил стопки:

— Ну ладно, глобусы! Опять мы все собрались — и слава богу. Теперь — только вперед!

Димка шумел, он вновь был весел, но темное поле тревоги, возникшее с рассказом Марика и только усилившееся воспоминанием о Стелле, уже не исчезало. Все трое чувствовали это напряжение. И Димка хорохорился, заговаривая, разгоняя тянувшуюся к ним невидимую паутину силовых линий:

— Ничего, глобусы, прорвемся! Под фан-фары!..

— 8 —

Автобус, увозивший Виталия Сергеевича, превратился в светлячок на дороге.

— Ну, спасибо! — фыркнула Аля.

— За что? — не понял Григорьев.

— Ваша светлость так милостивы! Значит, я не виновата. Спасибо!

— А-а. Не за что.

— Думаешь, я не понимаю, откуда такое всепрощение? Ты просто настолько эгоистичен... Тебе наплевать, что делается в душе у другого человека!

— Подожди, подожди, — сказал Григорьев, — где же логика? Ты меня сама попрекала, что я лишен даже нормального, привлекательного для женщин мужского эгоизма.

— Конечно! Не притворяйся, что ты не понимаешь! Тот эгоизм потому и влечет, что направлен и на женщину, захватывает ее, разделяется с нею. Ты же — эгоист до такой степени...

— О, господи! — вздохнул Григорьев.

А 1969-й запомнился мартовской темнотой и холодной сыростью. Словно март расползся грязноватым городским снегом на весь тот год, остудив и сумеречно поглотив и летнее солнце, и краски осени, от одной белой зимы до другой.

В марте прогремели — дважды подряд — короткие, страшные пограничные бои на Уссури. В газетах, в журналах, среди будничных статей и иллюстраций, среди расска-

зов, фельетонов, программ телепередач — проломами из другого мира зазияли фотоснимки советских солдат, бегущих в атаку. В руках у солдат были автоматы. Не старые ППШ с круглыми дисками из фильмов о войне, из детских воспоминаний начала пятидесятых, а новые «калашниковы», давно уже ставшие символом армии мирного времени, армии невоюющей, занятой только учебой и трудом.

Печатались списки награжденных. Против многих фамилий вдавились черные пометки — «посмертно», «посмертно», и погибшие на дальнем острове Даманском были их ровесниками, а то и моложе — мальчики сорок восьмого, сорок девятого послевоенных годов.

Казалось, везде — в институтских аудиториях, в библиотеках, в фойе кинотеатров и даже в витринах магазинов — появились вдруг географические карты. А может быть, они висели там всегда и просто в те дни стали особенно заметны. Сразу бросалось в глаза раскинувшееся почти на целое полушарие, залитое розовато-красным цветом пространство Советского Союза и прилепившееся к нему снизу ядовито-желтое пятно Китая. Рождалось новое ощущение собственной страны — огромной, редконаселенной, такой родной и такой уязвимой со своими просторами, со своей бесконечной границей.

Думалось, что происшедшее уже никогда не забудется, не простится, что навсегда останутся в памяти тот месяц март и те газетные фотографии, где впервые после Отечественной пригнувшиеся фигурки в шинелях и ушанках, с автоматами бегут по снежной целине под темным небом, вспоротым огненными трассами ракет.

В марте 1969-го прошло распределение. Григорьева назначили в заурядный отраслевой научно-исследовательский институт. Нину — оставили на кафедре.

Он ожидал этого. Он понимал, что для Нины единственная достойная судьба, действительно, кафедра, чистая и спокойная научная работа. Может быть, преподавание.

Он радовался бы вместе с ней и первый гордился ее успехом, если бы не нарастающая тревога из-за каких-то, на

первый взгляд, мелочей — оттенков ее поведения, случайно оброненных ею фраз. Он и раньше догадывался, что плохо знает Нину. Теперь же он начал сознавать, что ее мир — тот, который она видит рассеянным взглядом своих лучистых глаз и куда ему нет доступа, — вовсе не отвлеченный мир фантазий, а может явиться вполне конкретной реальностью. Что Нина, в отличие от него, неплохо разбирается в этой реальности, различает скрытые пружины, шестеренки и знает, как среди их движений и вращения пройти своим путем.

Впервые он почувствовал это прошлой осенью, в сентябре 1968-го, когда начались занятия на пятом курсе и Коля Колпашов, студент их группы, плечистый красавец с наглыми карими глазами, подошел к ним, расспрашивал о каникулах, громко смеялся, намекал Григорьеву, что как-нибудь в отсутствие Нины расскажет ему о летних своих похождениях — каких девчонок он успел поиметь, — а потом, вдруг, без всякого перехода стал спрашивать: что они думают о чехословацких событиях?

Нина ничего не ответила, только улыбалась. Она всё же удивительно умела не отвечать. А Григорьев откликнулся, ему хотелось поговорить об этой заварухе, такой шумной и такой непонятной. Ведь так и осталось неясным, зачем ввели войска. И вовсе невозможно было поверить, что чехи пытаются поджигать наши танки.

Неужели в Чехословакии всё позабыли? Ведь мы — их освободители! Был такой чудесный фильм — «Майские звезды», о сорок пятом. Советский танкист, которого трогательно играл Леонид Быков, погибал там в схватке с немецким автоматчиком, засевшим в пражском доме. Погибал потому, что не хотел стрелять из пушки и разрушать дом, в который вернулся из концлагеря измученный чех. На этой сцене все зрители плакали...

И еще: никак не взять было в толк новый, внезапно появившийся термин «средства массовой информации». То есть, понятно было, что он означает — газеты, радио, телевидение. Однако, почему всё время твердили о борьбе за средства массовой информации, о том, что враги стремятся их за-

хватить и манипулировать сознанием народа? Получается, кто владеет средствами массовой информации, тот владеет и народом? Но ведь народ — не стадо, которое идет за дудкой пастуха, не граммофон какой-нибудь — поставь другую пластинку, другие гимны начнет выкрикивать. Ведь не только то важно, в чьих руках газеты, а и то, что в них печатают — ложь или правду. Есть же разница, люди всё равно поймут!

Коля Колпашов сперва слушал его с любопытством, но быстро заскучал, заторопился.

А Нина уже вечером, дома, вдруг сказала небрежно:

— Ты напрасно с Колпашовым полез в разговоры про Чехословакию. Ты разве не знаешь, что он стукач?

— Что за стукач? Какой стукач? — не понял Григорьев.

— Ну, говорят, в каждой группе есть кто-то, кто слушает, а потом докладывает. Даже не знаю, где — в деканате, в первом отделе или в парткоме. Говорят, что в нашей группе — Колпашов. Назначали их на втором курсе, и Коле предложили потому, что у него «хвосты» были, мог вылететь. А так — дали пересдать, оставили.

— Ты это знаешь точно?

Нина улыбалась:

— Кто же это знает точно? Говорят. Про стукачей вообще и про Колю... Ты просто последи за ним. Он если и вправду стукач, то какой-то глупый. Иногда так и лезет с расспросами. Или, — соберутся несколько человек, — подбегает, запыхавшись: «О чем разговор?»

Григорьев задумался. Он склонен был поверить Нине. Однако сильнее всего поразило его то, что она, оказывается, может так практично и так плохо думать о людях.

А накануне распределения Нина страшно волновалась. Никогда еще не видел он ее такой взвинченной, готовой в любую минуту сорваться на крик или плач. Для нее ничего не существовало, кроме предстоящего распределения. Даже боев на Даманском. Она по-прежнему приходила из института поздно и каждый вечер приносила последние новости о том, сколько и каких будет мест: «На кафедре оставят четверых — одного в аспирантуре, троих инженерами. Нет, всего троих. Нет, всё же четверых...»

Что-то недоброе было не столько в самой ее осведомленности, сколько в том, как возбужденно хотелось ей поделиться своим знанием, и как мгновенно, почти испуганно смолкала она, едва Григорьев спрашивал, откуда ей всё это известно.

Однажды она обмолвилась, что тех, кого оставят на кафедре, будут вызывать на собеседование в партком. И тут же осеклась, будто проговорилась о чем-то запретном. А он удивился непонятному ее испугу: ну в партком, так в партком, чего тут смущаться?

Его самого распределение не слишком волновало. Учился он в последние два года средне, в студенческом научном обществе и вовсе не работал. Направят куда-нибудь — и ладно. Вместе с Ниной всё равно ему не оказаться, это главное. А сам он нигде не пропадет, цену своей выносливости и своему упорству уже понял.

И вот, наконец, за несколько дней до распределения всё, как видно, решилось. Нина явилась домой радостная:

— В этом году всё будет хорошо! Утвердили тех, кого возьмут на кафедру. Сказали, что всех ленинградцев оставят в Ленинграде, никого не будут на периферию выпихивать. И всем назначения дадут, даже Генделевой. Ну, может, только похуже, чем остальным.

— Почему — даже? — не понял Григорьев. — Почему — похуже?

— Она же еврейка.

— Таня Генделева?

— А ты не знал? Там всё-о проверяют! — засмеялась Нина.

Григорьев подумал о Тане. Кажется, она по-прежнему любила его. Правда, после того, как он женился на Нине, старалась больше на него не смотреть, не то что в Киришах. И всё так же Таня не взрослела, а словно старела. Она тоже работала в студенческом научном обществе. Сидела по вечерам в лаборатории, маленькая, сутуленькая, возле вакуумного колпака, под которым, точно расплавленная карамель, вязко пузырилась какая-то полимерная масса. Читала книжку и время от времени поправляла стеклянный кран на ре-

зиновой трубке к гудящему, постукивающему вакуум-насосу. Радостно и благодарно откликалась, когда с ней заговаривали. Охотно рассказывала о своей работе и умолкала с готовностью, чтоб не задерживать собеседника. Маленькая старушечка в двадцать три года... Легко было представить, какой она будет через десять, через двадцать лет, и в настоящей своей старости — всё такой же незаметной, тихонькой как мышка, заранее всем благодарной.

Вспомнился Марик. Ему тоже в марте предстояло распределение. И надо было бы ему позвонить. Но после слов Нины звонить первому стало боязно.

— Дикость какая-то! — проворчал Григорьев.

— Почему? — удивилась Нина. — Как раз всё хорошо! Я так рада за Таню. Без распределения куда ее сейчас на работу возьмут! Я ей уже сказала, чтобы она не беспокоилась.

А он вдруг встревожился из-за вырвавшихся у него слов о дикости. И когда задумался над этим, стало совсем тоскливо: неужели он может испытывать тревогу из-за того, что сказал лишнее, и перед кем — перед Ниной?!..

Наконец-то они перевалили через проклятое распределение. С ним самим обошлись на комиссии быстро и небрежно: «Предлагается место. Согласны? Расписывайтесь!»

А Нина переживала миг торжества: одна из четырех избранных остаться, пусть не в аспирантуре, пусть на должности инженера-исследователя, но здесь, на кафедре, в науке, с верным прицелом на диссертацию.

И, как себя ни успокаивай, что она заслужила свой успех, в душе горчило от низкой, ревнивой мысли, что, может быть, ее не оставили бы, если бы не мотыльковое кружение «полубогов» вокруг холодного огня ее красоты, если бы не этот ее смех, которым она с мгновенной готовностью откликалась их шуткам, — неестественно возбужденный, с запрокидыванием роскошной головы. И что, хоть Нина, конечно, не изменяла ему, да, кажется, и не флиртовала ни с кем по-настоящему, теперь ни «полубоги», ни она не будут стеснены даже такой малостью, как его присутствие на кафедре.

Он наблюдал за Ниной и видел, как что-то новое проступает в ней — не божественное, а вполне земное, даже приземленное: довольство, сытость. Замечал, что она уже и с «полубогами» ведет себя чуть-чуть по-другому, слегка увереннее. Первые снисходительные, царственные нотки стали прорезаться в ее разговорах с ними.

В том марте он чувствовал себя неловко, ложась рядом с ней в постель. Старался отодвинуться, чтобы случайно ее не задеть. Она этого не замечала. А ночью, когда она спала, он всматривался в ее лицо, спокойное и умиротворенное. Раньше его всегда умиляло ее лицо в ночном полусвете: бледное, с почти неразличимыми без смытой туши детскими шелковистыми ресницами. Но сейчас ему становилось не по себе: после двух лет супружества рядом с ним спала незнакомая, чужая женщина.

Март расползся на весь 1969 год, или, наоборот, втянул весь год в себя и разбух от избытка времени, словно от темной ледяной воды...

Он сидел вместе с Ниной за столом у своих родителей. Отец, перевалив на шестой десяток, как-то сразу постарел. Залысины разрослись, остатки волос поседели, а главное, в лицо, растрескавшееся темными морщинками, въелась какая-то уж вовсе стариковская усталость.

Отец хмуро спрашивал:

— Ты как там — офицер уже?

— Экзамены сдал на младшего инженер-лейтенанта. Но звания нам присвоят, когда дипломы защитим. Через год еще.

— Значит, если до этого... — отец поморщился, — если что начнется, рядовым пойдешь, или как?

— Пока в военкомате рядовым приписан.

— Что вы говорите такое! — пугалась мать. — Господи, хоть бы помер этот Мао проклятый!

— Да не будет войны, — успокаивал Григорьев.

— Думаешь — так, пугают? — спрашивал с сомнением отец. — Но у них все-таки тоже государство. Смысл-то — должен быть? Это ж не компашка уличная: давайте, ребята, стекла у соседа побьем и разбежимся!

Григорьев помнил, как в прошлом году они говорили с отцом о чехословацких событиях. Отец тоже вспоминал фильм «Майские звезды» и признавался, что понимает немногое. И западным «радиоголосам» (их теперь снова забивали глушилками, но отец, ювелирно подкручивая настройку, умудрялся слушать на самом краешке железного гула) — тоже нет большой веры. Слишком злобствуют на нас.

— Эх, — горько сказал отец, — что мы за народ такой, что за Россия — страна несчастная! Другие так просто живут, сегодняшним днем. А мы — как будто всегда накануне. И что ни случись, — неожиданно для всех! Старшие ничего не могут младшим передать, ни научить, ни объяснить. Нет опыта ни у кого, все одинаковы. Страшное это дело, когда старики и молодые — вровень, вместе неопытны...

Нина молчала за столом с серьезным видом. Но довольство, бродившее в ней, все-таки проступало в ее глазах, в едва уловимой улыбке, в том, что лицо ее казалось полнее, чем обычно. Григорьев перехватил быстрый взгляд отца на Нину, и вдруг почувствовал, как она не нравится отцу.

Отец похваливал его, когда он работал на хлебозаводе: «Потрудись, потрудись для своего гнезда!» Однако распределение вызвало у отца недовольство, хоть мыслей своих отец не выдал ни единым словом. Сверхчутьем Григорьев улавливал: пусть отец плохо понимает разницу между отраслевым НИИ и вузовской кафедрой, у него сложилось убеждение, что Нина в чем-то шагнула дальше, чем его сын. И для отца это была бы еще не беда, вовсе никакой бы не было беды, если бы только Нина вела себя по-другому. Но как — по-другому — должна была она вести себя в представлении отца, Григорьев не знал. Может быть, отец и сам не знал.

Что-то безумное, в каких-то глубинах зарождавшееся и копившееся, вдруг впервые прорвалось в тот мартовский темный год. Какой-то ненормальный Ильин из Ломоносова (значит, ленинградец) во время встречи космонавтов на Красной площади стрелял из пистолета по машинам. В газетах писали, что он сумасшедший, что он стрелял в космонавтов, что его не наказывают, а будут всего лишь лечить

в психбольнице. И все говорили, что он стрелял на самом деле в правительство, смеялись над газетами, смеялись над самим Ильиным. Пересказывали анекдот, жутковатую карикатуру на историйку из школьной хрестоматии о юном Ленине и брате его, неудачливом цареубийце: «По всему Союзу разыскивают младшего брата Ильина. Он сказал: "Мы пойдем другим путем!"»

Американцы после нескольких облетов, наконец, высадились на Луне. Армстронг, первым ступив на лунные камни, произнес явно заранее заготовленную историческую фразу: «Какой маленький шаг одного человека, какой громадный шаг всего человечества!» Невольно вспоминалось простецкое, вырвавшееся у Гагарина от души словцо: «Поехали!» И первое время как-то странно было смотреть на сияющую в небесах Луну. Смотреть, зная, что по ней уже ходили люди.

А в это время другие американские летчики в скафандрах, похожих на космические, бомбили и бомбили Вьетнам. Воронки от тяжелых бомб на аэрофотоснимках напоминали лунные кратеры. Даже родился и какое-то время держался на слуху долетевший с той войны термин: «лунизировать».

В кинотеатрах зрители хохотали над приключениями Юрия Никулина и Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке». Самой популярной песенкой 1969 года мгновенно стала дурашливая песенка про зайцев: «А нам — всё равно! А нам — всё равно!..»

А они шли втроем в темноте вдоль Невы, забитой крошевом льда с грязноватым снегом. Почему — в темноте, ведь в марте в Ленинграде уже так светло? Неужели был поздний вечер? Почему вспоминаются именно темнота и холодная сырость воздуха, растворявшая городские огни?

Прожекторная подсветка Ростральных колонн и Петропавловской крепости размывалась оранжевым ореолом. Тускло светилась над набережной громадная коробка новой гостиницы «Ленинград», придавившая старинные низкие корпуса Военно-медицинской академии.

На Димке было модное нейлоновое пальто на поролоне (металлические пуговки, поясок с блестящей пряжкой)

и модная меховая шапка-пирожок. Димка с прошлого лета работал в комбинате прикладного искусства. Поступил грузчиком, иначе не брали. От злости рычал, что, если бы блат, взяли бы хоть подсобником. Но блата не было, и он пошел грузчиком, полгода перетаскивал всё, что можно перетаскивать в комбинатских мастерских. Уверял, что почти не пьет. И вот, только сейчас его перевели учеником макетчика в цех, где делали диорамы для музеев.

Димка говорил:

— А если на фронт отправят, я обязательно «кастрюлю» от ручного пулемета достану, круглый магазин, они к автоматам подходят. Семьдесят пять патронов вместо тридцати, от всех китайцев отстреляешься! Тяжелый, правда, но мне ж не на себе таскать, я на машине буду с радиостанцией.

Вдоль темной Невы, как в коробе воздуходувки, бил порывами холодный сырой ветер.

Хмурый Марик рассказывал:

— Сашка наш диплом защитил. И на работу его Колесников, наконец, устроил. На завод электросчетчиков. А с распределением в этом году всё то же: национальности проверяют, фамилии оценивают, на отчество не забывают смотреть. У кого сильное неблагозвучие, тех предупреждают со всей заботой: «Делайте на себя вызовы откуда угодно, хоть со швейной фабрики. Подпишем туда распределение — будете иметь работу. А иначе вовсе на улице окажетесь».

Я Колесникова спрашиваю: «Зачем людей мучают? Уж лучше бы тогда и в институты не принимали!» — А он: «Не волнуйся, учли твои соображения! Раньше только в университетах процентная норма была, а теперь во всех вузах ее вводят». Безумие настоящее! А со стороны посмотреть на кафедру: лекции, лаборатории — наука. Фотография Винера висит. Вроде, всё серьезно. Я Колесникову говорю: «Тогда бы уж и Винера сняли со стены, он тоже не ариец». — А Колесников мне: «Помалкивай! Так ты еще до Карла Маркса договоришься! И вообще, — говорит, — евреи во всем виноваты. Они и пулемет изобрели, и атомную бомбу». — «Пулемет-то, — спрашиваю, — почему?» — «А как же! — говорит. — Максима-то, знаешь, как звали? Хаим его звали! То-то! А ты и не знал?»

— Во, маразм крепчает! — фыркнул Димка. — Узнать бы, кто это пакостит, поймать бы и хлебало раскрошить!

— Кто это пакостит, — сказал Марик, — тому ты до хлебала не дотянешься.

Димка запнулся и промолчал.

— У тебя-то что, у самого? — спросил Григорьев.

— А что у меня? — сказал Марик. — Пришел Колесников, объявляет: «С тобой — порядок! Мамаша у тебя правильного вероисповедания, пятый пункт в паспорте, благодаря ей, у тебя оптимистический. И, что немаловажно, фамилия и отчество у тебя — неопределенного наклонения. Остаешься у меня в аспирантуре!» — «А я, — говорю, — не хочу здесь оставаться». — Он заводиться начал: «Как это не хочешь?! Какое ты право имеешь не хотеть?! Здесь твое место!» — «Не хочу, — говорю, — противно». — «Ах, ты — брезгливый?!» — «Может, и брезгливый».

Он вообще разорался: «Что ты понимаешь, такой-сякой! Что ты в жизни видел! Тебя бы сюда двадцать лет назад с твоей брезгливостью! Знаешь, что тогда было?» — «Знаю, — говорю, — читали мы про Винера-мракобеса и кибернетику-лженауку». — «Что ты читал?! Статейки в «Науке и жизни»? Храбры были при Никите статейки писать, а теперь, вон, храбры брезгливость показывать. Это ПЕРЕЖИТЬ надо было! Тогда бы знал, что такое настоящее безумие. Это было... было... КАК НА ЧУМЕ! А теперь-то — что. Теперь вроде легкого гриппа. Ничего, прочихаемся — здоровее будем! Уляжется эта муть. Может, и Сашку еще вернем. А сейчас нам с тобой главное — время не терять! Нам работать, работать надо!»

Я всё упираюсь, тогда он давай с другого бока: «У тебя отец воевал?» — «Воевал, — говорю, — немного, от Кавказа до Берлина». — «И я, — говорит, — воевал. Мы фашистов многолюдством победили, потопили их в крови своей. А теперь как быть? Если у нас компьютеров в пятнадцать раз меньше, чем у американцев?!» — Ну, а я говорю: «Мы же не на военную технику работаем, а на перспективу». — «Вот то-то, — кричит, — что на перспективу! Читал, какие у американцев планы по компьютерам на семидесятые годы? Они

же хитрые, сволочи! Они сами воевать не полезут, раз теперь есть кого науськать! Представляешь, что будет, если нагрянет эта орда хунхузская, восьмисотмиллионная, да с американской техникой, с американскими инструкторами за спиной?! Нам что — опять, как в сорок первом, с трехлинейками на танки?! И крови своей уже не хватит потопить — их втрое, вчетверо больше навалится! Такого врага не знала еще Россия: чтоб и числом, и техникой превосходил!» — «А мы с вами, что же, — спрашиваю, — вдвоем всю Россию отстоим?» — «Ты, — говорит, — не язви. Если у нас в науке, в каждом месте, хоть по два, по три честных человека будут честно работать, — уже не пропадет страна... Подумай — такая тема у нас с тобой. До тебя еще не дошло, наверное, в какие ворота стучимся! Не дури, оставайся. Думаешь, я не понимаю, как тебе тут противно на многих смотреть? А ты — на меня смотри!»

Григорьев, с горчившим привкусом крохотного собственного опыта, чувствовал уже наивность в словах сердитого Колесникова. Но эти слова вызывали желание верить, желание заслониться их смыслом, таким понятным, от реальности. От незнакомого Григорьеву растоптанного Сашки, от довольных усмешек слишком хорошо знакомых «полубогов».

— Правильно! — сказал он. — Что бы ни было, а нам работать надо. Конечно, много мерзости повылезло, но сейчас не время обиды копить. Сам видишь, что делается. Если вправду нагрянут бывшие братья и будем воевать, всю эту дрянь сразу, как ветром разметет.

— Да я понимаю, — сказал Марик. — Я всё понимаю...

— 9 —

На смену автобусу, унесшему Виталия Сергеевича, подкатил внизу огромный, сверкающий «Икарус-экспресс» с надписью «Интурист». Затормозил немного в стороне от остановки городских автобусов, — и возле него немедленно на-

чала скапливаться группа легко одетых людей без багажа. Даже издалека, сверху, были заметны седые волосы и лысины. Иностранцы, бизнесмены. Говорят, состарившись, удалившись от дел, они обязательно начинают путешествовать по свету.

Григорьев подумал: а я, когда состарюсь и удалюсь от своих дел, напротив, перестану путешествовать. Господи, это уже так скоро! Я выйду на пенсию через каких-то двадцать три года!.. Двадцать три года назад был шестьдесят первый: полет Гагарина, Хрущев, съезд, программа партии, строительство коммунизма. Я готовился в комсомол. Проклятая память, всё так ясно, как будто прожито вчера!

А ведь будущие двадцать три года — не то, что прошедшие. Мое время сжимается всё сильней, сильней. Этот срок промелькнет. И мне будет шестьдесят. Але будет сорок семь, на десять лет больше, чем мне сейчас. Но она этого еще не знает.

Как я стану жить в свои шестьдесят? Какая вообще будет жизнь?..

А от 1970 года осталось навсегда странное чувство — ожидания. Давно минули семидесятые, помнится о них всё до мельчайших подробностей. Но стоит из нынешней середины восьмидесятых оглянуться на оставшийся вдали рубеж позапрошлого десятилетия с прошлым, на тот водоворот, вскипевший в изломе течения от шестидесятых к семидесятым, — как сразу, необычным отголоском мелодии времён, возникает в душе ощущение какого-то начала. Снова кажется, будто десятилетие семидесятых — всё целиком — предстоит в будущем, нетронутое, готовое наполниться твоим смыслом.

Почему за столько лет, вопреки всему пережитому, не вытравилось это чувство? Да откуда оно являлось и на чем удерживалось уже тогда, после тех первых, еще наивных, но, быть может, самых болезненных разочарований? Как уживалось в душе с юношеским раздражением и отвращением?

Почему он испытывал его хотя бы на выпускном банкете в январе 1970-го, когда грохотала в ресторане оглушительная

музыка и скакали в диком подобии танца раскрасневшиеся однокурсники и однокурсницы? (Сколько запоздалых романов скоропалительно раскрутилось в тот вечер!) Нина спокойно сидела рядом с ним и, слегка щурясь, поглядывала на пиршество. Ей не нужны были никакие внешние проявления веселья, она без того переживала свое торжество.

Назойливо вились вокруг и только что не жужжали, как мухи, подвыпившие «полубоги». Их как будто никто не звал на банкет, но они взяли и пришли. Григорьев подозревал, что их — тайком от всех — пригласила именно Нина. «Полубоги» много ели, громко провозглашали тосты, однако им никак не удавалось вытащить Нину из-за столика: муж не хотел танцевать, и она, как примерная супруга, с чуть высокомерной вежливостью всем отказывала.

А «полубоги» желали плясать именно с ней, ее неуступчивость их раздражала, им хотелось досадить Григорьеву. И один из них, полный, круглолицый, с круглыми и блестящими как шарики от подшипника глазами, всё тянулся похлопать его по плечу и спрашивал, злобно ухмыляясь: «А ты отчего такой грустный? Оттого, что нас покидаешь?»

В эдаком-то балагане — чувство ожидания?..

Должно быть, сохранялась еще в душе инерция движения. Давно ли были пятидесятые, «Середина века», воспетая Луговским, открытие большого мира, первые телевизоры, первые спутники? Давно ли казалось вершиной истории начало шестидесятых с первыми космическими полетами, быстродействующими ЭВМ, физикой элементарных частиц? А вот уже наплывали семидесятые. И представлялись они — как же иначе? — продолжением той же восходящей траектории. Представлялись космическими, электронными, компьютерными, атомными.

Висевший на кафедре транспарант — «Научно-технический прогресс — главный рычаг построения материально-технической базы коммунизма. Л.И.Брежнев» — вызывал усмешку. С материально-технической базой коммунизма, обещанной Хрущевым к восьмидесятому году, всё давно было ясно. И сам-то Брежнев, в отличие от Никиты человек скромный, не часто появлявшийся на публике, поминал эту

базу, наверное, через силу. (А что делать, раз программа партии официально не изменена?) Но когда тот же Брежнев на съезде комсомола весной 1970-го объявил, что предстоящая пятилетка будет для страны пятилеткой полного технического перевооружения, это звучало уже как будто вполне серьезно.

Прав был, пожалуй, сердитый Колесников, когда кричал на Марика и велел не падать духом, а работать. Как бы ни воротило порой от грязи и дурости, надо уметь подняться выше этого. В любом случае, страна должна двигаться, развиваться. Ну, а в движении, наверное, всё можно преодолеть.

Впрочем, вспоминая о своей наивности в начале семидесятых, не стоит говорить от лица всего поколения. Кто-то из сверстников избавлялся от иллюзий и взрослел куда скорее, чем они с Мариком и Димкой.

В том феврале 1970-го вместе с Григорьевым оформлялся на работу по распределению Сашка Линник, выпускник машиностроительного института, высокий, полнотелый парень с маленькой белобрысой головой. Предприятие, куда они попали (по названию — НИИ с опытным заводом, по виду — просто старый завод с разбросанными на большой территории низкими, темными корпусами), находилось на дальней окраине Ленинграда. Отдел кадров и вовсе помещался в деревянном домике.

Прислонившись к раскаленной батарее парового отопления по-женски широким задом, глядя на морозные сквозняки, сочившиеся дымкой сквозь щели в дощатой стене, Сашка Линник рассуждал, слегка заикаясь:

— Тут, го-г-говорят, оклады вшивые, зато квартальные пэ-п-премии хорошие... Тут цэ-ц-цеха есть с вредностью. С пя-п-пятидесяти лет на пенсию мужчинам, а женщинам — сы-с сорока пяти.

Григорьев слушал его, посмеиваясь (надо же, сразу после института о пенсии думает!), и в то же время с легким уважением: чувствовалось в этом парне что-то цепкое, житейское, чем сам он, похоже, был обделен.

— Там в цэ-ц-цехе десять лет надо мастером по-п-поработать, — Сашка озабоченно качал головой. — Вредность, химия — че-чепуха, а вот с раб-ботягами дело иметь!..

Сашку Линника направили в технологический отдел.

— Шт-тампы, м-матрицы, — ворчал он, выходя от кадровички, — судьба м-механика.

А у Григорьева с моложавой, обильно раскрашенной кадровичкой разговор вышел совсем неожиданный. Больше всего ее заинтересовало, даже как будто обеспокоило, тонкое обручальное кольцо на его руке:

— Вы что, жениться уже успели?!

Григорьев только плечами пожал.

Кадровичка, словно не веря, быстро взяла его паспорт, одним движением, не перелистывая, раскрыла именно там, где стоял штамп о браке, потом заглянула на страничку — пустую — куда записывают детей.

— В двадцать лет теперь женятся! — не то с осуждением, не то с восхищением сказала она. И, подняв сильно подведенные глаза, нараспев произнесла напомаженным ртом: — О, поколение, как жить торопится!

— Так я же еще и чувствовать спешу! — отпарировал Григорьев.

Кадровичка засмеялась. Бегло просмотрела его диплом, направление на работу — и объявила:

— Заполняйте анкету! Пойдете в отдел Виноградова!

Виктор Владимирович Виноградов — крупный, красивый мужчина с холеным лицом и вьющимися волосами, пронизанными серебряной сединой (Григорьев потом удивился, узнав, что ему всего тридцать восемь лет), встретил его приветливо в своем крохотном, с вагонное купе, кабинетике:

— Рад познакомиться! Наконец-то кадровики мне парня выделили! А то, как приходят молодые специалисты, мне одних девиц присылают. Их только начнешь в курс дела вводить, они — бац, и в декрет. Ну а потом, с малыми детьми, какие из них работники... В командировки ездить можете?

— Могу, — ответил Григорьев.

— Очень хорошо! Ну что ж, устраивайтесь пока в общей комнате.

Григорьев был уже в этой «комнате», которую занимал отдел: несколько письменных столов впритык друг к другу, шкафы, набитые папками с документацией, шум, гам, непрерывные телефонные звонки и пулеметный стук пишущей машинки. После спокойных помещений кафедры, с бесчисленными приборами, с полками, ломившимися от научных книг, впечатление было убийственное. Он даже подумал не без самодовольства: «Мне-то что, я бывалый! А вот, если бы Нину прислали сюда, она бы в обморок свалилась».

— Отдельного стола выделить пока не могу, — Виноградов виновато развел руками, — попроситесь к кому-нибудь, посидите вдвоем. А месяца через два у нас Марина в декрет уйдет, вот стол для вас и освободится.

Григорьев вспомнил так и не встреченную им никогда беременную цеховую чертежницу Светку, на место которой поступил когда-то, и невольно улыбнулся.

Виноградов тоже улыбался. Его немного узкие, темно-блестящие глаза смотрели доброжелательно:

— Работой пока заваливать не буду, осваивайтесь понемногу. Вы — комсомолец?

— Да, конечно.

— Надо вам какое-то обязательство к столетию Ленина принять.

— Что же я возьму? — растерялся Григорьев.

— Да это неважно! — успокоил Виноградов. — Главное, чтобы отчитаться потом можно было. Вот возьмите, как молодой специалист, изучение изделий нашего отдела и сравнение с американскими. Всё равно вам с этого начинать. Потом напишете: выполнил, изучил. И кто проверит!..

Ну почему, почему 1970 год остался в памяти связан не только с чувством ожидания, но и с неким подобием водоворота? Самые разные струи вскипали в его воронке, всё перемешивалось — мелкое и значительное, — бурлило, растворялось, становилось одним течением.

Весной, — говорили, что впервые за советские полвека, — вышла большая пластинка Вертинского, и на несколько месяцев окружающий мир наполнился песнями совсем иной

жизни, давно исчезнувшей в потоке времени, и внезапно ненадолго вынырнувшей из небытия.

Вечерами, когда он шел с работы, а в выходные дни с самого утра, — то там, то здесь, звучал из раскрытых окон удивительный голос, слегка грассирующий, переливавшийся оттенками, обыгрывавший каждый звук и превращавший каждую строчку в маленький спектакль:

Сегодня — наш последний день
В приморском ресторане.
Упала на террасы тень,
Зажглись огни в тумане.

Он приходил домой (если можно было считать домом очередную квартирку, которую они снимали) и сам ставил на проигрыватель эту пластинку:

Я знаю, даже кораблям
Необходима пристань.
Но не таким, как мы, — не нам! —
Бродягам и артистам...

Нина слушала. Ей тоже нравилось. А он наблюдал за ней. И нечто странное было в том, что им, оказывается, может нравиться одно и то же.

Шел телевизионный сериал «Адъютант его превосходительства» о бесстрашном красном разведчике (красавец-артист Юрий Соломин) в штабе Белой армии. Вечерами, в часы его показа, улицы заметно пустели.

На широком цветном экране в киноэпопее «Освобождение» появился Сталин. Он был не похож на свои портреты — седоват, полноват, старчески сгорблен. Говорил медленно, с казавшимся нарочитым грузинским акцентом. Усталый, рассудительный, советовался с маршалами. Он явно был не настоящим, однако протеста не вызывал, только любопытство. И еще — понимание, что это Сталин с одной только стороны, как бы в компенсацию за его поругание в хрущевские годы. Но когда он говорил о своем плененном

сыне, отказываясь обменять его на Паулюса: «Я солдата на фельдмаршала не меняю!» — в залах кинотеатров вспыхивали аплодисменты.

Григорьев изучал альбомы чертежей и технологических процессов. То, что открывалось ему, вызывало еще большее смятение, чем теснота и галдеж в общей комнате отдела. Он читал: «Кисточкой нанести на поверхность заготовки слой клея, приложить картонную шайбу и прижать пальцами...», «Пинцетом натянуть проволочку и поднести паяльник...» И тут же, рядом, переводы американских статей и патентов, взятые в отделе информации, говорили о вакуумном напылении микросхем, литье из керамики, автоматической пайке. На сколько же десятков лет мы отстали?! А ведь приборы их отдела, как и американские, предназначались, в основном, для военной техники. Так как же газеты могли твердить о нашем стратегическом паритете с Америкой? Здесь, в альбомах, на желтоватых, пылящих бумажной пылью светокопиях, никакого паритета нельзя было высмотреть. Не получался паритет...

Однажды летним вечером, когда они шли с Ниной по улице, он вдруг обратил внимание на странное явление: навстречу то и дело попадались люди, тащившие сетки-авоськи, тяжко нагруженные бутылками шампанского и коньяка.

Нина сказала:

— Так с первого июля подорожает вдвое. У нас весь институт это обсуждает. А у вас на работе разве не говорили?

— Не слышал.

На другой день Сашка Линник хвастался:

— Я успел, ку-ку-купил! А ты?

Григорьев пожал плечами:

— На всю жизнь всё равно не запасешься. Да я коньяк и не люблю.

— Водку любишь? Водка теперь то-о-тоже будет кусь-кусь! Новые сорта видел? Т-три шестьдесят две по-простая, че-че-четыре двенадцать — «Экстра».

— Да бог с ним. Сколько я пью, от лишнего рубля не разорюсь.

Сашка Линник замотал головой:

— Ты н-неправ! Раз уж они это начали, те-те-теперь пойдет! На всё!

Он говорил это со странной восторженностью.

А газеты, радио, телевидение не только славили столетие Ленина. Они с нарастающим гневом клеймили происки сионизма, бесчинства израильской военщины и американской «Лиги защиты евреев». Однажды вечером, изменив телепрограмму, показали вдруг небывалую пресс-конференцию: известные ученые и артисты «еврейской национальности», как их представили, возмущались политикой Израиля и провокациями «Лиги». Осуждали тех, кто пытался уехать из СССР, или жалели этих несчастных, обманутых сионистской пропагандой. Доказывали, что антисемитизма в Советском Союзе не было и нет, говорили о своей горячей любви к родине.

— Надо же, — удивлялась Нина, глядя на экран, — оказывается, и Быстрицкая — еврейка!

А Григорьева больше всего поразил Аркадий Райкин: старый артист непривычно сбивался, запинался, косноязычил. Казалось, ему не хватает ни слов, ни воздуха. Впрочем, он один из всей компании и выглядел по-настоящему взволнованным.

Вскоре сообщили, что несколько сионистов, которых не выпустили в эмиграцию, пытались захватить под Ленинградом самолет, чтоб улететь из страны. Бдительные органы госбезопасности обезвредили преступников, и потянулся еще один громкий, тоскливый судебный процесс, с распаленно-гневными статьями в газетах и протестами западных «голосов».

Отец пересказывал то, что ему удалось расслышать сквозь вой глушилок:

— Сейчас весь мир двумя судами возмущается: Франко в Испании басков судит, а наши — евреев этих, мудаков. Они знаешь чего хотели угнать? «Кукурузник»! Он же от Ленинграда не то что до Израиля, до Финляндии не дотянет! Франко своих казнить грозится, и наши тоже. Вот, по «Би-би-си» сказали: если Франко помилует, тогда и нашим де-

ваться будет некуда. Заменят расстрел тюрьмой, чтоб хуже фашиста не оказаться.

Виноградов открыл свой сейф, вернее, небольшой ящик из тонкого железа, где стояла колба со спиртом, полагавшимся отделу для протирки пишущих машинок. Достал оттуда и положил на стол перед Григорьевым небольшую круглую колодочку из темной пластмассы с двумя впрессованными электродами. На торце ее между золотисто-медными контактами тускло поблескивало серебристое пятнышко размером чуть больше типографской точки.

— Вот, — сказал он, — американский преобразователь. Прямо из Вьетнама, партизанский трофей. То есть, мы его от московского «Энергетика» получили. Там захваченную аппаратуру курочили, эту штучку выколупали и нам прислали разобраться, по принадлежности. — Виноградов задумчиво постучал колодочкой по столу: — В «Энергетике» вообще лихие ребята. Они себе повышение пробили. У них теперь не научно-исследовательский институт, а по самой новой моде — научно-производственное объединение, НПО. Молодцы! Сразу и штатное расписание другое, и ставки... — Он толкнул колодочку к Григорьеву и строго сказал: — Всё секретно! Спецчемодан в первом отделе оформили? Спецблокнот, спецтетрадь?

Григорьев кивнул.

— Так вот, — продолжал Виноградов, — штучка американская — удивительная! Работает и как резистор, и как полупроводник. Они в свою аппаратуру сажают одну такую фитюльку там, где нашим приходится на разные импульсы два и даже три преобразователя ставить. Поэтому и простота у них, и надежность, и вес, и габариты... В общем, в «Энергетике» хотят, чтоб мы им такую же воспроизвели.

Григорьев внимательно слушал.

— Минаев в Москве хлестанулся, — при упоминании этой фамилии Виноградов чуть искривил красивый рот, — что мы через три месяца готовое изделие выдадим. Пришлось с ним поспорить...

Минаев, их директор, толстенький, седенький шестидесятилетний крепыш, считался личностью легендарной. Во вся-

ком случае, у них на работе. В годы войны, в свои тридцать с небольшим, был Минаев директором номерного завода в Сибири и полковником по званию. Для Григорьева одного этого было бы достаточно, чтобы перед таким человеком склоняться всю оставшуюся жизнь. Тем более, из тех славных времен дотянулась за Минаевым уважительная, хоть и странноватая для новых дней характеристика: «Заставить умел, наказать умел, зато у него на заводе рабочие не голодали, как у других».

Но что-то сломало Минаеву карьеру уже в годы мирные, а вернее, в первые послевоенные, которые, как рассказывали, жестокостью едва не превосходили войну. Не вышел он ни в министры, ни в генералы. Только всего и сумел, что перебраться в той же директорской должности из Сибири в Ленинград.

Правил Минаев предприятием самовластно и с неизбежными при самовластии чудачествами. Славились его ежедневные походы в столовую, находившуюся в центре заводской территории. Каждый раз шел Минаев на обед иным маршрутом, кружным и ломаным, обходя задворки цехов и складов. Катился, как колобок, низенький, кругленький, а за ним поспевала свита — заместитель по общим вопросам, кто-то еще из управленцев. И горе было тому начальнику цеха, на участке которого Минаев замечал непорядок — брошенное оборудование, мусор или хотя бы вырытую и не огороженную по правилам яму! С обеда же двигался Минаев, не торопясь. Заходил в цеха. Обращался прямо к рабочим, обычно к женщинам-работницам, их было большинство. Расспрашивал о делах, принимал жалобы. Начальник цеха и мастера должны были при этом стоять в сторонке и вступать в разговор только по его знаку.

В научно-исследовательскую часть предприятия Минаев заглядывал редко. Григорьев по-настоящему разглядел его только на комсомольском собрании, где тот сидел в президиуме, а потом выступал и говорил о задачах, поставленных товарищем Брежневым в речи на съезде комсомола. Над высокой трибуной смешно выглядывала одна круглая голова Минаева с ежиком серебряных волос. «Вдумайтесь в планы

партии! — восклицал он, вскидывая коротенькие ручки. — Это же поэзия!» В зале тихонько посмеивались. Но Григорьеву почему-то казалось, что восторженность Минаева, конечно преувеличенная напоказ, в глубине всё равно была искренней.

Кто-то выкрикнул из зала, как трудно отрабатывать изделия по новым техзаданиям, — приборов мало, оборудование старое. Минаев обежал трибуну и наклонился в сторону выкрика (перегнуться через трибуну он не смог бы из-за маленького роста). Закричал в ярости: «Кто хочет — делает, кто не хочет — ищет отговорки! А как Ломоносов работал?! У него и таких-то приборов не было!..»

— От его заскоков трудно отбиться, — процедил Виноградов, — но я сумел.

Григорьеву уже рассказали, что Виноградов считался когда-то минаевским любимцем. Тот хвалил его и продвигал, но лет десять назад случилось между ними нечто такое, отчего их отношения в один миг, с треском и дымом, обернулись взаимной ненавистью. По уверениям одних, виноват был сам молодой Виноградов, который начал обхаживать — и не без успеха — молодую секретаршу Минаева. Другие утверждали, что причиной всему потрясение, испытанное Минаевым, когда он узнал, что молокосос Виноградов, первым на предприятии защитивший кандидатскую диссертацию, будет теперь получать зарплату больше, чем у него самого. Так или иначе, секретарша внезапно уволилась, Минаев на всех совещаниях по любому поводу стал Виноградова бранить, а Виноградов, хоть сохранил законный оклад кандидата наук и получал, действительно, больше неостепененного директора, но, как был десять лет назад начальником небольшого отдела, так им и остался.

— Никаких договоров с «Энергетиком», — сказал Виноградов, — пусть хоть десять техзаданий присылают! Полгода, а то и годик, поизучаем эту штучку свободно, без всяких планов и графиков, затраты будем на другую тематику раскидывать. А там — посмотрим.

Он придвинул колодочку к Григорьеву:

— Я всё думал, какую бы вам работу поинтереснее предложить. Вот и нашлось дело. Точечку видите между электро-

дами? Какая-то плёночка нанесена, и, похоже, вся хитрость американская — в ней. Как бы узнать, из чего она состоит? Ведь пылинку не отцарапать, до того крохотная. В общем, действуйте!

Григорьев с опаской взял партизанский трофей. Поглядел на виноградовский сейф. Спросил:

— А где мне ее хранить?

— Как где? У вас же собственный стол теперь есть. Вот, в столе и храните.

— Там поломано всё, ни один ящик не закрывается. Но я приспособлю замочек.

Виноградов наморщил нос, рассмеялся, махнул рукой:

— Да кто ее тронет! Постарайтесь только не потерять.

Лето 1970-го. Испуганное лицо Нины, когда она сказала ему, что забеременела.

Это потом она смирилась. Подумав, решила: действительно, пора. Ведь ей в августе исполнялось уже двадцать пять лет.

И это потом, еще позже, когда беременность стала заметной, оказалась она и в таком состоянии удивительно чиста и красива, только по-особому: похудевшее лицо меловой белизны, расширенные, налившиеся тревогой синие глаза. Ни пятен, ни тошноты, аккуратный живот, казалось, совсем не портил фигуру.

Всё это было потом. А тогда, летом семидесятого, была первая реакция: испуг и смертельная обида на него. Молчание, тяжкое вдвоем.

И тогда же, в конце лета, пугающей двойной волной — бодрых публикаций и передач, панических слухов и страха — прокатилось по всей стране с юга на север известие об эпидемии холеры, начавшейся в Астрахани и разнесшейся поветрием по другим южным областям. Говорили об опустевших курортных городах, о десятках поездов, остановленных по пути с юга в карантинном ожидании. И все слухи оказались правдой! Вырвавшиеся оттуда отпускники со злостью рассказывали о том, как держали их под оцеплением в этих стоящих поездах, накаленных солнцем, со скудной

и мерзкой кормежкой из полевых кухонь, с нестерпимой вонью от наспех сколоченных возле путей будочек-уборных, непрерывно заливаемых хлоркой.

В газетах печатали фотографии ярко освещенных вечерних улиц Астрахани с сияющими витринами магазинов и деловитыми прохожими. Кричали заголовки: «Город спокоен, город борется!» Возникало ощущение дурной фантасмагории: какая эпидемия, какая холера?! Это же средневековье! Как может что-нибудь подобное происходить в Советском Союзе во второй половине двадцатого века?! Да что же такое творится?..

А в сентябре с опустившейся на Луну космической станции скатился решетчатыми колесами на каменистую поверхность управляемый с Земли советский «Луноход». Гремело газетное ликование. Гремела по радио новая космическая песня: «Эй, раздайтесь, небеса, перед силой колеса!» Но было в этом громе уже что-то натужное.

В утренней трамвайной давке чей-то голос расхваливал наших: сумели вывернуться с «Луноходом», в пику американцам что-то по-особенному сделать. Но его перебивали. Кто-то кричал: «Да американцы на Луне до этой таратайки доберутся, колеса ей пообрывают и на боку слово нацарапают с ихнего мата!» Вокруг смеялись.

И это были те же самые люди, которые девять лет назад, в день полета Гагарина, кричали на улице «ура!», «космос наш!» и толпами стекались качать случайно встреченных офицеров в фуражках с голубыми околышами и авиационными «крылышками». Почему всё так переменилось? А если бы мы не отстали, если бы не американские астронавты, а наши космонавты первыми высадились на Луне? Что чувствовали бы тогда эти люди, как бы они вели себя? Что чувствовал бы он сам, ведь он тоже один из них? Теперь он уже не находил ответа.

Перед Виноградовым лежал альбом светокопий с чертежами какого-то прибора.

— Ну что, — сказал он, — осень на дворе. Холера, кажется, утихла. Можешь в командировку съездить?

Он как-то незаметно перешел с Григорьевым на «ты», но это не было обидное «ты».

— Куда, Виктор Владимирович?

— На Украину, завод «Сорокалетия Октября». Вот по этому изделию. Плывет по сопротивлению изоляции, приемка уже несколько партий остановила.

Григорьев взял раскрытый альбом, стал рассматривать сборочный чертеж.

— Больное, больное изделие, — сказал Виноградов. — И конструкция неудачная, и материалы неправильно подобраны. Раз в несколько лет случается это: после влаготепловых испытаний проводимость в изоляции появляется.

— А что мне можно будет изменить? — спросил Григорьев. — В конструкции, в материалах?

Виноградов внимательно посмотрел на него, улыбнулся и сказал раздельно:

— Ни-че-го! Документация на изделие утверждена и согласована. Да чтобы провод у него на миллиметр удлинить, надо три года переписки, испытаний, комиссий.

— Но как же я тогда?..

— А вот так! Надо там пробить с ОТК и заказчиком решение о переиспытании партий. В крайнем случае, о стопроцентной разбраковке, пусть завод помучается. И просмотри внимательно всю их технологию, все сертификаты на материалы. Если найдешь какой-нибудь прокол, отрази в акте. Но — осторожно, чтоб изготовленные изделия совсем не загубить!

Григорьев растерянно перелистывал чертежи деталей. Вот так задание: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.

Виноградов достал бланк командировочного удостоверения:

— Будешь оформлять, попроси в бухгалтерии штамп поставить: «Разрешается купейный вагон и самолет». Ты, кстати, самолет хорошо переносишь?

— Наверное. Я еще никогда не летал.

— Вот и попробуй. Сутки туда сэкономишь, сутки обратно. — Виноградов подмигнул: — Лучше двое суток с молодой женой провести, чем в поезде трястись!

Так начались его полеты. Его уже относило в мир, предназначенный ему судьбой. Мир маленьких городов с большими заводами. Мир чадной сутолоки в тесных и грязноватых областных аэропортах (слепленные наскоро, после войны для поршневых тихоходов «Ли-2» и «Ил-12», их только начинали с запозданием перестраивать под новые, реактивные времена).

А перед ноябрьскими праздниками 1970-го (украшенные улицы уже пестрели флагами и транспарантами, колыхались на тросах громадные полотнища с портретами Ленина и полотнища поменьше со строгими, ясными ликами членов политбюро) Димка пригласил их с Мариком к себе на работу.

Встретились по названному Димкой адресу в центре города, в тихом переулке, у запертых дверей какой-то старой школы.

— При чем тут школа? — удивился Марик.

— Бывшая, бывшая школа, — ответил Димка. — Закрылась она, просто вывеску еще не успели снять. Наш комбинат здесь помещение арендует.

Он отпер своим ключом какую-то боковую дверку, и они прошли за ним черным ходом в недра умершей школы. Их голоса и шаги в темных, пустых коридорах звучали, казалось, непозволительно громко. Они невольно заглядывали в раскрытые двери классов. Кое-где еще остались брошенные, сдвинутые в беспорядке парты. В кабинете физики с забытого на стене портрета первооткрыватель фотоэффекта Столетов, с усами и бородкой, озадаченно смотрел сквозь маленькие очки на опустевшее помещение.

— Закрылась она потому, — сказал Димка, — что детей вокруг мало. Здесь, в центральных районах, одни старики доживают, молодежь в новостройки перебралась. И вообще, рождаемость низкая. Вот, правда, Стелка наша решила отечеству помочь: в тридцать лет родила от своего моримана...

У Григорьева сердце бухнуло к горлу. Переведя дыхание, спросил с трудом:

— Сына или дочку?

— Девчонку. Так что, государству всё равно убыток. Зато самой полегче будет. Девку безотцовщиной воспитывать проще, чем парня. А ты-то у нас когда разродишься?

— Весной, — неохотно ответил Григорьев. Он еще не говорил ребятам, что они с Ниной ждут ребенка.

— Что, правда?! — изумился Димка. — Ну, ты молодец, не то что мы с Тёмкой!

Они шли коридором, окна которого выходили в узкий, темноватый двор-колодец. Слышно было, как в доме напротив из открытого окна кричал Высоцкий:

Спасите наши души,
Мы бредим от удушья!
Спа-сите н-наши д-души,
Спешите к нам-м!..

Димка даже остановился, прислушиваясь:

— Во дает мужик! Я с него балдею.

— Магнитофон-то купил? — спросил Григорьев.

— Куплю, куплю, — ответил Димка. — Я хороший хочу, надо подкопить. Да хорошие в магазинах не лежат.

Они пришли в школьный спортзал. В одной стороне его, под «шведской стенкой» с желтыми перекладинами, был собран уцелевший спортивный инвентарь: несколько сложенных друг на друга матов, гимнастический «конь» со вспоротым клеенчатым боком. А вокруг виднелось имущество новых хозяев: пестрело на полу множество разноцветных банок и бутылок, издававших запах красок и растворителей, стояли верстаки, высилось странное сооружение — нечто вроде большого шкафа из полированного дерева с темным стеклом в передней стенке.

— Вот, — сказал Димка, — здесь у нас мастерская. Тут ребята наши пьют, на матах девиц валяют. Говорят, здорово получается на просторе, с койкой не сравнить. Но при всем безобразии кое-что, однако, и делается. Ну, глобусы, смотрите! Диорама «Преображенный край» по заказу кав-казского музея!

Он подошел к громадному шкафу, наклонился и щелкнул выключателем. Загудели, разгораясь, мощные лампы, широ-

кое окно засветилось изнутри ярким светом, похожим на солнечный. И перед ними — в голубом и желтом сиянии — открылся праздничный мир. Вспаханные поля на переднем плане, с тракторами и фигурками людей, выглядели так, что, казалось, если бы не стекло, можно было бы перелезть и спрыгнуть туда, на рыхлую, теплую землю. Цепочкой тянулись мачты ЛЭП с настоящими проводами и уменьшались, уходя в глубину, где высились рельефные горы с пушистыми темно-зелеными террасами чайных плантаций, с овечьими стадами. И всё это — горы, сочная зелень, сверкающая полоска горной реки, белые домики и башенки — незаметно переходило в рисованное продолжение на задней стенке. Курились легким дымком тонкие трубы какого-то дальнего завода или электростанции. В ярко-голубом небе парил вертолет.

— Ну как? — спросил Димка.

— Здорово!!

— А знаете, сколько эта штука стоит? — в едких зеленых глазах Димки было торжество. — Не угадаете. Двадцать две тысячи!

— Ты что! — выдохнули Григорьев и Марик.

Димка, довольный, оскалил белые клыки:

— Двадцать две тысячи! Три новых «Волги» можно купить, пять «Москвичей», семь «Запорожцев»!

— А ты что в ней делал? — спросил Григорьев.

— Да так, — ответил Димка. — Кое-что на предметном плане, горы мастерил. Кое-что на живописном. Вот, будете знать, чем я занимаюсь. Ну а теперь, давайте посидим.

С хозяйским видом он вытащил из-под верстака табуретки. Достал электрический чайник, вышел куда-то набрать воды. Вернулся, присоединил к чайнику длинный шнур и включил в розетку на задней стенке диорамы. Расставил на верстаке чашки. Это было время, когда они решили собираться без спиртного. Сами решили, без всякой агитации (тогда, в семидесятом году, как раз стояло затишье в борьбе с пьянством: прежняя кампания — шестьдесят шестого — давно выдохлась, а будущая — семьдесят второго — еще и не предвиделась). С чего-то взбрело им в головы поберечь здоровье при помощи чая с вареньем и сухариками.

Стали пить чай. Димка рассказывал:

— А что у нас тут со столетием Ленина было! Заказал один музей диораму «Ленин в Разливе». Художник эскиз представил: озеро, Ленин в лодке сидит на веслах, от берега отплывает, а сам — в красной рубашке. Красота!.. Начальство в ужасе: почему у великого вождя рубаха, как у цыганского гитариста?! Художник, молодой, бородатый как Фидель, объясняет: символ революции! Начальство трясется, эскиз не подписывает.

Вызывают из Москвы ученого по ленинской одежде, и такие, оказывается, есть. Тот кряхтит, пыхтит, катает заключение на семи листах: мол, вообще-то Ленин предпочитал более скромные цвета, но, как символ революции, красную рубаху — можно.

Опять комиссию собирают эскиз утверждать. Кто-то забдел: а куда это Ленин от берега отплывает? Художник вопит: в революцию! — Нет, нельзя, чтобы он от нашего зрителя уплывал, он к зрителю приплывать должен. — Но он же на веслах! Если ему к берегу подгребать, значит, спиной к зрителю сидеть. Совсем ерунда! — А пусть он тогда вполоборота смотрит, куда причаливает. — Тут другой начальник подскакивает, как в жопу укушенный: «Да вы что?! Чтобы Ленин через плечо озирался?!!» — Так ни хрена не решили и не сделали. Ой, маразм крепчает! Ленину такое, наверно, в дурном сне не снилось.

Григорьев и Марик посмеивались. Димка махнул рукой:

— А куда денешься? Надо терпеть, глобусы! Приспосабливаться — и свое дело делать. Тут недавно бумагу приносили подписывать — протест от советских художников, чтоб коммунистку эту негритянскую не судили, о которой всё кричат. Как ее? Анжелу Дэвис. Я подписал. Что угодно подпишу, только бы работать не мешали.

Они допили чай.

— Как у тебя-то дела? — спросил Григорьев Марика.

Тот помрачнел:

— Сложно. Вам с Димкой полегче, вы — практики. А у меня — сплошная теория.

— Ну и что? — не понял Григорьев.

— А то, что кафедра у нас вовсе даже не теоретическая, а проектирования и производства ЭВМ. Я знаю, на меня уже косятся. А что сделаешь? Плохо без Сашки. Без него у нас с Колесниковым всё на бумаге остается. Колесников успокаивает: доведем до конца теорию, опубликуемся — практические приложения будут. Не смогут такую публикацию у нас в Союзе не заметить, хоть кто-нибудь заинтересуется из разработчиков. — Марик пожал плечами: — Трудимся.

Григорьев подумал, что ему, по сравнению с Мариком, действительно, легче. У него дело живое, реальное. Виноградов остался доволен его первой командировкой. Дал самостоятельную тему по выпуску нового прибора. Правда, этот прибор почти не будет отличаться от старых: немного иные параметры — и всё. Но и такая работа необходима. Есть на нее договор, по которому их предприятие получит сто тысяч (куда там димкиной диораме!). И к тому же, эта работа над новым-старым прибором оставляет ему достаточно времени и сил, чтобы заниматься своим главным делом.

Изучив уйму американских патентов и статей, он объявил Виноградову, что преобразователь, подобный трофейному с его удивительной плёночкой, сделать можно. Что требуется? Экспериментальная база! С одной авторучкой тут не справиться.

И, выслушав его внимательно, Виноградов отправился к Минаеву. Долго доказывал старому самодуру, насколько сложна работа и какая громадная подготовка нужна для того, чтобы ее хотя бы начать. А в результате... в результате Григорьеву выделили собственное помещение — бывшую кладовую одного из цехов в дальнем углу территории.

Собственное помещение! Отдельный вход и десять квадратных метров бетонного пола, если не считать совсем крохотной бытовки с фанерным шкафчиком, да еще туалета, до того тесного, что в нем с трудом помещался треснувший унитаз. До главного корпуса, в котором находился его отдел, топать больше километра. Но это и хорошо, меньше будут отвлекать.

Собственное помещение! Другие по пять, по десять лет работают — и ничего не имеют, кроме обшарпанного стола

в общей комнате. Григорьев знал, что ему завидуют. Но мало того: Минаев распорядился, чтобы в отделе снабжения ему по первому требованию выдавали чековую книжку. Теперь он мог ездить по магазинам приборов и сам, по собственному выбору, покупать всё, что захочет! И он уже начал обустраивать свою «клетушку» (так прозвал ее для себя по старой памяти).

Нет, голова у него не закружилась. Он не «полубог», он — рядовой инженер с окладом сто десять рублей и чувства реальности не утратил.

Он сказал:

— То-то и оно, Тёма! Что у нас есть, кроме работы? Но, может быть, и это не так мало...

В декабре семидесятого, в канун Нового года, он пришел поздравить родителей. На отсутствие Нины мать с отцом больше не сетовали, ожидание ребенка всё изменило.

Отец, довольный, усмехался:

— А что, я совсем еще молодой дедушка буду!

Мать беспокоилась:

— Как Ниночка себя чувствует? Ты скажи ей, чтобы, главное, ничего тяжелого не поднимала! И если стирка там или что — помогай!

Отец всё ждал, когда мать уйдет на кухню. Не дождался, махнул рукой и под возмущенное ворчанье матери вытащил бутылку водки, приговаривая: «Не кудахтай, не кудахтай!»

— Вот, — сказал он Григорьеву, — жизнь прожили с «Московской» и «Столичной», два восемьдесят семь и три ноль семь — вся арифметика была. А теперь — переучивайся на старости лет. Эту, по три шестьдесят две, знаешь, как прозвали? «Попрыгунья» или «коленвал».

Действительно, буквы в слове «ВОДКА» на зеленоватой этикетке скакали вверх-вниз.

Отец наполнил стопки и продолжал:

— А вино дешевое, крепленое, знаешь как теперь называют? «Солнцедар» этот, «Южное» и всю такую дребедень? БОРМОТУХА! Мне сказали, я целый день смеялся. Да уж, народ у нас за словом в карман не лезет. Сделать ничего не

могут, так хоть языком почешут. Вот всё в язык и уходит... Да ладно — водка подорожала, меньше пить не станем и больше не начнем. Лишь бы наши бояре не учудили, как в Польше, цены на всё вдвое влупить. Слыхал, что там было, у поляков?

— Рабочие бастовали.

Отец нахмурился. Сказал жестко:

— Там рабочих — расстреливали.

— Как расстреливали?

— А как рабочих расстреливают? По демонстрации — из автоматов. Ребятки мои из цеха несколько дней в курилке только об этом и гудели.

— Они тоже «голоса» слушают?

Отец усмехнулся:

— А кто теперь вражьи голоса не слушает? Хотя и в наших газетах, если с умом читать, кое-что вычитать можно... Я-то в разговоры эти не влезаю, я всё же вроде начальника, а ребята, слышал, говорили: всё было так, как у нас при Николке в «Кровавое воскресенье», или как при Никите в Новочеркасске.

Лицо и голос отца были сейчас похожи на лица и голоса всех рабочих из цеховой курилки. Опять Григорьев ощутил виновато, что вырвался из того мира, пусть недалеко, но вырвался. А отец — там остался, там живет.

И еще — Новочеркасск... Отец сказал: «гудели». Теперь, в конце семидесятого. А когда-то, в шестьдесят третьем, цеховые работяги, матерившие остервенело любое начальство, издевавшиеся над Хрущевым, сразу понижали голос при упоминании Новочеркасска и умолкали, точно проглатывали страшное слово. Так и осталось оно, вроде бы не раз услышанное, не договоренным до конца, не ясным и отпугивающим от самого желания узнавать. Слово-призрак, обозначавшее нечто потустороннее. То, чего не могло быть, то, во что всё равно невозможно поверить.

Отец, будто угадав его мысли, внимательно посмотрел на него. Сказал:

— Всё ж таки, ты интеллигент уже у меня. В другой компании обитаешься... — Он взял стопку: — Но — молодцы

поляки! Гомулку согнали, Герека назначили. Этот, вроде, правильный парень. Юнцом в Испании воевал, потом в сопротивлении, настоящий коммунист. Может, дело и наладит. Молодцы! Не то, что наши тюхи-матюхи безропотные. Поляки и за нас постарались. Может, и у нас теперь они побоятся цены вздувать.

Кажется, впервые Григорьев услышал, как отец говорит «они».

— Ну, сынок, с Новым, семьдесят первым годом! За тебя, за Ниночку, за вашего маленького! Уж ему-то, наверное, будет полегче жить.

— 10 —

— Нет, — сказал он, — ты не права, Аля. То, что тебе кажется эгоизмом, равнодушием, это... даже не знаю, как сказать. Может быть, это сдержанность? Понимаешь, наше поколение приучено молчать, крепко приучено. Мы всё время пытаемся что-то сделать, мы надеемся на перемены, но редко говорим об этом вслух. А вы — не делаете ничего, зато говорите громко и смело. Эти твои мальчики...

— Они свободны! — сказала Аля. — Они ничего не боятся!

— А чего им бояться? Они безвредны. Я не говорю, что мы лучше. Мы — другие. Эти тринадцать лет между нами... Я понимаю тебя. Я тоже легко и свободно чувствую себя только с ровесниками.

— И с ровесницами? — ревность всё же кольнула ее.

А ведь на этом можно было бы сыграть, — подумал Григорьев. — Ну разумеется: вовсе не так уж сложно было бы играть с ней и удерживать ее достаточно долго. Так в чем же дело? Играть не хочется. Знаешь, что ничем не оправдается трата души и нервов на игру. Ничем — ни алиной восторженностью, ни ее нежным телом. А теперь уже ни сил, ни времени не осталось даже для последней игры. Для того,

чтобы хоть раздразнить ее напоследок — и расстаться с чувством победителя.

И он сказал только:

— Женщины — другие люди. У них и время течет по-другому.

Летом 1972-го реставраторы очистили Исаакиевский собор от копоти и грязи. Он поплыл — непривычно белый, легкий, с розовыми теплыми колоннами. Даже промытый золотой купол, утратив тяжелый блеск, растворялся в небе чистым сиянием. И удивленно писали о нем ленинградские газеты. Вспомнили, что у Садовникова и других старых петербургских художников Исаакий — такой. Таким изначально он был построен!

Григорьев рассказал об этом Димке. Тот усмехнулся:

— Знаю. Съездил, посмотрел.

— Всё в точности, как ты рисовал для экзамена! — восхищался Григорьев. — Здорово ты угадал тогда!

— Не угадал, а разглядел. Да что толку.

— А картонка твоя вступительная цела?

— Давно выбросил.

Кажется, именно тем летом и поразился Григорьев тому, как вообще изменился город за двадцать лет со времени их детства. И дело не в громадных районах новостроек, выросших по бывшим окраинам. Центр изменился, центр!

Он вспоминал бесчисленные вывески «Фото», «Мясо», «Хозтовары», «Ремонт часов», «Ремонт обуви», когда шел по тем же улицам, где видел их когда-то — Гоголя, Герцена. Как не бывало ни магазинчиков тех, ни ательюшек! Не поймешь, где они и помещались: первые этажи, гранитные и мраморные, сияли зеркальными стеклами строгих учреждений. Двери — и те куда-то пропали, словно заросли сомкнувшимися каменными плитами. Лишь изредка открывался в сплошной стене солидный вход-подъезд с отчеканенным на медной доске названием какого-то управления или проектного института.

Словно приснились в детстве те вывесочки, по которым они учились читать, или развесили их тогда фальшиво, как,

бывает, развешивают для съемок фильма, и быстренько потом сняли.

А лето 1972-го было ослепительное, небывало жаркое. Они с Ниной снимали дачу в Мартышкино. Каждый день после работы Григорьев садился с набитым портфелем и нагруженной авоськой в старенькую электричку на Балтийском вокзале (почему-то лишь на здешних линиях сохранились еще допотопные электропоезда с неавтоматическими дверями, и двери эти никогда не закрывались как следует, болтались и хлопали во время движения). Все верхние створки окошек в раскаленной коробке вагона были подняты, но врывавшиеся волны теплого воздуха не спасали от духоты. Пот лился по телу.

После сорока минут такой пытки Григорьев с облегчением выходил на станции с нелепым названием, родившимся, как уверяли местные жители, не от породы обезьян, а от старинного прозвища морских чаек-мартынов. А там, от деревянной платформы — по тропинке на подъем, вдоль заборов, среди пыльных кустов беспризорной малины. Блестел за деревьями Финский залив с близким к этому берегу Кронштадтом.

И вот, наконец, толчок в сердце: дворик их дачи. Алёнка, — ей не исполнилось тогда и полутора лет, — похожая на красивую куклу, золотоволосая, с огромными голубыми глазами и губками вишенкой, возилась на расстеленном одеяле с игрушками. Нина — в халатике, непричесанная, просто с собранными и скрученными на затылке волосами, посмуглевшая от загара, ненакрашенная, родная, — что-то стирала рядом в пластмассовом корытце. Счастье...

Все-таки, Алёнка родилась удивительно похожей на Нину. И такой же спокойной, Григорьев почти не слышал ее плача.

Они-то с Ниной выбрали для дочки имя Елена. Алёнкой потом прозвал ее Димка, так и пошло. Димка был свидетелем на алёнкиной регистрации и всегда называл себя крестным папой. Хоть именно из-за Димки праздничная регистрация чуть-чуть не сорвалась.

Подавать заявление во дворец «Малютка» Григорьев отправился вместе с ним. Хотел потом с ним и отметить событие (сухой закон в их компании продержался недолго). Но Димка в тот день успел где-то клюкнуть, не дождавшись его. И пока Григорьев заполнял анкету на новорожденную, подвыпивший Димка склонился, упершись подбородком в барьер, и, глядя на красивую регистраторшу доверчивыми зелеными глазами, печально заговорил:

— Вот, все детей регистрируют, счастливые... Я тоже хочу стать отцом. Расскажите мне, пожалуйста: что для этого нужно сделать?

Регистраторша покрывалась красными пятнами и шипела, как змея. Еще немного, и полетели бы из чудесного дворца и Димка, и Григорьев с алёнкиными бумагами.

Лето семьдесят второго... Счастье? Может быть. Устоялся жизненный поток. Работа и суматошные семейные хлопоты, хоть доводили до ватной усталости, но не изнуряли бесцельностью. Он сам добился того, что всё в его жизни полно смысла! Ему только исполнилось двадцать пять, а у него уже росла маленькая красавица Алёнка. И на службе он оборудовал, наконец, свою «клетушку».

Скольких сил это ему стоило! Зачастую — просто физических сил. В одиночку, надрываясь, тащил через весь город купленные в магазинах приборов тяжеленные термостаты, генераторы импульсов, осциллографы. Вез в трамваях, вез на такси. Чековой книжкой отдела снабжения с таксистами не расплатишься, платил из своих денег. Черт с ним, не обеднеет он от потерянной трешки, а драгоценный прибор, невредимый, доставлен в «клетушку», занял свое место. И, любуясь очередным приобретением, он испытывал чувство, должно быть, сходное с тем, что испытывал Скупой рыцарь, всыпавший в сундук еще одну горсть золота.

Появились первые результаты. Американскую плёночку, трофей вьетнамских бойцов, он давно погубил, пережег испытательными импульсами. Да в ней больше и не было надобности. Он не только сумел отыскать нужные статьи в американских технических журналах (сколько пришлось

для этого просидеть в библиотеках!), не только сам перевел тексты, обложившись словарями. Он сумел еще и разглядеть кое-что главное сквозь все недомолвки американцев (как Димка разглядел сквозь отложения времени беломраморную природу Исаакия). И теперь — подавал импульсы уже на свои образцы, изготовленные собственными руками.

Разряд! На экранчике осциллографа вспыхивала и медленно гасла огненная змейка выходного сигнала. Григорьев сравнивал ее с графиками и цифрами статей. Всё верно: плёночка, получившаяся из капельки токопроводящей полимерной композиции, одна могла заменить громоздкую, сложную схему.

Белый Исаакий плыл над городом. И Нева, искрящаяся, прохладная, напоминала всеобщий поток событий, устоявшийся наконец в гранитном русле.

Понемногу, понемногу, течение выносило к более спокойным временам. Летом американский президент Никсон приехал в СССР и подписал с Брежневым ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ договор об ограничении ядерных вооружений. Ощущение торжества, почти чуда! Неужели приходит конец ненависти, холодной войне, угрозе взаимного уничтожения? Кажется, да. Зазвучало, замелькало в газетах слово «разрядка». Было объявлено о предстоящем советско-американском космическом полете: наш «Союз» состыкуется на орбите с «Аполлоном». И в газетах (невиданное, неслыханное дело! вот они — плоды сотрудничества, рушится нелепая секретность!) были впервые напечатаны фотографии БУДУЩИХ советских космонавтов, тех, кто еще только готовился к старту.

И те же газеты начали вдруг бранить какого-то академика Сахарова. До этого о нем почти никто и не слыхал.

Отец пояснял:

— Он бомбу нашу водородную сделал, если «голоса» не врут. И теорию придумал, как социализм с капитализмом скрестить. Гибрид ужа и ежа. Видишь, каждый норовит по-своему изощриться, особенно с большого ума... А ты купи, купи себе приемник! «Сакта» уж у меня будет, я к ней

привык, к старушке. Купи себе новый и тоже слушай. Интере-есно!

Еще год назад Григорьев убедил Виноградова, что надо узаконить работу по плёнкам, подать заявку на тему. Виноградов почему-то колебался:

— Стоит ли засвечиваться? Карточка по теме и в главке будет на контроле, и в главном техническом управлении.

Потом сдался:

— Ну ладно, только напиши с умом! Чтоб видно было — научно-исследовательская работа, чистая НИР. До ОКР, до опытно-конструкторской — еще сто верст густым лесом! Денег много не проси — тысчонок семьдесят. А срок попроси полный: два года.

Срок должен был истечь в конце семьдесят третьего, а уже в семьдесят втором самодельные григорьевские плёночки преобразовывали импульсы не хуже американских. Но он знал — этого мало. Наши требования к приборам жестче пентагоновских. Много композиций хотелось еще опробовать, а все разработчики подходящих материалов находились в Москве. Мысль Григорьева работала просто: значит, надо отправляться туда и обойти эти институты. Если не в один заезд, то в несколько.

Когда перед очередной такой поездкой он приходил к Виноградову с заполненным командировочным предписанием, тот вначале, как всегда, осведомлялся рассеянно:

— Это ты по какому изделию в поход собрался?

А прочитав, говорил:

— А-а, так это ТВОЯ командировка!

В голосе Виноградова, казалось, звучала ирония. Но больше вопросов он не задавал, и визу свою на уголке бланка выводил как будто даже старательней, чем обычно.

Григорьеву приходилось и раньше бывать в Москве, проездом. Он успел повидать обычный для проезжего московский набор: Красную площадь, Мавзолей с восковым Лениным, улицу Горького, ГУМ и «Детский мир», музей имени Пушкина, Третьяковку. Но лишь в тех командировках 1972-го, когда ему впервые пришлось много раз пересекать Москву

из конца в конец и бродить по улицам, отыскивая нужные предприятия, стал он ее понемногу узнавать.

Даже коренного обитателя четырехмиллионного Ленинграда поражала девятимиллионная Москва — громадностью своих каменно-асфальтовых пространств, многолюдством, густыми и чадными потоками автомобилей (в Ленинграде, пожалуй, и в центре не увидеть было такого стада машин, как здесь на окраинах). Поражала судорожной спешкой. Казалось, в московских уличных толпах все двигались ускоренно, как в старой киносъемке. И — лица, лица: на них была стремительная озабоченность, словно каждый куда-то опаздывал.

Искрилось солнце в ячейках новеньких стеклянно-алюминиевых небоскребов. Кто там укрылся в них, похожих на поставленные торчком гигантские сверкающие кирпичи? Какие всесоюзные или, быть может, всемирные учреждения?

Громадные рекламные щиты (московский размах! на ленинградских улицах такие, кажется, и не поместились бы) призывали посетить универмаги, летать самолетами «Аэрофлота», зазывали на новые кинофильмы, провозглашали: «Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь!» и «Ленинскую внешнюю политику ЦК КПСС и Советского Правительства одобряем!»

Захватывало, кружило, оглушало немыслимое кипение московской торговли: везде, куда ни глянь, — лотки, павильончики, ларьки, навесы, пирожки, чебуреки, съестной аппетитный пар, и тут же — сигареты, шнурки, смесь какой-то галантереи с канцелярскими принадлежностями, от носков и галстуков до школьных тетрадей. Везде — пьяновато-деловитые грузчики в спецовках выгружают из машин и перетаскивают, покрикивая на прохожих, ящики, коробки, мешки с товарами. (Григорьев, не забывший ни хлебозавод, ни овощную базу, с любопытством профессионала поглядывал на их работу.)

Москва и пила с размахом подстать своим пространствам, с непривычной для сдержанного Ленинграда буйной открытостью. Как раз тогда, в семьдесят втором, грянула очередная кампания по борьбе с пьянством. Сдвинули часы прода-

жи спиртного, запретили продавать водку по воскресеньям. Нещадно карали за распитие в общественных местах, будь то уличный скверик или кафешка-забегаловка. Ленинград ворчал («Спасибо партии родной, не пьем мы водку в выходной. Пьем мы только "Южное", никому не нужное»), но попивал осторожно, с оглядкой. А Москва — плевала на все запреты!

В окраинном заводском районе, где утром отыскивал Григорьев очередной московский НИИ, он зашел позавтракать в крохотную пельменную: семь-восемь круглых высоких столиков, на раздаче — сонная буфетчица в грязноватой белой куртке, и кроме него самого — ни единого посетителя. Взял тарелочку пельменей, стакан водянистого теплого кофе, встал за столик в углу и только начал есть, как вдруг случилось нечто, подобное горному обвалу: послышались топот и грохот, в тесные двери пельменной с невероятной скоростью, давя друг друга, стали гроздьями протискиваться какие-то люди. Они расхватывали стаканы с подноса под взглядом невозмутимой буфетчицы и тут же сбивались вокруг столиков. В пельменной в один миг стало тесно. За столиком Григорьева тоже сгрудились пять или шесть мужчин в спецовках, не обращавшие на него ни малейшего внимания. Замелькали высокие темные бутылки, забулькала в стаканы марганцового цвета жидкость, распространяя запах дешевого портвейна.

Григорьев машинально взглянул на часы: десять минут двенадцатого! До него дошел смысл происходящего: в одиннадцать, по новому указу, начали в соседнем магазине продавать вино, и рабочие с окрестных заводов и строек слетелись утолить утреннюю жажду. Они спешили не потому, что кого-то боялись. Их подхлестывал деловой ритм Москвы. Никаких разговоров, никакого смакования, только звяканье, бульканье, короткие хриплые реплики. Последний глоток — и общее, мгновенное, грохочущее бегство на работу. Опять мелькание, топот, давка в дверях. Их высасывало, как будто громадным пылесосом, они только что не летели по воздуху.

В одиннадцать пятнадцать, — он не успел еще дожевать свои пельмени, — вокруг вновь сделалось пусто и тихо.

Только везде на столиках красовались стаканы с розовым осадком, да на полу стайками темнели пустые семисотграммовые бутылки из-под «бормотухи» — плата хозяевам. По семнадцать копеек дадут за каждую в приемном пункте. И немедленно появившаяся пожилая уборщица с корзиной весело и проворно стала их собирать.

И еще поражали в Москве — заборы. Бетонные, высокие, сплошные, похожие на крепостные стены, они и в центре кое-где тянулись на квартал, а на окраинах — вымахивали вдоль улиц на километры. Везде они были новенькие, светло-серые и желтые, гладкие. С первого взгляда видно, как недавно поднялись. И поднялись — надолго. Слепые и презрительные, высились над людьми-муравьишками, сновавшими вдоль их подножий, то ли какие-то секретные предприятия, то ли целые тайные миры своей громадностью и замкнутостью наглухо скрывая.

А люди, встречавшие Григорьева в московских отраслевых институтах, — инженеры, начальники лабораторий, — ничего от него не скрывали. Он слушал их рассказы и просматривал их отчеты. Для него устраивали даже лабораторные испытания, чтобы сам убедился: его не обманывают. Перед ним — новые материалы с действительно необыкновенными свойствами! Есть полимеры какие угодно, с невиданной термостойкостью, эластичностью, прочностью. Есть полупроводники и ферромагнетики с уникальными характеристиками. Всё ничуть не хуже фирменных американских и японских материалов, а часто — лучше. Всё давно разработано, и всё не выпускается!

Замкнутый круг: для запуска в производство нужен крупный потребитель, нужен большой экономический эффект. Кажется, вполне разумное требование: экономика — прежде всего. Но крупный-то потребитель может найтись только тогда, когда материал УЖЕ выпускается! Кто будет связываться с новым, несерийным, а потом ждать годы, если не пятилетки, пока в Совмине, Госплане, Госснабе согласуют решение о будущем производстве, пока построят цех да запустят? Никто из потребителей и не ждет. Вся промышленность, хоть гражданская, хоть военная, старается обойтись старыми

материалами, пусть от этого машины, приборы, технологии получаются хуже и хуже.

Что происходит? Почему еще пятнадцать, еще десять лет назад, при безграмотном, всеми осмеянном и оплеванном Никите (царство ему небесное, тихо умер недавно в опале), при его дурацких, разрозненных совнархозах, — под научную идею, под синтез в пробирке недрогнувшей рукой выделяли миллионы и строили целые заводы?

Москвичи жаловались Григорьеву: «Нас же, разработчиков, и обвиняют в том, что не внедряются новые материалы и нет экономического эффекта. Называют бездельниками, грозят сокращениями». Отдавая ему образцы, спрашивали: «А вы действительно их используете? Вы будете с нами работать? Вы еще приедете?» Он обещал. Он сам верил своим словам. И всё равно, прощаясь, чувствовал себя неловко. Так трудно было видеть униженность умных людей, почти заискивавших перед ним.

И снова он плыл по бесконечным московским улицам, растворенный в людском потоке. Поблескивая стеклами и цветным лаком, текли навстречу друг другу автомобильные реки. Проносились торпедами необычные, на взгляд ленинградца, трамваи обтекаемой формы — производство какой-то подвластной страны, не то Чехословакии, не то ГДР. Приезжего вида люди тащили на согнутых спинах длиннющие — до земли — сетки, набитые ярко-оранжевыми апельсинами. Кто-то рядом кричал приятелю: «В "Четыре ступеньки" не пойдем! Там коньяк только югославский! Пойдем в "Стекляшку" — там настоящий, армянский!» Кричал, нарочно перекрывая шум толпы: чтобы слышали и завидовали его богатству (он может пить коньяк, вдвое дороже водки, да еще привередничать!), его свободному капризу, его настроению.

И кажется, вся Москва, «столица мира», как ее величали в песнях, столица полумира, какой она утвердилась в действительности, в те летние дни 1972-го, в солнечном ослеплении, в зените расцвета, была подобна этому уличному бахвалу из толпы. Она кичилась своим могуществом и богатством, шумела, ликовала. Если бы некий врач-великан сумел сде-

лать ее рентгеновский снимок, то лишь подтвердил бы здоровье исполинского организма. Крохотные островки-затемнения, зародыши болезней, не угрожали могучим жизненным силам. И вовсе уж ничего не значащим казалось самое, быть может, незначительное пятнышко: бессилие и тревога осмеиваемых уже и в анекдотах инженеров, людей в синих лабораторных халатах, таких же, какой носил Григорьев у себя в «клетушке».

В том году постигла Григорьева и неожиданная напасть: общественная работа. Сам виноват. Один раз пристали к нему с комсомольским поручением — не отмахнулся. Да не только не отмахнулся, а по дурацкой своей добросовестности взял и выполнил. Другой раз пристали — опять не отмахнулся и выполнил. А там — ахнуть не успел, как избран оказался в комитет комсомола, причем с самой пакостной обязанностью: возглавлять «Комсомольский прожектор».

Ох, как муторно было стоять по утрам в проходной вместе с охранниками и записывать фамилии своих же опаздывающих на работу сослуживцев, то огрызающихся на бегу, то откровенно смеющихся над тобой и твоим блокнотиком!

И уж совсем было тошно заседать в комиссии, проводившей «ленинский зачет». То есть, допытываться опять-таки от своих же знакомых, чьи дела без того известны, какие у них трудовые успехи и как они строят свою работу в свете последних решений партии. Выслушивать их раздраженные реплики: «Кончайте меня мурыжить, мне в цех надо!», «А меня на испытательной ждут!», «Эх, скорей бы двадцать восемь исполнилось, да выйти с вашего комсомола!» И самому думать с тоской: как хорошо было бы сейчас не в дурацкой комиссии сидеть, а у себя в «клетушке», замерять сопротивления и термостатировать новые образцы.

Однажды в конце июля того 1972 года, — Григорьев только забрался в «клетушку» и включил свои приборы, — позвонили из комитета комсомола. Велели оставить работу и отправляться домой. Отдохнуть, переодеться и к девяти вечера явиться на Пискарёвское кладбище, на митинг дружбы с Союзом свободной немецкой молодежи — комсомолом

ГДР. Почему так поздно? Потому что будет митинг с факелами. Форма одежды — белый верх, темный низ. Да, как у пионеров...

Белые ночи уже закончились, но в девять вечера было еще совсем светло. У ворот Пискарёвского кладбища, где собиралась толпа комсомольцев с разных предприятий, — парни в белых рубашках и темных брюках, девушки в белых блузках и темных юбках, — Григорьев неожиданно увидел Марика. Тот, оказывается, пришел от своего института.

На кладбище какие-то суетливые ребята с повязками долго расставляли их цепочками вдоль дорожек и в узких проходах между газонами. Похоже, откровенно тянули время, ждали, когда стемнеет. Всем раздали немецкие факелы — картонные трубки, пропитанные чем-то вроде селитры, и коробки спичек. От возни над могильной травой, над скошенными гранитными камнями, на которых чернели страшные цифры «1 9 4 2», становилось тоскливо и почему-то тревожно, словно в предчувствии худшего. Они с Мариком постарались оказаться рядом, на стыке между построениями их отрядов.

В половине одиннадцатого край неба на закате еще светлел, но всё же стемнело достаточно. Митинг начался. Позади статуи скорбящей Родины-матери, над гранитной стеной со строками Ольги Берггольц вспыхнули прожектора, и режущие лучи белого света ударили по центральным дорожкам кладбища, сразу отбросив стоявших по сторонам, как показалось, в настоящую тьму. Пробежала команда, по всему пространству цепочками зажглись огоньки сотен факелов — действительно эффектное зрелище! Из динамиков полилась траурная мелодия. По главной дорожке, тоже с факелами в руках, двинулись участники митинга. Они проходили в нескольких шагах от Григорьева и Марика.

Вначале проследовала делегация Союза свободной немецкой молодежи. Впереди — раскормленные сорокалетние мужчины в костюмах, при галстуках, с удивительно равнодушными лицами. Казалось, они спали на ходу с открытыми глазами. Факелы они несли перед собою в согнутых руках, как пивные кружки. За ними — стайка худых, длинноногих

девиц в мини-юбках. Эти — высоко вздымали факелы и шествовали в некоем подобии марша. Их движущиеся голые ляжки блестели в слепящей прожекторной подсветке.

Вслед за немцами нестройно тянулась группа каких-то наших деятелей, и среди них Григорьев неожиданно узнал героя боев на Даманском. Сразу вспомнилось вдохновенное лицо на газетных снимках трехлетней давности, где этот молодой старший лейтенант, в ушанке, с автоматом, увлекал в атаку своих бойцов. Теперь на нем был китель с погонами подполковника. Сверкала в прожекторном луче золотая звезда на груди. Он шел, удивительно похожий на тех немцев, что двигались перед ним, — такой же располневший, с выражением полного безразличия, почти отвращения к происходящему, а факел свой небрежно держал у плеча.

Через динамики стали транслировать выступления: какие-то возгласы, клятвы. Потом пустили кусок блокадной записи, сделанной под обстрелом, с воем и разрывами снарядов, с молодым голосом знаменитого ленинградского радиожурналиста Лазаря Маграчёва. Те, что росли под радиопередачи пятидесятых, помнили этот голос с детства. И, услышав его сейчас, Григорьев испытал новый прилив стыда. К кому обращался в будущее голос блокадных улиц, задыхающийся от волнения и гордости за Ленинград? К остановившейся толпе делегатов ССНМ и наших комсомольских начальников, чьи дремотные лица в лучах прожекторов блестели, точно смазанные жиром? Зачем всё это, зачем?!

Но самое стыдное и страшное ожидало впереди. То, чего нельзя было не предвидеть, и о чем никто не задумался. Митинг продолжался, а факелы — уже догорали, обжигая пальцы. Кто-то неподалеку первым бросил свой факел на землю. Ропот прокатился по цепочкам. Кажется, все мгновенно всё поняли и ощутили чувство, близкое к ужасу.

Григорьев взглянул на Марика. У того в дрожащем свете факела на сердитом темном личике блестели, как у негра, белки глаз.

Уже многие бросали факелы. Григорьев еще терпел, но обугленная, прогоревшая картонная трубка начинала рассыпаться, а огонь дошел почти до кончиков пальцев и жёг. На-

конец, он не выдержал, тоже бросил ее и поспешно затоптал хрустнувшие под ногой тлеющие лохмотья. И все вокруг — бросали и топтали. Исчезали в темной траве огоньки, разлетались по земле искры. На Пискарёвке, Господи!!

Наконец, митинг объявили законченным. Толпа хлынула с кладбища. Шли быстро и молча. Торопились уйти. В свете прожекторов, которые еще не выключили, видно было, что все дорожки и трава на могилах покрыты гарью и черными хлопьями растоптанных трубок. Шагали прямо по ним, шуршащим и потрескивающим под ногами.

Чей-то высокий, уверенный голос из темноты разносился над понурыми головами уходивших:

— Не волнуйтесь, всё сделают! Завтра школьников из пионерлагеря привезут, всё уберут, всё подчистят!

Было уже около полуночи. Каким-то чудом они с Мариком сумели не потерять друг друга. Вместе отошли от ворот кладбища. Закурили. Марик сказал:

— Как же домой теперь добираться? Транспорт уже почти не ходит.

— Пойдем к моим старикам, переночуем, — предложил Григорьев. — Здесь близко, за час дотопаем.

И они двинулись пешком вдоль темного Пискарёвского лесопарка. Оба никак не могли отойти от пережитого на кладбище.

— Глупо как, глупо! — сказал Григорьев.

— А ты еще умного чего-то ждешь? — проворчал Марик. — Я как чувствовал, до того не хотелось идти.

— Ну и не ходил бы.

— А куда денешься? Студенты у нас на каникулах. Вот и погнали всех, кого нашли, — аспирантов, сотрудников молодых, кто не в отпуске.

— А у меня, наверное, на Пискарёвке родные лежат, — сказал Григорьев. — Мать была в блокаде. С матерью жила, моей бабушкой, и с сестрой, моей теткой, значит. В феврале сорок второго, когда самый мор был, к сестре муж с фронта пришел, навестить. Пешком пришел, фронт рядом — за Автово. А жена его и теща, мои тетка и бабушка, мертвые в комнате лежат. Одна моя мать под тряпками шевелится.

Он ей хлеба дал, сколько мог, а с мертвыми что делать? Сам от голода шатается, и в часть возвращаться нужно. Только и сумел вместе с моей матерью стащить их по лестнице и положить на улице, чтоб похоронщики подобрали. И пошел обратно на фронт. Потом погиб.

— И у меня здесь мать в блокаду была, — сказал Марик. — Эвакуировалась в мае сорок второго, через Ладогу, на барже. Их бомбили. Мать до сих пор говорит: когда видит большое водное пространство — хоть Финский залив, хоть даже Волгу — сразу у нее чувство слабости, до дурноты. Не голода, не страха — только слабости. Голова у нее кружится. Судьба... Говорят, выживали в ту зиму только те, кто сопротивлялся. А мать нисколько за жизнь не цеплялась, даже хотела умереть. И выжила. Одна из всей ленинградской родни.

— Почему — умереть хотела? — изумился Григорьев.

— Из-за детей, — сказал Марик, — братьев моих старших. Она их за две недели до войны сама в Невель отвезла. К деду с бабкой, к родителям отца.

— Так у тебя старшие братья были?

— Были. Одному семь лет, другому — четыре. Всего одна фотография сохранилась. Оба стриженые, в матросках. Друг на друга похожи и на меня маленького. Мама говорит, долго думали с отцом, куда их на лето отправить — в Невель или к ее родне на Волгу, в Горьковскую область. Но там ее сестры в колхозе совсем бедно жили, а невельский дед корову держал. Решили — к нему, на парное молочко. А это Псковщина, рядом с Белоруссией. Немцы туда за несколько дней прикатились... — голос у Марика был скучный. — Объясни, где мы идем?

— По проспекту Непокоренных, в сторону площади Мужества, — ответил Григорьев и сам удивился, как трудно оказалось выговорить эти давно привычные ленинградские названия, как странно они сейчас прозвучали. Осторожно спросил: — Погибли братья.

— Расстреляли, конечно. Сразу же. Это у немцев первая забота была. Всех евреев в городке собрали и расстреляли в лесу. И деда с бабкой моих, и ребятишек. Мама говорит, казнилась, что метрики им не оставила. В метриках сказано,

что у них мать — русская. Да разве помогло бы... А дедову корову сосед подобрал. К корове немцы претензий не имели. Отец сразу после войны, еще и не демобилизовался, приезжал в Невель. Сосед ему всё рассказал, корову предлагал вернуть. Отец отказался.

Григорьев вспомнил, как они ходили в Артиллерийский музей. Там среди множества других орудий стояли автоматические тонкоствольные зенитки, иногда со звездочками на стволах, обозначавшими число сбитых самолетов. Марик всегда хоть раз да показывал на одну из них: «Вот на такой воевал мой отец!» А Григорьев дожидался, пока они спустятся в отдельный зал «Артиллерии большой и особой мощности» и там указывал на громадную пушку, похожую на черную стальную колонну, возложенную на лафет величиной с избу: «А мой — вот на такой!» Это они точно знали: на каких пушках воевали отцы.

— Почему ты раньше никогда о братьях не рассказывал? — спросил он.

Марик ответил не сразу:

— Да что рассказывать. Мне самому было тринадцать лет, когда узнал. Отец показал фотографию. И справочку об их расстреле. В невельском исполкоме выдали, тогда, осенью сорок пятого. Серая такая полоска бумажная, буквы на машинке вкривь да вкось... — Еще помолчал и выговорил: — Получается, меня родили на смену тем двоим. Тряслись надо мной в детстве. Я-то не понимал, почему другим детям что-то можно — по заборам лазить, купаться где угодно, — а мне нельзя. Сердился.

— Зверье, — сказал Григорьев, — какое зверье! РАССТРЕЛИВАТЬ ДЕТЕЙ!

— Ну, а что ж ты хочешь? — ответил Марик. — Вспомни геометрию. Всё дело в начальном постулате. Если только предположить, что все люди от рождения друг другу не равны, — в чем угодно не равны, хоть немножечко, — дальше само поехало. Цепочка простейших теорем по Евклиду-Киселеву. От доказательства к доказательству, с конечным выводом: надо расстреливать детей. Как же иначе.

— Оттого что у безумия своя логика и свои Евклиды, оно безумием быть не перестанет... Семь и четыре, говоришь? Значит, сколько им было бы сейчас?

— Тридцать восемь и тридцать пять, — ответил Марик. — Это я всегда помню: в каком году сколько им лет.

Долго шли молча. Потом Григорьев не выдержал:

— Я вот думаю, Тёма: как бы мы жили, если бы те наши близкие не погибли? И потому, что они погибли, мы должны как-то особенно жить. Разумно. Иначе выйдет, что они погибли бессмысленно!

— Как ты представляешь это «разумно»? — спросил Марик из темноты.

— Не знаю. Только не так, как сегодня. Взяли и своими руками их могилы загадили. Тоже безумие.

Они шли уже по Новороссийской, вдоль парка Лесотехнической академии. С левой стороны шумел и колыхался под ветром черный лес, с правой — тянулась обычная городская улица. В домах почти не было огней. Мимо них по пустому асфальту промчался с неистовой скоростью одичалый темный троллейбус.

— А помнишь, — сказал Григорьев, — как ты совсем недавно о бессмертии рассуждал и галактических полетах? Всего четыре года назад, так?

Марик ответил не сразу. Помолчал. Потом сказал из темноты:

— Пять. Почти пять лет прошло. Я у Колесникова только работать начинал... Ну что ж, иллюзии всему нашему поколению были свойственны. А вот быстрота избавления от иллюзий — это, если хочешь, единственное преимущество еврейского происхождения.

— Ладно тебе! Происхождение... Расскажи лучше, что с диссертацией?

— Делаю, — отозвался Марик. — Видишь, летом, во время отпуска сижу. Потому что сейчас ЭВМ свободна, можно свои программы прогонять. Делаю и стараюсь ни о чем больше не думать. Хотя, кафедра давит, конечно.

— Нина мне говорила: «Это у вас в НИИ работают на государство. На кафедре работают либо на кого-то, либо на себя».

— Твоя Нина так говорит? — почему-то удивился Марик.

— Не сама, наверное, с чьих-то слов. Да ясно и так. С диссертациями у нас — разврат настоящий. Не должно такого быть, чтобы в науку шли за длинным рублем!

Слева шумели в ночи деревья парка. На правой стороне, перед студенческим общежитием, стояли несколько парней и девушек. Вспыхивали огоньки их сигарет. Они громко разговаривали, смеялись. И голоса их гулко катились по пустой, бесконечной улице, между черной стеной леса и темными домами.

Марик угрюмо сказал:

— Ты всё мечтаешь о каком-то повороте к разумному. А я после того распределения, где над Сашкой издевались, уж сколько лет худшего только жду. Какого-то обвала... И вот что странно: казалось бы, умом понимаю — чего ждать? Раз шабаш этот поднялся с «пятыми пунктами», вот он и есть обвал. А внутри что-то сопротивляется: еще не чувствую его до конца, еще — нет. Потом — Чехословакия. Обвал же, обвал! А в душе опять: нет, еще нет. И так каждый раз. Что это, думаю: самообман, психика так защищается? А потом понял. Это моя работа, моя тема. Она меня держит. Пока я работаю, обвала нет, хотя бы для меня самого.

— Ну, уж работу у нас никто не отнимет! — сказал Григорьев. — Ты свой хомут тащишь, я — свой, Димка — свой. Кто на наши хомуты позарится?

Марик не ответил ему. Промолчал, шагая в темноте.

— 11 —

— Ну конечно, — сказала Аля. — Ты готов свалить всё хоть на эпоху. Прости, я не виноват, у нас всё поколение такое уродилось!

— Не передергивай мои слова, — попросил он.

Хотелось сказать что-то резкое, прогнать её, остаться одному. Подступали темные, злые слова и слипались в горле,

непроизнесенные. Неужели все-таки хотел продлить расставание, до последней отпущенной минуты быть с ней? Господи, зачем?..

Лектор из райкома появился в 1973-м.

Григорьева накануне, к великой его радости, не избрали повторно в комитет комсомола. Другого нашли, того, кто сам рвался посветить «Прожектором». Наверное, парень хотел проложить себе дорогу в партию, куда инженеров принимали ой как неохотно, если — пока не проскочил возрастной рубеж — не отличишься на комсомольских делах. Ну и в добрый час! Главное, что его, Григорьева, отпустили, отпустили! Но требовалось взять какую-то уже постоянную общественную нагрузку, без нее нельзя. Он записался в политинформаторы.

Дважды в месяц стал ходить на лекции в кабинет политпросвещения при парткоме. Если, конечно, не был в отъезде. Осточертевшие уже командировки по старым изделиям вырывали уйму времени. А в этом году заканчивалась его собственная тема по плёнкам. Наверстывал. Обычно засиживался в своей «клетушке» до вечера. Бесили звонки из охраны: «Почему не сдан пропуск? Почему в окне горит свет? Есть ли разрешение задержаться?» Огрызался, бросал трубку и продолжал работать.

В «клетушке» он не чувствовал усталости. Здесь, на десятке квадратных метров, не просто теснились столы с приборами. Здесь его собственный мирок, им самим созданный за три года и только ему подвластный, жил своей жизнью. Гудела вентиляция в вытяжном шкафу, и веявшие в нескончаемом сквозняке запахи смол и растворителей казались даже приятными. Тарахтела шаровая мельничка, в ее барабане бились, позванивали стальные шарики, размалывали в растворе смолы крупинки токопроводящего наполнителя. Пыхтел, стучал, причмокивал маслом насос вакуумного термостата. Светился зеленоватый глазок аналитических весов. И рядом, под рукой ждали, когда их позовут, приборы-собеседники и приборы-судьи.

Когда-то, десятилетними мальчишками, они любили заходить в комиссионные магазины. Разглядывали издалека диковинные фотоаппараты и с особым восхищением — старинные микроскопы, медные, гравированные узорами. (Бог знает, кто их тогда, в Ленинграде пятидесятых, продавал и кто покупал!) И вот теперь у него на столике два микроскопа: строгий и черный, как дипломат во фраке, тысячекратный биологический, а рядом — стереоскопический МССО с измерительной шкалой и ослепляющей в полутьме подсветкой. Вот выстроились в ряд, по росту, омметры — от школьного ММВ, торопливого и легкомысленного, в пластмассовой коробочке, до огромного сверхточного МО-61 в стальном чемодане. И еще — измеритель емкостей, осциллограф, амперметры, вольтметры, генераторы импульсов. И несколько прогнувшихся полок, забитых книгами, справочниками, научными журналами — законы царства, его история, философия, публицистика.

Усталость настигала сразу, как только, закончив работу, он выходил и запирал дверь «клетушки»: тяжелым рысьим прыжком наваливалась на плечи. Тело становилось ватным. Он брел в сумерках к проходной. На пустой территории не встречалось ни души, опечатанные здания стояли темные. Только в одном цеховом корпусе, где работала вечерняя смена, светились окна, гудели вентиляторы и повизгивали металлом станки. Разожженный мозг, отделенный от вялого тела, еще перемалывал добытые цифры, неожиданные зависимости, проглянувшие в изломах графиков.

Советоваться было не с кем. Звал, звал к себе Виноградова, тот обещал, обещал прийти, и всё не приходил, а потом, виновато улыбаясь, разводил руками: текучка заела, проклятая, всё что-то валится на голову срочное-сверхсрочное, никак не вырваться к науке.

Зато Виноградов не отдавал его больше в поездки в подшефный совхоз. Другие сотрудники, недовольные (кому охота бросать на полмесяца свои горящие дела и отправляться то пропалывать брюкву летом, то вытаскивать ее, созревшую, из осенней грязи!), пытались возражать: «Почему снова меня? Вон, Григорьев еще в этом году не ездил!» Но Ви-

ноградов резко отвечал: «Григорьева не трогать! У него работы полно!» И даже на овощную базу — ежемесячную повинность всего отдела день-два перебирать заплесневевшую морковку или подгнившие яблоки — без крайней необходимости старался его не посылать.

Едва у Григорьева прошел трехлетний срок распределения, Виноградов тут же пробил для него повышение оклада. Теперь Григорьев получал сто тридцать рублей, а со всеми премиями набегало сто семьдесят. Деньги немалые. Больше, чем зарабатывала Нина. Хоть на какое-то время, пока она не защитила диссертацию, — все-таки больше. Это не только утешало его мужское самолюбие, это было спасением. Цены росли, росли. Женские сапоги-чулки, — новая и, на его взгляд, нелепая мода, — стоили сотню. За очередную квартирку, которую он снимал, платить приходилось уже шестьдесят. Правда, мытарства с жильем заканчивались: у Нины в институте подходила очередь на «кооператив». Но за однокомнатную кооперативную квартиру выложить предстояло такую астрономическую сумму, что при одной мысли об этом начиналась зубная боль.

У Нины тоже наступали горячие дни. Еще в прошлом году она приходила домой рано, в хорошем настроении. Весело рассказывала о новостях кафедры. Григорьев слушал и даже завидовал насыщенной легкости ее жизни. В мирке двух институтских коридоров, в двух десятках лабораторных комнат и кабинетов, среди полусотни людей, как в закупоренном вертящемся калейдоскопе, возникало столько интересных ситуаций! И всё было так комфортно, так по-домашнему уютно. Здесь тоже стремились достигнуть цели, но цель всегда лежала внутри самого мирка — статья, ученая степень, должность. Здесь тоже шла борьба, и часто — по масштабам мирка — не на жизнь, а на смерть, но и она походила на фехтование внутри огороженной площадки.

Однако грянул и для Нины час пик. Теперь, когда до защиты диссертации оставались считанные месяцы, она работала на кафедре допоздна. Как ни засиживался он в своей «клетушке», всё равно обычно возвращался раньше и успевал приготовить ужин до ее прихода. Она появлялась совсем замученная: бескровно-бледное лицо, синеватые тени под

глазами. Даже говорила с трудом и почти не хотела есть. Сердилась, если он пристально смотрел на нее, такую милую в этой усталости и такую от него отдаленную. Он успокаивал себя: всё нормально. Просто у них, у обоих, трудное время, надо его пережить.

О себе он, впрочем, догадывался: у него, скорей всего, ничего уже не изменится... Всю жизнь просидеть в «клетушке»? А почему нет, что тут плохого? Может быть, и Нина в конце концов это поймет. А сейчас ей было не до него. И как-то так вышло, что им обоим стало не до Алёнки, оказавшейся в итоге на руках у тещи.

Он привозил из каждой командировки ворох ярких игрушек, спешил развлекать и ласкать малышку. Девочка с любопытством смотрела на него лучистыми голубыми глазами Нины. Он пугался: чужой, чужой! Ему казалось, он сам виноват в том, что не отыскивает в душе каких-то особенных, отцовских чувств к дочери. Он читал ей книжки, разыгрывал в лицах и даже с песенками «Кошкин дом»:

Выйдет кошка на прогулку,
Да пройдет по переулку —
Смотрят люди, не дыша:
До чего же хороша!

Алёнка тихо слушала, и ему всё казалось, что она, двухлетняя, думает о своем. Как Нина.

А лектор из райкома был молод — лет тридцати, не больше. Невысокий, изрядно полноватый, с круглым лицом, коротенькой стрижкой, с насмешливыми темными глазами. В кабинете политпросвещения, небольшом зальчике, собирались три-четыре десятка политинформаторов из цехов и отделов. Григорьев всегда старался сесть в последнем ряду. По соседству обычно пристраивался Сашка Линник.

В первых рядах усаживались самые возбудимые политинформаторы — старички из военных отставников. Эти были всегда недовольны всем, и происходящими на свете событиями, и тем, что лектор, по их мнению, слишком мало

сообщает, не намного больше газетного. А приходили именно за вожделенным негласным, тем, что нельзя напечатать, а можно лишь сообщить вот так, доверительно, своим.

Григорьев очень хотел слушать. Но стоило ему сесть, как усталость добивала и он проваливался в сон. Круглое лицо лектора начинало мячиком прыгать перед глазами, возноситься куда-то ввысь, словно он сам тонул в темном, теплом море. Ах, как было неловко! И как обидно: он погружался, а там, над морем, говорили о чем-то очень интересном. Обрывочные всплески фраз доносились к нему в глубину. Да ведь говорят о Брежневе!..

Как раз этой весной 1973-го грянул неистовый колокольный звон — генсеку присудили Ленинскую премию за укрепление мира. Тут же — кампания обмена партбилетов. Брежнев выписал Ленину, вечно живому, партбилет номер один. Всеобщее умиление. А вслед за этим — фанфары и литавры: самому генсеку выписан билет номер два. Что за наваждение! До сих пор к Брежневу относились спокойно. Сперва он и вовсе был заслонен Косыгиным, потом стал в глазах людей равным среди трех руководителей, потом, постепенно, — первым из трех. Всё шло не то чтоб с излишней скромностью, но в каких-то рамочках, пристойно. И вдруг — нескончаемый трезвон газет, радио, телевидения, и в ответ — мгновенный возмущенный ропот: «Да это что же — новый культ? Рехнулись?!»

Он опускался всё дальше в глубину, теплая темная вода целительно увлажняла иссушенный мозг. Какая-то рыба, проплывая, толкнулась ему в бок. Или это Сашка Линник пихает его локтем, чтобы не всхрапывал?..

«Новый культ? Рехнулись?!» — Это спросил кто-то из сердитых старичков. Голос лектора, словно длинный бич, хлестал сверху по поверхности теплого моря. Григорьев отчаянно забарахтался в своей глубине — всплыть, услышать ответ. Он вынырнул — к воздуху, к яркому свету, к мгновенно вернувшейся сухой головной боли, и его резко стегнули слова:

— ...уважать себя! Были у нас в истории съезды с откровениями безобразными, с покаяниями. Ничего хорошего, конечно, из этого получиться не могло. Человек живет среди

людей, а государство — среди других государств. Мы в человечестве живем! И если ты сам перед всеми одежды раздираешь, плачешь и вопишь: «Ах, я несчастный! Отец у меня разбойник, негодяй, а мать, вообще, прости господи!» — как станут люди к тебе относиться? Да только...

Голос опять уплывал вверх, слабел, размывался. В затопившем темном потоке разбегались цветными искрами осколочки яви. Он снова читал Алёнке Маршака:

Эй, пожарная бригада,
Поторапливаться надо!
Запрягайте десять пар,
Едем, едем на пожар!
Поскорей, без проволочки,
Наливайте воду в бочки!
Тили-тили-тили бом,
Загорелся кошкин дом!..

1973 год. Крохотное объявленьице в траурной рамочке, закатившееся в нижний угол расклеенной на улице «Ленинградской правды». Они с Ниной проходили мимо. Он не понял, почему темный квадратик с силой притянул взгляд. Выпустил руку Нины, шагнул к газете, наклонился — и давно забытое имя взлетело черной ракетой.

Взлетело из-за того горизонта, за которым скрылись чадные коммуналки, молодые фронтовики, чистенький и тихий Ленинград, тетради в косую линейку, ручки-вставочки и чернильницы в партах, школьные гимнастерочки из легко протиравшейся фланельки, Жюль Верн и Беляев, громовые серебряные стрелы «МИГ-пятнадцатых» над пионерскими лагерями, громоздкие телевизоры с крохотными живыми экранчиками и предчувствие всей жизни впереди, нетронутой, огромной. Взлетело — и, оставляя темный след, скатилось уже навсегда за тот горизонт. И в безразличном своем вращении чуть провернулась Земля, еще больше его отдаляя.

— Ах ты, черт! — сказал он. — Ах, как жалко! Зименко умер!

— А кто это? — спросила Нина.

— ... разрядка! — стегнул голос лектора. — Авторитет Леонида Ильича!..

Разлепить глаза, удержаться на поверхности воды, не заснуть! Сопротивляясь погружению, он поводил головой, цеплялся взглядом за фигуры других политинформаторов. (Какие молодцы, склонились над блокнотами, записывают! А он — нет. Ну ничего, он всё запомнит, только не засыпать, не засыпать!)

Тело, налитое ртутью, затягивало в глубину. Не давать глазам слипаться! Смотреть резко и четко! Вот — хотя бы на портрет Ленина, или на портреты молодых, ясноглазых Брежнева, Косыгина, Подгорного. А пониже — небольшой фотоплакат, портреты членов и кандидатов в члены Политбюро. Одна клеточка заклеена бумажным квадратиком. А-а, наверное, Шелест! Говорят, сняли за украинский национализм. Чуть ли не выгонял с работы русских. Неужели такое возможно? Старички после того пленума приставали к лектору, и он ответил с усмешкой, но строгим голосом: «А те, кто слишком усердствовал по части "ридной мовы" и забывал, что Москва — всему голова, те со своих постов и ЗАШЕЛЕСТЕЛИ!..»

В глазах всё опять размывалось. Теплые полупрозрачные струи заливали, топили, темнели над головой. Не засыпать, не засыпать! К поверхности, к свету и воздуху, под голос лектора.

—... инициативы Леонида Ильича! Наше мирное наступление! Как заявил Леонид Ильич, нынешняя разрядка — это не временное явление, а начало фундаментальной перестройки международных отношений...

Да, разрядка — это здорово! Еще три года назад кто бы мог такое представить! В прошлом году Никсон прилетел в Москву и в Ленинград, в этом году Брежнев был с визитом в Вашингтоне. Ратифицировали ОСВ-1, отказались от противоракетной обороны, начали переговоры по ОСВ-2. Тут Брежнев молодец, ничего не скажешь.

Интересно, что в курилке предприятия, где сходились и инженеры, и рабочие, в разговорах о политике у многих нечаянно прорывалось вместо ОСВ словечко СОЛТ — анг-

лийское сокращение «ограничения стратегических вооружений». Почти все слушали «Голос Америки», «Би-би-си», «Немецкую волну», «Французское радио». Их сейчас опять не забивали, слышно было очень хорошо. Оттуда и СОЛТ.

Григорьев тоже слушал. Нина раздумала покупать сапоги-чулки: из-за диссертации стало ей пока не до обновок. На скопленную сотню он и купил транзисторный «ВЭФ». Поднимался утром по будильнику в шесть, тихонько разогревал на кухне завтрак себе и Нине, — она вставала на час позже, — и слушал за едой, закрутив регулятор громкости «ВЭФа» до еле слышного попискивания. Боялся разбудить Нину. Да и на лестнице сквозь тоненькую дверь могли услыхать. Вообще, никто не признавался, что слушает. Если хотели что-то рассказать, всегда ссылались: мол, один знакомый говорил, который слушал...

Не засыпать, сейчас не засыпать, слушать лектора! Прямо перед Григорьевым склонилась над блокнотиком первая женщина предприятия, надменная тридцатилетняя красавица-великанша Люба Шестопалова. Она и вправду была бы очень красива, если бы всё в ней не было так преувеличено: большая голова с гривой медных волос, лепные черты лица, зеленоватые с искорками ярости глаза, борцовские плечи, большие и толстые, хоть и прекрасной формы, ноги, круп слонихи и умопомрачительный бюст. Когда Люба проходила по территории, — вскинув горделивую голову, ни на кого не глядя, ступая тяжеловесно, хотя и с удивительной для такой мощи грациозностью, — покачивались полушария ее бедер, слегка приподнимались и опускались могучие плечи, и только бюст, который она как будто несла перед собой, сохранял неподвижность, даже не вздрагивал. Григорьеву он напоминал башню старинного броненосца с двумя слегка конусообразными дулами крупнокалиберных пушек.

Мужчины в курилке часто обсуждали фигуру Любы, и бюст занимал мужские умы больше, чем все остальные части ее тела. Подлинность размеров сомнений не вызывала, но скептики утверждали, что природа не способна придать нежной женской плоти такую чугунность, и что Люба пользуется какими-то особенными лифчиками. Из числа молодых

специалистов находились добровольцы на прямой эксперимент: столкнуться с Любой где-нибудь в узком коридоре или привалиться к ее груди в столовской очереди и закрыть, наконец, вопрос. Но едва доходило до дела, решимость испарялась. Отпугивало надменно-скульптурное лицо Любы с гневными искрами в глазах. Казалось, ее огромное тело окружено невидимой броней ярости и презрения к роившимся вокруг насекомым-мужчинам. Говорили, что муж Любы меньше ее ростом и тощенький, бедняга, она троих таких смогла бы заслонить. Доходяге-мужу и завидовали, и сочувствовали. Над ним и посмеивались: не справляется с обязанностями. Детей у Любы не было.

Сейчас она сидела прямо перед Григорьевым, и его овевал потоками запах ее духов, ароматного лака для волос, горячего пота, источаемого могучим телом. На крутой, широкой спине Любы под «молнией» платья бугорком проступала застежка бюстгальтера. Григорьев, поглядывая из своего полусна, представил, что произойдет, если каким-то чудом тихо-тихо, незаметно для Любы раскрыть «молнию» и внезапно расстегнуть эту застежку. Как она вскинется и вскрикнет, и как мгновенно, словно гири, обвалятся под платьем вниз ее освобожденные груди!.. От этих дурацких мыслей он даже почувствовал прилив возбуждения, и ему стало смешно: взрослый мужик, двадцать шесть лет, отец семейства, а лезет в голову такая чушь! Как мальчишка, ей-богу, как мальчишка.

И вдруг — изнутри к горлу — стеснил дыхание такой толчок тоски и тревоги, что он вылетел из своей полудремоты. Отец семейства! Эти странные отношения с Ниной, разве похожи они на семейную жизнь мужа с женой? Это странное отцовство, этот взгляд Алёнки при каждом его появлении — как на незнакомого...

— ... Парижские соглашения, — говорил лектор, и голос у него был сейчас дружески-укоризненный, словно он напоминал о том, что его слушатели непростительно легко готовы позабыть, — восстановление мира во Вьетнаме!

Старички впереди закивали, и Григорьев невольно кивнул, и даже у Любы Шестопаловой чуть шевельнулась медная грива, обозначая легкий наклон головы. Да, нескончае-

мая война, с которой выросло их поколение, иссякла. Еще идут бои на Юге и в Камбодже, но Северный Вьетнам после страшной спазмы прошлогодних «рождественских» бомбардировок американцы больше не трогают. Устали. Весь мир устал. Вот как теперь кончаются войны: не победой, не поражением — усталостью.

— ...Наш бывший друг, король Мухаммед Захир Шах... — лектора, видно, смешило это выражение, и он повторил: — бывший лучший друг. Отрекся, бедняга, от престола. Сам признал, что весь афганский народ — за республиканский режим. Так что, ветры обновления...

Да, в Афганистане что-то вроде революции. Ну и бог с ним, с Афганистаном, что с королем, что без короля. Кому это интересно?

— ...Тревога всего мира. Тревога и надежда всех прогрессивных сил на планете! — лектор покачал круглой головой. При его короткой шее и толстых плечах это выглядело так, словно колобок с глазами-изюминами провернулся в ямке. О чем это он? А-а, понятно, о Чили: — Провокаторы и саботажники нагнетают напряженность! Забастовки, взрывы на дорогах! Срывают перевозки, стараются вызвать голод и панику...

Да, Сальвадору Альенде тяжко приходится. Удержатся ли демократы? Вон, за спиной лектора, на карте мира это самое Чили. Другого и государства нет с такой нелепой территорией — узенькая желтая полоска, словно кайма по краешку южноамериканского материка.

Правильно: чтобы не засыпать, надо смотреть на карту! Что может быть интересней карты? Но в теплую глубину затягивало неодолимо. Захлестывал поток. Карта растрескивалась. Желтые, светло-коричневые, зеленые, красноватые страны, голубые пятна океанов и морей, белые полярные шапки, точно цветные осколки в калейдоскопе, начинали пересыпаться под нарастающую тягучую мелодию.

Какая же мелодия была у 1973 года? Вначале — эта, из «Семнадцати мгновений весны». Сериал вечер за вечером смотрели взахлеб, хоть многое смешило сразу. И безукоризненная элегантность Штирлица-Тихонова среди бомбежек

и гестаповских ужасов. И Юрий Визбор в роли Бормана, безуспешно пытающийся напустить на свою добродушную физиономию нацистскую мрачность. И бесстрашная радистка, прячущаяся от преследователей с двумя грудными младенцами на руках (хоть бы один заплакал!). А схлынул с экранов сериал, и в первый момент, кажется, задержались в воздухе только деловитое присловье Копеляна «информация к размышлению», да хлесткое, как оплеуха, словцо «партайгеноссе», да эта прошедшая за кадром песня, ее пронзительный мотив: «Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня...»

Но она не осталась мелодией года, ее вытеснила песня из того бразильского фильма — «Генералы песчаных карьеров». Она тоже шла за кадром, за ослепительным экранным сиянием чужого тропического неба, чужой океанской голубизны, нестерпимо яркой зелени. И всё равно: казалось, видны губы певца, не лицо его даже, а только шевелящиеся большие, вывороченные мулатские губы. И страдающий густой баритон, тягучая распевная жалоба на непредставимо чужом языке вдруг отзывались чем-то тревожно-близким для русского слуха, для совсем другой жизни под холодным белёсым небом...

А Исаакий снова потемнел. И долгих десятилетий теперь для этого не потребовалось: выхлопы автомобилей и городской чад быстро сделали свое дело. Теперь уже всего за год вновь побурел пористый мрамор, почернел полированный гранит колонн, потускнела, пошла грязно-зелеными потеками гладкая бронза скульптур. И, вновь налившись стотысячетонной тяжестью, вдавилась темная махина собора в мягкую невскую землю.

И снова, осенью семьдесят третьего, они с Мариком шли вслед за Димкой по каким-то полутемным коридорам. Туда, где сразу с порога большой мастерской раздражал глаза и ноздри застоялый запах растворителей, скипидара, костного клея. Везде валялись перепачканные красками тряпки и обрезки картона. В одном углу желтела внушительная горка заметенных стружек. В центре комнаты стоял довольно

узкий шкаф высотой в человеческий рост с темным застекленным окном в передней стенке.

— Называется «Преображенный край», — объявил Димка.

— Был уже «Преображенный край», — удивился Григорьев. — К столетию Ленина.

— Ну и что? Двадцать раз уже был! Заказчиков много, а название хорошее.

Димка щелкнул выключателем на боковой стенке шкафа. Внутри загудели мощные лампы. Окно стало раскаляться желто-оранжевым светом, словно приоткрылась топка печи. Казалось даже, что от окошка повеяло жаром. За стеклом простерлась пустыня. Мертво застывшие волны песка, на переднем плане реальные до жгучести, до шуршания и скрипа на зубах, почти незаметно переходили в рисованную неживую зыбь до самого горизонта, где сплавлялись с выцветшим от зноя желтоватым небом.

— Это, значит, до преображения, — сказал Димка. — Теперь строим гелиостанцию, бурим артезианские скважины — и всё ладушки. Солнце дает ток, ток вертит насосы, насосы качают воду. Гоп!

Он опять щелкнул боковыми выключателями. Желто-оранжевое пламя стало меркнуть, меркнуть. Но в тот момент, когда на стекле еще не совсем угасло свечение, сквозь него ударили разгорающимся узором пучки разноцветных лучей, и через несколько секунд пробужденная пустыня сияла за окном сочными красками. На переднем плане протянулись постройки гелиостанции с ячеистыми панелями солнечных батарей, похожими на пчелиные соты. Вокруг бушевала зелень. Влажные травинки у самого стекла, казалось, можно потрогать руками, а дальше теснились кусты, ряды пышных деревьев. Проглядывали среди листвы сахарно-белые домики. Зеленый разлив дотягивался почти до горизонта, и только там, на границе с голубым небом, его окаймляла мертвенно-желтая полоска отступивших песков.

— Фу ты, черт! — выдохнул Марик. — Прямо волшебство! Как вы это делаете? Зеркала?

— Зеркала, — сказал Димка.

— Ты придумал?

— Почему — я? Штука известная. Говорят, еще в Древнем Египте жрецы своих верующих такими чудесами дурили.

— Но сделал всё — ты?

— Шкаф столяры сделали. Подсветку и зеркальную систему — электрики. А так, конечно, всё сам, и предметные планы, и живописные. Я бы никого и не пустил мешаться! — Димка щелкнул выключателем. Гудение стихло, солнечный оазис начал меркнуть и угас за темным стеклом. — А то еще лампы сгорят к едрене-фене перед самой сдачей.

— Это для какого музея? — спросил Григорьев.

— Это не для музея. Аллигаторы заказали. Мелиораторы. Для выставки. Повезут братьям-пустынникам показывать. В Алжир или в Тунис. Реклама.

Димка отошел к ободранному столу, заляпанному красками и клеем, стал вытаскивать из-под него табуретки.

— Садитесь, глобусы! Как там кампания против пьянства, закончилась уже или нет? А то — дадим пьянству бой! — Его прищуренные зеленые глаза смотрели насмешливо, но за едкой веселостью чувствовалось раздражение. Он извлек из сумки бутылку коньяка, из ящика стола — три стакана. Пояснил: — «Старочки»-то не купить. Говорят, ее потому не выпускают, что никак решить не могут, по какой цене продавать. Ну ладно, мы пока вот клопоморчиком перебьемся.

Он передал бутылку Григорьеву: «Обезглавь!» А сам накрыл стол листом ослепительно белого ватмана, выложил на него большой кусок колбасы и полбуханки хлеба. Потянулся к полке с инструментами, среди рукоятей стамесок поймал и выдернул неожиданно огромный, бритвенной заточки нож. Сильными ударами нарубил колбасу и хлеб. Взял у Григорьева открытую бутылку, налил каждому чуть меньше, чем по полстакана, так что в бутылке осталась ровно половина. Оглядел стол и даже крякнул:

— О, натюрморт!

Действительно, снежная белизна ватмана, темный янтарь коньяка, розовая краска колбасных ломтей, коричневая теплота хлеба, зеркальный блеск ножевой стали — сошлись в диковатой и веселой цветовой гамме.

Димка взял стакан:

— Ну, глобусы, вздрогнули! За тех, кто в море, и в темнице, и в венерической больнице!

Выпили. Димка подтолкнул кусок колбасы сморщившемуся Марику. Спросил:

— Может, водички принести? Легче пойдет. — И вдруг посерьезнел: — Значит, понравился ящик?

— Конечно! Здорово! — сказал Григорьев.

— Замечательно! — кивнул Марик. — Ты такой молодец!

— Молодец. Против овец... — Димка помолчал. Потом взглянул на Григорьева: — А я ведь тоже в командировку летал, вроде тебя. С одним художником нашим летали эту самую гелиостанцию смотреть. Для натуры.

— В пустыню? — спросил Марик.

— Как сказать. Она от города недалеко построена, там пустыня только начинается. Ну, правда, песку до хрена... Ребята хорошие в этом институте работают: «О-о! Ленинградцы приехали!» Давай плов, давай шашлык. Бормотуха у них замечательная, только сладкая очень, как сироп. День бухаем, два бухаем, взмолились уже: везите, наконец, на площадку! Привезли. Смотрим: какой-то холмик песчаный. «Вот, — говорят, — наша гелиостанция, сейчас мы ее для вас откопаем». — Мы говорим: «Вы, ребята, наверное, не поняли. Нам действующую надо посмотреть». — «Да это и есть единственная действующая! Вы не думайте, мы ее для себя не откапываем просто потому, что бесполезно. Опять занесет. А для вас — счас отроем!» Лопаты у них фанерные, как для снега...

— Неужели сделать ничего нельзя? — удивился Марик.

— Вот я их тоже спрашивал. Они говорят: «Почему нельзя? Надо станцию строить настоящую, большую. И конструкция солнечных батарей другая нужна. У нас давно проекты готовы». — «Так в чем же дело?» — «Деньги нужны огромные, кто их даст. А если деньги дадут, кто изготовит? У нас же завода своего нету».

— Подожди, — сказал Григорьев, — так это что же, — он показал на шкаф с диорамой, — всё это липа получается, туфта?

Димка чуть приоткрыл в усмешке острые белые клыки. Взял бутылку и стал разливать остатки коньяка по стаканам:

— Грубо ты выражаешься. Тёма лучше сказал: волшебство! Как в Древнем Египте.

— Да как же это можно везти показывать! — возмутился Марик. — Вдруг там понравится и купить захотят!

— А ты за наших братьев-алжирцев не беспокойся. Никто им ничего плохого не продаст, потому что продавать нечего.

— Да кому это нужно? — не успокаивался Марик. — Смысл-то должен быть?!

— Смысла полно. От мелиораторов человечка два съездят на выставку, да от нашего комбината двое с ними попрутся ящик налаживать. Четыре человека за границей побывают, плохо ли? Сколько посмотрят, сколько шмоток привезут! Да еще план выполнят. По пропаганде наших достижений за рубежом. Тоже дело нужное.

— Тебя не посылают? — спросил Григорьев.

Димка чуть помедлил:

— Пока нет... — Он помолчал. Посмотрел на Марика, на Григорьева: — Ну, чего приуныли, глобусы? Думаете, мне приятно? Думаете, мне честной работы не хочется?

— А есть у вас честная работа? — спросил Григорьев.

— Бывают заказы.

— Какие?

— Ну, бывают. Вот, недавно «Сражение под Прохоровкой» сдали, к тридцатилетию Курской битвы. Сейчас в другой бригаде «Форсирование Днепра» клепают.

— Ну, война — понятно, — сказал Марик. — Еще-то хоть что-нибудь честное может у нас быть, господи?!

Димка пожал плечами:

— От железнодорожного музея занятный пришел заказ: «Строительство Транссибирской магистрали». Конец прошлого века, интересно.

— А ты можешь сам работу выбирать? — спросил Григорьев.

Димка поморщился:

— Сложно всё. Как вам объяснить? Когда небольшой ящик, я сам мастачу, что хочу. Никто ко мне не лезет, никто

работать не мешает. А здоровую диораму, конечно, бригадой лепят. Тут уж надо либо под кем-то выплясывать... либо — самому бригадиром становиться.

Он замолчал, засопел. Взял двумя руками стакан и завертел в пальцах, наблюдая, как всплескивает в граненом стекле коньяк. Отставил стакан и сказал неожиданно и резко:

— Я в партию вступаю!.. Ну что ты, Тёма, смотришь на меня? Вступаю!

— Заявление подал уже? — спросил Григорьев.

— Подал. Кандидат. — Димка нахмурился и заговорил свирепо: — Я из комсомола-то давно выбыл. Не стал после армии на учет становиться, и все дела. А тут парторг на меня сел цеховой. Надо ему побольше работяг принимать, а то художники его теребят. У художников очередь в партию, их берут по норме, на пять рабочих одного. Да с этим бы я его послал, он меня с другой стороны дотюкал: беспартийного за границу не пошлют, а главное — бригадиром не станешь, всю дорогу будешь под кем-то... — Он поглядел на Марика, на Григорьева: — Ну чего? Как будто у вас по-другому. Не мы с вами этот бардак развели, а жить-то и нам нужно. Что же я — хуже других? — он кивнул на шкаф с диорамой: — Я лучше! Так на хрен мне в мальчиках ходить, надоело!

Он взял стакан:

— Ну, ладно. Вздрогнули, глобусы! Дай боже, штоб усё було гоже!

...Шевелятся темные, толстые губы певца, и горестная песня на непонятном языке отзывается в душе, как в басовом камертоне, гудом тоски и тревоги. Откуда эта тревога 1973-го? Ведь всё есть — любимая семья, своя работа. Чего еще надо, что беспокоит?.. Нина и Алёнка? Но тут нужно терпение. Вот защитится Нина, вот будет у них, пусть еще через пару лет, но будет, наконец, своя квартирка.

Осточертел колокольный звон газет и телевидения? Так всем осточертел! «Голоса» взахлеб рассказывали о движении диссидентов. Свои газеты хором бранили клеветника Солженицына и антисоветчика Сахарова. Черт их всех разбе-

рет! Вроде понятно было, что диссиденты хотят лучшего. А всё равно, раздражали и они. Зачем же так резко — подпольная борьба, демонстрации, назойливость радиоголосов? Ведь можно работать, можно. Вот он — ездит в командировки, выручает заводы, а главное — сидит в «клетушке». Здесь его место, его борьба и долг. Больше он ничего не может сделать, но уж это — исполнит.

Он работает честно, так же как Марик, так же как хочет работать Димка. У него — хорошие результаты. Просто отличные! Надо уже писать отчет, надо продумать, как он выступит на научно-техническом совете. Доложит коротко, самое главное. Подготовит плакатики, таблицы. НИР закончена, в будущем году начнется ОКР, внедрение. Трудно придется, он понимает. Но ничего — пробьемся! Он никогда не будет, как те москвичи, заглядывать в глаза командированным и спрашивать: «А вы, действительно, возьмете наши разработки? Вы не пропадете, вы еще приедете?» С ним такого не случится!

И всё же — откуда это смятение?..

— ...Сахаров? — переспросил лектор.

Кажется, старички-отставники требовали объяснений. Григорьев очнулся и заерзал на скрипучем стуле, завертел головой, разгоняя сон. Такое нельзя было пропустить! Его разминка обеспокоила Любу Шестопалову. Она медленно повернула к нему скульптурную голову, зеленые глаза недовольно сверкнули. Но вдруг ее взгляд смягчился, роскошные яркие губы чуть тронула улыбка. Черт с ней! Слушать!

Лектор пожал плечами. Выдержал паузу, внимательно обведя глазами-изюминами аудиторию. Заговорил с холодноватой снисходительностью:

— Ну, о том, что мозговик, трижды герой, отец нашей бомбы термоядерной — все, наверное, в курсе?

Старички в первых рядах закивали седыми и лысыми головами.

— Значит, ЧТО интересует? — лектор опять потянул паузу.

В кабинете политпросвещения воцарилась напряженная тишина, только шелестели перевертываемые странички блокнотов.

— Да не надо записывать! — поморщился лектор. — Никаких материалов, кроме газетных, у меня по Сахарову нет. Ну, а если мое личное мнение... Конечно, не выдержал человек безвестности. Я — такой великий ум, я — гений, а никто про меня знать не знает! Возможно, ошибку допустили. Возможно, надо было его вовремя ПОКАЗАТЬ, как Курчатова. Глядишь, и не сорвался бы.

Политинформаторы спешно записывали. Могучая спина Любы чуть колыхалась — она тоже строчила в блокнотике. Почти все понимали, что сейчас лектор лжет, и лектор знал, что слушатели это понимают. Но он стоял перед ними, уверенный и слегка ироничный, а они с жадностью схватывали его слова, так хорошо всё объяснявшие. Пусть из неверной посылки, но сводившие просто и наглядно все концы с концами.

Григорьеву почему-то вдруг вспомнилась система Птолемея: неподвижная Земля в центре Вселенной, Солнце, кружащееся вокруг нее, эпициклы планет. Неверная посылка дала такую точность, что по Птолемею чуть не до конца девятнадцатого века исчисляли навигационные таблицы. Его система устраивала экономику, а экономика первична, бытиё определяет сознание. Тогда ради чего трудились и мучались Коперник, Бруно, Кеплер, Галилей? Ради непредставимых для них космических полетов через триста-четыреста лет? Для экономики и бытия Коперник должен был бы явиться только в начале двадцатого столетия. Тогда, когда явился уже Эйнштейн.

Ладно, бог с ним, с Коперником. А вот, что он сам станет говорить на политинформации в отделе про Сахарова? Повторять лектора? Противно! Лучше всего, вообще об этом промолчать. Достаточно будет сказать о Вьетнаме и разрядке.

— ...А теперь уже что, — голос лектора зазвучал насмешливей и резче, — теперь он до того доехал, что Пиночету поздравительную телеграмму послал. Трижды герой!

Пиночету?! А-а, значит, уже осень 1973-го и в Чили свершился уже военный переворот. Президент Альенде убит,

хунта Пиночета расправляется с народом. Газеты захлебывались криками о фашистском терроре. Стадионы в Чили превращены в концлагеря, демократов тысячами пытают и расстреливают. Поэту-певцу Виктору Хара отрубили руки прежде, чем убить. (Только представить, что руки отрубили бы Высоцкому или Визбору!) И странно: в негодующем крике газет потаенным отзвуком слышалось облегчение. Можно было кричать и протестовать искренне, против действительно чудовищного. Можно было искренне приветствовать то, что делает свое правительство. Григорьев тоже ощущал этот успокоительный отголосок в негодовании — всеобщем и своем собственном. Неужели Сахаров действительно поздравил Пиночета? Тогда — позор!

— Конечно, позор! — лектор кивнул и еще секунду-другую невесело покачивал головой, затухающими движениями, как игрушечный слоник без шеи: — Хотя с другой стороны и не знаешь, то ли осуждать его, то ли сочувствовать. При всем научном уме, человек — политически крайне наивный. Попал под влияние западной пропаганды, попал под влияние антисоветчицы-жены, — и чуть другим тоном, чуть тише, доверительней: — А она у него, между прочим, ЕВРЕЙКА...

Даже странички блокнотов перестали шелестеть. Даже стулья больше не скрипели.

— Сам-то он кто? — спросил из рядов слушателей мрачный голос: — Сахаров или Цуккерман?

Лектор усмехнулся. Помедлил, отыскивая глазами спрашивающего. Похоже, не нашел.

— Кажется, Сахаров... Но надо же учесть, в какой он среде обитался! Были времена, когда науке давалось много воли. Для решения атомной проблемы, ну и подобных всяких дел, — вы понимаете, товарищи, — приходилось многое терпеть, закрывать глаза. А наука — самостийничала. Вот и напропускали ФИЗИКОВ, вплоть до самой верхушки, до академиков. Все эти иоффе, ландау, векслеры, будкеры. И прочие зельдовичи-арцимовичи.

В кабинете — звенящая тишина.

— Надышался он от них, что ли? — спросил мрачный голос.

Лектор опять поискал по рядам взглядом, кто спрашивает. Пожал плечами:

— С кем поведешься... Вы же знаете, товарищи, как противники разрядки, провокаторы от сионизма и военно-промышленного комплекса, как они раздувают именно этот вопрос.

Вдруг показалось, что лектор чем-то похож на Димку. Какая чушь, что общего! А-а, вот в чем дело: вспомнилось димкино пожатие плечами, его неопределенная усмешка в трудном разговоре. Совсем как у лектора. Какое странное маленькое открытие!

Григорьев прикрыл глаза, припоминая другие лица, они замелькали как карты из колоды, и собственное лицо промелькнуло, будто увиденное со стороны. Усмешки, усмешки, приподнятие и опускание плеч, словно у кукол на шарнирах. Что за чертовщина! В итальянских фильмах всегда потешали стремительная мимика и жестикуляция героев: каждая быстрая фраза, каждый оттенок настроения успевали отразиться в выражениях лиц, движениях рук, пальцев. Это казалось чрезмерным. Но почему ж тогда у нас, наделенных богатейшим в мире языком, от всего естественного актерства, необходимого человеку для общения с другими людьми, только и остались усмешка да пожатие плечами?..

Верить ли в сахаровское поздравление Пиночету? Похоже, не врет «колобок». Не врет? Но ведь от того, что он сказал про академиков, так и понесло тухлятиной. Григорьев помнил, как много писали в начале шестидесятых и о Ландау, и о Векслере, построившем первый синхрофазотрон. А портретик Иоффе даже в школьном учебнике был: отец полупроводников. Никому тогда в голову не приходило задуматься, кто они по национальности. Ну, фамилии — и фамилии, мало ли какие фамилии у людей бывают. И уж тем более не могло прийти, что эти люди, гордость страны, какие-то ущербные, что их «терпят». В 1963-м это было бы бредом. Хотя, как раз в шестьдесят третьем их учительница предупреждала Марика, чтоб не пытался поступить в университет...

Ни хрена не поймешь! Понятно только, что лектор нечисто играет. Хотя насчет того, что вопрос раздувают, он вроде

опять прав. По всем «голосам» только и твердят про уезжающих евреев — кого выпускают, кого не выпускают. Слушать надоело. А сейчас при выезде стали от них требовать, чтоб возвращали плату за высшее образование, сумасшедшие деньги, чуть не десять тысяч рублей, — так передают, как эти деньги для них собирают по всему свету.

И наши не остаются в долгу, во всех газетах кричат про несчастных эмигрантов: поддались на обман сионистской пропаганды, уехали в Израиль и в Америку, вкусили капиталистических прелестей, а теперь рвутся назад, на родину, да уже сионисты их не пускают. И тоже как будто без обмана: в газетах фамилии называют, адреса. Даже фотографии публикуют этих бедняг, как стоят они с плакатиками «Верните нас домой!» у дверей советских консульств.

Вспомнился почему-то шестьдесят пятый год: счет сбитых вьетнамцами американских самолетов в газетах. Тогда шла война, бомбили Вьетнам. А теперь пришла разрядка. Вроде, мечта сбылась долгожданная. А один черт — всё смутно, всё бурлит, что-то разламывается. И отчего такая тревога?..

Осень 1973-го. Нина перебирала книги у него на столе. Никогда раньше не приглядывалась, что он притаскивает из Дома офицеров, а тут вдруг удивилась, даже надела очки:

— «Крестьянская война Кондратия Булавина», «Вавилон легендарный и Вавилон исторический», «Мемуары» Де Голля, «Панчо Вилья и мексиканская революция»... Господи, зачем тебе всё это? И когда ты успеваешь читать?

Что он мог ей ответить? Что вся нынешняя литература давно кажется фальшью и фальшью, только историческим книгам еще и веришь? И читая, не то что ищешь ответа или объяснения, а словно ждешь, что под массой прочитанного стихнет, успокоится тревога. А читать можно и в метро, и в трамвае, и за едой, и на лестничной площадке, куда он выходит из квартиры курить. Читает он быстро. Это у их поколения оттуда, из детства, из пятидесятых. Хотя, и Нина ведь оттуда...

— Тебе хочется закономерности, — сказал Марик.

Он тоже перебирал книги на столе у Григорьева. Нины, как обычно, не было дома. Григорьев заметил, что Марик похудел — втянулись выбритые до глянца черные щеки, заострился нос. Он вяло говорил, и взгляд выпуклых черных глаз тоже был вялым, всё куда-то в сторону, мимо:

— Такой закономерности, чтоб всю историю пронизывала. А знаешь, почему хочется? Потому что тебе кажется: если никакой закономерности нет, а есть только хаос, броуновское движение, возрастание энтропии, — то это единственную твою, неповторимую жизнь обесценивает. И получается она... — Марик сложил губы трубочкой, подбирая слово: — Получается она РАСТИТЕЛЬНОЙ.

— Ишь ты, какой психолог!

— А что? — сказал Марик. — Напрасно иронизируешь. — Он взял со стола книгу, прочитал заглавие: — Джеймс Кук, «Плавание на "Индевре"», — хмыкнул, отложил. — Ты вот всё исторические читаешь. А я, действительно, о психологии стал читать. Как глаза открылись. История — это уже следствие. А психология — са-амую суть высвечивает. И многое, вправду, оказывается так простенько... Вот, скажем, Сталина уж как Никита затоптал, а гляди: откопали, почистили — и люди на него в кино любуются. Не на Ленина любуются, а на этого людоеда усатого, хоть прекрасно знают, что людоед. А почему? Есть в психологии такое понятие: эффект отождествления. С Лениным, попробуй, отождести себя! Ленин, даже в кинофильмах, весь во внутренней мысли, и порыв его не угадать, и говорит неожиданное. А Сталин — весь во внешнем: усы, мундир, трубка, акцент. Мимика булыжника, изрекает банальности. Проще простого отождествиться и чуточку всемогущества ощутить.

Разговорившийся, Марик уже не казался вялым. Он взял следующую книгу:

— О, Клаузевиц! Сколько слышал про него, никогда не видел. — Раскрыл, полистал и вдруг замер: — Ого! «Нация, которая не отваживается смело говорить, еще менее того отважится смело действовать».

— Как ты это выхватил с одного взгляда? — засмеялся Григорьев. — Тоже психология?

— Распознавание образов, — серьезно ответил Марик, откладывая книгу. — А это что за «Философские дискуссии»?.. Джинса за мракобесие ругают? А, действительно мракобес: «Жизнь — это болезнь, которой начинает страдать материя на старости лет, когда, остывая, уже не может убить ее высокими температурами и сильными излучениями». — Марик покачал головой и взял следующую книгу: — «Вселенная. Жизнь. Разум». Что-о, этого года издание, семьдесят третьего?! Переработанное и дополненное? Неужели ОНИ еще разрешают такие книги издавать?

Кажется, впервые Григорьев услышал, как Марик сказал: ОНИ.

— Чему ты удивляешься, не понимаю. Нашим устоям она как будто не противоречит.

— Конечно, не противоречит, — фыркнул Марик. — С какой стати астрофизик Шкловский будет противоречить Брежневу или Суслову? Просто перед такими книгами вся их идеология — шаманство с бубном и погремушками.

Григорьев взял у него книгу. Закрыл. Сказал:

— Хватит о высоких материях. Лучше расскажи, что с диссертацией.

— Рассуждения о высоких материях, — ответил Марик, — дурная болезнь русской интеллигенции. Глупые разговоры, конечно. Еще глупей, чем о политике. Взглянуть на себя глазами Джинса-мракобеса — чистая забава: две инфузории в высыхающей лужице рассуждают о строении Океана. Или мы все-таки люди?

— Что с диссертацией, Тёма?

Марик опять стал вялым:

— Оформляю. Защита зимой, наверное. — Помолчал. Потом нехотя выговорил: — На кафедре сейчас паршиво. Колесникова клюют. Говорят, не по профилю работает. Кафедра, мол, инженеров готовит по производству и эксплуатации ЭВМ, а наша группа выпадает. Как один кафедральный туз выразился: погрязли в чистой науке... Плохо, что у Колесникова на будущий год пять лет кончаются.

— Какие пять лет?

— Сколько ему в доцентах ходить. Перевыборы будут. Он сейчас дерганый. — Марик опять помолчал. Вздохнул и сказал хмуро: — Выпивает старик иногда, я заметил. Говорят, ему уже намекали: тебе шестьдесят восемь, на конкурс не подавай, оставим старшим преподавателем. А нет — прокатим на ученом совете. У нас доцентских ставок — три на всю кафедру. А молодых со степенями, знаешь, сколько накопилось!

— А он что?

— Я слышал, не согласился, перелаялся. Конечно, лаборатория, тематика, всё может полететь... Главное, он сам ничего не рассказывает, но я же вижу, какой он ходит. Тут явился недавно вечером, я один сидел, опечатки в диссертации вычитывал, а он — выпивший немного. Смотрел, смотрел, и вдруг так заговорил... — Марик поморщился, как от зубной боли. — «Вот, мол, идей столько, а уже — годы. Вот, с любовью природа хорошо придумала. Пока молод — и горячее в тебе играет. Ох, говорит, я бешеным был, ох, бессовестным! Сколько слёз из-за меня пролили девки да бабёнки! А исполнил свое, продлил род — и гаснешь потихоньку, всё меньше тревожит телесная страсть. Почему ж с разумом природа так несправедливо сделала, что он только разгорается? И едва в полную силу войдешь, глядь, — а уже тебе и старость, и разум твой молодой — в теле ветшающем со всем его постыдством. Тут только соображаешь, что жизни не хватит. Какое там — двух, трех не хватит! Ненасытный он, разум, будь он проклят... Ах, говорит, несправедливо! Хоть с ума сойди, хоть в бога поверь!..»

— Что же будет-то? — спросил Григорьев.

— Не знаю, — ответил Марик. — Ничего не знаю. Обойдется, может быть.

— Давненько здесь не был, давненько, — говорил Виноградов, входя в «клетушку» и осматриваясь. — Приборов-то, приборов набито! Настоящая лаборатория!

Он поворачивался туда-сюда, крупный, звонкоголосый. Григорьеву, владевшему своим царством в одиночку, знав-

шему в привычном хаосе место каждого проводка и каждой баночки с реактивом, «клетушка» казалась даже просторной. С появлением Виноградова в ней не только сразу стало тесно. Она словно уже и не принадлежала Григорьеву, приняв главного хозяина. И вместе с этой мыслью Григорьев тут же пожалел, что, пока ходил за Виноградовым, пришлось выключить мешалку, тягу, вакуум-насос. Вот бы тот вошел, когда всё на ходу, в рабочем гуле, еще лучше было бы впечатление! А теперь — суетиться, запускать, казалось неловко. Да и поговорить лучше было в тишине.

Виноградов расстегнул и снял пальто, поискал глазами вешалку. Григорьев, всё еще в возбуждении (наконец-то затащил начальника для решающей беседы), с готовностью выхватил пальто — отнести в бытовку и повесить в шкафчик. Тут же испугался, не выглядит ли его поспешность угодливостью. Но Виноградов поблагодарил глубоким кивком, взял стул и тяжело уселся на «тронное место» у письменного стола.

Григорьев принес табуретку, сел рядом. Они с Виноградовым были одного роста, однако массивный Виноградов держался очень прямо, особенно когда сидел, да еще старая табуреточка была пониже стула, так что Григорьеву пришлось смотреть снизу вверх.

— Как, справляешься один с таким хозяйством? Неужели все приборы используешь?

Узкие, темные глаза Виноградова смотрели сверху с добродушной иронией. Григорьев заметил, что в его красиво вьющихся волосах прибавилось седины, но цвет лица — прекрасный. Значит, выспавшийся. И настроение у Виноградова было отличное, как будто не ждала его в кабинете огромная дерматиновая папка, набитая письмами, телеграммами, служебными записками. Григорьеву и в десять раз меньшая кипа этих пакостных документов отравила бы существование. А Виноградов был свеж и весел. Молодец! Но сейчас нельзя было поддаваться его шутливому тону. Слишком многое зависело от разговора.

— Пока справляюсь, — ответил Григорьев, взвешивая слова. — Но тяжело, конечно. Всё одному приходится: об-

разцы готовить, измерять, испытывать, считать, даже посуду от смол отмывать. Надо кого-то в помощь.

— Ну-у, — сказал Виноградов, — лаборантки сейчас в дефиците! Легче десяток инженеров найти, чем одну девочку посуду мыть.

— Мне нужна не лаборантка, нужен как раз инженер. Скоро молодые специалисты придут. Пожалуйста, Виктор Владимирович! Сейчас, когда я в командировках, всё просто стоит. Да вообще, одному работать нельзя, по технике безопасности.

— А что? — усмехнулся Виноградов. — Боязно?

— Не боязно, а тэбэшники пристают. Звонят, приходят, грозятся акт составить. На меня и на вас!

— Да-а, — покивал Виноградов, — создал бог три зла: пожарников, охранников и технику безопасности. А ты на эти акты — плюнь, в обиду не дадим. Лучше скажи, почему так давно политинформаций в отделе не проводил? Ты в партком-то ходишь на лекции?

— Вчера только был.

— Ну, — заинтересовался Виноградов, — и о чем там говорили?

— О разном. Больше всего — про итоги арабо-израильской войны.

— А-а, это теперь долго будут жевать! Конечно, войнушка была, не то что вьетнамская партизанщина. И что интересного сказали?

— Что крупнейший конфликт после сорок пятого года. Свыше пяти тысяч танков с обеих сторон.

— Да ну — танки! — засмеялся Виноградов.

— Лектор говорит, общий итог войны — в пользу Египта и Сирии.

— Какой итог! — отмахнулся Виноградов. — Кто у кого больше танков подшиб или кусок пустыни отхватил — это итог? Или Киссинджер кучерявый с «челночной дипломатией»? Всё чепуха! Вот, что арабы нефтяное эмбарго объявили, что на Западе цены на нефть скакнули за месяц в пять раз — это итог! А то зачванились — штатники, европейцы, япошки: мы — хитроумные, НТР у нас, электроника-

кибернетика! А им — бац по физиономии: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС! И приехали!.. Вот, что в Вашингтоне теперь улицы по ночам не освещают, а на бензоколонках очереди, как в каком-нибудь Тамбове, — это итог! Значит, кто войну выиграл? Не Египет, не Израиль. Шейхи черножопые, гаремщики выиграли, да мы придурошные, страна, которая отчитывается списанными деньгами. Те, у кого НЕФТЬ! Кому что от дуры-природы досталось, того не перешибешь, как ни изощряйся!

Разговор нелепо откатывался всё дальше в сторону, а Виноградов говорил и говорил, с удовольствием. И когда он взглянул на часы, Григорьев занервничал:

— Виктор Владимирович! Я вам сегодня обязательно должен результаты показать!

— Конечно, — кивнул Виноградов, — конечно, давай.

— Вот, — Григорьев стал раскладывать на столе таблицы, графики, образцы: — Я готовлю жидкую композицию, наношу капельку в зазор между электродами. После полимеризации получается токопроводящая плёнка.

— Маленькие какие плёночки! — удивился Виноградов. Он взял у Григорьева часовую лупу. Посмотрел сквозь нее, хмыкнул: — Чем ты капли наносишь?

— Вот, вставочкой, ученическим пером. Обмакну — и ставлю точку.

Вставочка почему-то заинтересовала Виноградова больше всего. Он повертел ее в руках. Для чего-то вытащил и всадил обратно стальное пёрышко:

— Ты ее что, со школы сохранил?

— Да нет, купил в канцелярском.

— Неужели продаются еще? — удивился Виноградов. — Кто ж ими пишет? Давно все на шариковые перешли. Ну, ладно. Так что — воспроизвел американский состав?

Григорьева задели его слова:

— Состав так просто не воспроизведешь. У нас же американских веществ нету. Я использовал...

Он вдруг заметил, что Виноградов как-то странно смотрит на него, и запнулся. Сверхчутье подсказало: что-то изменилось. Он не смог удержаться, он стал торопливо перечислять,

какие брал материалы, но уже чувствовал, что говорит не то. Всё звучало по-ребячески, словно он набивал цену своей работе. Всё только усиливало внезапное и непонятное отчуждение Виноградова.

— Вот, — сказал Григорьев, — окончательная рецептура. Все компоненты — серийные.

(Это был его главный козырь. Простите, простите, печальные московские разработчики!)

— Гостовские? — спросил Виноградов, разглядывая листок.

— Тэушные. Но всё — серийное, недефицитное, я проверял! — И добросовестно добавил: — На московском новом полимере плёнка еще лучше выходит, сверхпрочная. Но полимер — опытный.

Виноградов молчал.

— А свойства плёнок — даже стабильней, чем у американцев. Вот осциллограммы импульсов.

Виноградов взял у него пачку фотографий, стал просматривать. Вдруг остро взглянул:

— Кто делал снимки? Что-то не помню, чтоб я тебе наряд в фотолабораторию подписывал.

— Я сам снимал. С экрана осциллографа, вон стоит. Старенький, но развёртка хорошая, и трубка послесвечение дает около секунды. Для съёмки хватает.

— Какой съёмки?! Ты знаешь, что проносить фотоаппараты на территорию запрещено?! — Виноградов почти кричал. Григорьев никогда его таким не видел, даже не представлял. Это было, как внезапная оплеуха: — Под режимников хочешь попасть и меня подвести?!!

— Я без фотоаппарата снимал, — сказал Григорьев. — Купил плоскую фотоплёнку и вот, рамку сделал, к экранчику прижимать. Ставлю — и даю разряд в полной темноте. Никакого аппарата не надо.

Виноградов покосился на темные шторы, закрывавшие окно. Усмехнулся:

— А-а, на материю наряд подписывал, помню. Остроумно.

Крик его еще звенел в «клетушке». Но последние слова показались примирительными. И Григорьев, словно ничего не произошло, с подчеркнутой деловитостью сказал:

— Конечно, кустарщина. Осциллограф нужен современный, с запоминанием. Я в салоне «Электроника» встал на очередь. В конце будущего года подойдет, они открытку пришлют.

— Сколько стоит — с запоминанием? — перебил Виноградов.

— Четыре тысячи.

Виноградов покачал головой:

— Ого! Как автомобиль! «Запорожец» новый можно купить. Где деньги возьмем?

— Как где? Со следующей темы, с ОКР. Ведь будет ОКР?

Виноградов не ответил.

Григорьев придвинул листки с таблицами:

— Результаты остальных испытаний. Температура, вибрация, влажность...

Виноградов, не глядя, накрыл таблицы ладонью:

— С какой технологией хочешь на ОКР выйти? Со вставочкой?

— В американской статье...

— Да что ты мне всё про американцев талдычишь!

— У французов такие же изделия, у западных немцев, даже у шведов. У всех, кроме нас!

— Ну... так что в статье?

— Схема электропневматического дозатора. Отмеряет капли и наносит на изделия.

— Какие объемы дозируются?

— Одна сотая кубического миллиметра.

Виноградов присвистнул.

— Это не так мало, — сказал Григорьев. — В институте биохимии я дозатор на тысячную видел.

— Ладно, — нахмурился Виноградов. — Давай коротко, выводы, самое главное, как на техсовете будешь докладывать.

— Разработано изделие типа «преобразователь» с токопроводящей полимерной плёнкой...

Он говорил и смотрел снизу вверх на неподвижный профиль Виноградова. Тот сидел к нему боком, положив руки на стол, и лишь слегка щурился, когда Григорьев называл главные цифры.

— ...Таким образом, на стадии НИР выполнено техническое задание НПО «Энергетик» от семидесятого года...

— Преимущества перед серийным изделием? — всё так же, не глядя, перебил Виноградов. — Для нас?

— Внедрение плёночного изделия позволит высвободить семьдесят человек.

— Ско-олько?! — повернулся Виноградов. Брови его поднялись, он смотрел с насмешливым недоверием.

— Сейчас на двух заводах в производстве серийных преобразователей занято девяносто шесть человек. Все операции ручные: нарезка заготовок, склеивание, пайка. Для выпуска такого же количества плёночных потребуется человек двадцать пять.

— Это если будут дозаторы!

— Конечно. А как же иначе, Виктор Владимирович? Нам лектор, когда о внутренних делах говорит, только и повторяет: дефицит кадров, дефицит кадров! Сосчитано уже: в десятой пятилетке приток рабочих уменьшится, а после восьмидесятого года — резкое снижение численности. Рождаемость упала, эхо войны. А в «Литературке» была статья...

— Да слышал я эти причитания! — поморщился Виноградов. — Что ни директивное письмо из министерства, то крик: снижа-ай трудоемкость, выводи-и людей! Дожились, в России людей не хватает.

— И без директивных ясно, — сказал Григорьев. — Как бываешь на заводах, глаза бы не глядели: сидят за столами десятки женщин — с паяльниками, с ножницами, с кисточками. В цехе — шум от разговоров! Мануфактура средневековая. На Луну уже столько раз летали...

— А о чем они болтают — слышал? — усмехнулся Виноградов.

— Ну, о продуктах, о тряпках — кто что купил. О детях.

— И о мужиках! — наставительно сказал Виноградов. — Там такое подслушаешь, что никакому Фрейду не снилось... Та-ак. В чем выгода «Энергетика»?

— Упрощается конструкция их генераторов, надежность повышается. И мы с технологом «Энергетика» прикидывали: у них в отрасли высвобождается самое малое девяносто человек.

— Что еще? — спросил Виноградов.

— Еще то, что я теперь связь чувствую — между химическим составом и электрофизикой плёнки. Будет новое ТЗ — в полгода отработаю.

— В полгода?

— Может, и быстрее, если помощник будет. — Он помялся, потом всё же сказал: — Конечно, сейчас, чтобы серийное изделие чуть изменить, мы двухлетние темы берем.

Ему это казалось дерзостью, но Виноградов миролюбиво согласился:

— Берем, двухлетние. А потом еще продлеваем... — И вдруг, резко: — Ну, а как говорят в Одессе, что ТЫ с этого будешь иметь? — он не улыбался.

— Я?

— Ты, лично ты, Евгений Григорьев. С плёночного изделия. Что?!

Григорьев нашелся:

— Вот, — сказал он, доставая блокнот. — Две заявки на изобретения.

— Сразу две?

— Так на состав же и на конструкцию.

— Кто авторы? — спросил Виноградов.

— Я и вы.

Виноградов опять придвинул к себе листки с результатами испытаний. Неожиданно ткнул пальцем в колонку цифр:

— А вот — сопротивление изменяется после температурных перепадов!

— Плюс-минус пять процентов. Меньше, чем у серийных.

Виноградов задумался.

А Григорьев почувствовал себя опустошенным до слабости. Всё, что он копил к решающему разговору, что представлялось важным, было выброшено в считанные минуты и улетело во внезапно раскрывшуюся пустоту, не оставив следа.

Виноградов оттолкнул листки.

— Та-ак, — сказал он. — Значит, можно считать, плёночки твои, в первом приближении, соответствуют ТЗ. И семидесятого года... и семьдесят третьего.

— Как — семьдесят третьего? — растерялся Григорьев. — Разве в этом году было новое ТЗ?

— Целых два, — медленно сказал Виноградов. — Повторное от «Энергетика» и еще от «Морских приборов».

— Почему же я их видел?

— Потому что... я их тебе не направлял.

Будто в самолете, провалившемся в глубокую воздушную яму, сердце подпрыгнуло и заколотилось у горла. И кажется, кто-то другой вместо него спросил:

— А кто на них отвечал?

— Я сам и ответил, — сказал Виноградов. — Ответил, что в настоящее время и на ближайшую перспективу... выполнить невозможно. — Он помолчал. — Я твоих результатов еще не знал. Теперь — узнал. Убедился, что ответил правильно.

— Почему? — спросил Григорьев и отстраненно удивился, как у него это выговорилось — спокойно, даже строго.

— Ну... — Виноградов начал и запнулся. — Как тебе объяснить? Я хочу, чтоб ты не просто согласился. Чтоб — понял.

Кажется, Виноградов немного занервничал. Он подбирал слова. Но еще прежде, чем он заговорил, Григорьев, действительно, ПОНЯЛ. Мгновенное, не сразу осмысленное, это понимание было подобно обезболивающему уколу перед взмахом скальпеля. Покалывая морозными иголочками, разлилось онемением в груди. Поднялось в голову, заледенило скулы и остудило мозг.

— Вот, представь, — сказал Виноградов, — что только пикнем мы: можем выполнить! «Энергетик» и «Морские приборы» в нас зубами вцепятся. Им военные давно задания пихают на малогабаритные генераторы. И не могут они их сделать, САМИ не могут! А валят на нас. Мол, серийные преобразователи не годятся, а наша фирма им других не дает.

Григорьев молчал. Виноградов развернулся к нему вместе со стулом. Склонился так близко, что сквозь воздух «клетушки», воздух растворителей и смол, на Григорьева повеяло хорошим одеколоном.

— Внимательно слушаешь? Значит, нам только рот раскрыть, — они сразу ОКР всучат. С любым финансировани-

ем. А если заикнуться, что ты у нас колдун — ЧУВСТВУЕШЬ, какой гоголь-моголь под какой импульс замесить, — так еще кинут три-четыре ТЗ на разные свои варианты. Ну, а дальнейшее ты реально представляешь?

Голос Виноградова зазвучал еще выше и звонче:

— Первые партии для ОКР ты вставочкой нанесешь, чудесно. А потом, установочные? Ты ж должен будешь серийную технологию предъявить! Значит, через два года — вынь да положь действующие дозаторы. Откуда? Если даже наши конструкторы тебе по американской схеме чертежи нарисуют, кто в металле сделает? Наш опытно-механический цех? Да он не то, что срочными, он только сверхсрочными нарядами на три года вперед забит!

— Минаев обещал «Энергетику» плёночное изделие, — сказал Григорьев. — Значит, должен помочь с цехом.

— Минаев? — переспросил Виноградов. — А ты когда его последний раз видел?

— Что-то давно... Кажется, еще летом. Да, в августе, три месяца назад. А куда он пропал?

— У Минаева РАК, — сказал Виноградов таким тоном, каким говорят «сифилис». — Недавно операцию делали. Говорят: разрезали, посмотрели и зашили. Теперь дома доходит. — Виноградов не то хмыкнул, не то коротко рассмеялся: — Видно, чувствовал, старый прохвост. Перед тем, как в больницу лечь, приходил. Собрал начальников цехов и отделов, что-то вроде прощания устроил. Чуть ли не «други мои верные». Ком-медия! Это уж как ведется у нас, на Святой Руси: пока был жив-здоров, всех под себя подмял, всё по-своему закрутил, а потом в могилку спрятался и — привет, ребята! Теперь выкручивайтесь, как знаете!

Григорьев молчал.

— Ну ладно, — сказал Виноградов, — как говорят французы, вернемся к нашим мутонам. Значит, в опытно-механический цех ты за два года ОКРа даже не пробьешься. А если и пробьешься, что с них возьмешь? Станки разъезженные, рабочие — пьяницы. Да они простое приспособление для пайки не могут сделать, чтоб его не заедало, а тебе такая точность нужна. Шутка сказать — сотая кубического миллиметра!

— Можно другого изготовителя найти.

— На стороне? А чем ты расплатиться сможешь? Безналичными с темы? Кому они нужны!

— Можно в договоре записать, что дозаторы изготовит «Энергетик». У них механическая база сильнее.

— А с чего ты взял, — спросил Виноградов, — что «Энергетик» помогать кинется? Дашь ты свои плёночные преобразователи — им же придется новые генераторы делать, а это еще выйдет или нет. Не дашь — с них взятки гладки: они свое исполнили, ТЗ нам выставили, а мы провалились. Ты понимаешь меня?

Григорьев молчал.

— Та-ак, — сказал Виноградов. — А теперь давай пофантазируем. Представь, что всё как в сказке: дозаторы мы сделали, ОКР выполнили, «Энергетик» и «Морские приборы» с твоими плёночными игрушками новые генераторы отработали. Ну и что толку? Семьдесят человек, говоришь, высвободится? Да в той отрасли девяносто? Считали, говоришь?

Григорьев молчал.

— Да ты хоть понимаешь, что старые генераторы у десятков потребителей идут? В авиационных системах, в морских, черт знает где! Ты что думаешь, ради наших высвобождений кто-то будет свою аппаратуру менять, заново все испытания на самолетах и кораблях проводить? Абсурд! Новые генераторы только в аппаратуру новой разработки пойдут. А это значит, не то что ни одной работницы не высвободится, это значит, рядом с нынешним производством придется для твоих плёночных новое создавать, только и всего! Помещения откуда-то брать и ЕЩЕ ЛЮДЕЙ!

Григорьев молчал. Было чувство нереальности, и нереальней всего ощущалось собственное спокойствие. Виноградов уже не скальпелем надрезал, а просто бил, но удары его приходились словно по ледяной глыбе. Что ж за понимание открылось и принесло этот сковывающий холод? Понимание, что Виноградов — прав? Но ведь он всё равно не сможет с ним согласиться. Тогда — что же?

В звонком голосе Виноградова опять зазвучали дружелюбные горловые переливы:

— Ну, а представь уже ненаучную фантастику: что действительно придется из-за твоих изобретений бабёнок на заводах высвобождать и переучивать. Ого! Это для тебя — мануфактура, дикость, а ты у любой спроси: захочет она такую мануфактуру на что другое поменять? У нее за душой семь классов дурных и никакой серьезной специальности. А тут — сидит с кисточкой в веселой компании, языком целый день ля-ля-ля, и получает свои сто тридцать. И голова не болит. Да какие сто тридцать! Они больше тебя имеют! Что ты — ухваток их не знаешь? Они каждый день изделия припрятывают. А потом вопят: плана нет, в субботу выйдем, за двойной тариф! В субботу явятся на два часа, чаю попьют, изделия из столов достанут — и по домам.

Теперь Виноградов посмеивался, но Григорьев, не поднимая глаз, чувствовал его изучающий взгляд.

— А все причитания на лекциях, приказы, статейки в «Литературке»... — Виноградов махнул рукой. — Всё фильтровать надо. Ясно одно: ДАЛЬШЕ БУДЕТ ХУЖЕ. Так вот, ОНИ причину готовят — людей, мол, не хватит. Хватит! Мяса не хватит, а люди будут. Нервничать не надо. Все беды наши оттого, что мы нация нервная. — Он усмехнулся: — А должен быть характер нордический. Как у Штирлица.

Григорьев машинально, механическим счетом отметил, что Виноградов тоже сказал «они». И вдруг ему стало ясней то, что с ним происходит.

— Ты про себя думаешь, наверное, — резче заговорил Виноградов, — я тут день и ночь сидел, чудо-состав изобрел, ах, какой я молодец! А я тебе скажу, ПО ЖИЗНИ скажу, не обидься... Как раз для этого-то большого ума и не требуется!

Григорьев вскинул голову, они встретились взглядами, и он успел заметить, как в узких, темных глазах Виноградова метнулся испуг. Видно, тот понял, что перехлестнул. Но Григорьев не почувствовал себя задетым. Самым важным сейчас было его открытие: оказывается, он уже давно — подсознанием, инстинктом — ощущал иллюзорность своего спасения в «клетушке». Но вот, как в диораме, опрокинулась система зеркал, и то, что казалось реальностью — приборы, схемы, огненные змейки импульсов, острый дух растворителей, по-

черневшие, разъеденные руки, спасительная усталость работы — всё отскочило прочь и задрожало вдали фальшивым отражением. А его выбросило в настоящую реальность. Как Марика и Димку... Это понимание, дремавшее потаенно в душе, прорвалось, растеклось в крови, оледенило. Но что будет, когда наркоз отойдет?

А Виноградов не мог понять его молчания. Он забеспокоился. Заговорил:

— Ты на меня не дуйся! Что я могу? Я — как ты. Если б даже я тебе изо всех сил помогать кинулся...

— Что сделать с отчетом? — спросил Григорьев.

Голос Виноградова потеплел:

— Вот, молодец, по-деловому! С отчетом? Всё оставь, как есть. Только выводы чуть измени. Не «разработано изделие», а «показана принципиальная возможность создания». У тебя же действительно не все испытания сделаны. В генераторах испытаний не было.

— Испытания в генераторах «Энергетик» сделает. Я уже образцы приготовил — отвезти.

— Ничего не отвози, не надо! — Виноградов поднял палец. — И отчет у тебя какой — секретный?

— Для служебного пользования.

— Засекреть!

— Это сколько же времени уйдет: всё в спецблокнот переписывать, потом в машбюро первого отдела отдавать...

— Засекреть! — повторил Виноградов. — Если придется его «Энергетику» выслать, чтоб там по лишним рукам не ходил.

Он вдруг потянулся и хлопнул Григорьева по плечу:

— Да брось ты кукситься! Обидно тебе? Это еще что! Бывает, знаешь, как хуже. Вот мне, ты думаешь, не обидно? Сорок один год, пятый десяток, а что — я? Кандидат, начальник маленького отдела. В солидной фирме такой отдел на лабораторию не потянул бы. А обормоты, которые у меня в институте задания списывали, и списать-то не могли без ошибок, теперь — и доктора, и профессора, и директора! А самый балбес, спортсмен, ну ничего, кроме роста и смазливой морды, который мне свою девушку предлагал — пере-

спать с ней за то, чтоб я ему курсовой проект рассчитал, — он теперь знаешь кто? Начальник главка! Слава богу, не нашего.

— Переспали? — спросил Григорьев.

Виноградов запнулся. Потом хохотнул:

— Ну, молодец, молодец!.. В общем, не переживай. И затраченного труда не жалей, не пропадет! — Он разворошил на столе бумаги, вытянул из-под них нужный блокнот. — Конечно, труд должен вознаграждаться! Значит, две заявки здесь? Вот и отправляй с богом. Засекреть — и отправляй. А получишь на них «красные углы», слово даю, вознаграждение насчитаем — максимальное! Для оплаты изобретения опытная партия может считаться внедрением, тут криминала никакого нет.

К нему вернулся прежний тон. Он явно испытывал облегчение.

— И не думай, — сказал он, — что мы твою работу хороним. Если когда-нибудь прижмет нас опять «Энергетик», — просто так мы, конечно, не дадимся, но если уж надавят через министерство, — мы тогда, может, опять тему возьмем. — Он поднял палец: — Нировскую!

Григорьев молчал.

— А труд, конечно, должен вознаграждаться! — говорил Виноградов. — Я, кстати, давно хочу спросить: ты диссертацию-то делать собираешься? У тебя хоть один кандидатский минимум сдан — философия, иностранный язык? Нет? Ну ты даешь!

Он поднялся. Григорьеву пришлось встать вслед за ним.

— Давай, — сказал Виноградов, — готовь направление, характеристику, всё подпишем, — и оформляйся на кафедру соискателем! Твой отчет — это же готовая диссертация. У тебя какой получился объем литературной части?

— Процентов двадцать пять.

— Ну как раз то, что надо по новым требованиям!.. А — пальто? Пальто мое где?

Григорьев принес ему пальто и шапку. Сразу отдал и отступил назад, чтоб не придерживать, когда он будет одеваться.

— Ты пойми, — говорил Виноградов, сам влезая в рукава, довольный, — я же тебя ни в чем не ограничиваю. Это американцы нам режим наибольшего благоприятствования не дают за то, что евреев не выпускаем, а я тебе — даю! Как раз за то, чтобы ты лишнюю информацию не выпускал. — Он засмеялся своей шутке. — Веди серийные изделия, как ведешь. Ну, еще там тему подкину по модернизации. А будет время оставаться — занимайся своими плёнками сколько душе угодно!

Он застегнулся, огладил пальто, поправил шапку, сразу став выше ростом и массивнее. Весело спросил:

— Кто это сказал, что наука — удовлетворение любопытства за государственный счет? Вот и удовлетворяй на здоровье! Помощницу надо — помощницу дадим. Вот, месяца через три, в феврале, придут выпускники, можешь себе выбрать самую хорошенькую молодую специалисточку. Лучше всего замужнюю, — Виноградов подмигнул, — чтоб лишних проблем не возникало! Вот, сидите тут вдвоем и занимайтесь... наукой.

Уже в дверях он обернулся:

— И осциллограф с запоминанием купим! Что ж мы, четыре тыщи не найдем? Для дела — всё найдем!

Нина защитилась перед самым Новым годом. Григорьев не пошел на защиту, но вечером пришлось отправиться с ней на банкет. В маленьком боковом зале огромного ресторана собралась почти вся кафедра. Было тесно, шумно, чадно от испарений горячих мясных блюд, политых острыми соусами, и табачного дыма. Как капли блестящего жира, плавали круглые, лоснящиеся лица «полубогов», ничуть не изменившихся за четыре года, разве только пополневших. Да какое там «полу»! Самые весельчаки из этой стаи уже в настоящие боги вознеслись, в громовержцы. Тот — профессор, тот — секретарь ученого совета. Они задевали Григорьева: «Жена — молодец, а ты что же?»

Оттесненный от Нины за несколько мест, на край стола, он почти не прикасался к еде. Только курил сигарету за сигаретой и, выдерживая на лице доброжелательную, ни к кому не обращенную улыбку, наблюдал сквозь дым.

Нина среди «полубогов» стала уже совершенно своей. Никакого вскидывания глаз и торопливого смеха. Царственная, спокойно возвышалась в центре общего кружения. Чуть улыбаясь, склоняла прекрасную голову в ответ на поздравления. Поднимала рюмку с вином и пригубливала после шумных тостов. Из соседнего, большого зала доносились грохот оркестрика и топот ног танцующих. И всё вместе напоминало нелепую свадьбу без жениха.

Кто-то провозгласил тост за него: «Успех Нины Федоровны стал возможен благодаря прочному семейному тылу, самоотверженной помощи му-у-жа!» И надо было в ответ улыбнуться еще шире, поднять рюмку повыше, отпить побольше. А потом снова курить, курить, уже до тошноты, до горечи в желудке, и улыбаться сквозь дым.

Какой банкет, какие «полубоги»! В том декабре 1973-го они сидели с Мариком и Димкой в маленькой грязной «пельменной» на Суворовском у Старо-Невского. Взяли горячие пельмени, политые резко пахнувшим уксусом, и теплый чай. Выплеснули чай в раковину у туалета. Димка под столом разливал по стаканам последнюю новинку алкогольной промышленности — аперитив «Степной» с ширококрылым орлом на этикетке. Говорил Марику, чтобы тот положил на всё оглоблю. Показывал бутылку: «Вот, выпей — и станешь, как этот орел!» Аперитив в стаканах был похож цветом на жидкий чай и оставлял во рту и в горле травяную горечь.

Марик (губы трубочкой, невидящий взгляд) говорил тихо. Часто одно и то же. Всё очистилось от повторений, выстроилось в памяти и легло на другой разговор, когда они с Мариком вдвоем, без Димки, шли вечером по Выборгской стороне среди бетонных и темно-кирпичных заводских стен. Искристые снежинки светлыми шаровыми скоплениями роились вокруг фонарей и, невидимые в темноте, покалывали щеки.

Марик рассказывал:

— Как только разослал на отзывы, начались звонки оппонентам: «К вам поступила диссертация Чернина? Так вы

имейте в виду, что он уже НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ. Только хочет перед отъездом защититься, чтобы ТАМ получше устроиться».

— Где — там?

— Ну, в Израиле, в Америке, в Канаде. Какая разница... В общем, получил ОТЗЫВЫ. «Тема неактуальна. Практическое значение в выводах — преувеличено. Математический аппарат — нарочито усложнен». Нарочито! Я специально все переходы разжевывал, второкурсник разберется. А-а...

— С оппонентами сам не говорил?

— Колесников пытался. Они ему про звонки и рассказали. Как он их ни уговаривал... Сейчас такой накал, все трясутся.

— Известно хоть, кто звонил?

— Наши, с кафедры. А кто именно — и выяснять не хочу. Какая разница. Знаешь, это даже не зависть. Просто ненависть. За что? За то, что сижу, работаю? Что я — тронул кого-нибудь или кусок хлеба отнял?

— Будешь переделывать?

— Как?! Результаты не переделаешь. Что ж мне, то же самое другими словами переписать? Да и не дадут уже. Срок аспирантуры кончился, диссертация не вышла — всё!

На Гренадерском мосту, над смерзшимся крошевом льда Большой Невки резкий ветер закручивал сухой снег и сёк по лицам. Грохотали освещенные трамваи, катившие с Выборгской стороны на Петроградскую и обратно. Вдали, за мостом Свободы, подсвеченные прожекторами и задернутые сеткой снега виднелись трубы «Авроры».

— Самое поразительное, — говорил Марик, — даже не то, что так подло, а то, что так ПРОСТО. Мне как-то до сих пор не верится. Конечно, для них главное — Колесникова свалить. Раз моя диссертация такие отзывы получила, его точно провалят на перевыборах.

— Колесников-то не еврей? — спросил Григорьев. — Клавдиевич твой?

— Русский. И в анкете у него — «происхождение из крестьян». И в партии с сорок второго года. Чище некуда. Ну и что? Какая разница, если МЕСТО его оказалось нужно.

Подобраться к нему трудней, раз у него «пятый пункт» в порядке, вот и всё различие. Ничего, видишь, справились... Хотя, не только в должности дело. Место доцента он одно освободит, а их целая стая. Нет, тут еще психология. Они все без него умнее себя чувствовать будут. Поднимутся. Пока на кафедре Колесников — что они в сравнении с ним? Он их всех на десять голов выше. А с глаз его долой — и совсем другой уровень отсчета пойдет...

Поскрипывал снег под ногами. Снежинки, втянутые с дыханием, обжигали ноздри и гортань.

Марик снова заговорил:

— Колесников тут вечером ввалился в лабораторию, выпивший уже. Достал из сейфа бутылку водки, еще выпил и меня заставил. Потом как зарычит: «Ну, мать-перемать, Марк-евангелист, оказался ты прав, напророчил! В сорок девятом было, как на чуме. А теперь... а теперь, как в лепрозории! И самому не понять, то ли гниешь ты уже и смердит от тебя, то ли еще нет!..»

— Каково ж тебе сейчас на кафедру ходить? — спросил Григорьев.

— Таково. Идешь среди этих... доброжелателей, как будто расстреливают они тебя. Взглядами своими, улыбками. Теперь только понял по-настоящему — не умом, а нутром, — почему Сашка с ними здороваться перестал.

— Ты-то — здороваешься?

— Здороваюсь, — ответил Марик. — Тут Колесников, трезвый, сидел, сидел и говорит: «Как же так получается, что ихняя сила? Почему мы против них беспомощны?» — Я говорю: «Это, Константин Клавдиевич, еще Толстой объяснил: люди дурные легко объединяются, а хорошие — трудно». — Он сердится: «Что — Толстой! До Толстого про них сказано: говно к говну липнет. Так неужели в количестве говна сила, не в разуме?!» Дай закурить!

Они остановились. Григорьев достал сигареты и поднес Марику горящую спичку, прикрывая от ветра в ладонях. Марик уже курил вполне серьезно: глубоко затягивался, выдувая дым струей.

— А потом, — продолжал он, — Колесников и спрашивает: «Что ж теперь с нашей работой будет? Ведь мы одни

в Союзе этим направлением занимаемся». — Я говорю: «Им-то всё равно». — «Им всё равно, а нам? Они и понять не хотят, что это за тема. Или не могут. Но мы-то с тобой понимаем! Что делать будем?»

— А в самом деле, — спросил Григорьев, — что ж вы теперь делать будете?

— Не знаю, — ответил Марик. — Ничего я не знаю. Ума не приложу.

И весь тот декабрь, вечер за вечером, главу за главой, «Немецкая волна» передавала «Архипелаг ГУЛАГ». Каждый раз перед чтением пускали записи Окуджавы. Знакомый с юности чистый и печальный голос, любимые с юности песни — «Лёнька Королёв», «Арбат», «Вера, Надежда, Любовь». Болезненно непривычное было в том, как звучали они в приемнике, прилетая на чужих волнах с колеблющимся посвистом эфира. Потом вступали дикторы (вечер — женщина, вечер — мужчина). Они читали почти без акцента, даже с излишней металлической правильностью, только иногда чуть ошибались в ударениях. Читали, стараясь быть выразительными, с иронией. Читали мучительное, нестерпимое. Вывернутое из прошлого с кровью, костями, трупной гнилью миллионов и безжалостно влепленное в лицо живущим.

В том декабре статистика, должно быть, отметила снижение производительности. Каждый день, сходясь в курилках заводов и НИИ, люди по всей стране обсуждали передачу минувшего вечера. Качали головами, ужасались, посмеивались, злились на иронию Солженицына и немцев, сами рассказывали истории из времен сталинщины. Кажется, впервые никто не скрывал, что СЛУШАЕТ. Такого не было еще никогда, и такое не повторится больше в следующих годах. То был не прорыв смелости, а пролом ошеломления. Семьдесят третий год переползал в семьдесят четвертый, придавленный серо-зеленой шинельной тенью тридцать седьмого.

Видно, Нина чувствовала себя в долгу, потому что послушно согласилась встречать Новый год дома. И когда Григорьев сказал, что придут Марик и Димка, тоже не возрази-

ла. Только помешкала, помолчала чуть-чуть, прежде чем ответить: «хорошо». А больше Григорьев ее ни в чем не смог бы упрекнуть, готовились к празднику вместе. Он — тряпкой и пылесосом до блеска убрал квартирку. Нина не выходила из кухни, старательно и много стряпала. Муж и жена. Хозяин и хозяйка в ожидании гостей.

Димка собирался прийти с девушкой, но явились они с Мариком вместе, без всякой девушки, оба хмурые. Принесли шампанское и бутылку «старки». (С ней решился, наконец, вопрос: подняли цену в полтора раза и опять стали продавать.) Так и сидели за столом впятером — Димка, Марик, Нина, Алёнка и Григорьев.

Алёнка показывала всем набор открыток с фотографиями знаменитого домашнего льва Кинга: Кинг с детьми за обеденным столом, Кинг сладко спит в кроватке, укрывшись одеялом, Кинг сидит на унитазе. Алёнка называла льва «Киньк». Она не знала, что его недавно убили.

На экране телевизора кипел, смеялся новогодний «Огонек». Там вился серпантин, сыпалось конфетти.

Нина держалась тихо. Часто выходила на кухню, в разговор не вступала. По ее рассеянно-вежливому лицу трудно было даже понять, прислушивается или нет. Один только раз ее выбило из отрешенности. Сразу после новогодних курантов и заздравной песни из «Травиаты» в телестудии поднялся из-за столика с бокалом шампанского гость «Огонька», знатный рабочий, и торжественно сказал: «Минувший год мы называли третьим решающим годом пятилетки. А сейчас я хочу предложить: давайте назовем наступающий тысяча девятьсот семьдесят четвертый год...»

— Четвертый определяющий! — быстро и зло подсказал Димка.

— «...четвертый определяющий!» — провозгласил на экране знатный рабочий.

— Откуда ты знаешь? — изумилась Нина.

Димка только хмыкнул.

Нина увела Алёнку за ширму и уложила спать. Завесили лампу, убавили звук телевизора, сами стали говорить тише в полутьме над уставленным закусками и бутылками столом.

Обсудили без Алёнки историю с Кингом: сдуру милиционер его застрелил или действительно лев взбесился.

Григорьев, чуть захмелевший, первым не выдержал и заговорил о своих делах:

— Я в другой отдел перешел.

— Что, — спросил Марик, — так и не смог спасти работу?

— Значит, не смог, — ответил Григорьев.

Ребятам невозможно было рассказать всё. Хотя бы то, как снова и снова пытался он переубедить Виноградова. Наркоз давно отошел, он горячился, упрашивал: можно обойтись без дозатора, наносить токопроводящие капли трубчатым пером от самописца, точность похуже, но достаточная. И если боязно сразу начинать ОКР, можно пока взять НИР по договору с «Энергетиком».

А Виноградов всё отшучивался, отшучивался, то добродушно, то раздраженно. И, казалось, не будет конца. Но кончилось — неожиданно, разом, когда Виноградов с незнакомым, страдающим лицом вдруг вскинулся и закричал: «Господи! Да отстанешь ты от меня наконец или нет!..»

— А научно-технический совет? — спросил Марик. — Там не пытался?

— Что — совет? Перед Новым годом сквозь него отчеты потоком идут. Пять минут на доклад, утвердили, пошел вон. Никто и не слушает. Это у вас на ученом совете страсти, потому что за свое борются. А у нас — всё казенное.

Он взглянул на Нину. Та сидела с безучастным лицом.

— Я пытался, — сказал Григорьев, словно оправдываясь перед друзьями. — Я даже к замдиректора по науке пробился, он сейчас самый главный, потому что директор прежний умер.

— Ничего не получилось? — спросил Марик.

— Получилось по-благородному. Кому нужны конфликты? Это ж не кино «Битва в пути». Оформили так, что после успешно выполненной темы переводят меня с повышением в другой отдел. На должность старшего инженера, оклад — сто сорок. Десятку выиграл.

Всё, действительно, вышло — благороднее некуда. Бумажное колесо провернулось мгновенно, с деловитыми резо-

люциями и доброжелательными улыбками. Провернулось, перебросило — и нет даже боли от удара. Только до сих пор не верится, что всё уже случилось.

— И меня повышают, — вдруг сказал Димка. — С моих трехсот... на сто двадцать!

— Как это? — не понял Григорьев.

— Заставляют мастером стать. До чего не хочется. Ох, тошнотина!

— Ты же хотел должность? — удивился Григорьев.

— Я бригадиром хотел. Бригадир — тот же макетчик. Только не одни свои руки, а еще несколько парней. Делаете один заказ, и та же оплата, сдельная.

— А мастер — что?

— Собака в упряжке, — ответил Димка. — Пять-шесть бригад, это человек до сорока, и за всех отвечать. Насмотрелся я на мастеров: как набьют пасть бумагами, так и носятся с утра до вечера, глаза выпучены. Сверху начальство жмет, работяги — снизу, а ты всем плох. И окладишко... — Димка скривился, оскалил в полутьме белые зубы.

— Ну так не соглашайся на мастера, — сказал Григорьев.

— Давят, — пожаловался Димка. Впервые, кажется, прозвучал в его голосе жалобный тон. — Так давят! И начальник цеха, и парторг. Я ж теперь партийный... Уговаривают: поработаешь мастером полгода, от силы годик, заткнешь дыру, пока мы человека не найдем, а потом — сразу в бригадиры.

— А если не соглашаться? — спросил Марик.

— Дашь на дашь, — ответил Димка. — Тогда, говорят, никогда бригадиром не сделаем, всю жизнь под кем-то будешь трепыхаться.

Нина сидела, отстранившись от стола в темноту. Ее бледное лицо было слабо различимо, глаза казались сплошными, как у скульптуры, и воздушная корона волос чуть мерцала в полусвете.

— Ладно, глобусы, — сказал Димка, — зато начальничком побуду. Вон, Тёму-люмпена к себе на работу возьму. Всякие образы распознавать.

— Почему — люмпена? — не понял Григорьев.

Марик сидел напротив телевизора, отсветы от экрана пробегали по его темному личику:

— Я Димке уже рассказал. С кафедры ухожу. То есть, меня уходят.

— Права не имеют! — сказал Григорьев.

— Имеют. Я же на кафедре не в штате был, а в аспирантуре. Срок кончился, диссертация не вышла. Привет!

Григорьев вдруг почувствовал, что Нина СЛУШАЕТ.

— Всё же, ты и сам виноват, — сказал Димка. — Тебе пакостят, а ты молчишь. Конечно, обнаглеют. Я бы так просто не сдался. Я бы такой хай поднял!

— Ну значит, сам виноват, — ответил Марик. — Всё равно уходить. А куда?

— С твоей-то специальностью да не устроиться! — сказал Григорьев.

— При чем тут специальность? У меня ж пятая нога хромая. Наполовину, правда, но всё равно не разбежишься.

— А Солженицына слушали? — спросил Димка. — «Архипелаг»?

— Конечно, — ответил Григорьев. — Странно как-то. Ясно, что всё правда, а что-то мешает. Ирония эта. Как будто из каждой фразы торчит: «Так вам и надо, хамы! За что вы боролись, на то и напоролись!» И не верю я, чтоб вернувшихся с войны молодые, не воевавшие, так встречали: «Эх вы, недотепы!»

— А со мной вместе мать слушала, — сказал Димка. — Я ее спрашиваю: «Знали вы? Понимали?» — «Знали», — говорит. В тридцать седьмом электричество в домах на ночь вырубали для экономии. И если в каком доме свет не отключали, значит, должны были за кем-то приехать. Все жильцы тряслись. Так что, знали. А вот понимать... Кого не задело, ничего толком не понимали. И как плохо ни жили, а верили же. Как дурные.

Нина, отстранившись, молчала в темноте.

— Слушай, Тёма! — вдруг вспомнил Григорьев. — А с Колесниковым твоим — что?

— На пенсию, — ответил Марик. — Он уже и на переизбрание в доценты согласился не подавать, просил сотрудни-

ком оставить, чтоб только позволили работу поддерживать на плаву. Ну, объяснили ему вежливенько, что раньше надо было соглашаться. А теперь, такая досада, штатное расписание кафедры утверждено, и лишнюю должность сотрудника в нем не предусмотрели.

— А помнишь, — сказал Григорьев, — как ты про вашу работу рассказывал? Что она к бессмертию приведет?

— Значит, им бессмертие не нужно, — ответил Марик.

— С-скоты! — проворчал Димка. — Я бы точно кому-нибудь хлебальник свиной расквасил!

— Брось ты, — ответил Марик. — Всё равно, делу нашему конец. Мы тут сидели с Колесниковым вдвоем в лаборатории, спирту развели, выпили. Он всё сокрушается: «Как же так? Как они могли?!» — Я возьми и ляпни: «А ведь всё ваши ученики, Константин Клавдиевич!» Испугался, что рассердится, взревет, а он — задумался. «Верно, — говорит, — верно! Христа один ученик из двенадцати предал, а у меня что-то обратное соотношение получается. У меня один ты оказался!» — Я ему говорю: «А Сашка?»

Алёнка заворочалась и захныкала за ширмой. Нина медленно поднялась. Мягко ступая, прошла к девочке. Что-то поправила в ее постельке, постояла над ней. И, так же замедленно двигаясь, вернулась и села на место.

Чуть слышно попискивала музыка в телевизоре. Марик заговорил тише:

— Тут он не закричал, а как-то заметался: «Что ж, значит, я своего ученика предал, и за это наказан? Я для него всё сделал, что мог, больше ничего не выходило!» И вдруг на меня накинулся: «А ты? Тогда и ты со мной виноват!»

Марик замолчал.

— Выпьем давайте, — Димка взял бутылку «старки»: — Рюмки поднимите, а то не видно разливать.

Марик будто не услышал. Сидел неподвижно. И вдруг сказал:

— А верно ведь, и я виноват. Когда в шестьдесят восьмом Сашку выбросили, все промолчали. И я со всеми. А кто это видел и промолчал, тот прежним не будет. На то У НИХ и расчет. Ценой одного Сашки сразу столько душ приобрели. Так что, и мне — поделом.

— Рюмки поднимите! — шепотом командовал Димка. Бутылка подплясывала в его руке, колотилась горлышком о края рюмок, «старка» проливалась на стол. — Ох, глобусы, до чего мне от своих дел тошно, а вы еще добавляете!

— Да что ты мог сделать? — возразил Марику Григорьев.

Марик выпил, отставил рюмку, тихо отдышался, не закусывая:

— Я же не о том, что протестовать, какой протест... А сделать хоть что-то обязан был. Для собственной гигиены. Ну, не знаю... Не должен был на кафедре оставаться. Соблазнился возможностью работать, дурак!

Нина молчала в темноте. Григорьев уже физически ощущал ее испуг. Она не хотела их слушать и не могла подняться и уйти. А они тяжко топтались по кругу в своем понимании-непонимании, сшибая, проламывая, раздавливая постройки ее мирка. Удобные, красивые постройки, казавшиеся ей такими прочными. И Григорьев почти жалел ее.

Димка опять взял бутылку «старки».

— Какой-то Новый год у нас дур-рацкий, — сказал он. — Как поминки. Ну почему мне так в мастера не хочется? Почему не лежит душа?

Он, кажется, совсем не захмелел.

— А помните новый шестьдесят четвертый? — спросил Марик.

— Мы же порознь встречали, — сказал Димка.

— Я помню, — ответил Григорьев. — По радио в десять вечера стали передавать «репортаж из будущего года» — из тех областей, где уже встретили. С Дальнего Востока, потом из Сибири. Так казалось интересно и остроумно... А те наши зимние каникулы помните? Последние каникулы, в вечерней школе.

Он обратился к Нине, ему хотелось втянуть ее в разговор:

— Тёма настаивал — заниматься. А мы с Димой взбунтовались: десять вечеров отдыхаем! Помню, морозы были. А мы ходили после работы по киношкам.

Нина молчала.

— А что мы смотрели-то? — спросил Димка.

— Самые новые фильмы. «Живые и мертвые», «Смерть Тарзана».

— А, помню! — кивнул Димка. — Чехословацкий, с артистом этим толстым.

— С Рудольфом Грушинским, — подсказал Григорьев.

— Господи, — вздохнул Марик, — уже семьдесят четвертый. Десять лет! Далеко нас отнесло. Как будто потоком. И кажется, не вдаль отнесло, а куда-то в сторону, в чужое время.

Нина молчала, отстранившись от стола. Григорьев уже не чувствовал ее испуга. Только отчуждение и решимость. Значит, он ошибся. Ее мир устоял. Она не позволила им его разрушить. Она просто не впустила их туда, они топтались под стенами.

— Знаете, — сказал Григорьев, — я читал о кругосветных экспедициях восемнадцатого века. Время Ла-Перуза, Кука. Уходили на много лет и — как на войну. Погибали в плавании от цинги, лихорадки, туземных стрел. Срывались в бурю с мачт, разбивались и тонули на шлюпках, когда отправлялись за пресной водой к незнакомому берегу. Если из плавания возвращалась половина команды, считалось нормально.

— Чего ты вдруг об этом? — удивился Марик.

— За сутки до отплытия экспедиции, когда уже все грузы были приняты, все работы закончены, привозили на корабли хронометры. Каждый стоил целое состояние. Годами, в любую качку, в жару, холод они должны были не просто идти, а непрерывно сохранять точнейшее время, до секунд. По их показаниям и по высоте светил над горизонтом штурманы вычисляли координаты корабля в океане. И по нашим-то временам такие приборы — чудо. А двести лет назад, в деревянную, парусную эпоху — сверхчудо, суперкомпьютеры. Часовщики годами трудились над каждым, их за это возводили в дворянское достоинство.

Теперь Григорьев чувствовал, что и Нина слушает. Но он говорил не для нее.

— И вот, за сутки до отплытия эти хронометры привозила на корабли комиссия ученых. Астрономы, математики. Вместе со штурманами экспедиции заводили их, пускали. Укладывали ожившие хронометры в специальные ларцы, запечатывали и оставляли под охраной часовых. А команды отпускали до утра на берег...

Он говорил, сам удивляясь тому, как много нужно слов, чтобы передать даже близким и понимающим промелькнувший мгновенно образ. И это само по себе значило нечто важное, что предстояло понять.

— ...У них были еще целый вечер и целая ночь, у матросов, офицеров. Семейные прощались с женами и детьми. Холостые, наверное, пили: кто в дорогих ресторанах, кто в дешевых, грязных кабаках. Пели, плясали, смеялись, плакали, обнимали женщин. Они еще были дома, ходили по земле, жили по земным часам, но в глубине темных, спящих кораблей уже стучали хронометры. Отсчитывали время начавшегося плавания.

— Вот оно что! — сказал Марик.

— Да, — кивнул Григорьев. — Так же и мы десять лет назад. Учились, дурачились, смотрели «кавээны», увлекались фантастикой, верили газетным передовицам. А хронометры наши где-то уже тикали.

— Но ведь те моряки знали, что их ждет, и знали, что часы уже включены, а мы — нет, — возразил Марик. — Мы же не знали... — он запнулся. — Или просто не задумывались?

— Всё философствуете, глобусы, — проворчал Димка. — Всё философствуете... Ох, ну почему мне так тошно? Почему, а?!

— 12 —

Как было бы хорошо сейчас прогнать Алю, остаться одному в ожидании рейса. Нет, не хватит сил.

И вдруг ему вспомнился вечер прошлогодней весной 1983-го, когда у них с Алей всё только начиналось. Она любила рыться в его рукописях, в папках на столе. Ее тогда удивляло, не раздражало еще, что у него под каждым стихотворением точная дата — число, месяц, год. Под каждым рассказом — даты начала и конца работы. Спрашивала: «Зачем это?» Он пожимал плечами.

Да, самым любимым и самым болезненным было воспоминание о том вечере. Аля в тонком белом свитерке и длинной, строгой клетчатой юбке сидела за его письменным столом. Брала один листок за другим, внимательно читала, откладывала. Знала, что он любуется ей, и придавала себе чуть лишней серьезности. И была похожа на юную учительницу, проверяющую тетради.

Тихо работал телевизор. Дикторы программы «Время» озабоченно говорили о новой тревоге той весны восемьдесят третьего, о «звездных войнах». Он слушал дикторов и смотрел на Алю. Она вдруг удивилась:

— А это почему без даты?

— Что, Алечка?

Она передала ему листок. Он пробежал собственные строчки:

Окно, открытое, как в степь,
В весну, в рассвет, в провинциальность,
В кварталов блочность, в улиц дальность
И в мёрзлой грязи дичь и крепь.
Мы начинаем пробуждаться
От простоты, от лжи, от войн,
Мы видим мир, пока не свой,
Пока не склонный с нами знаться,
В котором зябко оказаться
И зябко быть самим собой...

— Мне кажется, — сказал он, — для этого стихотворения дата не нужна. Для других нужна, для этого — нет. Неважно, когда оно написано.

— Почему?

— Ну, как это объяснить... Есть такое состояние, когда не важны даты. Когда всё вместе, разом — в тебе. Вот, я не люблю Фолкнера, мне он скучен, но у него есть гениальные слова: «Прошлое никогда не умирает. Оно даже и не прошлое». Ты понимаешь? Это как бессмертие.

— При чем тут бессмертие?

— А ты знаешь, что такое бессмертие в научном определении? Неограниченно долгое сохранение непрерывной и непрерывно пополняющейся памяти!

Аля смотрела на него влюбленными непонимающими глазами. И дикторы, мужчина и женщина, сменяя друг друга, всё говорили о космических лазерах и противоракетах...

Странное чувство нереальности в первые месяцы 1974-го. Уже не наркоз, а словно отрешенность. Как будто он уменьшился, превратился в крохотное горящее ядрышко в темном мозгу другого человека, который сам по себе ходит на работу, трудится, устает, а в выходные — убирает свой дом, гуляет с дочкой.

Это другой человек, не он, проходя изредка мимо покинутой и запертой «клетушки», испытывал болезненный толчок в сердце и отворачивался. Другой человек узнавал, что его царство растаскивают по разным отделам. Когда в обеденный перерыв кто-то подходил к нему в столовой и, посасывая застрявшие между зубами волоконца дрянного гуляша, небрежно спрашивал: «Я твой выпрямитель взял себе. Что за хреновина: по паспорту должен шестьсот вольт давать, а еле-еле пятьсот натягивает?», — другой человек спокойно отвечал: «Это сразу после включения. А ты ему дай прогреться хотя бы час».

Другой человек встречался за него на территории с Виноградовым. И вежливо здоровался. И ловил у того в глазах то ли недоумение, то ли насмешку: «Что ж ты наделал, психованный? Небось, теперь жалеешь, а?»

Нет, он не жалел. Это было не сожаление, совсем иное. То, что становилось понятным по мере того, как внутренний человек и внешний постепенно стали сливаться в одного. Уже не прежнего, а обновленного и опять способного трудиться. (В отделе, куда он перешел, его рабочим местом стал старенький письменный стол, покрытый листом органического стекла, на котором его предшественник, тоскуя, художественно выцарапал портреты хоккеистов сборной 1969 года. Кончик шариковой ручки подскакивал на неровностях, когда под бумагой оказывалась врезанная особенно глубокими бороздками физиономия Фирсова.) Слияние росло, по-

тому что работа на новом месте, пусть более далекая от науки, чем прежняя, всё равно требовала напряжения мозга и нервов.

Трудными стали теперь командировки. Нелегко было оставаться со своими мыслями в долгом ожидании посадки в аэропорту или в поездном купе среди незнакомых людей. Он курил, стоя у ограды летного поля в каком-нибудь новосибирском «Толмачево» или свердловском «Кольцово», и следил, как, распластав прямые крылья, блестя четырьмя винтами, с мелодичным гулом взлетают голубовато-серебряные «Ил-18». Их, похожих на благородных птиц, любил он больше, чем все другие самолеты. Они вылетели из детства, из пятидесятых. И он жалел, что их, стареющих подобно живым существам, становится в аэропортах всё меньше и меньше.

Что же мучило его? Какой-то страх? Чего, бессмысленности? Но ведь не была совсем уж бессмысленной его новая работа. Кто-то должен был и ее делать, а он делал честно. Хоть не сидел до вечера, как прежде в «клетушке», в пять часов собирался и уходил вместе со всеми, но уходил усталый, отдавший за день всё сполна.

Может быть, угнетало то, что в новой работе мало было творчества? И он упрекал сам себя, вернее, большой и вяловатый «внешний человек» упрекал того, крохотного, жгучего: «Не хочешь жить, как все? А имеешь такое право? Уверен, что ты лучше других?»

Но и это было лишь сигналом «теплее», лишь намеком, где искать. Настоящий исток страха скрывался еще глубже. Может быть, он просто впервые ощутил свой возраст, и на этой грани — двадцать семь лет — в испуге замерло сердце. Андрей Болконский решал, что жизнь не кончена в тридцать один год, а ему, Евгению Григорьеву, не было позволено даже самостоятельного решения. Движение, которое до грани представлялось подъемом, обмануло. Сама грань опустилась и легла чертою на ровном месте. И уже по-настоящему грозно виделась с черты — до самого конца, до тьмы над горизонтом — всё та же плоская серая равнина под белёсым небом.

И Нина после защиты диссертации как-то сникла. Когда он прилетал, жаловалась на скуку, не хотела сидеть дома. Они ходили в кино, в театр. Должно быть, она тоже ощутила выход на равнину. Еще болезненней, с более острым испугом, потому что ее предыдущее уж точно казалось ей подъемом. У нее тоже наступало состояние стабильности, только иное, чем у него, — не требующее напряжения, не изматывающее. Оно оставляло ей, несмотря на заботы о дочке, достаточно нерастраченных сил и пустоты. Порой она уже и раздражалась на него, такого не было с дней распределения. Вдруг обижалась из-за пустяков, не хотела разговаривать. Он не сердился. Он даже сочувствовал ей, наблюдая, как она томится. Сочувствовал — и ничем не мог помочь.

Он вспоминал, как бился когда-то над ее тайной. Теперь ему казалось, что он вполне ее понимает. Продолжал ли он любить? Он себя успокаивал: после семи лет супружества о любви нет и речи, остается привычка. А разве не привык он к ней, к ее характеру, ее телу? Слава богу, успокоенный ее телесной холодностью, он в конце концов перестал ревновать. Только иногда, в минуты ее хорошего настроения и разговорчивости, вдруг царапали по сердцу прорезавшиеся в ее голосе ироничные интонации «полубогов».

И еще томило что-то, совсем уж нелепое. Как будто неловкость перед друзьями. Ведь тягостное однообразие его жизни не только приносило усталость и пугало душу. Оно давало и защищенность: семья, работа, твердый заработок под двести. А ребят вовсю мололи шестерни 1974-го.

Марик звонил иногда, скучным голосом спрашивал:

— Ну, как дела?

— У тебя-то что?! — кричал Григорьев в трубку. — Устроился на работу или нет?

— В четырех местах... побывал, — отвечал Марик. И в другой раз: — В шести. — А через неделю: — В восьми. Когда десять пройду, отметим. Юбилей.

— Да как они могут отказывать?!

— Ладно, — скучно говорил Марик, — это не по телефону.

— Так давай встретимся, пока я в Ленинграде!

Тихий, дальний голос Марика в трубке:

— Потом. Сейчас не могу. Не смогу.

А Димке он звонил сам и никак не мог застать, ни вечером дома, ни днем в конторе его комбината. Если изредка Димка и оказывался у телефона, всё равно разговор не получался. Димка отвечал, словно подпрыгивая на бегу, словно за ним гнались:

— Семь мастерских по разным площадкам... С утра до вечера, а ты думал!.. Иногда и ночую где-нибудь... Потому что заработать тоже надо! Ладно, это не по телефону... Мать подвела — опять в больнице. Совсем скопытилась старуха...

— Может, помочь надо?! — кричал Григорьев.

Так и получалось каждый раз, что с Димкой, что с Мариком, — не разговор, а крик.

— Ничего не надо! — отрезал Димка. — Ну всё, я побежал, привет семье!..

Собрало их вместе неожиданное и неожиданно. В середине марта Димка позвонил сам. Незнакомый, замедленный голос:

— Мать померла...

— Господи!

— Приезжай, поможешь хоронить. Послезавтра в десять. Больница Мечникова, у Пискарёвки...

Утро выдалось уже по-настоящему весенним: застоявшийся с ночи легкий морозец, хрусткий ледок на лужах. И ярко-синее небо, и огненный восход, обещавший днем тепло и капель. Воздух был таким, каким он бывает в Ленинграде только весною и только с утра — холодный, очищенный от пыли, прозрачный, как оптическое стекло. Самые дальние дома и предметы виделись с необыкновенной резкостью деталей и яркостью красок.

А Григорьев — отыскивал морг среди разбросанных в парке корпусов больницы. Ноги ступали по расчищенным до асфальта дорожкам, как по вязкому. Конечно, он мало знал умершую Александру Петровну. Не то чтобы с особенной силой было жаль именно ее. И всё же, тягостно сдавливало грудь. Он шел хоронить первый раз в жизни. Умерла мать Димки, его друга-ровесника.

Ребята и девушки в белых халатах, студенты мединститута, весело перебегали из корпуса в корпус прямо по газонам, по грязноватому, просевшему мартовскому снегу...

Увидел внезапно: темно-кирпичное низкое здание и перед ним — Димку. Сперва одного Димку, стоявшего — руки в карманы — в старом нейлоновом пальто и шапке-пирожке, надвинутой на лоб. Димка, заметив его, не шевельнулся, только встретился на миг взглядом и медленно отвел глаза.

Тогда, словно в фотографическом растворе, проявились остальные люди. Их было много. Они стояли перед зданием группками, тихие, малоподвижные. И за Димкой собралась такая же группка. Марик, похожий на нахохлившегося черного воробья (глаза испуганные, а губы так и застыли — трубочкой). Три старушки. Трое, нет — четверо — каких-то незнакомых парней. А чуть в сторонке — еще одна женщина, маленькая, в темном пальтишке и по-старушечьи повязанном шерстяном платке. Григорьев сначала и не понял, что она тоже с ними. И лишь когда подошел, когда уже встал рядом с Мариком и машинально глянул в ее сторону, получил ошеломительный, чуть с ног не сваливший толчок в сердце — Стелла!..

Он мгновенно понял, что это она. Именно понял, а не узнал, — у понурой женщины в платке было другое, состарившееся лицо. Она чуть улыбнулась ему в ответ, сочувственно, печально. И только в этой улыбке проступило до нежности знакомое, словно выдавилась капелька из прошлого.

Сердце у него бухало так, что, казалось, могут заметить. Всё связалось вместе и слишком — похороны, мать Димки, Стелла. Конечно, она не могла не приехать. Стелла!.. Сколько же времени прошло? С того августа шестьдесят пятого? Почти девять лет. Ей сейчас тридцать четыре. Нет, еще тридцать три. У нее дочка старше Алёнки. Господи, Стелла!..

Не то был подан знак, не то подошло время, но Димка вдруг повернулся и медленно пошел к дверям. Вслед ему двинулись Марик, Стелла, старушки. Григорьев зашагал за ними. Один из парней быстро спросил Димку: «Мы пока не нужны?» — (Димка сделал отстраняющий жест.) — «Ну, тогда еще здесь покурим».

Теперь Григорьев догадался, кто они такие. Димка взял их с работы, чтобы помогли нести гроб. Вместе с Мариком и Григорьевым будет как раз шестеро. А самому Димке по обычаю, кажется, нельзя.

Спустились гуськом по темной лестнице, протискиваясь мимо всходивших навстречу людей. Он почувствовал, как Марик впереди него снимает шапку. Спохватился, стащил свою. И — как глубинным давлением — их втиснуло в слабо освещенный подвал, наполненный неестественным ЗАПАХОМ. Несильный, неприятно сладковатый, он проникал не только в легкие, но, кажется, сквозь кожу, отравляя кровь.

Потом пришло зрение. Под тусклыми лампами на деревянных скамьях лежали непохожие на людей восковые глянцевитые куклы с закрытыми глазами и плотно слепленными ртами. У всех пугающе, точно наклеенные, торчали огромные брови. А среди скамей, в тесноте подвала, непрерывно двигались, задевая друг друга, настоящие люди. Слышались их частые шажки по цементному полу, шорох трущейся одежды, всхлипывания.

Неужели, это и есть — смерть? Вот это — кукольное, искусственное? И этот запах, вызывающий оскорбительное ощущение нечистоты?..

Он ухватил за рукав Марика, его вдавило вслед за ним между скамьями, и они очутились над одной из кукол, лежавшей в фанерном гробу, обклеенном синей, кой-где отодравшейся бумагой. По другую сторону скамьи стоял и смотрел вниз каменный Димка. Старушки с ним рядом склонились, шепотом заплакали: «Шура, Шура...» Маленькая женщина, бывшая когда-то Стеллой, прикладывала платочек к глазам.

Он не хотел смотреть, но, даже отводя глаза, видел восковое с пугающими бровями лицо в изголовье, скрещенные кисти рук, и ниже — бестелесную пустоту, прикрытую голубоватой материей. Там, где должны были находиться ноги куклы, между матерчатым свертком и фанерной стенкой гроба, торчал коричневый бланк квитанции, вроде тех, на которых в прачечной записывают белье. Печатные строчки

бланка были неразборчивы. Выделялась лишь надпись, размашисто сделанная под копирку: фамилия — Перевозчиков, а ниже — столбики цифр, похоже, расчет рублей и копеек. Сперва он не понял, почему фамилия Александры Петровны написана в мужском роде. И вдруг догадался: квитанция выписана на Димку. По этой квитанции Димка должен получить мать, как получают вещь.

Люди в подвале двигались, протискивались, задевали их скамью. А в нем опять ощутились два человека. Внешний, большой, вел себя так, как положено внешнему: стоял, уронив руки и сжав шапку, с хмурым лицом. А второй, огненное ядрышко, фокус линзы, что жег краешек мозга, стягивал в себя энергию боли. Он чувствовал, как Марик, прижатый к его плечу, слился с ним в напряжении, и словно по общим нервам перетекает в них жалость к Димке и оскорбленность мерзким подвалом. А то, что чувствовали Димка, Стелла и — дальше, дальше, с внешних кругов, — то, что чувствовали все эти движущиеся с мышиным шуршанием молчаливые, шепчущиеся, всхлипывающие люди, — сходилось в него со всех сторон болевым током. Кружилась голова, он словно всплывал в дурнотной невесомости.

Потом был автобус-катафалк, старенький, помятый, не раз перекрашенный. Григорьев помнил, как в конце шестидесятых эти похоронные фургоны стали вдруг заметны в городе: для них ввели белую эмалевую окраску и по обводу рисовали красно-черную полосу, как бы перевитую дурацким бантом на одном боку. Так и проносились по Ленинграду пугающими кометами, издалека видные, вызывая у них, тогдашних студентов, остроты и смешки. В конце концов, до кого-то из похоронных начальников «дошло», нарисованные банты исчезли, осталась ровная красно-черная полоса. Потом пропала и она, да вместо блестящей белой эмали покрыли кузова серой краской. И стали — обыкновенные служебные автобусы, неразличимые, как невидимки, в потоках машин.

Гроб они вдвинули сквозь люк в задней стенке, а сами, один за другим, забрались внутрь через единственную переднюю дверь. В автобусе, залитом весенним солнцем, было

тепло, пахло бензином и пылью. «Внутренний человек» сразу захватил в себя продавленные сиденья, истертый и порванный резиновый коврик на полу, профиль пожилого шофера, хмуро глядевшего в коричневую квитанцию, ту самую или копию той.

Незнакомые парни уселись позади, рядом с гробом. Там же примостились старушки. Марик сел на одно из средних сидений, забился к окну, освобождая рядом с собой место. И «внешний человек» опустился туда, расстегнул пальто, стащил шарф с потной шеи. В многоголосую мелодию смятения вошли гул мотора и скрежет вала под днищем. За окнами закачались, поплыли постройки больницы,

Димка, поместившийся впереди, за шофером, сразу закурил, низко опустив голову. Он прикрывал сигарету горстью и выдувал дым в колени, будто прятал от всех и лицо, и сигарету, и дым. Стелла сидела у двери на боковом сиденьице, вполоборота. Григорьев чувствовал, как время от времени она смотрит на него.

Он взглянул на темный профиль Марика. Тот чуть кивнул. Что-то рухнуло с этой смертью в их общем мирке. Какой-то невидимый прежде опорный столб. И всё перекосилось.

Он склонился к Марику, чтобы не говорить громко в шуме и дребезжанье автобуса:

— Как твои-то дела? Совсем худо?

Марик пожал плечами:

— Пока тунеядствую... — и, помолчав, с неохотой: — Двенадцать мест прошел.

— Неужели всё... — трудно оказалось даже произнести, — из-за... — Он хотел сказать «из-за этого», но выговорилось: — из-за отца?

Марик, прикрыв глаза, легонько толкнул его коленом: прекрати, не место.

А хмурый шофер держал курс через центр города. Автобус пролетел над почти свободной от льда темно-синей, искрящейся Невой по Литейному мосту, круто взял вправо, к Фонтанке, и понесся вдоль ее набережной. Промытые краски петербургских зданий в солнечном воздухе были об-

жигающе ярки. У Аничкова моста шофер вывернул на Невский... Что-то непривычное пробегало, пряталось, сквозило в облике родных улиц с их празднично-пестрой весенней толпой. Сквозь пыльные стекла автобуса-невидимки они казались чужими.

И вдруг он начал понимать, что с ним происходит. Так совпало — похороны, возвращение Стеллы. Мог быть иной толчок, раньше или чуть позже. Он всё равно ощутил бы то, что сейчас. Чувство излома... Значит, он ошибался, когда связывал это с возрастом. Двадцать семь лет — тоже совпадение. Могло быть больше или меньше, дело не в цифрах, а в том, что все-таки был, был подъем, долгий, заданный с детства. И должна была выступить, наконец, эта острая грань, режущая не только душу, а как будто и тело. Сейчас он переваливался через нее, израненный. И то, что толкало его на ту сторону, было сильнее боли, сильнее даже реальности.

Капсула автобуса летела уже вдоль проспекта Стачек. Проносились темные, грубо украшенные домищи «сталинской» постройки, — не то дворцы, не то крепости, не то тюрьмы. А ведь когда-то они казались им прекрасными. Мелькнула круглая башенка станции метро «Автово». Там, под землею, сверкал мраморный зал с хрустальными колоннами, их детское чудо пятьдесят пятого года.

Когда-то им казалось, что эти темные дворцы, и станции метрополитена, и еще дальше — танк на постаменте, большой ярко-зеленый «КВ», вскинувший пушку над передним краем блокадной обороны, — вехи по краям их взлетной полосы. Порою в кресле авиалайнера по пути в Челябинск или в Томск он словно бы в самом деле улавливал отзвук того, предчувствованного ощущения полета. Но настал день, и оказалось — вот он, их первый настоящий вылет за черту. Куцый — туда и назад. Принужденный, вороватый. На ближнее к городу старое «Красненькое» кладбище, где Димка скандалом и темными деньгами добился разрешения схоронить мать рядом с давно умершей теткой...

Гроб оказался неожиданно тяжел даже для шестерых, а тащить его пришлось по колени в сыром мартовском снегу,

протискиваясь между могильных оградок. Димка шел перед ними и направлял движение. Кричал им: «Заноси направо! Теперь налево! Теперь на месте разворачивайтесь!» Когда они, наконец, опустили ношу на снег у развороченной глинистой ямы, Димка, красный, в сбитой набок шапке, с прилипшими к потному лбу волосами, казался почти довольным.

Поджидавшие их четверо мужичков с испитыми лицами, все, как в униформе, в ватниках и старых солдатских ушанках, немедленно принялись подлаживать под гроб два длинных брезентовых ремня. Деловитыми матюгами согласовывали работу, не обращая внимания на женщин.

Вот как это происходит, — думал Григорьев. — Вот, что такое смерть. Почему ее так боятся, чего мы страшимся? Ведь не только умирания, боли, мучений. Небытия? Но мы уже знакомы с небытием. После смерти будет только то, что было до рождения. Казалось бы, ничего страшного... Нет, неверно! Небытие до рождения было естественным: бессознательность хаотических электронов, атомов, излучений. А возврат в небытие после рождения — неестественен. Если человеческий разум способен охватить Вселенную, если каждый человек равен целой Вселенной, то и время жизни его должно соизмеряться с астрономическим временем Вселенной. Не иначе...

Раздался крик:

— Готовься!

Заскрипели и натянулись ремни. Димка сдвинул шапку на затылок, выгнулся, глядя горящими глазами на гроб.

Я должен был бы испытывать страх и сострадание, — думал Григорьев. — И я их испытываю. Но сейчас как-то ослабленно, не так, как Марик. Даже неловко, неужели это — черствость? Но зато я чувствую сейчас то, что испытывают они все — и Марик, и Димка, и даже землекопы, даже ребята-помощники, которые деликатно остались позади. И это ведь тоже от страха и сострадания!.. И то, что я так прислушиваюсь к себе, — как в груди уколами отмирают старые клеточки и рождаются новые, — от страха и сострадания. А если сострадание мое пока беспомощно, то, может быть, и перерождение так болезненно именно оттого,

что «внутренний человек» пытается свою беспомощность пересилить...

— Взяли-и! — скомандовал старший из могильщиков. — Опуска-ай!

Гроб, оставив на комьях глины клок отодравшейся синей бумаги, ухнул в яму. Змеями взлетели на воздух выдернутые из-под него ремни. Опять тоненько заплакали старушки. Стелла замерла в стороне. Димка яростно смотрел на яму. Что-то надо было сделать. Знакомое из книг, из фильмов. Григорьев никак не мог сообразить — что?

И тут вперед неожиданно выступил Марик. Нагнулся, поднял бумажный обрывок и как был, согнутый, протянул руку и отпустил его над ямой медленным синим лепестком.

Димка сорвался вперед. Зачем-то оттолкнул Марика, будто мало было места. Начал торопливо хватать и сбрасывать вниз комья глины, отзывавшиеся из ямы звонкими ударами, словно освобождающе лопались перетянутые болевые струны...

По дороге с кладбища парни-помощники отстали, старушек развезли по домам. И поминки справляли вчетвером — Димка, Марик, Григорьев и Стелла. Справляли в той же комнате, где занимались десять лет назад. Так же стоял посредине огромный комод, отгородивший «спаленку» Стеллы.

Когда они вошли, из-за комода вдруг выбежала замурзанная девочка лет четырех, уставилась любопытными глазёнками на Григорьева и Марика.

— Ка-атька! — хрипло сказал Димка. — Наследница наша.

Стелла метнулась за комод, вынесла оттуда горшок, накрытый крышкой, и выскочила из комнаты.

Потом они сидели за тем же самым круглым столом. Со своего места на тумбочке слепо глядел зеленоватым экраном тот же старенький телевизор «Знамя». Напряжение похорон потонуло в поднявшейся усталости. Пили и ели молча.

Григорьев вспомнил их прошлые застолья. Сколько же раз им казалось, будто после их встречи переменится что-то в жизни у каждого! Словно заряжались друг от друга! Значит, то был самообман? И то, что представлялось душевным

подъемом, оказывалось просто возбуждением, неспособным прорваться в реальность?.. Но как тогда быть с его сегодняшним чувством перерождения? Оно тоже размылось усталостью. Неужели — еще один самообман?

Стелла как когда-то приносила им из кухни тарелки с едой. Теперь он видел, как она постарела и похудела: личико заострилось, обтянулись и выступили нос, надбровья, скулы. Морщинки прорезались у глаз. В волосах, как прежде гладко зачесанных назад, проблескивали сединки. Но всего сильней поразила его, ясно помнившего нежную и мучительную полноту ее бедер, сухонькая бедная фигурка.

Когда садились за стол, она мышкой скользнула к нему, коснулась его руки с обручальным кольцом, выдохнула шепотом в самое ухо: «Женился! Ребенок у тебя! Умничка!» И сухими губами легонько царапнула его щеку. Ему показалось, что от нее пахнет хозяйственным мылом.

Неужели это — Стелла? Неужели был тот номер в «Морском прибое», наполненный сквозь выцветшие занавески бесстыдным солнцем, девять лет назад?.. Ах, как это помнилось! Как переживалось в памяти! Воспоминание очистилось временем от юношеского разочарования и темных, низких подробностей. Осталось яркое — изумление, благодарность. Лицо Стеллы, самозабвенное и словно искаженное страданием. Ее стоны, ее раскрытое тело, бившееся горячо и сильно, как сердце. Никогда, ничего подобного не было в их пресном супружестве с Ниной.

Но томило не само воспоминание, а всё та же неразрешимость власти разума над реальностью, настоящей ли, прошедшей. Вспомнилось, как человек у Воннегута, умирая, не прекращает жизнь, а только завершает. И после этого может перемещаться в любое мгновение от рождения до смерти, снова и снова, по выбору, переживать случившееся с ним. Повторяемость записанной пластинки... Нет, и это не спасение. Разуму нужна именно власть над реальностью!

Димка вытащил старый альбом. Начал перелистывать картонные страницы с пожелтевшими, но сохранившими удивительную резкость фотографиями, похожими на гравюры.

— Вот, — сказал он, — какая красивая была!

Со снимка напряженно глядели ребята в кепках и девушки в одинаковых халатах и косыночках. Над ними плакатик: «Ровесники Октября фабрики имени КИМа. 7 ноября 1935 г.» Григорьев сам нашел среди них Александру Петровну. Она была похожа на прежнюю Стеллу: большие изумленные глаза, пухлые губы. Как ее называли тогда? Наверное, Шурочкой.

Восемнадцатилетняя Шурочка смотрела на них сквозь расходящийся черный провал времени, в котором тонула ее будущая жизнь — работа, война, голод. Гибель одного мужа, бегство другого. И снова — работа, работа, единственное, чем она могла поддержать жизнь рожденных ею детей. Цеховая грязь, дурнота уайт-спирита, отравленное и разбитое тело, превращенное в механизм. Дотягиваясь взглядом до живых, она истончалась в подобное тени существо, каким они знали ее, чтобы в конце обрести на миг уже мертвую плоть в страшном подвале и отлететь назад, на снимок, как на отдаляющуюся планету.

Димка захлопнул альбом:

— Как его в блокаду не спалили!..

Стелла говорила, обращаясь почему-то к одному Марику:

— Мы с Катенькой насовсем приехали, а нас не прописывают. Я на севере паспорт меняла по возрасту, и отметки о ленинградской прописке не осталось. А у Катеньки в свидетельстве место рождения — Апатиты Мурманской области.

— Да разберемся, — проворчал Димка.

Голосок Стеллы звучал по-детски: преувеличенно заискивающий, преувеличенно жалобный. И от этого преувеличения, действительно, становилось жаль ее до тоски.

— Теперь, без мамы, совсем трудно будет прописаться: у нас с Димочкой и фамилии, и отчества разные. Докажи им, что брат!

Марик грустно смотрел на нее и чуть кивал.

— Разберемся! — сказал Димка. — Тебе ж объясняли.

— Димочка столько денег на похороны потратил, а тут мы на него свалились!

— Да ну, — поморщился Димка, — пятьсот рублей за вас двоих с Катькой, наскребем. Черт с ними, пусть подавятся!

Говорят, дешево еще. Обычно пятьсот они хапают — одного прописать.

И вновь Григорьев ощутил в нервном контуре, пронизавшем его, биение сложившихся токов. Он воспринимал виноватость Стеллы, жалобно преувеличенную на словах и еще большую в душе. Воспринимал, как Димка, оледенелый от горя, слегка уже подыгрывает своей роли покровителя, и как становится ему легче от безобидного актерства. Воспринимал Марика, сострадающего всем, переполненного собственной болью. И — себя самого, связанного с ними силовым полем человеческой любви и беды.

— Иди, иди сюда! — Димка сгреб маленькую племянницу, усадил к себе на колени. Она выворачивалась, играя.

Димка много выпил. Его лицо кривилось в усмешке, но глаза оставались трезвыми и тоскливыми.

— Ка-атька! — он хватал ее губами за ухо. — Катька, чебурашка ты этакая! У-у, чебурашина...

Заканчивался долгий день похорон, день излома. Вдвоем с Мариком они шли с поминок. Темнело, и чистый холод весенней ночи вливался в остывающие улицы.

— Оказывается, пятьдесят шесть ей было, — сказал Григорьев. — По такому счету мы уже половину прожили... А как она на той фотографии на Стеллу похожа!

— Похожа, — согласился Марик.

— А Стелла как переменилась! Ты помнишь, какая она была?

— Помню. Конечно.

В голосе Марика Григорьеву почудилась нежность. Он быстро спросил:

— Она тебе нравилась? Тогда?

— В том возрасте всегда нравятся девушки старше себя.

— Ну, ты у нас психолог-теоретик!

Марик не ответил, и Григорьеву стало не по себе. Холодный воздух быстро вымывал опьянение.

— Не обижайся, ради бога, Тёма!

— Я не обижаюсь.

— Так что у тебя с работой?

— Я тебе говорил.

— Что ты говорил? Расскажи по-человечески!

— Интересного мало, — тихо ответил Марик. — Хожу и хожу. Сейчас многие предприятия ЭВМ приобрели, а толком использовать не могут. Специалисты нужны везде. Адреса, телефоны у меня еще с кафедры.

— Колесников тебе помогает?

— А что он теперь может.

— Потому что — пенсионер?

— Он бы сейчас и доцентом ничего не смог. Сейчас не шестьдесят девятый, когда он Сашку устраивал, гораздо хуже всё... А так — звонил ему пару раз. Не удалось поговорить.

— Почему не удалось?

— Так... — с неохотой ответил Марик. — Не получился разговор.

— Он пьяный был?

Марик промолчал.

— Ну! — сказал Григорьев.

— Ну, выбираю очередное предприятие. Звоню туда в лабораторию. Конечно, лучше бы не звонить, сразу идти, чтобы себя не обманывать. Но — не могу... По телефону всё прекрасно: «Программист? Приходите, приходите!» И фамилию называешь — приходите! Нечеткая у меня фамилия. Собираюсь, еду...

Марик повернулся. В свете уличного фонаря Григорьев увидел усмешку на его негритянском личике (блеснули глаза и белым пятнышком приоткрылись зубы):

— Выходит начальник лаборатории, с кем по телефону разговаривал. Смотрит на меня, настроение у него сразу меняется: «Ах, это вы-ы звонили?..» Знаешь, если бы не самому в этой шкуре находиться, то даже интересно было бы наблюдать, как по-разному люди проявляются. Одни говорят: «Ну, пойдем в отдел кадров. Попробуем». Другие: «Идите один. Если получится, мне перезвоните». А третьи добавляют: «Только на меня там не ссылайтесь!»

— Сволочи! — проворчал Григорьев.

— Почему? — сказал Марик. — С этими, по крайней мере, всё по-честному... Ну, а уж в отдел кадров суешься —

словно под один и тот же штамп, чтобы он тебя долбанул. Два варианта всего у кадровиков. Один — быстрый: «А в этой лаборатории, оказывается, ставок нет! Да, были они там, были. Но мы их буквально на днях куда-то передали, или сократили, а в лаборатории еще и не знают. Всего хорошего!..» Другой — медленный: «Ставки пока нет, заполните анкету, позвоните через недельку». Позвонишь: «Ах, ставку не дают, еще через две недельки звоните». Потом — через месяц. Пока не отстанешь...

— Но им ведь документы важны, а ты по документам — русский!

Марик фыркнул:

— Вот и я всё думаю: каково ж тогда евреям приходится?

— Не цепляйся ты к словам! Я хочу понять.

— А что тут понимать? Красота моя кадровиков пугает. Бога благодари, что тебе этой муки не испытать: с такой физиономией в отдел кадров входить. Хуже — не знаю, что и есть, — голос у Марика был спокойный.

Григорьев остановился, закурил. Снова, как на кладбище с Димкой, сочувствие Марику отзывалось собственным страхом бессилия. Почему-то с тревогой вспомнилась Нина.

Сказал только:

— Неужто мы доехали до того, что на лицо смотрят?

— А если б на лицо не смотрели, — спросил Марик, — а сразу в паспорт? Это как было бы — не доехали или переехали?.. Там система четкая. Даже если с физиономией и паспортом проскочишь, анкета остановит. В тех конторах, что поважнее, национальность каждого из родителей надо указать. А где и попроще режим, всё равно: имя-отчество отца — полностью. Всё у них предусмотрено!

В черно-синем небе над крышами дрожали яркие звезды. Григорьев замедлил шаг, вглядываясь вверх:

— Пояс Ориона! — (Три крупные звезды напоминали небесное многоточие.) — А вон Большая Медведица! Воздух какой прозрачный, Алькор ясно-ясно виден!

И тут же он спохватился, что со своей неуместной астрономической восторженностью как будто отдаляется от Марика и его беды. Запнулся. Проворчал:

— И как ты всё это выносишь, Тёма! Я бы им точно что-нибудь устроил в кадрах. Хоть душу бы отвел!

— Ты — вроде Димки. Тот тоже на словах герой. А как самого возьмут за горло — мать похоронить или сестру прописать, так не пикнет. Платит и молчит.

— Ну, там еще понятно — взятки. А вот почему ты должен отвечать за кого-то, кто эмигрирует?

— Не мучили бы людей, никто бы и не эмигрировал.

— Да это я тоже понимаю, — согласился Григорьев.

— Так что не ясно тебе?

— Суть. Суть замысла этого. Получается, просто надо мучить?

— Конечно! — с неожиданно прорвавшейся злостью ответил Марик. — В этом вся суть и есть!

— Но тогда, вообще бессмыслица.

— Э, нет! — сказал Марик. — Не бессмыслица! Да, цикл безумно выглядит: сами выдавливают людей из страны и сами обвиняют в измене. Для чего? Для того, чтоб оставшихся еще сильней давить! Но те, кто эту давилку запустил, наверное, глубочайший смысл в ней видят.

— Да какой же?

— Психология. Антисемитизм — просто идеальный способ воспитания всей нашей интеллигенции. Евреи же в этой среде, в основном, обитаются. Ты удивляешься: за что? Да тут самое главное и есть в том, что НИ ЗА ЧТО. Родился не с той записью в метрике? Всё! Только за это — не поступишь, не примем, не получишь, не разрешим, выгоним! И не только в том дело, чтоб остальных запугать. Еще важнее, что открыто сказать об этом нельзя, ТАБУ! Ты всё понимаешь, все вокруг всё понимают, а вслух должны только прямо противоположное твердить. Это даже не воспитание, а натаскиванье на рефлекторное поведение в системе. Для всех — от абитуриентов до академиков. Как для павловских собачек.

Марик помолчал. Потом сказал:

— А может, действительно, всё проще. Ни смысла нечего искать, ни логики, дело только в степени безумия. Как говорил Колесников: «Раньше была чума, теперь — проказа». Я ведь помню и чуму.

— Какую чуму?

— Борьбу с космополитами.

— Сколько ж тебе было? — удивился Григорьев.

— Четыре года.

— Так что ты можешь помнить?

— Помню, как книги продавали, — сказал Марик. — Мать в блокаду шкаф и все книги в печке сожгла. Отец, едва вернулся с войны, стал сразу новые покупать. Энциклопедию помню: черные тома здоровенные и в них цветные иллюстрации, перед каждой — листок папиросной бумаги тончайшей. Как я, маленький, любил их разглядывать! И вдруг — исчезло всё. Отца с работы выгнали. Какое-то время продажей книг кормились... И еще помню, позже, — мне шесть лет было, — как мы с отцом зимой на Малков переулок ездили, на квартирную толкучку. Я с ребятами в снежки играю, а отец — объявления читает, в толпе ходит, разговаривает. Всё спокойно так... Потом уж, через много лет, он рассказал, зачем ездили. «Дело врачей» гремело, всех евреев собирались в лагеря отправить. Отец и заставил маму подать на развод. И комнату нашу хотел на две разменять. Себе — хоть щель подвальную, всё равно, а нам — получше. Чтоб маму и меня вместе с ним не увезли. Чтоб мы остались и жили.

— Шекспир какой-то! — сказал Григорьев.

— Может быть, — вяло согласился Марик. — В какой-нибудь Англии, какому-нибудь Шекспиру одной этой темы хватило бы на трагедию в пяти актах. А у нас — обыденно всё. Отец говорил, в толпе над ним посмеивались. Даже не зло, а так, почти добродушно: «Пытается Абраша жилплощадь спасти»... А потом, вдруг, что-то изменилось. Помню, подслушал, как мать рассказывает тетке: «Я говорю секретарше: Ну, какое ваше дело? Бывает ведь, что люди передумают разводиться!» Тогда я, конечно, не понял ничего, а это она заявление из суда забрала. А потом отец снова книги стал покупать... Не люблю поэтому, когда Хрущева с издевками вспоминают.

Марик задумался. Помолчав, сказал:

— Да. Может, и в самом деле — просто безумие. Проявление энтропии, смертного начала природы... С макроскопи-

ческой точки зрения всё хорошо объясняется. Только — что мне в моем, микроскопическом случае делать?

— Почему ты в бюро трудоустройства не хочешь пойти? — спросил Григорьев. — Там обязаны помочь.

— Ходил, — ответил Марик. — Сидит старичок, явный отставник. Даже паспорт мой не раскрыл. Смотрит на мою физиономию, смотрит в трудовую книжку, а там последнее место работы — аспирантура, и такой у него ужас в глазах, чуть не трясется: «Инженерных вакансий нет, вот только одна — технолог по сварке, вам же не подойдет!» Вижу, прямо дурно ему, глядит умоляюще. Я извинился и ушел... В общем, когда у нас по закону за тунеядство привлекают, через три месяца?

— Рехнулся, Тёма?!

— А что? Чем-то должно всё это кончиться.

— Послушай, — сказал Григорьев, — давай, попробуем в мою контору? Ко мне кадровичка наша, вроде, неплохо относится, глазки строит. Я тебя приведу, представлю.

— Нет, — сказал Марик, — к тебе не пойду.

— Да ты что, чудак, скомпрометировать меня опасаешься? Плевал я на них!

— Не в том дело, — спокойно ответил Марик. — Не знаю, поймешь ты или нет. У меня есть ты и Димка. Если ты пойдешь со мной и попадешь в эту грязь... Если ты хоть брызги ее на себе почувствуешь... Между нами что-то может измениться, понимаешь? Независимо от твоей воли.

— Тёма!

— Не хочу этого, — сказал Марик. — Не хочу. Не нужно такого испытания, этим нелюдям на радость.

Над улицами уже в полную силу мощно сверкало ночное звездное небо. Оно придавило город, обратило его в расползшийся по земле неровный слой тьмы, простеганный цепочками фонарей и светящимися клеточками окон.

— Они нелюди, — согласился Григорьев, — но мы-то — люди, Тёма... Вот, смотри: Мицар и Алькор. Кажутся двойной звездой, а я знаю, что они — оптическая пара. Что мне от этого знания? Ничего! Оно не может повлиять на мою жизнь. Так почему мне это интересно? Потому что я — ненормальное животное, или все-таки потому что я — чело-

век? И мой интерес — ИНСТИНКТ ЧЕЛОВЕКА?.. И знаешь, ты только не смейся над тем, что я скажу...

— Мне не до смеха, — ответил Марик.

— Нет, послушай, Тёма: когда я буду умирать, — если уж так не повезет, что буду сознавать — конец, умираю, — знаешь, о чем стану я больше всего жалеть? О том, что не дожил до полетов к звездам. И не увижу никогда, как стартуют субсветовые, а может быть, и сверхсветовые корабли. Как они возвращаются. Не узнаю, как выглядят вблизи хоть соседние с Солнцем красная звезда Барнарда и желтый Процион. Какие там планеты, есть ли органическая жизнь... А ведь это было возможно, Тёма! Для нашего поколения это было возможно!

Марик молча шагал рядом, и в темноте показалось, что он только головой покачал в ответ.

— Не согласен, Тёма? Но ведь ты сам когда-то, вспомни... Шестьдесят седьмой год, ты начинал работать у Колесникова и рассказывал мне, что ваши исследования — путь к бессмертию и галактическим полетам. А я — только женился, деньги нужны были позарез, ночами ящики таскал на хлебозаводе, разгружал вагоны на овощной базе. Сидел одуревший от недосыпа, слушал тебя, завидовал, но и посмеивался в душе: казалось, ты всё еще в иллюзорном мире, а я — уже в реальном, я повзрослел... Но вот прошло семь лет, для меня они тоже были трудными, я тоже многое передумал. И то, что я сейчас говорю, это не попытка защититься от обманувшей жизни, а, может быть, и есть мое настоящее повзросление: никакой другой цели, кроме Бессмертия и Космоса, нет и не может быть. И реально только то, что этой цели служит. А вот всё остальное, что отвлекает от нее человека, действительно, иллюзия. Если не просто патология.

— Не знаю, — ответил Марик. — Мне даже думать трудно. Я сейчас, как связанный... Хотя, знаешь, что самое странное? Мне сейчас легче жить, чем раньше, в аспирантуре. И наверное, легче, чем Димке и тебе. Вам непрерывно приходится выбирать, а у меня — борьба за существование в самом примитивном виде. И надо так немного: хоть куда-то, наконец, устроиться. Кажется, устроюсь — и всё, будет полное счастье.

— А вот мне кажется, — сказал Григорьев, — что мне выбирать больше не нужно. Я свой выбор сделал. Когда-нибудь расскажу тебе.

— Сейчас не хочешь?

— Пока не могу. Надо самому убедиться.

— Ты во что-то еще веришь, — вздохнул Марик. — А я боюсь, ничего у нас уже не выйдет... И знаешь, что нас погубило? Помнишь, выходили брошюрки в пятидесятых, тоненькие такие, с цветным рисунком на обложке, с крупным шрифтом, как для младших классов: «Происхождение Земли и планет», «Жизнь атмосферы», «Что такое радиолокация»?

— Помню, конечно, — ответил Григорьев. — У меня до сих пор штук пять или семь сохранилось.

— Вот они, брошюрки эти, и погубили, — серьезно сказал Марик. — Не веришь? Ты их перечитай.

— А я не согласен!

— Что ж, по-твоему, я не прав?

— Ну почему, — ответил Григорьев, — ты прав. Только я с этим не согласен. Вот, не согласен — и всё!

— 13 —

Лето 1974-го. Кажется, июнь. Да, июнь, стояли белые ночи: он вернулся из командировки поздно вечером, а в Ленинграде было празднично светло. Празднично потому, что он успел соскучиться — по Нине с Алёнкой, по своему городу. И впереди были выходные, а вскоре — отпуск.

Нина ждала его (он перед вылетом послал телеграмму). Встретила в новом нарядном халатике, с прекрасно уложенной прической, любимой им воздушной округлой короной. Чуть подкрашенная: темным — но не черным! — подведены ресницы, бледно-розовая помада на губах. Целуя ее, он ощутил сладковатый вкус этой помады и аромат духов, незнакомых прежде. Сердце забилось от нежности, благодарности, возбуждения. Ведь всё это было — для него.

Оказалось, Алёнка у бабушки. Сперва он огорчился, но тут же подумал, что Нина увезла ее нарочно, чтобы побыть с ним вдвоем. Забавно вспомнилась «Книга о супружестве» немецкого профессора Нойберта. В конце шестидесятых — начале семидесятых была она почти единственным руководством, с которым начинали семейную жизнь сотни тысяч юных пар. На случай возвращения мужа из командировки профессор советовал молодой жене проявить свое желание и нетерпение изящным намеком. Например: «Дорогой, я уже приготовила для тебя ванну!»

Однако Нина, хоть была явно рада возвращению Григорьева, не проявляла признаков нетерпеливого желания. Зато принялась за работу, которую обычно выполнял он сам, — стала разбирать его портфель:

— Синяя рубашка — грязная? А белая майка в пакете — чистая?

— Майки я там выстирал, рубашку — не успел...

И может быть, радостнее всякой любовной игры было видеть ее хлопочущей, заботливой. Женой.

— Господи, опять книжек накупил! Ты не думаешь, что их держать негде? Складывать на подоконник я больше не разрешаю!

— Ниночка, ну это же Чапек, Уэллс. У нас же их не было. Алёночка вырастет, будет читать.

— Станет она тебе читать Уэллса! — Нина перелистала книгу в мягкой обложке: — Да эти книги развалятся, пока она вырастет. Они уже разваливаются! И бумага хуже газетной.

— Ну, массовые же издания, Ниночка! В Ленинграде сейчас и таких не купить.

Нина извлекла из портфеля тяжелую дерматиновую папку, недоуменно раскрыла ее:

— Это ты служебных бумаг столько таскаешь? Что вы только в них пишете?

— А ты не смотри, там секреты нашей отрасли, — глуповато пошутил он, подходя к ней сзади. Взял за плечи, уткнулся лицом в мягкую, душистую корону волос, поцеловал в шею.

— Между прочим, у меня на кафедре тоже вторая форма допуска! — ответила Нина и вытащила из большой папки тонкую прозрачную папочку с исписанными листами. — И секретные документы, даже черновики, не возят с собой.

Она подняла папочку к глазам и прочла вслух:

— «В феврале тысяча шестьсот сорок восьмого года десятитысячная французская армия...» Что это такое?!

Он выхватил папку так резко, что Нина испугалась. Идиллия встречи, мелодия любовной игры — всё разлетелось вдребезги, как вазочка переливчатого хрусталя от удара ломом. Он ужаснулся, он обругал себя. Но то, что заставило его вырвать папочку из рук отшатнувшейся Нины и с невнятным бормотаньем («Это так... Это — по истории...») затолкать в ящик письменного стола, было сильнее домашней умиротворенности. И сильней любви.

«В феврале тысяча шестьсот сорок восьмого года десятитысячная французская армия по льду перешла Рейн, пересекла Гессен и соединилась с двенадцатитысячной шведской армией, зимовавшей во Франконии. Полководцы — маршал Анри Тюренн и генерал Густав Врангель, давние приятели, — под буханье холостой мушкетной пальбы приветствовали друг друга перед шеренгами солдат в снежном поле у деревушки. Солдаты стояли неровно, хмурые и злые. Особенно мрачны были шведы. Еще вчера они бранили унылую жизнь в провонявшей деревеньке, а сегодня с тоской оглядывались на ее закопченные домики, потонувшие за зиму в мерзлых нечистотах, — какое ни есть укрытие, откуда их сейчас выгоняли в неизвестность. Поеживаясь от холодного ветра, они с ненавистью смотрели на своих полководцев и тихо рычали, что те, должно быть, свихнулись. С начала времен, с тех пор, как родилась Великая Война, еще не было кампании, когда бы армию так рано поднимали с зимних квартир...»

Не только Нине — себе самому не объяснить было толком, какого черта вдруг стал — об этом.

То, что начал писать, мучиться вечерами в комнатке заводской гостиницы над исчерканной бумагой, — понятно.

«Внутренний человек» уже не просто слился с «внешним», своей оболочкой, — он переполнил мозг, он рвался по нервам и кровеносным жилам в действие, в реальность. Но почему — ОБ ЭТОМ?

«...Войско союзников перешло Майн и черной на снегу змеей, чешуйчатой, звякающей железом, тяжко поползло на восток, в Богемию. Началась последняя кампания Тридцатилетней войны, мировой войны Семнадцатого века...»

Почему — об этом? Только потому, что правду о напряжении и горечи своих, будничных семидесятых напечатать было бы невозможно? Но ведь он тогда вообще не думал о публикации.

Теперь, в восемьдесят четвертом, через десять лет, самому странно, как переплелись настроение и всеядная начитанность, и как жажда действия прорвалась вот этой — повестью не повестью, легендой не легендой, — а скорее, просто игрой, напоминавшей детскую «раскраску». Он словно перелистывал подобные пожелтевшим и пыльным чертежам схемы исторических событий, жизнеописания давно истлевших героев и, сохраняя подлинные контуры выцветших линий, размалевывал их влажной акварелью, по своему наитию выбирая и смешивая цвета, мысли, чувства.

И — самое странное: два года назад, в восемьдесят втором, легенда-игра, так не похожая на всё остальное, что он написал, вышла в свет, проскочила в очередной сборник «молодых авторов». Невероятно было увидеть свое нелепое детище напечатанным. В нелепом сборнике совсем уж нелепых «молодых» — сорокалетних, краснолицых, с сединами, лысинами и стальными зубами. Он, всего-навсего тридцатипятилетний, с небольшими (тьфу-тьфу-тьфу), пока еще легко скрываемыми проплешинами, был в этой компании, кажется, самым юным.

«...Растянувшаяся на несколько верст походная колонна ползла по белой пустыне. Снег покрывал заброшенные поля

и кучи обгорелого мусора на месте давно сожженных деревень. По ночам обжигал мороз. Латы, брошенные на повозки, белели от инея. Днем, когда пригревало солнце, снег под ногами и копытами превращался в жидкую грязь, а ветер доносил кислый запах оттаявшей гари и тошно-сладковатый трупный смрад. Отощавшие за зиму лошади с трудом тянули орудия и фургоны.

Каждые несколько дней армия останавливалась, чтоб подождать обозы с хлебом, тянувшиеся по ее следу. Пропитание на месте достать было невозможно — вокруг лежала вымершая страна. Со времен разрушения Рима не бывало такого запустения. Шесть миллионов убитых, умерших от голода и эпидемий, догнивали, кое-как присыпанные землей, отравляя воздух, воду ручьев и рек. Разрушенная, испепеленная, лишь милосердно прикрытая тонким снегом, Германия зияла подмороженной язвой в центре Европы. Как пролом из дальнего будущего. Как видение послеводородного мира, когда полыхнувший с ревом атомный огонь стихнет и угаснет, уступив место межзвездному холоду, и тем завершится наконец Великая Война за истинную веру...»

Тогда, весной 1974-го в газетах медленно затихал камнепад натужно-гневных статей вслед высланному Солженицыну. Америку и весь мир сотрясал уотергейтский скандал. Президента сверхдержавы тащили за шиворот к ответу, как обфурившегося щенка. Лектор печалился: «Уотергейт» раздувают враги разрядки. Если военно-промышленный комплекс и сионизм добьются импичмента (он произносил это недавно выпрыгнувшее словечко так небрежно, как будто знал его всю жизнь), могут сорваться переговоры по ОСВ-2 и общеевропейское совещание. Конечно, Никсон оказался жуликоват во внутренних делах, зато он прогрессивен в международных.

Алёночка привыкла ходить в садик и стала меньше болеть. На куйбышевском заводе одну за другой браковали партии доставшихся ему для авторского надзора старых приборов. По пути в Куйбышев или на обратном пути из Куйбышева в Ленинград он почти всякий раз заезжал

в Москву, в главк, то отчитаться за серию, то оформить карточку на новую тему. Обычное свинство: даже если тема приказная, карточку всё равно приходилось готовить самому, в главке ничем не помогали. А за один заезд в Москву такую карточку было не пробить. Ее же требовалось еще в главном техническом управлении согласовать, а там теперь сидел новый куратор — молодой противный парень. Ни за что не пропускал на утверждение сразу. Нарочно затягивал, чтоб ты уехал из Москвы, а потом дозванивался ему из Ленинграда: когда он тебе позволит снова прибыть.

«...Ну а пока, Великая Война, пожрав всё, что ей в этот раз удалось пожрать, медленно притихала, как умирающее чудовище. Давно убитые, истлели ее великие полководцы — Густав-Адольф и Валленштейн. Стали забываться ее великие битвы — под Лейпцигом, Люценом, Нёрдлингеном. Девятый год в Вестфалии колдовали над заключением мира хитроумнейшие дипломаты Европы. В благоуханных залах, освещенных и нагретых острыми огоньками множества свечей, среди зеркал, бронзы, атласной мебели шла тонкая торговля из-за каждой формулировки. Один за другим составлялись и отвергались всё новые проекты мирного договора. Составлялись высоким стилем, похожим на латинские стихи, и отвергались в изящнейших выражениях.

А тело чудовища, не желавшего умирать, вздрагивало в судорогах, и снова пламенем освещались гаснущие глаза. Каждую весну наемные армии, — уже и не армии, толпы разбойников, — выползали с зимних квартир и тащились разорять и жечь всё, что еще можно было разорить и сжечь на мертвой немецкой земле. Они преследовали друг друга, сталкивались и кроваво грызлись в незасеянных полях и среди городских развалин, и голодные, израненные, в очередной раз истоптав и загадив страну, уползали на зимнюю лёжку, чтобы следующей весною всё повторить.

Никто больше не мог добиться решительного успеха в бою. Мелкие победы и поражения капали, точно капли, то на одну, то на другую чашу весов, становились мелкими козырями в бесконечной игре дипломатов.

И всё же, в последние годы исход понемногу стал определяться. Войска австрийского императора всё чаще терпели поражения в летних стычках, и союзные германские княжества, одно за другим, отпали прочь от венского двора. Кто перекинулся к врагу, кто объявил себя нейтральным. С великим трудом, деньгами и угрозами удалось удержать последнего ненадежного союзника — баварского курфюрста Максимилиана.

За всю долгую войну Австрия, сердце Священной Римской империи, оплот истинной католической веры, не знала вражеского нашествия. Но теперь шведские отряды в своих набегах-уколах достигали берега Инна, заставляя Империю вздрагивать от боли и страха: за переправами через Инн открывалась дорога на Вену.

Империи нужна была победа. Хоть одна заметная победа, чтоб укрепить своих дипломатов на Вестфальском конгрессе. Исход последней кампании определял условия мира. Несколько сотен убитых разбойников из наемничьего сброда и какое-нибудь поросшее сорной травой поле, отбитое у врага, должны были решить судьбу Германии и всей Европы на века вперед...»

— Да вот, устроился, — рассказывал Марик. — Ну, это проектный институт. А я — инженер-расчетчик. Например, должен рассчитывать число и расположение опор, — это бетонные столбы такие, — в зависимости от веса и размещения оборудования на перекрытии. Зарплата? Рублей сто сорок набегает.

Григорьев заметил с любопытством, что Марик рассказывает всё это, не жалуясь, а быстро, деловито и немного рассеянно. Как будто сквозь разговор думает о чем-то своем, более важном. Но по-настоящему поразил Григорьева его наряд. Кажется, впервые Марик пришел одетым по-человечески: в новеньком строгом костюме, в белой рубашке с узким галстуком. Рубашка, правда, была нейлоновая, а нейлоновые уже вышли из моды, стремительно подешевели и считались вульгарными. Теперь в моде были только натуральные, и не однотонные, а в полосочку или в мелкую

клетку. Но для Марика и нейлоновая с галстуком — прогресс неслыханный. Григорьев даже хотел пошутить: для кого, мол, наряжаешься, не девушку ли, наконец, завел? Но не решился.

— А Нина где? — спросил Марик.

— На кафедре. Скоро придет. Она там теперь вечерами не сидит.

— Получает больше тебя?

— Конечно. С кандидатской-то степенью! Раза в два больше. Я радуюсь: нам скоро первый взнос за кооператив платить.

— Радоваться-то радуйся, — сказал Марик. — Только смотри...

И вновь рассеянно умолк, словно задумавшись о своем.

«...Двадцать три тысячи солдат собрал для решающей битвы император. Еще девять прислал последний союзник, баварский курфюрст. Разведчики, прискакавшие с Майна, клялись, что французов со шведами никак не больше двадцати тысяч. Но имперский главнокомандующий Монтекукколи, имея в руках численное превосходство, повел себя странно: поднял армию и быстро, пока непрерывно высылаемые вперед разъезды противника ее не обнаружили, начал отходить на юго-восток, к Дунаю.

Неделю за неделей ползли по Германии в расходящихся направлениях две походные колонны. Снег под ногами сменился весенней грязью. Настали солнечные дни. Просохшая земля зазеленела свежей травой. Пережившие зиму крестьяне-бауэры, точно пугливые зверьки из нор, выглядывали из домишек, уцелевших среди разрушенных деревень, из шалашей, землянок. Боязливо озираясь, готовые в любую минуту юркнуть и спрятаться, вспахивали первые борозды поближе к спасительному лесу. Рылись в земле на огородах.

А две армии, похожие сверху на черных гусениц, медленно изгибаясь на извивах дорог, всё расползались под углом друг к другу. Та, что была подлинней и отклонялась на юг, к Дунаю, сеяла вокруг себя легкие дымки костров. Та, что была покороче и вспарывала страну с запада на восток, тя-

нула за собою густой дымный шлейф пожарищ и оставляла выжженный след.

Сорокалетний австрийский фельдмаршал граф Раймонд Монтекукколи, смуглый черноволосый гигант, превосходный наездник и фехтовальщик, был кумиром молодых офицеров. Наемные солдаты, ненавидящие любого из своих командиров, считали, что он лучше других: умеет о них заботиться, справедлив в наказаниях. Только старшие офицеры штаба не любили его: с ними он держался слишком замкнуто и высокомерно.

Фельдмаршал был всего на десять лет старше Великой Войны, и четверть века его жизнь была неразрывна с жизнью чудовища, терзавшего сердце Европы. С тех самых пор, как в пятнадцать лет он сбежал из дома и вступил в проходивший мимо полк рядовым солдатом...»

А интересно, в самом деле, какого черта он сбежал? При его-то происхождении — рядовым солдатом?.. Ведь он был не просто графского рода. Его вышедшее из Италии семейство считалось одним из самых знатных в Империи. Отец заседал в императорском совете, дядя — командовал артиллерией. Стоило только подождать год-два, чтобы пойти в армию сразу офицером. А дальше — быстрая, просто неизбежная карьера.

Трудно понять логику того, кто жил за три века до тебя? Но человек не изменился биологически за последние сто тысяч лет.

Романтика? А что она такое? Ведь не просто настроение. Романтическое настроение возникает лишь тогда, когда есть цель. Да не простая — абсолютная.

Любовь к державе? Любовь к императору? Наверное, можно было любить Священную Римскую империю, обмирать в пятнадцать лет от жажды подвигов во имя ее. Трудней представить, как можно было любить такого мерзавца, как император Фердинанд Второй. Хотя, это для нас он мерзавец и религиозный мракобес...

Был ли в юности Раймонд Монтекукколи таким же фанатичным борцом за веру, как его мрачный повелитель? Вряд

ли. В отрывках из собственных сочинений фельдмаршала, которые можно найти в книгах по военной истории, в его рассуждениях о ратных и государственных делах есть всё — живой практичный ум, цинизм, ирония. Что угодно, кроме религиозного чувства. И романтики.

Правда, сочинения свои фельдмаршал писал уже немолодым. Но и пятнадцать лет для того века — серьезный возраст. Юноша из наивысшей знати в такие годы заканчивал образование. И Монтеня уже, конечно, прочитал. Так зачем было сбегать из дома (из дворца!)? В проходящий полк? Рядовым — в толпу звероподобных наемников?!

«...Он соблюдал все обряды католической веры, в которой был воспитан. И, пожалуй, смутно верил в бессмертие души. Но загробный мир, где человеческий дух лишен телесной оболочки, представлялся ему царством сновидений. А в грубой земной жизни бессмертие могла дать только слава, и, значит, она была единственной целью существования. Старились и умирали целые государства, но Ганнибал, Александр, Велизарий — вечны.

То, чего достигли отец и дядя, легко было достижимо и для него, потому что принадлежало ему по праву рождения. Но именно поэтому не имело никакой цены и не могло служить бессмертию.

О, жажда славы и побед в юности! Распаление крови, перед которым любовная страсть — не больше, чем легкое возбуждение. О, мальчишеский страх опоздать, когда каждую весну по просохшим дорогам Империи идут и идут полки на северо-запад, туда, где в едком белом дыму, в пушечном громе, как в гигантском котле, кипят судьбы народов!

Да, в пятнадцать лет он спешил: великие войны бывают редко, и эта, казалось, вот-вот закончится, потому что мир долго не вынесет потрясения такой адской силы. Он был молод. И Великая Война была еще совсем молода.

Они состарились вместе... Мальчишка, бросившийся в ревущую лаву, сразу обожженный и унесенный ею, быстро понял свою наивность. Он мечтал подчинить своему разуму эту раскаленную людскую массу. Человеческому мозгу легче повелевать вулканом, землетрясением, грозой!

Он мечтал сразу выделиться среди других солдат храбростью и умом. Но кто мог заметить его в мелькании боя, в огненном ослеплении?

Великая Война обманула своего возлюбленного. Не властным повелителем, не Ганнибалом, не Цезарем — рабом у немилостивой госпожи прожил он с нею четверть века. Рядовым мушкетером ходил во Фландрию и Голландию. Впервые познал ЧУВСТВО ВОЙНЫ — спекшиеся внутри усталость и голод, жгущую тело походную грязь. Лейтенантом штурмовал датские крепости. А в злополучной битве под Лейпцигом он, двадцатитрехлетний капитан, впервые был тяжело ранен мушкетной пулей и, брошенный на земле своими разбежавшимися солдатами, попал в плен.

Тогда его тотчас выкупили: Фердинанд Второй спешно формировал новые войска и нуждался в людях. Он отлежался, вернулся в строй, и через три года под Нёрдлингеном, в счастливейший день имперской армии, дрался с безумной храбростью, был произведен в полковники, а вскоре — в генералы.

И опять изменило военное счастье. С десятью полками защищал он переправы на Эльбе, но шведская конница, переплыв реку, ударила с флангов и тыла. Его полки были разбиты, а сам он, оглушенный и растерянный, снова очутился в плену.

Если б был еще жив старый Фердинанд, его, вероятно, и на этот раз быстро бы выкупили. Грозный император жил по своим правилам («Лучше пустыня, чем страна, населенная еретиками» и «Пусть ненавидят, лишь бы боялись»), не знал привязанностей, плевал на любые клятвы. Но к нему, Раймонду Монтекукколи, относился не то чтобы с симпатией, — это уже из области человеческих чувств, — но как к необходимому для войны инструменту. Относился так, как относится подобный ему властелин к фронтовому генералу, который даже в зимние затишья почти не появляется при дворе и за которым пока не замечено интереса к политике.

Но на двадцать втором году Великой Войны, когда он попал в шведский плен, тело старого Фердинанда уже покоилось в мраморном саркофаге под хорами собора Святого

Стефана, а душа взирала с небес на адское пламя, которое сама раздула на земле. Новый же император словно забыл о существовании пленного генерала.

Шведы перевезли его на север, к своему холодному, бесцветному морю. Поселили на мызе у берега. Его, конечно, никто не охранял, он был связан только словом. Мог нанимать прислугу, мог выписывать из дома книги, белье, даже итальянские вина, к которым привык. Что-то пропадало, пока тюки и ящики везли через всю воюющую Европу. Что-то привозили. Месяц проходил за месяцем. Император молчал...

Что ж, всё можно было понять. Фердинанд Третий, в отличие от своего грозного и пугливого отца, хотел сам быть полководцем. Когда по приказу старого Фердинанда беднягу Валленштейна зарубили ночью в собственной спальне, молодой Фердинанд, еще наследник, тут же объявил себя главнокомандующим. И что ни говори, в битве под Нёрдлингеном армию вел именно он.

Ко всему прочему, молодой император был еще музыкантом и композитором. Говорили, что талантливым. Рассказывали, что он способен искренне восхищаться мелодиями других сочинителей... Ну что ж, новый император поступил с ним, Раймондом Монтекукколи, так, как, наверное, и должен был на всякий случай поступить со своим ровесником, набирающим популярность в войсках молодым генералом.

Месяцы плена нестерпимо медленно срастались в годы и пугающе отламывались от жизни. Особенно мучительны были летние ночи, в этих северных краях неестественно светлые, раздражающие и не дающие сна. Чтоб утомиться и заснуть, он подолгу бродил вдоль берега. Мелкие прозрачные волны ползли по прохладному песку к его ногам, их слабый плеск был единственным звуком в дремлющем мире под белёсым небом.

Он шел и думал о письмах жены, которые доставлял иногда очередной возок с книгами, вином и одеждой. Его юная жена была красива, прекрасно воспитана. Говорили, что у нее доброе сердце. Он женился на ней однажды зимою, потому что человеку его круга неприлично в тридцать лет быть холостым, да и род Монтекукколи надо было на всякий

случай продлить поскорее. На случай, если его убьют. Но его не убили, он оказался в плену.

А жена не могла понять, почему он так упрямо ждет, пока о нем вспомнит император? Почему не соглашается, чтобы его выкупила семья? Шведам всё равно, кто заплатит. Одно его слово — и они будут вместе!..

Он шел и шел вдоль кромки чужого, холодного даже в летнюю ночь моря. Конечно, молодой женщине трудно было выносить соломенное вдовство. Но чего стоили все ее томления, телесные и сердечные, по сравнению с муками, которые испытывал он! Быть выкупленным семьей, значило вернуться в Вену без разрешения императора. В таком случае путь в армию оказался бы для него закрыт. «Мы будем вместе!» — писала жена. Как будто при его обычной жизни они могли быть вместе больше, чем два зимних месяца в году!

Что стал бы он делать, если б его не возвратили на службу? Миловаться с нею, растить детей, забавляться охотой? Лучше уж оставаться в плену!.. Уехать куда-нибудь далеко — в Англию, охваченную гражданской войной, даже за океан, в Новый Свет? Вступить в чужую армию, «продать шпагу»? Если бы где-то в мире могла быть война, совсем не имеющая отношения к Империи, он, возможно, так и поступил бы. Но и теперь, и в грядущем все войны на земле идут и будут идти, в конечном счете, только за Священную Римскую империю и ее истинную веру, либо против них. И, значит, ему оставалось — ждать. И мерить, мерить шагами прибрежный песок вдоль кромки, стягивающей двойной простор — тусклой воды и блеклого неба.

А почему его так поражал этот простор? Разве не видел он огромных открытых пространств на полях сражений? Разве не видел это же самое море во время датских походов? В чем разница?.. Здесь он был один в пустой вселенной, такой же крохотный, безмолвный и чистый, как любая песчинка под его ногами. А там, в битвах — густо копошились на дне мироздания человеческие личинки. Слой воздуха над ними дрожал от выстрелов и криков, был отравлен вонью их тел и едким пороховым дымом. Почему же он так

жаждал вернуться в тот мир, хотел вновь быть оглушенным его грохотом и воем, хотел опять вдохнуть серные испарения его ненависти? Потому что только в том мире возможно человеческое бессмертие? Но чего оно тогда стоит...

Шел двадцать пятый год Великой Войны и четвертый год его плена, когда на берегу показался всадник. Он тяжело скакал по песку, вздымая облачка пыли. Кажется, военный. Офицер.

Всадник соскочил с коня и оказался молоденьким шведским лейтенантом. Голубые мальчишеские глаза из-под рыжих бровей с любопытством уставились на смуглокожего великана с густыми космами черных волос и черной бородой, который с сонным видом сидел на днище перевернутой лодки. Трудно было представить, что этот человек, совершенно непохожий на немца, и есть тот самый, знаменитый имперский генерал. Знаменитый более всего тем, что о нем демонстративно до неприличия забыл собственный император.

Офицерик торжественно поклонился (только в глазах прыгали ехидные искорки и губы чуть кривились в задавленной усмешке): он счастлив сообщить его превосходительству, что выкуп за него внесен имперским правительством и уже получен в шведском казначействе. Через какое из нейтральных государств предпочитает господин генерал возвратиться на родину?.. Как, неужели он настолько не следит за ходом войны, что даже не знает, кто и на чьей стороне сейчас воюет, а кто держит нейтралитет?! Ну, а когда в таком случае желает он выехать? Ах, немедленно...»

— Как думаешь, — спросил Димка, — скинут Никсона?

Они вдвоем сидели в его очередной мастерской, среди пестрого хаоса обрезков и стружек, и пили «старку». Димка был мрачен. Что-то странно знакомое напоминали его угрюмое лицо и уклоняющийся взгляд. Явно не судьба Никсона его тяготила. Григорьев вспомнил: такое выражение было у отца, на работе. Так он смотрел.

— Я, может, на БАМ завербуюсь, — вдруг сказал Димка.

— Иди ты, шутишь!

— А чего? Думаешь, я плотничать не смогу? Там заработки, говорят, пятьсот-шестьсот, а здесь — бьешься-колотишься за паршивые сто двадцать.

— Всё из-за того, что мастер?

— Конечно!

— Тебе же обещали, что через полгода в бригадиры переведут.

— Обещали! — фыркнул Димка. — Вот, лето уже, полгода прошло. Подкатывался к начальнику цеха, к директору. С-суки!..

— Не отпускают? — спросил Григорьев.

— По-хорошему говоришь — отмахиваются. Начнешь рычать — хвостами виляют, уговаривают. А результат один.

Выпили еще. Димка стал рассказывать о Стелле:

— Всё искала, куда устроиться работать. Думала, опять в продавщицы. Пошла, бестолочь, по фирменным местам: во «Фрунзенский», в «Людмилу», в «Подарки». Везде ее отфутболили. Семьдесят четвертый год — не шестьдесят пятый, сейчас в таких заведениях смотрят, чтоб внешность была и кураж. А у нее, сам видел, еле душа в теле. «Иди, — говорю, — в обычную лавку, в «гастроном» какой-нибудь». — «Нет, — говорит, — не пойду. Там воровать надо, а я не умею. И тяжести надо таскать, а я не могу». — Димка вздохнул: — Она там, на северах, застудилась, надорвалась. Что-чего, конкретно не говорит, а я не допытываюсь. Понимаю только, что со здоровьем у нее нелады... Оказалась в итоге в детском саду, нянечкой.

— Разве нянечке тяжестей поднимать не приходится? — спросил Григорьев.

— Самый большой вес — ведро с водой, уборку делать. Я для этого ей пластмассовое ведерко купил, вдвое меньше обычного железного. А так — возле дома работа и Катька при себе. Платят всего восемьдесят рублей, ну ничего. Мы одним хозяйством живем, что ж я, родную сестру с племянницей обижу?

— У тебя-то откуда деньги? — спросил Григорьев.

Димка промолчал.

Они допили бутылку. Григорьев, сомлевший немного, сказал:

— Жалко, Тёма не смог прийти. Чем он так занят-то?

— Гуляет, — ответил Димка.

— Как гуляет?

— Нормально, как молодой. Девица у него. Похоже, невеста.

— Ты что? — изумился Григорьев.

— А что ж он, не мужик, что ли?

— Конечно, мужик. Только не могу представить, чтобы Тёма девушку себе нашел, познакомился.

— А чего ему искать! — засмеялся Димка. — Таких, как Тёма, девицы сами ищут. Ловят — и скоренько им головы сворачивают. Нашему Тёмке в семейной жизни цены не будет.

— Сам-то не думаешь? — спросил Григорьев.

— Чего, жениться? Ищи мне невесту, — ответил Димка. — С квартирой. А то, куда ж я молодуху приведу? В одну комнату с сестрой и племянницей? У нас и перспективы никакой — тридцать пять метров на троих, даже на кооператив не запишут...

Он задумался, покачал головой:

— А всё ж таки, женщины — загадка природы. Я тут недавно кувыркался с одной подругой. Прошу ее: «Встань на коленочки!» — Зыркнула на меня глазами яростными, крикнула: «Ни за что!!» — и встала...

Димка усмехался, а глаза оставались грустными. Он полез в какой-то ящик с разноцветными тряпками, порылся там и неожиданно вытащил и метнул на стол еще одну бутылку «старки».

— Хватит! — запротестовал Григорьев.

— Ну давай! — упрашивал Димка. — Не хочешь «старку», у меня и коньяк есть. Во, даже ром есть венгерский, это сейчас знаешь какой дефицит!

— Откуда у тебя деньги? — снова спросил Григорьев.

Димка нахмурился:

— Не ворую, не бойся. Всё добыто трудом... чуть было не сказал — честным. Ну, нечестным, какая разница. Не понимаешь? Ну вот, четыре бригады у меня сейчас, я над ними мастер. Должен только с бумагами крутиться, и кручусь, как

в центрифуге космонавт, глаза на лоб лезут. А кроме этого — еще руками работаю. Сам в этих бригадах работаю, втихаря, вечерами. Как художник, как макетчик, понимаешь? И не из-за одних денег, а потому, что они без меня такую халтуру налепили бы! Видеть этого не могу, тут и не захочешь, да влезешь... А что при этом заработаю — расписываю по нарядам. Не всем, конечно, а нескольким работягам, кто понадежней. Как будто не я, а сами они всё сварганили. Потом, с получки, мне отдают.

— Незаконно же, — сказал Григорьев.

— Конечно, незаконно. А что делать? — в голосе Димки прорвались рычащие нотки, чуть приоткрылись в оскале клыки и злобно сверкнули зеленые глаза. Но тут же, притихая, он проворчал: — Что делать-то? Если в баню ходить запретят, рад будешь в проруби мыться... А ты — давай, давай, открывай вторую!

«...Император встретился с ним так непринужденно, словно он просидел в плену не три с лишним года по его милости, а три недели. Уговаривал отдохнуть. И как бы вскользь разрешил знакомиться с любыми бумагами в главном штабе.

Он еще в плену догадывался о том, что дела — плохи. Но только разобрав по картам и донесениям ход трех последних, без него прошедших кампаний, понял, НАСКОЛЬКО они плохи. Казалось, имперская армия начисто утратила стойкость в бою, а ее полководцы лишились не только таланта, но и рассудка.

Император как-то незаметно отдалился от командования. Зато каждую неделю устраивал в Хофбурге для избранных концерты своего оркестрика. Звали и его. Приходилось сидеть и часами слушать, как бренчит клавесин и заливаются скрипки. Безразличия он не скрывал, и это, кажется, понравилось. После концертов император стал оставлять его для бесед с глазу на глаз.

Как он оценивает военное положение Империи? Замыслы противника? Что предлагает предпринять в следующей кампании?.. И снова как бы вскользь, но с любопытным, острым взглядом: ну, а кого посоветовал бы он назначить главнокомандующим?

Кажется, на этот раз его безразличие удивило императора. Неужели он не хочет помочь своему государю? Что из того, что он отсутствовал три года! Он прекрасно знает всех этих олухов-генералов, кто еще не убит, не искалечен и не перебежал к врагу!.. Ну хорошо, а какого назначения в таком случае желает он сам? Ах, командующим отдельной армией? Или хотя бы отрядом? Но — отдельным? Ну что ж, понятно...

Он получил не только отдельную армию, но и отдельную войну. Войско султана вторглось в Семиградию. Там пылали деревни и виноградники, ревели в дорожной пыли угоняемые стада, за ними брели толпы пленников. Еще немного — и пестрая турецкая орда, подобная варварски изукрашенному кинжалу, через Венгрию, со спины, вонзится в сердце Империи. Только и не хватало, чтобы восточные варвары вмешались в европейскую свалку! Их следовало не просто отбросить, как бывало прежде. Их надо было беспощадно разбить и хоть на время отвадить лезть в чужие семейные дела.

Турок было втрое больше, чем его солдат. В бой они шли не колоннами, а густыми толпами, с визгом, с завываниями. Среди многоцветия одежд зеркальцами вспыхивали клинки ятаганов. Турки были ужасны в рубке. Он знал это. И знал, что ни частоколом пик, ни мушкетной стрельбой их воющую лаву не сдержать. Чтоб выиграть, их надо было ошеломить.

И, едва соприкоснувшись конным авангардом с турецкой армией, он сразу начал отступать, день за днем отходить, увлекая врагов за собою. То, что он задумал, вряд ли удалось бы против европейских войск, но с турками он рассчитал правильно. В конце концов, стремясь растоптать австрийцев, загнанных, как им казалось, в ловушку, турки, оставив позади свои орудия, плотной массой выдавились меж двух холмов на избранное им поле боя. Как в мешок, под прицелы замаскированных батарей, выдвинутых на флангах его позиции. Под внезапный косой, перекрестный огонь картечи.

Когда грянули первые залпы и турецкая толпа с мгновенно изменившимся воем хлынула назад, оставляя на поле еще шевелящиеся комья окровавленного тряпья, среди которых

выбивала фонтанчики земли картечь, он вдруг подумал, что по турецкой вере погибшие воины попадают прямо в рай. И будут вечно пировать там среди цветущих садов (интересно, разрешает ли их закон хоть в раю пить вино?). Будут нежиться в объятиях вечно юных красавиц-гурий. Неужели можно всерьез желать ТАКОГО бессмертия?..

Он дал знак, и по полю, растаптывая убитых и раненых, тяжко поскакали кирасиры. Легкая турецкая конница не вступила в бой и унеслась прочь, бросив свою обезумевшую пехоту.

В Вене он безропотно вынес завистливые поздравления, концерт у императора в свою честь и свое подчинение очередному старику-главнокомандующему. И только нового унижения, — когда император, мягко улыбаясь («Вы же хотели действовать отдельно!»), отнял обученные им полки, с которыми он разбил турок, и повелел отправиться с германского театра войны в тыл, в Силезию, — этого унижения он уже не стерпел.

С высоты своего роста он посмотрел в глаза императору и усмехнулся:

— Мне кажется, при дворе султана моя победа не вызвала такого беспокойства, как при вашем, государь!

Фердинанд чуть смутился:

— Ну, ну, вы сами знаете, как важно прикрыть Силезию. Шведы в любой момент могут вторгнуться с тыла.

Значит, опять губить впустую драгоценное время жизни. Месяцы. Может быть, годы. Что ж, Силезия, по крайней мере, не плен!..

На глухой польский хутор, где он расположил штаб корпуса, доставляли венские газеты и сводки из действующей армии. Имперские войска по-прежнему получали удар за ударом, а их противники после побед по-прежнему убирались прочь, гонимые осенней непогодой. Происходящее давно утратило бы всякий смысл, если бы от новых и новых ран не подтачивались последние силы Империи.

Как раз в эти годы над пустынной Германией, над полями умиравшей войны ярко разгорелась новая звезда — молодой

командующий французской Рейнской армией Генрих де ля Тур д'Овернь виконт де Тюренн. По Европе расходились его гравированные в Париже портреты: тонкое насмешливое лицо, острая бородка. И небольшая армия в его руках была подобна тонкой, острой шпаге. Он рассекал Германию стремительными маршами. Выполнял головокружительные маневры. Внезапными выпадами наносил удары то австрийцам, то баварцам, ускользал прочь — и вновь неожиданно возникал. О нем писали уже, как о самом блестящем полководце этой войны, а может быть, всего нового времени.

Офицеры Силезского корпуса, видевшие среди бумаг своего хмурого начальника гравюрку с портретом Тюренна, считали, должно быть, что он завидует удачливому французу. Откуда им было знать, что думает их генерал на самом деле! Зависти он, во всяком случае, не испытывал.

Да, Тюренн был на три года моложе его (случайность рождения). Да, знатностью рода он превосходил фамилию Монтекукколи — сын герцога Бульонского, племянник принца Оранского, штадтгальтера Нидерландов (всё та же случайность). Да, военное счастье ни разу не изменяло этому худенькому козлобородому французу. Взбирался ли он с одною шпагой впереди своих солдат на крепостные бастионы под градом пуль и камней, отдавал ли приказы, сидя у себя в палатке над картой, — всё ему удавалось словно по волшебству. Сдавались крепости и города. Ошеломленные внезапной атакой, обращались в бегство превосходящие армии. Полковник в девятнадцать лет, генерал в двадцать три года, маршал — в тридцать два.

Какая славная карьера, прекрасная, как взлет фейерверочной ракеты! Всё по прямой, всё выше и выше в сверкании искр! И это при том, что в католической Франции, где правят министры-священники и преследуется протестантство, молодой маршал упорно отказывался поменять гугенотскую веру своих предков. (Что, конечно, было достойно, но еще более умно, если думать не о небесном, а о земном бессмертии.)

И всё же, сосланный в польские леса генерал Империи не завидовал ни удачам Тюренна, ни его славе. Удача и слава

у каждого свои. Не зависть испытывал он, когда узнавал о новых успехах насмешливого француза. Не зависть, а НЕДОУМЕНИЕ. В сумерки войны, тянувшейся двадцать восьмой год и давно выродившейся в унылую резню, вдруг ослепительной кометой ворвался герой, который вернул ей театральность. Который — это было видно — получал от нее удовольствие, как от увлекательной игры!

Но разве во всем остальном, в главном, Анри Тюренн был лучше его, Раймонда Монтекукколи? Лучше Валленштейна, Тилли, какого-нибудь Изолани, которых враги изображали чудовищами жестокости? Да, на карте маневры Тюренна изяществом напоминали танцевальные фигуры. Но на земле, на реальной немецкой земле, по которой проносилась его Рейнская армия, она оставляла за собой то же, что оставалось по следу всякой армии в этой войне. Так же пылали деревни. Такими же черными гроздьями раскачивались среди листвы повешенные бауэры и валялись растерзанные, в крови, тела их жен и дочерей. Бродили по лесам умиравшие от голода дети.

Неужели всё это не имеет значения для бессмертия? Неужели слава, пройдя сквозь толщу времени, очистится от кровавой грязи, как вода, прошедшая сквозь песок? Очистится — и донесет до потомков только гравированные портреты с насмешливым взглядом победителя, только эти балетные прыжки, которые так красиво выглядят на бумаге: осадить крепость, потом демонстративно отступить, чтобы увлечь в погоню за собой гарнизон, прогнать свою армию круговым маршем, вернуться к крепости с другой стороны и взять ее, пустую, с налету?

Да, бессмертие — это чистота и тишина будущих библиотек. Туда не донесутся из прошлого вопли раненых, запах гари и развороченных человеческих внутренностей. Бессмертие, как золото, — не пахнет. Это стоило иметь в виду.

Ну а пока, инспектора, наезжавшие в Силезский корпус из Вены, возвращались в столицу, довольные увиденным. Генерал Монтекукколи обучал свои войска с утра до ночи. По сигналам трубы его солдаты в поле мгновенно рассыпались из колонн в цепи и вновь собирались в колонны. С не-

вероятной быстротой отрывали окопы, насыпали земляные валы и спокойно сидели, укрытые землей, когда над их головами артиллерия била боевыми ядрами.

По общему мнению столичных салонов, по тому самому «общему мнению», которое выше, чем воля императора, в одичавшей и распадавшейся имперской армии только Силезский корпус был твердым островком дисциплины и воинского искусства. И когда на двадцать девятое лето войны шведы действительно вторглись в Силезию и были разбиты и отброшены (первый военный успех Империи после всё той же победы над турками!), голос «общего мнения» стал раскатами грома.

Император вызвал его в Вену:

— Мой дорогой Монтекукколи, теперь вы видите, как я был прав, посылая вас в Силезию. Благодарю, вы справились блестяще! Ну, а сейчас я собираюсь поручить вам менее перспективное дело... — Фердинанд помолчал. — Со всех сторон я только и слышу о том, что должен назначить вас главнокомандующим. Всем кажется, что вы способны совершить чудо. Я уже подписал указ о вашем производстве в фельдмаршалы... Не благодарите! — он сделал останавливающий жест, хотя Монтекукколи стоял молча и неподвижно. — А указ о вашем вступлении в командование поручаю вам самому подготовить в главном штабе. Боюсь только, что чудо не сотворить и вам. — Фердинанд хмуро усмехнулся: — Не мы с вами начали эту войну, но нам ее заканчивать. А значит, расплачиваться за всё...

И вот, наконец, ТРИДЦАТАЯ кампания Великой Войны. (Точнее, тридцать первая, если считать с самого начала, с Чешского восстания в мае 1618-го. Но кто из современников, не говоря уж о потомках, обратит внимание на такую тонкость!) Скорей всего, эта кампания и станет последней. Если так случится, мистиков, пожалуй, возбудит круглая цифра. Они расчертят астрологические таблицы, они напишут тома вычислений и рассуждений, пытаясь отыскать в магическом числе — ТРИДЦАТЬ — тайный смысл, волю звезд и перст провидения. А над ним, Раймондом Монтекук-

коли, провидение, похоже, посмеялось. Величайшая в истории война бездарно проиграна Империей, и именно в последнем акте, перед самым падением занавеса, он вышел, — вернее, его вытолкнули на сцену, — в главной роли.

Император дал ему понять, что не надеется на чудо. Но хоть какого-то военного успеха, который облегчил бы условия мира, от него, конечно, ожидали. Он знал, что его непрерывное отступление вызывает недовольство. Курьеры, скакавшие из армии в Вену, наверняка, увозили в сумках не только его донесения, но и доносы на него. Кто именно из офицеров штаба их писал, и писал по должности или по убеждению, — его не слишком интересовало. Пусть доносят, что хотят. Пусть даже обвиняют в трусости. Император и главный штаб пока отмалчивались, и это означало для него свободу действий.

Должно быть, в Вене считали, что он маневрирует, выбирая место и время для сражения. Они бы изумились, если бы он раскрыл им свои подлинные планы. Если бы они узнали, что он не маневрирует, а в самом деле отходит, попросту бежит от противника. Что главная его цель — вообще не давать сражения. Протянуть роковое ТРИДЦАТОЕ лето без боя. До осенних непогод, когда противники сами повернут прочь. В этом — единственный шанс Империи.

Франция сейчас бурлит. Ее король Людовик Четырнадцатый — десятилетний ребенок. Первого министра, очередного священника-правителя кардинала Мазарини ненавидят и народ, и дворянство, власть его шатается. Нужен лишь толчок, чтобы грызня партий сорвалась там в кровопролитие, и таким толчком должно стать возвращение осенью нетронутой Рейнской армии. Вмешается Тюренн в политическую борьбу на стороне Фронды или на стороне двора и Мазарини — неважно. Важно то, что с его появлением в Париже Франция взорвется гражданской войной. Развалится главный противник Империи. Шведы останутся одни. Их нетрудно будет отогнать на их север, а потом — привести под руку императора засвоевольничавших германских князей.

А что Тюренн и Врангель, не встречая противодействия, за лето вволю пограбят и пожгут Германию, так этой про-

клятой богом стране, как двадцать раз изнасилованной девке, уже безразлично — проедется по ней одним молодцом больше или нет...

Когда кто-то из генералов осмеливался поинтересоваться у фельдмаршала, в чем смысл отступления, куда он ведет армию, — он обрывал спрашивающих резко и насмешливо: «Пусть не суются не в свое дело! План кампании — у него в голове, и он один отвечает за всё перед императором! А их забота — выполнять его приказы. Пусть следят, чтобы в каждой роте офицеры проводили переклички дважды в сутки!..»

(Общее недоумение: до сих пор и один раз в день не всегда перекликались, разве что перед сражением или перед выдачей жалованья.)

— ...И если обнаружится, что кто-то из солдат дезертировал, ловить беглецов, не жалея сил, а пойманных — вешать перед полком в поучение остальным!

(К чему такие хлопоты?! Это в прежние времена, когда жалованье, бывало, выплачивали вперед, на тех, кто сбегал с полученными деньгами, устраивали охоту. Теперь же рассчитывались только за отслуженное время. Теперь, если солдат просто сбегал, ничего не украв, его не особенно и разыскивали: убежал и убежал. В конце концов, его жалованье осталось в казне, найдется другой бродяга, готовый продать душу за эти деньги. И пойманных дезертиров поэтому давно не вешали: их просто били палками, высчитывали жалованье за месяц и опять ставили в строй.)

— Выполнять! — требовал он. — Повиноваться и не рассуждать, для чего это нужно!

Не мог же он объяснить, как боится, что какой-нибудь сбежавший мерзавец угодит к противнику и выдаст местонахождение армии.

С мрачной решимостью осуществлял он свой план, хотя и сам боялся поверить в успех: слишком далеко до спасительных осенних дождей, слишком много случайностей в военной судьбе. И только в середине мая, когда армия, отходя, вышла к Дунаю под Аугсбургом, и когда конные разведчики, возвращаясь из рейдов, стали докладывать одно

и то же, — противника не видели, вражескую армию отыскать не удалось, — только тогда, словно сжатая в кулаке птица, забилась в сердце надежда: а вдруг... А вдруг получится!

Генерал Гольцгапфель, командир баварцев, тревожился: «Потерян противник!» Прикрикнуть на него было нельзя: все-таки союзник, хоть и подчиненный на время кампании. Он успокаивал Гольцгапфеля: если мы потеряли противника, значит, и противник потерял нас. Пусть Тюренн и Врангель прогуляются по Германии. Пусть утомят свои войска, ведь им не прокормить их как следует в разоренной стране.

— И тогда мы атакуем? — допытывался Гольцгапфель, недоверчивый старик, проведший всю войну в свите своего курфюрста и боявшийся курфюршеского гнева сильней, чем ядер неприятеля.

— И тогда бог подскажет нам, что делать! — серьезно отвечал Монтекукколи.

Впрочем, он сам понимал, что отступать больше нельзя. Всё лето играть с противником в кошки-мышки ему не позволят. Здесь, под Аугсбургом, уже на баварской земле, воля его заканчивалась. Оставалось встать укрепленным лагерем, прикрыв развилку дорог на Вену и на Мюнхен, и в самом деле положиться на божью волю. Противники пока что были далеко и, похоже, не особенно стремились отыскать в пространстве его армию. В конце концов, уже три месяца ему удалось протянуть без сражения. Почему бы судьбе не сжалиться и не подарить ему еще четыре?

Место для лагеря он выбрал возле Цусмаргаузена, на пологом холме. С той стороны, откуда ожидали неприятеля, перед холмом на несколько верст раскинулось просторное поле. Сзади к холму подступал заболоченный лес. Лучшей позиции в здешних местах было не отыскать: свои орудия с возвышенности будут бить дальше, а обойти и атаковать с тыла противник не сможет...»

Осень 1974-го. Свадьба Марика... Вот ведь Тёма-партизан, молчал до последнего! Хорошо, Григорьев по димкиным намекам стал уже догадываться, к чему дело идет. А то бы

трубку от неожиданности выронил, когда Марик вдруг позвонил с приглашением.

Регистрировались молодые не во «дворце», а в обычном ЗАГСе. Невеста, Марина, была в атласном белом платье, но без фаты. Ростом она оказалась повыше Тёмы, да и вообще в сравнении с тощеньким женихом выглядела крупной, грузноватой. Зато Григорьеву очень понравилось ее лицо — чистое, с огромными светло-карими глазами и удивительно правильными, словно вылепленными, чертами. Плотно уложенные, густые каштановые волосы придавали ее облику скульптурную завершенность. Ай да Марик-тихоня, отхватил красавицу!

Сам жених, в черном костюме и ослепительно белой рубашке, был очень строг. На темном, выбритом до глянца личике — такая сосредоточенность, будто не на собственную свадьбу явился, а на дипломатический прием.

Приглашенных было совсем немного: несколько родственников, три подруги невесты, Димка и Григорьев с Ниной. Димка и расписывался в книге регистрации свидетелем со стороны жениха. (Григорьев ощутил даже нечто вроде ревности оттого, что Марик выбрал не его.)

Когда вышли из ЗАГСа и ожидали на улице такси, чтобы отправить молодых, Нина неожиданно спросила у Марика:

— Ты извини, а Марина — кто?

Григорьев сразу понял смысл вопроса и недовольно вскинулся на нее. Марик тоже сразу всё понял, но ответил спокойно:

— По национальности? Такая же, как я. Только у нее наоборот — отец русский, мать еврейка.

Молчаливую обычно Нину как черт за язык тащил, она решила пошутить:

— Ты что же, нарочно так выбрал?

И осеклась под сердитым взглядом Григорьева.

Марик поглядел на тоненькое, сверкающее обручальное кольцо на своей темной руке, поглядел на Марину (та стояла в сторонке с подругами и не слышала разговора), ответил по-прежнему спокойно:

— Я не кадровик. Это они, наверное, жен по анкетам подбирают.

— Какая красивая она у тебя, — сказал Григорьев, — просто прелесть! — Ему хотелось загладить оплошность Нины: — Очень ее любишь?

— Красота, любовь — явления эфемерные, — так же невозмутимо произнес Марик. — Главное — совпадение характеров, взглядов. Чтоб было полное взаимопонимание.

— Ну-у, — зауважал Григорьев, — серьезно ты женишься, по научному.

Свадебное пиршество происходило у Марика дома. Тон задавали подружки невесты, с первого тоста заголосившие «Горько!». Молодые целовались застенчиво и коротко. Все попытки начать хоровой отсчет — «Раз, два, три!..» — сразу обрывались.

Нина, необычно оживленная, с любопытством оглядывалась вокруг. Ей было до того интересно, что она, всегда избегавшая показываться на людях в очках, надела их сразу, едва уселись за стол, да так и не снимала весь вечер.

Григорьев слышал, как мать Марика, Евдокия Дмитриевна, говорит Димке:

— А когда же ты, Димочка, женишься? Ты же старше Марика, тебе уж сколько — двадцать восемь?

Подвыпивший Димка отвечал твердо:

— Какие мои годы! Мужику жениться, как помереть: никогда не поздно!

Григорьев смотрел на полненькую, добродушную Евдокию Дмитриевну, и никак не укладывалось в голове, что у нее расстреляны маленькие сыновья, что в блокаду она желала себе смерти.

Гремел магнитофон. Марик танцевал с невестой осторожно, медленно, на «пионерском» расстоянии. Димка плясал по очереди со всеми невестиными подругами. Григорьев станцевал с Ниной, потом вышел на лестницу покурить вместе с отцом Марика.

Вот на кого Марик был похож! Только отец, Илья Моисеевич, — такой же сухонький, небольшой, — был не черным, а серебряно-белым: бледная лысина, окруженная с боков и сзади венчиком седых жестких волос, торчком стоявших над ушами; бледное лицо, вытянутое в крупный,

крючковатый нос. Напоминал он какую-то птицу с иллюстраций к рассказам Бианки — худую, носатую, с двумя хохолками на голове.

Закурив, они обменялись было несколькими ничего не значащими фразами о свадьбе, но светский разговор не получился. Илья Моисеевич быстро посерьезнел, стал расспрашивать Григорьева о работе:

— А командировки — частые? Платят сколько? В другое место уходить не собираешься?.. — Потом сказал: — А Марик, видишь, как мотался. Пока я его к себе не устроил.

— К себе? — удивился Григорьев. — Так значит, это он к вам устроился?

— Ну да, ко мне. А куда же еще? — Разговаривая, Илья Моисеевич смотрел мимо собеседника, так же, как в последнее время смотрел Марик. Но глаза у него были иные, чем у Марика, не грустные, а яростно-отрешенные. — Ко мне, в «Гипрометмаш». Я двадцать восемь лет в нем. С тех пор, как после демобилизации пришел. Теплотехническая часть всех проектов — моя. Нет, виноват, был перерыв. Полтора года. С конца пятьдесят первого до мая пятьдесят третьего...

Он зло запыхтел, раскуривая пригасшую папиросу, с хрипотцой затянулся, выпустил долгую струю дыма из вытянутых трубочкой губ (Марик точно так же складывал губы):

— Выгнали в пятьдесят первом. Начкадров Кучеренко вызывает: «Вы поедете в Новокузнецк! Оформим переводом». — «Зачем это я поеду в Новокузнецк?» — «А мы вас на укрепление тамошнего производства посылаем!» — «Я, — говорю, — проектировщик, там для меня и работы по специальности нет». — «Ничего, другую специальность освоите!..» — Слово за слово, он и выпалил: «Слишком много вас в Ленинграде развелось, двигайте поближе к своему Биробиджану!» — «Это ты мне, — говорю, — фронтовику, смеешь такое?» — «Знаем, какие вы фронтовики! Знаем, откуда у вас эти ордена и медали!» — А у него на столе чернильница с мраморной доской. Я ее схватил, замахнулся, чернила текут: «Ах ты, — кричу, — мандавошка тыловая! Да я тебе сейчас башку проломлю!» — Он струсил, руками закрывается. А потом, всё равно, выгнали меня, конечно...

Илья Моисеевич опять затянулся, яростно сбил пепел с папиросы и, морщась, глядя по-прежнему мимо Григорьева, сказал:

— А ведь какими мы верующими были! Какими наивными, господи-боже! Меня в тридцать девятом в армию забрали, после института. Пока учился, отсрочка была, а институт без вневойсковой подготовки. Так призвали наконец, — с дипломом уже, отца семейства, — и сунули в кавалерию бойцом. А я взял, да прямо Ворошилову письмо написал: «Товарищ маршал, дорогой Климент Ефремович! Как же так, меня, инженера, поставили лошадь чистить? Я никакой службы не боюсь, но неужели в нашей, самой передовой в мире Красной Армии нет места, где могли бы пригодиться мои технические знания?» И в обычный почтовый ящик опустил.

Так что ты думаешь? Через месяц — приказ: перевели меня в артиллерию! И полную старшинскую «пилу» навесили — четыре треугольничка в петлицы! И — дурость тогдашняя: обрадовался, не передать, но не слишком удивился. Всё, как должно быть, наш нарком навел справедливость. А было ведь мне уже, сколько вам сейчас. И дураком себе не казался...

Ну, а уж в артиллерии всю войну и отмолотил. Майором кончил, начальником службы артвооружения зенитного полка. И вот судьба: сколько раз под бомбежку попадал, замерзал, в болото проваливался — всё ничего. А ранило в конце концов своими же снарядами.

— Как это? — спросил Григорьев.

— В Польше уже, в сорок четвертом. Боеприпасы везли в полк, днем пришлось. Хуже нет, когда днем с боеприпасами! Шоссейка разбитая, машины еле ползут. Вдруг — валится сзади «мессершмитт», полоснул вдоль колонны и ушел свечой. Я на головной ехал. Выскакиваю, вижу: один «студебеккер» горит! Те, что впереди него, скорей вперед жмут, а задние — с шоссейки в поле сворачивают, подальше от взрыва. Ну, а мне и покажись, что пламя не сильное, можно его сбить, брезент сорвать, ящики раскидать, спасти боекомплект. Бегу туда, людям кричу, а тут и начало рваться! Мне

осколком так влепило, что опрокинулся. Оказывается, сперва удар чувствуешь, боль уже потом. Пока сознание не утекло, еще подумал: «Ну, всё. Не так уж и страшно». И — совсем глупость: обидно, что от своих боеприпасов. Они ж для меня, как живые были. Маленькие и живые. Свои снаряды... А ничего, выжил. Хорошо, не все ящики грохнули, больше разбросало. Зенитные тридцатисемимиллиметровые — у них фугасность небольшая, а вот осколки — сильные.

Он затянулся, заметил, что огонь дошел уже до бумажного мундштука и начал комкать папиросу в пальцах:

— Да-а, война... Если б не война, сейчас моему старшему, Геннадику, сорок лет было бы. А Мишеньке — тридцать семь. И внуки у меня были бы...

— Я знаю. Марик мне рассказывал.

— Это не расскажешь. Дуся и теперь иногда утром встает, плачет: «Опять они мне приснились!..» Вот так. Выгнали в пятьдесят первом. А в мае пятьдесят третьего обратно взяли. Сразу, как только эта гадина подохла.

— А те полтора года — вы как? — осторожно спросил Григорьев.

— А слесарем работал. Это ж самая первая специальность моя. В молодости хо-орошим слесарем был, с пятнадцати лет зарабатывал. — Он опять нахмурился: — И слесарем-то не брали никуда. Меня Ваня Тарадин к себе устроил, мой фронтовой корешок. У нас в полку ПАРМом командовал, полевой артиллерийской мастерской, и на гражданке — начальником ремцеха... Да-а, если б еще хоть пять лет назад, я бы Марику получше с работой помог. Друзья мои еще в силе находились. А теперь — кто на пенсии, кто помер. Уходит наше поколение, вот беда. Бьют по нашему квадрату. А вам, боюсь, плохо придется. Вы, в случае чего, и в слесаря пойти не сможете... Ну, ладно! — Он открыл дверь квартиры, взял Григорьева за плечо и подтолкнул в тепло, в полыханье музыки и топот ног: — Хватит печалиться! Веселье сегодня!

Ночью, по дороге домой, они с Ниной молчали, думая каждый о своем. Теперь, когда они молчали вместе, это уже не тяготило, как раньше. Вдруг Нина засмеялась:

— Ну, этот Марик, твой умненький Марик, у которого всё по полочкам! Ну, тихоня!

— Чего ты веселишься? — не понял Григорьев.

— Да ты невесту видел?

— А что? Красивая, хоть и толстушка. Моложе нас, только институт закончила. Молодец Тёма.

— Конечно, молодец! — расхохоталась Нина. — Она же беременна!

— Кто, Марина? Уже?!

— А ты не понял? Месяца четыре, если не все пять! Они потому и свадьбу такую скромненькую сделали. До чего бестолковая пара! Ведь всё равно пожениться собирались, так неужели сообразить не могли, что к чему, поторопиться? Месяца на два раньше — и во дворец бы пошли, с фатой. Дурачки!

Григорьев даже удивился разговорчивости Нины. Впрочем, его всегда удивляло, когда порой вот так, внезапно, приоткрывались ее наблюдательность и ее мысли. Но, подумав о Марике, он сам невольно засмеялся:

— А Тёма-то мне объяснял про эфемерность любви и женитьбу по научному, на основе полного взаимопонимания!

— Конечно, — хохотала Нина, — у них давно полное взаимопонимание! Полнее не бывает!

Так смеялись они, шагая по темной улице. Смеялись вдвоем, хоть смех не соединял их, так же, как раньше не соединяло молчание. И наблюдая за Ниной, уже почти без тревоги, уже со смирением, как перед чем-то природным и неподвластным, Григорьев думал о том, что совсем не знает ее.

«...Обнесенный частоколом холм, на котором расположилась армия, со стороны походил на гигантский муравейник. Сложенные из веток шалаши покрывали его с подножья до вершины. Между ними кое-где белели полотняные шатры (они стоили дорого, их возили в обозе только для генералов и богатых офицеров).

В конце мая началась уже настоящая жара, а вместе с ней и вся та мерзость, которая сопутствует летнему стоянию лагерем. Горячий воздух был отравлен густой вонью,

поднимавшейся от канав, выкопанных под отхожие места, от ям с гниющими отбросами. Вокруг гудели миллионы мух. Медные стволы пушек, стоявших на выровненных площадках, блестели под солнцем, словно лоснились от пота.

Дисциплина падала. На то, что разморенные жарой солдаты целыми днями дремали возле шалашей, на то, что даже в караулах они засыпали или играли в кости, приходилось закрывать глаза. Хуже было то, что они расползались по окрестным деревням, доставали там вино и напивались, покупали в складчину женщин, либо попросту ловили их и насиловали. Ни палками, ни страхом виселицы их было уже не остановить. Значит, всё меньше оставалось надежд на то, что местонахождение армии останется тайной для противника.

Злиться на солдат было бесполезно. Солдаты не могли быть иными. Но в эти жаркие, смрадные дни, в томлении неизвестности, фельдмаршал Монтекукколи впервые почувствовал, что испытывает злобу при мысли о Тюренне. Проклятый француз был свободен, это он выбирал — быть или не быть сражению, и даже в сражении рисковал немногим (кроме жизни, конечно). Если французы со шведами выиграют кампанию, Империя подпишет мир на любых условиях. А если Рейнская армия Тюренна будет разбита, это, чего доброго, приведет к тому, что французские партии бросят грызню друг с другом и объединятся в стремлении продолжать войну.

По вечерам, когда спадал зной, фельдмаршал прохаживался вокруг шатра, поставленного на вершине холма. Ниже, кругами, шумел, гудел, взвизгивал пьяными песнями лагерь. Багровое солнце спускалось за дальние леса.

Вот так же, должно быть, тысячу сто лет назад бродил по стенам отвоеванного Рима любимый им Велизарий. Слушал пьяные голоса и перебранку своих солдат, смотрел вдаль и ждал подкреплений из Константинополя. Подкреплений он не получил: в Константинополе, как и в Вене, побаивались слишком удачливых полководцев. И всё же, прежде чем Рим опять достался варварам и мировая история на века погрузилась во тьму, Велизарий удерживал великий город целых два года. Два года, словно Атлас, соединял в своих руках расколовшееся на Запад и Восток мирозданье!

Велизарий добыл свое бессмертие. А ведь в шестом веке это было ничуть не легче, чем в семнадцатом. Прошлое только кажется эпохой великанов, а собственное время — временем мелких страстей. Все времена одинаковы. Не меняется главное — человек. В новых столицах, вокруг новых тронов кипит всё то же ничтожное соперничество.

Не меняются эти пьяные песни солдат, эта вонь над армейским лагерем. В какой истории запишут, что и византийский полководец, и австрийский фельдмаршал больше, чем наступления неприятеля, боялись эпидемии дизентерии?

Эпидемии не случилось. Однажды утром с холма увидели, как за дальними лесами поднялась в небо серая струйка дыма. Тем, кто провоевал на этой войне хоть одну кампанию, не нужно было объяснять, что там такое. Эскадрон улан — сто двадцать всадников — сорвался в разведку. Щегольски сохраняя на скаку строй в колонне по два, уменьшаясь на глазах, уланы пересекли широкое поле, втянулись уже трудно различимой цепочкой в лес на противоположном его краю. Исчезли.

Лагерь на холме возбужденно гудел. С солдат мигом слетела сонливость. Они без команд офицеров собирались по своим ротам. Один за другим прибывали неизвестно кем с неимоверной быстротой оповещенные молодцы, ночевавшие в ближних селах. Их подгонял страх.

К вечеру прискакали измотанные уланы. Капитан охрипшим голосом, то и дело вытирая потное лицо, доложил фельдмаршалу: всё так, как они и думали, — там, за лесом, пылала деревня. Через нее прошла чья-то конница. Судя по следам копыт и по навозу — не меньше тысячи коней. Направление — в сторону Мюнхена. Отдельный это отряд или оторвавшийся далеко вперед авангард целой армии — непонятно. Кто это был — тоже непонятно. Идти по следу уланы не стали, опасаясь, как бы противник не заметил их разведку и не догадался, что имперская армия поблизости. (Монтекукколи хмуро кивнул.)

В самой деревне, — продолжал уланский капитан, — не было ни души, только несколько зарубленных бауэров

валялись в крови возле своих горящих домов. Остальные успели разбежаться. На обратном пути уланы поймали одного из них в лесу. Болван трясся от страха, и толку от него было немного: он подтвердил, что на деревню налетели всадники, но чьи они, сколько их, куда направлялись, — не знает. Слышал только, что между собой они говорили по-немецки. (Черт побери, ну конечно, по-немецки! В Рейнской армии Тюренна, да и у шведов — больше половины солдат такие же немецкие наемники, как в имперских и баварских войсках!)

Генералы немедленно собрались на совет в шатре главнокомандующего. Уже стемнело. Дрянные свечи шипели, потрескивали и разбрызгивали капельки воска на расстеленные карты. Из-за пляшущих по лицам теней казалось, будто седовласые военачальники гримасничают, как мальчишки. Но голоса их звучали мрачно. Все знали, что Тюренн любит проводить рекогносцировки большими конными отрядами. И не слишком беспокоится о том, что открытый марш конницы извещает о приближении всей Рейнской армии, которая следует где-нибудь в двух-трех переходах.

Никто не сомневался в том, что происходит: противник, наконец, выбрал цель кампании и двинулся к баварской столице. Тюренн с Врангелем и прежде вторгались в Баварию, осаждали Аугсбург. Прошлой весной отчаявшийся курфюрст Максимилиан даже подписал в Ульме сепаратное перемирие с Францией и Швецией. Но потом отказался от него и снова присоединился к императору. И вот теперь, без толку побродив по пустынным германским землям, Тюренн и Врангель, как видно, решили, что удар по нарушившей договор Баварии придаст хоть какой-то смысл их походу.

Австрийские генералы выжидательно посматривали на своего фельдмаршала. Баварец Гольцгапфель казался испуганным.

Снова Монтекукколи успел подумать, какой рекой грязи является то, что из удаления времен видится величественным течением истории. Несколько ненавидящих друг друга и его самого стариков и он, презирающий их всех, должны здесь, в полутьме, в зловонных испарениях лагерной стоян-

ки, принять решение, которое определит будущее Европы, по крайней мере, до следующей всеобщей войны.

И — какая насмешка судьбы: надо же было Тюренну затеять рейд именно этим маршрутом, почти в прямой видимости от их лагеря!..

А генералов беспокоило угрюмое молчание фельдмаршала. Он — главнокомандующий, он должен — скорей, скорей! — найти решение, как им поступить. И они испугались еще больше, когда, наконец, он объявил им свой приговор:

— Что делать? Не делать ничего! Оставаться в лагере!

Казалось, всеобщий смятенный вздох едва не задул пламя свечей.

Он яростно продолжал, пытаясь внушить старикам очевидное:

— Конечно, противник через несколько дней узнает об их местонахождении. Но здесь, на холме, они как в крепости. Скорей всего, Тюренн даже не решится атаковать их на этой позиции, и тогда — что ему останется? Двигаться дальше вглубь Баварии? Пусть прогуляется! В Мюнхене крепкие стены и сильный гарнизон. Тюренн и Врангель не безумцы, они не ринутся на штурм, а для возни с осадой такого города у них слишком мало сил. Да и какая осада, когда враги будут всё время ощущать у себя в тылу застывшую в грозной готовности имперскую армию!..

Он обрушивал на перепуганных стариков неслыханные, невозможные слова, и, даже не различая толком лиц в полутьме, без труда улавливал их взвихренные мысли. Облегчение: не нужно двигаться! (Лагерь и вправду уже казался им крепостью, выходить из которой опасно.) Подозрения: главнокомандующий струсил? И лихорадочные прикидки: донести на него, обвинить в малодушии будет спасительно, чем бы дело ни кончилось. Если поражением, они не виноваты: фельдмаршал наделал глупостей со страху, а они — что ж? — они вынуждены были ему подчиниться. А случится чудо, и невероятная стратегия увенчается победой, тем более не грех будет подрезать крылья такому оригиналу.

Он убеждал:

— Тюренн и Врангель забрались слишком далеко и уже не получают снабжения ни из Франции, ни из Швеции. Са-

мое большее, на что окажутся способны их войска, углубившись в Баварию, — разорить десяток деревень, добывая себе пропитание, да разграбить и сжечь какой-нибудь мелкий городишко. Ну, может быть, противник еще перехватит пару обозов с хлебом, движущихся к имперской армии. Плевать! Продовольствия в лагере запасено почти на два месяца... Он надеется, что убедил господ генералов, — мог бы просто приказать, но хотел именно убедить: чем спокойней будут они стоять здесь, в лагере, тем более нервно будут чувствовать себя враги и тем скорей уберутся восвояси!

Он закончил, и в шатре вновь воцарилось напряженное молчание. Неужели убедил? (Его слова о том, что он мог бы заставить их подчиниться приказу, громко звучали, но стоили немногого. В армии, где не добиться дисциплины даже от солдат, какого послушания ждать от генералов! Объединись большинство стариков против него, и он оказался бы бессилен, разве только ему пришлось бы заколоть кого-то из них, чтобы привести остальных к повиновению. Но это уже из области фантазий.)

Неужели — убедил? Неужели разум одного сумеет победить стихию человеческого стада со всеми его животными позывами, страхами, безумием, сумеет одной только силой мысли повернуть поток мировой истории в иное русло? Такого не бывало, кажется, со времен Цезаря.

Тишина натягивалась до предела, как струны лютни. Вот-вот раздастся либо визг обрыва, либо согласный аккорд. Еще мгновенье тишины, еще, и еще. Кажется, победа. Сейчас он отдаст приказ...

И в этот миг тишина прорезалась отчаянным криком:

— НЕТ!!!

Кричал Гольцгапфель, дергаясь, извиваясь, как в судорожном припадке. Вопли его, должно быть, далеко разносились из шатра. Полог отвернулся, и в открывшемся проеме в полутьме блеснула сталь шлема — заглянул встревоженный дежурный офицер.

— Это предательство! — кричал Гольцгапфель. — Это измена союзу! Легко австрийцу рассуждать, как будут разорять и жечь Баварию! Но он, Гольцгапфель, не отдаст на растерзание свою несчастную родину! Он не на службе

у императора, у него свой государь — курфюрст Максимилиан! Если имперцы боятся сойтись с врагом, черт с ними, пусть отсиживаются в лагере! А он немедленно уводит баварские полки на защиту родных очагов! Они сами встретят противника! И пусть увидит весь мир, пусть все узнают!!.. — он уже рыдал.

Оледеневший от ярости, Монтекукколи медленно убрал за спину свои тяжелые руки и до хруста, до боли сцепил пальцы. Слишком велико было искушение схватить и сдавить исходящее дурным криком горло баварца.

Всё пропало! Безумие опять оказалось непобедимым! Не может же он, в самом деле, задушить старого дурака. А раз не может, тот уведет свои девять тысяч солдат, сунется с ними Тюренну поперек дороги, и Тюренн раздавит его с ходу, как тележное колесо глупую лягушку. И пусть даже он, Монтекукколи, с одними имперскими войсками останется в лагере и будет здесь неуязвим, пусть Тюренн и Врангель, уничтожив Гольцгапфеля, не сожгут ни одной деревней больше и уберутся восвояси ни днем позже, чем сожгли бы и убрались без этого, ничто не поможет. Никакими разумными доводами не удастся ему защитить ни дело Империи, ни собственную честь.

В глазах всего мира, в глазах бессмысленного и всесильного «общего мнения», диктующего даже монархам, не говоря уж о дипломатах на Вестфальском конгрессе, а тем более об историках и писателях, он, Монтекукколи, предстанет трусом, предавшим на погибель мужественных союзников-баварцев. И тогда мирный договор, который придется подписать Империи, будет не просто тяжелым, но и позорным.

Старики-генералы ждали его ответа. Они были так растеряны, что, пожалуй, даже не радовались его унижению. Радуйтесь! Радуйтесь, глядя, как разум, способный повелевать событиями, сдается глупости и хаосу!

Сквозь заболоченный лес за холмом, тот лес, что мог бы служить их надежнейшим тылом, тянулась единственная скверная дорога. По ней кое-как проползали обозы с продовольствием. Любой из стариков на его месте поспешил бы вывести этой укрытой дорогой всю армию, чтобы опередить

двигавшегося в обход лесов Тюренна, оказаться на его пути и дать сражение. Так будь по-вашему, и будьте вы все прокляты.

— Поднимайте лагерь! — крикнул он. — Стройте людей, снимайте орудия и ставьте в упряжки! Весь порох и провиант на повозки! Движение — на Аугсбург и дальше за Лех! Мы отступаем к Мюнхену!!..»

А весной 1982-го по случаю выхода из печати того самого коллективного сборника «молодых авторов», в который так необъяснимо — сквозь отборочную комиссию, редактуру и цензуру — проскочила почти неповрежденной его легенда о полководцах, в кафе Писательского Дома был устроен банкет.

Дом этот, бывший графский особняк на набережной, парадным фасадом обращенный на простор Невы, а неприметный вход со скромной вывеской приоткрывший с изнанки, с тихой улочки, Дом малоизвестный, как ни странно, широким массам ленинградцев, производил на Григорьева странное впечатление. Не снаружи. Снаружи у Дома всё было в порядке: сдержанное, благородное петербургское изящество. Странности начинались внутри, сразу за порогом, на посту, где требовалось предъявить пропуск — писательское удостоверение.

Писательского удостоверения у Григорьева, конечно, не было. Он о нем и не мечтал. Для того, чтобы вступить в Союз писателей, надо иметь две опубликованные КНИГИ. Откуда их взять, если публикуется у тебя в лучшем случае — вразброс, где проскочит, — по одному рассказу в два года? Ах, как униженно чувствовал он себя в первые посещения Дома, когда останавливался и объяснял пожилому дежурному, что, вот-де, следует он по приглашению на заседание комиссии по работе с «молодыми» или на семинар прозаиков в «розовую гостиную»! А потом унижаться надоело, да и физиономии дежурных ему запомнились, на каком основании он решил считать, что его собственная физиономия должна была примелькаться им тоже. И с тех пор, входя в Дом, Григорьев просто-напросто кивал дежурному, показывал темно-

синюю с золотым тиснением книжечку члена Всесоюзного химического общества имени Менделеева (на работе в это общество записывали в обязательном порядке) и уверенно проходил вперед.

Странен был Дом внутри уже потому, что после многочисленных ремонтов и перестроек сохранившиеся с графских времен залы — с их колоннами, лепкой, мраморными статуями, бронзой и красным деревом — хаотически перемешались во чреве его с уныло-казенными площадками, коридорами, кабинетами захудалого советского учреждения. А в этот винегрет здесь и там вбились какие-то вовсе непонятные темные переходы, заброшенные уголки с мусором и паутиной, скрипучие деревянные лестницы, как в сельском клубе.

Но центром жизни странного Дома, конечно, было кафе на первом этаже: просторное, темноватое из-за цветных витражных окон, дымное и шумное. Григорьев обычно попадал туда усталый — вечером после работы, а если в дневные часы, то на бегу, между какими-то служебными делами в городе. Ни сил, ни времени влезать в утробную жизнь Дома у него не было, хотя наблюдал он за ней с любопытством. Сразу бросались в глаза постоянные обитатели кафе, которых он всегда заставал на одних и тех же местах. Судя по всему, они приходили сюда каждый день и часами высиживали за столиками, неспешно разговаривая, дымя сигаретами и непрерывно поглощая кофе, коньяк, водку и снова кофе, рюмку за рюмкой, чашечку за чашечкой.

У Григорьева эти люди вначале вызывали недоумение: если они искали общения, им не следовало собираться вместе так часто. Если хотели выпить, могли бы приносить коньяк и водку с собой, что обошлось бы вдвое-втрое дешевле (наценки в кафе были ресторанные). Но обрывки их разговоров, которые Григорьев ловил, — шуточки, ленивый треп, взаимные уколы, анекдоты, — никак не напоминали дружеского общения. Скорей уж вспоминалась цеховая курилка, разве что в писательском кафе меньше матерились, да анекдоты и издевки были потоньше, хоть от того еще ядовитее. И под столом никто не разливал из бутылки, все терпеливо ждали очередных рюмочек на подносике официантки.

Постепенно Григорьев пришел к мысли, что для обитателей Дома совместное сидение было чем-то вроде службы, на которую — хочешь не хочешь — надо являться и отбывать положенные часы. А само кафе напоминало отдел какого-нибудь учреждения, где за столами так же неспешно беседуют обо всем, в том числе о работе, давно надоевшие друг другу сослуживцы. Только здесь разрешалось пить и закусывать прямо на рабочих местах, и шум разговоров был оркестрован не стуком пишущих машинок и телефонными звонками, а шипением кофеварки и позвякиваньем вилок по тарелкам.

Такое понимание многое объясняло, и поведение этих людей обретало черты осмысленности. Служба есть служба. У каждого своя. Его собственная, инженерная, дерганая, в их глазах тоже, наверное, выглядела дурацким занятием.

Не существует учреждения без иерархии, и среди постоянных обитателей странного Дома иерархия наблюдалась. Вернее даже, бросалась в глаза, обозначенная четко, как в армии. Только многочисленные знаки различия, принятые в военной среде, все эти погоны, петлицы, нашивки, здесь заменялись одним-единственным, безошибочно прочитываемым знаком — выражением лица.

Званию простого члена писательского союза (младший комсостав, маленькие звездочки на погонах с одним просветом) соответствовало выражение неизбывной скуки. Въевшееся в глаза и в складки кожи, оно не изменялось под влиянием таких случайных факторов, как настроение носителя или степень его опьянения. Григорьев дивился поначалу, глядя, как люди со скучающими глазами беседуют друг с другом, шутят, даже улыбаются и как будто смеются. Хотя привыкнуть к этому было недолго. Наверное, не дольше, чем штатскому, попавшему в воинскую часть, привыкнуть к окружению людей в форме.

Писателей с положением, то есть часто печатающихся (старший комсостав, два просвета и большие звезды), отличало выражение вялой снисходительности, переходившее у писателей с должностями — членов редколлегий, председателей разных комиссий (полковничий уровень, каракуле-

вая папаха вместо офицерской ушанки), — в выражение сонной брезгливости.

А когда однажды Григорьев увидал в кафе высокого, худого мужчину с запредельно кислым лицом, источавшим уже не брезгливость, а полное отвращение ко всему окружающему, то сразу догадался: «генерал!» По логике иерархии, именно такое лицо должно было соответствовать генеральским звездам на узорчатых погонах и широким красным лампасам на форменных брюках. Чуть шевеля плоским ртом, мужчина говорил что-то соседям по столику, замершим в почтительном внимании. Григорьев спросил о нем своего знакомого из «молодых» и услыхал в ответ изумленное: «Ты что, его не знаешь?!» Высокий мужчина оказался главным редактором одного из считанных ленинградских литературных журналов, когда-то (при другом главном) журнала интересного, пожалуй, даже лучшего в городе. Но несколько лет назад волей обкома, насаждавшего профтехучилища и массами загонявшего туда школьников, журнал этот обращен был в подростковый, нацелен на интеллектуальный уровень и духовные запросы пэтэушника, и с тех пор, уже при нынешнем главном, стремительно деградировал...

Итак, в 1982 году в странном кафе странного писательского Дома был устроен банкет по случаю выхода коллективного сборника «молодых авторов». Сдвинули несколько столиков, и официантки уставили их бутылками водки с ресторанными штемпелями на этикетках, бутылочками «пепси-колы» (освоенная по американской лицензии несколько лет назад, она, кажется, осталась единственным наследием давно провалившейся «разрядки»), вазочками с мясными и рыбными салатами, тарелочками с бутербродами — копченая колбаска, красная рыба, сыр. Стоило всё непомерно дорого, но банкет есть банкет. Они, авторы сборника, только что получили свои гонорары и сбрасывались, не считая.

Да и то сказать, суммы им выплатили оглушительные. Во всяком случае, на взгляд Григорьева. Он, печатавшийся редко и всегда удивлявшийся в душе, что, публикуя твой текст, пропуская тебя к читателям, тебе за это еще и платят, никак не мог свыкнуться с величиной гонораров. Она противоре-

чила всему его жизненному опыту. На этот раз ему отсчитали в кассе издательства за «Легенду» в полсотни машинописных страничек, — измерять объем рукописей в «листах», по-писательски, он так и не привык, не чувствовал этих абстрактных «листов», — отсчитали, отвалили ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ целковых! Его, ведущего инженера, двухмесячный заработок! (А то, что писал он когда-то эту самую «Легенду» — урывками, вечерами, по фразе, по абзацу, по полстранички в неделю — больше года, что вышла она в свет крохотным тиражом через много лет после завершения, что ж тут поделаешь? Такая у него жизнь.)

Вокруг шумели сорокалетние «молодые». В трезвости, в деловом общении с полноправными обитателями писательского Дома, они носили на лицах положенную им, как рядовому и зависимому литсоставу, перманентную иронию. Смеялись над всем и, кажется, с наибольшей готовностью похохатывали сами над собой. Но в застолье, в приливе багровости от проглоченной водки, плавились их ироничные маски, а голоса начинали звучать громко и раздраженно. Подавленные обиды, унижение незаслуженной второсортностью — всё прорывалось с алкогольными парами. Пусть, как сквозь клапан, с инстинктивно сдерживающей даже во хмелю опаской, гоготом, а не криком, — но все-таки прорывалось. А Григорьев следил за ними, словно со стороны.

Вот еще одна загадка странного Дома: эти «молодые», презиравшие и высмеивавшие друг друга, всё равно были единой компанией. А он, никого не высмеивавший, не завидовавший ни мастерству других (что завидовать? у них так получается, у него — так), ни тем более чьим-то публикациям, — именно он и был среди них чужаком.

Они никогда не задирали его, как задирали друг друга. Больше того, сверхчутье, которое улавливало исходившие от них эмоциональные токи, вообще не распознавало недоброжелательства. Ему искренне отвечали интересом на интерес, но словно издалека. Он чувствовал: сблизиться им невозможно, даже если бы он попытался. При всем уважительном отношении к нему, они ощущали его чужим настолько, что присутствие его их порой как будто стесняло.

И ведь не в том была причина его отверженности, что он, единственный из них, сохранял свою неписательскую профессию и работал в полную силу. (Все «молодые», кем бы ни были когда-то, — рабочими, инженерами, учителями, — давно уже сидели операторами в котельных. Зарплата — скудные сто двадцать, зато сутки дежурства у котлов, трое суток свободных, и возможность писать, и голова не болит от служебных забот.) Нет, работа была ни при чем, хотя бы потому, что неписательское бытие друг друга, всё не связанное с рукописями, протекавшее вне странного Дома, вне издательств и редакций, здесь никого не интересовало. В этом униженные «молодые» странно напоминали победоносных «полубогов» с кафедры. Для тех тоже все интересы и действия замыкались в собственном мирке.

И ведь не были начисто бездарны даже «полубоги», а среди «молодых» встречались и по-настоящему талантливые. Что же их все-таки обезличивало? Обезличивало и сплачивало между собой, при всем взаимном соперничестве?

Понять «молодых» в этом отношении казалось интереснее, чем «полубогов». Движение «полубогов» по их колее — от аспирантуры к кандидатской, затем к докторской, к должностям доцента, профессора — сохраняло хотя бы видимость респектабельности. Но «молодые»-то, «молодые», ненавидевшие свою колею, зачем так стремились в нее, роились во внутренностях странного Дома, высиживали в кафе возле литофицеров, с готовностью отзывались смехом на ядовитые шутки в свой адрес? Ради чего? Ради того, чтобы когда-нибудь вступить в Союз писателей, сидеть в том же кафе за рюмочками и чашечками уже в качестве полноправных обитателей Дома и постепенно повышаться в писательских чинах, изменяя выражение лица от скуки к вялой снисходительности, потом к сонной брезгливости, а если очень повезет — к полному отвращению? Всё только потому, что нет иного пути даже для того, чтобы просто печататься? Но вот и Григорьев понимает, что нет иного пути, а он — не с ними. Так что же его все-таки от них отделяет?

Почему-то вспомнился Шекли: космического путешественника, возвращающегося из межзвездных странствий,

подстерегает опасность, он может прилететь не на Землю, а в один из бесчисленных Искаженных Миров. И не сумеет обнаружить свою ошибку, потому что тот, кто попадает в Искаженный Мир, изменяется сам. Вернувшись в родную деревню, такой путешественник не удивится тому, что его отец пасет крокодилов, что их старая домашняя мышь ловит кошек, а деревья, растущие вокруг дома, осенью выдергивают корни из почвы и улетают на юг. Для него всё будет так, как прежде, так, как должно быть. Разве у него у самого не три ноги, не две головы, как у всех окружающих людей!

Наверное, «молодые» были не хуже Григорьева ни талантом, ни трудолюбием. Но они, хоть и бранили искаженность странного Дома, все-таки принимали ее как должное. Они изменились сами. А он измениться не сумел. И оказался чужим.

Хотя и здесь не так было просто. Где первоначальная, неискаженная Земля, обитателем которой он продолжал себя считать и мерками которой мерил действительность? Как ни крути, получалось всё то же: детство, юность, начало шестидесятых, тогдашнее понимание жизни. Но ведь то были иллюзии. Так значит, он противопоставлял реальности — иллюзию? И тогда он сам был выходцем из Искаженного Мира. Пришельцем с тремя ногами, с двумя головами, затесавшимся за банкетный стол к нормальным людям в нормальном Доме.

«...Тридцать эскадронов конницы, составлявших авангард, первыми ушли по лесной дороге в сторону Аугсбурга. За ними двинулись главные силы — пехота, артиллерия. И наконец, бестолково и раздражающе медленно, со столкновениями повозок, щелканьем кнутов, конским ржанием, криками и бранью возниц, в лес начал втягиваться обоз.

Фельдмаршал Монтекукколи стоял у подножья холма с арьергардным отрядом — четыре легких орудия, полторы тысячи мушкетеров, пятьсот всадников. Они собирались уйти последними, и на узкой дороге, тянущейся среди зарослей и болот, их было бы вполне достаточно, чтобы прикрыть хвост колонны.

Его решение остаться с арьергардом удивило штаб. Впрочем, за время кампании там успели привыкнуть к чудачествам командующего. Одним чудачеством больше, только и всего. Он и сам не мог объяснить свой поступок. После того, как он позволил сломать весь тщательно продуманный план и войска стали покидать лагерь, ему, конечно, следовало отправиться в голове колонны. Что удержало его — неясные тревоги, предчувствия?

Уже рассветало. Скорей бы убрался обоз! И в этот момент... Он первым, еще раньше, чем вокруг раздались возбужденные крики, заметил, как вдали, за огромным полем, у темной полоски леса, над которой поднималось раскаленное солнце, возникло странное движение. Казалось, там медленно растекаются густые чернила.

— Ваша светлость! — юный адъютант протягивал серебряную подзорную трубу.

Монтекукколи оттолкнул его руку. Он не нуждался в этих новомодных изобретениях. Для него и так было ясно всё, что случилось. Какой-то завшивленный бауэр, схваченный неприятельскими дозорными, в страхе за свою ничтожную жизнь рассказал то, что знал о расположении имперской армии. И в этом еще не было бы трагедии, если б не оказалось, что главные силы Тюренна и шведов следуют за своей конной разведкой с гораздо меньшим отрывом, чем всегда. Но и это бы еще не обернулось бедою, если бы уже поистине роковая для Империи случайность не вывела вражеские войска к брошенному лагерю именно в тот момент, когда австрийские и баварские полки втянулись в чащу и уползали, как по узкому коридору, по лесной дороге, на которой невозможно развернуться, а часть обоза и арьергард еще не успели уйти!

У черно-синей кромки дальнего леса, в темной массе выдавливавшихся на равнину войск сверкнула вспышка, взлетел белый одуванчик дыма, и одновременно с донесшимся по воздуху тугим ударом посреди поля брызнула земля. Можно было даже разглядеть, как там заскакало и покатилось ядро, не пролетевшее и половины расстояния.

Его залило жаром. Почему-то именно этот выстрел — с запредельной дистанции, наглый, для куража, для испу-

га, — поднял в нем такой прилив ярости, что кровь ударила в лицо. Он, гордившийся своей выдержкой, сохранявший ледяную невозмутимость хоть под огнем, хоть в кабинете императора, сумевший сдержать себя даже прошлой ночью с Гольцгапфелем, сейчас дрожал от бешенства, хрипел и задыхался, побагровевший, с трудом втягивая воздух.

Рок! Рок! Проклятое, фантастическое везение проклятого козлобородого француза и — рок, словно решивший напоследок поиздеваться над несчастной Империей и ее фельдмаршалом! Если бы Тюренн явился несколькими часами раньше, имперская армия встретила бы его в лагере-крепости. Если бы он явился на час-другой позже, обоз, а за ним арьергард успели бы втянуться в лесную дорогу, где и одной пушки, заряженной картечью, хватило бы, чтобы отбиться от преследования. Но теперь...

Нелепейшее совпадение во времени было подобно камешку, что вызывает горный обвал. Тюренн и Врангель в два счета растопчут его небольшой арьергард. Возможно, захватят и несколько последних обозных фургонов. В лес за уходящей имперской армией они, конечно, не сунутся, да это будет уже и ни к чему. В глазах общественного мнения, накаляемого газетами, — самым дьявольским изобретением после пороха, — их шальная удача предстанет победой, а отход главных австрийских сил — позорным бегством. И во всеобщем изнеможении после тридцатилетней бойни это известие зазвучит погребальным звоном по Священной Римской империи. Камнепад покатится, сметая на своем пути устои европейского порядка. Дипломаты в Вестфалии коршунами набросятся на текст договора, отхватывая у венской короны права и земли.

Свершилось. Величайшая в истории война — проиграна, и величайшая держава нового времени будет повержена, раздроблена, оттеснена с мировой сцены. Безумие! Да как еще назвать хотя бы то, что именно католическая Франция, вырезавшая собственных протестантов вместе с женами и малыми детьми, — именно она и обеспечила победу протестантского дела в Европе. Теперь уже — окончательную победу.

Темная масса неприятельских войск в поле растекалась на отдельные волны, которые светлели, приближаясь, обретали очертания пехотных колонн и конных отрядов. Но вот они замедлили движение. Под лучами восходящего солнца медными блёстками сверкнули выдвинутые вперед пушки.

Ну разумеется: они еще не знают, что лагерь пуст и перед ними лишь горстка австрийцев, еще опасаются огня дальнобойных батарей с холма. Но их заминка продлится недолго, Тюренн мигом сообразит, что к чему. Этот счастливчик, забавляющийся войной, словно ребенок игрою.

И вдруг его пронзила мысль, что сегодня не только Тюренн упрочит свое бессмертие. Сегодня бессмертие обретет и он, фельдмаршал Монтекукколи. Во всех будущих книгах, прославляющих победителя, сокрушившего Империю, — где равнодушно, только для исторической точности, а где и с презрением, с насмешкой, — будет называться и побежденный!..

На него оглядывались. Ждали приказов. И те, что находились к нему поближе, немного успокаивались, услыхав наконец, как уверенно и громко он стал отдавать команды. Но сам он сквозь красную пелену, застилавшую глаза, видел: всё вокруг свершалось без его слов, само собою. Те из солдат, что потрусливее, уже тянулись вокруг подножия холма в тыл, к спасительному лесу. Другие, те, что были поспокойнее, опытней и понимали, что просто кинуться наутек — опаснее всего, готовились к бою. Отводили назад коней, заряжали орудия, ложились в траву с мушкетами. Четыре легких пушчонки и полторы тысячи ружей — невеликая сила. Но если повезет несколькими залпами хоть на время расстроить ряды наступающих и сбить с врага кураж, то и спасаться бегством будет легче...»

Когда готовились к банкету, «молодые» условились между собой: никого из писателей, членов Союза, не приглашать, кроме составителя их сборника, пожилого крикливого пьяницы.

Куда там! Их банкетный стол и пачки гонорарных денег, мелькавшие в руках, как магнит железные опилки, посте-

пенно стянули сидельцев со всех углов кафе. Писатели словно подъезжали со своими стульями и вклинивались среди горланящих «молодых» то здесь, то там. Вместо обычной скуки и вялой снисходительности они несли на лицах снисходительность доброжелательную. Очевидно, этого требовал этикет вхождения в чужое застолье.

А Григорьеву и вовсе была оказана честь: рядом с ним — и, похоже, не случайно, а по собственному выбору, — оказался самый старший по званию из всех присутствующих, «полковник», весомейшая личность в ленинградском литературном мире, заведующий отделом прозы одного из тех самых, считанных толстых журналов.

«Полковнику» было лет сорок. Высокий, круглоголовый, кругло и коротко стриженый, с небольшими усами, слегка напоминающий вяловатого моржа, он, и подсев к чужому пиршеству, не изменил, в отличие от остальных писателей, положенного по штату и сильно его старившего выражения лица. Так и сидел молча, с сонно-брезгливым видом, уставившись в одну точку на столе.

Григорьев из любопытства скосил глаза, когда «полковник» поднимал очередную рюмку: уж больно хотелось подсмотреть, ну просто не могло быть, чтобы и от рюмки ни единая черточка не дрогнула. А оказалось — могло, оказалось — не дрогнула. Только чуть запрокинулась круглая голова, да на одно мгновение в неподвижной брезгливой маске приоткрылся под усами круглый рот, куда перелилась водка, — и тут же всё вернулось к исходному, оцепенелому состоянию.

Григорьев слыхал, что «полковник» тоже из технарей, инженеров, что после института он поработал на заводе, а потом начал писать. Сразу стал печататься, вступил в Союз писателей, и вот уже лет восемь сидел в редакции. Как-то Григорьеву попалась подборка его рассказов «Заводские были». Несмотря на заглавие, попытался Григорьев читать, да на первой же странице наткнулся на мудрого, партийно-принципиального мастерового в духе тех самых, плакатных, с мужественными усами, в фартуках поверх белых рубашек. (У Григорьева на предприятии, в опытном цехе, как раз в те

дни наклеили на стену очередного такого: яркими красками отпечатанный пожилой богатырь в фартуке обращался к юному красавцу в спецовке белым стихом: «Так помни, сын, что Родина, и Мать, и Партия — понятия святые!») Григорьев осилил две странички «Заводских былей», еще несколько страниц пролистал, да и бросил. Время-то — свое, не казенное.

Зато в отделе прозы у «полковника» царил железный порядок. Рукописи, которые Григорьев несколько раз туда посылал, возвращались назад в рекордные сроки: самое большее, через месяц. И хоть отзывы всегда подписывали какие-то женщины, всякий раз новая (то ли содержал «полковник» целый штат литсотрудниц, то ли часто их менял), были эти отзывы по-военному кратки, решительны и единообразны: «Рукописи возвращаем, потому что Ваши рассказы не соответствуют направлению нашего журнала». Или того короче: «Возвращаем рассказы, потому что у нас и без того слишком много рассказов». Никакого этикетного подслащивания, как в других редакциях, никаких добрых пожеланий. Что-то ненавидящее сквозило в этом солдафонском хамстве.

Григорьев познакомился с «полковником» случайно. За несколько месяцев до банкета шел он по коридору странного Дома с одним из «молодых», как вдруг его спутник бросился к медленно двигавшейся навстречу высокой круглоголовой фигуре и заговорил о какой-то своей повести: «Ну, сколько ей еще лежать?!» Фигура отвечала еле слышно. До ушей Григорьева донеслось название журнала, он догадался, кто перед ним. В это время «молодой», — бог знает, что его подтолкнуло, — оглянулся на Григорьева, подозвал, представил.

И тут «полковник» удивил. Он склонил круглую голову, чуть нахмурился и, глядя куда-то в сторону, пробормотал:

— Евгений Григорьев... помню... рассказы... приходили самотёком.

(Значит, редакционные солдатки отстреливались от самотёка не сами по себе? Значит, кое-что и начальству показывали?)

А дальше последовало и вовсе загадочное. По-прежнему не глядя на Григорьева, «полковник» грустно сказал:

— Мы перед вами виноваты.

Никто его за язык не тянул, не собирался Григорьев у него ничего просить, и на знакомство-то не напрашивался. Но раз такое дело... Григорьев, конечно, ответил:

— Ничего, у вас будет возможность исправиться.

«Полковник» чуть скривился. В странном Доме это можно было принять как улыбку — в понимание и одобрение шутки.

И несколько дней спустя Григорьев нарушил собственный обычай — даже в ленинградские журналы рукописи не относить, а посылать почтой. Взял два последних рассказа, вырвался пораньше с работы, поехал к «полковнику» в редакцию, находившуюся на тихой улочке в центре города, неподалеку от странного Дома.

«Полковник» при виде его слегка приподнялся за столом, заваленным папками, и поклонился. (Правда, глядел при этом, как всегда, куда-то вбок и вниз.) Разговаривать им, собственно, было не о чем. Григорьев отдал свою папку и ушел. Никаких надежд не питал, но было любопытно: все-таки, разнообразие.

А разнообразия как раз не получилось. Ровно через месяц он извлек из почтового ящика большой конверт со штампом редакции. Вскрыл. Так и есть: общая картонная папка исчезла, прозрачные полиэтиленовые папочки — подавно, голые рукописи растрепаны. На экономном, в полстранички, редакционном бланке — единственная машинописная строчка: «Такие рассказы следует печатать не в журнале, а в книге». И подпись — очередная женская фамилия...

Но сейчас, в дыму, в шуме и гаме банкета, Григорьев чувствовал: «полковника» притянула к их столу не только дармовая выпивка-закуска. Он подсел не просто к компании, а именно к нему, Григорьеву. Похоже, для какого-то разговора. О чем? Что у них могло быть общего?

А между тем, рюмка следовала за рюмкой. «Полковник» не пьянел, но от выпитого у него стало меняться настроение. Григорьев, сидя к нему боком, не глядя, уловил сверхчутьем: «полковник» разгорается каким-то непонятным раздражением. Значит, скоро заговорит.

И «полковник» заговорил. Оставаясь в своей оцепенелой позе и по-прежнему что-то высматривая в одной точке на столе, он тихо, так что его было еле слышно сквозь галдеж и крики, спросил Григорьева:

— Болваночку сделали?

«...Отстреливаясь, чтобы задержать противника, солдаты арьергарда понемногу смещались вокруг холма к лесу. На склонах холма горел подожженный кем-то лагерь. В пылающих шалашах, разбрызгивая искры, с треском рвались оставленные мушкетные заряды.

Выручали четыре легкие пушечки, прикрывавшие отступление картечным огнем. Бывалые старики-артиллеристы действовали без команды, ловко и дружно. Дав очередной залп, который подобно взмаху косы заставлял противника залечь, они мгновенно, как муравьи, облепляли свои маленькие орудия, разворачивали, перекатывали немного в сторону и назад, и тут же снова наводили на врага и заряжали.

Но и с неприятельской стороны гремели выстрелы. С многоголосым, стремительным гудением долетала и била картечь. Падали убитые и раненые. Монтекукколи под железным градом отходил вместе с солдатами. Его сосредоточенный вид, конечно, придавал им уверенности: фельдмаршал с ними, фельдмаршал думает, как их вывести. Но он не думал о солдатах. (С солдатами всё было ясно: половина из них достигнет леса и спасется, другая половина — частью погибнет, частью окажется в плену.) Он думал о себе.

Он не имел права быть убитым в этом бою. Гибель главнокомандующего — символ полного разгрома. Его смерть обернулась бы для Империи утяжелением статей мирного договора, потерей лишних земель, выходов к морю, торговых привилегий. По той же причине ему нельзя было попасть в плен. Да и спастись бегством в начале боя, бросив арьергард, он не смел: такой позор сгубил бы усилия имперских дипломатов еще вернее. Он мог позволить себе искать спасения, только пройдя с отступающими солдатами их путь под огнем, и только в тот момент, когда они сами прекратят бой и пустятся наутек. Тогда это будет уже не бегство — отрыв от превосходящих сил противника.

Его тоненькая шпага была плохим оружием. Он отцепил ее, бросил в траву (шпага — без монограммы; если французы или шведы ее подберут, всё равно не узнают, чья), снял с убитого драгуна тяжелый палаш вместе с перевязью и застегнул на себе эту перевязь, испачканную кровью.

Снова и снова перебегая под звенящим полетом картечных пуль, следя уже не столько за врагом, сколько за своими солдатами, время от времени оглядываясь назад, туда, где адъютант и денщик вели двух коней, он думал о том, что должен спастись. И думал еще об одном человеке — Тюренне.

Отныне всю оставшуюся ему долгую жизнь фельдмаршал Раймонд Монтекукколи будет думать о Тюренне. Всегда, везде, за любым занятием, в любом настроении. Большей частью это даже нельзя будет назвать мыслями: кажется, самой плотью, мышцами и нервами станет он ощущать присутствие Тюренна на Земле, как постоянно ощущают незаживающую колотую рану. Это нельзя будет назвать и ненавистью. Что значат ненависть, любовь, быстро сгорающие человеческие страстишки там, где речь идет о бессмертии? Просто весь мир, такой огромный, такой изобильный для множества смертных существ, что являются на мотыльковый срок, копошатся и исчезают, уступая место другим, — этот мир оказался на поверку слишком тесен и слишком беден для них двоих, Монтекукколи и Тюренна. Как в скудной золотоносной жиле крупинок драгоценного металла, в нем открылось слишком мало бессмертия, чтобы его хватило на обоих. Всё должно было достаться одному.

Еще несколько шагов под огнем... Еще один залп навстречу врагу... Пора! Уже почти незаметный для окружающих в суматохе начинавшегося бегства, он метнулся к коню, которого удерживал денщик, но в этот миг от прозвучавшего шлепком удара пули его конь опрокинулся с разрытым, окровавленным боком, забил ногами, предсмертно заржал. Тогда, не теряя ни секунды, он бросился к адъютанту, который неподалеку стоял у своего коня. Выхватил повод у юноши, оттолкнул его, вскочил в седло и, не оглядываясь, поскакал.

Вместо слаженных залпов теперь звучала беспорядочная, редкая стрельба, которую уже перекрывал яростный рев: атакующие поднялись для последнего броска.

Он заметил, как трое всадников понеслись ему наперерез, неистово пришпоривая коней и что-то выкрикивая. Можно было уйти от них, но ему показалось, что всадники кричат по-французски. Тогда на скаку он вытащил палаш и, натягивая повод, чуть изменил направление скачки, позволяя им себя настигнуть. А когда они налетели и сшиблись с ним, он, вздергивая и разворачивая коня, чтобы его не смогли объехать сзади, бешеными ударами, одного за другим, зарубил двоих. Третий развернулся и понесся прочь.

А он поскакал дальше, весь обрызганный чужой кровью. Поскакал, огибая подножие холма, сквозь пелену едкого дыма от горевших шалашей, — туда, где, стекаясь к спасительной лесной дороге, исчезали в густых зарослях за опрокинувшейся обозной телегой фигурки его бегущих солдат...»

— Болваночку сделали? — спросил «полковник».

Григорьев повернулся к нему. «Полковник» по-прежнему безучастно разглядывал что-то на столе. Вид у него был такой, словно он не замечал окружающего мелькания, гомона, звона.

— Какую болваночку?

«Полковник» выдержал долгую паузу. Кажется, в театральной среде такие паузы именуют качаловскими. Потом выговорил:

— Ну, рецензию же хотят протолкнуть. На ваш сборник. В «Ленинградской правде». Я слышал, каждый автор для нее болваночку сдал. Несколько фраз о своем произведении. — «Полковник» чуть искривил рот: — Самообслуживание... А вам что, ничего не сказали? Ну, значит, ничего про ваших полководцев и не будет.

«Полковник» замолчал надолго. Медленно вытащил сигареты. Медленно закурил. Григорьев всё ощущал за его медлительностью — раздражение. И ведь это не кто-нибудь иной, он сам так раздражал «полковника». Интересно, чем он ему не угодил?

Внезапно «полковник» тихо продолжил (как видно, не сомневался, что Григорьев всё время вслушивается):

— А написано занятно. Хотя, надо же так закрутить — семнадцатый век, Австрия. Пока сообразишь, что к нашей системе относится... Эзоповщина полегче должна быть, попрозрачней. Когда такая перестраховка, интерес под конец пропадает. — И «полковник» приготовился опять замолчать.

Помешал Григорьев, удивившийся:

— А при чем здесь наша система?

Впервые «полковник» оторвался от созерцания неведомой точки на столе и взглянул ему в лицо:

— Так что ж вы имели в виду?

— По-моему, то, о чем писал: Австрию, Францию, семнадцатый век.

Его ответ, похоже, усилил недоброжелательство «полковника». Откинувшись на спинку стула, щурясь сквозь сигаретный дым, «полковник» провел взглядом вдоль стола. Там, на другом конце, вниманием публики овладел маленький разбитной толстячок, известный прозаик, автор коротких рассказов, легких и пикантных.

— А ну-ка, — сказал «полковник», — небольшой тест! Знаете этого балагура? Последнюю книжку его читали? Ну-ка, попробуйте одним словом отчеканить, как вам его рассказики. Одним!

Григорьев с ходу чуть не послал «полковника» по известному адресу (кто ты такой, чтоб тесты мне устраивать и нукать!). Но потом самому стало любопытно. Подумал немного и ответил:

— Чтение ДЛЯ ВЫСПАВШИХСЯ.

Лицо «полковника» помрачнело, и уже откровенная неприязнь проступила на нем.

— А вы, оказывается, еще и злой, — процедил он.

Григорьев не понял, почему «еще», какой исходный порок числит за ним начальник отдела прозы. Но голову ломать над загадкой не собирался. Его тоже охватило раздражение.

— Да добрее меня — человека на свете не сыщешь! — ответил он словами Вожака из «Оптимистической трагедии».

Скорей всего, «полковник» не признал цитату. Но интонацию расслышал. И проговорил:

— Не уважаете вы нас...

Вот теперь Григорьев разозлился по-настоящему:

— Скажите за что, сейчас же и начну!

И тут уже взорвался «полковник». По-своему, незаметно для окружающих, без крика и почти без движений. Но для Григорьева это было подобно тому, как если бы айсберг раскололся и выбросил вулканическую лаву. Распрямившись на стуле и впившись яростными глазами в прежнюю точку на столе, «полковник» проскрежетал:

— Ну, это вы бросьте! Самомнение свое! Бросьте пыжиться! Тут, мол, кругом все в дерьме, один я чистенький!.. Рукописи он посылает, ножками не ходит, боится начищенными ботиночками в наше дерьмо вступить!..

Григорьев машинально покосился на свои туфли в засохших брызгах весенней грязи. Вчера вечером, конечно, наводил на них глянец. Но сегодня-то явился на банкет прямо с работы. А за день на территории родного предприятия, где вечно что-то раскапывают и строят, в беготне между лабораторными и цеховыми корпусами заляпаешься не то что до щиколоток, а до колен.

Раньше был у него обычай: когда после работы направлялся в центр города, по делам или на свидание, старался заскочить по пути к знакомой ассирийке, темнолицей усатой старушке, что сидела со щетками и шнурками в своей стеклянной будочке у Финляндского вокзала. (Она рассказывала ему, что трудится на этом месте с довоенных времен. Только в блокаду работала в армейской мастерской, чинила солдатские сапоги. В ее семье тоже почти все погибли.) За двадцать копеек, с разговорами, она в несколько минут доводила его обувку до зеркального блеска. Так было много лет подряд. Но в последнее время старушка исчезла.

И разозлившись еще больше от воспоминания о том, как равнодушно обтекает людской поток опустевшую, запертую будочку, Григорьев твердо ответил:

— Боюсь!

— А я говорю — брось-сьте! — ненавидяще прошипел «полковник». — Не будете вы нас презирать, не будете! Ме-

ня, во всяком случае! Амуниции у вас для такой амбиции маловато... Вы — ленинградец, так? Интеллигентное семейство, квартирка отдельная, папаша из начальников? У самого работа чистая, с бумажками, так?!

Григорьев вспомнил «хрущевку» со стеклянной перегородкой, вспомнил отца в брезентовой куртке среди станков и то, какое страшное лицо было у него, когда он матерился с рабочими. Вспомнил горы своей служебной переписки и свои командировки, поезда, самолеты. Вспомнил маленькие города, пыльные, с пустыми магазинами, с воздухом, отравленным химическими испарениями, с пожухлой зеленью. Вечные свои хождения по кабинетам, препирательства с большими и малыми заводскими начальниками. Гул цехов, грохот испытательных, где он работал каждый день по две смены подряд, неделями, без выходных. А об усталости и вспоминать было нечего. Она неизбывно была с ним, отупляющая, ватная. И не разогнать ее ничем, ни напряжением мозга над рукописями, ни любовной игрой, ни рюмочками водки и чашечками кофе в писательском вертепе.

Кивнул, подтвердил:

— Отдельная. Из начальников. Чистая.

«Полковника» затрясло:

— Под родительским крылышком подрастали, тёпленько, сытенько? Школа, институт, НИИ? Вся амуниция ваша!.. Вам бы мое детство в рабочем поселке. Там и сейчас-то, при «развитом социализме», жрать нечего, а я, голопузым, еще послевоенной голодухи отхватил, щец из крапивы на всю жизнь нахлебался. Не пробовали щец из крапивы? То-то!.. И в армии не служили, конечно. Ах, виноват: месяц на сборах провели для офицеров запаса, где-нибудь в Ленинградской области. А я три года оттрубил! В Заполярье! Там дружок мой, земляк, со мной вместе призывался, — прямо на территории части замерз, и снегом замело, едва тело нашли. Там проснешься ночью, — в казарме, как в леднике, от холода пузырь мочевой ломит, а в сортир в одиночку боишься идти, в сортире крысы шастают — вот такие! — «Полковник», распрямив ладони, обозначил нечто величиной с кошку и тут же в ярости сжал кулаки: — Сколько раз они на

ребят нападали! Вот, вместо того, чтоб сбегать и опять прикорнуть, — и так днем шатаешься от недосыпа, — лежишь, мучаешься и ждешь, кто еще проснется с тобой пойти, вдвоем, втроем, чтоб не так бояться. Вас бы туда... И после этого, после ТАКИХ ТРЕХ ЛЕТ, я собрать себя сумел, и подготовиться, и в институт поступить!

«Полковник» тяжело перевел дыхание. Потом продолжил, немного спокойней, по-прежнему не поворачивая головы:

— А с института вышел — мне еще три годика достались. На заводе мастером, в горячем цехе, в литейке. Под командой — пьяницы, уголовники. Трехсменная работа, ни дня ни ночи, мелькает всё. Коечка продавленная в заводском общежитии, кругом смрад, блевотина, клопы. А я уже первые рассказы писал. А папеньки с маменькой нету, сам себя выдирай за волосы из болота... Читали мои «Заводские были»? Читали и, небось, хихикали? А я вот заплатил за право И ТАК ПИСАТЬ! Я за каждое слово заплатил!!

Его опять затрясло. И опять он перевел дыхание, успокаиваясь:

— Я в Ленинград приехал с чемоданчиком, с каким в баню отправляются. Бельишко, носки дырявые, папка с рукописями. Ни кола, ни двора, ни единого знакомства. Жизнь не то что с нуля начинать — с небытия, призраком. Здешние люди сквозь тебя смотрят, сквозь тебя проходят. А было мне уж тридцать лет. Трид-цать!.. Я же крыши над головой не имел, я первое время и комнатенки паршивой не мог снять, я КЛАДОВКУ у дворничихи снимал!

Григорьев молчал. Вот тебе и всемогущий завпрозой! Значит, не случайно даже среди изломанных обитателей странного Дома этот «полковник» выглядел окончательно раздавленным. Расплющенным, как цыпленок-табака. Однако же и его допекло, не вытерпел. И — самое занятное: как отчаянно пытался он доказать свою правоту именно Григорьеву. Не кому-нибудь из высокого литофицерства, из тех, кого догнал в чинах, а то и превзошел. Не кому-нибудь из «молодых», рвущихся в ту же систему, понятных ему и от него зависящих. А вот именно — чужаку, который и пишет невесть что, и невесть зачем сидит за этим столом. Тому, кто раздражает, просто бесит самой своей неясностью.

«...В марте 1675 года у ворот окруженного стеною сада в предместье Вены остановилась тяжелая карета с имперскими орлами на дверцах. Ее сопровождал десяток всадников в гвардейской форме. Из кареты никто не вышел, она была пуста. Один из гвардейцев соскочил с коня, прошел мимо привратника и, печатая шаг по дорожке из каменных плит, направился через сад к темному дому с угловыми башенками, подобию маленькой крепости. Здесь, на покое, жил в последнее время самый прославленный полководец Священной Римской империи, старый фельдмаршал граф Раймонд Монтекукколи.

Гвардейца встретил пожилой слуга, не похожий на лакея ни одеждой, напоминавшей скорей солдатскую куртку, чем ливрею, ни своим грубым лицом. Явно денщик из унтер-офицеров.

Хозяин дома, седой великан в шелковом халате, снял очки, отложил книгу и поднялся из кресла. Лицо его было серьезным, соответствуя значительности момента. Лишь в черных, итальянских, по-прежнему молодых глазах посверкивали веселые искорки (забавно было наблюдать через окно, как роскошный гвардейский офицер вышагивает, точно на смотру, сквозь его пустынный сад).

Фельдмаршал принял у посланца пакет, сломал печати. Развернул лист сверкающей белизной бумаги и, отстранив в вытянутой руке (очками при посторонних не пользовался никогда, хоть давно мучился стариковской дальнозоркостью), пробежал несколько строк, исполненных изумительными завитушками писаря дворцовой канцелярии. Задержался взглядом на собственноручной, с чернильными брызгами, подписи императора: ЛЕОПОЛЬД.

Ну что ж, с тех пор, как минувшей осенью Тюренн вытеснил имперскую армию из Эльзаса, а напоследок еще и разбил ее под Тюркгеймом, старый фельдмаршал именно этого и ожидал. Он знал, что о нем вспомнят. Вот разве, не предвидел такой торжественности. Император не вызывал, а в самых любезных выражениях ПРИГЛАШАЛ его к себе в Хофбург. За ним прислали здоровенную дворцовую карету с почетной охраной. Старик чуть усмехнулся. Он не любил

помпезности и с большей охотой отправился бы в одной из своих, привычных карет, со своими сопровождающими. Хотя усмехаться, пожалуй, и не следовало. Всё говорило о том, что дело еще серьезнее, чем он предполагал.

В гардеробной у зеркала молчаливый денщик помог ему надеть парадный мундир с тяжелым золотым шитьем, застегнуть пуговицы и пряжки. Потом расчесал черепаховым гребнем седую гриву своего господина. (Вошедших в моду париков тот не терпел. Ни за что не согласился бы остричься и напялить на голову обязательную нынче мерзкую накладку из женских волос.)

Этот денщик служил у него давно, двадцать семь лет. С тех самых пор, как прежний денщик вместе с его адъютантом пропали в бою у леса под Аугсбургом, последнем бою той, Великой Войны. Когда подписали Вестфальский мир и обменяли пленных, их не было среди вернувшихся. Он запрашивал баварские власти, просил разыскать захоронения. Нет, и в числе убитых, — тех, что похоронены опознанными, — их не оказалось. Бывает...

Они тогда пропали, а он сумел спастись. И с повинной головой предстал перед императором, незабвенным Фердинандом Третьим, отцом нынешнего властителя. Ему показалось, что Фердинанд, только что согласившийся на тяжелейшие условия мира, даже испытывает облегчение: чем бы ни кончилось, лишь бы кончилось.

— Я виноват! — сказал он Фердинанду, который молча, с насмешкой, глядел на него. — Я проиграл решающую кампанию. Готов принять любую кару. — И мрачно пошутил: — Государь, вы можете даже ослепить меня, как Велизария.

— Велизария ослепили после побед! — едко отпарировал Фердинанд. И, подумав, усмехнулся: — Вот, разве только Мазарини прикажет ослепить Тюренна: говорят, вернувшись в Париж, он примкнул к Фронде.

Должно быть, на лице Монтекукколи промелькнула тень, и это не осталось незамеченным. Пристально глядя на него, Фердинанд сказал:

— Ну-ну, никто его, конечно, не ослепит. Времена варварства давно прошли. Во всяком случае, для европейских

правителей... — И покачал головой: — А всё ж таки, занятный народ вы, военные. Соперничаете в славе, сражаетесь друг с другом, а сами в душе друг другу симпатизируете. Ни дать ни взять, актеры конкурирующих театров.

— Ваше величество, я прошу принять мою отставку!

Фердинанд поморщился, вяло махнул рукой:

— Бросьте! Какая отставка? Отдохните месяц-другой, поезжайте в имение, отоспитесь. А потом возвращайтесь к армии. Вам представится шанс восстановить репутацию. Войн будет еще много. По крайней мере, на наш век хватит.

— Такой больше не будет, государь! — вырвалось у него.

И снова император внимательно всмотрелся ему в лицо. Согласился:

— ТАКОЙ, действительно, не будет. Во всяком случае, при нашей жизни. Но вы — не отчаивайтесь. Не сумели взять качеством побед, возьмете количеством!..

Конечно, он оказался прав, незабвенный Фердинанд. Великая Война издохла, но питавшее душу этого чудовища безумие миллионов человеческих существ не могло развеяться. Вновь и вновь оно скапливалось и, пусть с меньшею силой, прорывалось на волю. Почти каждую весну то в одном, то в другом уголке Европы тысяченогими железными гусеницами, проснувшимися от зимней спячки, выползали на едва просохшие дороги армейские колонны. С полей разбегались напуганные бауэры. Окутываясь белым, удушливым дымом, принимались бить над полями пушки. Растаптывая посевы, шли в атаки и контратаки пехотные шеренги, скакали всадники. От выстрелов, лязга, криков, стонов дрожал воздух до самых облаков, яркая глянцевая кровь пятнала зеленые всходы.

А где-то позади мировой сцены, на которой нескончаемо маршировали и бились войска, кружились на придворных балах нарядные кавалеры и дамы, пели церковные хоры, катились, подпрыгивая, кареты без рессор, еще не изобретенных, где-то в глубине, за кулисами, незримо и неслышно почти для всех современников, свершалось то, что стало главным содержанием семнадцатого века. То, что придало

ему истинное величие, сделало его, по сути, Первым веком новой эры. Свершалась Великая Научная революция.

На протяжении двух тысяч лет, со времен греческих философов, со времен Евклида, вся европейская наука основывалась на методе формальных рассуждений и доказательств, исходящих из нескольких заранее установленных начал. При этом истины, изложенные в книгах древних мудрецов, считались вечными. И если Аристотель когда-то написал, что брошенное тело движется по прямой, пока не потеряет силу, после чего отвесно падает, а те же пушечные ядра описывали в воздухе кривую, то этот факт, виденный несчетное количество раз множеством наблюдателей, известный всем солдатам-артиллеристам, не имел для научного мира никакого значения.

Да кто вообще над ним задумывался! Ученых в Европе можно было пересчитать по пальцам. Это были никчемные приживалы, кормившиеся от милостей светских и церковных князей. Некоторые из них корпели хотя бы над занятным делом, вроде получения философского камня или панацеи, а остальные, с их вовсе отвлеченной от жизни наукой, выглядели просто слабоумными.

И вдруг, даже среди этих редкостных чудаков появились свои отщепенцы. Какие-то окончательно свихнувшиеся типы, вроде Галилея. Они осмелились утверждать, что вся двухтысячелетняя мудрость — устарела. Что они, видите ли, придумали новый метод познания — метод экспериментальных доказательств...

Никакие великие открытия прошлого и будущего, и уж тем более все политические события всех времен, не смогли сравниться по значению с этим переворотом, который произошел в умах (поначалу только в умах) нескольких (пока всего нескольких) людей, рассеянных, как пылинки, в пламени и вихрях своей эпохи. Оказалось, природу можно спрашивать, задавая ей вопросы-эксперименты, и она — откликается, отвечает! Это было даже не потрясением прежних основ, а обретением новых основ для построения новой цивилизации. Крохотный, смертный человек вступил в диалог со Вселенной. Впервые ощутил свой разум равновеликим ее безграничности и вечности.

Они и сами еще не понимали, что совершили. Презрение властителей, торгашей, воинов к их странным занятиям довлело и над ними. Сам Ньютон казался себе лишь мальчиком, подбирающим на берегу моря красивые раковины-открытия.

Но дверь была распахнута, и пространство человека стремительно расширялось: в бесконечность космоса — с телескопом Галилея и законами Ньютона, которым подчинилось движение планет; в бесконечность микромира — с микроскопом Левенгука; в бесконечность самопознания разума — с философией Декарта и Спинозы. Рождались новая физика и новая химия, основанные на экспериментах и измерениях. Рождалась математика дифференциального и интегрального исчислений.

Далеко, еще неимоверно далеко отстояло то время, когда человеческое безумие обратит разросшиеся познания против самого человека, когда на подземных заводах рабы из «низших рас» начнут собирать и начинять взрывчаткой ракеты «ФАУ», а над спящими городами вспыхнут ядерные солнца. Молодая наука семнадцатого века была прекрасна своей чистотой. Прекрасна — и почти невидима с мировой сцены.

А там — нескончаемо кружился прежний хоровод: войны, войны, войны, вражда народов, грызня религиозных течений, дипломатическая игра, дворцовые перевороты, смены династий, взлеты и падения властолюбцев. Он был бы смешон, этот кажущийся механическим театрик, если бы его карусель не проносилась сквозь настоящее пламя, где сгорали не раскрашенные картонные фигурки, а комочки живой, страдающей человеческой плоти. Если бы в каждом погибшем — в немытом мужике, что, зазевавшись на обочине дороги, не успел увернуться и был просто так, смеха ради, поднят на пики проезжавшими всадниками, в низколобом и косматом наемном солдате, который, захлебываясь кровью, валился в траву с пробитой мушкетной пулей грудью, — в любом из них вместе с их звериной темнотой, вместе с их безумием не погибала и капля разума, выведенного миллионами лет эволюции, чтобы одушевить мертвый Космос...

Незабвенный Фердинанд оказался прав: одна война следовала за другой, и военное счастье уже не изменяло фельд-

маршалу Монтекукколи. Вот только единственно важная для него война — та, в которой он мог бы скрестить оружие с Тюренном и победить его, новая война между Францией и Австрией, — всё не приходила, обманывала, отдалялась.

Он жаждал расплаты с того самого боя под Аугсбургом, когда на холме пылал его лагерь, и отнятый у злосчастного адъютанта конь мчал его к спасению. Он должен был разбить козлобородого француза, унизить нелепого романтика войны, отнять у него всё бессмертие, отмеренное их общему семнадцатому столетию!

И хотя уже под Аугсбургом он понимал, что следующая встреча с Тюренном случится, увы, не скоро, он и представить себе не мог, на сколько десятилетий затянется это «не скоро».

А поначалу, в том роковом 1648 году, всё случилось по его предвидению: стоило армии Тюренна, возвращаясь домой, переправиться через Рейн, как Франция, словно пороховой погреб, в который самоубийца швырнул факел, взорвалась таким пламенем, какого не было со времен Варфоломеевской ночи и Гугенотских войн. Спасти корону австрийских Габсбургов от позора и тягот Вестфальского мира это уже не могло, и фельдмаршалу Монтекукколи, подобно непонятому своим отечеством библейскому пророку, оставалось лишь с горьким удовлетворением следить, как сбываются его предсказания.

Говорили, что Тюренн поначалу хотел остаться в стороне от французских междоусобиц, но в политике действует своя логика. Для кардинала Мазарини, правившего от имени малолетнего короля, молодой маршал, только что блестящей победой прикончивший мировую войну, был подозрителен и опасен из-за одной его популярности.

У Тюренна не осталось выбора. Он поддержал Фронду, был объявлен вне закона, бежал в Голландию. Казалось, его карьера закончилась. Наверное, он не догадывался, что где-то в Вене имперский фельдмаршал, недавний противник, следит за его крахом с презрением и жалостью. С понятным презрением (не дело воина лезть в политику!) и странной жалостью. Потому что этот мрачный смуглый великан прежде всего жалел самого себя...

Но то, что казалось концовкой драмы, неожиданно обернулось началом трагикомедии. Перед глазами ошеломленной Европы стала раскручиваться фантасмагория в духе плутовского романа, столь любимого у испанцев, тех самых испанцев, которым предстояло выступить на сцену. Глава Фронды принц Конде, перешедший было на сторону двора и потопивший в крови парижское восстание, вдруг передумал, поднял новый мятеж, бежал в Мадрид, а затем вторгся во Францию с испанской армией.

В разгоравшемся пожаре, потеряв голову, как затравленный, метался несчастный Тюренн. Он то являлся с повинной к Мазарини и получал амнистию, то вновь попадал под подозрение и, спасаясь от ареста, мчался в Голландию. То бросался на поддержку Фронды, вел к Парижу полки интервентов-испанцев, и в этой противоестественной для него войне, командуя чужими против своих, терпел поражение за поражением. Проклинаемый и преследуемый уже и королевскими отрядами, и Фрондой, опять спасался бегством в Голландию, под защиту родственников, а потом снова посылал Мазарини мольбы о прощении.

Всё переменилось внезапно. Летом 1651 года среди немногочисленных придворных, еще окружавших королеву Анну и ее сына, малолетнего короля Людовика Четырнадцатого, пробежал и угас странный слух о некоем написанном по-итальянски письме, которое получил кардинал Мазарини.

> *«Ваше преосвященство! — говорилось в письме: — Мы с Вами соплеменники и единоверцы, хотя и враги, потому что служим разным коронам, чьи интересы непримиримы. Но я обращаюсь к Вам не как соплеменник и не как враг. Мною движут лишь чувство справедливости и то чувство уважения, которое испытывает один благородный воин к другому благородному воину, пусть и своему противнику...»*

Что-то еще было в этом письме, суть его, несколько фраз, которые заставили подозрительного кардинала, склонного ви-

деть во всем козни и ловушки, глубоко задуматься. Письмо и заканчивалось удивительно:

> *«Я не назову себя, подпишусь лишь той же буквой, с которой начинается фамилия Вашего преосвященства, потому что посылаю это письмо без ведома своего Государя. Впрочем, я уверен, что он, хотя и состоит в родстве с династией, чьи войска сейчас наносят Вам удары, не счел бы мой порыв изменой. Ведь мои советы не касаются судеб держав и народов, но лишь судьбы единственного человека».*

Получил Мазарини письмо на самом деле, или то был всего лишь слух — один из множества слухов, которые будоражили стайку придворных кочевого французского двора, пламенем гражданской войны перегоняемого из города в город, из замка в замок, — но, так или иначе, вскоре в далекой Вене император Фердинанд Третий (он был еще жив и здоров) сказал фельдмаршалу Монтекукколи:

— Слышали новость? Какая-то муха укусила этого проклятого Мазарини: он объявил вашему обидчику, Тюренну, полное прощение и поставил главнокомандующим над всем, что осталось еще от французской армии. Как думаете, сумеет он хоть что-нибудь спасти?

Угрюмый фельдмаршал только пожал плечами.

А потрясенная Европа вновь протирала глаза: дурная фантасмагория на французской сцене вдруг обернулась героической сказкой. Состоявшая почти сплошь из испанцев армия Фронды, которую вел Конде, взяла Орлеан. Париж был окружен. Но прежде, чем штурмовать столицу, Конде решил захватить королевский двор, застрявший в небольшом городке Жиене, на берегу Луары. У Конде было пятнадцать тысяч солдат. Путь ему преградил Тюренн с крохотным четырехтысячным войском.

Жиенский замок возвышался на крутом холме. Армии сошлись в долине у его подножья. Мазарини с королевой Анной, перепуганные, стоя у стрельчатых окон замка, вслушивались в звуки канонады, от которой дрожали бесчисленные мелкие стекла в переплетах, и пытались сквозь разрывы

в пелене дыма и пыли хоть что-то различить на поле сражения, угадать в беспорядочном мелькании свою судьбу.

А на следующий день Мазарини, заливаясь почти непритворными слезами, обнимал Тюренна и восклицал:

— Вы спасли не только нас, вы спасли Францию!..

Еще семь лет сражался Тюренн против Испании и Конде. Вначале отражал удары вражеских армий. Потом — вытеснял их с французской земли. Затем — переносил войну в Нидерланды, где испанцы еще цеплялись за остатки своих владений. Опять были стремительные броски и хитроумные маневры в долинах Шельды и Самбры, сражения и преследования, осады и штурмы крепостей, победы, победы, победы. Еще семь лет беспрерывных битв, считая с жиенской. Еще сотня тысяч убитых и вдвое больше искалеченных. Недорогая цена за уже не просто всемирную, но абсолютную славу Анри Тюренна, как величайшего полководца с начала христианской эры. Недорогая цена за независимость Франции. Совсем недорогая, если вспомнить о том, что те же французы и тот же Тюренн совсем недавно сделали с Германией.

И великого героя по-прежнему украшала скромность. Когда с Испанией был, наконец, подписан Пиренейский мир, он не принял от своего молодого короля, возмужавшего и вступившего в самовластное правление, ни наград, ни должности военного министра. Остался, как и был, всего лишь одним из маршалов Франции. Умиленная болтовня об этом долетала и до венского двора. Прислушиваясь к ней, Монтекукколи слегка морщился: глупцы всегда найдут, чем восхищаться, из-за чего причмокивать. Хотя француз, конечно, умен. Разве есть на свете должности и звания, которые могли бы теперь сравниться с одним звучанием имени: «ТЮРЕНН»!

А тем временем, в другой стороне Европы, с издевкой брошенное предсказание незабвенного Фердинанда сбывалось, и даже с лихвой. Фельдмаршал Монтекукколи не просто восстановил свою репутацию. Он сумел, хотя бы отчасти, хотя бы только со шведами сквитаться за свое и Империи постыдное поражение в Великой Войне.

После Вестфальского мира шведы считали Балтийское море своим озером, а самих себя — господами северо-восточной Европы. Польша и Дания лишь вяло сопротивлялись захватчикам. Только имперский кулак мог выбить из самоуверенных шведов спесь, и только один человек мог возглавить армию, чтоб нанести карающий удар.

Стоило Империи, обескровленной тридцатилетней бойней, немного отдохнуть, стоило первым каплям свежих сил влиться в ее жилы и мускулы, всё так и случилось. Весной 1657 года фельдмаршал Монтекукколи привел австрийские войска на помощь королю Яну-Казимиру и выгнал шведов из Польши. А через год, в Ютландии, спасая уже датскую корону, вновь разбил шведов и сбросил их в море.

Со шведским натиском на юг и на запад было покончено. В Вене и в союзных столицах славили победителя. Монархи, награждавшие его, и придворные поэты, декламировавшие оды в его честь, не могли не заметить, с каким спокойствием, если не сказать — равнодушием, принимает он восхваления и ордена. Объясняли это возрастом, умудренностью: когда слава приходит в пятьдесят лет, она воспринимается совсем не так, как в тридцать и даже в сорок. Никто и не догадывался об истинной причине.

А слава его, действительно, стала всемирной. И когда в 1664 году заклятые враги христианской цивилизации, турки, начали новое вторжение, и европейские государи, забыв на время свои склоки, объединились против общей угрозы, иного генералиссимуса — главнокомандующего коалиционной армией — не стали и искать.

На этот раз мусульманское войско было не просто многочисленным — оно было огромным. Его возглавлял сам великий визирь, и подготовились турки к войне куда основательней, чем прежде. У султана было достаточно золота, чтобы нанять европейских мастеров, которые отлили для него сотни первоклассных пушек. Достаточно золота, чтоб рядом с каждым его генералом (длиннобородым пашой в чалме) стремя в стремя ехал наемный советник — француз, немец, итальянец, настоящий профессионал войны.

Турки учли всё. Не учли одного: им противостоял тот же Раймонд Монтекукколи, что разбил их когда-то. И если они

с тех пор успели многому научиться, то и для него, поседевшего, перевалившего уже на вторую половину шестого десятка, время не прошло даром.

Он не позволил мусульманскому клинку проникнуть глубоко в тело Европы. Он гнал свои союзные колонны форсированными маршами и успел пересечь путь нашествия там же, где двадцать лет назад: в Зибенбюргене-Семиградии.

Под ослепительным небом, среди зеленых холмов, садов, виноградников, на плодородной земле, предназначенной для наготы и лени, для жизни смешливой и чувственной, опять встретились, закованные в железо, армия Востока и армия Запада, Полумесяц и Крест.

Битва длилась два дня. Канонада была такой, что выстрелы отдельных орудий не удавалось различить. Люди глохли и лошади безумели от непрерывных раскатов грома. Белый сернистый дым сплошным облаком слоился над полем, закрывая солнце. Даже старики, ветераны Великой Войны, не помнили подобной адской пальбы.

У него было вдвое меньше сил, чем у турок, но союзные генералы на этот раз повиновались ему беспрекословно, и он сумел осуществить то, что задумал: обескровить атакующие массы врагов огневой обороной и сохранить свежие резервы. На второй день союзники перешли в наступление и прорвали турецкие линии. Половина турецкой армии вместе с великим визирем обратилась в бегство. Другая половина была смята, окружена, растерзана градом ядер и картечи, сдалась...

Вена встречала его, как триумфатора. Звонили колокола. Улицы, по которым он проезжал, были украшены арками из цветов. В Хофбурге молодой император Леопольд выбежал ему навстречу и, приподнявшись на цыпочки, обнял и расцеловал.

Опять нараспев читали рифмованные славословия поэты. Гремела музыка на параде, и перед дворцами на площади Ин-ден-Бург, сверкая полированными доспехами, слишком тяжелыми для настоящего боя, пешими и конными рядами проходили под его взглядом столичные гвардейские полки, никогда ни в одной битве и не участвовавшие. Заливались

скрипки на балах, устроенных в его честь. Придворные кавалеры и дамы выказывали ему свое восхищение.

Впрочем, оно вскоре сменилось раздражением. Триумфатор мало того, что тяготился праздничной суетой (это еще можно было бы понять и простить), он не соблюдал приличий. Похвалы и почести он принимал с оскорбительным для общества равнодушием. Он не только не желал, хотя бы для вида, выказать благодарность, но на лице его, выдубленном в походах солнцем и ветрами, темном, казалось, не от одной природной итальянской смуглости, а еще и от въевшейся пороховой копоти, в самый разгар торжеств появлялась мрачная, презрительная ухмылка.

Высший свет Империи был шокирован. Поползли слухи, сплетни. Ему о них докладывали, когда рано или поздно эти слухи добирались и до узкого круга близких ему, а вернее, терпимых им людей. В столичных салонах говорили, что фельдмаршал болезненно горд. Что он вообще ненормален. Доказательства? Извольте: он неестественно безразличен к женщинам. (Но ведь он женат, его старший сын уже генерал!) Говорили, что он патологически жесток. В Семиградии, когда мусульманских пленников переписывали для обмена, он приказал всех обнаруженных европейцев-наемников, служивших у турок, отделить и немедленно расстрелять.

Он выслушивал пересказы сплетен молча, с той же брезгливой миной, с какой слушал сладкоголосые хоры, воспевавшие его победы. И никто, ни связанные с ним службой соратники, наивно считавшие себя его друзьями, ни его жена, которую он никогда не любил, ни его дети, которых он тоже не любил, потому что они не были его продолжением, а были другими людьми, — никто и представить не мог, о чем же он думает на самом деле.

А думал он — о бессмертии. Думал о незабвенном Фердинанде. Если бы тот был жив, он просто сказал бы ему: «Государь, теперь вы можете ослепить меня или, по крайней мере, повелеть мне возвратиться в шведский плен». И они поняли бы друг друга. Но Фердинанда Третьего уже не было на этом свете, а в существование «того света» ревностный католический воин граф Раймонд Монтекукколи давно не верил.

И еще он думал — о Тюренне. Он думал о Тюренне всегда. Когда он гнал разбитую шведскую армию к берегу Ютландии, когда бросал свои колонны на прорыв турецких позиций, он сражался так яростно и так изобретательно, словно ему противостоял Тюренн. И потому что Тюренна там в действительности не было, его могучие удары, вызывавшие восхищение всех, от простолюдина до императора, для него самого падали в пустоту, не давали облегчения ноющему сердцу.

В чем бы ни обвиняли его злые языки, его никто и никогда не обвинял в трусости. Такое не посмели бы сочинить даже сплетники с самой ядовитой фантазией. О, как бы они взвились, если б узнали о том единственном пороке, который он сам признавал за собою и прятал от всех: суровый фельдмаршал Монтекукколи до отчаяния боялся смерти! Завистники и сплетники ликовали бы, потому что не смогли бы понять сущности его страха: не сама смерть ужасала его, а возможность умереть, не победив Тюренна.

Его иногда занимал вопрос: а что, в свою очередь, думает о нем Тюренн? Тот наверняка не догадывался, какую неутихающую бурю вызвала его давняя, шальная победа под Аугсбургом в душе побежденного им австрийца. Но французский герой не мог не видеть, что в этом тесном мире, где, кажется, ему одному-то не распрямиться в полный рост без того, чтобы упереться в небосвод, теперь появился второй великан. И любое движение одного из них неминуемо задевает другого.

Да, восторжествовать над Тюренном — означало остаться единственным великаном в своем времени и обрести настоящее бессмертие. Вот после этого не жаль было бы погибнуть хоть на следующий день!

Подобно Тюренну, хотя и нисколько не подражая ему, он не захотел возглавить в официальной должности ни военное министерство, ни главный штаб. Но, как во французской армии ни одно решение не могло быть принято без Тюренна, так и во всем, что касалось армии имперской, последнее слово было за фельдмаршалом Монтекукколи.

Однажды ему принесли проект указа о принятии новейшего военного изобретения — ударного кремневого замка

вместо замков фитильных и колесцовых. Мушкет с новым замком заряжался всего в двенадцать простых приемов. Хорошо натасканный солдат мог перезарядить свое оружие и произвести выстрел не за две минуты, как раньше, а за минуту. Пехотный полк с такими мушкетами в огневом бою стоил двух прежних полков.

Прочитав бумагу, фельдмаршал задумался. Потом накрыл лист ладонью и спросил:

— А что у французов?

Ему ответили, что спешка и вызвана сообщениями военных агентов из Франции: по настоянию Тюренна вся французская армия тайно перевооружается новыми мушкетами.

Фельдмаршал странно усмехнулся. Обмакнул перо в чернильницу. Помедлил секунду. И находившиеся в его кабинете видели, что прежде, чем поставить подпись, он непонятно — то ли разочарованно, то ли осуждающе — покачал огромной седой головой.

И всё же она пришла, та самая война, о которой он мечтал.

Как долгожданная в летней духоте освежающая гроза, она явилась не сразу, постепенно. Сперва — лишь обозначилась темным облачком далеко на горизонте. Англия и Голландия много лет сражались между собой за господство на морях, а Франция тем временем отдыхала и крепла после войн с Испанией и Фрондой. Но вот настал день, когда Людовик Четырнадцатый, давно уже не мальчик, а единовластный, воспеваемый толпами льстецов «Король-Солнце», решил поискать свою выгоду в чужой драке.

Облачко разрослось в черную тучу, закрывшую европейский небосвод. Тьма сгустилась над маленькой вольнолюбивой Голландией.

Узнав, что Франция заключила военный союз с их противником, Англией, перепуганные голландцы предложили без боя уступить французской короне свои земли по левому берегу Рейна в обмен на мир. Передавали, что Тюренн, — конечно, не из сентиментальных чувств к Голландии, бывшей для него почти второй родиной, а предвидя опасность, —

упрашивал Людовика согласиться. Но король и его министры надеялись войной получить больше.

Они получили то, чего заслуживали. Против зарвавшейся Франции ощетинилась оружием целая коалиция: Австрия, Испания, Дания, мелкие германские государства. И летом 1673 года гроза новой всеобщей войны — грянула!..

Те, что видели фельдмаршала Монтекукколи в этом походе, не могли надивиться: угрюмый шестидесятипятилетний старик преобразился как по волшебству. Он словно сбросил лет тридцать. Ему не сиделось в походной карете. Он требовал коня, и точно юный лейтенант скакал рядом с колонной. А куда делись его мрачность, презрительность, едкая ирония? Он был весел и разговорчив, он шутил!

Он замечал изумление окружающих, пытался сдерживать себя, и ничего не мог с собой поделать. Возбуждение пересиливало. Казалось, вся неизрасходованная страстность, скопившаяся за долгую жизнь у него, обделенного любовью и не признававшего любви, вдруг прорвалась в его кровь.

Тюренн, успевший уже вторгнуться в Германию и взять Бонн, спокойно поджидал на выгодных позициях имперскую армию, которая, — ему это было известно, — быстрыми маршами двигалась в прирейнские немецкие земли. Тюренн думал, что идет обычная война, ему и мысли не приходило, какой порыв сейчас окрыляет его давнего соперника. Тюренн готовился к обычному сражению, и когда началось не просто необычное, а необыкновенное, — не сразу понял, что происходит.

Именно потому, что Тюренну хотелось решить дело сразу, одной битвой, австрийский полководец не кинулся с марша в бой, а угрожающим обходом заставил французскую армию сойти с укрепленных высот, втянул в маневрирование — и закружил...

Мир не видел еще действий, подобных тем, что совершали в кампании 1673 года австрийские войска, подгоняемые своим неистовым фельдмаршалом. Это не походило на обычные броски, маневры, удары, уклонения, из тех, что вынашиваются в генеральских умах, обсуждаются и просчитываются штабами, вычерчиваются в разных вариантах

стрелками на картах. Это было гениальной импровизацией и вдохновенной игрой.

Так испанский матадор на песке арены играет с быком. То отвлекает его внимание, то дразнит и разъяряет, наносит мелкие раны. Заставляет метаться, терять силы, всё больше и больше подчиняет своей воле. И наконец, испытывая уже почти нежность к обреченному, но всё еще опасному зверю, совершает последний молниеносный выпад смертельным клинком.

Этот последний выпад — наступательный удар, который должен был завершиться разгромом французов, не достиг цели. Тюренна спасло чудо, а вернее, решимость отчаяния. Тюренн понял, что его армию, уже загнанную в ловушку, отрезанную, лишенную провианта и фуража, в случае битвы ждет не просто поражение, а гибель. И судорожным рывком, бросив остатки обоза и тяжелые орудия, французская армия вырвалась из капкана. Голодающая, оборванная, под полившими осенними дождями, оставляя в разоренных ею самой немецких деревнях больных и умирающих, побежала к спасительным переправам через Рейн. Оторвалась, ушла...

Фельдмаршал Монтекукколи возвращался в Вену усталый, но успокоенный, почти довольный. Конечно, жаль было, что французский проказник сумел ускользнуть, но, если подумать, сделано не так уж мало. Тюренн почувствовал его превосходство, а французская сила — подорвана. В следующем году французы уже не сунутся в Германию, будут ждать имперского удара. Он, Монтекукколи, этот удар нанесет, и нанесет, конечно, в Эльзасе. В том самом Эльзасе, что достался Франции по Вестфальскому миру. Всё же, судьба благосклонна к нему. Следующим летом он разобьет Тюренна и возвратит Империи исконно германский Эльзас. А потом — хоть на покой, хоть в могилу.

Но оказалось, он переоценил милость судьбы, и самое тяжкое испытание в жизни ему еще предстояло вынести.

Зимой, на отдыхе, в своем замке вдали от Вены, он получил с обычным курьером императорский указ... Нет, не об отставке. Его просто переводили из действующей армии

в резерв, «до особого распоряжения». Главнокомандующим в кампании предстоящего года назначался другой.

Это был удар пострашнее удара той шведской пули, что когда-то в молодости выбила его из седла. Потрясенный, он неподвижно сидел в глубоком кресле. Что там наболтали молодому императору придворные искусники? Сумели убедить, наверное, что фельдмаршал Монтекукколи стар и нерешителен. (Слыханное ли дело: провести целую кампанию в одном маневрировании, без сражения!) Что он бездарно позволил французской армии уйти. Что он вообще уже ни на что не годен и должен дать дорогу более молодым, энергичным. (А Тюренна, говорят, в Париже восхваляют. За то, что спас остатки армии. Тюренну всё на пользу.)

Так или иначе, это было крушение. У фельдмаршала разболелась голова. Гулко, пугающе заколотилось сердце. Он сразу ощутил свой возраст. Почти шестьдесят шесть, мафусаилов век, тем более — для солдата. Вот всё и кончилось. Что ему остается? Только смириться. Смириться и доживать.

И еще — писать книги. Он уже написал несколько. Воспоминания о своих походах, рассуждения о военном искусстве. Может быть, успеет написать еще одну-две. Книги, только книги его и переживут. Ненадолго. На несколько десятилетий, самое большее — веков. Он ведь так и не стал ни Ганнибалом, ни Велизарием, его победы не могут сравниться с Каннами или взятием Рима, близкие потомки еще будут помнить о них, а дальние — забудут наверняка. И мысли его о тактике, стратегии, штурме крепостей тоже устареют. Потому что будущие алхимики изобретут какой-нибудь сверхмощный порох или научатся плавить сверхпрочную сталь.

Пожалуй, только одна его мрачноватая шутка, разлетевшаяся по всей Европе, шутка о том, что «для войны нужны три вещи: во-первых — деньги, во-вторых — деньги и в-третьих — деньги», — будет жить, действительно, вечно. Ее станут повторять и тогда, когда имя автора скроется во тьме прошедших времен. Ибо переменится всё — границы, династии, религии, языки, — и только эти две вещи, ДЕНЬГИ И ВОЙНА, не исчезнут до самого скончания света.

А голова болела нестерпимо. Виски и лоб так ломило, что темнело в глазах. Значит, надо было звать домашнего врача,

который пустит ему кровь, а потом трижды в день будет подносить в серебряной рюмочке отмеренную по каплям травяную настойку. Это уже и не старость. Это — умирание.

И вдруг ему пришла мысль, что если предстоящая кампания закончится безрезультатно, если имперская армия — без него — хотя бы не даст себя разбить, его не вернут на службу уже никогда. Но если Тюренн одержит победу в своей лучшей манере... Тогда к нему, полуотставному фельдмаршалу, еще прибегут с поклоном. Его призовут на помощь, осыплют почестями... Так значит, все его надежды спасти остаток жизни, вернуть ей смысл и цель, зависят от успехов Тюренна?!

Старый денщик, встревоженный долгой тишиной в кабинете, осторожно заглянул туда. И ему стало не по себе. Он увидел, что его господин сидит, откинувшись в кресле, смотрит в стену неподвижным взглядом и улыбается.

И всё случилось по его предвидению. Вот она — ранняя весна 1675 года, любезнейшее приглашение к императору. Катилась нелепо-громадная карета, забрызгивая дорожной грязью скакавших рядом гвардейцев в парадной форме. Тянулись за окошком нескончаемые венские предместья: белые домики под красно-черепичными крышами в окружении по-весеннему голых и черных садов.

Он вспомнил, как любил подъезжать к Вене, возвращаясь из походов. Как любил ее вид, открывавшийся с холмов Венского леса, особенно с Каленберга: мощное кольцо крепостных стен с остроугольными выступами бастионов; в центре — тонкий и острый, как рапира, нацеленная в облака, шпиль Южной башни собора Святого Стефана; вокруг него, точно ласточкино гнездо, сплетение тесных улочек Старого города. Ансамбль Хофбурга. Церковь Санкт-Мария-ам-Гештаде.

Ему нравилось зрелище венской толпы, где смешались, кажется, все нации Европы в своих одеяниях — немцы, поляки, венгры, чехи, испанцы, итальянцы, кроаты, греки, даже бородатые русские купцы. Его возбуждали вавилонский разноязыкий говор, спешка и суета столицы мира.

Но сейчас, в дворцовой карете, накануне высшего взлета в своей жизни, он вдруг подумал со странным сожалением, как безлюдно, тихо и спокойно в его замке в сотне верст от Вены. Как тихо и спокойно было еще час назад в его домике в предместье, всего в десятке верст от городской стены. И что-то — на миг — словно воспротивилось в душе торопливому движению, качке, скрипу колес, шлепкам копыт по грязи. Захотелось вернуться к своим книгам и рукописям. Но тут за окнами кареты потемнело — она вкатилась под свод городских ворот...

Леопольд, низенький, полноватый, живой, встретил его на пороге кабинета (высшая честь), взмахом руки остановил попытку приветствия («Вольно, вольно!») и, приговаривая «Ах, как я рад вас видеть!», повел к своему рабочему столу.

Шагая за ним, великан-фельдмаршал поглядывал сверху то на бледную лысину императора, окруженную венчиком рыжеватых волос (в свои тридцать пять Леопольд уже обрюзг и оплешивел), то на обстановку кабинета. Дубовые полки, шедшие вдоль стен в несколько ярусов, были заняты не только множеством книг. Там стояли микроскопы, чучела диковинных пестрых птиц, должно быть, американских или африканских, искрящиеся на изломах куски минералов, стеклянные банки, залитые спиртом, где плавали не то ящерицы, не то хвостатые уродцы. В центре кабинета стоял огромный медный, гравированный глобус, а возле окна — телескоп на высокой подставке. Веяние времени. Прежний император сочинял музыкальные пьесы, а нынешний — покровительствовал изучению природы, собирался создать академию наук наподобие английского королевского общества. Причуды властителей тоже следуют за модой.

Леопольд сел и указал ему на кресло перед столом. На столе была развернута карта. Взгляд фельдмаршала скользнул по ней: «Эльзас. Ну, конечно...»

Леопольд начал просто:

— Я виноват перед вами!

Фельдмаршал попытался возразить, но Леопольд поморщился, перебил:

— Не надо протестов, бросьте к черту этикет! Ну, виноват. Послушался дураков-советников, хоть это, конечно, не

оправдание. На моей должности следует думать собственной головой. Я виноват и перед Империей за то, что кампания семьдесят четвертого года прошла без вашего руководства... То, что болваны, которые грызлись за ваше место, эти умственные евнухи в генеральских мундирах, сунувшись в Эльзас, не смогли там удержаться, еще полбеды. Но то, что они дали Тюренну разгромить себя под Тюркгеймом, — с сорока тысячами против двадцати семи французских, — настоящий кошмар. Наши бежали до самого Страсбурга. А сколько побросали орудий, пороха, провианта!.. — Леопольд скривился, точно от зубной боли, и вслед за этим внезапно улыбнулся: — Мне остается только утешать себя надеждой, что вы сумели хорошо отдохнуть.

Всё же он был сыном своего отца.

Император продолжил:

— А теперь — о нынешней ситуации. После того, как на море англичан разбили голландцы, Англия подписала с ними сепаратный мир. Франция осталась без союзника. Но и наша коалиция после Тюркгейма развалилась. Ни датчане, ни мои испанские родственники, никто больше не хочет драться. Даже бранденбуржцы ушли домой. — Леопольд нахмурился, покачал плешивой головою: — Мы остались один на один. Империя против Франции. Леопольд против Людовика. А вы, мой дорогой, — потому что именно вас я собираюсь вернуть на пост главнокомандующего, — против вашего старого приятеля, Тюренна.

«Один на один!» — кровь ударила в голову старика-фельдмаршала так, что обстановка кабинета сорвалась с места и закружилась. Лицо императора на мгновение расплылось в тумане. Старик вспомнил, что сегодня утром не принял порцию капель, приготовленных доктором, и пожалел об этом. Но сердце уже забилось ровно и мощно, рассылая жизненные силы в каждую клеточку его огромного тела. Он задышал полной грудью. Всё вокруг прояснилось, посвежело, точно его вознесло в холодную горную высоту.

— А теперь — главное, — сказал император: — Конечно, мне хотелось бы, чтоб вы возвратили Империи Эльзас. Но дело не в Эльзасе. Мне нужно, чтоб вы, по меньшей мере,

нанесли французам такой удар, который надолго отучил бы «Короля-Солнце» бросать свои лучи за пределы собственных границ. Если вы чувствуете себя неуверенно, откажитесь. Я не буду к вам в претензии и немедленно подпишу мир с Людовиком. Но тогда может случиться, что через пять или десять лет нам придется опять скрестить с ним оружие и, возможно, при еще худших для Империи обстоятельствах.

Старик улыбнулся:

— Ваше величество хотели бы разрешить французскую проблему именно сейчас, потому что через пять, а тем более через десять лет, на свете, скорей всего, уже не будет вашего старого, преданного слуги?

Он ожидал, что император станет горячо возражать, восхищаться его здоровым видом. Но Леопольд только посмотрел на него и сказал просто:

— Да, конечно. И поэтому тоже.

Поистине новые времена.

— Итак, — прервал молчание Леопольд, — в ваших руках выбор: заключать нам мир или продолжать войну. Всё зависит от того, чувствуете ли вы в себе силы разбить Тюренна. Именно его. Конечно, у французов есть еще Конде. Ему простили старые прегрешения, он поклялся в верности королю, теперь он тоже маршал Франции, ведет себя шумно и претендует на первые роли. Но против вас, мой дорогой, они, разумеется, выставят самого Тюренна.

«Самого!» Это словцо кольнуло точно кинжалом. Старик даже слегка вздрогнул. И, сдерживая заколотившуюся в груди ярость, боясь, как бы волнение крови вновь не помутило голову, он медленно выговорил, с усилием выдерживая спокойный тон:

— Не заключайте мир, ваше величество. Доверьте мне армию. Я РАЗОБЬЮ ТЮРЕННА.

— Ну и чудесно! — воскликнул Леопольд. — Иного ответа я не ждал! И как бы ни осторожничали иные мои советники после Тюркгейма, я готов поверить вам и рискнуть еще одной кампанией... А теперь, вот что. Поручая вам такое грандиозное дело, я чувствую себя обязанным еще раз отметить ваши прошлые успехи и, кстати, загладить свою недав-

нюю вину. Но как? — Леопольд развел руками. — Все обычные награды вы уже имеете. Повысить вас в звании, объявить генералиссимусом, как в шестьдесят четвертом, я не могу, раз мы сейчас воюем без союзников и у вас будут только австрийские войска. Я решил эту проблему по-своему. Я счел, что графское достоинство не отражает ваших великих заслуг перед Империей. И уже подписал указ о присвоении вам титула, какого не удостаивался еще ни один из подданных нашей короны. Отныне вы — ИМПЕРСКИЙ КНЯЗЬ!

«Ле принс д`ампир, — мысленно перевел старик. — Кажется, так это будет по-французски?»

Он поднялся с кресла во весь свой огромный рост и поклонился:

— Ваше величество незаслуженно добры к своему слуге!

Леопольд засмеялся, махнул рукой:

— Садитесь, садитесь! Мне и так приходится задирать голову для беседы с вами. И повторяю: отбросьте этикет! Мы оба — умные люди, для нас с вами титулы могут не иметь никакого веса. Но вы же знаете, как европейское общество ловит их звучание. Думаю, что и Тюренну, хоть он не кичится своим герцогством, будет не безразлично, кто ему противостоит: граф или имперский князь. — Леопольд хлопнул ладонью по развернутой на столе карте Эльзаса: — С богом, мой дорогой! Всыпьте лягушатникам как следует!

В этом походе он держался спокойно. Редко вылезал из кареты. Если садился на коня, то ненадолго — проветриться, разогнать застоявшуюся кровь, как ему предписывал врач. Он и флакончик с каплями всегда хранил при себе. Что поделать, шестьдесят семь лет. Да и Тюренну уже шестьдесят четыре. Правда, Тюренн невелик ростом, худенький, подвижный. У таких сердце лучше справляется.

Но дело — не в годах и не в болезнях. Начиная весной 1675 года свою главную кампанию, Раймонд Монтекукколи, имперский князь и фельдмаршал, впервые по-новому ощутил собственный возраст. Ощутил не тяжестью лет, грузом ошибок и горькой мудрости, а чем-то подобным освобождению, приближению к вершине.

Так, в сущности, и было. Он, хоть и принимал лекарство по часам, всё же не слишком беспокоился о своем здоровье. Он знал, что здоровья, — пусть даже с каплями, кровопусканьями, холодными ваннами, — ему хватит еще на несколько лет. И этот запас времени находился уже за пределом, был чем-то вроде личной, маленькой вечности. Ибо то, что придаст истинное значение его жизни и перейдет в настоящую вечность, должно было свершиться в ближайшие месяцы.

В начале мая он вывел армию к богатому, нейтральному Страсбургу, жившему торговлей. Здесь после паводка уже навели мосты через Рейн. Можно было взять город с ходу и овладеть переправами, но тогда он не смог бы удержать солдат от грабежей, от насилия над женщинами, а ему не хотелось разорять и унижать людей, которым суждено вот-вот оказаться в лоне Империи. Он остановился в предместьях. Он ПРОСИЛ городской магистрат пропустить его войска.

Было это ошибкой или его направляла рука судьбы?

Еще прежде, чем он успел получить ответ магистра, уже на следующее утро, с какой-то невероятной, поистине дьявольской быстротой на противоположном берегу Рейна появились походные колонны французов. И Тюренн (конечно, их привел Тюренн!) послал в магистрат свой ультиматум, угрожая бомбардировать город, если тот пропустит имперскую армию. Кампания началась.

Седой старик магистр, обливаясь слезами, падал на колени перед седым стариком фельдмаршалом. Но дело было не в магистре и его слезах, а в нелепейшей ситуации: как вступить в сражение, когда тебя разделяют с противником широкая река и каменный город! Тюренн опять издевался над ним, словно хотел превратить их великую драму в подобие кукольной комедии, где персонажи дразнят друг друга и обмениваются пощечинами.

Но нет, проклятому французу не удастся навязать ему роль Пульчинеллы! Фельдмаршал двинул свою армию прочь от Страсбурга, вниз по Рейну. Навел мосты и переправился на левый берег, угрожая эльзасским крепостям. Угрожая для вида. Он не собирался втягиваться в осады и штурмы, он

хотел подманить Тюренна. А тот всё не появлялся. Прошло несколько дней.

И вдруг — на загнанных конях в лагерь ворвались гонцы, посланные из тыла. Они сообщили неожиданное: Тюренн, узнав, что имперская армия ниже по течению переправилась на левый берег Рейна, увел свои полки от Страсбурга ВВЕРХ по течению и там перешел на ПРАВЫЙ берег. Теперь он оказался на коммуникациях австрийцев. И — хуже того, замечено движение французской конницы к Оффенбургу, а это уже катастрофа: в Оффенбурге находятся главные склады, там почти всё продовольствие, запасенное для нынешней кампании, и только два батальона охраны!

Офицеры и генералы в штабной палатке с тревогой, почти с испугом следили за своим главнокомандующим. Страшные известия, казалось, привели его в прекрасное расположение духа. Его глаза оживленно заблестели, на губах появилась усмешка.

Он в самом деле испытывал прилив возбуждения. Тюренн великолепно парировал его удар, просто великолепно! Припомнил ему то, что он сам проделывал с французской армией в позапрошлом году. Вот теперь, наконец-то, игра пошла по-настоящему!

Ему смешно было глядеть на встревоженные лица вокруг. От него ждали спасительных решений: что теперь делать? И он ответил, не скрывая презрения:

— Что делать? Прежде всего — не терять голову! На войне как на войне! Идти в Эльзас, имея на своих коммуникациях Тюренна, конечно, нельзя. И, разумеется, надо спасать оффенбургские магазины. В армии четыре уланских полка. Вот, пусть садятся на коней, переправляются назад, на правый берег, благо мосты целы, скачут во весь дух к Оффенбургу и выбьют противника. Тюренн послал туда пару кавалерийских полков, не больше. При появлении улан французы, вероятно, постараются поджечь склады. Что-то сгорит. Но если уланы будут расторопны и быстро потушат огонь, пропадет не так много. А за уланами на правый берег вернутся и главные силы. Теперь уже ясно, что искать сражения придется там.

И вновь — недоумение и страх на лицах окружающих:

— Почему он так уверен в том, что говорит? А если к Оффенбургу стянулась вся французская армия? Что сделают тогда четыре тысячи улан со своими саблями и пистолетами на усталых после марша конях? Они погибнут, погибнет всё продовольствие, а это равносильно поражению!

Он усмехнулся. Повторил:

— Под Оффенбургом у французов ТОЛЬКО летучий отряд. Уланы справятся. — И закончил презрительным: — Выполнять!

Он не желал пускаться в объяснения, эти люди всё равно ничего бы не поняли. Понять мог лишь кто-то равный Тюренну и ему самому. Там, где вся армия, там возможность генерального сражения. Под Оффенбургом это было исключено. Схватка двух первых полководцев Европы на мешках с мукой и бочках с солониной? Такое себе и не представить. Конечно, у Тюренна дурной французский вкус, но не настолько же дурной!

Уланы спасли большую часть продовольствия. А сам он, вернувшись с главными силами на правый берег, прошел между Оффенбургом и французской армией и опять, уже севернее, выдвинулся к Рейну, угрожая сразу и переправой в Эльзас, и броском к Страсбургу. Тюренн немедленно ответил новым охватывающим движением во фланг и тыл.

Так началось их знаменитое, вошедшее во все учебники военной истории маневрирование, когда на пространстве в сорок-пятьдесят верст две тридцатитысячные армии в течение трех месяцев словно танцевали друг с другом некий фантастический танец. Десятки и сотни лет спустя исследователи будут снова и снова разбирать все замысловатые фигуры этого танца, пируэты, броски, обманные движения, обходы. Будут восхищаться им, будут называть чудом военного искусства.

А тогда, жарким летом 1675 года, не было никакого чуда и никакого искусства. Были два хитрых, осторожных старика. И каждый старался обмануть другого. И каждый знал другого уже почти как самого себя.

И были остервенелые солдаты, которые не понимали, зачем их каждый день поднимают ни свет ни заря и гонят сквозь солнечное пекло по болотистым, зловонным прирейнским низинам. Гонят то туда, то сюда, одними и теми же местами. Гонят мимо одних и тех же сожженных деревень, одних и тех же поломанных и брошенных фургонов, своих и вражеских, одних и тех же черных лошадиных трупов, гниющих по обочинам дорог и только всё больше и больше раздувающихся от жары...

Кто из них первым понял, что маневрирование стало бессмысленным? Наверное, оба одновременно. Когда фельдмаршал Монтекукколи, сидя над развернутой картой, подумал о том, что маневрирование надо прекратить, он испытывал ощущение: в эту минуту и к Тюренну приходят те же мысли.

Они оказались равны друг другу. Безнадежно равны. Как два фехтовальщика, столь сходно совершенных в своем мастерстве, что ни один из них не может нанести укол другому, ибо каждый выпад парируется. Как два шахматиста-виртуоза, что никак не могут доиграть становящуюся бесконечной партию.

А лето уже проходило. И войска, измученные беспрерывными маршами в зной, по гиблой местности, таяли от болотной лихорадки и кровавого поноса. Еще несколько недель, и обе армии обессилеют до такой степени, что им останется лишь разойтись.

Ну что ж, и он, и Тюренн хотели, маневрируя, получить преимущество перед началом сражения. Раз это не удалось обоим, значит, надо попытаться вступить в битву с равных позиций. Но ведь тогда всё может решить случайность — исход сражения, судьбу кампании, его собственную судьбу. Случайность!..

Той ночью он, одинокий, по собственному порыву совершил то, что давно уже совершал только по обязанности и в присутствии других: он МОЛИЛСЯ. Огромный седоголовый старик стоял на коленях перед распятием, водруженном на походном столике, и не затверженные с детства чеканные фразы латинских молитв срывались с его губ, а почти бес-

связные просьбы на его родных языках. Жарким шепотом, по-итальянски и по-немецки, он умолял Господа и Пресвятую Деву, чтобы они — единственный раз и последний — даровали ему, ничтожному, грешному, свое чудо. Ту самую случайность успеха, ту самую случайность победы в РАВНОМ БОЮ.

Ныли колени, ныла спина. От поклонов к голове с болью приливала тяжелая кровь. Колыхались огоньки свечей на столике, и в шатре метались тень от распятия и его собственная тень. А он всё молил, молил о победе. Не для Священной Римской империи. И кажется, уже не для Истории. Для себя одного. Потому что только победа, — пусть не заслуженная, пусть дарованная чудом, — только победа могла принести мир и покой его душе.

Наутро он приказал отходить к Оттерсвейеру, где распростерлось большое, ровное поле, окаймленное редколесьем.

Имперская армия едва успела занять там позиции, как разъезд конной разведки прискакал с донесением: в направлении Оттерсвейера двинулись и французы.

И еще через день на противоположной стороне поля, за кустарниками, потекли потоки синих, красноватых, серых — по цвету полковых мундиров — человеческих масс. Посверкивали, перемещаясь, медные блёстки орудий. Поднялись дымки костров. На травяной зелени зачернели полоски вывернутой лопатами земли, обозначая линии траншей. Там готовилась к битве французская армия.

Старый фельдмаршал не мог удержаться: то и дело, как любопытный мальчишка, прищурив один глаз, вскидывал подзорную трубу. Окружающие почтительно стихали. Откуда им было знать, что в эти минуты он вовсе не строил планов завтрашнего боя. Он просто разглядывал муравьиное копошение на той стороне, и мысль, что среди этих сливающихся друг с другом фигурок, пеших и конных, он сейчас, впервые в жизни, быть может, видит самого Тюренна, вызывала в нем охотничий азарт и молодящее возбуждение.

Вечером на военном совете он не дал никому сказать ни слова. Говорил сам, коротко и грозно:

— Завтра — сражение, которое решит судьбу кампании и всей войны. Французы рыли траншеи, но мало и небрежно. Тюренн не думает обороняться, он постарается атаковать. Очень хорошо! Главное — выдержать первый удар, а там дело пойдет. Пусть всем солдатам объявят: если кто-то из них дрогнет под огнем или в рукопашной схватке и побежит, его застрелит на месте ближайший офицер. А в тылу наших позиций, на холме, поставлены две шестифунтовые батареи. И если какой-нибудь отряд вздумает побежать целиком, по нему откроют огонь картечью...

А потом он долго стоял у своего шатра. Веяло прохладой. Солнце садилось. Огненный закат и темная синева небосвода обещали назавтра погожий день для битвы.

Тянуло горьковатым дымом костров. Слышалось пение солдат. Еще вчера проклинавшие изнурительные переходы, солдаты теперь, конечно, сожалели о них. На переходах они не видели противника и по ним никто не стрелял. Солдаты волновались: утром им предстояло идти в огонь и умирать. Они подбадривали себя песнями. Наверняка, пили. Перед боем, несмотря на любые запреты, они всегда исхитрялись достать вино. Кажется, они достали бы его и посреди пустыни. Как они все дрожали за свои никчемные жизни!

А ведь он тоже испытывал страх. Но страх совсем иного рода. Это была высокая боязнь Творца, который взялся переустроить мироздание и в нерешительности медлит самые последние мгновения, прежде чем сказать: «Да будет свет!» Ибо не уверен, возникнет ли по его слову и его усилию именно та Вселенная, которой он желает? А если возникнет, обрадует ли она его так наяву, как радовала в мечтах?

Только бы удалось заснуть и проспать хоть несколько часов, чтоб завтра управлять боем с ясной головой...

На австрийских позициях вдруг вспыхнуло белое облачко, и над полем раскатился мощный, глухой удар тяжелого орудия, рассеченный звенящим визгом удаляющегося ядра. Шальной, одиночный выстрел с пьяных глаз. Какой-то подвыпивший канонир, заметив в сумерках смутное движение во вражеском лагере, кое-как подправил наводку и ткнул в запальное гнездо дымящимся фитилем.

И вновь над огромным полем опустилась тишина. Стихли даже солдатские песни. Закат, угасая, померк. Темнело. Только бы удалось заснуть...

Его растолкали посреди ночи. Так резко, как никогда еще не смели будить. Он мгновенно вырвался из своего неглубокого забытья. Сел на походной койке, осматриваясь. В пляшущем свете факелов, которые держали двое унтер-офицеров, он увидел перед собой адъютанта, начальника штаба и начальника артиллерии. Полог шатра был поднят. Там горели звезды в ночном небе. Их заслоняли чьи-то тени, доносились возбужденные голоса. Что случилось?! Неужто французы решились на ночную атаку?! Стрельбы не было слышно.

Заговорил начальник штаба. То, что он произносил, звучало невероятно. Если бесцеремонные прикосновения взорвали только сон старика, то падавшие слова взрывали уже реальность:

> *— С французской стороны перебежали два солдата и сержант. Все трое — эльзасцы. Они утверждают, что Тюренн убит... Вы меня слышите, Ваша светлость? ТЮРЕНН УБИТ!! Тем самым, единственным пушечным выстрелом. Он объезжал со своими генералами передовые линии, и ядро попало ему прямо в грудь. Ха-ха! Можно себе представить это зрелище: двадцатифунтовым ядром — прямо в грудь! Его разнесло в клочья, в кровавые брызги. Даже моргнуть не успел, голова так и осталась с открытыми глазами. Ха-ха!..*
>
> *Перебежчики просят, чтоб их не считали пленными, а приняли на службу. Они из Эльзаса, крестьяне, завербовались, чтобы помочь семьям. А после смерти Тюренна — это всем понятно — Франция будет разбита, и Эльзас перейдет к Империи... Какие последуют приказы? Оборона, конечно, отменяется? Приготовиться с рассветом атаковать, пока французы, чего доброго, не побежали без боя?*

...В темной пустоте, откуда старик стал возвращаться к действительности, искоркой загорелась первая мысль: «КАК ЕМУ ПОВЕЗЛО...»

Ему всегда везло, проклятому французскому счастливчику, но такое везение — это уж слишком. Да он же всех обманул, обманул! Играл всю жизнь, и теперь как будто разыграл перед современниками и перед Историей свою героическую гибель. А сам вовсе не умер. Да разве это настоящая смерть — исчезнуть мгновенно, ничего не ожидая, не успев ощутить ни страха, ни боли!..

Непонятные голоса звучали рядом. Всё громче, всё требовательней. Старик поднял голову. Какие-то люди стояли перед ним. В пляске теней от пламени факелов казалось, что они кривляются и подмигивают ему.

Он почувствовал холод, и это окончательно вернуло его в реальность. Он словно со стороны увидел себя, сидящего в ночном белье. Вспомнил, кто эти люди, и чего от него хотят. Выговорил, — кажется, не очень твердо, но его поняли, — что должен остаться один и всё обдумать. Взмахнул рукой — прочь! — и жест удался ему лучше, чем слова.

Денщик зажег свечи на столике, помог ему одеться. Потом он прогнал и денщика...

Так что они сказали? Что Тюренн — умер? Но это невозможно! Умирать могут солдаты (за полвека он видел десятки тысяч их трупов). Умирать могут даже императоры (он пережил двоих). Но чтобы умер Тюренн... Нет, это так же невозможно, как умереть ему самому.

Сквозь полотняные стенки шатра доносился такой топот со звяканьем оружия, словно там не ходили, а неистово перебегали с места на место. Конечно, весь лагерь уже проснулся. Все обсуждают громовое известие и с нетерпением ждут утра. Ждут его приказов. Скоро рассвет. Он должен что-то решить...

И тут он понял, что Тюренн действительно умер. Одно нетвердое движение руки пьяного солдата-канонира, взрыв нескольких фунтов пороха, удар слепого чугунного шара — и величайший за последнюю тысячу лет полководец, баловень фортуны, потрясатель мировых судеб в неуловимое

мгновенье сделался привлекательной только для мух кашей из кровавого мяса и обломков костей. А вскоре обратится в такую же мерзкую черную гниль, что и трупы коней, павших на походе и сброшенных солдатами с дороги на обочину.

Тюренн действительно умер. А всего через несколько лет — действительно — умрет и он сам, фельдмаршал Монтекукколи, имперский князь, спаситель Европы от мусульманского нашествия. Пусть не от ядра, не от пули, от сердечного или мозгового удара — неважно. Какое имеет значение, поврежденным или нет обратится его тело в гниющее месиво.

Так в чем тогда разница между ним и убитым французом? Она только в этих, не прожитых Тюренном и выпавших ему самому считанных годах. Несколько ближайших лет он, оставшийся единственным великаном в крохотном мироздании, будет всемогущим.

Император даст ему всё, что он потребует. Когда-то в молодости незабвенный Фердинанд Третий боялся его, ровесника. Но кто из правителей боится стариков? (Не опыт, не мудрость, а именно это и есть главное преимущество старости!) Молодой Леопольд предоставит в его распоряжение все войска и финансы Империи и будет спокойно забавляться своими телескопами, микроскопами, магнитами, пока он разрушает прежний мировой порядок и создает новый, под скипетром австрийских Габсбургов.

Тюренна больше нет. Он, Монтекукколи, свободен и всесилен. И завтра, — нет, уже сегодня утром, — он сметет противостоящую ему французскую армию. Затем переправится через Рейн и вторгнется в Эльзас. Там его, конечно, попытается остановить Конде. Он разобьет Конде и разместится в Эльзасе на зимние квартиры. А следующей весной добьет уже всё, что только сумеет «Король-Солнце» против него выставить.

На этом окончится западный поход. После разгрома, который он учинит, Людовик Четырнадцатый, зажатый между австрийскими и испанскими Габсбургами, утихомирится надолго.

А там окажется нетрудным заставить всю пеструю компанию немецких правителей, католиков и протестантов, склониться перед властью императора. Это будет не просто реваншем за поражение в Великой Войне. Растоптав Вестфальский договор и объединив Германию, возрожденная Священная Римская империя поднимется над миром в таком могуществе, какого не знала когда-то и Римская Империя цезарей.

И тогда... тогда ей станет тесно в Европе. Ну что ж, в союзе с морскими Нидерландами Империя сможет двинуться через океаны. Отнять хотя бы американские владения у той же Франции. И пусть это осуществится уже после того, как он сам превратится в черную гниль: его, переломившего ход мировой Истории, открывшего своей державе путь к власти над всей планетой, не забудут никогда! Вот оно — бессмертие. И осталось до него лишь несколько предрассветных часов...

Так откуда, откуда пронзительная тоска и предчувствие, что ничего этого на самом деле НЕ БУДЕТ?

Имперский князь, фельдмаршал Монтекукколи знал, что он должен сейчас сделать: встать, крикнуть, созвать помощников. Отдать необходимые приказы: армия вместо обороны атакует, нужна перегруппировка. Он всё знал, и оставался в неподвижности. Сидел, наблюдая, как на свечах пляшут и вытягиваются острые огоньки. В сознании проносились передвижения конницы, пехоты, перемещение батарей. Даже не мысли, обрывки мыслей. Он никак не мог их удержать.

Ему становилось страшно. Вначале он испугался своего бессилия, а затем испытал еще больший страх, когда осознал, что готов с этим бессилием смириться. Он должен был собраться с духом и преодолеть недостойную его слабость. Скоро начнется сражение...

С кем? Ведь Тюренна больше нет! Бесполезно было отгонять убийственную правду, заслоняться от нее победными видениями, когда она, эта правда, уже проникла в кровь, сердце, мозг струйками леденящего яда.

Конечно, теперь он мог выиграть кампанию. Мог выиграть войну, разбить и унизить Францию, возвысить Импе-

рию, даже объединить германские земли. Мог! Если бы не сознание, что для него самого любая победа покажется ничего не стоящей. Потому что не будет победой над Тюренном. Потому что Тюренн даже не узнает о ней. Тюренн убит, и в опустевшем мире он сам остался не единственным, но — ОДИНОКИМ.

Он вспомнил, как всего несколько ночей назад молился о ниспослании чуда. Вот оно и произошло... Ветер свистел над шатром, тугими хлопками трепал полотняные стенки, а ему в этих звуках слышался чей-то смех с высоты. Да разве о таком чуде он просил? Если там, в небесах, кто-то и есть, то как злобно он подшучивает над людьми!

А может быть, небо покарало его за то, что он, смертный, сам возомнил себя равным божеству? Да, он ошибся. Он переоценил себя. И не в том сказалась его гордыня, что он преувеличил свое могущество, здесь он как раз был точен. Он знал цену всем военачальникам Европы, и святой правдой было то, что ни один из них, за исключением Тюренна, не мог и близко сравниться с ним в мастерстве войны.

Нет, он ошибся в том, что ему показалось, будто он может сам, для себя, воевать, побеждать, разрушать и строить. Но такое одиночество свойственно лишь Богу. Человек не в силах обойтись без другого человека. Хотя бы одного, будь то друг или враг.

И чего тогда стоят Франция, Священная Римская империя, власть, слава и мировая История? Всё это — не больше, чем игра. Тюренн всю жизнь играл в войну, а сам он играл в погоню за бессмертием. Но если всё — игра, то и бессмертия нет. Нет вообще ничего, кроме Человека и его Жизни.

И понимание, открывшееся ему, было его приговором. Его прежние неудачи вместе со всей своей горечью несли в себе и торжественность трагедии. Они возвышали дух. А теперь он не смог бы утешиться даже величием своего одиночества. Не титаном, под ногами которого копошится мирок, сходный с муравейником, осознал он себя, а таким же муравьиным существом. Крохотным и обреченным посреди равнодушной Вселенной.

К нему не просто вошли. К нему ворвались в шатер. Небо на востоке, за дальними лесами, уже светилось огнем. Войска, готовые к бою и к победе, ждали только его приказа. Так что же он до сих пор молчит?!..

И генералы, и его адъютант, и пожилой денщик, лучше других знавший своего хозяина, замерли у входа. Возле столика, где догорали свечи, сидел глубокий старик, неестественно бледный и неподвижный. Словно пробудившись, он встретил их взглядом, полным боли и последней усталости.

Потом говорили, что ночью с главнокомандующим случился удар. Эту выдумку охотно повторяли и почти верили в нее даже те, кто прекрасно знал, что никакого удара не было. Она хоть как-то объясняла нелепое завершение кампании, начиная с того утра, когда солнце, поднявшись над лесами, осветило огромное поле и две неподвижные армии: французскую, потерявшую своего вождя, оцепеневшую в ужасе неминуемого разгрома, словно казнимый на плахе под занесенным топором, и австрийскую, пораженную странной нерешительностью. Так безраздельно владела ей воля главнокомандующего, что его необъяснимая перемена, схожая с внезапной болезнью или тяжким ранением, его подавленность, его бессилие растеклись по нервам всей многотысячной массы наподобие паралича.

День прошел в бесцельной, вялой перестрелке, а ночью французы без огней и без шума снялись с позиций и ушли. В голове их походной колонны, на простой телеге, в наглухо заколоченном и просмоленном гробу возвращалось то изуродованное, собранное по кускам с окровавленной земли, что всего два дня назад было живым и полным жизни человеком, истинным гением своей эпохи безумия и войн. Помедлив немного, словно через силу, за противником двинулись и австрийцы.

Одна за другой, обе армии переправились через Рейн. Одна за другой, тяжко побрели по эльзасским дорогам. Никто не пытался маневрировать. Никто не пытался атаковать. Как будто случилось наконец то, что должно было бы случаться всегда, на всякой войне, и смерть одного человека так потрясла всех остальных, что дальнейшее убийство уже казалось им бессмысленным.

К французам подошел Конде со свежими войсками. Австрийцев догнали подкрепления, высланные императором. И вновь две армии остановились друг против друга в оцепенелой неподвижности, как если бы от вливания новых сил не только не окрепли, но окончательно выдохлись.

Напрасно в Париже и Вене дожидались известий о решающей битве. В ленивых перестрелках, в мелких стычках мелких кавалерийских отрядов истекли последние погожие дни. А когда с потемневших небес обрушились на землю холодные осенние ливни, обе армии, вначале еще наблюдая друг за другом, начали расходиться, расходиться. А затем и вовсе повернулись друг к другу спинами и двинулись каждая своей дорогой, домой...

Главнокомандующий, имперский князь, фельдмаршал Монтекукколи, раскачиваясь в походной карете, то принимался на откидном столике писать письмо императору, то бросал это занятие и, прикрыв глаза, пытался забыться хоть неглубокой дремотой.

Карета застревала в грязи, тогда солдаты облепляли ее и, согласовывая свои действия дружными криками и бранью, вытаскивали и толкали вперед.

Злые, недовольные возвышались в седлах офицеры, проезжая вдоль колонны. Великолепно начатая кампания завершилась буквально ничем. Теперь по возвращении нечего было ждать ни наград, ни повышений.

И только солдаты были веселы! Они бодро шлепали по грязи под нескончаемым дождем. То и дело над нестройно качающимися рядами пик и мушкетов взлетала похабная песня, перекатывалась из конца в конец длинной колонны и, не успев затихнуть, сменялась новой.

Солдатам было наплевать на всё — на дождь, на злобу офицеров, на непонятную тоску своего полководца, на мировую Историю, славу и бессмертие. Кампания закончилась, а их не убили, не искалечили. Они возвращались домой, и впереди у них была зима — лучшее время для наемного солдата, несколько месяцев сытой, пьяной и безопасной жизни...»

«Полковник» слегка повернул к нему коротко стриженую, круглую голову. Григорьев, хоть и смотрел в другую сторону,

физически ощутил, как прошел по его лицу медленный, жгучий взгляд. Оказывается, «полковник», напоминавший сонного моржа, был способен на такое сильное чувство, как ненависть.

«Полковник» бросил ему вызов и ждал ответа. Но Григорьев молчал, как почти всегда молчал в литературных компаниях, даже тогда, когда задевали его самого. Слишком много схваток приходилось выдерживать на работе. Во второй, писательской жизни для этого и сил не оставалось.

Про свои мытарства «полковник» разоткровенничался зря. Что бы ни думали о собственных занятиях обитатели странного Дома, любое творчество — война между смертью и бессмертием. А на войне как на войне. Обыкновенный и законный прием человеческого самоутверждения — требовать от других признания, как платы за перенесенные невзгоды, — не действует на переднем крае.

Вот и поэтому я почти всегда молчал в стенах странного Дома, — подумал Григорьев. — Поэтому тоже.

А «полковник», не дождавшись ответа, видно, истолковал его молчание по-своему:

— Ничего, — сказал он наконец, и в голосе его зазвучали прежние нотки вялой снисходительности, — ничего, ничего! Это просто у вас под папенькиным-маменькиным крылышком детство затянулось. ИНФАНТИЛИЗМ — слыхали такое слово?

Григорьев молчал.

— Ничего, — заключил «полковник», — повзрослеете! И спеси поубавится, и чувство реальности придет. Конверты, папочки свои бросите, зашагаете ножками, КАК ВСЕ! И к нам будете ходить, — «полковник» шевельнул рукой, указав пальцем куда-то в пол кафе, — и по редакциям. Прогонят вас, а вы — опять на порог. И опять, и опять, чтоб видели, привыкали... Это кажется только, что фанаберия мешать будет, что не избавиться от нее. Иллюзия. Как у старой девы с невинностью. Избавитесь тем же путем! Поначалу больновато пройдет, а как освоитесь, — оцените. Ведь не только печататься начнете. Пойдут нормальные публикации нормальным ходом, позволите себе и для души писать. Обо

всем, о чем захочется. Ну, почти обо всем. Хоть о вашей Священной Римской империи...

«Полковник» задумался. Сказал с какой-то новой неприязнью, хотя спокойно:

— И все-таки, черт знает, как эта имперская бодяга у вас проскочила! Под аннотацию: «Герои сборника — наши молодые современники в поисках активной жизненной позиции». Прозевал вас кто-то. Повезло.

Он налил себе еще рюмку водки, поднял ее, разглядывая и чуть поворачивая в пальцах. Выговорил уже своим обыкновенным, не просто спокойным, а безразличным, угасающим голосом:

— Второй раз на везенье не рассчитывайте. Только трудом, только ножками...

И словно отключился от Григорьева.

Появилась в газете рецензия на сборник или нет, Григорьев так и не узнал. Он за «Ленинградской правдой» не следил.

Можно было, конечно, выяснить в странном Доме, напечатана ли она и в каком номере. Но только и в странный Дом после того банкета Григорьев больше не ездил. Решил, что как-нибудь обойдутся тамошние обитатели без него, а он без них.

— 14 —

— Молодец, — сказал Димка, разливая «старку», — молодец, Тёма, что выбрался! Не всё ж тебе пеленки стирать и колясочку толкать. Ну, давай за твою дочку! Хотя, бракоделы вы с ним, — он кивнул на Григорьева, — одних девок производите. Что в них толку, в посикушках?

— Как будто сам племянницу не любишь, — сказал Григорьев.

— Катьку-то? — Димка заулыбался. — У-у!

Была весна 1975 года. Они сидели не просто в очередной димкиной мастерской, а в кабинете начальника диорамного цеха.

— Что такое не везет, — ворчал Димка, — и как с ним бороться. Уж совсем было отпустили в бригадиры, а тут вдруг у этого, — он указал на старинный, в резных завитушках, письменный стол, за которым они расположились, — хлоп, инфаркт. А меня приказом — в исполняющие обязанности. Во, видали титул, — он показал какую-то бумагу: — «И.О. нач. цеха Перевозчиков». Звучит-то как: ИО! Словно икаешь по пьянке.

В кабинете стоял деревянный щит, покрытый белой эмалевой краской. Вверху — надпись ярко-алыми буквами: «ЗА ТОГО ПАРНЯ!». С нерезко увеличенной фотографии в центре щита смотрел грустный человек в пилотке и гимнастерке старого образца, без погон. Текст под фотографией, исполненный черным угловатым шрифтом, сообщал, что Демидов Александр Степанович (1912 — 1941) был рабочим художественно-технических мастерских, с первых дней войны ушел в армию и погиб смертью храбрых, защищая Ленинград.

— Так наш комбинат до войны назывался — художественно-технические мастерские, — сказал Димка. — Видите, какой шрифт? Я сам подобрал, как в газете военных времен. Запоздали мы с оформлением. Завтра в коридоре его поставим.

Кампанию «За того парня!» объявили к тридцатилетию Победы. Везде отыскивали своих «парней», и темноватые фотографии печальных молодых мужчин в гимнастерках и пилотках висели на заводах, в институтах, даже в школах. По радио и в газетах непрерывно сообщали, как производственные бригады включают в свой состав «того парня» и берут обязательство выполнять за него план. Контролеры в электричках, проходя по вагонам, острили: «Предъявляйте билеты за себя и за того парня!». Сашка Линник рассказывал последний анекдот: «Мильтон тащит пэ-пэ-пьяного. — Чего ты так на-нажрался? — А я за себя и за того па-па-парня!»

— Рабочих наших всех в первые дни призвали, — говорил Димка. — Предприятие-то военного значения не имело, брони не полагалось. Художников, правда, поначалу не тро-

гали. Вроде, хотели сберечь. Но в сентябре, когда фронт к самому городу подкатился, взяли да погнали в народное ополчение. Уже и винтовок не хватало. Им бутылки давали с горючей жидкостью, в танки бросать. Вот такое оружие. С ополчения этого просто никто не вернулся... А к тридцатилетию — указание: подыскать «того парня»! Ну, собрались — директор, секретарь парткома, председатель профкома, секретарь комсомольский. Подняли архивы, составили список. И получилось у них, что только на фронте погибло наших комбинатских за всю войну сорок шесть человек. А выбрать надо одного.

Димка скривился в усмешке:

— Приехал инструктор из райкома, сел с ними вместе, и как начали они павших героев перетряхивать! Первым делом, конечно, все еврейские фамилии повычеркали, всяких Фельдманов, Гуревичей, Шапиро. Заодно и тех русских похерили, у кого фамилии на «ский» — Дубковский, Масловский, — потому что они то ли на еврейские, то ли на польские смахивают. Ну, тут всё само собой. Но вот дальше и украинские фамилии на «ко» повыбрасывали — Ткаченко, Бондаренко, — а это уже интересней!

А дальше — еще интереснее. Получились одни русские фамилии, без подмеса. Ни хрена, продолжают трясти! Сперва социально неблагозвучные откинули — Баринова, Купцова. Потом — просто некрасивые: Пьянкова, Кривошеева.

А дальше — самое интересное! Дотрясли до полной чистоты, десятка полтора вот таких фамилий осталось, — Димка показал на щит, с которого печально смотрел Демидов, — как теперь быть? А есть указание. Назначать на должность «того парня» только тех, кто погиб в сорок первом, ну в крайнем случае, в сорок втором. Вышли в финал человек десять. И тут — последнее условие: должна быть фотография обязательно в военной форме. Так он один и остался. У других карточки нашли только довоенные, в штатском. В войну не успели сняться, бедняги, или пропали снимки... Ой, маразм крепчает! Если б этим ребятам тогда рассказали, как их через тридцать лет сортировать будут! Одно святое оставалось — война, Победа, — и то умудрились обосрать.

— Погоди, — сказал Марик, — а если бы так никого и не нашли, у кого и фамилия, и карточка подходят? Могли бы тогда взять погибшего в сорок третьем — сорок пятом?

— Да говорили, в крайнем случае разрешается, — сказал Димка. — Но фотография чтоб всё равно была в старой форме. Без погон и, упаси боже, без орденов и медалей.

— Понятно, — кивнул Марик.

— А мне что-то не очень, — сказал Григорьев. — Сейчас о начале войны ничего не пишут, как будто не было поражений, а «парни» везде висят погибшие только в сорок первом. Какой тут расчет?

— Расчет на подсознание, — ответил Марик, — там тоже психологи работают. Внушение происходит: если плохо живем, в этом до сих пор сорок первый год виноват.

И Григорьев понял. Сквозь лихой марш, написанный специально к юбилею и загремевший по радио с утра до вечера — «Этот день Побе-еды порохом пропах!..», сквозь мельканье на экранах телевизоров бесконечно повторяемых серий киноэпопеи «Освобождение», где война начиналась сразу с лета сорок третьего, где храбрых солдат и красавцев-офицеров направляли блестящие генералы и маршалы с мудрым Сталиным во главе, — вдруг пробилась жалобная нотка сорок первого. Тайком отмеренная, тайком утвержденная, заискивающая.

— Нда-а, — хмуро сказал Димка, — вот и до тридцатилетия дожили. Все фронтовиков поздравляют, а меня, наоборот, фронтовик... поздравил.

— Случилось что-то? — насторожился Марик. — Неприятности?

Димка хмыкнул:

— Есть тут у нас козел один, рабочий. Пьяница, мудак, но с «иконостасом». Штук семь медалей — «За оборону», «За взятие», да юбилейные. Всё приставал ко мне: дай выгодную работу! Я говорю: «Иди на хрен!» Так он, падла, пошел и настучал на меня. В партком и в группу народного контроля. Про наряды эти самые. Ну, что я другим рабочим выписываю, а они мне потом с получки возвращают.

— Димка-а! — выдохнул Марик.

— Ну чего, чего? — усмехнулся Димка. — Думаешь, начальство не знает, что если б я сам с художниками и рабочими не вкалывал, так в наших диорамах и красоты бы не было? Все всё знают. И никто не скажет. Есть такое, о чем не говорят... Вот, ребенок у знакомых родится, ты же их будешь спрашивать, как он у вас ест да как спит. Не станешь допытываться: «А как вы его делали, в какой позе, кто сколько раз кончил?» Так же и с ящиками нашими. Главное: вот они! Заказчики смотрят и балдеют.

— С кляузой-то с этой обойдется? — спросил Григорьев.

Димка поморщился:

— Вроде замяли... — Помолчал и сказал: — Зря только я, наверное, к директору пошел. Ну, был момент, психанул. Жаловаться стал, что бочку на меня катят. Он посочувствовал: «Работайте спокойно, Дмитрий Николаич, у меня к вам претензий нет». А потом и говорит: «Я понимаю, оклад у вас маленький, без дополнительного заработка никак. Но есть для этого и другие возможности. Почему бы не поучаствовать вам в трудовом соглашении? Дело выгодное и с художественной стороны интересное. С вашим, — говорит, — мастерством...»

— В каком соглашении? — не понял Григорьев.

— Дачи торгашам отделывать, — сказал Димка. — И квартиры. Оформляют так, будто в нерабочее время всё выполняется, из материалов заказчика. А лепят, конечно, по будням, и материалы комбинатские пускают, самые дефицитные. Такое творят: панели резные, росписи, витражи, мебель под Людовика! И сверх официальной оплаты берут портфель денег наличными.

— Криминал же! — воскликнул Марик.

— Натуральный, — сказал Димка. — Мои наряды против него — слеза младенца. Отказался, конечно. Спасибо, мол, за доверие, только не буду я торгашей ублажать. Не встанет у меня мое мастерство на такое дело. Ему не понравилось... Да не гляди ты на меня, Тёма, с таким сочувствием! Семечки всё, не пропаду! У тебя-то как успехи на трудовом фронте?

— Работаю, — неохотно ответил Марик. — Рассчитываю опоры. Чепуха. Я всё обобщил, формулы составил, графики.

Теперь могу любое задание вместо квартала за неделю выполнить.

— А потом сачкуешь? — спросил Димка.

Марик пожал плечами:

— А потом заново считаю. По старой методике.

Григорьев понял его сразу, а Димка удивился:

— Почему?

— Потому что мои способы расчета нигде не утверждены. Если оформлять, чтоб узаконили, надо несколько лет потратить. По всем ступенькам пробивать, до Госстроя и Госстандарта. Нервов не хватит. Не хочу.

— Да-а, — мрачно сказал Димка, — в каждой избушке свои игрушки... — И торопясь разогнать повисающее тягостное молчание, вдруг накинулся на Григорьева: — А кстати, насчет избушек! Новоселье кто у нас зажилил?!

Григорьев только виновато улыбался. Да, весной 1975-го кооперативный дом наконец-то был выстроен, и въехал он с Ниной и Алёнкой в собственную квартиру, скромненькую, однокомнатную, но — свою, свою! Больше не надо было снимать жилье, кочевать с места на место.

Деньги для первого взноса Нина заняла у своих сотрудников. И выстроена была квартирка от института на имя Нины. И гостей на новоселье Нина приглашала сама. Если бы Григорьев настоял, она, может быть, позвала бы и Марика с Димкой. Но он промолчал. И сверхчутьем уловил, как радует Нину его молчание. Он-то понимал: ей было бы неловко перед коллегами за таких приятелей своего мужа. А вот Нина не смогла бы понять, как ему, в свою очередь, было бы неловко перед друзьями, если бы оказались они за столом среди ее «полубогов».

Да разве дело было в том, кого приглашать, кого не приглашать на новоселье? Дело было в самой Нине! С ней что-то происходило. Она изменялась. С недавних пор она стала уклоняться от его ласк. Причем, если от обычной близости, от которой она почти ничего не испытывала, она уклонялась мягко и как бы виновато, те его ласки, которые могли пробудить в ней чувственность, она отвергала решительно, почти с неприязнью. И всё труднее, труднее становилось им

разговаривать почти обо всем, за исключением простейших бытовых дел — покупок, еды, хлопот об Алёнке.

Он дал Нине прочитать «Легенду о полководцах», дал два рассказа, несколько стихотворений. Всё, что успел написать. Она читала медленно. Он ждал с тревогой. Улетел в командировку. А когда вернулся, она отдала папку: «Я прочла». Он стал спрашивать: как, понравилось? От прямого ответа она уклонилась так же непроницаемо, как уклонялась теперь от его объятий.

А потом случился разговор с ней, тяжелый, изнурительный, подобный тем, какие будут с Алей, когда оба говорят взахлеб и каждый мучается и раздражается оттого, что другой не может понять что-то самое простое и нестерпимое.

— Ты не должен так больше! — повторяла Нина. — Я так не могу! Ты должен что-то сделать!

— Что? Не ездить в командировки?

— Не ездить, не ездить!

Он никогда не видел ее такой, с бледным лицом, испуганными и увлажненными глазами, — точно не голубыми, а бесцветными, — со срывающимся голосом. Он оправдывался:

— Я и так от командировок отбиваюсь, вылетаю в крайних случаях!

Она раздражалась еще больше. Он понимал: дело не в его отлучках, а в том, что он не может стать таким, как ей хочется. Но вот каким — этого уже не только ему не понять. Скорее всего, не понять и ей самой. Во всяком случае, не объяснить.

Он схватил ее руку, стал целовать пальцы — тонкие, нежные, родные. Застонал:

— Ну что ты со мной делаешь?! Я же люблю тебя!..

И разлад с Ниной был тем, чем невозможно ни с кем поделиться. Непрерывной болью, которую он носил в себе. Носил незаметно для всех, кроме одного-единственного человека — Стеллы.

Сухонькая, с заострившимся лицом, с серебряными сединками в гладко зачесанных на затылок волосах, Стелла в 1975-м уже не только выглядела старше своих тридцати пяти, но, кажется, смирилась с этим. Когда Григорьев бывал

у Димки, она не садилась с ними, не принимала участия в разговоре, а тихонько, как мышка, суетилась вокруг. Подавала на стол, убирала со стола. Уводила Катьку или чем-то с ней занималась, чтобы та не шумела.

И только тогда, когда Григорьев собирался домой, Стелла всегда старалась подойти к нему, дотронуться на прощанье до его руки, поцеловать в щеку. Всё было так естественно, что он больше не испытывал вины перед ней. Лишь чувство благодарности за ее тихую и обреченную нежность.

Единственный раз Стелла встретилась с Ниной: во дворце «Малютка», где они собрались на регистрацию Машеньки, дочки Марика. Щупленький Марик, весь черный, в темном костюме, и Марина в свободном розовом платье, еще обильнее располневшая от родов и оттого странным образом только похорошевшая, осторожно передавали друг другу спеленатую дочурку и замирали с нею под фотовспышками. Торжественная дама-регистраторша от имени исполкома Ленсовета приветствовала появление нового гражданина Советского Союза и нового ленинградца (почему-то она говорила о Машеньке в мужском роде). Гости стояли полукругом. Нина с Григорьевым оказались на одном краю, Стелла на другом. И тут, — словно Григорьева толкнули, — он заметил, как Стелла устремила взгляд на рассеянно улыбавшуюся Нину.

Он сразу понял, что Нина Стелле не нравится. Однако всего поразительней в этот миг было преображение самой Стеллы. Казалось, сквозь ее привычный облик проступили черты совсем другой женщины. Вся напряженная, она сделалась выше и заметней. Темно-зеленые глаза смотрели остро, неприязненно, дикими искрами в них отражались зарницы фотовспышек. Обычно бледное личико порозовело, невидимы стали морщинки, и губы пунцовели как будто не от помады, а от прилива крови. Она помолодела. Она была даже красива — уязвленной и гневной красотой женского превосходства.

Почувствовав, что Григорьев смотрит на нее, Стелла вздрогнула. На мгновенье соединилась с ним смятенным взглядом — и тут же виновато поникла, опять по-старушечьи ссутулилась. Но ему показалось, он успел прочитать в ее глазах, что она всё теперь знает о нем и жалеет его...

АБэВэГэДэйка, АБэВэГэДэйка,
Это учеба и игра!
АБэВэГэДэйка, АБэВэГэДейка,
Азбуку детям знать пора!
Вас участники программы
Будут азбуке учить,
Если не забыли мамы
Телевизо-оры включить!

А это уже 1976-й год. Воскресным утром ярко размалеванные клоуны Ириска, Юра и Клёпа с учительницей Татьяной Кирилловной разыгрывают на экране смешные сценки и узнают буквы. Любимая программа детей и взрослых.

У него дома каждое воскресенье тоже начиналось с «АБэВэГэДэйки». Рядом с ним сидела пятилетняя Алёночка и смотрела передачу. Передачу про букву «У». Один из клоунов говорил, что может обойтись без этой буквы, и тут же исчезали ст-У-лья (клоуны, сидевшие за столом, падали на пол), а со стола пропадали б-У-лочки и лимонад «Б-У-ратино».

Алёнка улыбалась. Григорьев наблюдал за ней и думал о том, что она только улыбается, но не смеется. И редко плачет. Не похожа на других детей, такая же сдержанная, как Нина.

И сама Нина стояла рядом, в фартуке, с мокрыми руками. Что-то готовила на кухне или мыла посуду, и тоже не выдержала, пришла посмотреть «АБэВэГэДэйку». А в окно стучал дождь, дождь. Весь год семьдесят шестой в Ленинграде запомнился пасмурным и дождливым, словно от зимы в его начале до зимы в конце была одна сплошная осень.

Идиллическая картина: муж, жена и прелестная дочурка воскресным утром. Действительно, в присутствии Алёнки, в выходные, они с Ниной вели себя друг с другом по-иному. О чем-то разговаривали, даже шутили. Если и не понимали друг друга, то хоть выслушивали. Это было невольное и спасительное актерство, в которое они включались сразу, как только в пятницу вечером привозили Алёночку от тещи.

И самыми спокойными, безболезненными были две ночи — с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. При

Алёнке, когда она засыпала рядом на своем диванчике, ему самому только и оставалось — заснуть, отодвинувшись от Нины как можно дальше.

АБэВэГэДэйка, АБэВэГэДэйка,
Это учеба и игра!..

Время от времени показывали прежние «АБэВэГэДэйки», прошедшие несколько месяцев назад, и в циклических повторениях был некий знак стабильности, покоя. По всей стране шла подготовка к очередному великому празднику — шестидесятилетию Октябрьской революции. А там, невдалеке, уже виделось, как возвращаются, слегка прибавив в цифрах, неизбежные юбилеи — стодесятилетие Ленина, тридцатипятилетие Победы. За ними наплывало шестидесятилетие СССР. Всё устоялось, кажется, навсегда, подобно смене времен года.

События в стране происходили только на телеэкране, отделённо от суеты обычной жизни. И все они, — будь то Двадцать пятый съезд КПСС, провозгласивший девизом очередной пятилетки «Эффективность и качество», или присвоение Брежневу маршальского звания, или вручение ему золотой сабли в день семидесятилетия, или восторги по случаю выхода его книги «Малая земля», — тоже смотрелись нескончаемой «АБэВэГэДэйкой», праздничной клоунадой, раздражающей в отличие от детской «АБэВэГэДэйки», но кажущейся необходимой, как некое декоративное оформление налаженного порядка.

Гремела, хохотала, рассыпалась над страной песенка про клоуна Арлекино, мгновенно сделавшая знаменитой молодую певицу Аллу Пугачеву.

Появились в музыкальных магазинах две первые пластинки Высоцкого. Они были совсем маленькие, всего-то по четыре песни на каждой, но и в этом виделся особый знак времени: теперь всё так уравновешено и прочно, что позволено и Высоцкого, — конечно, с отбором, — официально признать и выпустить в свет.

А в промышленности катилась волна переименований. Любой научно-исследовательский институт, имевший хоть

какое-то опытное производство, с ходу возводили в ранг НПО и подбирали для него громкое название, обычно из области физических терминов. Множились «Фотоны» и «Магнетроны», «Кристаллы», «Кванты», «Радианы». И ровно ничего не значащая суета с заменой бланков, печатей, табличек всё же на какое-то время отвлекала и будоражила. Создавала ощущение перехода к чему-то, если не лучшему, то окончательному.

Даты и юбилеи всходили и проходили на небосклоне, как созвездия Зодиака. Их спокойное вращение больше не могла смутить и военная угроза. Казалось, разрядка победила. В минувшем, 1975-м, в космосе состыковались наш «Союз» и американский «Аполлон», а в Хельсинки грандиозной «АБэВэГэДэйкой», размноженной всеми телеэкранами планеты, отмелькало, отзвенело Общеевропейское совещание, утвердившее нерушимость границ.

Газеты и лектор достигнутое называли торжеством. После стольких страданий не заслужил разве наш народ покой, безопасность, порядок в государстве? Пусть хоть такой, механизмом отдающий порядок, с расписанием событий и праздников на десятилетия вперед?

И были бы правы газеты и лектор, всё было бы действительно совершенно, действительно вечно, если бы только огромная страна могла каким-то чудом — вся, целиком — стать подобием уютной институтской кафедры, где неутомительно работала Нина. Если бы кроме изобильной Москвы и обеспеченного Ленинграда не было на громадных российских просторах сотен заводских городов с безнадежно пустыми магазинами, с талонами на килограмм мяса или колбасы и двести граммов сливочного масла в месяц на человека. Если бы не было самих заводов, где вращение по орбите от юбилея к юбилею приходилось поддерживать всё с большими усилиями.

Григорьев смирился уже с тем, что Нина не может понять, как он устает на работе. Но не мог теперь смириться с самой усталостью. В шестнадцать лет, в вечерней школе — мирился, тогда это была усталость штурма. И в двадцать лет, когда на подгибающихся ногах плелся домой с хлебозавода

или с овощной базы, — мирился. Та мускульная усталость была конкретной, она сразу приносила искомое нехитрое вознаграждение, отмеренное в рублях. И в двадцать пять лет, когда сидел от темна до темна в забитой приборами «клетушке», — мирился. Та усталость была сродни любовной: обессиливая, она давала удовлетворение, успокаивала душу.

Но усталость, с которой он приближался к своим тридцати годам, нелегко было снести. Эта пронизывающая усталость переваливших на вторую половину семидесятых изнуряла бесконечностью, бесцельностью и уже становилась всеобщей. Везде — в лабораториях, в конструкторских отделах, в цехах — люди, способные творить, надрывали сердца и пережигали нервы, пытаясь скованными руками удержать то, что досталось им выстроенным так нелепо, а теперь — при всех подкрасках и переименованиях — ветшало с каждым годом. Только удержать, не дать развалиться, не дать обрушиться на головы их самих и их детей!

— ...Подрабатываю, подрабатываю, — говорил Димка. — И живописные планы малюю, и на предметных планах макетики леплю. По-прежнему, вечерами. Когда все бумажки и дела раскидаю. А как иначе прикажешь? На сто пятьдесят рублей существовать? Думаешь, вон Тёма не халтурит?

Григорьев с изумлением посмотрел на Марика.

Тот пожал плечами:

— Ну, я тоже... подрабатываю. Репетитором. Готовлю по математике ребят. К экзаменам в институт.

— Понятно, что к экзаменам. Чего же ты скрывал?

— Ну, Диме я сказал, а тебе — собирался. У меня в прошлом сезоне шесть учеников было, все на отлично сдали. А этой осенью восьмерых взял. Мне много не надо: у других репетиторов такса — пять рублей за двухчасовое занятие, а я беру — три. По два занятия в неделю, набегает со всех моих абитуриентов рублей двести. Да на работе у меня сто сорок. Всего получается столько, сколько имел бы сейчас на кафедре старшим научным со степенью. — Он помолчал, потом добавил всё так же серьезно, без иронии: — Восстановил для себя справедливость. Как мог.

— Понял? — усмехнулся Димка, обращаясь к Григорьеву. — Один ты у нас, выходит, на зарплату живешь. Ничего после работы не мастачишь, лентяй!

— Он и так устает, — заступился Марик.

— А я в начальниках не устаю?! — вскинулся Димка.

— Может, я тоже что-то свое мастачу, — сказал Григорьев. — Только не для денег. Хоть денег и мне не хватает.

Темные глаза Марика блеснули острым любопытством, но он промолчал.

А Димка стал приставать:

— Ну расскажи! Ну чего темнишь? Или секретное что-то изобретаешь?

— Потом, — отнекивался Григорьев, — потом, не сейчас.

Вот странное дело: Нине признался в том, что пишет. Ей давал свои рукописи и волновался в ожидании ответа, хоть знал с самого начала: ей будет неинтересно. А ребятам, ближе которых и не было никого на свете, если не считать отца с матерью, — ребятам духу не хватало сказать. Как будто даже страшился.

...Отец, угрюмо и внимательно читавший «Малую землю», вдруг сердито захлопнул тоненькую книжку и отшвырнул ее.

— Ты что? — удивился Григорьев.

Брежневское творение, с его обкатанным газетным слогом, казалось, могло вызвать только скуку, но не возмущение.

— Кто это сочинил, — мрачно сказал отец, — тот не только что в бою не был, оружия в руках не держал. Помню, из карабина в сумерках выстрелишь — и то вспышка глаза слепит. А уж когда — «максим», ночью, очередями... Да у «максима» в темноте дульное пламя на полметра! Даже я, артиллерист РГК, видел, знаю. А этот, читай, в ночном бою, — когда стрельба, и вспышки разрывов кругом, и немцы метров за триста, не меньше, — лежит, лупит себе из «максима», ВИДИТ, как немцы валятся, да так ясно, что отличает: ага, эти от моих пуль падают, а те — от другого пулемета. Прямо, барон этот самый, который на пушечном ядре верхом летал!

Отец опять взял книжку, полистал — и снова бросил:

— Да еще тут глупостей... даже говорить противно! Что ж они, фронтовика настоящего не могли найти, чтоб прочитал и поправил? Свои-то, ладно, всё сожрут и облизнутся, а перед миром-то как? Позор!

Но мир, похоже, и не обращал внимания на фантазийное творчество генсека. У мира были иные заботы. В кипящем хаосе планеты свивались свои вихри и протекали лавовые потоки событий. Их отдаленной, остывшей волной осенью 1976-го выплеснуло на полки магазинов по всему Союзу уйму бутылок с вином из революционной Португалии. Закупили эту прорву как видно для того, чтоб поддержать очередной прогрессивный режим. На вкус винцо было так себе, средненькая бормотуха. Но этикетки — сверкающие, многоцветные картинки — просто загляденье. Димке особенно понравилась этикетка «Old friends»: трое смешных старичков, снежно-седых и розово-лысых, увлеченно поют за столом с поднятыми бокалами.

— Вот, глобусы, — говорил Димка, поворачивая бутылку и любуясь, — под старость и мы такими чудиками станем. Лет через сорок, а?

Он был как будто в веселом настроении. Только улыбка его, доходившая до оскала острых белых клыков, да отрывистость в голосе выдавали глубинный нервный ток.

А с пластинки, вертевшейся на стареньком проигрывателе, кричал Высоцкий:

Чуть пом-медленнее, кони!
Чуть пом-медлен-не-е!
Ум-моляю вас
Вскачь
Не лете-еть!..

— Ух, дает мужик! — восхищался Димка. — До печенок меня пробирает!

— Магнитофон-то когда купишь? — любопытствовал Григорьев. — Деньги теперь есть у тебя.

— Деньги есть. Времени нет. Магнитофон — времени требует. Записывать, переписывать, слушать. — И опять

Димка щелкал по бутылке, где на этикетке распевали потешные старички: — Это в каком же году нам по семьдесят стукнет? Мне — в две тыщи шестнадцатом, вам — в две тыщи семнадцатом. О-о, в столетие революции! Представляете, праздник закатят? В космосе, наверное, салют устроят! Как раз к вашим юбилеям. А мы — вот так споем.

— Если доживем, — уточнял Марик.

Димка отмахивался:

— Доживем, глобусы, куда мы денемся! — И к Григорьеву: — Верно?

Григорьев не отвечал. Усталость свою, неизбывную и всё нараставшую, он давно воспринимал как тревогу. Бесконечное давление в неподвижности ни один материал не снесет, а человеческие души, человеческая плоть — подавно. Уже не сверхчутьем, а почти физически — слухом, осязанием — улавливал он, как, потрескивая, недалеко впереди пробегают первые трещинки неминуемого разлома.

...Вот она уходит с вашего экрана
АБэВэГэДэйка!
Но она вернется поздно или рано
А!Бэ!Вэ!Гэ!Дэ-эйка!

Заключая передачу, маршировал по экрану толстый карандаш, хлопая глазками. Он особенно забавлял Алёночку, она улыбалась, показывая на него ручонкой.

А потом наступал воскресный вечер, Алёнку отвозили обратно к теще. Наступали трудные последние часы воскресенья, когда им с Ниной опять не о чем было разговаривать. И наступала — ночь. Не выдержав молчания, он стелил себе на тесном алёнкином диванчике и укладывался.

А в шесть утра гремел будильник, возвещая новую неделю. Григорьев поднимался тихонько, чтобы не побеспокоить Нину (у нее и работа начиналась позже, и добираться ей было ближе).

Перед самым уходом заглядывал в комнату, окликал ее, будил. Говорил, что завтрак разогрет. Она приоткрывала глаза, чуть поднимала голову от подушки. Он видел в полумраке

ее лицо без косметики, бледное и круглое, любимое, чужое. Слышал сдержанное «Спасибо». Медлил еще секунду, потом почти выбегал из квартиры. Надо было спешить на работу. Или — в аэропорт, или — на вокзал. Если он отправлялся в командировку.

Предчувствие не обмануло его. Разлом начался.

Опять стоял июнь, погожий июнь 1977-го, белые ночи. Лето выдалось — хоть куда, с прошлогодними дождями не сравнить. Но под ясным небом, в прозрачном и теплом воздухе текли, текли напряжения по невидимым силовым линиям.

Димка говорил ему по телефону:

— Вот встретимся, вы, технари, объясните мне, что за нейтронная бомба такая, чего из-за нее волну гонят?

Об этой дьявольской новинке американских атомщиков, которая взрывается одной радиацией, убивая вокруг всё живое и ничего не разрушая, набатным звоном гремели газеты, радио, телевидение. Разрядка, похоже, дала первую трещину.

А сознание людей было потрясено другим. Едва не революцией казалось появление невероятной пластинки с песнями Тухманова. Ничего подобного не было с весны семидесятого, с возвращения Вертинского: разом по всей стране — от Ленинграда и Москвы до самых глухих заводских городков, вроде Чапаевска, с их пылью и химической резью в воздухе, от которой жухла листва уличных деревьев, — из окон чуть не каждого дома завыли, заверещали пронзительные голоса певцов:

Когда это было, когда это было,
Во сне, наяву?!

И вовсе неотвязно раскатывалась оглушительная «Песня вагантов», дурашливая, будоражащая, нелепая и совершенная самим скрещением средневекового текста с рок-н-рольным ритмом:

Всех вас вместе соберу,
Если на чужбине
Я случайно не помру
От своей латы-ыни!..

В ленинградском «Пулково», в куйбышевском «Курумоче», — над головами толпы, где перемешались и небритые командированные с портфелями, и нервные мамаши, навьюченные сетками продуктов, закупленных в столицах, тянущие за собою капризничающих детей, и смуглые, золотозубые торговцы-южане в черных кепках, налегке кочующие по воздуху, пока ящики с их фруктовым товаром катятся к российским городам в проводницких купе, а то и в казенных товарных вагонах с какими-нибудь срочными комплектующими деталями, — под сводами аэропортовских залов и даже за их стенами, над бетоном летных полей, где расплодились новые, бегемотоподобные «Ту-154», вбирающие разом полторы сотни пассажиров, с издевкой, словно из параллельной вечности, гремел нескончаемо голос «ваганта»:

Если те профессора,
Что студентов учат,
Горемыку-школяра
Насмерть не замучат,
Если насмерть не упьюсь
На хмельной пирушке,
Обязательно вернусь
К вам, друзья-а, подружки!..

Когда Григорьев прилетел из командировки, Нина подала ему большой измятый конверт со штампом московского журнала. Подала — и молча отошла в сторону, словно с обидой. Он сразу всё понял: несколько месяцев назад, впервые, послал в редакцию рукописи — «Легенду о полководцах» и два рассказа. Их вернули.

Не хотел при Нине вскрывать конверт, но не выдержал, вскрыл, пробежал листок с небрежно-косноязычной отказной рецензией. Впервые увидел страницы своих текстов после того, как они побывали в чужих руках, — измятые, перепутанные. От него отмахнулись, словно от докучливой мухи.

Ждал, что Нина его о чем-нибудь спросит. Хотел этого и боялся. Но она ни о чем не спросила.

Кинулся звонить друзьям. Оказалось, у Марика свободна квартира: Марина с Машенькой уехали на дачу, есть где собраться. И на следующий день после работы Григорьев спешил туда с надеждой отойти от редакционной пощечины, избавиться от постыдной кислоты в груди. У него для ребят заготовлен был и последний анекдот, привезенный из Куйбышева, огромного, голодного, с пустыми магазинами. О том, как один приятель спрашивает другого: «Объясни ты мне, что такое нейтронная бомба?» — «А это, понимаешь, такая штука, она как взорвется — мы с тобой исчезнем, а вокруг всё останется!» — Первый думает, думает: — «Слушай, а какая же СЕЙЧАС бомба взорвалась?..»

Правда, у Димки, когда назначали встречу, голос в телефонной трубке тоже был мрачный. И закончил он странной фразой: мол, обсудим кое-что с глазу на глаз. Но Григорьев на его интонацию не обратил внимания, а таинственность истолковал по-своему. Отчего-то ему показалось, что Димка жаждет «не по телефону» обсудить то, о чем шушукались все вокруг: исчез Подгорный. Был у страны какой-никакой президент, вешал ордена, подписывал указы. И вдруг — бац, как не бывало. Словно персональную нейтронную бомбу для него рванули. Не то, чтобы это уж слишком занимало умы, но всё ж таки не дядю Васю такелажника за пьянку с работы выгнали, ПРЕЗИДЕНТ полетел. Занятно.

И, радуясь предстоящей встрече с друзьями, Григорьев не догадывался, что давно предчувствованный им перелом как раз там и начнется...

Он ощутил неладное уже с порога, когда Марик открыл ему хмурый, молча кивнул и повел за собой в комнату.

Димка, скривившись, сидел за столом. Перед ним возвышалась, откупоренная и начатая, большая — «ноль семьдесят пять» — бутылка водки. Появились такие совсем недавно, казались на фоне привычных «полбанок» и «маленьких» чем-то диковинным, и, в соответствии с духом атомного века, тут же были прозваны «мегатонными».

Григорьев сразу понял, что Димка не просто расстроен чем-то, он взбешен. И выпил, как видно, уже порядком.

— Что случилось? Ну, говори! Я же вижу — случилось!

— К следователю вызывали! — прохрипел Димка.

— Ты что? К какому следователю? Зачем?

— Дело шьют! — Димка провел рукой по горлу, подражая артисту Яковлеву из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Григорьев чуть было не засмеялся, но взглянул на Марика — и смех застрял в горле. Темное личико Марика такую выражало безысходность, что на Григорьева именно от него, не от Димки, ледяным сквозняком потянуло чувство опасности.

Димка яростно глядел куда-то в пространство:

— Помнишь, на меня козел один, фронтовик липовый, два года назад телегу накатил?

— О чем? О том, что сам диорамы делаешь?

— А что еще может быть!.. Тогда ни хрена у него не вышло, так он еще несколько таких же распиздяев подбил. Ходили за мной и нудили: «Дай выгодную работу! Почему мы должны меньше тебя, сопляка, получать?» А потому, говорю, что у меня, сопляка, руки золотые, а у вас они из жопы растут!.. — Димка оскалился: — Вот и решил проучить гадов. Собрал их вместе и сунул выгоднейший заказ. К юбилею. К сентябрьскому.

— К октябрьскому? — не понял Григорьев.

— К сентябрьскому! — Димка насмешливо стрельнул едкими зелеными глазами, он и в такую минуту не мог без шуточек: — В этом году два юбилея!

— Какие два? Шестьдесят лет революции...

— И сто двадцать лет Циолковскому! В сентябре. Заказ срочный, для калужского музея, там в обкоме на контроле стоит. Всё, думаю, голубчики, я вам помогать не стану, тут и вылупитесь голенькими!

— Зря ты это затеял, — тихо сказал Марик, — с НИМИ так нельзя.

Димка отмахнулся от него.

— И что получилось? — спросил Григорьев.

— Получилось! — фыркнул Димка. — На мою голову. Работа до чего несложная была, и то болваны эти не справи-

лись. А как жареным запахло, взяли и хором толкнули на меня еще одну телегу. Мол, потому все сроки сорваны, что не могут они работать со мной. Деньги якобы у них вымогаю. Мол, все другие работяги мне платят, они одни, целки непорочные, сопротивляются...

Почему так тяжело его слушать? — подумал Григорьев. И вдруг понял: а ведь мне страшно! Нечто подобное испытываешь, когда опасно заболевает близкий человек. И ты не только за него боишься, но с тревогой сознаешь, как уязвима твоя собственная плоть.

Димка вздохнул:

— Конечно, фраернулся я. Не смикитил, что из-за этого ящика такая волна поднимется. Я-то про телегу еще не знаю, а из калужского обкома уже в Смольный звонят, а оттуда — на комбинат, директору: «Вы соображаете, что срываете?! В Калугу космонавты приедут, иностранные делегации, а в юбилейной экспозиции дыра?!»

Марик молча разлил по рюмкам водку.

— Что тут началось! — Димка замотал головой. — Весь комбинат залихорадило! Кинулся я сам этот ящик делать. Все вечера, все выходные, от меня дым валил. И — бесплатно, тут уж мне ни копейки. Вдруг директор с секретарем парткома в мастерскую заявляются. Они прежде меня трясли, как грушу, но и прикрывали, а тут — как собаки накинулись: «Такой-сякой, подставил комбинат! Накажем!» А у меня работа горит, краска на кисти сохнет, самого от усталости ноги не держат. Я и психанул: «Пошли вон отсюда! Не мешайте работать!» Они тоже завелись: «На тебя рабочие жалуются! В коллективе под твоим руководством климат нездоровый!» — «А я в это руководство не лез! Снимайте меня к черту!» Они кипятком брызжут: «Поглядим еще, как тебя снять! Ты у рабочих деньги берешь!» Ну, меня и взорвало: «Я, — кричу, — свой хлеб горбом добываю, в ваши аферы не лезу! Торгашам дворцы за наличные не отделываю! Чту уголовный кодекс, как Остап Ибрагимович завещал!»

Марик замотал головой:

— Ну нельзя так с НИМИ, нельзя!

Димка покосился на него и продолжал:

— Секретарь со страху тут же выкатился, а директор остался. На меня странно уставился. Теперь понимаю: он про телегу этих болванов раздумывал — дать ей ход или тормознуть. А то — вдруг я сам на них на всех настучу?.. Главное, знает ведь, сучонок, знает прекрасно, что в жизни я никого заложить неспособен! А посмотрел, посмотрел — и процедил: «При чем здесь уголовный кодекс? МЫ законы соблюдаем. А вот ВАС хочу предупредить: сигналы о ВАШИХ махинациях мы до сих пор глушили. Но есть и предел!» Повернулся — и вон из мастерской, только дверью хлопнул.

У Димки лицо скривилось, как от зубной боли:

— О моих махинациях!..

В ярости он сжимал поднятую рюмку, не замечая, что водка расплескивается ему на пальцы, на клеенку.

— Успокойся, — тихо сказал Марик. — Выпей.

Димка посмотрел на свои мокрые пальцы. Поставил рюмку. Заговорил тише:

— Я думал, директор тоже психанул. Думал — пугает. Сперва-то никто меня не трогал. Добил я циолковский ящик, выкатил на худсовет, заказчика из Калуги налил коньяком по самые уши. Приняли!.. Оформил отгулов несколько, отоспаться. А три дня назад... утром... — голос у Димки стал хриплым, трескучим: — Собираюсь на работу, побрился только, — дзынь, дзынь — звонок в дверь! На пороге мент в полном параде и с бумажечкой: «Не угодно ли, Дмитрий Николаевич, отправиться к следователю? Прямо сейчас и в моем сопровождении?..» — Димка даже задохнулся от накатившей ярости: — Стелка, бедная, от страха чуть не описалась. Соседи варежки разинули. Ну и пошли мы с ним...

— Куда? — спросил Григорьев.

— В «Большой дом»! — фыркнул Димка.

— Куда же еще, — подтвердил почему-то Марик.

— Ну, не в сам «Большой дом», — уточнил Димка. — Шпионаж в пользу Гондураса мне пока не лепят, диссидентство тоже... Рядом, на Каляева, ОБХСС... Шагаю я с этим красавцем, он на меня — ноль внимания. Гляжу: а у него

и пистолета нет. Чем же ты, думаю, будешь в меня стрелять, ежели я совершу попытку к бегству?!

Димка покосился на Григорьева, на Марика, ожидая их реакции. Не дождался и проворчал:

— Шучу. Это у меня теперь шутки такие... Да и не убежал бы, если б и захотел, потому что еле иду, ноги не гнутся. И до того муторно мне — тошнит. Стелка меня на завтрак моей любимой яичницей с салом накормила, так думал, вырвет по дороге. К урнам уже приглядывался. И еще подумалось, совсем дурное... — Димка запнулся. — Про коммунистов, которых в тридцать седьмом по тому же адресу вели. Что они чувствовали. Ведь, какие бы герои ни были, а так же, наверное, ноги заплетались, и холодело в брюхе, и мутило.

Марик сидел, опустив глаза.

— Приходим, — рассказывал Димка. — Ну и ощущеньице, когда в эти стены вступаешь, а сзади двери закрываются! Двери там большие, тяжелые... Провели меня в кабинет. Следователь сидит, мужик лет под пятьдесят. Морда такая, словно только что уксусу напился. И зубы почти все железные. Ну, думаю, угодил! Вспомнил почему-то сыщиков из «Следствие ведут знатоки». Какие они там добрые и благородные. У нас со Стелкой — любимый сериал... А мой следователь бумажки перебирает. Вижу старые свои наряды. Я так понимаю, меня наш комбинатский народный контроль сдал, они имеют право на органы выходить... И как начал этот следователь чесать, у меня в ушах засвистело! «Так и так, нам всё известно! Как вы рабочим фиктивные наряды выписывали, а потом принуждали их деньги отдавать! Предъявляется обвинение по статье такой-то, распишитесь! Учтите, срок по ней до восьми лет! И здесь распишитесь — подписка о невыезде!» И еще бумажку сует: «Могу облегчить вашу участь, оформить как явку с повинной». У них, оказывается, для этого и бланк специальный отпечатан. А глаза у следователя — пустые-пустые. Чувствую, долбит он это всё на автопилоте, а так — ему на меня плевать...

Теперь и Григорьев опустил голову. Боялся почему-то взглянуть на Димку. И мысли приходили какие-то странные. В шестнадцать-семнадцать лет, — думал Григорьев, — нам казалось, что мы будем жить в большом, открытом мире.

Наша готовность плыть сразу во всех его потоках была сродни жажде каких-нибудь юных бальзаковских честолюбцев этот мир завоевать. Только мы были бескорыстны... А когда, побитые, мы поняли настоящие правила игры, то отказались их принять. Мы предпочли отступить, замкнуться в своей работе, в кругу своих друзей. Мы сдались. Ну, может быть, я еще не сдался, потому что пишу, хоть это самая безнадежная форма борьбы. Но Марик, Димка — они же капитулировали. Они сами так считали. За что их мучить?

А Димка продолжал:

— Пошла, значит, у нас задушевная беседа. Поп — свое, а черт — свое. Он мне: «Признавайтесь! Рассказывайте, как было!» А я ему: «Всё клевета! Ничего не было!» Бились, бились, бились на одном месте... Чувствую, у него автопилот устал. Начал он в рассеянность впадать. «Да-а, — говорит, — а интересная всё же у вас профессия. Видел я в одном музее диораму "Ленинград. Январь 1944-го". До чего здорово сделано!» Меня — как током дернуло: вот тебе, думаю, удостоился похвалы, вовремя и к месту! Это ж как раз моя работа: на заснеженной Неве крейсера, вмерзшие в лед, башни развернули, орудия подняли — и прямо над крышами, через весь город, бьют по фашистам, артподготовку ведут к наступлению. А по мостам идут трамваи. И на пустых набережных — считанные прохожие в телогрейках и шинелях. Стоят и смотрят...

— Сказал ему? — спросил Григорьев.

Димка усмехнулся:

— Сказал... «Знаю, — говорю, — такую диораму. Там крейсер "Максим Горький" стоит во льду у моста Лейтенанта Шмидта и ведет огонь. Это я ее делал!» У следователя в глазах какая-то осмысленность появилась. «В вашем цехе, — переспрашивает, — делали?» — «И в цехе, — говорю, — и сам я делал». — «Как рабочий, что ли?» — А меня уже такая злость взяла, что на всё плевать, пусть хоть голову рубят! Кричу на него: «И как рабочий, и как художник, и как столяр, и как что хотите! Вечерами в цехе оставался и делал!!» Посмотрел он на меня, посмотрел. И чувствую, всё понял... Глаза отвел в сторону. Потом говорит: «Пятнадцатого января это было». — Я сразу не врубился. «Что, —

спрашиваю, — пятнадцатого января?» — «Утром пятнадцатого января "Максим Горький" стрелял от моста Лейтенанта Шмидта главным калибром. А я, блокадный мальчишка, стоял на набережной и смотрел. Глохнул, замерзал, а уйти не мог. Стоял, и смотрел, и плакал...»

Димка выпил. Тяжело отдышался от водки. Покачал головой:

— Вот, значит, как всё обернулось. Мы со следователем друг на друга не глядим. И молчим оба. Потом он говорит: «На кого ты наряды выписывал за свою работу, я знать не хочу. Их фамилий мне не надо. Но, чтобы дело закрыть, написать, что факты не подтвердились, я должен буду к вам на комбинат приехать. Порыться в бумагах, с рабочими побеседовать. Ты мне только одно скажи: надежные это люди, не выдадут тебя, не проболтаются?» — «Надежные, — говорю, — не выдадут». — «Тогда и стукачи ваши ничего не докажут. Но ты, — говорит, — учти...» — Димка поморщился, слова давались ему с трудом: — «...Как только, — говорит, — я дело закрою, ты с комбината сразу увольняйся по собственному желанию. Чтоб духу твоего там больше не было! Пойми: откроется дело снова, оно уже вряд ли ко мне попадет. Хрен знает, какому следователю достанется. Да хоть бы и в мои руки опять попало. Второй раз тебя прикрыть и я не смогу».

Мы больше не будем прежними, — думал Григорьев. — Черт возьми, такие мысли и раньше приходили в голову! Стоило судьбе встряхнуть кого-то из нас посильнее, и казалось: вот она — грань молодости, беспечности, дальше мы пойдем умудренные. Пойдем сквозь минное поле жизни, обдумывая каждый шаг и радуясь ему. А потом это настроение размывалось в житейской суете... Почему кажется, что теперь мы уж точно изменимся?

— Смотри-ка, — вдруг удивился Димка, — сколько сидим, одну «мегатонную» втроем прикончить не можем!

Но история с Димкой была не переломом, а только предвестьем. Настоящий перелом случился в его, Григорьева, собственной жизни. Почти два месяца спустя. В начале августа того самого, дважды юбилейного 1977-го.

Он вернулся из командировки в приподнятом настроении — успел на день рождения Нины! Ей исполнялось тридцать два. Кажется, зачем было спешить? В последние месяцы они почти не разговаривали. А вот, всё равно — соскучился за две недели отлучки. И торопился. И на что-то надеялся.

В недрах его потрепанного портфеля втиснулся между папками бережно завернутый пакетик с подарком — двумя парами финских колготок. Нина всегда жаловалась, что колготки так легко рвутся, всегда искала именно финские. А он был проездом в Москве и, отстояв часовую очередь, купил их в «ГУМе». А в «Детском мире» купил для Алёнки куклу из ГДР с набором кусочков ткани и картинками выкроек — самой шить кукольные платья. По дороге всё думал: не рано ли будет для девочки шести с половиной лет? Можно ли давать ей в руки иголку? Решил посоветоваться с Ниной и, может быть, чудесную коробку с куклой спрятать от Алёнки на годик-другой.

С порога квартиры его холодком облила тишина. Он не особо удивился: Алёнка, должно быть, у тещи, Нина — ушла куда-нибудь. Но что-то необычное, непонятное ударило в глаза уже в ванной комнате, куда он зашел первым делом вымыть с дороги руки и лицо. Не сразу и догадался, что случилось. Потом сообразил: с полочки над раковиной исчезли разноцветные флаконы с душистыми шампунями, а в пластмассовом стаканчике для зубных щеток сиротливо стояла одна-единственная щетка — его собственная.

Он выскочил из ванной, заметался по квартирке, ничего еще толком не поняв, но сверхчутьем осознав всё сразу, пронзительно, до отчаяния. Рванул створку шкафа, окинул взглядом опустевшие полки, где всегда лежали свитера и кофточки Нины. Распахнул другую створку — и ошалело уставился в пустоту. Его еще овеяло слабым запахом духов, оставшимся от ее платьев, прежде тесно здесь висевших...

Кажется, он стонал или что-то кричал, выгоняя из груди обрывную дурноту падения. Стены, стулья, потолок, этажерка, с которой исчезли алёнкины игрушки, — всё вокруг перекашивалось ударами, изломами. Растрескался крохотный

и безразличный для огромного мира кристаллик его жизни, но трещины от этого разрушения брызнули тонкими и уже нескончаемыми молниями, дробя весь вселенский монолит.

В квартирке было душно. Он заметил, что Нина, уходя, оставила форточку закрытой, рассердился на нее за это, и ужаснулся нелепому своему гневу. А в мозгу, тоже нелепо, бились строчки, вдруг прорвавшиеся из глубины памяти, из давнего, юношеского, почти забытого предчувствия судьбы. Так вот что значили те слова о книгах-черновиках, которые приходится набело переписывать в жизни!..

Наконец, заметил на столе двойной тетрадный листок, исписанный аккуратным, крупным почерком Нины. Повалился на стул, потянул листок поближе. Никак не мог заставить себя начать читать. Скользил взглядом по одним и тем же строчкам. Наверное, она тоже извела немало черновиков, прежде чем написать всё так чисто. Наверное, даже плакала от жалости к нему и к себе.

«Больше не могу... — читал он. — Самый решительный шаг в моей жизни... Прости, если можешь...» Это «прости» повторялось в письме не меньше десятка раз.

А в общем, всё она с женской практичностью обдумала и перечислила: «Алёнку ты будешь видеть, когда пожелаешь. В моей квартире можешь остаться, мне жилплощадь пока не нужна...» (Его как по лицу хлестнули эти слова — «моей» и «пока». Хоть, конечно, и сам не забыл бы, что кооперативная квартирка принадлежит ей.) В конце стоял номер телефона, по которому ее можно теперь найти.

Ночь он не спал, а утром, с больной головой и гудящими как под током нервами, позвонил вначале на работу, чтобы оформили два отгула, потом, собравшись с духом, — Нине.

Слышать ее голос в телефонной трубке было невероятно и невыносимо. Впрочем, она только отвечала, испуганно и односложно — «да», «нет». Назначил ей встречу на следующий день в ресторане. Так почему-то взбрело ему в больную голову, а Нина покорно согласилась.

Затем отправился к своим родителям. Разговор с ними был мучительней всего предстоящего, и с этим он хотел раз-

делаться как можно скорее. Мать расплакалась, убежала на кухню. Отец хмурился и каменно молчал.

Марика не было в городе. Абитуриенты, которых он натаскивал, уже сдали вступительный экзамен по математике, получили пятерки, и Марик, взяв у себя в проектном отпуск, уехал на дачу. А Димка оказался на месте, один, без Стеллы с Катькой. Вечером Григорьев к нему и отправился.

Хотел рассказать о случившемся постепенно, с подготовкой, да в очумелом своем состоянии выпалил всё сразу, с порога.

Димка пренебрежительно хохотнул: глупые, мол, у тебя шутки! Но тут же, при взгляде на Григорьева, остолбенел. Рот у Димки раскрылся, зеленые глаза сделались огромными и круглыми. Только что не выпучились, как у лягушки.

— Ну, шалава... — проговорил Димка. — Ну, сучья душа...

В глазах его метнулся было испуг: ведь это про жену друга! Но Григорьев понуро молчал, и Димка, уже не сдерживаясь, схватился за голову:

— Ой, блядища!!!

Потом он хлопотал вокруг мешком осевшего за столом Григорьева:

— Сейчас, сейчас! Ты только не волнуйся! В магазин поздно уже, но мы не пропадем! Нет, не пропадем! Как Карлсон учил: спокойствие, только спокойствие!

Притащил и бухнул на стол большую темную бутылку:

— Сейчас разведем! Будет лучше всякой водки! Это чистейший спирт, мы им лаки разбавляем. Чувствуешь, нисколько сивухой не пахнет!

Сивухой от димкиного спирта, действительно, не пахло, а пахло чем-то вроде канифоли. Но Григорьеву было всё равно.

— Всё же, ты сам виноват! — говорил захмелевший Димка. — Вы, женатые, ни хрена в бабах не понимаете. А я — старый, закаленный холостяк, я ихнюю породу изучил до костей. Вот ты — любил ее?

— Любил... — бормотал Григорьев.

— А их любить нельзя! Во-первых, просто не за что, а во-вторых — нельзя! Баба от любви портится, как овощ от

жары. Гнилые мысли появляются. Ты на нее смотришь, разинув рот, а она думает: это не оттого, что он такой дурак, — хоть во всем остальном она тебя, конечно, дураком считает, — это оттого, что я такая необыкновенная. Мэрилин Монро и Софья Ковалевская сразу! И тут же у нее в курином мозгу свербит: раз так, значит, мне жизнь недодала, значит, мне этого дурня мало... Вот в чем главная их подлость! Если мужика любят, он от этого думает, как бы ему получше СТАТЬ. Поумнее там, посильнее, сотворить чего-то. А если бабу любят, она, зараза, думает: где бы мне кого получше НАЙТИ!

— Нет, — пытался возражать Григорьев, — ты не прав.

— Еще как прав! Тебе хоть известно, к кому она сбежала?

— Ну, она написала... Я его знаю немного. С соседней кафедры, доцент.

— Старый?

— Ну, пожилой. Лет сорок пять.

— Значит, из-за денег! — решительно сказал Димка.

— Ну, при чем тут деньги? Просто мы с ней всегда жили разными интересами.

— Ой, не смеши! Ну какие У БАБЫ — интересы!

Они долго сидели, пили. Потом Димка хмуро рассказывал о себе:

— Почему не уволился? А куда я пойду? В клуб какой-нибудь, транспаранты писать «Решения съезда — в жизнь», да афиши рисовать для киносеансов? За семьдесят рублей? Да и что уходить: этот, с железными зубами, блокадник, дело закрыл, всё вроде притихло... Директор, правда, крысится. Как будто не он меня сдать пытался, а я его. И с моими ребятами, на кого наряды выписывал, тяжко стало. Не выдали меня, молодцы, а чувствую — противно им. Да кому не противно станет, если через допрос протащат?.. А те, что стучали, суки, от меня вообще по углам прячутся. Я и сам их стараюсь обходить, а то, боюсь, не выдержу, залеплю в морду.

— В бригадиры-то перевели?

— Перевели, по заявлению, — Димка махнул рукой. — Да тоже по-дурацки. С временным исполнением обязанностей

начальника цеха. У нас один парень из планового отдела на заочном в экономическом учится, скоро на диплом уйдет. Директор сказал: вот, вернется он после защиты и примет цех. А ты — потерпи напоследок. Ну, я ж теперь обосраный, терплю.

Как ни был Григорьев оглушен собственной бедой и дурным спиртом, в мозгу струйкой пролился холодок тревоги.

— Димка! — сказал он. — Что ж получается: директор на тебя злится, а сам заставляет еще в начальниках послужить?.. Димка! Ты, когда заявление в бригадиры писал, ему грозил? Помнишь, ты кипятился на их аферы?

— Да всякого наорал, конечно, — хмуро ответил Димка. — Так я ж какой заведенный был! Тебя бы в «Большой дом» стаскали... И про ихние трудовые соглашения орал. Что не советую больше меня топить, а то могу кой-кого с собой утянуть, барахтаясь. Мне-то известно, как они торгашам на квартирах и дачах Эрмитаж делают. К заказчикам в Баку-Тбилиси, бригады целые посылают в командировки.

— Димка! — ужаснулся Григорьев. — Черт тебя за язык тянул!

— А что ж мы, по-твоему, сапоги у всяких сволочей должны лизать? Ах, спасибочки, что вы, сволочи, нам, людям, еще дышать позволяете!

— Димка! — закричал Григорьев. — Увольняйся, беги оттуда!

Молнии трещин, расколовшие мир и для других пока невидимые, резали, резали предчувствием беды.

Димка отмахнулся:

— Во, ты тоже паникер стал, вроде Тёмы. Беги! Я на комбинате свое дело делаю. И получаю уже, как бригадир, законные четыреста... Правда, — Димка запнулся, — если честно, диорамы эти мне уже надоедать стали.

— А чего бы ты хотел?

Димка подумал, подумал. Ухмыльнулся:

— Мало ли, кто чего хочет! Я бы, может, в свободные художники хотел. Есть ребята: сидят сторожами, вахтерами, за копейки, а сами — рисуют. На выставки не пускают их, так они по квартирам свои выставки устраивают, друг для друга.

Я видел, интересно... — Димка нахмурился: — Был бы один, может, к ним и пошел бы. А так — не могу в нищету бухнуться. Я ж семейный, на мне Стелка с Катькой... Ничего, сколько терпел в начальниках, покручусь еще годик. А цех сдам, останусь с одной бригадой, — всё и рассосется.

Вдруг лицо у Димки просветлело:

— Я — семейный, зато у нас теперь ты холостой! Свободный, как ветер! Еще горюет, мудила, счастья своего не понял. А ну, наливай за свободу!

На следующее утро он сидел напротив Нины за столиком в небольшом ресторане. Ленинград — не Париж, но в будний день, сразу после открытия, и здесь в ресторанах бывает достаточно свободно и тихо.

От димкиного «чистейшего спирта» разламывалась голова, даже глаза болели. И к горлу из желудка отдавало канифолью. Поэтому вначале сидел отупевший. Пытался завестись («Дрянь, шлюха, устроила всё, как в пошленьком анекдоте!»), но похмелье раздавливало чугунным прессом, и он молчал.

А Нина не понимала его спокойствия, нервничала. Потом стала беззвучно плакать, отворачивая лицо к стене, ловя слезы в платочек. Прекрасные голубые глаза, конечно, тут же покраснели, веки распухли. Но темная тушь на длинных ресницах не размазывалась. И он почему-то думал об этой туши: если она не растворяется, как же смывают ее женщины?

Понемногу разговорились, тихо, вполголоса. И — самое удивительное — говорить оказалось словно бы не о чем. Всё решили быстро.

Он не удержался от издевки: если она торопится с разводом, в графе «причина» нужно написать «половая несовместимость». С такой формулировкой разведут мигом, без всяких вопросов.

Она не обиделась. Ее скорее пугало его язвительное спокойствие. И только тогда, когда, разволновавшись, она пробормотала что-то об алиментах, — чтобы он ничего не платил, потому что она и ее новый муж получают гораздо боль-

ше, — когда, мгновенно разъярившись, позабыв, где они находятся, он грохнул кулаком по столу и закричал: «Нет, будешь брать!» — а потом еще громче: «Перемен захотелось?! Соб-бытий?! Дура!!» — только тогда словно с торжеством блеснули ее голубые глаза и отразилось на лице нечто похожее на облегчение. Как будто она дождалась от него именно того, чего хотела.

— 15 —

— Алечка! Ну, это же неправда! Ты знаешь, как я живу.

— Что я знаю? Что у тебя тяжелая работа и тебя не хотят печатать в каких-то идиотских журналах? Ну и что? Всё равно, ты всем доволен!

— Не понимаю, что тебя раздражает, Алечка. Ну, я работаю, делаю то, что в моих силах...

— Ты всем доволен, — повторила она. — Ты стонешь: ах, как тебе тяжело, с работой, с литературой, — но ты приспособился к этой жизни. Ты сам ее укрепляешь. На таких, как ты, всё это и держится!

— А иначе бы всё развалилось, Алечка.

— Пусть развалится! Пусть будет что угодно, только не так! Не так, как у тебя: всё на своих полочках, не дай бог сдвинется. И я на своей полочке. Я больше так не могу!..

Лектор из райкома говорил о похищении и убийстве Альдо Моро. Сидевшие в первом ряду старички-политинформаторы спешно строчили в своих блокнотах, кивая седыми и лысыми головами.

А это уже конец семидесятых. 1978-й год. Действительно, черт знает что в Италии творится! И мафия у них, и неофашисты, и эти ненормальные «красные бригады». Вспомнился недавний итальянский фильм «Задержанный в ожидании суда» с великолепным Альберто Сорди. О том, как арестовывают невиновных и в тюрьме издеваются над ними.

— ...Очень показательна беспомощность буржуазно-демократической Фемиды. И эти люди, — лектор повысил голос, — пытаются еще нас поучать: как нам, товарищи, жить в нашем собственном доме!

И в самом деле, что там за демократия, если итальянцы способны только возмущаться своей жутью, а изменить ничего не в силах? От безысходности, видно, и столько иронии в итальянских фильмах.

1978-й год. Вновь юбилейный: шестьдесят лет Советской Армии, и еще, и еще чего-то. Портреты Брежнева на улицах — громадные, красочные, с цитатами из его речей («Советские люди знают: там, где партия, там успех, там победа!») — примелькались настолько, что не вызывают больше раздражения.

Каждые несколько месяцев на экранах телевизоров появляется председатель госкомитета по ценам, — его уже знает в лицо вся страна, — и, с мрачной решимостью отчеканивая фразы, словно зачитывая судебный приговор, объявляет очередное повышение цен: на водку, на кофе, на хрусталь, на меха, на то, что «не является предметом первой необходимости». Глухим ворчанием и залпом тут же сочиненных анекдотов откликается население, а глядишь, через пару недель, самое большее через месяц, всё уже обвыклось, притерпелось и словно позабыто. Способность мгновенно привыкать стала почти такой же рефлекторной, как сужение и расширение зрачков от света.

Вот и сам Григорьев: думал, жить не сумеет без Нины, — а года еще не прошло, и сердце еще покалывает от воспоминаний, — но кажется уже, будто он давным-давно холостой, одинокий, постоялец в чужой квартире и раз в месяц приходящий отец собственной дочери. Он — привык.

И привык жить с ощущением растрескавшегося мира. Линии разломов, пронзивших мироздание, почти не были видны, и глыбы, разделенные ими, сдавлены были еще так плотно, что гляделись монолитом. Конечно, они уже начали едва заметно расползаться, шурша, поскрипывая. Но их движение, хоть и воспринималось многими, пока не вызыва-

ло страха. Смещение казалось геологическим, медлительным до бесконечности. Во всяком случае, в измерениях человеческой жизни. Вот только давил растрескавшийся свод всё сильней...

Еще чаще, чем прежде, ему приходилось бросать работу над новыми темами и вылетать в командировки по старым, серийным изделиям. Давно отлаженные приборы вдруг начинали отказывать, потому что везде старело оборудование, уходили на пенсию опытные работники, ухудшалось сырье.

Это уже и не скрывалось. Почти в каждом номере каждой центральной газеты можно было теперь наткнуться на статью о бедственном положении в какой-нибудь отрасли. Читать было тягостно. Больше всего угнетали даже не факты, а безысходный тон самих публикаций.

Не одни итальянцы утешались иронией. В собственном отечестве тоже наступило время иронии. Казалось, на просторах всей великой страны у двухсот пятидесяти миллионов населяющих ее людей остался один-единственный камертон мыслей и настроений — шестнадцатая полоса «Литературной газеты». Нельзя было не восхищаться талантом юмористов: подобно музыкантам, которым для самого сложного исполнения достаточно трех-четырех струн, они из нескольких считанных тем, дозволенных к осмеянию — пьянства, спекуляции, халтуры, мелкого бюрократизма, — извлекали бесчисленное множество уморительных, сногсшибательных афоризмов, стишков, рассказиков, даже повестей с продолжениями. И умудрялись сказать почти всё.

Хотя, если вдуматься, не на нескольких струнах играли они, а, как истинные виртуозы, всего на одной. И страшен был тот единственный смысл нескончаемого фейерверка остроумия: откровение о том, что в этой стране теперь — всем на всё плевать.

Но никто не пугался, все смеялись. Каждая новая порция шуточек «Литературки» мгновенно разлеталась от Прибалтики до Тихого океана. Их с хохотом пересказывали и забулдыги у пивных ларьков, и заместители министров в сверкающих московских кабинетах. «Нерушимое единство советского народа», похоже, и в самом деле оказалось достигнуто.

1978-й год. Ощущение растрескавшегося мира. Под телерадиозвоны и заклинания газетных передовиц об очередной «пятилетке качества», под крики тревожных статей, упрятанных на четвертые-пятые полосы тех же самых газет, под хохот юмористов «Литературки», — с медлительностью геологического сдвига и с той же неуклонностью, — огромная страна утрачивала способность работать.

О чем это рассказывает лектор? Да, планета 1978 года бурлит, бурлит. «Не надо войны, занимайтесь любовью!» — призывали хиппи в шестидесятые, в эпоху Вьетнама. Но человечество их не послушалось.

Толчок в бок тяжелым круглым локтем и громкий шепот:

— Не спи! Думай! Ты мне к-когда еще хвалился идей набросать?

Это сидящий рядом Сашка Линник. Он здорово располнел, причем так равномерно, словно его надули: полные щеки, толстая шея, пышные плечи и бочкообразный торс. Меньше стал заикаться, говорит снисходительным начальственным тоном. Начальник он и есть. В сложной и запутанной иерархии НПО — начальник небольшой, зато почти независимый. Командует сектором товаров народного потребления.

Когда партия и правительство, озабоченные дефицитом нужных народу вещей, потребовали резко увеличить их выпуск, из министерства предприятию спустили план. Для выполнения плана срочно организовали сектор во главе с Сашкой. А уж Сашка немедленно принялся трясти и толкать Григорьева. План-то был не в чем-нибудь — в рублях. Только придумай: что можно наклепать и наштамповать на имеющемся оборудовании из доступного сырья. Придумай что хочешь, лишь бы натянуть заданную сумму, — и получай премию!

Вот Сашка и добивался, чтобы Григорьев ему придумал. Впрочем, он и к другим приставал.

— Я тебе предлагал, — шепнул Григорьев, — зажигалки.

— Не-н-не пойдет! — закрутил головой Сашка. — Там деталюшки мелкие, у нас ст-танков нужных нет.

— А давай — настольные зажигалки. Знаешь, такие бывают? У них детали крупные.

Сашка Линник задумался. Потом сказал:

— Я т-теперь член п-профкома. Завтра там целый день п-промудохаюсь. Давай, послезавтра п-потолкуем.

Молодец, молодец Сашка! Он и по общественной линии подрос.

А лектор уже говорил о Китае:

— Два года после смерти Мао ничего не изменили в гегемонистской политике Пекина...

Перед Григорьевым на месте красавицы-великанши Любы Шестопаловой сидела тоненькая, темноволосая Галя Слободкина из отдела информации. Люба в декретном отпуске нянчила младенца. Материнство ее после долгих лет замужества стало на предприятии сенсацией. Утверждали, что в бездетности повинен был дистрофик-муж, и когда это выяснилось, Люба с его благословения тщательно подобрала отца будущего ребенка — и завлекла.

Ах, эти нескончаемые сплетни, будоражащие мирок отделов и лабораторий, точно пузыри, бурлящие в котле, где несколько сот мужчин и женщин вместе варятся год за годом! И его, Григорьева, развод стал такой же сенсацией. Он, конечно, никому ни о чем не сказал бы, но — ежегодная перепроверка личного дела у кадровиков, но — исполнительный лист на алименты в бухгалтерии. Не скроешься! И то, что он упорно уклонялся от расспросов, только накаляло общее любопытство, порождало, наверное, всякие причудливые версии. Занятно было бы самому их послушать.

Кое о каких пересудах он, впрочем, догадывался. Улавливал их сверхчутьем. Сослуживцы бились над загадкой: как он теперь устраивает свою личную жизнь, а попросту — с какой женщиной спит? В основе лежала аксиома: не может нормальный мужик тридцати одного года существовать без постоянного любовного удовлетворения.

От мыслей таких он в самом деле ощутил томление. И вспомнилась красавица Люба, ее мощный бюст, литые полушария бедер. Ведь строила ему глазки, строила! Черт возьми, если она и вправду подыскивала отца для своего ребенка, могла бы обратиться к нему. Уж он бы постарался...

Кто-то из политинформаторов поднял руку, попросил объяснить, что такое «дацзыбао». Ну-ка, послушаем. Нет, ничего особенного лектор не сказал. То, что из газет известно: самодельные плакатики, в которых простые китайцы выражают свои протесты и требования. Интересно, однако, что власти китайские не препятствуют. Не срывают «дацзыбао», не арестовывают тех, кто пишет, не разгоняют читающих. У нас бы так попробовали!

— Клапан, — усмехнулся лектор. — Наследники Мао играют в демократию.

Галя Слободкина обернулась к Григорьеву со своим блокнотиком:

— Как правильно пишется «дацзыбао»?

Как будто сама не знает! Придумала вопрос, чтобы взглянуть на него, улыбнуться ему. Галя — его ровесница, у нее теплые карие глаза, милое личико. Она не замужем. Раньше она всегда была с ним приветлива, но и не больше. А в прошлом году, — вначале с удивлением, — заметил он, как Галя волнуется, когда встречает его. И догадался: как раз в это время на предприятии стало известно, что он развелся.

Удивительно всё же устроены женщины! Разве черный штамп о расторжении брака, который ляпнули ему в паспорт, что-то изменил в нем самом? Не стал он красивее, и ума не прибавилось. Но этого оказалось достаточно, чтобы в глазах той же Гали Слободкиной предстать другим человеком. Чтобы она, такая умная, деликатная, ИСКРЕННЕ потянулась к нему, прямо-таки озарялась радостью, когда он заходил к ним в отдел.

Онегинская ситуация: «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел; когда б мне быть отцом, супругом приятный жребий повелел... то верно б кроме вас одной невесты не искал иной». С такой, как Галя, нельзя просто «встречаться», то бишь спать время от времени. С ней даже позволить себе легкую шуточку в разговоре — и то боязно, чтобы не ранить. На такой, как Галя, можно только жениться.

А он теперь жениться — не хочет, не хочет! Побыл «отцом-супругом», юнцом несмышленым угодил в эту лямку и десять годков ее честно протащил, дайте передохнуть! На

четвертом десятке, брошенный женой, он, представьте, открыл бесценные достоинства в холостом состоянии, да еще при наличии отдельной квартирки. И не в том дело, что после стольких лет верности холодной, отчужденной Нине вдруг получил возможность выбирать женщин, самоцелью для него это никогда не будет. Но главное — привольно ему холостому, дышится легче.

— ...Свобода и независимость! — донесся голос лектора.

Вот именно: свобода и независимость. Хотя бы свобода по вечерам сидеть в одиночестве и писать свои рассказы, не испытывая ощущения, что занимаешься чем-то постыдным для семейного человека. Так что, Галя, прости. В других обстоятельствах сам бы в тебя влюбился. А в нынешних — приходится, виновато улыбаясь, объяснять, как по-русски пишется китайское слово «дацзыбао» (словно это тебе нужно!).

И вдруг — вспомнилась Стелла. Вспомнилась так тревожно, с таким чувством вины, что едва дождался, когда Галя отвернется наконец, и тогда уже дал себе волю — зажмурился и головой замотал.

Стелла... В нынешнем 1978-м уже тридцативосьмилетняя, с множеством серебряных сединок, которые так заметны были в ее темных волосах и которые она даже не пыталась закрасить, с подурневшим личиком и худеньким телом. По-прежнему она с подросшей Катькой жила вместе с Димкой в той же самой разгороженной комнате коммуналки. За прошедший после развода год Григорьев приезжал к ним несколько раз. И ни словечком Стелла не обмолвилась о переменах в его судьбе, только вела себя еще сдержанней, чем прежде. Григорьев думал вначале: Стелла просто боится, как бы он ее не заподозрил в несбыточных надеждах на свой счет. Но оказалось, понимал он далеко не всё.

В конце августа он приехал с подарками для Катьки, собиравшейся во второй класс. Коробку фломастеров девочка приняла спокойно («Спасибо, дядя Женя!»). Но когда увидела детские часики в цветном пластмассовом корпусе, по виду яркую игрушку, а на деле самые настоящие, — то запрыгала от восторга.

Димка уставился на дорогой подарок и даже заворчал:

— Ну, ты мне совсем племяшку разбалуешь!

Григорьев смущенно улыбался. Часики эти, последнюю новинку, он купил для своей Алёнки-первоклассницы. Но когда Алёнка вышла к нему из дома, где теперь жила (в условленное время Нина ее выпускала с ним погулять), у нее на ручонке уже красовались точно такие. Вроде — пустяк, совпадение, а у Григорьева потемнело в глазах. Как будто Нина со своим новым муженьком лишний раз исхитрились его унизить.

Когда расстался с Алёнкой, выхватил часики из кармана и с досады чуть не дрызгнул об асфальт. Да вовремя вспомнил про Катьку и повез ей. Оттаял немножко, глядя, как девчонка скачет, а Димка притворно хмурится.

И тут — будто холодной воды плеснули за шиворот: увидел на лице у Стеллы, державшейся поодаль, странную усмешку. Словно догадалась она обо всем.

А когда он собрался уходить, Стелла неожиданно двинулась за ним: «Провожу тебя до метро. Мне всё равно в магазин идти». Так, впервые за много лет, он оказался с ней наедине.

Вначале Стелла шла по улице молча. Остро и легко цокали по асфальту каблучки. Он даже удивился, какая у нее легкая, молодая, ПРЕЖНЯЯ походка. Шагал рядом и покорно ждал.

Наконец, она заговорила. Не оборачиваясь к нему, глядя вперед, словно сама с собой:

— Дима сейчас с латышскими художниками работает. Они сказали, в Риге выходит газета... Название по-ихнему, нам не произнести, но сама — на русском языке. Печатают брачные объявления. Похоже, как у нас в Ленинграде по обмену квартир. Только у нас пишут про комнаты, сколько метров имеешь, какую жилплощадь хочешь, а там — про себя. Лет сколько, внешность, характер, — она усмехнулась, — будто кто про свой характер правду скажет. И какого мужа ищешь. Или — жену, если мужчина пишет. Чудеса! И объявления принимают не только с Латвии, а со всего Союза.

Григорьев молчал, еще не понимая, куда она клонит. А Стелла продолжала, по-прежнему не глядя на него:

— Дима и начал ко мне приставать: давай, мол, давай, напишем про тебя. Может, кто и найдется подходящий. Женишок...

— Что, избавиться хочет? — попробовал пошутить Григорьев.

— Жалеет, — спокойно ответила Стелла. — Жалеет меня Димочка. Так же, как и ты.

Григорьев сразу осекся.

— А меня жалеть не надо! — в голосе ее зазвучали резкие, злые нотки, точно пилой провели по проволоке. — Да если б только хотела, я бы себе нашла. Без всякой латышской газеты. Не веришь? Вы с Димочкой, хоть и мужики, а ничего не смыслите! Уж если твоя камбала мороженая себе кого-то нашла, так неужели я бы не сумела?

Григорьев не сразу и понял, что камбала — это Нина.

— А я не хочу, — сказала Стелла. — Ни замуж, ни просто так. Тоже не веришь? Ну и не верь!.. Если б, конечно, полюбила кого-нибудь, тогда другое дело. Но этого больше не будет. Отлюбила свое. Обгорело всё вот здесь, — она показала рукой куда-то чуть пониже горла. — А то местечко, что не обуглилось еще и живое, то занято. Все, кого люблю, и так при мне. — Она помолчала и через несколько шагов сказала: — Все. Катька, Димочка и ты.

Он повернулся, растерянно уставился на ее остренький птичий профиль. Она только рукой досадливо махнула на ходу:

— Молчи! Как будто сам не знаешь. Всё знаешь и боишься. Не бойся. Ничего от тебя не потребую.

— Стелла... — выговорил он.

И вдруг она засмеялась:

— Мне лет одиннадцать-двенадцать было, меня все Талечкой звали, потому что — Сталина. А тут по радио начали каждый день дуэт исполнять. Помнишь, может быть? Певец поет: «Стелла, ты всегда и повсюду со мно-ой!» А певица отвечает: «Мой родно-ой!» Так я в Стеллу и превратилась. Это из какой оперетты?

— «Вольный ветер», Дунаевского. Я помню.

Она кивнула задумчиво. Сказала:

— В театр как хочется, сто лет не была. Со школы, правда. Ты пригласи меня когда-нибудь. Только не бойся.

— Конечно, приглашу. И ничего я не боюсь. Я тоже люблю тебя.

Она искоса взглянула на него, усмехнулась, взяла под руку. И они пошли медленнее, соединенные друг с другом. Его локоть порой прикасался к ее груди, но, казалось, она этого не замечает.

Неожиданно спросила:

— А что у тебя за секреты такие?

— Какие еще секреты?!

— Ну, я же слушаю, как вы с Димой беседуете. Я же чувствую: ты что-то про себя не договариваешь.

— Ах ты, сыщик мой милый.

— Так не говори: нельзя! Я только потому спрашиваю, что беспокоюсь. Не болеешь?

— Слава богу, здоров. — И вдруг как-то легко признался ей в том, что до сих пор не решался открыть ни Марику, ни Димке: — Я пишу. Рассказы и даже стихи. — Все-таки запнулся от смущения, попытался обратить дело в шутку: — Вот докатился до чего!

Стелла удивилась, но совсем не так, как он ожидал:

— А чего ж тогда стесняешься? Принес бы ребятам и мне.

— Я не хочу в рукописи, это смотрится совсем по-другому. Вот, если напечатают.

— Понятно, — сказала она.

— Так что, Димке не говори пока.

— Не скажу, — согласилась Стелла. — Будет у нас с тобой тайна. Еще одна.

Григорьев чуть было не спросил, какая же — первая. Да вовремя прикусил язык.

А когда подходили к станции метро, Стелла вдруг сказала шутливым тоном:

— Вот поймала бы я тебя тогда на слове!

— Когда?

— А когда ты мне жениться предлагал.

Он потупился:

— Может быть, только лучше и было бы?

Она освободила его руку. Взглянула в упор своими чуть выпуклыми темно-зелеными глазами, совсем прежними. Потом зажмурилась, так что стали заметней морщинки в уголках глаз, и отрицательно покачала головой:

— Нет.

— Почему?

— Потому что, сам говоришь: сейчас любишь меня. А так бы — ненавидел.

Приподнялась на цыпочки, быстро поцеловала его в щеку и сразу подтолкнула к дверям метро:

— Ну всё, иди, иди!

...А лектор по-прежнему говорил о тревогах и проблемах 1978-го, но, кажется, уже о чем-то неинтересном. Григорьев прислушался: а, о революции в Афганистане. Там весною свергли еще одного нашего друга, но к власти пришел совсем уж прогрессивный режим. Ну и ладно.

Дверь приоткрылась. В кабинет виновато проскользнул опоздавший политинформатор, и лектор недовольно поморщился. Не потому, что рассердился на вошедшего, а потому, что сквозняк донес скверный запах из коридора. Напротив кабинета политпросвещения находился намертво засоренный и загаженный туалет: в его смывные бачки не поступала вода.

Еще одна примета времени, примета конца семидесятых: то, что сломалось, уже не исправляется, будь то старый пресс в штамповочном цехе или туалет в заводоуправлении. Вначале пытаются чинить (водопроводчики в туалете возились), но потом, поковырявшись, бросают уже навсегда, в безобразии и безнадежности. Как говорит Марик, «энтропия возрастает».

Вдохнувший энтропии, раздраженный лектор стал клеймить египетско-израильский сговор:

— Этот преступный мир куплен на деньги империализма и сионизма! Президент Садат предал, а точнее — продал, дело справедливой борьбы арабских народов!

Возможно и продал. Интересно только узнать, сколько миллиардов мы сами вбухали в тех же геройских арабов за

четверть века? Наверняка, хватило бы, чтоб выстроить для всех обещанные программой партии отдельные квартиры. И Димка не маялся бы в одной комнате с сестрой и маленькой племянницей, и он, Григорьев, не жил бы в «кооперативке» бывшей жены.

Отец был этим страшно недоволен, требовал вернуться домой, ничем не хотел быть обязан Нине. Приходилось успокаивать старика, объяснять, что сын его ничуть не унижается. Он просто, как теперь говорят, без комплексов. Потребует Нина, чтобы он убирался, и выселится мигом. А пока — ему так удобнее.

Смещались, смещались осколки растрескавшегося мира. Движение их было почти незаметным, но напряжения, возникавшие в разломах, излучали импульсы ненормальности, фантасмагории, бреда...

Когда Григорьева осенью 1978-го пригласили на день рождения к Тане Шугаевой, он поначалу лишь слегка удивился. С мужем и женой Шугаевыми, Володей и Таней, учился он в одной группе. Особой дружбы не было, но память о студенческих временах сохранялась. В Новый год обычно звонил им, поздравлял, справлялся о новостях. В другие праздники — никогда. С чего это вдруг они его позвали?

Почему бы, конечно, и не позвать, все-таки за восемь лет после выпуска виделись всего пару раз, мельком. Но что-то беспокоящее сквозило в невинном, казалось бы, приглашении. В позапрошлом году, когда справляли тридцатилетие той же Татьяны, о нем и не вспомнили, а в этом, неожиданно: милости просим!

Правда, сейчас настоящая мания праздников и застолья. (Во всяком случае, у «выспавшихся», а Шугаевы теперь именно из них.) Не дата важна, а просто повод: собраться, чтоб выпить, вкусно поесть, потанцевать, повеселиться. Отчего бы для разнообразия и его в компанию не затащить?

Повеселиться... Для разнообразия... У него кровь бросилась в голову, даже лицо стало припекать, как в духовке. Володя Шугаев остался по распределению на кафедре вместе с Ниной. А Татьяна сейчас работает на другой кафедре, и начальник у нее — тот самый доцент. Значит, на день рож-

дения, почти наверняка, придет Нина со своим новым мужем. Значит, вот с каким умыслом заманивают его самого. Веселая компания «полубогов» предвкушает забаву!

Он задыхался от ярости. Вот же загнали в ловушку, мерзавцы! Откажется он, не пойдет, — потеха. Нине обязательно сообщат: звали, мол, твоего бывшего, да он испугался. А встретить Нину с новым супругом под жадно-любопытствующими взглядами всей оравы, оказаться в роли быка на их пакостной корриде... Да он не выдержит, у них на это и расчет!

Взбудораженный, почти не спал ночь, а утром поднялся с больной головой, но в каком-то бешеном спокойствии. Повеселиться решили, подонки? Очумели от жира и безделья? Не выйдет! Нас голой рукой не возьмешь!.. Полез искать колготки, купленные когда-то для Нины. Кажется, не выбросил их. Вот они, слава богу, нашел!..

Он специально опоздал на полчаса, чтобы все гости наверняка собрались. Подарок Тане в прихожей вручать не стал, прошел за ней в комнату. (Краем глаза выхватил среди гостей Нину с ее доцентом, словно ожог сетчатки ощутил.) И тут, перед всеми, звонко и длинно, чуть не взасос, чмокнул Татьяну в одну щечку, потом в другую, — и вытащил два ярких пакетика, на которых ослепительная финская красотка, изогнувшись, натягивала почти невидимые колготки на роскошные бедра:

— Супердефицит! Специально для тебя, Танечка, искал! — (Лицо стоявшего рядом Володи Шугаева слегка вытянулось.) — Вот с размером, боюсь, не ошибся ли, — озабоченно уставился на нижнюю часть сухонькой таниной фигуры: — Ну-ка, повернись!

И Татьяна от растерянности повернулась.

Григорьев некоторое время помолчал, в раздумье поглядывая то на пышные очертания рекламных ягодиц, то на плоскую танину попку. Даже скривился, так недоволен остался сравнением. Подумал еще, подумал — и махнул рукой: — А ладно, больше — не меньше. Скидывать легче будет. Бери, Танечка, бери!

(Очумелое лицо Тани, машинально протянувшей руку за подарком. Ее округлившиеся, как пуговицы, глаза и приоткрытый рот, забитый судорожным вздохом. Почему-то вспомнилось: «От первого щелчка лишился поп языка».)

Среди гостей прошелестел и замер испуганный смешок. Всё вышло, как он рассчитывал. Мельком отметил, будто сфотографировал, застывшее лицо Нины, даже не белое, а бело-синеватое, как разбавленное молоко.

— За стол, за стол давайте! — вскрикнул Володя Шугаев.

Ладно, — подумал Григорьев, — черт с вами, первый раунд мой! Он ощутил свою власть над компанией и подивился, как мало для этого нужно: всего-то — наплевать на человеческое, превзойти хамов в хамстве.

В упоении победы промешкал немного, и, когда пошел вдоль стола, рассевшиеся гости уже увлеченно набирали в тарелки мясные, рыбные, овощные салаты, подцепляли вилками маринованные огурчики, селедку, ломтики буженины. Он продвигался дальше и дальше, все стулья были заняты, везде спины, головы... И вдруг — буквально наткнулся на свободный стул и приглашающий жест: лысеющий блондин с живыми карими глазами смотрел на него сквозь стекла очков в тонкой оправе и любезно улыбался, указывая на место рядом с собой. Не сразу и дошло до сознания, что это не кто иной, как ненавистный доцент.

— Садитесь, садитесь! — уговаривал тот. — Раз встретились, давайте уж познакомимся.

За доцентом сидела Нина. Она только взглянула испуганно — и отвернулась. Григорьеву показалось, что среди съестных запахов, поднимавшихся над столом, он уловил аромат ее духов. И в тот же миг от победного настроения следа не осталось. Ярость опять заклокотала в горле. Ничего, выдержим! Он решительно сел и зачерпнул ложкой порцию салата из первой попавшейся вазочки.

А сбоку уже потянулась к нему рука с бутылкой. Голос доцента, исполненный готовности услужить, пропел над ухом:

— Коньячку?

Натуральный сумасшедший дом! Только дюжих санитаров не хватает, чтоб за порядком присматривали. Ну, какого чер-

та этот тип к нему липнет? Что за извращенное удовольствие можно найти в панибратстве с бывшим мужем твоей жены, с тем, кто до тебя в течение десяти лет спал с нею? Или так у доцента-разлучника проявляется комплекс вины?

— «Старки»! — буркнул Григорьев.

Доцент даже привстал, добросовестно оглядывая стол. Сказал с сожалением:

— Не видать, не видать. На «Старорусскую» не согласитесь?

После третьей или четвертой рюмки, когда доцент полез с разговорами о политике, Григорьев, уже немного захмелевший, не выдержал:

— Кстати, насчет коньячка...

Доцент с готовностью умолк.

И Григорьев стал рассказывать. Негромко, но так, чтобы слышала, — если захочет прислушаться, — каменно молчавшая за доцентом Нина:

— Однажды зимой, в нелетную погоду, возвращался я из командировки поездом. Оказался в купе с профессором-историком. Лет шестьдесят ему, известный, выпустил книжек популярных несколько. Я читал, хлестко пишет. У него в Древнем Египте политические партии борются, тайная полиция шныряет, иностранные разведки действуют — мидийская и лидийская... Ну, едем, делать нечего, а у него — армянский коньяк в чемоданчике, выставил... В общем, наклюкался мой профессор. И поволокло его на сексуальные темы. Он, оказывается, только женился, и жена — вдвое моложе.

Доцент слушал со спокойной улыбкой.

— Вот профессор мне свое удивление и высказывает, — продолжал Григорьев: — «Что за существа эти бабы! Я в молодости, говорит, уж какой любовник был — паровой молот! А положения нет, студент истфака, потом учителишка. И никак не мог добиться ни одной из тех красивых женщин, что мне нравились, всякими завалящими пользовался. А теперь, когда известность и деньги, со мной любая охотно в постель уляжется, хоть я и на рожу стал коряв, и толку от меня в постели против того, что было тридцать

лет назад, жалкие дожимочки. Шлюхи, говорит, они все!» — Ну, мне в подпитии любопытно: «А рогов, спрашиваю, не боитесь?» — «Вы, говорит, про мою жену? Нет, не боюсь. Она мне всегда будет верна, она — настоящая шлюха!»

Доцент издал вежливый короткий смешок. Нина сидела, как изваяние. Григорьеву был виден ее бледный профиль. Кажется, она так и не притронулась к еде.

Григорьев налил себе полную рюмку, опрокинул в рот и вилкой подцепил кусочек сельди в соусе.

— Без тоста? — мягко упрекнул доцент. — Не уважаете ни хозяев, ни гостей.

— Скажите, за что уважать, сейчас же и начну!

Доцент только вздохнул:

— А вам обязательно за что-то?

Но продолжать не стал.

Мужчины уже выходили из-за стола в другую комнату — покурить у открытого окна. Григорьев подождал, пока они вернутся, и сам туда направился. Хотелось побыть одному. А больше всего хотелось сбежать из этого сумасшедшего дома. Но надо было продержаться еще чуток.

Он только успел зажечь сигарету и затянуться, как сзади раздались шаги. Доцент остановился рядом и тоже закурил. Вот же прилип, как банный лист!

— Сколько, говорите, лет было вашему историку? Шестьдесят? А его жене тридцать? — доцент возвел глаза к потолку, задумчиво выпустил струйку дыма. — Да-а, великоват, великоват разрыв. Лет четырнадцать-пятнадцать разницы — вот это, по-моему, оптимально...

Григорьеву будто влепили пощечину. Как раз четырнадцать лет и было: доценту — сорок семь, Нине — тридцать три. Так вот чего стоила показная любезность этого типа! Он просто на людях боялся скандала. Но улучил-таки момент, чтобы наедине наговорить гадостей. В морду бы ему заехать, да нельзя, нельзя! Подонки за стеною как раз такой потехи жаждут.

— ...Ну, даже двадцать, — размышлял доцент, — это предел. А потом, знаете, женщины ведь разные бывают. Сейчас, по статистике, чуть не половина фригидны, особенно в на-

шей среде. А когда женщина не испытывает оргазма, ее излишняя сексуальность мужа только тяготит. — Он потянулся к пепельнице, сбил пепел с сигареты и необидным голосом, словно об отвлеченном, добавил: — Такая женщина ценит в муже именно мужчину, а не самца.

Григорьев все-таки не выдержал, взорвался:

— Оргазм можно вызвать у любой женщины! Надо только раздражать нервные окончания в определенном месте определенным образом. Простейшая механика! Импотентам следует ее знать и применять хотя бы из вежливости к даме!

— Ну, хватит! — вдруг совсем иным голосом сказал доцент. — Признаем ничью и прекратим петушиный бой. Вы разве не понимаете, что от нас только свалки и ждут? С пухом и перьями.

У Григорьева на лице, должно быть, промелькнуло удивление, потому что доцент, остро взглянув сквозь очки, подтвердил:

— От нас, от нас! Воображаете, вас одного заманили? Ошибаетесь. Нас обоих сюда завлекли, чтобы СТРАВИТЬ. Вы — молодец, не растерялись, начали неплохо со своим подарком. На мой-то вкус, конечно, пошловато — колготки, задницы... — Доцент слегка поморщился. — Но, может быть, именно так с ними и нужно. Во всяком случае, сбили их с забавы. А я вам за столом подыграл, как мог. — Он раздавил в пепельнице сигарету, поправил очки. — Ну, а дальнейшее — вам выбирать.

— Вы, стало быть, уже выбрали?

Доцент только плечами пожал:

— Не видел бы ничего противоестественного в добрых отношениях с вами.

— Даже так?

Доцент усмехнулся:

— А я никакой вины перед вами не чувствую. И для неприязни к вам ни малейших причин не имею. Тем более, Нина Федоровна мне всегда о вас говорила только хорошее.

Почему-то Григорьева не меньше, чем поведение Нины, которая, оказывается, его расхваливала перед новым супругом, удивило то, что этот супруг так внушительно ее называет — по имени-отчеству.

С шумом и смехом в комнату ввалились сразу несколько гостей. Стали закуривать, поглядывая с любопытством на Григорьева и на доцента, стоявших друг к другу лицом и уже без сигарет.

— Ну что, вернемся к столу? — громко сказал доцент и дружески тронул его за рукав. — Мы с вами еще тушеную курицу не пробовали. Это у Шугаевых — фирменное блюдо.

Бредовое время, ненормальное время... У Димки было распухшее, будто увеличившееся лицо, глаза-щелочки потонули в складках, кожа стала серой. Кажется, так бывает при свинцовых отравлениях. Он и в самом деле был отравлен. Куражистый, задиристый, как петух, Димка был отравлен — страхом.

— Инвентаризация... — хрипел он.

— Может, уволишься? — спросил Григорьев.

Тусклые глаза Димки совсем прикрылись. Он отрицательно покачал головой:

— Теперь не даду-ут.

Немыслимо было видеть его таким — оледеневшим в безнадежности и бессилии. Теркой по нервам царапал его скрипучий голос:

— Этот, который с дипломом пришел цех принимать, инвентаризацию потребовал... Каждый год ее проводили — тык-пык, лишь бы отвязаться. У кого время есть на такую чепуху? А этот — давай по всем инструкциям. Вторую неделю комиссия каждую кисточку считает. Вот, значит, какой у них, у гадов, план был...

Григорьев переглянулся с Мариком. Осторожно спросил:

— Большая нехватка?

Димка вяло махнул рукой:

— Того, что за столько лет неоформленное сработалось, уже хватило бы. Но это еще пустяки. А вот по трудсоглашениям — на квартиры, на особняки торгашам — они такую прорву матерьялов ухлопали...

Он снова умолк, оледенел. И страх его остудил всё вокруг.

У Григорьева даже губы и язык онемели, будто замороженные наркозом стоматолога. Так что и выговорил с трудом:

— Неужели всё на одного тебя хотят повесить? Да это же...

— Тюрьма-а... — выхрипел Димка.

Неожиданно вскинулся Марик:

— Делать что-то надо! Куда-то написать, пойти! Опередить их! — он дрожал от возбуждения, сухонький, черный, стремительный.

Но Марик тоже сник, когда Димка поднял голову и захрипел:

— Там подписи мои, на требованиях. Мне совали, я подмахивал. На бегу же всё, на скаку. А теперь, выходит, я эти матерьялы со склада получал — и спускал незнамо куда. Шпон красного дерева, бук, финские краски... И, чтоб верней потопить, старое дело опять раздрочивают: как я работягам фиктивные наряды писал, а потом деньги с них собирал. С-сволочи!

И вдруг Димка скривился в усмешке:

— Зато какие все вежливые со мной стали, на комбинате. Улыбаются, первые здороваются. Прямо, как Тёмка про свой институт рассказывал, когда там по еврейским делам давили.

— Что же будет-то? — спросил Григорьев.

— Не знаю, — прохрипел Димка и опять прикрыл глаза. — Ничего я не знаю. Может, пронесет...

— 16 —

— Понимаешь, Алечка, — сказал Григорьев, — эти тринадцать лет чертовых между нами... Ты ребенком была несмышленым, когда мы были молоды. Тебе не понять. Дело не в том, что мы верили лозунгам, над пропагандой мы тоже посмеивались. Но молодости нужна иллюзия цели. И так всё сошлось, что наше поколение оказалось последним, у которого была эта общая иллюзия. И единственным, от которого для достижения цели не требовалось ни крови, ни, как нам казалось, лжи. Только талант и труд... И когда потом мы поняли, что обманулись, что нужно просто жить, а вернее — существовать... Вашему поколению было легче, вы ни к чему

и не готовились, кроме этого самого существования. А в нас всегда боль от нашего излома и тоска по цели, — то, что для вас непонятно и смешно.

Аля усмехнулась:

— Ты можешь говорить не за всё поколение, а за себя одного?

— Могу.

Он взял ее за плечи, притянул к себе. Глаза ее были спокойны, но в зрачках вздрагивали искорки насмешки и какой-то странной рассеянности, словно мыслями она была уже в другой жизни, без него.

— Может быть, все-таки выйдешь за меня замуж?

— Не-ет.

— Слишком стар для тебя?

Она покачала головой. Она вся чуть покачивалась в его руках, гибкая и тугая пружинка:

— При чем здесь возраст? Ты — прочный, на мою жизнь тебя хватило бы. Но ты какой-то уж слишком прочный. Как бетонная конструкция. Тебя не сдвинуть. Ты так и будешь всю жизнь скрипеть от нагрузки, мечтать об утраченной цели, о каких-то переменах — и оставаться на месте.

— Ну спасибо! — проворчал он. Это вышло уже обиженно, по-детски.

Димку арестовали в апреле 1979-го. Когда этого никто не ждал. И сам Димка признавался потом, что не ждал. Вот странное дело: несколькими месяцами раньше — ждали и боялись. Григорьев и Марик помогали Димке составлять какие-то заявления, объяснительные. А Димку всё не вызывали к следователю, трепали в «народном контроле» и в дирекции комбината. Он переходил от надежды к отчаянию, временами впадал в ярость. И так долго всё тянулось, что сумбур, напряжение, страх, если не стали чем-то привычным, то всё же слегка утратили нервную остроту.

А Григорьев, одно к одному, еще и замотался по командировкам. То ли перепись населения, прошедшая в том январе, напугала власти, то ли просто потому, что планы семьдесят девятого года — «четвертого определяющего» очередной пятилетки — по швам трещали, в министерствах

поднялась истерика со снижением трудоемкости. Конечно, затрясли родное НПО. Слепили несколько комиссий (Григорьев в одну такую угодил старшим) — и погнали по заводам.

Что поделаешь, статистика — точная наука. Раз предсказывает, что скоро в Советском Союзе некому будет работать, значит, к тому идет. Да без статистики было ясно: инженеров в отделах и лабораториях — битком, каждый год приходят новые выпуски молодых специалистов, а в цехах — пожилые лица, и на проходной любого завода — списки рабочих профессий: «требуются», «требуются».

Натужливо-бодрые статейки: даешь, мол, автоматизацию, тогда один инженер заменит десятки рабочих! — вызывали теперь только раздражение, как шаманские заклинания над постелью тяжелобольного. Какая автоматизация? Откуда ее взять? В реальности — вот, ползай вдоль осточертевших «потоков», то бишь длинных столов, за которыми возятся женщины с паяльниками, пинцетами, кисточками, и придумывай, как здесь, ничего не меняя, сэкономить трудозатраты. Наскребешь две тысячи нормо-часов, считай, одного человека «условно высвободил». Да в другом месте тысячу — еще полчеловека. В министерстве уже и десятым долям условного человека радовались, всё прибыток.

Замотался, устал. А в Ленинграде — своя, брошенная работа дымилась. И, конечно, в этом кипении-мелькании тоже понемногу слабела тревога за Димку. Ощущалось так: в заводской суматохе десятками лет ничего не меняется, что уж там с Димкой изменится! Так и будет, наверное, тянуться без конца, как всё в нашем бардаке.

Да еще отвлекли мировые грозы. Вьетнамцы вошли в Кампучию и разогнали «красных кхмеров» Пол Пота, уничтожавших собственный народ. На телеэкранах всей планеты забелели в раскопанных смертных рвах миллионы круглых человеческих черепов, проломленных и простреленных. Такого потрясения мир не знал со времен Освенцима.

Но за «красных кхмеров» вступился Китай. Полчища его потекли сквозь границы Вьетнама. Началась вязкая, медлительная война, малопонятная и пугающая (боев на Да-

манском не забыли за десять лет, китайцев по-прежнему боялись).

В те дни, отправляясь комиссией в очередную командировку, Григорьев и его спутники по собственному разумению, — никто им не приказывал, — стали брать с собой кроме обычного набора документов военные билеты: неровен час, грянет мобилизация и застанет вдали от дома.

В любой заводской гостинице любого промышленного городка Сибири, Украины, Казахстана в девять вечера все постояльцы сбивались у телевизора смотреть программу «Время». Шумели, покуривали, пока вначале проходили никому не интересные сюжеты из внутренней жизни Союза — цеха, стройки, пашни. И мгновенно стихали, едва появлялась на экране карта северных провинций Вьетнама, чьи трудно произносимые и до того никогда не слыханные названия — Лангшон, Куангминь — в те дни были самыми известными и самыми тревожными словами.

Напряженно смотрели, как сквозь джунгли катят грузовики, облепленные вьетнамскими бойцами. Как эти маленькие, похожие на детей солдатики — в защитных панамах, с «калашниковыми» — перебегают в зарослях. Почему-то особенно умиляло то, что многие из них бежали с сигаретами в зубах, покуривая на ходу.

Ни до, ни после, ни к одному народу не было на памяти Григорьева такой всеобщей симпатии, как в те дни к вьетнамцам. Ощущалось само собой: если б не эти скуластенькие, раскосые пареньки в панамах со звездочками, вполне вероятно, вот так же перебегали бы сейчас, пригибаясь и прислушиваясь к близким разрывам, наши советские мальчишки.

Даже Димка, бывало, когда Григорьев звонил ему, первым делом спрашивал:

— Ну, как там вьетнамцы? Кроме газетного ничего не знаешь? Хули они так странно воюют — регулярную армию не пускают, ополченцами отбиваются? А почему никто авиацию не поднимает, пехотой одной дерутся? Или уговор у них такой?

Грянула в Иране удивительная «исламская революция», священники сбросили шаха. Сам лектор из райкома не

скрывал недоумения и сильней обычного пожимал круглыми плечами:

— Всё равно, что у нас в России скинули бы царя-батюшку свои же попы!

Мир бушевал. Волны ярости и безумия вздымались у самых границ Союза. И после телевизионных кадров со стрельбой, пожарами, ревущими толпами как-то особенно странно и тревожно было смотреть на деревянные, покрытые вытертой клеенкой «потоки», за которыми по-птичьи гомонили работницы в синих и грязновато-белых халатах.

Нет, не ожидал он, что Димку арестуют. Но в тот апрельский вечер, когда приземлился в «Пулково» после очередной командировки, что-то будто повело его, потянуло из зала прибытия наверх, к телефонам-автоматам. Сам не понимал: что за беспокойство? О родителях он тогда не слишком тревожился (отец еще не болел), всегда по возвращении звонил им уже из своей, то бишь нининой, квартирки. А тут — хочешь верь, хочешь не верь в телепатию: ноги сами занесли в модерновую, как всё в «Пулково», сферу из оргстекла с телефоном. Нашел двухкопеечную монетку, накрутил родительский номер.

— Вернулся? — спросил отец. — Ты где, дома уже? В аэропорту... — отец замялся. — Ты вот что: давай, позвони-ка Димке. То есть, этой, сестренке его. Она тут звонила, тебя разыскивала. Плакала бедняга.

— Что случилось?!

В трубке было слышно, как отец вздохнул:

— Хреновина, сынок. Похоже... посадили его.

Будто в самолете, ухнувшем в воздушную яму, сердце подпрыгнуло к горлу. Так растерялся, что долго и тупо, как пьяный, перебирал мелочь в кошельке, не находя больше ни «двушки», ни копеечных монеток. Наконец, обругав себя, сообразил, что позвонить можно и гривенником.

В трубке отозвался медленный старушечий голос:

— Алло.

Он решил было, что это соседка. Нетерпеливо бросил:

— Стеллу позовите, пожалуйста!

Но еще прежде, чем услыхал в ответ раздавленное, стонущее «Женечка, ты?», сверхчутьем успел осознать и свою ошибку, и всю безнадежную реальность свершившегося...

В те месяцы, пока тянулось следствие и Димку держали в «Крестах», они с Мариком собирались у Стеллы чуть не каждую неделю. В памяти всё сплавилось в один бесконечный, тягостный разговор. Сидели за тем же круглым столом, за которым когда-то готовились к экзаменам. Девятилетняя Катька мышонком забивалась в угол и оттуда молча следила за ними, только поблескивали испуганные глазенки.

Стелла, — уже не ссутулившаяся, просто сгорбленная, — повторяла много раз одно и то же:

— На работе арестовали Димочку. Утром уходил — ничего не ждал, даже настроение хорошее было. А днем — я в садике за малышами убираю — воспитательница кричит: иди к заведующей, тебе на ее телефон звонят! А это Димочка — оттуда уже, от следователя... Чтобы я белье принесла, щетку зубную, мыло...

Глаза ее были сухими. Видно, сразу выплакала столько, что слез больше не осталось, лишь в голосе прорывались рыдающие нотки.

Она рассказывала про обыск:

— Димочка по телефону предупредил: если придут, пусть хоть всё перероют, не мешай, терпи. Тут у него трубку и выхватили. Наверно, испугались, что подсказывает мне, как чего спрятать... Явилась команда целая: «А ну, выдавайте добровольно — золото, драгоценности, наркотики и оружие!» Копались, копались. «А ваш брат не хранил дома служебные бумаги — всякие счета да наряды?» И правда, всё перевернули. Забрали мою сберкнижку на сорок рублей, коробочку с витаминами и димочкины запонки с янтарем... — Задыхаясь, она умолкала.

Что они с Мариком сами говорили ей в те жуткие вечера? Как пытались утешить? Всего-то пять лет прошло, а уже с точностью не восстановить, словно мозг, защищаясь от безумия, вытравил из памяти самые нестерпимые подробности. Хотя, не все, не все.

Не забудется, как Стелла — единственный раз — все-таки расплакалась. Когда рассказывала про собственный визит к следователю:

— Я думала, в кабинете мужчина будет, а там женщина сидит — молодая, моложе меня. В форме офицерской, а сама накрашенная, как... как... Одной помады килограмм... Улыбается. «Я, — говорит, — про вас кое-что знаю, такая моя профессия. Одна, без мужа дочку поднимаете? И я одна с дочкой. Все мужики, — говорит, — дерьмо, правда?..» — Я про Димочку что-то пытаюсь спросить, а она давай подкалывать: «О брате беспокоитесь? Что ж раньше не беспокоились, вы же понимали, что он не по зарплате деньги приносит? Вот, напишите ему, посоветуйте, чтобы честно во всем признался и украденное государству вернул...» — Не выдержала я, крикнула: «Что возвращать-то?» — А она смеется: «Не хотите, как хотите. Тогда брата долго не увидите. Очень будете без него мучиться?» — «Очень», — говорю. — Она смеется: «Я понимаю!» — «Что понимаете?» — «А то, что он холостой и вы одинокая. Хорошо вам было в одной комнате?» — Голос Стеллы задрожал, из глаз покатились слезы: — Я как поняла, на что намекает, у меня язык отнялся. А она ухмыляется: «Да я вас не осуждаю! Лучше уж с родным братом жить, чем с кем попало!»

И Стелла заплакала, уже не сдерживаясь, в голос, протяжно всхлипывая:

— За что? За что издеваются так?!

Страшно было видеть ее такой и страшно от собственного, ватного чувства бессилия.

У Марика сквозь природную смуглоту проступил раскаленный румянец ярости:

— Уб-бил бы! — ненавидяще выдохнул он, глядя в пространство.

Потом собирали продуктовые передачи для Димки. В «Крестах» принимали для заключенного не больше пяти килограммов в месяц. Стелле объяснили, что этот вес надо заполнять самыми концентрированными продуктами и витаминами — салом, твердокопченой колбасой, лимонами, чес-

ноком, луком. Лимоны с чесноком и луком она купила сама, сало раздобыл Марик, а твердокопченой колбасы не достать было во всем Ленинграде. Но Григорьеву однажды повезло: во время короткой командировки в Москву купил с бешеной переплатой две сухие, пахучие палки «Советской» у официанта в ресторане.

Потом появился адвокат Валерий Соломонович, его нашел отец Марика. Высокий, худой, носатый, с лохматой шапкой седых волос, Валерий Соломонович сидел в кресле наискось, словно не мог пристроить прямо свое нескладное длинное тело, и непрерывно курил дешевые сигареты без фильтра, вставляя их в закопченный пластмассовый мундштук.

— У нас, у юристов, — говорил он, не стесняясь присутствием Стеллы, — такое дело, как у вашего приятеля, называется «рваный гондон».

Марик (он вел разговор) покосился на Стеллу, на Григорьева и вежливо спросил:

— Почему?

— Надуть не смогут, — пояснил Валерий Соломонович. — Но, к сожалению, и не лопнет. Именно так! Надуть — мозгов надувальщикам не хватит. Сдавали его с комбината дураки, у них в документах полный бардак, одна бумажка другую сожрать готова. И следняшка эта блядовитая — дура, в обвинительном заключении такие щели зияют, можно лом просунуть и всё развалить.

— Может, оправдают? — с надеждой спросила Стелла.

Валерий Соломонович выпустил клубы едкого дыма, желтыми кончиками пальцев извлек из мундштука окурок, раздавил его в пепельнице, стряхнул пепел с колен, тут же раскурил новую сигарету и раздраженно проворчал:

— Говорю: и не лопнет! Братец ваш четвертый месяц сидит, кто его теперь оправдает? Что ж его, на работу возвращать, вынужденный прогул за счет МВД оплачивать? Следняшке этой, и начальникам ее, и прокурору — неприятности хлебать? А вдруг ваш братец, оправданный, еще жаловаться на них вздумает?.. Вон какая арифметика: одного братца вашего суду пожалеть, значит, к стольким людям сразу жестокость проявить. А наш советский суд, как известно, самый гуманный в мире.

— Что же делать? — спросил Марик.

— Что можно, то и сделаем! — заверил Валерий Соломонович. — Девяносто вторую, хищение, отобьем. Девяносто третью — отобьем. Взятки — сто семьдесят третью, часть первую, по ней до восьми лет, — тоже отобьем!

Стелла слушала в оцепенении. Григорьев и Марик переглядывались.

— И сто... сто семьдесят пятую, — хрипло откашливаясь, продолжал Валерий Соломонович, — злоупотребление служебным положением, — отобьем, отобьем, хоть за нее эти сучары когтями уцепятся!.. Что у нас останется? — он, как учитель, вопросительно окинул взглядом Стеллу, Григорьева и Марика.

Те в растерянности молчали.

— Сто семьдесят вторая УК РСФСР у нас только и останется, преступная халатность! — бодро возгласил Валерий Соломонович. — Подведем под часть первую, под минимум, до трех лет, да подтянем для смягчения под двадцать четвертую — вторую. И поедет ваш братец на химию, на свежий воздух, здесь, в Ленобласти. По выходным домой будет приезжать, красота! Сам бы так сидел!.. Так что, сейчас главное — самим духом не падать и вашего братца в тоску не вгонять. Всё перемелется! А то ведь, в тюрьму попадешь: кажется, весь свет сидит. В больницу попадешь — весь свет болеет. На кладбище попадешь — весь свет помирает. А между тем, как-то живут люди.

— А чтобы совсем безо всякой статьи, — спросил Григорьев, — чтобы отпустили, неужели так и нельзя?

Валерий Соломонович опять зашелся в кашле, достал носовой платок, сначала высморкался, потом отплюнулся в него. Посмотрел прямо в глаза Григорьеву, вздохнул и сказал обреченно:

— Нельзя!

И опять был какой-то праздник у «полубогов», опять он сидел за столом рядом с доцентом, а каменно-молчаливая Нина прислушивалась настороженно к их разговору.

«Полубоги» больше не рассчитывали на потеху. После несостоявшегося скандала на дне рождения Тани Шугаевой

они попали в собственную ловушку: теперь уже пригласить в компанию Нину с ее новым мужем и не пригласить Григорьева было неловко. Наверное, приглашая его повторно, понадеялись, что он сам откажется, не придет. А он, как ни в чем не бывало, пришел. И вовсе не мазохистские томления его повели (подумаешь, встретит Нину! плевать на нее!), а зов желудка. Одичал на холостяцкой сухомятке, а где еще можно отведать разнообразные нежные салаты, красную рыбу, селедку под особенной «шубой», аппетитное мясное горячее, — все эти чудеса, которые требуют столько времени для поисков, приготовления и могут явиться на столе только в доме хорошо выспавшихся людей? Да вся тоска по Нине (сильно повыветрившаяся за два года) не испортит этот праздник насыщения!

Доцента после нескольких рюмок снова тянуло на политические рассуждения.

— Как думаете, — спрашивал он, — отчего президент Картер такой шум поднял с нашей военной бригадой на Кубе?

Это была самая горячая международная тема той осени 1979-го.

— Не знаю, — ответил Григорьев, — это его проблемы.

— А я вот никак не могу понять, — доцент даже руками развел над тарелкой, — отчего американцы такие дураки? Наши им сколько лет предлагают ядерное разоружение, а они упираются. Взяли бы и поймали нас на слове! Тут бы мы сразу голенькие и вылупились. Что такое Советский Союз без ядерного оружия? Та же Африка, только с вечной мерзлотой.

— Ну, ну, — настороженно проворчал Григорьев.

Доцент засмеялся:

— Да не бойтесь, не провоцирую, не стукач. Я же не против нашей системы. Замечательная система со всех сторон! Один только у нее недостаток: рассчитана на абсолютно честных людей. А что это значит? Да то, что каждый должен быть честен прежде всего по отношению к себе. Сознавать меру своих способностей, а значит, свое место. И на большее — не претендовать. Вот об этот мелкий камешек вся

великая идея и разбилась! Нет уж, ты признай, как при капитализме проклятом, что человек по натуре лентяй, жулик и мерзавец. Что он — тварь ненасытная, которая для своего обогащения и возвышения ни перед какой подлостью не остановится. И на этом постулате экономическую систему построй. Такую, что либо из кожи лезь и семь потов проливай, либо — разоряйся и подыхай к черту! Социальные законы, господа-товарищи, объективны! Что, не согласны со мной?

— Не знаю, — ответил Григорьев, — я не экономист. Думаю только, что и при капитализме воруют, жульничают и лгут не меньше, и что коммунизм, как идея, не так плох. А на основе одних и тех же объективных законов физики можно построить и паровоз дровяной, и реактивный лайнер. У нас вышел паровоз.

— Чего ж нам не хватило? — заинтересовался доцент. — Чтоб получился лайнер?

— Наверное, демократии. Не помню точно кто, кажется Хуан Негрин, социалист между прочим, говорил: существует только один выбор — либо демократия со всеми ее недостатками, либо диктатура со всеми ее ужасами. Об экономической системе, заметьте, ни слова.

— Хуан Негрин — это кто? А, республиканская Испания, да, да... — доцент засмеялся: — Ну значит, и почтеннейший Негрин мог ошибаться. У нас сейчас нечто третье. Ни демократии, ни диктатуры. А если диктатура, так без ужасов.

— Весь вопрос в том, — ответил Григорьев, — сколько времени такое бесполое состояние может длиться.

Доцент весело кольнул его взглядом сквозь очки:

— А вам не кажется, что вечно? Что Россия тяжким путем проб и ошибок выстрадала наконец самую приемлемую для себя форму правления? Спокойную, умеренную. Куда ни ткнешь — везде мягко. Посильней толкнешься, — конечно, жестко, но без этого порядка не будет. И все довольны!

Он чуть наклонился к Григорьеву и зашептал:

— Вы посмотрите на тех, кто за столом. Это же наши ученые! Да какие молодые все! Это наша наука еще на двадцать-тридцать лет вперед, мы с такой наукой в следующий век перевалимся! — Он тихо задрожал от смеха: — При ка-

кой демократии, при какой настоящей диктатуре такое возможно? И тоже ворчат, бессовестные, а им надо молиться за систему... Ведь так? Ну скажите, скажите что думаете! Я же знаю, вы нас не любите. Вы нас презираете, верно? — кажется, он крепко подвыпил. — Зачем вы к нам вообще ходите?

— Поесть, — честно ответил Григорьев.

— Браво! — засмеялся доцент.

Он придвинулся так близко, что Григорьев ощущал запах дорогого одеколона, исходивший от его гладко выбритой кожи. Мелькнули в памяти полутемные коридоры кафедры конца шестидесятых и молодые лица «полубогов». Оглядел сидящих за столом: да, не постарели они, только располнели. Пожал плечами, ответил доценту:

— Я думаю, они виноваты не больше других.

— Ну а случись, грянет демократия или настоящая диктатура, что с ними будет? Не представляете?.. Хорошо, хорошо, а можете себе представить, что с ВАМИ будет?

Григорьев опять пожал плечами:

— Не знаю. Шея есть, хомут — по русской поговорке — найдется. В любом случае кто-то должен хомут тащить. Буду работать, как работал. Или лучше, или хуже.

— Достойный ответ, — согласился доцент. — Коньячку так и не хотите? Ладно, вот вам ваша водочка. И перестанем присутствующим косточки перемывать. Всё равно уже никогда, ничего не изменится. Диссидентство наше — тьфу, ребячество. Настоящие революции делают от голода, он злость рождает. А у нас, худо-бедно, все сыты — и злости нет. Раздражение только, на нем ничего не совершить.

— А вы знаете, — спросил Григорьев, — в чем главное отличие дурака от умного? О присутствующих, разумеется, не говорим, так — абстрактный вопрос.

— САМОЕ главное? — заинтересовался доцент и даже наполненную рюмку отставил. — Ну-ка, ну-ка?

— Дураку кажется: что есть сейчас, то будет и всегда. А умный понимает: всё меняется.

Доцент притих, покачал головой. Сказал сокрушенно:

— А вы все-таки злой. Не дай бог, попадет вам в руки власть. Понимаю: скажете — даром не нужна. А вдруг попадет? Ох, дров наломаете!

На димкином суде Григорьев не был, опять оказался в командировке. Едва прилетел, помчался к Стелле. Та положила перед ним несколько машинописных листков: слепая печать (какой-нибудь пятый экземпляр), желтоватая скверная бумага хуже оберточной.

— Там зал судебный человек на пятьдесят, — рассказывала Стелла. — А мы с Мариком одни только и сидели. Первый раз Димочку увидела после ареста. Похудел, бедный, глаза большие сделались. Но улыбался нам...

Она опять не плакала, только голос прерывался нервной дрожью.

— Успокойся, — Григорьев гладил ее руку, а сам пытался осилить едва различимый и оттого словно невзаправдашний текст:

«Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики... районный народный суд г. Ленинграда в составе председательствующего... народных заседателей... при секретаре... с участием адвоката... рассмотрел в открытом судебном заседании дело по обвинению Перевозчикова Дмитрия Николаевича, 1946 г. рождения, уроженца Ленинграда, русского, бывшего члена КПСС...»

— Почему бывшего?

— Так его же исключили, — объяснила Стелла. — Порядок такой: как только арестовывают, на работе сразу партсобрание собирают и исключают.

— Порядок! — фыркнул Григорьев.

«...Суд установил: Перевозчиков Д.Н., являясь должностным лицом — мастером и исполняющим обязанности начальника цеха Комбината прикладного искусства, проявил преступную халатность, выразившуюся... Чем нанес ущерб государству на сумму 2140 руб. 30 коп...»

— Всего-то? — изумился Григорьев. — На эти деньги сейчас и половинку «Жигулей» не купишь.

— Было больше, — вздохнула Стелла. — Просто ужас, сколько на Димочку повесить хотели! Это Валерий Соломонович по ихним же документам всё отбил.

«...Допрошенный в судебном заседании, Перевозчиков свою вину не признал. Однако вина подсудимого полностью установлена следующим...»

Григорьев с трудом вчитывался в монотонное перечисление каких-то нарядов, договоров, свидетельских показаний.

«...Оснований не доверять свидетелям у суда не имеется. Неточности и противоречия в показаниях последних не свидетельствуют об их лживости, а объясняются свойствами человеческой памяти и, напротив, указывают на отсутствие между свидетелями какого-либо сговора на оговор Перевозчикова Д. Н. Отрицание же Перевозчиковым Д. Н. очевидных фактов со всей очевидностью указывает на его вину в совершении преступления...»

— Сволочи!! — ярость ударила в голову, жаром залила глаза. Ей нельзя было поддаваться, она могла свести с ума.

«...Перевозчикова Д.Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного... Назначить Перевозчикову Д. Н. 3 (три) года лишения свободы... В соответствии со ст. 24-2 УК РСФСР наказание считать условным с обязательным привлечением к труду в местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговора. Взыскать с Перевозчикова Д. Н. в пользу комбината прикладного искусства 2140 руб. 30 коп. в счет возмещения ущерба... Меру пресечения Перевозчикову Д.Н. не изменять — оставить содержание под стражей... Приговор может быть обжалован в Ленгорсуде в течение 7 суток. Народный судья... Народные заседатели...»

— Дочитал? — спросила Стелла.

— Тьфу! Будто грязи наелся! И ничего не понимаю: написано «наказание считать условным» и тут же — «оставить под стражей».

— А это и есть химия, — объяснила Стелла. — Я уж ихние хитрости выучила. Понимать надо, что не на зону, а на стройку. А условно: значит, если за три года ничего больше не натворишь, будут несудимым считать... Мне сказали, куда-то под Лугу Димочку увезли. И это называется только «химия», а так — они по совхозам чего-то строят. — Она взяла у Григорьева приговор и бережно положила в картонную папку. — Жду теперь письма с адресом. Как напишет Димочка, сразу к нему поеду. А через полгода, говорят, если будет себя хорошо вести, начнут по выходным в Ленинград отпускать.

— Обжаловать-то приговор не пытались?

— Валерий Соломонович сказал, не связываться. Районный суд, когда приговор готовил, наверняка, с горсудом согласовал. Отмены всё равно не будет. А если затеем обжалованье, Димочке лишних два месяца в «Крестах» сидеть, он там совсем здоровье потеряет. — Она все-таки стала всхлипывать: — Валерий Соломонович сказал, лучше сразу на воздух. Спасибо ему, хороший человек, выбил самое меньшее! И вам с Мариком спасибо — за то, что ему заплатили. Мы с Димочкой вам когда-нибудь отдадим.

— На том свете угольками! — огрызнулся Григорьев. — Чтоб я таких слов больше не слыхал! Ну успокойся, успокойся...

А Стелла обняла его, стала целовать в щеку:

— Спасибо тебе, хороший мой, спасибо!

Он тоже целовал ее, гладил ее поседевшую голову, обнимал исхудавшее до косточек тело, бормоча: «успокойся, успокойся, Луга же, не Колыма». И понимал, как фальшиво звучат его заклинания, потому что сам не ощущал никакого спокойствия, только острую и всё нарастающую тревогу.

И опять предчувствие не обмануло. Вот только обрушился новый удар с той стороны, откуда не ждали: осенью 1979-го у отца случился инфаркт. Оказалось, давно болело сердце. Скрывал, не хотел беспокоить.

По счастью, Григорьев не был в командировке, мигом примчался по звонку матери. У самого сердце оборвалось, когда увидел у подъезда «рафик» скорой помощи с дремлющим шофером.

Взлетел по лестнице. Дверь квартиры была распахнута, слышался громкий незнакомый голос:

— Дыши, дыши! Ну что, полегчало? Вот, порозовел уже, а то синий был весь!

Это врач с яростным лицом и седыми висячими патлами, похожий на киношного батьку Махно, кричал на отца. Остро пахло медикаментами. Жужжал переносной кардиограф, из него толчками выползала серая бумажная лента с бьющейся красной жилкой записи.

Врач обернулся к Григорьеву:

— А это кто? Сын? Давай, собирай соседей!.. Вот бестолочь: да носилки по лестнице стащить! Заебали сегодня бестолочи, восьмой вызов за смену, а у меня шесть лекарств от всех болезней!

Потом был ужас больницы: четырнадцать человек в палате, вонький запах дезинфекции, духота и грязь. Он обтирал одеколоном вялое и бледное тело отца. Хотелось плакать.

Вспоминал, как мальчишкой, в пятидесятые, ходил с отцом в баню, в парную, не мог там долго выдержать, и отец, смеясь, выгонял его в мыльную. Вспоминал сильные руки отца, когда тот натирал ему спину мочалкой и приговаривал: «Моем, моем трубочиста! Чисто-чисто, чисто-чисто!»

Потом пахнущий одеколоном отец, лежа на койке, тихо, чтобы не беспокоить соседей по палате, разговаривал с ним:

— Как у тебя на работе? Устал? Быстро ты устал. Жениться-то снова не думаешь?

— Не думаю.

— А Димка — сидит?

— На химию отправили. Здесь, в области. Мы с Мариком к нему съездим.

— А Марик как поживает?

— Работает, дочку воспитывает.

Отец усмехнулся:

— Он как-то звонил к нам, тебя искал. Я его спрашиваю: чего делаешь? Столбы, говорит, считаю.

— Он действительно столбы рассчитывает. Опоры всякие.

— А я думал, шутит. Спрашиваю: нравится? А он так серьезно: должен же кто-то столбы считать... А Димка, значит, сидит.

Серое лицо на подушке, тихий голос. Только в глазах посверкивало что-то от прежнего отца. И вдруг Григорьев заметил, что отец смотрит на него с жалостью и нежностью, как смотрел когда-то на маленького, когда он ранился в кровь каким-нибудь ржавым гвоздем во дворе или разбивался на коньках. Мать бранилась, а отец смотрел сверху точно так же, как сейчас снизу, с подушки:

— Непутевые какие-то вы все. Неудачливые. А вам еще жить и жить.

— Папа!

— А что? — отец улыбнулся. — Я только про то, что вам еще работать и работать, а мое дело теперь — пенсион... А инфаркт — что инфаркт? Нас одной пулей не убьешь. Вон Эйзенхауэр — до девятого тянул, а мы что ж, слабей союзника?

Домой из больницы Григорьев возвращался сквозь опустевший город. Заметил это не сразу, но когда осознал, огляделся... Происходящее показалось фантасмагорией! Вечерние улицы, залитые светом фонарей, были пустынны из конца в конец, с них исчезли прохожие. Больше того — исчезли машины. Громадный стеклянный куб «универсама», ярко освещенный внутри, был совершенно пуст, одни кассирши томились за своими кассами. Позвякивая, прогромыхал тоже ярко освещенный и тоже совершенно пустой трамвай. Что за чертовщина? Как будто нейтронную бомбу над Ленинградом взорвали!

Наконец догадался, вспомнил: в этот вечер показывали заключительную серию «Место встречи изменить нельзя». Он-то со своими делами не смог и предыдущей ни одной посмотреть. На работе сотрудники бурно их обсуждали, восхищались игрой Высоцкого, а он — ничегошеньки не видел. Да ладно, будут повторять, посмотрит когда-нибудь. А сейчас — только бы поправился отец, только бы вышел на волю Димка, только бы улеглась в груди эта острая тревога, предчувствие новых бед.

И он шел сквозь пустой, вымерший город под звук собственных шагов, словно последний человек, оставшийся на свете.

Стелла уже несколько раз успела побывать у Димки, но ее пропускали как родственницу. А Григорьеву только в середине декабря Димка прислал письмо: «Приезжайте в выходной, теперь меня тут знают, пройдете». И в первое же воскресенье Григорьев с Мариком отправились в путь.

Холодная электричка тащилась добрых два часа. Сквозь заиндевевшие, искрящиеся окна почти ничего нельзя было различить. К концу поездки оба закоченели. Когда вышли наконец в солнечный мороз на платформу маленькой станции, показалось, что стало теплее: то ли от солнца, то ли оттого, что начали двигаться.

Григорьев вытащил листок с планом, который нарисовала Стелла. Угрюмый Марик взглянул на рисунок и пожал плечами.

— Да всё понятно, — разобрался Григорьев. — Кружной путь, вон, по шоссе, — он указал на грузовик, пронесшийся мимо с особенно звонким на морозе ревом. — А напрямик — тропинка через поле. Пойдем-ка, Тёма, тропинку посмотрим. Снегопада несколько дней не было. Может, пошагаем.

Так и оказалось. Тропинка, протоптанная в снегу, была узенькой (двоим не разминуться) и неровной. Но она протянулась, местами темнея, местами глянцевито поблескивая на солнце, через всё пухлое, как перина, матово-белое поле. До самого его края примерно в двух километрах от станции — до гряды деревьев, за которой виднелись какие-то постройки.

— Ну, чего ты? — спросил Григорьев насупившегося Марика.

Тот опять пожал плечами.

— Перестань! — сказал Григорьев. — Ты думаешь, мне не тошно? Давай, Димка ждет. Надо идти!

Яростно пошли через морозное слепящее пространство, то и дело в спешке оскальзываясь, оступаясь с тропинки в рыхлый снег. Григорьев шел впереди, тяжело сопевший Марик поспевал сзади. И почему-то хотелось, чтобы эта дорога длилась как можно дольше. Но они пересекли поле и дошли до удивившего их здания за деревьями скорей, чем за полчаса.

Удивило больше всего то, что перед ними оказалась обычная с виду хрущевская пятиэтажка из серого кирпича, только обнесенная двухметровым бетонным забором. Впрочем, ворота в этом заборе — две ржавые железные рамы, затянутые проволочной сеткой, — были распахнуты настежь и никем не охранялись.

Они прошли в ворота и увидели, что пятиэтажка выстроена по типу общежития, с одним центральным входом, а на окнах нет никаких решеток. Во дворе, у бетонного забора, стояли милицейский «уазик» и грузовик-фургон. Людей не было видно.

— Иди ты первый, — попросил Марик.

Возле двери красовалась здоровенная кнопка звонка громкого боя. Григорьев хотел было позвонить, потом просто попробовал потянуть к себе дверь, и та легко открылась. Они вошли с мороза в густое тепло. После снега и солнца электрическое освещение показалось им полутьмой.

— Это кто же к нам пришел? — с издевкой спросил мужской голос.

За вахтенным столиком вальяжно раскинулся молодой офицер милиции в расстегнутом кителе с лейтенантскими погонами. Он держал газету «Советский спорт» и поверх нее насмешливо смотрел на Григорьева и Марика. Всё остальное с порога успокаивающе глянулось обычным заводским общежитием, каких Григорьев навидался по всему Союзу: доска объявлений, большой ящик, разделенный на ячейки с буквами алфавита, — для писем. Только и разницы, что при входе вместо старушки-дежурной — этот мальчишка в форме.

— Разрешите, товарищ лейтенант! — громко сказал Григорьев, зная, как любят милицейские чины армейское обращение. — Мы посетители, к Перевозчикову. Можно его вызвать?

— Посетители?! — изумился лейтенант. — Ка-акие посетители? Вы что, мужики, больные? Соображаете, куда пришли?

От такого удара и Григорьев растерялся.

— Мы к Перевозчикову, — повторил он. — Нам сказали, что его можно увидеть.

Лейтенант загоготал, но вдруг задумался, отложил газету.

— К Перевозчикову? — переспросил он. — Это к художнику. А-а...

— К художнику, — закивал Григорьев, — к художнику! Вот наши документы!

Он поспешно расстегнул пальто и вытащил паспорт. Сзади засопел и зашуршал Марик.

Лейтенант выдвинул ящик стола, с озабоченным видом пошевелил там какие-то бумажки. Потом строго взглянул на закрытые паспорта, которые Григорьев и Марик держали перед собой. Сказал:

— Ясно!

— Так можно его вызвать? — обрадовался Григорьев.

— Кто вам побежит вызывать? — скривился лейтенант. — Я, что ли? Комната семьдесят один, третий этаж, сами к нему топайте!

— Спасибо, спасибо...

Восторг и окрыленность: проскочили! Марик так заторопился, что налетел на Григорьева сзади.

— Э! — остановил их лейтенант и грозно указал на тугой григорьевский портфель: — Вина — нет?

Испуганно, по-детски, колотнулось сердце, но предельно честным голосом ответил:

— Не-ет, нет.

Вина, действительно, не было: в портфеле, завернутые в штаны и в рубашку тренировочного костюма, — чтобы не звякали и для маскировки, — лежали две бутылки «старки».

— Ну идите, — разрешил лейтенант. — Только недолго! — Он подумал: — Сорок минут вам!

На площадке перед лестницей красовался фанерный щит, увенчанный золочеными резными буквами: «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА». На щите были наколоты ватманские листы с текстом, исполненным разноцветной тушью и почему-то в церковно-славянском стиле. Явно димкина работа.

Как ни спешили, Григорьев задержался у щита.

— Смотри как у них, — сказал он Марику, — не «социалистические обязательства», а просто «обязательства рабочих и служащих спецкомендатуры».

— Пошли, — торопил Марик, — пошли!

Григорьев успел пробежать только первое обязательство: «В честь 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина завершить строительство кормохранилища в совхозе "Тельмановец" к 15 апреля 1980 г.»

Зато у висевшей дальше «Доски позора» остановился даже Марик. Она пародировала заводские доски почета: вме-

сто фотографий передовиков красовались карикатурные портреты провинившихся. Под каждым — краткий текст (черной тушью, готическим шрифтом), кто что натворил. Провинности были незатейливые. В основном, пьянство на работе.

Григорьеву приглянулся портретик «рабочего стройбригады Каталкина»: треугольная красная физиономия с острым подбородочком и круглым сливовым носом, вся в складках морщинок. В них прятались хитрые узенькие глазки и кривоватый ухмыляющийся рот.

— Димка рисовал, — сказал Марик.

На лестнице и в коридорах было темно и грязновато. Тянуло вонью кислой капусты с кухни, резью хлорки из уборных. Из комнат, мимо которых они проходили, доносились матерная брань и смех, щелканье доминошных костяшек, музыка из включенных на полную громкость репродукторов.

— Ну и тюрьма! — шепнул Григорьев Марику.

Несколько раз попались навстречу здешние обитатели — испитые, невзрачного вида мужичонки. Они мгновенно прижимались к стенам, уступая дорогу. Только быстрые взгляды их, словно пощипывая, пробегали по Марику и Григорьеву с головы до пят, особенно цепко впивались в портфели.

Нашли семьдесят первый номер. Григорьев постучал. В ответ донеслось неразборчивое, он открыл дверь — и замер на пороге...

В квадратной комнатке вдоль стен стояли три койки буквой «П». И с той, что находилась как раз напротив двери, медленно поднимался навстречу им — Димка. Поднимался с какой-то смущенной улыбкой. Сразу бросилось в глаза, как он похудел и побледнел. Григорьев ожидал увидеть его коротко остриженным, однако волосы у Димки отросли, напротив, длинней обыкновенного (здесь, как видно, постричься было непросто).

— Привет, — тихо выговорил Димка. — Приехали, молодцы, спасибо.

И его заискивающий тон ударил больней всего. Каким угодно ожидали они найти Димку, только не таким — притихшим, с растерянными глазами.

На койке слева, укрывшись драным байковым одеялом в пятнах, лицом к стене храпел второй обитатель. Видна была только его веснушчатая лысина, обрамленная рыжим пухом. Третий сосед отсутствовал.

В комнатке не было никакой мебели, даже тумбочек. На железных спинках коек висели брюки, рубашки, носки. А стол заменяли расстеленные на полу газеты, запорошенные табачным пеплом и заляпанные рыжими пятнами томатного соуса из консервных банок. Сами вскрытые банки, набитые окурками, валялись и на этих газетах, и на подоконнике. Бил в нос кислый дух застоялого табачного дыма, несвежего белья, протухших остатков пищи.

Димка вдруг засуетился, заговорил быстрым шепотом:

— Пойдемте, я вас отведу. Там посидим.

Они спустились за ним по лестнице на второй этаж и пошли по слабо освещенному коридору. Навстречу попался подвыпивший парень. Вытаращился:

— Эй, художник! Это что — к нам еще художников прислали?

— Ага! — на ходу быстро ответил Димка.

— Художник, т-твою мать!! — крикнул им вслед пьяный. — Куда пошел?!

Григорьеву показалось, что Димка согнулся и прибавил шаг.

Наконец, остановились. Димка отомкнул ключом какую-то дверь, вошел и зажег свет. Ослепила мощная лампа без абажура, низко висевшая на шнуре.

— Вот, красный уголок, — сказал Димка. — Мне тут мастерскую разрешили устроить.

От красного уголка в этой глухой комнатке без окон остались два щита на стенах: один с картинками из жизни семьи Ульяновых, другой — с портретами маршалов Великой Отечественной. А середину комнатки, под лампой, уже занимал здоровенный стол, сколоченный из досок, вроде того, что был у Димки на диорамном участке, так же заваленный обрезками ватмана и пестро выпачканными в красках тряпками. Пахло скипидаром и ацетоном. Видно, Димка здесь обосновался всерьез.

— Садитесь, садитесь! — Димка вытаскивал из-под стола табуретки.

Сердце сжималось от его торопливой предупредительности.

Димка уселся первым. Быстро, выжидающе взглянул на Марика, на Григорьева. И — болезненно потянулась тишина. Димка, особенно бледный в ярком свете, с темными кругами под глазами, смотрел на них и ждал. А они молчали.

Григорьев успел заметить, что стол здесь не сравнить с тем, прежним. У этого доски и обструганы были кое-как, и сбиты неровно...

И тут спокойным голосом заговорил Марик. Он стал рассказывать, как они с Григорьевым утром заехали к Стелле, забрали у нее белье и прочее, что она приготовила для Димки.

В действительности пробыли они у Стеллы всего-то минут двадцать, а сумбурный разговор с ней занял того меньше, потому что она суетилась, собирая и заворачивая всякие мелочи. Но в обстоятельном пересказе Марика разговор этот получился несравненно более толковым, чем на самом деле. Там, возле Стеллы, вертелась еще Катька, и теперь Марик подробно сообщал, как выглядит Катенька и что она просила передать дяде Диме.

И на Димку, который постоянно получал от Стеллы письма, сам недавно виделся с ней и прекрасно всё знал без Марика, этот нудный рассказ подействовал самым лучшим образом. Димка успокоенно заулыбался, прищурился с прежней ехидцей. Сказал про Катьку:

— У-у, засранка! По ней больше всех соскучился.

Марик, продолжая говорить, начал выкладывать на доски стола то, что привезли. И Григорьев с готовностью присоединился. Марик говорил: «А вот — сигареты». Григорьев добавлял: «А еще — носки».

Димка деловито кивал:

— Ага, это в комнату возьму. Это — здесь оставлю. Ой, ну куда она столько пирожков напекла!

Всех троих окутало теплое облако умиротворения. Григорьев положил на стол те самые две бутылки «старки», завернутые в тренировочные брюки и рубашку:

— Вот тебе костюмчик спортивный, вместо пижамы. И лекарство от простуды. Спрячь.

— Ты что, спрячь! — засмеялся Димка. — Он развернул бутылки и поставил их в центр стола. — Сейчас оприходуем!

— Нам уходить надо, — тихо сказал Марик. — Нас лейтенант пропустил на сорок минут.

Теплое расслабляющее облако точно сорвало порывом ветра. Димка вскочил с перекошенным лицом, грохнулась табуретка.

— Какой лейтенант?! Молодой, внизу? Санька? Пошел он в задницу! Сегодня Пал Иваныч старший! Сейчас!..

Димка вылетел из комнаты, а Григорьев на всякий случай убрал бутылки со стола. Через несколько минут Димка вернулся вместе с пожилым милицейским капитаном. Тот, не здороваясь, хмуро посмотрел на Григорьева и Марика, потом на разбросанные по столу вещи и снедь. Хрипло сказал, обращаясь к одному Димке:

— Ладно, сидите. До шести... — Шагнул через порог и уже из полутьмы коридора скрипуче добавил: — Дверь заприте. И — по-тихому. А то к вам набегут.

Димку трясло от торжества:

— Я ж говори-ил, Пал Иваныч разрешит! — ликовал он, запирая дверь. — А то — сорок минут! Гаденыш, сявка!..

Он взглянул на сумрачные лица Григорьева и Марика, осекся. Тихо подошел к столу, опустился на табуретку. Опять улыбнулся невыносимой смущенной улыбкой:

— Вот так. А вы что думали?..

Потом пили еще ледяную с мороза «старку» из майонезных баночек. Закусывали пирожками с капустой и с домашним вареньем (Стелла и Катька напекли их целый мешок). И Димка рассказывал:

— Здесь ничего, жить можно. Вот в «Крестах», действительно, жуть. Хотя мне и там повезло: в камеру аристократов попал. Это, по-тюремному, кто за хозяйственные преступления залетел. Соседи были — зашибись: главный инженер станции техобслуживания, замдиректора хладокомбината, в таком духе. Нормальные мужики. А вот условия... Говорят, при Ежове лучше содержали. Камера на шестерых, койки в три яруса по две, а набивают двенадцать человек, половина

на полу спит. Духота смертная, параша тут же. А кормежка... Селедка — тухлая, капуста — смердит, картошка — черная.

Григорьев и Марик молчали.

Димка приоткрыл в недоброй усмешке свои волчьи клыки:

— Ну, чего скисли? Вот такая у нас, глобусы, обратная сторона Луны... Да ладно, выбрался оттуда, слава богу. А здесь-то — ничего, работы разные. Строительные есть бригады, на комбикормовый завод гонят. Зарплату начисляют даже. Минус проценты по приговору, минус питание — рублей шестьдесят на руки... Я в одной бригаде потыркался, в другой, везде грязь, мразь. Хорошо, удалось начальничкам показать, что я умею. Они и прибалдели. Вот, теперь у меня норка своя, отсиживаюсь. И дальше начальничкам на мозги капаю: мне в Ленинград позарез надо — за красками, за фанерой, за всякой такой дребеденью. Обещают отпускать.

Димка говорил спокойно, однако стоило ему прерваться, как опять натягивалось трудное молчание. Григорьев чувствовал: что-то никак не появлялось, невидимое поле, соединявшее их прежде, когда они собирались втроем. Сковывала боязнь растревожить Димку неосторожным словом. А Марик, так хорошо выручавший, теперь словно отключился. Пил молча и смотрел куда-то мимо. Только угольные глаза остро блестели.

За дверью с хохотом и топотом прокатилась по коридору пьяная ватага.

— Веселая у вас тюрьма, — не удержался Григорьев.

Димка только усмехнулся:

— Какая тюрьма! Это ж спецкомендатура, ближняя химия. Тут настоящих преступников нету. В основном, кто чего по пьянке натворил. Прораб сидит: выпил на стройке со своими рабочими, а один сорвался да убился... Кто за драку, кто спьяну в аварию попал или пожар устроил. Химики, в общем. Ладно, давай наливай!

Марик молча придвинул свою майонезку. На темных щеках его проступили багровые пятна.

— Может, хватит тебе? — спросил Григорьев.

Марик, не отвечая, держал протянутую баночку. Когда налили, так же молча, ни на кого не глядя, выпил. И не поморщился.

— А сколько тут спекулянтов вокруг нашей шараги кормится, — сказал Димка, — страшный сон! В поселковом магазине бормотуха редко бывает, да нашу орду поселковым магазином и не пропоишь. Спасибо, добрые люди не дают умереть, подвозят — из Луги, из Питера. Ну, по двойной цене, конечно. Бормотуха по пяти, водка по червонцу. И всё нормуль. Идет-гудет зеленый шум.

— А деньги откуда? — удивился Григорьев. — На шестьдесят рублей не разопьешься.

— Как откуда? От трудов праведных. Кто на завод ходит, мешки с комбикормом через забор кидают и аборигенам продают. А на стройке тоже неплохо — цемент, стеклоблоки, шифер. Сельские всё купят. Если здесь не пить, так за отсидку целое состояние сколотить можно. Но таких чокнутых нету, чтоб не пить. Пьют все нормально. Как дикие лошади.

В дверь кто-то начал скрестись. Потом застучал — сперва тихонечко, затем всё настойчивей и громче.

Димка нахмурился. Подошел к двери, отпер и, удерживая, чуть-чуть приоткрыл — взглянуть. Но и чуть-чуть оказалось достаточно, чтобы в комнатку просунулась тощая физиономия рабочего стройбригады Каталкина. Григорьев узнал его сразу. Димка великолепно изобразил на карикатуре эту вытянутую треугольную мордочку с остреньким подбородком, всю словно изжеванную, в складочках, в которых поблескивали щелочки-глаза. Только Димка, наверное по своему художническому видению, перевернул цветовую гамму. На рисунке у Каталкина был сливовый нос в багровом окружении, а в натуре — наоборот: круглый носик пылал, точно красная сигнальная лампочка, на темно-сизом треугольнике лица. Одна из фиолетовых складочек над подбородком раскрылась беззубым ртом:

— Родственнички приехали?

— Ага, зятья, — ответил Димка.

— Лучку зеленого хотите?

— Не хотим! — ответил Димка и попытался выпихнуть Каталкина в коридор: — Иди, нет у нас ничего!

— Понял! — дружелюбно ответил Каталкин и попытался прорваться.

У двери началась возня. Димка выталкивал непрошеного гостя: «Отвали отсюда! Отвали! Нам самим мало!» А Каталкин, улыбаясь и примирительно повторяя «Ну понял, понял!», лез в комнатку.

Наконец, молодость победила, Димка захлопнул дверь и повернул ключ:

— Вот же зар-раза!

Он вернулся к столу, сел, посмотрел на друзей и опять чуть улыбнулся своей новой, смущенной улыбкой:

— Ничего, здесь терпимо еще. Может, и надо было этого дерьма хлебнуть, а то многовато мы о себе воображали. — Он прищурился: — У меня ж в этом году юбилей стукнул, тридцать три годика, христов возраст. Вот, сижу в «Крестах» и думаю: ах ты, мать твою, меня уже распинать пора, и вправду собираются, а что я в жизни-то сделал?.. Ну, в юности — ладно: винище жрал, девчонок трахал. Период накопления, по научному. А потом что? Крутился-вертелся, вертелся-крутился. Ведь ни одной работы не сотворил такой, чтоб самому себе угодить. Не кому-то — себе! Такой, чтоб поглядеть на нее и сказать: «Вот, сумел я от души моей отделить кусочек, и теперь, что бы со мной ни случилось, а это — своей жизнью будет жить...» — Он помолчал. — И вот, от гордыни что ли нашей, еще не выбитой, или просто от дурости, но взбрела мне такая фантазия, что НЕ ЗРЯ меня повязали. Не зря я тут сижу возле параши со спекулянтами, а какой-то мне это ЗНАК. И я вот-вот, сейчас, что-то такое пойму... Что-то мне ГЛАВНОЕ должно открыться... — Он махнул рукой: — Ну, мучился, пыжился, чуть головой о стенку камеры не бился, а ничего не открылось, конечно. Какой был дурак, такой и остался. Значит, выше потолка не подпрыгнешь... Есть там еще? Давайте допьем!

За дверью опять завизжали, загомонили пьяные голоса.

— Весело у вас, — сказал Григорьев.

— Какое весело! — скривился Димка. — Осточертели эти рожи. И вообще, скучно. Телевизор всю дорогу ломается, даже «Время» не всегда посмотришь. Газет неделями не видим. Кстати, чего там в мире делается? Картер заткнулся насчет нашей бригады на Кубе?

— Кажется, заткнулся наконец.

— Ну, слава богу. Может, теперь и ОСВ-2 ратифицируют?

— Может быть.

Димка покачал головой:

— А что это они в НАТО придумали с крылатыми ракетами в Европе? Вот гады, не дадут спокойно жить!.. А в Афганистане что? Тараки своего они угрохали, так понимать?

— Похоже.

— Вот-вот! Я, как по «Времени» услышал про скоропостижную болезнь, так сразу и подумал: кокнули беднягу Тараканова! Жалко. Рожа-то у него симпатичная была, задумчивая.

— К нам лектор из райкома приходил, — сказал Григорьев. — Говорит, всё нормально. Тараки был слабый, не мог порядок навести, а новый, Амин — наведет. Ладно, это их дела. Скажи лучше, что тебе в следующий раз привезти?

— Да ничего мне не надо. Я в Ленинграде, наверное, сам скоро буду. Обещают отпускать.

В дверь постучали резко и сильно. Димка так и подскочил, бросился открывать. В комнатку шагнул угрюмый капитан Пал Иваныч, держа перед собой, точно букетик, пучок перьев зеленого лука. Лицо его раскраснелось, глаза налились хмельным маслом, но голос остался тверд. Он посмотрел на пустые бутылки, которые Григорьев не успел смахнуть со стола, и хрипло сказал:

— Перевозчиков, седьмой час! Пошустрей давайте, не в ресторане все-таки!

— Мы еще немножко, Пал Иваныч, — заныл Димка, — еще полчасика...

Капитан откусил и прожевал зеленое перышко. Проскрипел:

— Гони! Гони гостей, кому сказано! — и захлопнул за собою дверь.

Марик уже надевал пальто. Вернее, изогнувшись, пытался попасть в рукава. Он был пьян. Димка, расстроенный, подошел к нему, помог.

— На всякий случай, — медленно сказал Марик, — с Новым годом тебя!

— Спасибо, Тёма, спасибо. Да ты держись!

Они спустились вниз. Вместо лейтенанта за вахтенным столиком сидел симпатичный паренек в свитере и читал книжку. Завидев Димку, он даже встал.

— Здравствуйте, Дмитрий Николаич!

Димка хмуро кивнул ему:

— Я выйду, провожу друзей до ворот.

— Конечно, Дмитрий Николаич.

— Это Володька-следопыт, — тихо пояснил Димка Григорьеву.

— Какой следопыт?

— Оружие искал на Синявинских болотах, музей в своем техникуме устроить хотел. За это и залетел сюда. У ментов он в доверии. Видишь, на вахту сажают за себя, в город часто отпускают.

Настроение у Димки явно портилось.

Вышли в темноту, на мороз. На небе горели крупные звезды.

— Вернись, — сказал Григорьев Димке, — куда ты без пальто, простынешь.

— Ничего, — ответил Димка, — я вас до ворот только.

Он совсем сник.

— Иди, замерзнешь, — повторил Григорьев. — Ничего, мы теперь скоро увидимся.

— Увидимся. Я, может быть, на Новый год уже приеду. Или в январе. Обещают отпускать.

И вдруг Димка обнял Григорьева и холодными губами ткнулся в его щеку:

— Ладно, идите!

Он еще обнял и чмокнул пошатнувшегося Марика, махнул рукой и побежал к зданию.

Когда вышли за ворота, Григорьев оглянулся. В черном проеме приоткрытой двери светился огонек сигареты.

— Счастливо! — крикнул он Димке.

— Топайте! — донеслось в ответ. И что-то еще, неразборчивое: — Электричка... Новый год...

В темноте, да еще во хмелю идти по тропинке через поле оказалось куда тяжелей, чем днем. На этот раз Марик брел

впереди. То и дело его заносило с тропинки в сторону, в глубокий снег. Вдруг он остановился и сказал:

— Видел, как у них? Даже охраны нету. И никто не бежит.

— Куда убежишь?

— Верно, — согласился Марик. — Это верно... — и зашагал дальше.

Они были вдвоем в огромном снежном поле. Чуть темнела под ногами тропинка. Дрожали в черно-синем небе яркие звезды. И вдали светили сквозь редкий лесок спокойные огни станции.

Вдруг Марик, не оборачиваясь, закричал:

— Слушай, год-то какой! Новый год — восьмидесятый!

— Ну и что?

— Коммунизм должен наступить!

— Наступит, Тёма, наступит. Давай, топай, на электричку опоздаем.

Но Марик через несколько шагов опять остановился. Сказал таинственно:

— А ты понял, что это было?

— Где? — удивился Григорьев.

— Ну там, у Димки.

— Черт их поймет! Не то тюрьма, не то кабак, не то санаторий для ханыг.

— Ничего ты не понял. Они же нас убивают.

— Успокойся, Тёма, никто никого не убивает.

— Убиваю-ут!! — вдруг закричал Марик, кажется, на всё ночное снежное поле, так что Григорьеву стало жутко.

— Ты выпил, Тёма, успокойся.

— Убивают! Они — не люди... Но мы, мы... Разве мы — люди, если им позволяем себя убивать?!

— Успокойся, Тёма!

— У меня в мозгу клеток больше, чем звезд в Галактике, и каждая устроена сложней, чем звезда! Зачем это мне? Зачем тебе, Димке, зачем тому химику синерылому? Зачем нам всем, если мы не люди-и?!

— Тише, Тёма, успокойся! Станция близко. Ты что — в вытрезвитель захотел?

Марик развел руками так, словно хотел обхватить небосвод со звездами:

— Как там Джинс сказал? Жизнь — это болезнь материи?.. Верно! У нас его мракобесом называли. А он всё сказал честно... Я тоже хочу быть честным! Хочу в спецкомендатуру-у!!

Марик развернулся и, наклонив голову, пошел по тропинке прямо на Григорьева.

Григорьев схватил его за узкие плечи, затряс:

— Да очнись же ты, черт! В самом деле загремим с тобой! Тебе что — бумагу из милиции хочется на работу? Не дури, слышишь!

Голова Марика моталась из стороны в сторону, его темное личико было почти неразличимо во мгле, только блестели глаза, как сквозь прорези в черной маске. На морозе от него сильно пахло спиртом.

— Хватит, — попросил он. — Хватит, голова кружится.

Григорьев отпустил его.

— Ра-бо-та, — выговорил Марик. — Это ты правильно вспомнил... Работа и семья. И ты уже не человек...

Он повернулся, стремительно зашагал к станции и вдруг заорал «Пионерскую-новогоднюю», оттуда, из репродукторов пятидесятых, пытаясь маршировать, проваливаясь в снег, и всё равно взмахивая руками в такт:

Чтобы праздник был веселый,
Подпевай, родная школа!
Наш задо-орный смех
Пусть несется звонче всех!..

— 17 —

— У меня какие-то твои книги, — вдруг вспомнила Аля.

Похоже, она была раздосадована. Победная для нее мелодия прощания изломилась перед самым финалом пошлым житейским аккордом: остались книги, книги надо вернуть.

— Ничего, — сказал Григорьев. — Пусть пока полежат у тебя. Отдашь потом.

— Когда — потом? — насторожилась Аля.

— Откуда я знаю? Когда-нибудь.

Попытался вспомнить, какие же у нее могут быть книги. Кажется, томик Сент-Экзюпери. Да, точно.

Это было минувшей зимой. Она пришла к нему вечером, замерзшая. Он поставил чайник, достал банку варенья. Было так приятно хлопотать ради нее. И так тревожно. Ее влюбленность истаивала. Уже прорезались первые нотки снисходительности — то, что труднее всего стерпеть. Оставалась чувственность, но долго ли на ней одной протянешь? Хотя, еще не иссякло до конца и алино любопытство.

Она в тот вечер перебирала книги у него на столе и вдруг засмеялась:

— Читаешь детское?

— Что?

— Вот, «Маленький принц».

— Это же «избранное», здесь несколько произведений. «Маленький принц» и мне кажется неглубоким. Такие простые аллегории, наивность отдает нарочитостью. «Ночной полет» достаточно прочесть в юности, а потом один раз перечитать взрослым и понять, что это тоже сказка. А вот «Планета людей»... В тридцать девятом, в год всеобщей ненависти, написать «Планету людей» — для этого надо иметь великую душу. Но главное — «Военный летчик». Неужели ты не читала? Может быть, это самая значительная книга нашего времени, «Война и мир» двадцатого века. Мне кажется, так писал бы Толстой, если бы воевал не артиллеристом в Крымскую войну, а военным летчиком во Вторую мировую. Да, это «Война и мир», только сжатая скоростным потоком, как профиль боевого самолета, до предельной строгости линий. Сжатая морозом десятикилометровой высоты, где влажный воздух в дыхательных трубках замерзает ледяными кристаллами. До монолита, до сотни страниц вместо тысячи... Я считаю русскую литературу величайшей в мире, а подобной книги у нас нет. Может быть, наши собственные Сент-Экзюпери погибли где-то в ГУЛАГе или в окружении под Киевом? А может быть, такие русские книги написаны,

но не изданы, лежат с пачками дурацких рецензий у авторов в столах, и мы о них ничего не знаем, как вообще ни черта не знаем о том, какая же у нас литература? Но этот переломанный в катастрофах французский аристократ поднялся до такого всечеловеческого постижения, что кажется мне истинно русским писателем.

Он взял у Али томик, полистал:

— Вот, слушай, это написано в сорок первом: «Я буду сражаться против всякого, кто провозглашает превосходство какого-то одного обычая над другими обычаями, одного народа над другими народами или одной идеи над другими идеями»... Понимаешь? Со своей-то мировой известностью и старыми ранами он мог бы со спокойной совестью дождаться конца войны в Америке. Да и вернувшись на фронт, мог бы не рваться в боевые вылеты, его же так не хотели посылать! Остался бы жив, написал бы новые книги. Нет, «я буду сражаться». И это не геройство, он никогда не геройствовал. Не жажда мести врагу — меньше всего он похож на мстителя. Это то, что нам кажется высшим состоянием, а в действительности, быть может, есть самое естественное, заложенное в человека при сотворении вместе с разумом и душою. Это — исполнение основного закона жизни... Говорят, не может быть одной правды для всех. Почему не может? Вот она: «Я буду сражаться!» Только против этих знаков мертвечины и должен сражаться человек.

— А за что? — спросила Аля.

— За всё остальное. Потому что всё остальное и есть — жизнь.

Конец января 1980 года, воскресенье. Григорьев с Алёнкой отправились в цирк. Это Нина взяла билеты и предложила ему пойти. Нина была права: надо выполнять отцовские обязанности, а он несколько месяцев не виделся с дочкой.

Он ждал Алёнку на улице. Девочка вышла к нему из подъезда, одетая как на картинке из журнала мод: в новой шубке, в пушистой меховой шапочке, в красно-белых, явно заграничных сапожках и в красных с белым узором, в тон сапож-

кам, рукавичках. В первый миг поразился: как она вытянулась! А впрочем, что ж удивляться, ей скоро девять лет.

— Добрый день, — сказала Алёнка и взглянула на него огромными голубыми глазами Нины.

Хотел поцеловать ее, да постеснялся. А главное (не подумал об этом заранее!) оказалось, что им не о чем говорить. Но в цирк ехали на метро, там было шумно, разговаривать всё равно невозможно. А в самом цирке они оказались в такой толчее, посреди такого детского визга, что едва удавалось обмениваться короткими фразами.

— Купить тебе мороженое? — спросил Григорьев.

— Да, спасибо, — кивнула Алёнка.

Он купил стаканчик и краем глаза наблюдал, как она ест, удивительно аккуратно и чистенько. Доела (даже не испачкав розовые губки) и еще раз сказала: «Спасибо». А он вдруг испугался, что девочка простудится по его вине.

Началось представление. Под раскаты оркестра по арене маршировали артисты в сверкающих блестками трико, высоко поднимая развевающиеся спортивные знамена. Они образовали круг, в центре оказался певец с микрофоном, и, усиленный динамиками, с разных сторон хлынул потоками звонкий баритон, радостно сообщавший публике: «У на-ас особый год!»

Григорьев сразу и не понял, о чем это? Какой такой необычный год наступил, коммунизм, что ли? Потом разобрал: ленинский юбилей, сто десять лет, и еще олимпийские игры. «У на-ас особый год!» — перекатывался под куполом цирка припев. Алёнка рядом спокойно смотрела и слушала.

Хотелось зажмуриться, заткнуть уши от стыда, бессилия, тоски. Уже месяц, как обрушилось невероятное — война в Афганистане. Сахарова выслали в Горький. Президент Картер объявил, что США отказываются ратифицировать договор ОСВ-2, и призвал к бойкоту московской олимпиады.

Никто вокруг ничего не знал толком. Пытались слушать «голоса», но на всех волнах надсадно завывали глушилки. Их запустили разом, безошибочно и мощно перекрывая диапазоны. Значит, все годы разрядки держали в полной готовности. Бился понизу растерянный шелест: «Что же теперь бу-

дет?» О, проклятое, беспомощное «что же теперь будет?»! О, это вечное российское принятие каждого поворота исторической судьбы! Вначале — ужас, потом — смирение, привычка. И дальше — обыденная жизнь среди того, что еще вчера показалось бы кошмаром.

Хоть бы Алёнка сама заговорила с ним, спросила о чем-нибудь. Но Алёнка молчала, глядя на арену.

А у него болела голова и тело казалось ватным. Зимой вообще устаешь сильнее, да вдобавок он уже неделю ездил вечерами на сборы офицеров запаса. Всегда терпеть не мог эту бестолковщину: две недели таскаться после работы в свой бывший институт на военную кафедру и торчать там допоздна, ни поесть, ни выспаться. Уставшие за день «запасники» на занятиях, в тепле, сидят одурелые, откровенно спят. Кажется, что проще: забери людей всего на несколько дней с отрывом от работы, они хоть что-то усвоят. Нет, и тут всё навыворот, и тут неважен результат.

Моложавый лысоватый майор прохаживался перед аудиторией. За его спиной висела пожелтевшая от времени «Схема организации мотострелкового полка». На столе лежал автомат Калашникова нового образца, непривычно удлиненный трубкой надульника. Майор только что провел перекличку и недовольно кривился: слишком много отсутствующих.

— Ну и потери! Как в Афганистане!

Люди зашевелились. Вскинулись даже те, кто дремал:

— Потери? Что — в Афганистане большие потери?

— Боевые! — усмехнулся моложавый майор.

Скорей всего, на своей тихой военной кафедре он получал информации не больше, чем они. Но на его гладком лице было насмешливое превосходство принадлежности к тем, кто ЗНАЕТ.

За окнами аудитории звенел трамвай. Ленинградский снег, закрученный ветром, бился в стекла. Среди немолодых, усталых людей за ученическими столами шурша перекатывалось царапающее слово: «потери, потери».

Кто-то решился, спросил:

— А когда, примерно, там кончится?

Майор остановился, снисходительно сощурился и сказал, разделяя слова, как бестолковому ребенку, — весело сказал, то ли с непонятным предвкушением, то ли с еще более непонятной угрозой:

— Там весной... НАЧНЕТСЯ!

— Тебе хорошо видно? — спросил Григорьев, наклонившись к ушку Алёнки.

— Мне хорошо, удобно, — кивнула она, не поворачиваясь.

Вдруг он сообразил, что Алёнка за всё время не только папой его не назвала, просто ни разу к нему никак не обратилась.

Он пытался смотреть представление, но его раздражали жонглеры, так размеренно подбрасывавшие и ловившие свои булавы, что даже хотелось, чтобы они их уронили. Раздражали униформисты, помогавшие фокуснику: они так тщательно устанавливали «волшебный сундук» на арене, примеряясь, подправляя, заглядывая вниз, что сразу становилось ясно — стараются попасть на замаскированный люк.

А Димка в январе 1980-го действительно приехал. Пока что не на выходные, а в будний день, за красками и материалами для своего художества. Позвонил Григорьеву на работу:

— Зэка Перевозчиков приветствует!

Димка говорил наспех, бодрился. Успел сказать:

— А у наших алкашей нынче юмор: пойдем записываться добровольцами в Афганистан, кровью искупить!

Григорьев сперва испугался (все-таки, служебный телефон), потом ощутил безразличие: подслушают так подслушают, черт с ними! Хотя прослушивали, кажется, только междугородние разговоры.

Марик морщился, как от зубной боли:

— Ничего у нас толком не умеют, даже войну затеять! Я давно подозревал, что они войну устроят. Ядерную побоятся, в ядерной им самим не уцелеть, а так, среднюю, чтоб всё на нее списать. Но уж в такую бездарную войну влезть... Кретины, кретины!

Вышли с Алёнкой из цирка на улицу. Надо было о чем-то говорить, но Алёнка молчала. Молчание у нее было не напряженное, а спокойное, доброжелательное, как когда-то у Нины.

Хотелось узнать у молчаливой девочки, как ей живется при новом мамином супруге, что в этой семье вообще делается, как Нина ведет себя дома, о чем там говорят?.. Господи! Разломные, грозовые события в мире, а его занимают такие мелочи! Зачем, почему? Ведь он и не хотел бы, чтоб Нина к нему вернулась.

— Тебе понравилось представление?

— Да, хорошо, спасибо.

— А ты видела, как они сундук для фокусника устанавливали, чтобы попасть на люк? Ты, наверное, не поняла.

— Почему? Я всё поняла. Ну и что? Если им надо. Они же хотели, чтобы фокус хорошо получился.

— Разве это фокусы! Я вот, помню, видел еще отца Кио. У него, представляешь, был фокус: говорящие головы. Сперва выходили люди как люди, дурачились, мешали фокуснику. Он их прогонял с арены, и как будто в наказание тут же выкатывали их головы на подставочках. И головы сердились, шумели, требовали, чтоб их расколдовали обратно... А клоуны были какие! Один Борис Вяткин чего стоил! У него была собачка Манюня... Тебе интересно? Хочешь, чтоб я рассказывал?

— Мне интересно. Я слушаю.

Они шли по улице, он держал Алёнку за руку на расстоянии, как принцессу, и говорил, говорил, его словно прорвало. Нежность к ней, отчаяние от своего нелепого родительства — всё выплеснулось в этой внезапной говорливости.

(Ноющие клеточки памяти раздражал лысоватый майор с военных сборов. Снова и снова пытались его расспрашивать об Афганистане, а он только что купил «Жигули» и ему хотелось говорить о машинах.

— Трех водителей бойся, — рассуждал он, прохаживаясь перед аудиторией с коротким и широким ножевым штыком от «калашникова» в руках. — Как заметишь, скорость сбавляй, дорогу давай, чтоб только их черт подальше унес! Пер-

вое дело — таксисты, они гонят как бешеные, деньги стригут, им скорей одного пассажира скинуть, другого подхватить. Потом — военные машины, там сопляки девятнадцатилетние за баранкой. А третье — что? — майор похлопал лезвием штыка по ладони. — А третье — баба за рулем!)

И неожиданно для себя Григорьев тоже заговорил с Алёнкой о машинах:

— Смотри, все новые машины — квадратные, безликие. А раньше, когда я был мальчишкой, все машины имели свои лица. Они нам казались живыми! Фары — глаза, решетка радиатора — нос и рот. Вот, видишь: стоит старенький «Москвич» из моего детства, сохранился, молодец. Глазки близко поставлены, мордочка грустная, застенчивая. Если увидим, покажу тебе «Победу» — у нее выражение спокойное, добродушное. Были «ЗиМы» — такие важные морды. Были «ЗиС-110» — это уж совсем большие начальники, у них широко расставлены глазищи, смотрят на всех презрительно...

Вдруг спохватился, что Алёнке скучно, ей не понять, да ему самому не объяснить, как это было, когда по улицам домашнего Ленинграда ездили живые автомобили. Ностальгия по детству? Для ребенка мир всегда устроен разумно?

А вот для Алёнки мир неразумен и сложен с самого начала. Мама живет с чужим дядей. Родной отец какой-то странный, и видит она его раз в несколько месяцев.

— Мне холодно, — сказала Алёнка. — Я хочу домой.

1980-й. Трещины, расколовшие мироздание, расширялись уже на глазах. Обломки монолита с нарастающим гулом приходили в движение. Где-то за тысячи верст дымился и истекал кровью Афганистан. Из газетных сообщений ничего невозможно было понять. В программе «Время» изо дня в день показывали одну и ту же площадь в центре Кабула с улыбающимися афганцами. Но что-то прорывалось, прорывалось. Резнул случайно услышанный в электричке разговор двух офицеров, немыслимый еще год назад: «А у бээмпэшек наших броня в полсантиметра, из автомата пробивается. Очередь зажигательными — и братская могила на десятерых. На кой черт этих консервных банок столько на-

клепали, для парадов? Как будто опыта Отечественной не было!»

В Иране исламские фанатики захватили американское посольство со всем персоналом. И мировая сверхдержава билась в истерике, не в силах ничего изменить.

В Польше творилось нечто немыслимое для социалистического лагеря. Там объявился какой-то независимый профсоюз «Солидарность», всю страну сотрясали его забастовки, беспомощно метались и одно за другим сменялись правительства.

Внезапно умер Высоцкий, и это тоже отозвалось болью разлома эпохи. Ушел тот, под песни которого люди их поколения выросли и жили.

А на улицах портреты Брежнева смешались с изображениями олимпийского Мишки.

В 1980-м, впервые, вышли в сборнике «молодых писателей» (толстая книга, почти два десятка авторов) два коротких григорьевских рассказа. Купил и притащил домой сразу дюжину экземпляров, хотел раздарить. И только потом сообразил, что дарить собственно некому. Ну, отвез книжку отцу в кардиологический санаторий в Сестрорецке. Ну, Стелле и Димке по книжке вручил, да еще Марику. Вот и всё. Больше никому дарить и не хотелось.

Отец прочитал, хмыкнул:

— Ничего, нормально. Инфарктникам нашим показать не стыдно, какой у меня сын. Времени-то много на писанину тратишь?

— А что?

— Да я всё жду, когда ты, черт неприкаянный, по-нормальному женишься и внука мне нормального родишь.

Димка, прикативший на выходные, тряс его за плечи:

— Что ж ты молчал, глобус ты эдакий?! А ну, ставь бутылку, писатель! Послушай, я тебе таких историй с нашей спецкомендатуры порасскажу, накатаешь романею — у-у — «Графа Монте-Кристо» заплюешь!

Стелла только целовала его и приговаривала:

— Умничка, умничка! Всегда в тебя верила!

А Марику Григорьев дал кроме книжки еще рукописи нескольких рассказов и стихи. Марик не проявил ни удивления, ни возбуждения:

— Неправды не пишешь, молодец. Скользишь на недосказанностях. В общем-то, кукиш в кармане.

Слышать это было тяжело, хоть на Марика он, конечно, не мог обидеться. А тот продолжал, спокойно и безжалостно:

— Подумай сам, чего ради мучаешься? У писателей два побуждения к творчеству: жажда славы и жажда власти.

— Что-о?

— Ну, подсознательные, подсознательные побуждения. Психологию надо изучать, вот главная наука! Исходных мотивов человеческого поведения всего несколько, все простейшие, как постулаты у Евклида. Ладно, жажды славы у тебя, может, и нет, не в структуре твоего характера. А жажда власти — конечно. Ты вдумайся: для чего пишешь? Чтоб мысли свои людям сообщить, чтобы они твоему внушению поддались и хоть чуточку изменились, как тебе хочется. Значит, власти над ними желаешь! И выходит, на донышке, под всей благородной пеной, мотивы у тебя те же, что у каких-нибудь презираемых тобой властолюбцев.

— Эк куда хватил! — Григорьев всё же обиделся немного. — Да ты поверь, Тёма, я согласился бы, чтоб мои книжки под чужим именем выходили, чтоб гонорар не платили, только бы всё печатали.

— Отлично! — сказал Марик. — Вот, сам же подтверждаешь. Ты и бескорыстен, и на безвестность согласен, лишь бы тебе позволили мозгов людских достигать. Это как у Ришелье, помнишь, был «серый кардинал»? Тихонький такой, в заплатанной рясе, веревочкой подпоясанный. Ходил по стеночке, глаз не поднимал. Ему тоже ни славы, ни богатства не требовалось. Его сознание тешило, что это именно он всей Францией правит.

— Да ну тебя!

— Нет, нет, не обижайся! Я как друг говорю. Ты в самом деле подумай, стоит ли мучиться? Главное, при таком мотиве результата быть не может. Сколько великих писателей до тебя добру учили, ну и что? Лучше люди стали?.. Ей-богу, зря ты, зря. Годы-то уходят. Самая правильная для нас те-

перь философия — устроиться так, чтобы и нам от людей и людям от нас поменьше беспокойства. Комфорта хочется, чтобы уж с горки-то с комфортом ехать.

Григорьев не мог понять, шутит Марик или говорит серьезно. Тот сидел — спокойный, сухонький, черные щеки похудели и втянулись, черные блестящие глаза смотрели невозмутимо. Впервые Григорьев заметил, что черная каракулевая шевелюра Марика поредела, просвечивают беловатые проплешины.

— Вот я, — рассуждал Марик, — я репетиторствую, добираю сколько мне надо для комфортной жизни, больше ни на что не претендую.

Григорьев слушал, слушал и наконец не выдержал:

— А ведь ты всё врешь, Тёма!

— Что — вру? Что репетиторством занимаюсь?

— Да нет, ясно, что занимаешься. А вот всё прочее — насчет комфорта, насчет моей жажды власти... Не будем ни ты, ни я, ни Димка тихой, комфортной жизнью довольны, хоть власти при этом ни мне, ни тебе, ни ему не надо. Мало нам будет спокойной жизни, хоть нас золотом осыпь!

Марик запнулся. И вдруг согласился неожиданно легко:

— Мало! — он даже головой кивнул: — Мало, конечно! Только вот, что нам нужно?

Лектор из райкома выглядел как-то непривычно. Нет, он нисколько не постарел, но его круглое лицо, напоминавшее колобок с глазами-изюминами, утратило застылость печеного теста, в нем прорезалась живая мимика. В хорошо поставленном голосе перекатывались яростные нотки. Пожалуй, впервые за много лет это было не наигранное, а искреннее возбуждение:

— ...С чем подходим к очередному съезду?! Что несем на алтарь отечества?!

В парткабинете было холодно, за побелевшим от инея окошком стоял морозный февраль 1981-го. Через несколько дней в Москве должен был открыться XXVI съезд КПСС, и на улицах выросли уже щиты с плановыми цифрами очередной пятилетки: приросты по стали, нефти, углю, квадратным метрам жилья и тоннам зерновых.

— Когда-то был энтузиазм, — ярился лектор, — кидались занимать очереди в военкоматы! А теперь энтузиазм — кидаемся занимать очереди в ювелирные магазины!

Да, верно, — подумал Григорьев. — В какой город ни въезжаешь на утреннем автобусе из аэропорта, — в Минск, в Киев, в Куйбышев, в Новосибирск, — везде одно и то же: если увидишь на пустынной улице дожидающуюся открытия магазина очередь, значит, там ювелирный. Еще несколько лет назад такого не было.

— ...Фарс, бесстыдный фарс! — лектор уже клеймил новоизбранного американского президента. — Во главе мировой державы встал бездарный актеришка из вестернов. Ковбоев и шерифов играл. Все-то его роли: прыгает на коня, либо спрыгивает с коня.

По рядам прокатился смешок. Лектор нахмурился:

— А вы знаете, что этот Рейган велел своим экспертам проанализировать ситуацию в нашей стране? И те доложили: Советский Союз, как великая держава, ДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ...

По рядам пронесся и угас тихий стон. Воцарилась испуганная тишина.

Лектор взметнул руку:

— Понимаю ваше возмущение, товарищи. Но этот бред делом придется опровергать, делом!

Похоже, он не притворялся, его действительно трясло от ярости:

— Этот Рейган — выродок хуже Гитлера! Он говорит: коммунисты не верят в бога, не верят в загробную жизнь, поэтому их надо уничтожить! Но ничего, ничего... — ненавидящий голос зазвенел острым металлом: — Есть закономерность: ни один президент США, избранный в год, который оканчивается нулем, не просидел положенный срок, либо умер, либо погиб. Вспомните: Линкольн, Рузвельт, Кеннеди. И этот погибнет!!

Слушатели недоверчиво зашевелились.

Что за дичь? — подумал Григорьев. — Ну, Кеннеди, избранного в шестидесятом, убили на первом сроке, верно. А насчет Линкольна и Рузвельта — вранье. Линкольна

выбирали дважды — в тысяча восемьсот шестидесятом и в шестьдесят четвертом, первый срок закончил благополучно, застрелили на втором. А Рузвельта в девятьсот сороковом году избрали не в первый, а в третий раз подряд, и умер он не на этом сроке, а на следующем, снова переизбранный в сорок четвертом.

От слов лектора в самом деле повеяло чем-то жутковатым. Ведь лектор, какой ни есть, а представитель власти. До чего ж мы докатились, если уповаем на такую дешевую мистику! Фантасмагория... И всё — вот так, буднично.

Хотя, вообще всё буднично. Димка в тюрьме. Марик вместо своей науки занимается черт знает чем. У самого — развалилась семья, отняли любимую работу, рассказы возвращаются из журналов с идиотскими рецензиями. И всё — просто, обыденно, тихо.

Но тишина взорвалась. В марте 1981-го ему на работу позвонила плачущая Стелла:

— Димочка разбился! На машине-е!

А у Григорьева, как всегда, стол был завален телеграммами и письмами с заводов, по местному телефону трезвонили из цехов и с испытательной. Беги туда, беги сюда, голова кругом. В первый миг даже всплеснуло раздражение на Димку: да что он вечно в какие-то истории попадает! Но в следующую секунду (и ужаснуться сам себе не успел) этот морок схлынул, мир вокруг сфокусировался, точно матовое стекло навели на резкость, и Григорьев уже кричал в трубку какие-то слова утешения, записывал адрес больницы, а потом с колотящимся сердцем бежал по сырому мартовскому снегу...

Больничная палата, грязноватая, с облупленными стенами, показалась копией той, в которой недавно лежал отец. Те же тесно составленные койки, полтора десятка больных. Тот же невыносимый воздух — удушливый настой медикаментозных запахов и испарений немытых человеческих тел. Вся-то разница, что отделение не кардиологическое, а травматологическое, везде гипсовые повязки и бинты.

Один Димка лежал без всяких повязок, только на обритой наголо сизой голове желтели наклейки пластыря. Лицо его

еще больше осунулось и в больничном освещении казалось даже не бледным, а синеватым. Глаза точно заволокло мутноватой пленкой. Веки непроизвольно подергивались, как будто он пытался подмигнуть.

— Хотел в Ленинград лишний раз попасть, — тихо говорил Димка. — А у нас машину отправляли за продуктами. Напросился. Двое в кабину сели, к водителю, меня в кузов. На гололеде набок грохнулись. Тем, в кабине, хоть бы что, а я — вылетел и башкой ударился.

— Ничего, ничего, — успокаивал Григорьев. — Живой остался, всё пройдет.

— Да мне уже лучше, — говорил Димка. — Раньше встать не мог, падал, а теперь до туалета сам дохожу. Вот только башка болит, хоть кричи. Анальгину примешь, часа на полтора полегче, потом — опять. Как будто молотком отбойным в черепушке долбают... Мне по-настоящему в другую больницу надо. Где нейрохирургическое отделение есть. Вот, отсюда вылезу, пойду туда устраиваться. Я на химию-то не вернусь. Мне сказали, теперь досрочно освободят. По состоянию здоровья.

Стелла всхлипнула.

— Чего ты? — улыбнулся Димка. — Я скоро дома буду. Радоваться надо. Повезло.

— Что-то вы плохо сегодня едите, — посмеивался захмелевший доцент, — задачу свою не выполняете. И вообще, мрачный какой-то.

— Расстроенный, — объяснил Григорьев. — Утром навещал друга. Он уже в третьей больнице лежит, никак его поправить не могут.

— А что с ним?

— Попал в аварию. Кажется, гематома мозга и, кажется, не рассасывается. А по-настоящему, наши врачи бестолковые ничего не понимают.

— Сочувствую, — покивал доцент. — А я-то уж грешным делом подумал: зазнались.

— С чего это вдруг?

— Ну как же! — доцент заулыбался, а Григорьев сверхчутьем уловил, что сидящая за доцентом Нина прислушива-

ется к их разговору не так, как обычно, пугливо и напряженно, а с интересом. — Вы же теперь писатель!

У Григорьева свалился с вилки только что подцепленный ломтик ветчины.

— Что, разоблачили вас? — посмеивался доцент. — А зачем скрывали? Нет ничего тайного, что не стало бы явным!

Григорьев пожал плечами. Случилось то, что должно было случиться. Тот сборник «молодых» в минувшем 1980-м вышел мизерным тиражом — всего пятнадцать тысяч. Но он продавался в книжных магазинах, поступил в библиотеки. Рано или поздно всё равно попался бы на глаза кому-то из компании «полубогов». Вот теперь, год спустя, это и произошло.

— Нет, нет, вы — молодец! — изливался доцент. — Мы кто? Мы все-таки интеллигенция. Вы, может, и отплевываетесь, когда из наших дверей выходите, а мы всё равно — интеллигенция. Потому что другой в Союзе нет и уже не будет. А в кругу интеллигенции престиж ценится не меньше денег. Так что, поздравляю: блестящий обходной маневр! Из аутсайдеров — раз, и на самый верх! Вы звучание оцените: писатель, писатель, а? Даже на слух престижнее, чем доктор наук, не говоря о кандидате. И то, что скрывали успех, в этом особый кураж.

— Да какой кураж, какой успех, какая престижность!

— Не думали об этом? А подсознание? Или вы и в психологию не верите?

— Верю, — ответил Григорьев. — У меня даже личный психолог есть, мой школьный друг. Мне его одного достаточно. А вы мои рассказы прочитали?

Он явственно ощущал внимание Нины. Она ловила каждое слово. Да что это с ней сегодня?

— Увы, — доцент развел руками, — жду, когда очередь подойдет. У вас просить не осмеливаюсь, раз вы такой конспиратор. Но восхищаюсь вашим творчеством заранее. Почему? Да, говорят, рассказики ваши — из современной жизни. Шапки долой! Тут особое мастерство необходимо. Ибо время у нас с вами такое, что сказать о нем совершенно нечего. Не согласны? Тогда молитесь за здоровье Леонида

Ильича! Пока он жив — и надежда жива. Какая? Надежда, что когда он, одряхлевший и всем осточертевший, наконец помрет, придет другой, помоложе, потолковее, и всё пойдет на лад. А как протянет он свои царственные ножки и не изменится ничего, — а ведь не изменится, — вот когда тошнехонько станет!

— 18 —

Включился динамик над внешней балюстрадой, и лезвие металлического женского голоса, объявившего посадку на его рейс, рассекло их с Алей.

— Иди! — сказала Аля. — Опоздаешь.

Он не тронулся с места.

— Характер показываешь?

— Там всё равно сначала много народу, — ответил Григорьев. — Лучше уж здесь постоять, чем в толпе.

Аля молчала, усмехаясь.

Сколько же они пробыли вместе? Почти два года. В его возрасте время уже мелькает, а вот всё, что связано с Алей, кажется, тянулось долго.

— Если торопишься, иди! — сказал он ей.

Чуть не добавил: «торопишься к кому-то». Да это и так было ясно. Не для того она уходит от него, чтобы остаться одной.

А он, может быть, останется в конце жизни один. Такой же одинокий, каким был Димка в их последнюю встречу осенью 1982-го.

Димку в прошлом году после нескольких месяцев скитаний по больницам освободили с химии. («Актировали, — невесело шутил он. — Говорят, и при Сталине доходяг из лагерей отпускали, пусть дома подыхают». — «Типун тебе на язык!» — сердились Григорьев и Марик.)

По-прежнему Димку изводили страшные головные боли. Он работал вахтером — сутки через трое — на маленькой трикотажной фабрике. Совсем не пил. Завел себе наконец магнитофон, подержанный, катушечный.

Сейчас этот магнитофон стоял на пустом столе, вращались катушки. Приглушенно, чтоб не мешать разговору, пели Визбор и Окуджава. Димка рассеянно смотрел куда-то мимо Григорьева и говорил медленно, порой невпопад, словно всё время прислушивался к каким-то своим ощущениям или тоскливо думал о своем. Невыносимо было видеть его таким подавленным.

— Ты хоть женился бы! — вырвалось у Григорьева.

Димка даже не улыбнулся. Только вяло искривил уголок рта:

— Не на ком. Да и... нечем.

— Как? Ты что?! — ужаснулся Григорьев.

— А вот так, — спокойно сказал Димка. — Не мужик я больше. Да, после аварии. Это дело, оказывается, тоже с мозгами связано... Ничего, я теперь оптимист. Знаешь, какая разница между пессимистом и оптимистом? Пессимист говорит: плохо стоит! А оптимист: хорошо висит!

Григорьев растерялся, хотел перевести разговор на другую тему, а в голову, как назло, ничего не приходило. Но тут из магнитофона прорвался голос Городницкого. Димка потянулся, прибавил звук:

Предательство, предательство,
Предательство, предательство,
Души незаживающий ожог!

Димка слушал, чуть кивая и щурясь. А Городницкий яростно кричал:

Рыдать устал, рыдать устал,
Рыдать устал, рыдать устал,
Рыдать устал над мертвыми рожок!..

— Знаешь, — сказал Григорьев, — мне тут книжка попалась про наших летчиков в Испании. Написана по-барабанному, как у нас сейчас историю пишут, но там такие фотографии, особенно групповые... Такие лица на снимках — забыть не могу! Этих ребят невозможно было победить, и их предали. Одних после возвращения запытали и расстреляли в НКВД, других в сорок первом бросили против «мессер-

шмиттов» на тихоходных «ишачках» и «чайках». Поликарпов для них готовил новый истребитель, такой, что любой «мессершмитт» обгонял. Опытные образцы построили, а дальше сорвалось. У нас обо всем — сквозь зубы, намеками. Но я так понял, что поликарповское КБ тоже разгромили. Предательство.

Димка кивнул:

— Нас тоже предали — Тёмку, меня, тебя. Нас тоже никак иначе было не победить. И нас предали.

— Садись, садись, — говорил Сашка Линник. — Ну, к-как тебе у меня — нравится?

— Шикарно! — сказал Григорьев.

Кабинет у Сашки и вправду был хоть куда: просторный, высокий. Стены покрыты светлыми пластиковыми панелями, во всю длину — стол для заседаний с двумя рядами стульев. У стены — массивный письменный стол самого Сашки, над ним — большой портрет Ленина и транспарант с цитатой: «Профсоюзы — школа коммунизма. В. И. Ленин».

Сашка с тех пор, как стал председателем профкома, еще больше заматерел, раздался в плечах. Двигался медленней, прежняя суетливость пропала. И заикался меньше.

— Зачем я тебя п-пригласил-то... — Сашка откинулся в кресле. — Меня, п-понимаешь, намечают в обком профсоюза. Пока завотделом, а там — видно будет.

— Поздравляю!

— П-подожди, — поморщился Сашка. — Такие дела быстро н-не делаются. Место в обкоме для меня освободится весной восемьдесят четвертого, а сейчас, — он даже покосился на свой настольный перекидной календарь, — только сентябрь восемьдесят второго. Мне здесь еще года п-полтора сидеть. И за это время надо на свое место кого-то п-подготовить. — Сашка даже постучал пальцами по столу, чтоб не было сомнений, на какое именно место.

— Готовь! — одобрил Григорьев.

Сашка испытующе поглядел на него:

— Мне, п-понимаешь, не всякий годится. Раз я в обком на отраслевой отдел иду, мне н-на предприятиях нужны свои

люди. А уж на собственном бывшем — обязательно. Чтоб было на кого оп-переться.

— Посоветоваться со мной решил? — Григорьев притворился удивленным.

Сашка вздохнул:

— Ты д-дурочку-то не валяй. Всё понял уже. Я т-тебя хочу подготовить.

Повисло напряженное молчание.

— Спасибо за доверие, — осторожно сказал Григорьев. — Только вот, какой с меня профсоюзник?

Сашка досадливо махнул рукой:

— Профсоюзниками н-не рождаются! А я тебе ход наверх открываю. Тебе уж сколько лет, тридцать пять? Что ж ты хочешь, до пенсии ведущим инженером п-просидеть?

— Ну и просижу.

— Тьфу! — Сашка начал сердиться. — Еще писатель называется! Писатель должен психологию п-понимать.

— Что-то меня в последнее время все, кому не лень, психологии учат.

— Чего там учить, — вскипел Сашка, — проще простого! Вот, Фрейд был дурак, он всё из секса н-накручивал. Глупость же, бабы все одинаковы. У одной п-пошире, у другой п-поуже, вся разница! Нет, секс — ч-чепуха. Суть психологии — человеку расти необходимо! И я тебе, может, п-последний шанс даю.

Сашка вынул из ящика стола какие-то бумаги:

— Я т-твое личное дело смотрел. Есть плюсы, есть минусы. Русский, из рабочей семьи, отец фронтовик, у самого изобретений больше д-десятка, хорошо. Разведенный — плохо, но еще полбеды. А вот, б-беспартийный... — Сашка задумался. — Беспартийному на мое место нельзя, а в партию у инженеров очередь. Их по одному на пять рабочих принимают, люди п-по десять лет стоят. Но мы тебя протолкнем! Зацепка есть: был членом к-комитета комсомола.

Григорьев молчал. Сашка поразмыслил еще немного и хлопнул ладонью по своим бумагам:

— Значит, так! Пойдешь в вечерний университет м-марксизма-ленинизма на профсоюзный факультет и одновременно — пишешь заявление в партию.

— Какой вечерний университет? Я половину времени в командировках.

Сашка недоуменно уставился на него:

— Что, ты экзамен там не сдашь? Сдашь к-как миленький. Вот и будешь через год — с профсоюзным дипломом и к-кандидат партии.

— Да не хочу я.

— Не дури! — Сашка наклонился к нему через стол: — Конечно, к профсоюзам у нас, б-бывает, свысока относятся. Не тот, мол, размах, что в партийных органах. А я тебе скажу: п-по партийной линии сам бы не пошел. — Он доверительно понизил голос: — Вот, смотри, Андропов из КГБ в секретари це-цека перепрыгнул. Значит, после смерти Брежнева генсеком станет. Представляешь, к-какая в партийной системе чистка пойдет? — На сашкином лице отразился восторженный ужас: — Нет, профсоюзы — это з-золотая середина!

— Сашка, я не хочу.

— Да ведь в треугольник войдешь, право подписи наравне с директором! Ну что ты лыбишься?

— Не хочу я, отпусти меня.

— Вот черт упрямый! Ну как тебя п-пронять, чтоб ты счастье свое понял?.. Хорошо, писатель: сколько рассказов у тебя вышло? Всего три, ага. Футболят из редакций? И будут футболить, п-потому что инженеров пишущих сейчас, к-как собак нерезаных. А представь, явишься ты со своими рукописями в редакцию и так н-небрежненько представишься: председатель профкома научно-производственного объединения!.. Ну чего ты ржешь?!

— Пойду я, Сашка, всё, закрыли тему.

Сашка Линник сердито посмотрел на него:

— Дурень ты! Подожди. Еще п-пожалеешь.

Толкучка. Очередь. Преддверье.
Бумажник к сердцу — вот сюда.
И к тем, и к этим — недоверье.
Восьмидесятые года.
Двадцатый век...

Век уходит, уходит. Никак здесь не даются три строки, ладно, отложим их, а дальше — вот это:

Уходит медленно, в сомненьи,
оставив гроздья страшных бед
висеть над самым за сто лет
благополучным поколеньем...

Стихи складывались на улице, на ходу. Надо же было чем-то занять не терпящий бездействия мозг.

У кого-то из американских фантастов есть рассказ про Силикоида — громадное каменное существо. Этот Силикоид коротал свое бессмертие тем, что веками напряженно решал математические задачи или обдумывал философские вопросы. И был в это время с виду обычной скалой. Но стоило ему разделаться с очередной проблемой, как он приходил в движение, сотрясая всё вокруг, ловил оказавшегося поблизости человека и, угрожая раздавить, требовал, чтобы тот дал ему новую пищу для размышления.

Григорьев не владел каменным бессмертием, и в редкие свободные минуты сочинял стихи. Для них не нужно было, как для прозы, тишины и письменного стола с ворохом черновиков. Они рождались — строчка за строчкой — прямо в уличном шуме, в такт шагам.

А впрочем, он ведь не просто прогуливался. У него было важное дело: он шел покупать сигареты. О, какой проблемой стало это будничное занятие в начале восьмидесятых! Портилось всё вокруг, и табачная отрасль тоже понемногу разваливалась вместе со всей остальной промышленностью. Купишь пачку давно знакомой марки, закуришь — и не чувствуешь ни крепости, ни вкуса, только противный горьковатый дым тлеющей трухи.

Поэтому он заходил в магазин, брал на пробу всего одну пачку, выходил на улицу, тут же закуривал. Если оказывалась дрянь, выбрасывал в урну недокуренную сигарету вместе с пачкой и шел в магазин следующий. Так — дважды, и трижды, и пять раз подряд, пока не повезет наконец, пока не попадет на удачную партию. Тогда — покупал сразу пару

блоков и, довольный, возвращался. В этом процессе была своя игра, она вносила хоть какое-то разнообразие в устоявшуюся жизнь.

Он приходил домой и первым делом записывал выношенные стихотворные строки. Потом — вернется к ним, еще не раз поправит. Потом решит: что можно послать в какой-нибудь журнал (пусть почти без надежды), а что лучше оставить для себя и никому не показывать, разве что ворчливому Марику. Вот, хоть это стихотворение о восьмидесятых.

Самое главное он так и хранил в запретной папке, для одного себя предназначенной. Казалось, он — живой человек из плоти и крови — чем дальше, тем больше становился подобен Силикоиду, который напрягал свой каменный мозг, для одного себя решая мировые проблемы. А что поделать, если он, как Силикоид, не мог существовать без пищи для размышления.

В тот вечер Григорьев ужинал дома после работы и слушал, как американские комментаторы обсуждают двадцатилетие Карибского кризиса. В октябре 1982-го глушить западные «голоса» опять стали умереннее. То ли приказ такой вышел, то ли работники глушилок утомились от своей трехсменной службы и начали халтурить, то ли сами глушилки износились от беспрерывной эксплуатации. Так или иначе, завывания в эфире, как когда-то, уже не перекрывали наглухо диапазоны передач. По краешку надсадного воя опять можно было расслышать и «Голос Америки», и «Би-би-си», и «Немецкую волну».

Телефонный звонок ударил совсем не вовремя. В трубке — голос Марика, показавшийся каким-то сонным:

— Это ты?

— Я, конечно. Слушай, Тёма, давай я тебе позже перезвоню.

— Димка умер, — сказал Марик.

— Что-о?!

Пол улетел из-под ног. Чувство дурнотной невесомости. Обрывающее душу падение в пустоту... Почти рефлекторно поймал колеблющийся стул, подтянул к себе, повалился на

него. Стены продолжали косой полет, но вместе с опорой вернулось, хоть клочковатое и уносящееся, ощущение реальности.

На столике подвывал и хрипел приемник. Марик в трубке молчал. И Григорьеву не хватало воздуха, чтоб выдавить из себя хоть слово.

Что было потом? Несколько первых дней отчетливо и не вспомнить. Словно вращался вокруг калейдоскоп, в котором пересыпались однотонные, тусклые кристаллы.

Что-то происходило. Мокрый асфальт вязко прогибался под ногами, когда он с колотящимся сердцем бежал к дому Стеллы.

С кем-то приходилось ругаться на работе — и по междугороднему телефону, и в кабинете замдиректора, — чтоб только не улететь в командировку, остаться до похорон в Ленинграде.

Они с Мариком, то ли по пути к Стелле, то ли по дороге от нее, пили в грязной закусочной тошнотворный разливной портвейн из граненых стаканов.

Стелла говорила тихо, почти шепотом:

— Как чувствовала, боялась этого обследования. А Димочка не мог больше терпеть, что голова так болит. Какую-то краску ввели ему в кровь. Положили на стол под рентген, снимок мозговых сосудов сделать. А от краски этой давление подскакивает. Он прямо на столе, под аппаратом, от инсульта... Врачи только тогда спохватились, когда не поднялся.

Она отказывалась от помощи («Сама везде съезжу, сама всё оформлю!»). Только деньги соглашалась принять:

— Последний раз беру, для Димочки. Нам с Катькой потом ничего не нужно будет. Мы с ней сами проживем.

Зрение и память с режущей ясностью восстановились в день похорон. Сыпал мелкий, холодный октябрьский дождик. Ступать по осклизлым красным листьям, раздавленным на асфальте, почему-то было неприятно.

Собрались у больницы новой постройки на дальней городской окраине, в Лигово. В утреннем полусумраке громад-

ные больничные корпуса казались уходящими ввысь крепостными бастионами. Не сразу и отыскали среди этих великанов укрытый во внутреннем дворе домик морга.

Их было шестеро — Стелла, Марик, Григорьев, да трое рабочих с димкиного комбината. Катьку не взяли, а из тех старушек, с кем восемь лет назад хоронили Александру Петровну, уже ни одной не осталось на свете.

— Мальчики, помогите! — выдохнула Стелла.

Григорьев и Марик взяли ее с двух сторон под руки. Так, соединенные, вошли внутрь, в обжигающий свет над восковыми лицами рядком уложенных усопших, в нестерпимый для дыхания сладковатый воздух — и остановились у димкиного гроба. Невероятно было видеть Димку, молодого, точно спящего, среди восково-сухих, неживых стариков и старушек. Невозможно было смотреть на отрешенное, со спокойно прикрытыми глазами димкино лицо, на котором словно проступила некая последняя мудрость, недоступная им, беспомощным.

— Его не вскрывали, — сказала Стелла. — Я просила, мне врач обещал. Зачем вскрывать, когда всё ясно.

У Димки в ногах, как когда-то у Александры Петровны, торчал коричневый бланк квитанции, заполненный под копирку. Григорьев невольно прочитал крупно выписанные сверху слова: «Раскова, крематорий». Вспомнил, что Раскова — фамилия Стеллы, у них с Димкой разные отцы. Ну конечно: квитанцию выписывают на имя того, кто оплатил перевозку и похороны.

— Я хотела Димочку к маме подхоронить, — виновато сказала Стелла, — а в гробу не разрешают. Говорят, можно только в урночке. Я и согласилась на крематорий. Как думаете, Димочка не рассердился бы?

— Ну что ты! — Григорьев погладил ее по плечу. — Он бы всё понял.

Старые автобусы-катафалки, вроде того, на котором везли когда-то Александру Петровну, давно ушли на слом. К крыльцу морга подъехал современный автобус-«пазик» с нарисованной на передней дверце черной траурной веточкой. Больно лязгнул по нервам откинутый люк. Григорьев,

Марик, димкины рабочие ухватились за ручки гроба, понесли. Стелла на заплетающихся ногах спешила за ними.

Вдвинули гроб в автобус, расселись (каждый — на отдельное сиденье, точно стеснялись друг друга). Заурчал двигатель, корпуса больницы-крепости стали разворачиваться, удаляясь.

Что происходит? — думал Григорьев. — Бьют по нашему квадрату. Кто это сказал? Илья Моисеевич, отец Марика, о поколении фронтовиков. Но сейчас умер Димка, из нашего поколения, их сыновей. Мы же еще молоды. Что с нами происходит?!..

По стеклам автобуса секли беззвучные в гуле мотора капли дождя. Шофер позволил курить, и закурили сразу все, кроме Стеллы. Подрагивал в ногах закрытый гроб с телом Димки.

Мы всё время ждали чего-то, — думал Григорьев. — Мы ждем и теперь. Что случилось с Димкой? Его не просто убили — судом, тюрьмой, автомобильной катастрофой, идиотским лечением. Его сломили. Он первый из нас перестал ждать...

Шофер держал курс в обход городского центра, среди кварталов новостроек и заводских корпусов. Только у моста Александра Невского открылась в пелене дождя панорама Невы, набережных.

Григорьеву снова вспомнился шестьдесят третий год, летние электрички. Как открывался за Лахтой вид удаляющегося Ленинграда — белое скопление домов, заводские трубы и гигантские подъемные краны на верфях, золотая блестка Исаакия. И как Ленинград приближался к ним на обратном пути. Город точно ласково отпускал их, а потом — вбирал снова. Они воображали себя его хозяевами, наивные мальчишки. Этот город, выстроенный людьми, давно отделился от них, стал частью мироздания. Люди с их мимолетной жизнью для него то же, что эти дождевые капельки. Едва коснутся вечных стен его дворцов — и стекут в люки, в канализацию...

В крематории местные служители приняли гроб, а они, шестеро, вышли из автобуса. Марик, взглянув на застеклен-

ный павильон, где группки людей дожидались вызова в траурные залы, тихо произнес:

— Лишнее.

И Григорьев понял его: да, крематорий — лишнее. Они видели Димку мертвым, они уже простились с ним. Но для того, чтобы получить право быть похороненным рядом с матерью, Димка с его отрешенно-спокойным лицом должен был обратиться в горстку пепла. Думать об этом было нельзя, мысли могли свести с ума. Это нужно было просто принимать.

Из трубы крематория сочился темный дымок. Ноздри ощутили странно знакомый, пугающий запах. И Григорьев вспомнил: такой запах, с дымком, возникает у стоматолога, когда сверло бормашины, раскаляясь, входит в зуб. Это запах горелой кости.

Стелла сняла для прощания самый малый зал, и то для них, шестерых, он оказался слишком просторен. Когда вошли, в центре зала на прямоугольном постаменте уже стоял открытый гроб. Торопливо сложили в него принесенные цветы. Из скрытых динамиков полилась траурная музыка. Моложавая накрашенная распорядительница отвела Стеллу в угол и о чем-то тихо поговорила с ней.

Музыка оборвалась.

— Дорогие родственники и друзья! — объявила распорядительница. — Сегодня у вас печальный день. Безвременно, в тридцать шесть лет, ушел из жизни Дмитрий Николаевич.

Марик нервно передернул плечами. Димкины рабочие стояли, опустив головы. А Стелла, как завороженная, тянулась и слушала распорядительницу, словно не сама только что пересказала ей подробности димкиной жизни.

Распорядительница говорила и говорила. Хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать, как эта дуреха торжественно пересказывает им, знавшим Димку с детства, то, что сама узнала минуту назад и через минуту забудет:

— Дмитрий Николаевич был талантливым художником, его диорамы украшают многие музеи Советского Союза. Он не завел своей семьи, но с любовью и заботой воспитывал маленькую племянницу...

Что за чушь! Какое отношение все эти глупые слова имеют к тому, что случилось? Димка же умер. Его хоронят. Всё вокруг останется, а Димки больше не будет.

Марик стоял с каменным лицом. Стелла всхлипывала. И один из димкиных рабочих, пожилой, седоватый, вытирал слезы с обвислых щек.

— Попрощайтесь с Дмитрием Николаевичем! — объявила распорядительница. — Обойдите вокруг гроба, прикоснитесь к нему! Двигайтесь с левой стороны!

Снова заиграла траурная музыка. Стелла медленно пошла. Двинулся Марик. И Григорьев побрел за ними. Всё происходило словно даже не во сне, а в каком-то тяжелом опьянении: колеблющиеся фигуры, уходящий из-под ног пол. Он почувствовал, что тоже плачет, слезы застилали глаза, всё расплывалось.

Неожиданно очутился у изголовья гроба и на миг увидел неузнаваемое лицо Димки. Оно больше не было спокойным. Как видно, в автобусе, от тряски, подбородок у Димки чуть опустился, приоткрылся рот — и обнажились острые верхние клыки, точно оскал мертвого волка.

Сквозь слезы успел еще заметить то, что не заметил в морге: жуткий, грубый шов на димкином горле. Потянулся, сжал на прощанье ледяную димкину руку и, плача, поплелся по кругу дальше.

— Мужчины, закрывайте гроб! — скомандовала распорядительница.

Григорьев и Марик подхватили прислоненную к стене угловатую крышку. Обошли Стеллу, неподвижно стоявшую у изголовья, накрыли гроб, защелкнули замки.

— Дмитрий Николаевич закончил свой жизненный путь! — объявила распорядительница, взглянув на часы, и нажала кнопку на постаменте.

Под звуки траурной мелодии гроб медленно стал опускаться.

— Ритуал окончен, прошу выйти из зала!

Двенадцатилетняя Катька встретила их, как хозяйка, за накрытым поминальным столом. Рабочие с комбината, подвыпив, стали рассказывать какие-то истории о мастерстве

и начальственной справедливости Димки. Стелла часто поднималась и выходила. То ли на кухню, то ли просто поплакать в коридоре.

Марик и Григорьев пили и ели молча. Лишь однажды, когда Стелла вышла, Марик тихо сказал:

— Ты горло его видел?

— Заметил, в крематории.

— А я — еще в морге. Вот тебе и «врач обещал». Выпотрошили Димку. Хорошо, если Стелла не поняла.

Наконец, рабочие простились и ушли. Стелла села рядом с Григорьевым и Мариком:

— Мальчики, милые. Вот и всё...

У нее распухли и покраснели от слез глаза.

Включили димкин магнитофон. Завертелись катушки, и Визбор запел:

Спокойно, товарищ, спокойно,
у нас еще всё впереди.
Пусть шпилем ночной колокольни
тоска ковыряет в груди.
Не путай конец и кончину,
рассветы, как прежде, трубят.
Кручина твоя — не причина,
а только ступень для тебя...

— Хотите, — спросила Стелла, — я вам покажу, что Димочка рисовал перед смертью?

— Рисовал? — удивился Григорьев. — Что ж он нам ничего не говорил?

А Визбор пел:

Спокойно, дружище, спокойно,
и пить нам, и весело петь!
Еще в предстоящие войны
тебе предстоит — уцелеть!
Уже и рассветы проснулись,
что к жизни тебя возвратят.
Уже изготовлены пули,
что мимо тебя просвистят...

Стелла принесла большую клеенчатую папку:

— Он только мне одной давал посмотреть. Вот...

Это были акварели на картоне. На одной — серо-голубой город: мощная река в гранитных набережных, гигантские мосты, величественные дома и дворцы по берегам. С первого взгляда — Ленинград. Но стоило всмотреться внимательней, как начиналось колдовство. Точно в фотографическом растворе, постепенно проявлялось: вначале, что эти дома, дворцы, купола, шпили какие-то не вполне ленинградские, затем — что они вовсе незнакомые и, соединившись, прорастают тревожно чужими контурами. Нечто мертвенное сквозило в панораме этого потустороннего города. И понимание опять приходило с рассчитанной художником задержкой: взгляд не обнаруживал никаких следов жизни. Пугало даже не отсутствие людей, их трудно было бы и заметить в таком масштабе, но на рисунке не было ни автомобилей, ни автобусов, ни трамваев, что обязаны течь по артериям улиц, набережных, мостов словно кровяные шарики. На просторной глади реки — ни корабля, ни лодки. Этот город был стерильно чист от человеческого присутствия.

На другом рисунке была изображена громадная ракета, стоявшая в центре не то колоссального амфитеатра, не то стадиона, склоны которого со зрительскими трибунами поднимались почти вровень с ее вершиной и были густо заполнены публикой. Вблизи эта человеческая масса распадалась на отдельные фигурки, можно было различить обращенные к ракете возбужденные лица, разинутые в восторженном крике рты, а дальше — люди сливались в сплошную кашу. Сама ракета была такая, какими рисовали космические корабли в фантастических книжках пятидесятых: серебристая башня с округлыми боками, опирающаяся на сабельно искривленные стабилизаторы. Зрители собрались в амфитеатре, чтобы посмотреть старт, и он начался. Но снизу вверх, от сопел двигателей, корпус ракеты уже разломился длинной трещиной, из нее вырывалось свечение адского пламени, которое через миг превратится во всесжигающий взрыв. А люди, еще ничего не понимавшие, кричали в восторге...

— Так вот что он мог! — сказал Григорьев.

Марик только головой покачал.

И тогда Стелла протянула им еще одну акварель. На ней была она сама — такая, какой они впервые увидели ее девятнадцать лет назад: нежно-белое лицо, в выпуклых темно-зеленых глазах и в полуулыбке крупных губ — доверчивая настороженность.

Григорьев оторвался от рисунка и посмотрел на Стеллу. Она окончательно превратилась в старушку: лицо в морщинках-трещинках, серебряные волосы перемешались с черными. Исхудала до того, что скулы заострились, а под платьем словно исчезла грудь. «А ведь ей всего сорок два, — подумал Григорьев. — Сорок два года — баба ягода».

Стелла взяла у него картонку:

— Димочка фотографии не смотрел. Это он по памяти рисовал.

Она убрала акварели в папку. Посмотрела на Григорьева, на Марика:

— Мальчики, милые, вы уж нас с Катькой не забывайте. У нас, по-настоящему, никого кроме вас теперь не осталось.

А всего через две недели грянула другая смерть. Из репродукторов лились траурные мелодии, с домов свисали траурные флаги. Порой казалось, это не Брежнева хоронят, а вся страна, спохватившись, откликнулась на смерть Димки.

Хотя из-за кончины всем надоевшего генсека тоже становилось тревожно. Завершилась эпоха, что будет дальше?

В тот день, когда объявили о смерти вождя, портреты его, годами стоявшие на ленинградских улицах, давно превратившиеся в часть городского пейзажа, окаймили красно-черными лентами. А наутро после похорон город изменился. Григорьев заметил это, когда ехал на работу, но сразу не понял в чем дело. Только вечером, на обратном пути, дошло: все портреты Брежнева и щиты с цитатами из его речей за одну ночь, на всех улицах — заменили. Вместо них теперь красовались портреты Ленина, ленинские цитаты, да еще плакаты к предстоявшему через год с лишним сорокалетию освобождения Ленинграда от блокады.

И Григорьев подумал: нет, ничего не изменится. Вот, если только, не дай бог, большая война.

Обычный день, обычный спор на кухне.
Наощупь суть, бунтует естество.
Вопрос ребром: «А дальше что?!.» И тухнет.
А далее — не будет ничего.
Изломленность глухой подводной жизни,
где всё сквозь толщу — радость и беда.
Я так боюсь, что злая ясность мысли
к России не вернется никогда.
Я так боюсь, что, мучаясь в сомненьях,
Мы вымучить не сможем ничего.
Вторично не приходит вдохновенье
к народу, пережившему его.

Лектор принес из райкома два плаката. Повесил их, свернутые в трубки, на гвоздики. Потом резко развернул, сам повернулся к аудитории и указал на открывшиеся изображения:

— Вот так, товарищи!

На одном плакате над кремлевскими башнями поднимался огненно-дымный гриб ядерного взрыва. На другом — строгий американский солдат в каске, державший у груди винтовку с примкнутым кинжальным штыком, стоял на фоне карты Советского Союза. Во всю ее длину — от Украины до Восточной Сибири — шла надпись огромными буквами: «OCCUPIED» — оккупировано.

Григорьев сразу узнал эти рисунки: той мрачной весной 1983-го они кочевали по страницам газет, их показывали в телепередачах.

От разрядки уже не осталось и воспоминания. Под боком у страны пылал Афганистан. Рейган объявил о противоракетной программе СОИ. На европейских натовских базах принялись расставлять на стартовом бетоне крылатые ракеты — остроклювые, жутковато-игрушечные с виду снарядики, машинной мертвой хваткой нацеленные на советские города.

Такого накала взаимной ненависти не было и в годы вьетнамских бомбежек, разве только в начале пятидесятых. Именно оттуда, из журнала «Кольерс» тридцатилетней дав-

ности, из фантастической статьи о будущей войне Америки с СССР заново извлекли на свет картинки со взрывом водородной бомбы над Москвой и с американским часовым-оккупантом. Интересно, кто первым их раскопал в библиотечной пыли — наши пропагандисты или западные?

— Вот так они видят наше с вами будущее, товарищи! — Лектор вздрагивал от ярости. Казалось даже, что он слегка нетрезв: — Первые залпы уже гремят, идеологические. Их якобы свободная пресса оболванивает свое население по худшим рецептам Геббельса. Наша братская помощь революционному Афганистану на их языке агрессия! А установка «Першингов» и крылатых ракет в Европе — это, видите ли, ответ на какое-то развертывание наших ракет средней дальности!

Слушатели сидели, как каменные. Всё, о чем говорил лектор, они ежедневно читали в газетах, слушали по радио и телевидению. Но судорожная речь и дерганые движения того, чьим голосом с ними говорила власть, ошеломляли.

А лектор запрокинул голову, расширил круглые глаза, как будто увидел магические письмена на потолке, и с мрачным торжеством возгласил:

— Недолго осталось. Может, полгодика. Осенью нынешнего восемьдесят третьего года начнется! Ох, начнется!!

— Да не будет никакой войны! — пренебрежительно отмахнулся доцент. — Вот, уже сентябрь, наступила осень. Ну и что? Обошлось и обойдется.

И, глядя на «полубогов», собравшихся за столом, в это можно было поверить. Их явно не тревожила военная угроза. Они, хоть пугались порой каких-то сокращений (их никогда не сокращали), оставались всё так же веселы, моложавы, любой — душа общества, и так же шутками-шуточками легко перемалывали институтские новости и всё на свете. Нина и подавно не старела, лишь наливалась величественной красотой женской зрелости.

Черт возьми, — думал Григорьев, — Димка умер, а вот эти — какие-то вечные. Так радужная масляная пленка на воде, должно быть, чувствует себя вечной, пока волнение не слишком велико...

Странно только было при последних встречах с Ниной замечать, как на ее лице отражается смятение. Странно было вдруг, в разгар застолья, ловить на себе ее взгляд — напряженный, словно испытующий. И это после шести лет развода!

Еще пару лет назад, — размышлял Григорьев, — ты на меня так не смотрела. Видно, подглодал тебя какой-то червячок. Видно, не ах как радостно тебе в новой жизни! И мысли эти были приятны, хотя и не волновали.

— А все страсти с крылатыми ракетами, все вопли о сбитом самолете корейском — война нервов, — рассуждал доцент. — Они нам на психику давят, мы им. Кстати, как вы к Андропову относитесь?

— Пытается что-то сделать, — сказал Григорьев. — Хоть начал с дурости: людей по баням и кинотеатрам ловить, не прогуливают ли работу. Но, говорят, какой-то эксперимент в промышленности готовится. Вроде убиенной косыгинской реформы.

— Опять повышение самостоятельности предприятий? — усмехнулся доцент и налил ему водки. — Давайте, выпьем за то, чтоб ваш эксперимент поскорей провалился!

— Даже так? — удивился Григорьев.

— Только так! Затевать любые перемены бессмысленно, а у нас в особенности. Вообще, если все человеческие занятия выстроить по степени идиотизма, то на первом месте политика должна стоять, а ловля чертей наволочкой — уже на втором!

Включили музыку, говорить пришлось громче. И вдруг — Григорьев опять встретился взглядом с Ниной. Она в этот раз сидела не рядом с доцентом, а на другом конце стола и пристально смотрела сквозь колыханье смеющихся и жующих лиц.

— Политик — не бог, только человек, — рассуждал доцент. — Ему кажется, он рычаг управления держит в руках. А на самом-то деле он этим рычагом всего-навсего дает шлепок людской каше. И завихряется в ней броуновское движение частиц — особых, наделенных собственной волей. И пошло, пошло, по законам хаоса! Как ни дергай рычаг, сколько

по каше ни шлепай, будут только новые завихрения возникать, и результат всякий раз неожиданный... Пример? — доцент на секунду задумался: — Да вот, хоть Ленина возьмите. Ну, ну, никакого святотатства, величайший ум, а окружение — рыцари, интеллектуалы. Вот уж дали шлепка российской каше! Цели — благороднейшие! Зашевелилась каша, забурлила. Что в итоге? Через каких-нибудь пятнадцать лет в России новое крепостное право, а тех самых ленинских рыцарей ленинским же именем — после пыток к стенке...

Нина издали смотрела испуганными глазами, точно сквозь аквариум, в котором плавали круглые, лоснящиеся физиономии мужчин и раскрашенные алкогольным румянцем и косметикой лица женщин, водорослями извивались руки с вилками и рюмками, переливались волны возбуждающих запахов — соусов, приправ, духов.

Григорьев остановил руку доцента с бутылкой:

— Мне сегодня хватит.

Явно предстоял неприятный разговор с Ниной. Конечно, неприятный. Приятного ждать нечего.

— А мы по последней, — сказал доцент. — За светлую память Леонида Ильича. Вот мы его сейчас ругаем — такой, сякой, тупица. Да Брежнев был гений! Тончайший, неоцененный мыслитель! Он тоже по первости пытался действовать: хозяйственная реформа, то, сё. Да вовремя спохватился. То ли чехословацкие события отрезвили, то ли сам догадался: получится непредвидимое. И тогда — необыкновенное решение: раз все поступки дают неожиданный результат, никаких поступков! Никаких шлепков противной каше не давать, пальцем ее больше не трогать. Гений! Толстовский Кутузов, не меньше! А результат? В чем он ошибся? Да в том же, в чем все политические гении ошибаются. Оказалось, в политике бездействие — тоже действие, никаких поступков — поступок, и никаких шлепков — ого-го какой шлепок, только особенный. Пошла каша по-своему булькать, и уж такие зловонные пузыри из нее полезли. Оказывается, загнила! Но разве можно Леонида Ильича, царство ему небесное, за это винить? Всё равно, что Ленина за тридцать седьмой... И раз предвидеть результат нельзя, не надо себя

и взвинчивать. У нас такая страна — еще долго сможет гнить, на наш век хватит. А нарушьте вы этот покой с самыми благими намерениями хоть одной крупинкой, бросьте ее в кашу да чуть помешайте — такое накличете, так забурлит! И надеяться при этом, что вынесет на нужный результат, всё равно, что чайник на огонь поставить и ждать: авось, «чудо Джинса» случится, движение молекул так сложится, что огонь еще сильней нагреется, а вода в чайнике превратится в лед. Тоже ведь какая-то вероятность существует... Чему вы улыбаетесь?

Григорьев чуть улыбнулся, потому что вспомнил, как они с Мариком говорили о Джинсе. Но улыбка быстро сошла: он увидел, как Нина поднялась и решительно двинулась к ним вокруг стола.

— Кажется, со мной хочет побеседовать ваша супруга, — сказал он доценту. — Позволите?

— Поговорите, поговорите, — добродушно покивал доцент. — Я же понимаю, дочка.

Григорьев встал навстречу Нине. В шуме голосов и грохоте музыки она сделала ему призывный знак рукой. Они вышли в боковую комнату, хозяйскую спальню, и Нина закрыла за собой дверь. Здесь было сравнительно тихо.

Она села на пуфик, а ему места не было — стулья вынесли к общему столу. Поколебавшись, он опустился прямо на край двуспальной хозяйской кровати, сминая расшитое драконами и пагодами покрывало.

Таинственность Нины его немного взволновала, вот уж не ожидал сам от себя. А в ней, вблизи, были все-таки заметны легкие приметы возраста: она слегка располнела, налились плечи и грудь, нежную шею прорезали складочки. Лицо оставалось невинно-чистым, прекрасные голубые глаза были по-прежнему ярки, но, судя по частому прищуриванию, ей приходилось уже постоянно иметь дело с очками. Сидеть на пуфике ей было низко: поднялись и открылись колени, голова, отягченная неизменной пышно взбитой короной волос, запрокинулась. Казалось, будто Нина напряглась перед прыжком. И тут Григорьев заметил наконец, как учащенно она дышит, болезненно растягивая красивый, облитый блед-

но-розовой помадой рот, какое у нее необычное, смятенное лицо.

— Что случилось, Ниночка? — в порыве сочувствия вырвалось невольно, впервые за столько лет, это ласково-уменьшительное «Ниночка». — С Алёнкой что-нибудь?

— Ничего, — выдохнула она. — Просто ты очень давно ее не видел.

— Да-а, — мгновенно насторожившись, согласился он.

— Некогда или просто не хочешь?

— Аленке двенадцать лет. Я даже не знаю, о чем и говорил бы с ней, встречаясь, скажем, раз в месяц. И что могли бы ей дать такие встречи, кроме ощущения фальшивости взрослых? Мне казалось, ты того же мнения.

— Ну, а ты сам? — напряженно спросила Нина. — Сам?

— Имеешь в виду так называемые отцовские чувства? — он пожал плечами. — Возможно, я действительно ими обделен.

— Ты как будто хвастаешь своей черствостью!

— Просто я давно уже не стараюсь казаться лучше, чем есть. А с чего ты вдруг забеспокоилась об этом? Именно сейчас?

Кто-то из большой комнаты распахнул дверь в спальню, — полыхнуло светом, музыкой, шумом голосов. Нина вздрогнула. Дверь быстро захлопнули.

— Я хотела тебя спросить, — голос Нины стал резким, — ты жениться не собираешься?

Он попытался отшутиться:

— Критерии меняются. В двадцать лет престижно быть женатым, а в тридцать шесть — престижно быть холостым.

Нина нахмурилась:

— Мне говорили, что тебя видели с женщиной.

Григорьев подумал, что его видели с Алей, и почему-то испугался.

— Какая-то здоровенная девица, — брезгливо сказала Нина, — выше тебя.

— А-а, — с облегчением догадался Григорьев, — это Вероника!

С Вероникой он встречался до Али. Подумаешь, рост! Какой же это недостаток для женщины, если всё пропорцио-

нально. А Вероника была хороша. Они чуть до женитьбы не довстречались, потому что кроме роста Вероника отличалась решимостью.

Григорьев вспомнил, как первый раз привел Веронику к себе в квартирку. Они сидели, разговаривали об искусстве, пили кофе. Он даже не собирался в тот вечер начинать любовную атаку, знакомство только завязалось. К тому же, Вероника была на восемь лет моложе, а Григорьев привык иметь дело с ровесницами, ему тогда казалось, что восемь лет — много. Да и разговор как-то не клеился.

Вдруг Вероника на полуслове сделала ему знак обождать, взяла телефонную трубку, быстро набрала номер:

— Алло, мама! Я у Тамары. Мы еще посидим немного, а потом я у нее останусь. Не хочу поздно одна возвращаться. Ну всё, целую!

И стала целовать Григорьева.

А в постели, разнеженная, притиснув его своим большим телом к стене, гладила по щеке и доверчиво объясняла:

— Мне сегодня — самое безопасное, перед месячными, понимаешь? А иначе, ты через несколько дней решился бы, а у меня бы уже началось, и мне пришлось бы тебе отказать. Ты бы не понял и обиделся.

Нет, с Вероникой было уютно. Казалось, он улавливал в ней нечто общее с молодой Стеллой: то самое, искреннее, женское. Не легкомыслие, а естественность и простоту, за которыми — готовность к верности и преданности. Подкупало даже то, что Вероника никогда не говорила «я тебя люблю», всегда — «мне с тобой хорошо». В постели, под его ласками, она не стонала, а выкрикивала в забытьи что-то невнятное, какие-то подобия слов, всё громче, громче, и время от времени — после особенно громких, торжествующих выкриков — задыхающимся голосом благодарно сообщала: «Я кончила!»

Она очень хотела за него замуж. И он уже было заколебался: чего в самом деле ждать, чего еще искать?.. А всё что-то смущало, задерживало. Казалось, Вероника глупа, с ней только в постели хорошо, а так — скучно. (Привередничал. С Алей зато потом стало весело!)

И все-таки, вполне вероятно, что посомневался да и женился бы, если бы на одно из свиданий Вероника не явилась со своей собакой. Это было потрясение! Если каких-то собак Григорьев и не терпел, то бульдогов и боксеров. А у Вероники был как раз бульдог (или боксер, черт их разберет), да еще такое чудище, словно нарочно вобравшее в себя всё, что у Григорьева вызывало отвращение. Неестественно гладкая шкура, красные глаза, мерзкая жабья морда с капающими из углов щелевидной пасти тягучими слюнями, противная культяпка вместо хвоста и имя — Цезарь.

Для начала этот Цезарь обгавкал Григорьева, а потом отбежал на газон, раскорячился и стал старательно, изобильно гадить.

А Вероника любовалась Цезарем, гладила его отвратительную лоснящуюся шкуру своими красивыми длинными пальцами с бордовым маникюром (теми же пальцами, которыми в постели ласкала Григорьева!). Чуть ли не в морду целовала свое страшилище. А может, и целовала, Григорьев уже не мог смотреть...

Наверное, она так и не поняла, отчего вдруг у него наступило охлаждение к ней.

А впрочем, еще немного, и он, вероятно, снова потянулся бы к Веронике. Возможно, и насчет Цезаря как-нибудь договорились бы. Но как раз в это время черт подсунул ему Алю.

Должно быть, от воспоминаний на лице у него проступила глуповатая улыбка, потому что Нина вспыхнула:

— Уж я не знаю, Вероника или земляника! Я всё думаю об Алёнке!.. — она даже прервалась от волнения.

— Что думаешь? — насторожился Григорьев.

— Если бы не случилось... этого? Если бы мы все жили вместе? — выдавила Нина с усилием, избегая его пристальных глаз.

У него вдруг нелепо всплыло в памяти, что такое же напряженно-растерянное лицо и потупленный точно в испуге, бегающий взгляд бывали у Нины в начале их супружеской жизни, когда ей нужно было пройти мимо него в туалет.

— Как бы я относился к Алёнке, если бы мы не развелись? — Григорьев честно подумал. — Не знаю. Скорей все-

го, конечно, по-другому... — и осекся, увидев расширяющиеся, молящие глаза Нины. — Ты что?

Задохнувшись коротким стоном, она стала вырастать, подниматься, и вдруг сладкой тяжестью опустилась к нему на колени.

— Да ты что?!

Нина обхватила его руками за шею, прижималась, вздрагивая, овевая теплой волной незнакомых ему духов. Теперь он по-настоящему почувствовал, что она располнела и что ей это удивительно идет. Горячий ток помимо воли стал подниматься в нем, заколотилось сердце. Их губы встретились. Задохнувшись от поцелуя, она первая откинула голову и заныла — тоненько, жалобно:

— Прости меня! Прости-и!

Он гладил ее по спине.

— Я так винова-ата! — хныкала Нина. И, снова приблизившись к его лицу, дыша ему в рот, прошептала: — Ведь ты из-за меня больше не женился? Из-за меня?

— Нет, — трезво сказал Григорьев, — не из-за тебя.

Нина вздрогнула и не то попыталась, не то сделала вид, что пытается встать.

Он удержал ее:

— Посиди! Так приятней разговаривать.

Она осталась, но притихла, не чувствуя больше его возбуждения.

— Что, — спросил он, — плохо?

Нина кивнула.

— Думаешь, мне легко и хорошо?

— Но ты же что-то делаешь! — возразила она и сразу осеклась под его недобрым взглядом в упор.

Секунду помолчали. Потом он подшлепнул ее:

— Слезай! А то еще войдут.

Нина послушно пересела обратно на пуфик.

Григорьев усмехнулся:

— Я-то не мог понять, с чего ты вдруг воспламенилась.

— Не надо мне грубить! — воскликнула она. — Я столько передумала за это время! Я твои рассказы столько раз... — и снова осеклась, увидев, как он морщится.

— Эти рассказы я давал тебе еще в рукописях.

— Да, я была глупая! Не понимала, пока не увидела книги! Напечатанное — это же совсем по-другому смотрится. Ну, не верь мне, можешь не верить!

Было жаль ее. И жаль того, что теперь он уже совсем не сможет ее видеть. И того, что не придет больше в компанию «полубогов», — тоже почему-то жаль.

А Нина еще прерывисто выговаривала, выдыхала главное:

— Если хочешь... мы с Алёнкой... к тебе вернемся.

И снова всплыло в памяти, как шесть лет назад, оскорбленный, жаждавший мести, он свирепо мечтал о таком именно разговоре, об унижении ее и мольбе. Это было так давно. Еще до смерти Димки, еще до болезни отца. Хотя, он ведь и тогда уже не был мальчишкой. Должен был хоть что-то соображать.

— Ну, во-первых, — осторожно подбирая слова, сказал он, — Алёнка от меня не уходила. А во-вторых, дело даже не в том, хочу я или нет. Просто... пойми: ведь ничего не изменилось. Если ты думаешь, что теперь у меня будут выходить книги, появится известность, то — зря.

— Нет! — закричала она. — Господи, какой ты злой! Разве мне это от тебя нужно! Ты не веришь!

— Верю, верю, — поспешно согласился он, глянув на дверь. — И вовсе не хочу тебя обидеть. Но и ты мне поверь: оттого, что в каких-то сборниках тиснули несколько моих рассказов, я не стал другим. Я тот же, что шесть лет назад, а если в чем-то изменился, то к худшему. Я тебя не спасу!

И тут она наконец заплакала. Сперва беззвучно: голубые глаза вдруг налились слезами, и слезы покатились по нежным щекам. Она пошатывалась на пуфике, словно отыскивая опору — плечами, спиной, — и когда Григорьев потянул ее чуть к себе, сразу, покорно, как сломленная, повалилась головой к нему на колени и тут уже зарыдала громко, по-бабьи.

Он растерянно гладил ее по голове, как маленькую, сминая воздушную корону волос, схваченных душистым лаком:

— Ну успокойся, Ниночка. Ну что же делать... Ты продержись, потерпи, осталось-то немного. Алёнка выросла красивая, в тебя. Еще несколько лет — выскочит замуж,

а там внучата навалятся, простые заботы. Вот всё и встанет на место.

Нина, привалившись к его коленям, зарыдала еще громче, вздрагивая всем телом. И Григорьеву стало не по себе:

— Ну что ты! Ну, держаться надо же, что-то делать! Машина есть у вас с доцентом? Нет еще? Вот — машину купите, очень хорошо отвлекает...

Распахнулась дверь, и в грохоте стереомузыки на пороге явился доцент. Нина диким пружинным рывком выпрямилась, вскинула голову. Доцент сквозь очки посмотрел с мягким укором на ее зареванное лицо, потом на Григорьева и дружелюбно спросил:

— Ну, наговорились?

— 19 —

— Иди! — сказала Аля. — Иди, опоздаешь! Ну хочешь, я тебя провожу немного?

Прощание скомкалось, сорвалось. Незавершенность казалась болезненней самого расставания. Но они уже прошли в зал, его затягивало в людской поток, стекавшийся словно в воронку к пропускному турникету, и, оглядываясь, он ловил ироничный взгляд Али. Она отставала, отставала от него, хоть с каждым шагом он двигался всё медленнее.

Накатило что-то уж вовсе отчаянное: вырваться сейчас из потока, остаться с ней, и черт с ним со всем — с билетом, с командировкой!.. Но ведь на заводе — ждут. Как назло, в это раз он действительно очень нужен, даже машину за ним обещали прислать из заводского городка в аэропорт.

Он натолкнулся на кого-то, на него шикнули: «осторожней!» Девушка в синей аэрофлотовской форме у турникета уже протягивала руку за его билетом и паспортом, а дальше шла лестница — несколько ступенек вниз, и сзади напирали, подталкивали.

Всё же он успел обернуться, спускаясь. Выхватил взглядом сквозь людское мельтешение застывшую фигурку и со-

средоточенное личико, уже без натянутой улыбки, угрюмое. Аля...

— Портфели, сумки раскрывайте! Ключи, металлические предметы — на столик! — покрикивали впереди.

Тревожными звонками били магнитные металлоискатели, и лился уже навстречу бело-голубой искусственный свет, такой же, как в салоне лайнера...

— Вот это получше как будто, — сказал Марик и взял один листок, а остальные отодвинул в сторону. — Вот это!

И стал читать вслух, слегка ироническим тоном, подняв брови и склонив набок голову, как будто с любопытством прислушиваясь к тому, что сам произносит:

В небытие бесповоротно
сносило жизнь зимой бесплодной,
клубились паром Пять Углов,
в снегах и дыме спал Обводный,
чернея крабами мостов.
Входило в сумрачное зренье
новейшей праздности сплетенье
с поземкой старого письма...
Была холодная зима,
где исчезало поколенье,
не дописав свои тома.

— Да, это получше, — Марик отложил листок. И сокрушенно вздохнул: — Как время летит! Давно ли новый семьдесят четвертый встречали вместе с Димкой? И шестьдесят четвертый год вспоминали, и удивлялись, как быстро десять лет прошли. А вот уже и восемьдесят четвертый наступает, и Димки с нами нет.

Это было не в новогодний вечер, а тридцатого декабря. Новый 1984 год Григорьев собирался встречать с Алей, а к Марику заехал накануне. Вообще, после димкиной смерти у них с Мариком вошло в обычай: хотя бы раз в месяц встречаться и пить сухое вино. Почему только сухое? Черт знает, как-то само сложилось. Может быть, потому что сухое не дурманило и не мешало разговору.

— Колесников умер, — говорил Марик. — От инфаркта, легко. Хоть в этом повезло старику. Я ему звонил иногда. Он, когда не сильно выпивший был, всегда жаловался: не берет меня безносая, издевается, чужое время живу. И вправду, чужое. В другом времени им бы вся страна гордилась... Давай, за его память!

— Давай, — согласился Григорьев.

— А я тут, знаешь, кого встретил! — вдруг вспомнил Марик. — О, слушай: мы с Мариной решили цветной телевизор купить. «Радуга» сейчас семьсот рублей стоит, ужас. А качество, говорят, такое, что больше ремонтируешь, чем смотришь. Мне и подсказали: иди к магазину «Юный техник». Там с завода бракованные телевизоры сбывают по триста рублей. И мужичок пасется: эту некондицию покупает, отлаживает и людям продает по пятьсот, да еще с личной гарантией. И работает после его рук, как часы. Ну, нашел я этого мужичка. Гляжу — Сашка! Помнишь, я тебе рассказывал: он на курс старше меня учился, опытные схемы нам с Колесниковым придумывал, а потом из-за пятого пункта никуда на работу устроиться не мог.

— Помню, — сказал Григорьев.

— Ну так вот: зарабатывает много, а одет плохо, лицо опухшее. Похоже, пьет. Разговорились. Мать у него померла, сам так и не женился. Горюет, что не уехал, когда выпускали. — «Чего ж ты сидел, — спрашиваю, — раз хотел отвалить?» — «Так вызов от родственников требовался, — говорит, — а у меня ни в Израиле, ни в Штатах никого». — «Чудак ты, — говорю, — да у кого ж там родственники были? Но выкручивались люди как-то, списывались, фиктивные вызовы себе делали». — Он заплакал: «А я так не умею! Всё ждал, дурак, что выезд упростят, разрядка же. А его взяли — и совсем прикрыли. Ничего, — говорит, — я в жизни не умею!»

Выпили за Сашку.

— У тебя-то как дела? — спросил Марик. — Что с отцом?

— Плохо, болеет.

— А как семья бывшая — Нина, Алёнка?

— Не знаю, — уклонился Григорьев, — связь прервалась.

Не хотелось рассказывать о недавнем свидании с Ниной. Похоже, последнем...

Она позвонила ему сама:

— Надо поговорить. Давай, встретимся где-нибудь после работы.

Голос у нее был непривычно резкий. Григорьев насторожился: прошло всего несколько месяцев после того вечера, когда Нина пыталась его вернуть, а что-то явно изменилось.

Но он даже представить не мог, НАСКОЛЬКО изменилось. Такой раздраженной, какой Нина явилась к нему, он ее еще не видел.

— Я хотела попросить, чтобы ты никогда больше не встречался с Алёнкой! — лицо Нины выражало явную неприязнь.

Он пытался протестовать, но всё было бесполезно.

— И алименты можешь не платить!

Снова, как при разводе, он попытался ухватиться за это последнее, жалкое:

— Нет, будешь брать!

И тут случилось неожиданное: Нина не стала препираться, только досадливо поморщилась:

— Ладно, как хочешь. Мне всё равно.

А ему вдруг показалось, что на ее прекрасном лице проступили злые старушечьи черточки. Он явственно увидел Нину такой, какой она будет лет через двадцать-тридцать. Да, ей предстояло состариться намного позже, чем Стелле. Но облик Нины-старушки, в отличие от облика Стеллы, не вызывал сочувствия.

— Хорошо, — согласился он. — Я и так редко видел Алёнку, но если и эти встречи тебе мешают, будь по-твоему. И в гости ни к Шугаевым, ни к Титовым больше не пойду, чтоб не смущать тебя и твоего доцента.

Нина опять досадливо поморщилась:

— Можешь ходить. Ты ведь так любишь с ним разговаривать.

Григорьев понял, что снова промахнулся. Она сейчас была неуязвима для его иронии.

— МЕНЯ там больше не будет, — сказала Нина. — Мы с ним разошлись.

И с мстительным торжеством, обращенным не к доценту, а именно к нему, Григорьеву, понимая его изумление, надежно защищенная чем-то, о чем он пока понятия не имел, поставила точку:

— Я ушла от него!

...Нет, рассказывать Марику об этом и портить себе предновогоднее настроение не стоило:

— Давай, лучше о политике поговорим.

— Какая у нас политика! — отмахнулся Марик. — У нас медицина. Андропов тоже помирает.

— Думаешь?

— А как же! Ты что, газет не читаешь? Обращение к народу: не могу даже на пленум прийти. Когда они в таком признавались? А вы, ребятки, без меня поднатужьтесь, обеспечьте прирост продукции хоть на процент, да производительности труда на полпроцента. Как ты не понимаешь: это же завещание! Завещание руководителя величайшей державы — процент да полпроцента!

По интонации Марика теперь непонятно было, когда он шутит, когда нет.

— Ладно, — сказал Григорьев, — черт с ней, с политикой. У тебя-то как дела? Учеников в этом году сколько?

— Двести тридцать, — ответил Марик.

— Что-о?! Рехнулся, Тёма?

— Ага, наверное.

— Да где ж ты их столько набрал?

Марик смущенно улыбался:

— В школе. Я уже год, как учителем работаю.

Григорьев схватился за голову:

— И молчал, конспиратор! Столько раз виделись!

— Ну, я сам еще не знал, удержусь или нет. Работа каторжная.

— Да как тебя занесло?

Марик посерьезнел:

— Понимаешь, когда схоронили Димку, почувствовал — всё, больше не могу. И столбы считать не могу, и детишек благополучных к экзаменам натаскивать. Время-то летит, страшно делается. Нам с тобой уже сколько? Вот то-то!

Пушкинский рубеж переваливаем. Порядочным людям в такие годы и завершить не стыдно было свой век, а я всё как будто не начинал. Мне дело нужно! А кто его даст? В науку с моей рожей сейчас не пустят. Знаешь, что такое чудо-юдо? Еврей, устроившийся на работу.

— В школу ты как залетел, чудо-юдо?

Марик развел руками:

— Судьба. Послушного ведет, непослушного тащит. Машка моя в первый класс ходила, я с ее учительницей иногда разговаривал — о том, о сем. Она и сказала, что в соседней школе в старших классах преподавателя математики нет. Паникуют, ищут... Я две ночи не спал. Думаю: что ж я, с ума сошел? В такую петлю лезть. А вот — сверлит меня. На третий день не выдержал, свалил с работы, поехал в ту школу. А муторно как! И в джунгли незнакомые вступаю, и вся любовь моя взаимная с кадровиками всколыхнулась. Правда, я слыхал, что на уровне школы к пятому пункту не так придираются, но у меня ж еще и диплом не педвузовский... Встретил в коридоре бабку седую. «Где у вас тут, — спрашиваю, — директор?» — «А я, — говорит, — и есть директор, Марья Константиновна». — Тут мимо проносятся двое сверхзвуковых, третьеклассники, наверное. Она — цоп одного на лету и давай бранить: «Такой, сякой! Сколько говорить, чтоб вы не носились, полы же скользкие, покалечитесь!» А сама за шиворот ему лезет: «Да ты же весь вспотел! Ты же опять простудишься, проболеешь и совсем отстанешь!» Я потом убедился: она и вправду почти каждого ученика из двадцати классов знает. А тогда — сразу как-то отпустило меня. Полегче стало.

— И решился? — спросил Григорьев.

— Подожди еще — решился... Марьяша, ее все Марьяшей зовут, меня выслушала, подумала и говорит: «Вы же в школе никогда не работали? Так примерьте учительскую шкуру прежде, чем с головой в нее влезать. Со службы пока не увольняйтесь, а две-три субботы приходите к нам. Проведете по четыре-пять уроков в разных классах». И дает мне программу занятий. — Марик засмеялся: — В первую субботу я оттуда по стенке выполз, очумевший и охрипший.

— Не слушаются?

— В разных классах по-разному. В девятых-десятых полегче. Тоже шумят, но там все-таки ребята профильтрованные, нацелены на институты. А в седьмых-восьмых половина понимает, что их в ПТУ загонят, сами дурят как могут и остальным учиться не дают. Впечатление, словно беснуются перед тобой тридцать обезьян, только что по стенам и потолку не бегают, а ты им должен втолковывать про системы уравнений... После первой субботы хотел бросить эту затею. Хорошо, что не бросил. Думал много, нашу учебу вспоминал. Понял: школьники — не студенты, к ним другой подход нужен. В общем, после третьей субботы решился.

— А кадровики? Легко пропустили?

— Видишь, — сказал Марик, — я сразу-то не сообразил: в школе же отдела кадров нету. Он в РОНО, туда идти. С моей нордической внешностью, с моим красным дипломом инженера по ЭВМ, с моей трудовой книжкой, где увольнение из аспирантуры без защиты диссертации. Опять затосковал. Но тут уж Марьяша со всей своей энергией меня пропихнула... Самое смешное, мне поначалу трудней всего с завучихой было, с Розалией Яковлевной. Я, понимаешь, не антисемит, но я тебе скажу: старые евреи при исполнении, особенно старые еврейки, — это кошмар. Чемпионы въедливости, их только пожарными инспекторами ставить. «А как это вышло, что вы до школы докатились? А вы долго собираетесь у нас работать?» Я сперва делал вдохновенный вид: мол, всю жизнь мечтал о судьбе учителя. Не поверила, конечно. Потом сказал, что у меня тьма идей по преподаванию математики и собираюсь учебник на конкурс написать. Тоже не очень поверила, но хоть отвязалась.

— Ну, Тёма, сразил! Почти тридцать лет тебя знаю, такой отчаянности не ожидал.

Марик строго посмотрел на него:

— Отчаянности? Нет, извини, я не авантюрист. Для меня всё всерьез. Трудно, конечно. Да и программа школьная у нас по математике... — Он вытащил из-под стола портфель, достал и бросил перед Григорьевым несколько учебников: — Девятнадцатый век, жюль-верновские времена. Просто впи-

хиваем, как сумму знаний, а это должно как развитие мышления идти.

— Придумал что-нибудь?

— Это тебе не велосипед: придумал — сделал. Тут всё время думать! Работать и думать, в бешеном темпе, как при фехтовании. И — разные классы. Кто в десятом ко мне попал, тех уж просто довел до выпуска. С девятыми — времени побольше, на вступительных экзаменах в институты меньше моей оценки никто не получит. Если, конечно, по справедливости будут ставить. Ну, а кто у меня с седьмого-восьмого класса, вот тут — посмотрим...

— А деньги? — спросил Григорьев. — Получаешь сколько?

Марик нахмурился:

— Сколько в школе платят. Не разбогатеешь. Почасовка. Надбавки за стаж пока нет, она через пять лет появляется. Классное руководство — десятка. Рублей сто семьдесят.

— Постой, — сказал Григорьев, — ты что же, вдвое в заработке потерял? У тебя ж семья! Как Марина-то на всё это смотрит?

Марик пожал плечами:

— Обычная советская дилемма — либо дело делать, либо деньги получать. А Марина... — темное обезьянье личико Марика осветилось лукавством: — Да что ж она мне — не жена, что ли, верная? Что ж она — меня не любит? У нас, у русских, есть поговорка: что муж ни сделает, всё хорошо! Проживем. Другие-то живут.

— Счастливый ты, — позавидовал Григорьев.

— А это точно, — серьезно согласился Марик. — Еврейское счастье называется. Слыхал такое выражение?

...Движущаяся дорожка, запрокинувшийся навзничь эскалатор, приняла его и с мягким гуденьем, подрагивая, понесла долгим тоннелем к выходу на летное поле. Тугой змеей покачивался под пальцами резиновый поручень, в такт его пульсациям забилась в ушах всплывшая нелепо цыганочка: «Вечер, поле, огоньки, дальн-ная дорога. Сердце рвется от тоски, а в груди — тревога. Эх, раз, еще раз, еще много, много, много раз!..» Сколько же раз ему еще летать? Сколько лет? А молодость, оказывается, прошла.

Неужели ты права, Аля? Что он успел в свои почти сорок? Что вообще видел? Тоже нелепо вспомнилось, как по пути в аэропорт заметил афишу у метро: «Лекция в джаз-клубе. Чарли Паркер — классик би-бопа». Он понятия не имеет ни о би-бопе, ни об этом Чарли Паркере, а тот, оказывается, даже классик.

Впереди на движущейся дорожке молоденькая, моложе Али, девушка в ярком плаще громко говорила подруге:

— Англомания кончилась, теперь — италомания! До кича уже доходит: по всему Невскому сплошные итальянские каскады, — она взмахнула рукой, словно обрисовывая прическу, — и юбки цветные ярусные.

Вот так. А ведь и это — важно. И это он должен был бы знать или хоть замечать, если считает себя писателем. Целые миры остаются в стороне, его проносит мимо, мимо. Сквозь жизнь. Неужели ты права, Аля?..

Начало июля 1984-го. Усталость. Скоро отпуск. Его ожидал домик приятеля в Мельничном Ручье, ждали пес Бобслей и хитрый кот Кузя, которых он примет под команду. А радости от предвкушения отдыха не было. Всё тревожней становилось за отца. Об отношениях с Алей и вовсе не хотелось задумываться. Работа стала мучением: сверху донизу, от сияющих министерских кабинетов до грязной цеховой подсобки на самом дальнем заводе, любое простейшее действие требовало теперь неистовых усилий. И от этого в редкие свободные часы так тяжело было сосредоточиться над своими рукописями.

Как ни странно, было жаль умершего Андропова. И настроение это казалось почти всеобщим. Даже люди, которые при жизни покойного генсека брезгливо морщились и повторяли расхожую шутку о папе Мюллере, забравшемся на трон, теперь, смущенно улыбаясь, признавались, что им тоже его жалко! Наверное, в России каждый правитель, который хочет оставить по себе добрую память, должен умирать через год после воцарения, ничего не сделав.

Ошеломляла ничтожная, канцелярская биография нового вождя — Константина Черненко: «В 1943 году поступил на

учебу в Высшую партийную школу...» Это как же надо было любить учиться, в разгар Великой Отечественной! Да что они там думают, наверху? Ну, пусть не воевал, так написали бы, что работал в оборонной промышленности. Уже выглядело бы пристойно, всё равно ведь никто не проверит. Нет, даже соврать с умом не смогли. Разучились. И было в этом позоре нечто от всеобщей безысходности.

А надрывные крики газет, радио, телевидения об угрозе ядерной войны как будто слились в один нескончаемый вой сирены. Если во время Карибского кризиса в 1962-м безумное, предельное напряжение — на грани мгновенья от грохота встречных советских и американских ракетных стартов — продержалось всего несколько дней и отпустило, то теперь оно тянулось уже много месяцев подряд. Точно темное грозовое электричество непрерывно жгло нервы.

И вдруг, в этой давящей атмосфере нагнетаемой ненависти и тревоги прозвучало неожиданное: вечером 4 июля, в день национального праздника Америки, по телевидению в программе «Время» выступит посол США в Советском Союзе...

Его короткое выступление, конечно, было предварительно изучено и согласовано всеми нашими инстанциями. Официально — МИДом и руководством телевидения, а неофициально — ЦК, КГБ, цензурой, чертом, дьяволом, — кто там еще должен был просмотреть и проанализировать в поисках скрытой вредоносности трехминутную запись, прежде чем, скривясь, выпустить ее в эфир.

Но посол подготовился так, что ни одна инстанция при всем желании не смогла бы придраться ни к единому слову. Он не упомянул ни афганскую войну, ни размещение советских ракет средней дальности СС-20 на европейских рубежах, ни ответную установку американских «Томагавков» и «Першингов» в Европе, ни вторично ответное приближение советских подводных ракетоносцев к берегам Америки, чтобы сократить время ответного удара до нескольких минут полета «Першинга». Он не упомянул новейшие американские межконтинентальные ракеты — наземные М-Х и морские «Трайдент» — и их советские аналоги СС-18 и «Тай-

фун». Не упомянул американскую программу СОИ с ее космическими лазерами, перечеркивавшую договор по противоракетной обороне, и ответные советские угрозы СОИ преодолеть. Не упомянул Эфиопию, Никарагуа, Анголу и прочие страны, где под видом местных конфликтов уже вовсю полыхали костры войны между Советским Союзом и США. Не упомянул права человека, диссидентов, свободу эмиграции. Он вообще не сказал ни слова о политике.

Посол говорил о науке и только о науке. Он говорил о достижениях Америки в области новых технологий, об электронике, информатике. Говорил о полной компьютеризации современного американского общества, о единой компьютерной сети, охватившей все Соединенные Штаты и открывшей немыслимые прежде возможности во всех сферах деятельности — в бизнесе и промышленности, в связи и на транспорте, в медицине, в образовании.

Ни единой иронической нотки не прозвучало в спокойных словах посла, никаких сравнений и уж тем более — никаких угроз. Но Григорьев (наверняка, вместе с миллионами других, прежде всего собратьев-инженеров, тех, кто отлично всё понял) в эти минуты испытал настоящий шок. В оцепенении, словно приговор, слушал он ровный голос отлично говорившего по-русски посла. И когда тот, сдержанно поклонившись, исчез с экрана его старенькой черно-белой «Ладоги», в голове как-то сами собой, финальным аккордом, неизвестно откуда взявшись, нелепо и оглушительно прозвучали давно позабытые слова Маяковского из школьной хрестоматии: «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!»

...Движущаяся дорожка вынесла его к подножию крутого эскалатора, а тот поднял его в последний зал ожидания — стеклянную башенку, где сразу открылся просвеченный прожекторами гулкий бетонный простор ночного летного поля с по-рыбьи поблескивающими тушами самолетов. Его привычный мир, его судьба. А он-то хотел остаться, свернуть. Куда свернешь? Твоя дорога всегда под твоими ногами.

Гудел эскалатор. Стеклянная башенка наполнялась, переполнялась людьми...

На исходе нынешнего лета, в конце августа, перевозили семью Марика с дачи. Тесть его, Павел Васильевич, владел участком в садоводстве по Сосновскому направлению.

Григорьев после свадьбы Марика не видел Павла Васильевича ни разу и теперь только дивился, каким молодцом тот выглядит в свои шестьдесят четыре: сухонький, подвижный, в мальчишеской футболочке. У него были красные лицо и шея, густая шевелюра мягких, совершенно седых волос и неожиданно гулкий голос. (С тоской вспомнился отец: всего-то на два года старше, а уже и на улицу один выйти не рискнет.)

Григорьев знал, что Павел Васильевич — капитан второго ранга в отставке, ветеран Северного флота и, по словам Марика, «жуткий аккуратист». Действительно, среди соседских участков, заросших чем попало, с неряшливыми хибарками из некрашеной, потемневшей вагонки, участок Павла Васильевича — с песчаными дорожками, подстриженными кустами, ровными грядками и нарядно выкрашенным домиком — выделялся, как боевой корабль под флагами расцвечивания на фоне серых барж-развалюх. И стоявший перед домиком 403-й «Москвичок», ровесник первых спутников, сиял голубой эмалью, хромировкой, чистейшими стеклами в радужных переливах, словно только что, тепленький, соскочил с заводского конвейера.

Марик, Григорьев и Павел Васильевич вытаскивали из домика вещи, Марина распоряжалась погрузкой, девятилетняя Машка путалась под ногами. Вещей оказалось невероятно много. Сумками и коробками быстро забили маленький багажник «Москвича», привязали к верхней решетке холодильник «Морозко» и какой-то тюк.

Марик, стесняясь такого обилия, тихонько жаловался на жену и тестя:

— Набирают барахла!

Марина говорила Григорьеву:

— Ты чего к нам совсем не приходишь? Всё тянешь Марика в свою берлогу. Ты приходи. Как будто я вам не дам поговорить... Папа, это я на руках повезу!

Правое переднее сиденье «Москвича» тоже завалили вещами, на заднем с сумками на коленях устроились Марина и Машка. Павел Васильевич уселся за руль, гаркнул:

— Маркуха! Топайте на пятнадцать сорок семь, потом перерыв больше часа! — хлопнул дверцей и укатил.

Григорьев и Марик взвалили на спины не поместившиеся в «Москвичок» рюкзаки, взяли в руки сумки и поплелись к станции.

— Орел у тебя тесть, — сказал Григорьев.

— У-у, что ты! Флотский моряк. Правоверный — не приведи господь. Разговоров всяких, про Сталина и тому подобное, страшно не любит. И не смей при нем сказать, например, что Пикуль — халтурщик. Раз на Северном флоте воевал, значит, индульгенция на всю оставшуюся жизнь во всех делах... Не тяжело тебе?

— Ничего, нормально.

— Возят барахло туда-сюда, каждый год с ними ругаюсь! — ворчал Марик. — А тут наш Пал Васильич в «Морской вестник» статью отправил. Сейчас к сорокалетию Победы начинают готовиться, пишут кто что может, вот и он за перо взялся. Воспоминания о боевых походах получились и всякие размышления. Подготовку нашу покритиковал слегка. Оказывается, заложили у нас перед войной линкоры, самые громадные в мире. Верфи заняли, вся промышленность на них работала, а достроить не успели, конечно. Да они в той войне всё равно бы не пригодились. Так вот, он подсчитал, сколько взамен можно было успеть построить эсминцев, тральщиков, сторожевиков, и как бы это положительно сказалось на ходе операций. Что ты думаешь? Приходит ответ из редакции: уважаемый тра-та-та, в преддверии сорокалетия Победы наша задача как можно шире освещать огромную работу, которую партия и правительство тра-та-та по укреплению обороны. И не следует излишне акцентировать внимание на отдельных просчетах.

— Естественно. Как же иначе?

— А он разозлился страшно: «Отмахиваемся от уроков истории! Не желаем учиться на своих ошибках! Потому в стране бардак!..» Не расстраивайтесь, — говорю, — Пал Васильич. Чему-то и они учатся. Медленно, зато верно. Умнеют понемногу. Вот, линкоры уж точно больше строить не будут. Не всё сразу.

Электричка пришла полупустая.

— Потому что рано едем, — пояснил Марик. — Через два часа будет битком. Воскресенье же.

— А ты все-таки не меняешься, — засмеялся Григорьев. — Любую мелочь должен проанализировать.

— После двадцати трех лет никто не меняется. Я, во всяком случае, в такие перемены не верю.

— Именно после двадцати трех? Не двадцати двух, не двадцати четырех?

— Да ну тебя! — засмеялся и Марик.

Они забросили рюкзаки на полку, задвинули сумки под сиденья, уселись у вагонного окошка друг против друга.

— Кстати, как твоя Нина поживает? — полюбопытствовал Марик.

— Ничего, спасибо. Опять замуж вышла и дочурку родила.

У Марика от изумления округлились и глаза, и рот:

— За кого?!

— За какого-то парня со своей кафедры. Говорят, моложе ее на несколько годиков. Ну и родила. Почти в тридцать девять лет. Так что, еще одна девочка у нас. Других подробностей не знаю и, честно говоря, не интересуюсь.

Марик покачал головой. Осторожно спросил:

— Всё же, как ты к этому относишься?

— А представляешь, когда узнал, даже нечто вроде уважения к ней почувствовал. Нашла выход! Пусть очевидный, бабий, зато радикальный.

Марик всё осмысливал известие:

— Как же с Алёнкой? Совсем не видишься?

— Совсем. И к лучшему, наверное. У девчонки и так голова кругом: третий муж у мамаши. А с Ниной встретимся еще. Она передала, что в ее квартирке пока могу жить, но

чтобы надолго уже не рассчитывал. Так что — встретимся. Когда придет меня из избушки выгонять. Ладно, бог с ней совсем.

Летела, раскачиваясь, электричка. Проносились мимо начинающие желтеть перелески, потемневшие озера. Вспомнилась дурацкая песня, шлягер минувшего сезона: «Ско-оро осень! За о-окнами август!..» Осень 1984-го. Далеко же нас занесло.

Григорьев присмотрелся к Марику:

— А ты забавно лысеешь. Говорят, со лба, как у меня, от ума. С макушки — от любовных излишеств. А у тебя — загадка.

Действительно, волосы у Марика редели по-прежнему равномерно по всей голове. С расстояния в несколько шагов его черные, слегка поседевшие кучеряшки еще сливались в сплошную шевелюру, но вблизи сквозь них ясно просвечивала будущая цельная лысина. Удивительно белая в сравнении с темным лицом.

Марик достал расческу и тщательно причесался.

— Кстати, о любви, — сказал он. — Знаешь, почему тебя Марина так приглашает? Хочет со своей подругой познакомить. Пока ты совсем не развинтился от вольной жизни. В тридцать семь одному нельзя. Да это Лена, ты ее у нас на свадьбе видел.

— Не помню, — сказал Григорьев.

— У тебя ж такая память! Она вот запомнила — и тебя, и Нину. Тогда она и сама замужем была... Ну, неважно. Теперь давно разведенная. Не красавица, но симпатичная, ровесница Марины, тридцать три будет. А моложе нам с тобой уже и не надо.

— Ну, ты специалист.

— Нет, серьезно, она хорошая, домашняя такая. — Марик помялся. — Только с приданым, само собой. Одиннадцать лет мальчишке. Но мальчишка-то славный! Читает запоем, Лена даже беспокоится, что слишком тихий растет. Астрономию очень любит, как мы когда-то. Увидел у меня в шкафу Ивановского «Солнце и его семья», схватил, полистал — и аж затрясся, бедный. Он и не представлял, что такие

книжки бывают, не переиздавали же с пятьдесят седьмого года. Взмолился: дядя Марк, дайте почитать! Подарил ему, конечно. Машке-то моей неинтересно, к сожалению. Помнишь эту книгу?

— У меня она тоже есть.

— Видишь! Вы с ним подружитесь. Так что, давай, приходи в гости.

— Не торопи, — сказал Григорьев. — Подождем сватать-ся, какие наши годы. Скажи лучше, как ты к первому сентября — в боевой готовности?

— Ой, не спрашивай! — Марик помотал головой. — Как вспомню, так вздрогну! Опять в эту молотилку до будущего лета. Теперь, правда, опыт кое-какой есть, но всё равно: ведь непрерывно бороться надо только за то, чтоб их внимание удержать. Адское напряжение. Всё время кажется, нервы вот-вот сдадут... Когда уж совсем готов сорваться, думаю о том, что вот эти девчонки через пять-шесть лет станут матерями, будут со своими ребятишками мучиться. А кто-то из самых противных мальчишек, которых мне до дрожи хочется вышвырнуть из класса, пойдет через два-три года под пули в Афганистан. А главное, надо помнить, что они — дети. Со всем своим физическим переразвитием, со всей лоскутной эрудицией и апломбом, со всеми дурацкими рок-ансамблями, мотоциклами, золотыми сережками — всё равно, дети. Они взрослеют медленней, чем мы.

— Учебник-то не собираешься писать?

— Какой учебник! — отмахнулся Марик. — Смеешься. Ну конечно, свой курс понемногу складывается. Весной кто-то настучал Марьяше. Приходит: «Я слышала, что вы отклоняетесь от программы. У нас же не математическая школа, обыкновенная». — Отвечаю: «Марья Константиновна! Всё, что положено по программе обычной школы, они у меня усваивают за семьдесят пять процентов отведенного времени. И я имею резерв двадцать пять процентов, чтобы хоть как-то надстроить эту замшелую программу до требований конца двадцатого века». — Она говорит: «Не переусердствуйте. Не все же пойдут в вузы, тем более в технические». — «Ну и что? — говорю. — Теорию элементарных

функций должен я им нормально прочитать? Мне законных десяти часов для этого мало. Тут и вузы ни при чем. В рабочие поступят — будут с этими функциями в любых приборах дело иметь. А нормальное понятие о вычислительной технике должен я им дать?..» Ну, посидела она у меня на нескольких уроках, потом подошла и говорит тихонько: «Работайте, как считаете нужным. Только об одном прошу: при инспекторах — не очень».

— Слушай, — сказал Григорьев, — ты только не сердись, я хочу понять. Стоят эти ребята того, чтоб из-за них так мучиться?

Марик нахмурился:

— Что ты имеешь в виду? Если благодарность, так благодарности что от собственных детей, что от учеников лучше не ждать, чтоб не расстраиваться. А вот ради чего всё... Ну, самое главное, наверное, и психологически самое естественное: все родители хотят сделать из своих детей, а учителя из своих учеников — то, что из них самих не вышло.

— Это задача сомнительная, — сказал Григорьев. — Мы готовились стать работниками такого времени, которое не наступило. Или надеешься, для них оно наступит?

— Нет. К сожалению, нет. Разве только надеюсь, что их время будет хоть немного зависеть от того, какими они станут. Хоть чуть больше зависеть, чем наше время зависело от нас... Да ты не беспокойся, я их не калечу. Наоборот, помогаю худо-бедно. С моей закалкой по математике им никаких репетиторов к экзаменам в институт не понадобится, вообще полегче будет после школы в работу вступить. А еще, может и самонадеянность, но я стараюсь не просто знания в них впихнуть, а научить их МЫСЛИТЬ. Хотя бы в том крохотном пространстве, где мне это разрешено и где я свободен: в элементарной математике. Не должно же это пропасть. Хоть у кого-нибудь из них — не пропадет... Вот только время, — вздохнул Марик. — Ох, как в учительской шкуре чувствуешь, что за жестокая штука время! Смотри, даже часы купил электронные, чтобы секунды видеть. Уроки планирую с точностью плюс-минус полминуты.

— Черт, — сказал Григорьев, — хоть бы разок посмотреть, как ты там управляешься.

— В чем дело? Приходи да посмотри.

— Как это я приду? Кто меня пустит?

— А кто тебя не пустит? Пропускную систему в школе, слава богу, пока не ввели.

— А если остановят, спросят? Я тебя не подведу?

— Не волнуйся. Делай, как теперь говорят, морду ломом — и вперед! Никто ни о чем не спросит. Пришел человек, сидит, — значит, надо ему, значит, инспектор. Если удивятся, так тому, что один. Инспектора стаями ходят. — Марик вдруг улыбнулся: — Мы как-то с Димкой шли, я на свадьбу собирался к двоюродной сестре, Маринка болела. Он меня проводил до самого ресторана, вздыхает: «Везет тебе, на свадьбу идешь! Вот где выпьешь и закусишь!» — «Ну так пойдем со мной». — Он испугался: «Ты что! Как это я пойду?» — «А в чем дело? Там человек пятьдесят соберется, и большинство друг друга видит первый и последний раз. Жениховская родня подумает, что ты со стороны невесты, а те — наоборот. Так, говорю, мне вечер скучать, а с тобой — посидим как люди».

— И он пошел?

— Пошел. Сначала стеснялся, тихонько сидел. А потом уже тосты произносил, плясал. Душа общества.

Григорьев ощутил что-то вроде запоздалой ревности. Ни Димка, ни Марик никогда при нем эту историю не вспоминали. И Марик почувствовал его настроение:

— Ты в командировке тогда был, — сказал он. — А потом вся эта катавасия закрутилась, судебная... В общем, приходи.

— Давай, хоть первого сентября приду. Как раз суббота.

— Первого — занятий не будет. Общее построение, урок мира, цветочки.

— Ну третьего приду, в понедельник. Отгул на работе возьму!

Марик внимательно посмотрел на него. Улыбнулся:

— Ишь, загорелось тебе...

Утром третьего сентября он ждал Марика возле школы. Немного разочаровало школьное здание: стандартная, четы-

рехэтажная блочная коробка, к которой приткнулась застекленная коробка поменьше — спортзал. Точно в такой же школе училась Алёнка (встречал ее когда-то после уроков). Обычные надписи на облицовке: «ЗЕНИТ — чемпион», «Бобер + Муха = любовь + ребенок». Забеленные краской окна туалетов.

И уже с недоверием вспоминались слова Марика обо всех его учительских страстях. Да разве возможны в таких убогих стенах возвышенные переживания! Разве можно здесь доходить до предела душевного напряжения, испытывать высшую человеческую радость осмысленного труда!

А может быть, это искусство так сильно на нас влияет? — думал Григорьев. — Чтобы ощутить подлинность трагедии, мы должны заключить ее в мрамор, бронзу, гранит и бархат, оркестровать звоном торжественных слов. Если не родившиеся еще режиссеры когда-нибудь захотят рассказать нашим правнукам о нашей драме, они тоже, наверное, станут изобретать для нее декорации, исполненные мрачного величия. Хотя мы первое и, может быть, единственное поколение, чья драма свершилась так тихо и буднично.

К высокому бетонному крыльцу потянулись ученики. С шумом, гамом, визгом пролетали младшие в аккуратненьких, заботливо наглаженных мамами форменных пиджачках. Небрежно шагали расхристанные старшеклассники, в открытую покуривая на ходу. Проплывали старшеклассницы с комплекцией матрон. Деловито проходили учительницы, немного тревожа Григорьева напоминанием о его самозванстве.

Наконец, появился озабоченный Марик с портфелем:

— Повезло тебе, сейчас увидишь представление! Первый урок в незнакомом классе. Девятый класс, перешел к нам из восьмилетки. Э-э, черт, всё времени стоит! Минут пятнадцать придется потратить только на контакт.

— Какой контакт? — не понял Григорьев.

— Какой, какой! Чтоб слушать начали. Давай, иди вперед! Кабинет математики, на втором этаже. И ни на кого не смотри!

Едва Григорьев шагнул в многоголосый гул класса, на него устремились десятки глаз. Кто-то начал подниматься,

приняв его за учителя. Как велел Марик, ни на кого не глядя, всем видом показывая, что он, хоть и не учитель, но тоже человек законный и солидный, Григорьев прошагал по проходу и молча остановился у последнего стола в крайнем ряду.

Двое парней, развалившихся за столом, попытались его проигнорировать. Григорьев положил на стол свою кожаную сумочку с такой бережностью, словно в ней находились не ключи, сигареты и сложенный вчетверо журнал «За рубежом», а секретные педагогические документы, и продолжал стоять, недобро поглядывая поверх двух лохматых голов на портрет Чебышева. Ребята недовольно поднялись и побрели на передние места. Григорьев сел.

В эту минуту с трелью звонка в класс стремительно вошел Марик и словно взлетел к своему столу на возвышении.

Класс волнообразно поднялся и тут же поплюхался обратно на стулья.

— Садитесь! — строго разрешил Марик, словно не заметив, что все и так уселись.

Издалека Григорьев лучше мог оценить его вид. В темном костюме и белой рубашке с узким галстуком Марик выглядел солидно даже при своем небольшом росточке. Волосы зачесаны, как круглая черная шапочка. Смуглое личико и блестящие угольные глаза исполнены решимости.

— Я ваш учитель математики! — объявил он. — Меня зовут Марк Ильич.

Кто-то хохотнул: «Наш Ильич!» И на этом интерес учеников к Марику явно иссяк. Шум разговоров быстро наполнял класс. Марик невозмутимо вытянул левую руку, расстегнул металлический браслет часов и положил их на стол, так подогнув звенья браслета, чтоб видеть наклоненный циферблат. Григорьев машинально тоже взглянул на свои часы.

Класс шумел, занятый собственными делами. Две хорошенькие девушки обернулись к подружкам за следующим столом и вчетвером болтали о чем-то веселом. Два парня рассматривали цветные открытки с фотографиями иностранных автомобилей и вполголоса обсуждали их. Другие двое, толкаясь, вырывали друг у друга попискивающий транзисторный приемничек.

Григорьев ждал, что Марик сядет, раскроет журнал, начнет перекличку. Но он так и стоял у доски, внимательно разглядывая своих новых учеников. Потом спокойно заговорил. И когда Григорьев сквозь гул класса расслышал его слова, то подумал, что Марик рехнулся: он говорил о научно-технической революции и современном значении математики.

Из угла, где сидел Григорьев, казалось, что класс колышется волнами. Вертелись и басили парни, девушки всё громче смеялись, кокетливо вскидывая головы и открывая беленькие зубки.

Возвышаясь над хаосом, Марик отрешенно проповедовал. Теперь он говорил о предстоящем сорокалетии Победы. О том, что войну выиграли не только храбрость солдат и искусство полководцев, не только труд рабочих и крестьян, но и талант ученых и инженеров. В труднейших, неравных условиях победила наша научно-техническая мысль. Для нее не было невозможного. Нехватало алюминия — и лучшие истребители Второй мировой войны «лавочкины» были цельнодеревянными. Ни один цельнометаллический самолет противников и союзников не мог сравниться с ними не только в скорости и маневренности, но и в боевой живучести. Это были гениально задуманные и рассчитанные конструкции.

Класс гомонил, вскрикивал, смеялся. Правда, когда Марик рассказывал об истребителях, мальчишеские голоса в общем хоре начали стихать, ребята стали прислушиваться. Но Марик уже перемахнул в день сегодняшний:

— В войну, — объяснял он, — достаточно было иметь сотни, пусть считанные тысячи таких, как Лавочкин, Ильюшин, Туполев, остальные могли быть просто добросовестными исполнителями. Теперь же необходимы буквально миллионы мыслящих, миллионы инициативных, миллионы творцов. Иначе, — Марик покачал головой, — научно-техническая революция, как всякая революция, может победить, а может и потерпеть поражение. — Помолчал мгновение и добавил: — В какой-нибудь отдельно взятой стране.

Господи! — ужаснулся Григорьев. — Что он говорит?! Где, кому?!

Многоголосый гомон, смех, стук достигли такой силы, что, казалось, в класс сейчас ворвутся разъяренные завуч, дирек-

тор или кто там еще существует, может вмешаться и навести порядок. Марик кольнул взглядом свои часы, лежавшие на столе.

— Ну что же, — в нестерпимом шуме Григорьев скорее угадал, чем расслышал его слова, — для разминки попробуем решить одну задачку... на сообразительность!

Марик повернулся спиной к классу, взял мел и начал рисовать на черной стеклянной доске: длинный, узкий прямоугольник, под ним кружочки — спереди, сзади, словно колесики. Какая-то тележка.

Класс взревел, как стадион в момент прохода к воротам. Это был знак внимания. Марик неспешно рисовал: колесики стали сдвоенными, какие-то грибки появились спереди и сзади. Да это же буфера, железнодорожная платформа! Несколько узких вертикальных полосок — боковые стойки. И груз — прямые линии во всю длину платформы, одна над другой, одна над другой.

Класс кричал и с грохотом подпрыгивал, вытягиваясь к доске. Марик закончил с боковой проекцией и теперь рисовал ту же платформу спереди: колеса с осью, буферные тарелочки, высокие стойки по бортам. Между ними груз — кружочки, кружочки, плотными рядами, до самого верха. Трубы, что ли? Рисунок выходил удивительно четким. Желтоватые меловые линии на черном с зеленым отливом стекле напомнили Григорьеву огненные графики на экранах осциллографов.

Класс уже не просто шумел. Он бушевал в своих четырех стенах, он ходил ходуном, как горное озеро при землетрясении. Но как только Марик отложил мел и резко повернулся, рев и грохот стихли, словно ударившись в ватную стену. Полной тишины не наступило, остались перебегающий шепот, смешки, но их уже легко подавил спокойный голос Марика:

— Ну, вот. Раз уж мы с вами говорили о деревянных самолетах, попробуем решить задачку... о бревнах! Итак, дано: железнодорожная платформа загружена бревнами. Все они одинаковой длины, но разных диаметров. Надо точно знать объем отгруженной древесины, а значит, измерить диаметр

каждого бревна. Работа тяжелая, можно провозиться много часов, а поезд должен уйти через три минуты. И вам даю на размышление три минуты. Как поступить? Думайте!

Класс заметался, загромыхал многоголосием, словно в огромном раскачивающемся барабане перекатывались гулкие шары. Но это был уже подчиненный шум, и Марик возвышался над ним, как дирижер. Шум нарастал, начали прорезаться отдельные крики:

— Отпилить! Отпилить от каждого!

— Средний взять! Средний, средний! А бревна сосчитать!

Кричали сразу в нескольких местах. Какой-то парень, подпрыгивая, выкрикивал:

— Бросить в воду! Бросить их в воду! Сколько вытеснят!!

Марик с невозмутимым видом прослушивал вызванную им бурю. Только один раз сердито зыркнул глазами в сторону парня, кричавшего «бросить в воду!», и даже губы выпятил в знак крайнего неодобрения.

— Обмерить в ширину, в высоту и вычислить как круг в квадрате!

— По сред-не-му! По сред-не-му!

Марик покосился на часы, чуть поднял руку, и шум, словно от поворота выключателя, резко стих.

— Первая подсказка! Через три минуты должен уйти только сам поезд. Результаты обмера могут быть подсчитаны хоть через несколько дней. Думайте!

Снова отчаянный гул перекатывающихся шаров, крики, возбужденные лица, топот. Снова дирижерский жест Марика и провал тишины:

— Вторая подсказка! Необходимо разрешить мнимое противоречие, которое заключается в том, что поезд должен одновременно и уйти, и как бы остаться. Думайте!!

Покатились новые волны гула, уже не такие высокие, приглушенные. В них можно было уловить напряжение, потом — растерянность.

— Третья подсказка! — объявил Марик. — Прибор, который позволяет разрешить мнимое противоречие, — фотоаппарат.

— Сфотографировать! — отчаянно взвизгнул девчоночий голос.

— Сфотографировать, — согласился Марик. — НУ И ЧТО?

По классу заметался стремительный шепот, в нескольких местах быстро-быстро переговаривались вполголоса. Это были уже мелкие осколочки прежнего буйства. Григорьев чувствовал, как нарастает ожидание.

Марик взглянул на часы.

— Ладно! — сказал он. — Слушайте ответ.

Кабинет математики затопила такая стеклянная тишина, что стал слышен приглушенный стеною шум голосов в соседнем классе.

— Бревна нужно сфотографировать с торца, приложив к ним ЛИНЕЙКУ для масштаба! После этого поезд можно отправлять, а все измерения спокойно и с удобствами проделать на снимке.

Класс взорвался многоголосием, хохотом, стуком, но стоило Марику вновь заговорить, как все опять с интересом притихли.

— Неважный результат, — сказал Марик. — Вы допустили все известные тривиальные ошибки. Впрочем, и нетривиальные тоже, — он снова хмуро покосился на парня, кричавшего «бросить в воду!». — Но не будем огорчаться. Могу признаться вам, что когда-то я сам решил эту задачу только после второй подсказки. Мы будем иногда для разминки решать такие задачки, а теперь... — голос его сделался чуть громче и резче, — запишите сегодняшнее число. Запишите: «Занятие номер один». Заголовок: «Понятие о двоичной системе счисления».

В классе опять нарастал понемногу шум разговоров.

— Двоичная система, — сказал Марик, — напоминает кошачью систему счисления.

Класс с готовностью притих.

— Когда-то давным-давно, — сказал Марик, и во всем классе, наверное, только Григорьев почувствовал, как чуть изменился его голос, — в нашей огромной коммунальной квартире жила кошка. И, конечно, приносила котят...

Кто-то засмеялся, но сразу умолк.

— ...По четыре, по пять котят. И вот мы, дети, а это были времена, когда в ленинградских коммуналках жило по многу

детей и почти все были ровесниками, — мы не давали топить котят. Мы их пристраивали. Это было нелегко: ходить по квартирам, предлагать, уговаривать. Получалось постепенно. И каждый раз мы наблюдали: если у кошки от четырех, скажем, котят отнять одного, она совершенно не замечает пропажи. Точно так же выкармливает трех остальных, вылизывает, играет с ними... Забираем еще одного котенка. Кошка по-прежнему ничего не замечает и со всем материнским счастьем занимается оставшимися двумя... Забираем предпоследнего. Кошка впадает в панику! С растерянным видом бегает по квартире, везде заглядывает, всё обнюхивает и жалобно мяучит — зовет пропавших детей. Таким образом, можно утверждать, что кошачья система счисления включает два числа: один и много.

Класс молча слушал.

Марик опять скосил глаза на свои часы, лежавшие на столе. И Григорьев машинально взглянул на часы.

— Сейчас мы запишем, — сказал Марик, — несколько чисел в двоичной и в десятичной системах, и вам всё станет ясно. — Он взял тряпку и принялся стирать с доски чертеж платформы с бревнами. — В дальнейшем я покажу вам, что система счисления может быть любой — хоть семеричной, хоть двенадцатиричной. Вы узнаете простые правила перехода из одной системы в другую. Узнаете, зачем нужны такие странные системы для вычислительной техники. И вот что еще: с тонкими тетрадями не приходите больше на мои уроки. Только общие, девяносто шесть листов. И пусть мои конспекты у вас сохраняются на всю жизнь. Они вам еще пригодятся. А теперь — записывайте!

Он взял мел. Класс склонился над тетрадями. Тут только Григорьев вспомнил слова Марика у школьного крыльца и вновь посмотрел на часы: ЧЕТЫРНАДЦАТЬ минут — и полный контакт. Ну, Тёма! Ну, психолог! Ну, сундук математический!

Марик вдруг обернулся через плечо, поверх всех рядов мгновенно нашел его взглядом, чуть подмигнул, и, опять обратившись к доске, начал стремительно расклевывать мелом черное звонкое стекло.

...Над выходом из башенки загорелось последнее на пути световое табло: всё тот же, словно в собственной крови сегодня растворенный, номер рейса рядом с названием города. Очередная девушка в синей форме распахнула стеклянную створку и, не оглядываясь, зашагала по бетону прочь от башенки, в темноту, а толпа ринулась за ней. Люди сталкивались, протискиваясь в дверях, вытягивались на пути к самолету нестройной колонной. Григорьев пропустил почти всех и шагал среди последних. Начал накрапывать мелкий дождь. Ночной, просвеченный многоцветными электрическими лучами воздух сотрясался от ближних раскатов двигателей.

У трапа, под серебристо-белой, облитой прожектором тушей самолета колонна вновь широко растеклась возбужденной толпой. На трапе еще одна девушка в синей форме, сдерживая натиск и выкрикивая в воздушном громе что-то сердитое, начала последнюю проверку билетов. Григорьев ждал в стороне...

Вчера он был у родителей. Он всегда приходил к ним перед отлетом, даже если командировка была недолгой: втащить из магазина что-то тяжелое, впрок — овощи, картошку. И — главное для стариков, труднейшее для себя: просто посидеть с ними, поговорить. То была нескончаемая, вытягивающая нервы игра перед самыми проницательными и недоверчивыми зрителями в мире — месяц за месяцем, год за годом убеждать всем видом своим, каждой интонацией: у него всё в порядке. Он сделал карьеру, обеспечен, увлечен работой. Нет семьи? Так сейчас много более важных дел — та же работа, литература. А потом, конечно, будет и новая семья. Да что там — одно, другое! Главное, он сам доволен своим житьем-бытьем. Всегда весел, в хорошем настроении. Вы же видите: у него ВСЁ В ПОРЯДКЕ!

Отец сильно сдал после второго инфаркта. Где-то в красноватой мгле, в глубине большого, еще недавно такого сильного тела невидимо, неслышно, с ножевой болью рвался, обливаясь кровью, пульсирующий мышечный комочек, и мертвенно-серебряная седина вытравливала голову, отекало лицо, старчески обвисали щеки, набухали темные мешки под гла-

зами. Сами глаза в красных жилках полопавшихся сосудиков смотрели то ли без выражения, то ли с каким-то неизбывным, горестно неясным вопросом.

Ни на миг нельзя было вырваться из потока игры, надо было нестись в нем, гибко менять русло. Расспрашивая отца о самочувствии, ловить в его неохотных словах и, как искорки, ненавязчиво раздувать любые мелкие симптомы улучшения. И ничем — под его пронзительным невидящим взглядом — не выдать ледяной страх за него, и жалость, и отчаянье от бессилия помочь.

Отец выслушивал болтовню Григорьева молча, откинувшись на спинку дивана и тяжко оплыв назад. А со стены над его головой, с чуть размытой увеличенной фотографии сурово смотрел круглыми глазами он сам, двадцатитрехлетний, в пилотке, в гимнастерке с сержантскими треугольничками на воротнике, и над его плечом выглядывала из-за края снимка рукоять лебедки. За лебедкой этой отец воевал — поднимал снаряды, заряжая свою громадную пушку. Таких пушек, по словам отца, на всю Красную Армию были считанные десятки. Била на тридцать верст восьмипудовым снарядом, порох в нее закладывали мешками.

А вообще, про войну отец вспоминал неохотно. Выходило даже, что и вспоминать не о чем: первые два года держали их артиллерийский полк особой мощности вдали от фронта, в Поволжье. Голодно было и особенно тяжело зимой. Зимы выпали долгие, лютые. После Курска двинулись, наконец, на фронт, но стреляли мало и всё издалека, с закрытых позиций. Так что, немцев и не видели. Авиация фашистская, правда, налетала, бомбила. Маскировались.

И лишь изредка — это бывало раньше, до болезни, когда приходил в гости кто-то из старых приятелей, — размякнув за рюмкой, рассказывал отец, как первый и единственный раз за войну, в апреле сорок пятого перед фортами Кенигсберга, всем уставам вопреки встали они на прямую наводку.

Становились ночью, в темноте. Немцы были всего на расстоянии километра — за бетоном фортов, за броневыми колпаками. Форты уже и авиация наша бомбила, и полевые

пушки долбили, — да что сделаешь, крепость. А им-то, легко сказать «встать», — два часа приводить свои махины из походного положения в боевое: соединять ствол со станком и основанием, вкапывать, подгонять, закреплять, свинчивать.

Осветительные ракеты растворяли темноту-спасительницу. Ее грызли очередями немецкие пулеметы, и трассирующие пули сыпались в лицо горящими иглами. Рядом полыхал трактор-тягач. Стонали раненые. Пальцы на рукоятках домкратов, на полированной стали механизмов скользили в масляной смазке и чужой крови.

Работали с безумной быстротой. Гнал даже не страх, а какая-то невесомость, в которой горячо всё сплавилось: и то, что войне конец, а потому особенно жутко, нестерпимо теперь погибать, и разрывающая душу ненависть к тем, стрелявшим из фортов, что убивали еще, несытые, в самом конце убивали, и чувство мощи своей — вот этой сокрушительной стали, чувство всей победы своей. И работали под расстрелом, точно летели, отчаянно, задыхаясь, — вперед, вперед, еще что-то успеть, установить, затянуть, пока минута, пока секунда твоя.

А когда, наконец, в рассветных сумерках полыхнуло вулканами дульное пламя и громом раскололся воздух, — с одного километра, с прямого выстрела, в упор, — когда вспучились и заклубились над фортами пробиваемые вспышками разрывов тяжкие, черные тротиловые облака, когда полетели сквозь дым во все стороны, едва не под ноги им залетая, осколки раздробленного бетона, — это был уже самый высший полет. По облакам, по звездам и Млечному Пути — сбитыми, вязнущими в развороченной земле сапогами. Оглохшие, черные от пороховой копоти, шатающиеся, неистовые, они заряжали, заряжали, заряжали...

— Лекарства! — хрипло выдыхая, говорил отец с дивана. — Ты там, куда едешь, лекарства мне смотри!

На столике перед ним громоздились горкой игрушечно-яркие коробочки, флакончики, трубочки с сильнейшими сердечными средствами. Поблескивал круглым стеклом аппаратик для измерения давления, лежала пачка смятых рецептов. Последний, одинокий рубеж обороны.

— Нигде нету, — говорил отец. — Я уж все аптеки обзвонил. А куда прикреплен, как ветеран, в ту каждый день звоню. Всё завоза ждут, а у меня таблетки эти кончаются.

— Привезу! — бодро отмахивался Григорьев. — Когда я тебе не привозил! В позапрошлом году, помнишь, то средство венгерское? В Ленинграде, в Москве не достать, а в Саратове — навалом, с уличных лотков свободно продавали. Давай рецепт, в Томске посмотрю, на обратном пути в Казани зайду — где-нибудь куплю.

Отец медленно, словно и это давалось с усилием, перевел взгляд на Григорьева. И вдруг, в его больных, налитых кровью глазах сверкнул огонек иронии, какая-то прежняя искорка того, моложавого, крепкого мужика, не дурака выпить, что, возвращаясь с завода, в колодце-дворике пятидесятых годов горласто выкрикивал своего сынка, и когда тот, весь перепачканный, скатывался под ноги ему с поленниц, орал на него с веселой сердитостью, на зависть ребятам постарше, тем, что росли без отцов.

— Прочитал я... поэму твою, — сказал отец. — Забери.

Григорьев не любил, когда родители читали то, что он пишет. Они давно и не спрашивали. Но в прошлый раз отец вдруг потребовал — «дай!», а с собой как раз оказался «Белёсый свет», то, что совсем бы не хотелось давать, и никуда не денешься, пришлось оставить.

— Прочитал, — повторил отец. — Печатать-то ее возьмут?

— Пока нет.

Отец кивнул, будто и ожидал того. Он уже снова глядел мимо Григорьева, высматривая что-то, ему одному видимое, и лицо быстро заплывало прежней горестной рассеянностью. Но мысли его, видно, были сосредоточены.

— Странное ты чего-то сочинил, — сказал отец. — На стихи похоже, а строчки нескладно кончаются.

— Это белый стих.

Отец покивал:

— Да в общем-то, понятно написано. Хоть и нескладно... — И вдруг, так же тихо и хрипловато выговорил: — Жалко мне тебя.

Григорьев даже дернулся.

— Жалко... — повторил отец. — И не помочь ничем. У вас теперь всё по-другому.

— Папа!

Отец только чуть поморщился, глядя всё так же мимо:

— Молчи! Будет тебе хорохориться! По-другому, говорю...

Он затих, не то собираясь с силами, не то задумавшись. Потом спросил:

— Я тебе рассказывал, как войну начал? Мы ведь в Белоруссии стояли. Лето было, солнышко, тишина. Собираемся на ученья. И вдруг, в миг единый — как рухнет всё!..

Отец перевел дыхание, и голос его зазвучал резче, уже без горловой болезненной хрипоты:

— Пойми: вот только что мы людьми были, силищей себя чувствовали. Гимнастерки наглажены, сапоги начищены, на орудиях — ни пылинки. Уставы, порядок. Песни строевые поем: «Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы». Стальная оборона... И всё диким колесом перевернулось! Кругом бомбежки, небо и земля в дыму ходуном ходят, а мы среди своих пушек мечемся, как муравьи в пожаре, и ничего понять не можем — предательство, что ли?! Мимо то пехота, то танки — на запад. Словно воду горстями в огонь швыряют. А про нас — как забыли. День, другой, неделя. Вот уж, расслышали, фронт подкатывает. Значит, наш черед смерть принимать! И страшно до одури, а всё равно как облегчение: кончили томиться, настал наш бой...

Тут к нам приказ и прорвался: грузись в эшелоны! Да как рванут нас прямо у немецких танков из-под носа, как погонят — на восток, на восток! Это уж мы потом узнали: артиллерийские генералы добились у Сталина, чтоб всю большую и особую мощность — немедленно с фронта, в самый тыл. А тогда — что поймешь? Опять предательство? Трясется дура наша, на трех платформах разложенная, мы на брезенте сидим с карабинами, очумелые. От немецких самолетов небо дрожит, вдоль путей разбитые вагоны валяются, станции горят. На полях кругом будто тряпки набросаны — люди лежат, с самолетов убитые, женщины в платьях. А нас сквозь это адское месиво продирают, проталкивают великанской

рукой — сквозь разъезды забитые, сквозь встречные эшелоны с войсками, — скорей, скорей, дальше! Будто золото самое драгоценное спасают!

И начало до нас доходить... Тогда, в разгроме, столько утешительных слухов носилось: про какие-то победы наши, про то, что Германию вдребезги бомбят. Уж и не верил никто этим слухам. Но вот они — мы, с пушками своими от фронта летим, и хоть вокруг всё рушится, у нас, у единственных, не слух, а приказ! Пускай он там сверхсекретный, нам его не видать, но нас его сила будто над землей несет, а уж понять мы и сами всё можем.

Ну что бы мы, действительно, в обороне сделали? Против танков? Ну, раза по два бы выстрелили, а на третий — и зарядить бы не успели. Мы ж только ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ были нужны — особая мощность, укрепленья разбивать. Немцы еще и не гадали про те укрепленья... Ведь это сколько разума и воли нужно было, чтобы сквозь тот ужас наступление готовить! Не то что в планах, на бумажке, а как есть — ГОТОВИТЬ. Нас с нашими пушками железной рукой спасать. Это же чего стоило — нам самим всё понять, снова людьми и силой себя почувствовать!

Со встречных эшелонов видят нас на платформах, кричат, голоса стараются веселыми сделать: «Оттуда? Ну как там?» Кричишь что-то в ответ, тоже норовишь повеселее. А у самого горько так в груди: несет ребят в огонь, а ты им не можешь главного крикнуть, что знаешь. Того, на чем сам держишься, того, с чем погибать им было бы легче. Права не имеешь, да и не сумеют они понять... — Отец тяжело дышал, усталый.

— Папа!

— У вас всё по-другому. Не знаю как.

— Папа!

Григорьев наклонился к отцу, стал целовать в щеки — холодные, невыбритые, колющие. Вдребезги рассыпалась игра, и не осталось ничего, кроме прорвавшейся горячей боли, кроме вечного человеческого крика: «Не уходи, отец! Не уходи!»

— В Уфе не будешь? — спросил отец.

— Нет.

— Коля там умер. Всё приглашал меня приехать, в садоводстве у него погостить, как на пенсию выйду. Так я и не собрался. А на днях письмо от его жены получил... В прошлом году Семен, в этом — Коля. Оба от сердца. Нас теперь из всего расчета, из двадцати человек, трое осталось: я, да Володя в Свердловске, да второй Коля, тот что в Ростове.

— Папа!

Рука отца, когда-то такая сильная, теплая, а теперь — просто тяжелая, с трудом несущая собственную тяжесть, легла ему на голову:

— Что сделаешь, сынок. Бьют по нашему квадрату.

Григорьев смотрел на отца. Тот чуть улыбнулся ободряюще. Ни слова не было сказано о главном, но всё подразумевалось, молчаливо, надежно. И то, что сын, где бы и сколько ни был, всегда будет ежедневно звонить. И то, что, если ударит беда, он откуда угодно, хоть из Владивостока, в тот же день, самолетом, быстрей самолета, домчится домой.

— Ладно, — сказал отец, — не вешай нос. Лети, куда собрался. Тебе свое дело делать надо.

— Первый салон, с первого по девятый ряд! — донесся обычный выкрик, и началась посадка: пассажиры, давясь, полезли вверх по трапу. Девушка, оттиснутая к перилам, едва успевала выхватывать посадочные талоны. Григорьев охотно пропустил бы всех, но в этот раз его место было как раз в носовом салоне, в девятом ряду.

Он пробился сквозь толпу, забухали под ногами металлические ступеньки. Выше, выше... Аля, должно быть, уже доехала на автобусе до метро. Спускается на эскалаторе. А может быть, прежде чем спуститься, звонит из будки телефона-автомата. Лисья мордочка. Трубка возле уха. Круглые темные глаза невидяще смотрят сквозь стекло на ярко освещенный Московский проспект, на потоки людей и машин. Она вслушивается в длинные гудки. Звонит подруге, к которой поедет. Или — новому другу...

А неделю назад у них с Мариком была их обычная встреча. Сидели вечером в квартирке у Григорьева и пили сухое вино.

— Давай, о политике не говорить, — предложил Марик.

— Давай! — согласился Григорьев.

Но ничего не вышло. Запрет рухнул еще до того, как выпили по первой, когда только открыли бутылку, очистили и нарезали кусок сыра. Лохмотья сырной оболочки нужно было куда-то девать. Григорьев принес газету — завернуть и выбросить. А в газете красовалась огромная, в полстраницы, фотография: Генеральный Секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР Константин Устинович Черненко в цехе московского завода «Серп и Молот» беседует с рабочими. Вид у Константина Устиновича был ужасный: с раскрытым ртом и выпученными глазами он запрокидывался назад, словно его только что ударили в живот, и он, задохнувшись, валился на спину. Стоявшие вокруг молодые рабочие улыбались. Казалось, они потешаются над несчастным, больным стариком.

— Черт знает что! — разозлился Григорьев. — Зачем такого доходягу поставили, зачем издеваются над ним и над нами!

— Тебе-то не всё равно? — отозвался Марик. — Ну, посадили бы другого, для нас с тобой что-то изменилось бы?

Худое личико Марика с втянувшимися щеками казалось вырезанным из темного дерева. Шевелюру он теперь отрастил основательную, даже на первый взгляд легкомысленную для своих лет и своего учительства. Зато проволочные кучеряшки, охватив голову круглым черным шлемом, надежно скрывали плешивость.

— Не могу смотреть, Тёма! — кипел Григорьев. — У меня была моя страна. Было чувство реальности, земля под ногами. Была победа в войне, первенство в космосе. А теперь, черт, лезет кислый дым какой-то, подмена. Я скоро пятнадцать лет, как везде мотаюсь, смотрю — и думаю, думаю своей замороченной, невыспавшейся головой. Всё не такое! Не та наука, не та промышленность, не та литература. Всё — будто временный эрзац, только ставший нескончаемым. А люди-то, люди — настоящие! Это какой же запас добросовестности в нашем народе, если мы до сих пор не развалились!

Марик неспешно взял бутылку. Налил вина Григорьеву и себе. Отпил. Подумал:

— Хорошая всё же эта «Фетяска». Лучше, чем «Совиньон». А что ты больше всех переживаешь? Слава богу, не голодный ты, зарабатываешь прилично. Живешь, вон, в отдельной квартирке, да к тому же еще холостой. Удачник ты, удачничек!

И, как часто в последнее время, невозможно было понять: говорит он всерьез или шутит.

— Мне поколения нашего жалко, — сказал Григорьев. — Мы — первое и единственное, уже неповторимое поколение, которое искало свою реализацию в творчестве. Поэтому на нашем поколении такой мог начаться взлет! С нами, действительно, можно было за двадцать лет — ну, не коммунизм хрущевский построить, но так поднять страну! Если б только одно... если б нам дали работать.

— Чудак ты, — сказал Марик. — Да это и было самое главное: не дать нам работать! Действительно, подмена произошла. Революцию задумывали во имя равенства между людьми, а получилось, что уравняли талант и бездарь. Но бездарности-то равенства мало, ей надо талант совсем истребить! Элементарная психология. — И Марик опять отхлебнул вина.

— Вот здесь ошибаешься, Тёма. Получается уже не твоя психология, а натуральная психиатрия. Получается, бездарность — самая опасная форма безумия.

— Думаешь? — слегка удивился Марик.

— И думать нечего, тут природа. Норма разума — талант. Какой главный закон любой формы жизни?

Марик пожал плечами:

— Самосохранение.

— То-то! Значит, какой главный закон разумных существ, смертность свою сознающих, а? Стремление к бессмертию! Только не к тому кибернетическому для отдельных межзвездных странников, что тебе когда-то виделось, а к естественному, общему. К бессмертию каждого человека и всего человечества, как биологического вида! И творчество — туда единственный путь. Вот поэтому бездарность изо всех

сил с творчеством и борется. В бессмертии-то она будет обречена!

— А как же нравственность, по-твоему? — спросил Марик.

— Ты про талантливых мерзавцев? Бывают. Ну и что? Безнравственность — то же самое безумие. И эгоизм — безумие. Всё, что направлено против течения к общему бессмертию, — безумие, Тёма!

Марик с сомнением покачал головой:

— Не всё так просто. От психологии ты напрасно отмахиваешься. И природа не однозначно на стороне разума. Первый исток зла — от наипростейшего из жизненных инстинктов. Оттого, что человек не может продолжительность своей жизни верно осознать. Она ему даже в самой старости неопределенно долгой мнится, за горизонт уходит. Мать-природа, она же эволюция, в человека это ощущение спасительно заложила. Без него, при человеческом разуме и сознании смертности, никакой бы жизни не было. Ну, а уж с ним, ясное дело, никакой морали. Позволено не позволено, а уже оправдано всё крушить и всех давить ради собственной копеечной выгоды. Раз надолго-то!

— Нет, Тёма! По-твоему, безысходность получается, гарантированный конец света. А выход — есть. Только он для немногих. Отказаться нужно в себе самом от главной причины зла. Понять, что жизнь не просто коротка — мгновенна. И ничего не ждать на своем веку. Не добиваться награды, просто работать. Ради чего? Да хоть бы и для будущего бессмертия. Которого сам не увидишь.

Чокнулись стаканами, выглотали кисловатое вино и зажевали сыром. Григорьев спросил:

— Помнишь, ты мне рассказывал, как твой Колесников сокрушался, что разум ненасытен?

— Помню, конечно. Хоть с ума, говорил, сойти, хоть в бога поверить.

— Вот это сейчас модно становится. Одни крестятся тайком, другие буддизм изучают. Даже мне на работе машинописную распечатку совали про какие-то тибетские таинства.

— Что ж ты хочешь? Обычное дело в безвременье. — Марик закурил. Сигарету он держал, как когда-то Димка, щепотью, только затягивался и выпускал дым не спеша. — А ты во что веруешь? Всё в коммунизм?

— Пусть называется коммунизмом, пусть по-другому, суть важна. Что делать, я воспитан в этой вере — конца пятидесятых, начала шестидесятых. Я могу ее переосмыслить, могу исправить, но мне ее не переменить. Над оттепельной идеологией сейчас смеются. Но ведь то была единственная идеология, обращенная к лучшему, что есть в человеке, и не требовавшая при этом насилия и крови!

Марик состроил скептическую гримаску:

— Тут спорный вопрос. Не будем копья ломать, давай лучше выпьем. — И опять потянулся за бутылкой.

— А еще я верую, — сказал Григорьев, — что весь этот громадный Космос, звезды, галактики, пульсирующая Метагалактика, и черные дыры, и волны гравитационных полей, что колышут пространство, и потоки излучений, орошающие пустоту, — всё наполнено смыслом. А если в этой живой Вселенной нет еще разума, то, значит, именно человеческий разум она создала для того, чтобы он дорос до бессмертия, познал ее, и слился с ней, и одушевил. Путь долгий, но неизбежный. И то, что я называю коммунизмом, тоже неминуемый этап на пути.

— Звучит вдохновляюще, — согласился Марик. — Говорят, Эйнштейн и Циолковский так веровали. А если это — иллюзия? Если прав Джинс, и все мы — не больше, чем плесень на остывающем сгустке материи?

— Он не может быть прав, — сказал Григорьев. — И не только потому, что были Эйнштейн, Толстой, Сент-Экзюпери. Но потому, что мы с тобой, маленькие, замордованные человечки, с ним не согласны. Не согласны — и всё! Вот тебе и доказательство истинности веры.

За это выпили еще.

— Да, — спохватился Григорьев, — я же Стелле хотел позвонить. — Он набрал номер: — Стелла, здравствуй! Как дела? И у меня ничего. Слушай, я на следующей неделе в командировку улетаю, дней на десять. Но ты не беспокой-

ся: к димкиной годовщине обязательно вернусь, и мы с Тёмой придем.

— Целую, — сказала Стелла. — Я тебя люблю.

— И я тебя целую. Я тоже люблю тебя.

— Дай-ка мне, — Марик взял у него трубку: — Стелла, привет! Катька твоя далеко? Спроси у нее: она помнит наш разговор, что надумала?.. Еще и не думала? Вот вертихвостка! Ну так пусть быстрее мозгами шевелит, не маленькая, четырнадцать лет уже. А я сказал: если только решит в технический вуз, я ее так по математике подготовлю, парней из спецшкол затопчет.

— И по физике, и по химии, — подсказал Григорьев.

Марик кивнул:

— Вот, и физик с химиком у нее персональные будут. Конечно, конечно. Будем приезжать и заниматься. Да, как когда-то с Димкой. Не за что еще благодарить! Лучше мозги своей лентяйке прочисти!

Марик положил трубку, а Григорьев открыл новую бутылку и разлил вино по стаканам:

— Давай, всё же выпьем, Тёма, за наше героическое поколение. Ведь если вдуматься, мы — безвестные герои. Мы даже никому, кроме друг друга, не можем рассказать о нашем подвиге. Потомки будут изучать то, что после нас останется — газеты, книги, фильмы, — и ни хрена не поймут. Представляешь? Если даже мы выкрикнем правду, и этот крик не потонет во времени, и его расслышат, — всё равно не поймут! Чтобы понять, нужно было прожить вместе с нами и как мы. Собственными легкими нашим воздухом дышать — день за днем, десятками лет. И наше мужество тайное нести в себе, когда всё внутри нестерпимо горчит. Несмотря ни на что, бесконечно, бессмысленно — нести! Мужество — просто оставаться честным человеком. — Григорьев поднял стакан.

— Погоди! — сказал Марик. — Это ты у нас романтик, а я — нет. Романтику из меня давно выбили в отделах кадров. Ты наше геройство превозносишь, потому что до сих пор на какие-то перемены надеешься. Хотя бы подсознательно. Вот, мол, изменится система координат, и в новой

системе, если не другие нас, так мы сами себя высоко переоценим. Элементарная психология! А вот я лично никаких перемен уже не хочу. Ты сам ключевое слово произнес: БЕЗУМИЕ. Слишком много его за эти десятилетия загнано внутрь, все клеточки им отравлены. Посмотри на улице: чьи портреты за стеклами машин? То-то! В прежнее время Гагарина и Титова наклеивали, а теперь — Сталина. Понимаешь, чего я боюсь? Пока всё идет как есть, пока правят эти старики с совиными лицами, они хоть видимость пристойности будут поддерживать. А при любом повороте с накатанных рельсов, чуть всколыхнемся мы, порвется тонкий глянец, и наружу прежде всего другого полезет именно безумие!

— Ну тебя к черту! — сказал Григорьев. — Раскаркался.

— Ничего, — усмехнулся Марик, — ничего. Я только поясняю, почему мне не хочется, чтобы романтики вроде тебя докликались до перемен... Может быть, ты и прав насчет нашего поколения. Особенные мы. По литературе, помнишь, проходили «лишних людей»? Так вот, мы — единственное в своем роде лишнее поколение. А ты давай, и дальше нами восхищайся, какие мы добросовестные и самоотверженные. — Марик поднял стакан и голосом ведущего из передачи «Что? Где? Когда?» провозгласил: — Внимание, правильный тост! Хай живе товарищ Черненко!!

— Быстрей, быстрей проходите! Занимайте места! — покрикивала из полутьмы самолетного нутра немолодая полная стюардесса.

Двадцать лет назад, в шестидесятых, она была, наверное, юна и ослепительна, как все стюардессы той начальной реактивной поры. Их тогда воспевали — в стихах, в романтических пьесах. Аля бы высмеяла эти стихи и пьесы. Ему самому они кажутся теперь наивными. А тогда — щемило.

В его билете стояло место 9Б — на обычных лайнерах среднее из трех. Но на этом самолете в девятом ряду у перегородки салона оказалось всего по два кресла с каждой стороны. В соседнем, 9А, у окошка, сидел мальчик лет пяти. Он внимательно посмотрел на Григорьева и сказал:

— Здравствуй.

— Здорово, путешественник!

Григорьев поставил портфель, вдавился в кресло, перевел дыхание. Напряжение, не отпуская, сжимало грудь. Воздуха не хватало, как после долгого бега. Какими-то отдельными трезвыми клеточками мозга, точно другим разумом, он видел себя со стороны, сверху, втиснутого в кресло, трудно и часто дышащего...

Он вспомнил последний вечер, проведенный с Алей, три дня назад. Не хотел ей звонить тогда, но в конце концов не выдержал. Не было сил оставаться одному в квартирке, где на письменном столе с правой стороны — стопка бессильно измаранных черновиков, а с левой — уже подготовленная для командировки папка, набитая планами-графиками и программами испытаний.

Позвонил. По голосу почувствовал, что она не в настроении. Но всё же сделал то, чего не следовало делать ни в коем случае: упросил приехать. Она появилась свежая, спокойненькая. В темных блестящих глазах — любопытство, плохой признак.

Предупредила:

— Я ненадолго! — и замолчала.

А он совсем размяк. Вместо того, чтобы собраться и точными выпадами расколоть ее молчание, стал говорить о том, о чем она уже и слушать не желала, — о своей работе, о рукописях.

Потом не выдержал, дурак, полез к ней, целовал, молил. Вымолил: позволила себя раздеть и уложить в постель. Надеялся разжечь ее, обессилить и хоть в благодарность получить то, что было ему так необходимо, необходимей самих ласк. Никогда с такой силой не приливала ярость отчаяния — добиться, добиться, прорваться к ней так, чтобы горячо ощутить: их двое, двое!.. Аля отвечала, и он чувствовал, что она как-то необычно, ожесточенно требовательна, но это отзывалось в нем не радостью, а тревогой. Волны возбуждения словно относили ее прочь от него, прочь, прочь. Наконец — подняли и отбросили совсем.

Усталая, она не разнежилась, не болтала в умилении. Лежала молча, с видом сумрачного торжества.

Он поднялся, ушел в ванную. Вернулся, натянул тренировочный костюм, зажег настольную лампу. Что-то надо было говорить.

— Может, все-таки останешься?

Чуть-чуть, словно с высоты, повела на подушке встрепанной головкой из стороны в сторону. Соскользнула с постели, захватив одежду, недолго плескалась в ванной — и вышла, уже одетая, подтянутая, с уложенной мальчишеской прической, подведенными ресницами, даже с подкрашенными губами, чего он не терпел. И этот вызов тоже надо было не замечать.

Пытался вызвать в себе спасительное ожесточение — накричать на нее, выгнать как весной. Но не было ожесточения. Только одно и чувствовал: как не хочется, чтобы она уходила.

— Я тебя провожу.

— Оставайся, — усмехнулась она. — Тебе уже, по-моему, хочется спать.

При желании это можно было посчитать за ласковую заботливость. Он сделал вид, что так и принял ее слова.

Наступал самый трудный миг расставания, ниточка натягивалась. Хотелось спросить, когда они теперь увидятся, но спрашивать об этом прямо было нельзя. Попробовал в обход:

— Я через три дня улетаю в командировку. Не приезжай в этот раз в аэропорт, потом придется одной из Пулково поздно ехать.

— А когда у тебя рейс? — нахмурилась, что-то прикидывая. — Ладно, я подумаю. Как будет настроение.

И в этот миг раздался спасительный, как ему показалось, телефонный звонок. Он сорвал трубку. Звонил Марик.

— Да, Тёма! Как дела?

— Ничего, — скучно ответил Марик.

— А что голос у тебя такой? Ничего не случилось?

— Марина в Москву ездила, — ответил Марик, — в командировку.

— Ох, как интересно! Я в Москве давным-давно не был, почти месяц. Ну и что там новенького?

— Марина говорит, Визбор умер.

До Григорьева дошло не сразу, какими-то толчками: умер кто-то... умер незнакомый, слава богу... ну, конечно, Юрий Визбор, жаль, жаль... Неужели Тёма только из-за этого позвонил?

— Жаль, — сказал он в трубку.

— Жаль, — отозвался Марик.

И тут ледяная вода поднялась и затопила сердце:

— Что ты говоришь?! Ты точно знаешь? Он же молодой совсем, ему, наверное, и пятидесяти нет!

Заметил краем глаза, как личико Али шевельнулось в подобии усмешки. Вырвалось же при ней — «пятьдесят» и «молодой». Да, черт побери, для твоих двадцати четырех лет пятьдесят — старость, а для моих тридцати семи — еще молодость! Но и эти мысли сразу потонули в том холодном, темном, что продолжало подниматься.

— Откуда Марина узнала? Слухи?

— Конечно, слухи, — отозвался Марик.

— Ну, может, болтают. Высоцкого вон сколько раз хоронили.

— И в конце концов он умер.

— Всё равно не поверю, пока своими глазами не прочитаю.

— Где ты Визбора некролог прочитаешь? В какой газете? Он же не секретарь обкома.

Оба помолчали, чувствуя молчание друг друга, соединенные этим молчанием. Потом Марик сказал:

— Да, жаль. Ну пока! — и положил трубку.

— Что случилось? — Аля стояла, готовая уйти.

— Визбор умер.

— А кто это? — спросила Аля.

Надо было ответить коротко и выпроводить ее. Но ледяная вода, заполнившая его целиком, сковывала мысли, движения. И словно кто-то другой, болезненно невесомый, суетливый, прорываясь сквозь его отяжелевшее тело и онемевшую гортань, стал нелепо объяснять Але, кто такой Визбор. Был Высоцкий, символ того горького, что всем нам досталось, и был Визбор — символ того немногого светлого, что нам тоже все-таки досталось. Того, что должно было сбыться, и не сбылось. Не обмануло — просто не сбылось.

Он запутался в словах. Весь уже налитый ледяным, потянулся, стащил со шкафа свой магнитофон, дешевенькую «Электронику», и коробку с кассетами. Стал их перебирать — не то, не то... Вот, Визбор! Втолкнул кассету, нажал клавишу. Вначале оказался «Сретенский двор» — не то, Аля не поймет, она таких дворов уже не видела... Надавил перемотку, прокрутил немного, остановил. Что там? «Спокойно, товарищ, спокойно» — не надо, это смерть Димки!.. Еще перемотка и остановка. Что там? Опять не то? А комнату уже легко наполнил голос Визбора:

А будет это так: заплачет ночь дискантом,
И ржавый ломкий лист зацепит за Луну,
И белый-белый снег падет с небес десантом,
Чтоб черным городам придать голубизну.

При Але нельзя было плакать. Этого уж ни в коем случае нельзя было при ней!

И тучи набегут, созвездьями гонимы,
Поднимем воротник, как парус декабря.
И старый-старый пес с глазами пилигрима
Закинет морду вверх при желтых фонарях.

Он морщился оттого, что сдерживаемые слезы щекотали глаза, а губы сами шевелились, шевелились, повторяя:

Друзья мои, друзья! Начать бы всё сначала,
На влажных берегах разбить свои шатры.
Валяться на досках нагретого причала
И видеть, как дымят далекие костры...

Аля смотрела на него с выражением, похожим на брезгливость.

...Он откинулся в кресле. Потянул, смыкая, привязные ремни. Но кто-то легонько дернул его за рукав — мальчик с соседнего места.

— Рано, — сказал мальчик. — Еще не застегивайся.

У него было круглое, курносое, очень серьезное личико. Серые большие глаза строго смотрели на Григорьева. И говорил мальчик чисто, правильно, совсем по-взрослому. Детской была только короткость фраз.

А у меня нет сына, — подумал Григорьев. — И не будет уже, наверное, никогда.

— Как зовут тебя? — спросил он мальчика.

— Андрей.

— Ты почему один? С кем ты летишь?

— С мамой.

— Ты ленинградец сам?

— Нет, мы так. Прилетели, два дня в гостинице пожили.

— А теперь?

— Туда прилетим. В гостинице поживем. Потом обратно полетим.

— Что-о? — изумился Григорьев.

— Меня оставить негде, — Андрей вздохнул. — В садике тараканов травят.

— Не мешает он вам? — над креслом Григорьева склонилась высокая стюардесса.

Он взглянул снизу вверх в ее серые глаза, в ее круглое лицо, некрасивое и милое, с короткой челкой русых волос, выбившихся на лоб из-под синей форменной шапочки. Лицо тридцатилетней одинокой женщины, бесконечно усталой и так же бесконечно выносливой. Он достаточно читал по лицам, чтобы даже без рассказа мальчика оценить и неустроенность ее, и смирение с судьбой, и упрямую жизнестойкость.

Вот полюбить такую, — подумал он, — надежную. И всё станет легче.

Он улыбнулся ей:

— Нет, не мешает.

Она тоже чуть улыбнулась, и в этой слабой — одними губами — улыбке, в спокойном, сочувственном взгляде ее серых глаз было ответное понимание, безошибочное женское чутье того, что могло бы быть и никогда не сбудется между ними.

— Потерпите его, — сказала она. — Когда взлетим, он быстро уснет.

Она пошла вперед по проходу, он вслед окинул взглядом ее крупную, сильную, чуть угловатую фигуру, большие кисти рук, опущенных вдоль бедер. Она скрылась за зеленой занавеской пилотской кабины, над которой вспыхнула надпись: «Не курить. Пристегнуть ремни».

Григорьев снова потянул друг к другу замки ремней, и снова Андрей своей ручонкой удержал его за локоть.

— Рано! — сказал он. — Я скажу когда. Ты меня слушайся.

Где-то отдаленно, в огромном дюралевом теле самолета захлопывались люки, двери. Пробегали легкие пульсации, лайнер оживал, пробуждался. И вот уже сдвинулись и тонко, пробуя голос, заныли в хвосте турбины.

По проходу между креслами стремительно прошагал к кабине молодой летчик. Обернулся на ходу, крикнул Андрею:

— Как дела?

— Хорошо, — ответил мальчик и пояснил Григорьеву: — Бортинженер.

Турбины в хвосте взвыли, разгоняясь, и заревели жарким стальным ревом. Лайнер задрожал.

— Двигатели прогревают, — сказал Андрей. — Подожди еще! Подожди... — и вдруг, замкнув на груди ремни, крикнул Григорьеву: — Застегивайся!

Рев турбин упал до мягкого переливчатого гула. Самолет дрогнул, стронулся с места и, чуть содрогаясь, покатил по бетонным плитам.

— В Ленинграде всегда — пока вырулишь, — пожаловался Андрей. — Далеко от полосы ставят.

Самолет катился по аэродрому, слегка вздрагивая на стыках плит, отбрасывая в темноту вокруг себя разноцветные отсверки включенных проблесковых сигналов. В окошечко было видно, как покачиваются огоньки на скошенной, опущенной к земле консоли крыла.

— Кочевники мы с тобой, — сказал Григорьев мальчику.

— Что? — не понял тот.

Вызванная случайно вырвавшимся словом, зазвучала в памяти та самая, давняя саяновская мелодия, что когда-то свела их с Алей:

Говорят, что Ока —
Это чье-то старинное имя,
Что кочевники дали
Ей имя седого вождя...

Двигаясь по бетону, самолет тяжко разворачивался. Открывались, пересекая курс, убегающие в ночь цепочки взлетных огней. Андрей, упершись ладошками в подлокотники, натягивая ремни, приподнялся к окошечку и довольный плюхнулся обратно:

— Полоса! Сейчас полетим!

Лайнер затормозил, будто споткнулся, и застыл в напряжении, недовольно ворча турбинами, сетуя на задержку. Разноцветные вспышки сигналов нетерпеливо били в окошечко. Но вот — подавляемая мелодия двигателей стала разгораться, разгораться. Мощно раскалилась до предельного, форсажного рева, напитывая каждую клеточку вибрирующего дюраля нестерпимой взлетной силой.

— Ты что? — вдруг спросил Андрей, заглянув снизу в лицо Григорьева. — Ты боишься лететь? Не бойся!

Григорьев нашел и сжал его теплую ладошку:

— Хорошо, — сказал он. — Я больше не буду бояться.

Отпущенный с тормозов, самолет ринулся по полосе. Мгновенная дрожь от неровностей бетона пронзила придавленное перегрузкой тело. Взлетные огни трассирующей очередью полетели под крылом.

Ну, а как же мне быть
В эту ночь с городами твоими?
Как назвать их теперь,
Сквозь ночную метель проходя?..

И вот — ожидаемый и всегда внезапный миг отрыва. Мгновенно оборвалась дрожь. Тело, всё еще прижатое пе-

регрузкой к креслу, подхватила зыбкая легкость полета. В окошечке, кренясь и уменьшаясь, погружалось во тьму зданьице аэропорта с игрушечными светящимися башенками. Поворачивался пунктирный чертеж огоньков взлетного поля.

Как любил я тебя,
Лишь сегодня почувствовал это...

Закладывало уши от нарастающей высоты. Самолет то и дело проваливался, волна невесомости неприятно всплескивала в груди, но ее мгновенно сменяли запрокидывающая тяжесть новой перегрузки, вспышка рева двигателей, тугой и плавный рывок вверх, словно самолет по ступенькам, по ступенькам взбирался ввысь.

Как любил я тебя,
Лишь сегодня почувствовал это.
И, нахмурясь, стою
В обступившей кругом тишине.
И любовью былой
Мое старое сердце согрето.
И такой молодой
Возвратилась ты снова ко мне.

1982—2005

www.bhv.ru

Оскотский З.

Гуманная пуля. Книга о науке, политике, истории и будущем

Отдел оптовых поставок

E-mail: opt@bhv.spb.su

В сборник вошли лучшие произведения Захара Оскотского в жанре публицистики, истории, футурологии.

Основа сборника — книга «Гуманная пуля» — произведение о науке и ее цели, о взаимосвязи науки с политикой, о роли науки в событиях XX века и в будущих событиях XXI века. Приводимые в книге многочисленные исторические факты, большей частью неизвестные широкому читателю, заставляют по-новому взглянуть на кризисы прошлого: мировые войны, Октябрьскую революцию, судьбу социализма в СССР. На основе анализа современных тенденций прогнозируются главные события и кризисы XXI века.

Читатель сможет убедиться: со времени первого издания книги ее ближние прогнозы сбылись, а в наши дни растет вероятность того, что сбудутся и дальние прогнозы.

В настоящем сборнике книга «Гуманная пуля» дополнена историческими очерками, эссе и статьями, которые предлагают нестандартный, идущий вразрез со многими традиционными мифами, взгляд на ключевые моменты истории и современности.

Оскотский Захар Григорьевич, прозаик, публицист, член Российского Союза профессиональных литераторов. Автор рассказов, очерков, статей, эссе, сценариев телевизионных передач из цикла «Парадоксы истории». Автор книг «Последняя башня Трои», «Зимний скорый. Хроника советской эпохи», «Утренний, розовый век. Россия-2024».

www.bhv.ru

Книги издательства «БХВ-Петербург»,

в том числе роман Захара Оскотского «Зимний скорый. Хроника советской эпохи»,

теперь можно приобрести в электронном виде

в интернет-магазинах наших партнеров:

Google play — https://play.google.com/store/books

OZON.ru онлайн мегамаркет №1 — http://www.ozon.ru/context/ebook/

ЛитРес: один клик до книг — www.LitRes.ru

ITbook.ru — www.itbook.ru

PrestigioPlaza.com eBooks — http://ebooks.prestigioplaza.com/ru/ru/products/eBooks

Obreey — http://store.obreey.com/rus/publishers/бхв-петербург